

4
С-47



**СЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ
И ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМЫ
В КОНТАКТЕ С НЕСЛАВЯНСКИМ
ОКРУЖЕНИЕМ**

Уровни языка Соседи
Контакт Интерференция
Чужие демоны
Заговор Адаптация
Типология влияния
Совпадения Стабильность



ЯЗЫК . СЕМИОТИКА . КУЛЬТУРА



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

**СЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ
И ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМЫ
В КОНТАКТЕ С НЕСЛАВЯНСКИМ
ОКРУЖЕНИЕМ**

Ответственный редактор
Т. М. Николаева



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва
2002

ББК 81.2Рус-03
С 47

4
С-47



90777

Исследования выполнены при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 97-06/180

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 00-04-16148

С 47

Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением / Отв. ред. Т. М. Николаева. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 560 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISBN 5-94457-040-7

В книге рассматривается взаимодействие на разных уровнях славянской языковой и этноязыковой систем с другими языковыми группами: тюркской, финно-угорской, иранской, балтийской, германской. Выявляются древние изоглоссы, появившиеся как следствие развития генетически единых процессов, а также возникшие в результате типологических процессов, происходящих в ситуации ареальной сближенности. Описываются механизмы адаптации заимствований в условиях языкового контакта. Ряд исследований посвящен типологическим проблемам. Оригинальные сообщения и наблюдения комбинируются со специально написанными для этого издания обзорами.

Книга адресована лингвистам, интересующимся историей основных групп языков мира, теорией конвергентных процессов в условиях билингвизма, а также общей контактологией.

81.2Рус-03

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-94457-040-7



9 785944 570406 >

© Авторы, 2002

© Институт славяноведения РАН, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора.....	7
Вяч. Вс. Иванов. Введение.....	11

I

Вяч. Вс. Иванов. Славяно-арийские (= индоиранские) лексические контакты.....	17
Вяч. Вс. Иванов. Еще о славяно-тохарских изоглоссах.....	52
Вяч. Вс. Иванов. Ранние коптские заимствования в славянском.....	55
Д. И. Эдельман. К происхождению иранско-славянских диахронических параллелей.....	(61)
Вяч. Вс. Иванов. Поздне(вульгарно-)латинские и романские заимствования в славянском.....	(104)
С. А. Бурлак, А. С. Мельников, А. В. Циммерлинг. Параллели между славянскими и германскими языками: индоевропейское наследие и типологическое сходство.....	(112)
Ф. Б. Успенский. Византия и Русь в древнескандинавской перспективе (на материале языковых данных).....	(185)

II

Р. Бенаккьо. Славяно-романские контакты в словенских говорах Фриули.....	(263)
И. А. Седакова. Болгарский язык в неславянском окружении: лингвистическая литература по лексикологии.....	301
А. Ф. Литвина. Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянских документах.....	315
Т. Н. Молошная. Система артиклей в славянских и скандинавских языках. Сопоставительно-типологический аспект.....	352
Т. М. Николаева. Степень стабильности просодических моделей (финско-русские корреляции).....	386
А. Е. Павленко. Пример лексического параллелизма в языках разных систем (русское <i>ящик</i> — диалектное шотландское <i>/aʒək/</i>).....	418
Н. Н. Запольская. Культурно-языковой статус личности и текста в Петровскую эпоху (опыт прогнозирующего анализа).....	422
М. А. Осипова. Разговорный русский язык иммигрантов в США. Лексика и словообразование.....	448
Т. В. Цивьян. Современная русская языковая ситуация в проекции на модель мира.....	465
И. Беккер. Взгляд извне.....	476

III

<i>И. А. Седакова.</i> К проблеме заимствований в балканославянских языковых и этнокультурных системах	483
<i>Т. Н. Свешникова.</i> Восточнороманский мир в контакте со славянами	511
<i>М. В. Завьялова.</i> Проблема возможных взаимовлияний литовских и славянских заговоров на балто-славянских пограничных территориях	526
<i>Е. В. Вельмезова.</i> Заметка по славянской демонологии: о немецких названиях демонов в чешских фольклорных текстах.....	549

ОТ РЕДАКТОРА

Первоначальный замысел предлагаемой читателю книги был довольно прост. Предполагалось исследовать — по возможности, единообразно — две проблемы: 1) на каком языковом уровне обнаруживается большая проницаемость и тем самым в большей степени прогнозируемой оказывается интерференция языковых структур; 2) можно ли разделить языки в контакте на языки слабого и языки сильного воздействия. Именно так начинала работу группа сотрудников Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН (при финансовой поддержке РГНФ, № гранта 97-06/180).

При более внимательном подходе к материалу тематика и проблематика исследования стала стремительно расширяться. Оказалось необходимым расширить славянскую контактологию в плане диахронии, с одной стороны, и обратиться к функциональной стороне заимствований — с другой. Как ни странно, недостаточность собственно языкового охвата, а именно — привлечены не все славянские языки и не все известные славянам как в синхронии, так и в диахронии языки контакта — не кажется трагической лакуной. Гораздо более значительным для языковеда оказался тот факт, что материал, привлекаемый авторами, неизбежным образом диктовал и тематику, и проблематику, и методику лингвистического подхода. Как кажется, вообще остается неясным, с чем же мы имеем дело: с непреодолимой логикой самого материала, который ведет ученого за собой, или с давно определившейся и негибкой традицией лингвистики — в подходе к подобному материалу.

Говоря проще, очевидно, что проблемы языковой контактологии при обращении к диахронии и синхронии принципиально различаются. Специфическими они оказались и при анализе этноязыковых систем — в отличие от систем собственно языковых. Эти различия и определили разбиение всего состава нашего тематического сборника на три части, внутренняя связанность которых ясна и без специального их обозначения. Внутри каждой из частей соблюдена некая динамическая композиция, о которой будет сказано ниже.

Итак, очевидно, что древность контактов предлагает нам прежде всего *лексику*. При этом необходимо доказать (верифицировать) и язык заимствования, и саму лексему. Весь огромный накопленный аппарат компаративистики (и просто древней истории) этому служит. В первой части книги об этом мы читаем в четырех разделах Вяч. Вс. Иванова, в начале совместной статьи С. Бурлак, А. Мельникова, А. Циммерлинга. Видно, что практически не всегда и возможно для древнего состояния поставить вопрос о том, почему заимствовались именно эти лексемы, и какой стала их функция в языке контакта. То, как может помочь при этом история, демонстрируется в работе Ф. Успенского, где привлекается огромный массив текстов для объяснения того, почему в Скандинавии объединялись и смешивались на лексическом (и денотативном) уровне *греческий* и *русский*.

Совершенно другие проблемы встают при изучении фактов совпадения/несовпадения *грамматических систем* в их диахронической перспективе. Неизбежным образом этот путь ведет к типологии в ее отношении к универсалиям диахронии. Так, во второй части совместной статьи С. Бурлак, А. Мельникова и А. Циммерлинга и в объемной работе Д. Эдельман обнаруживается много метатеоретических совпадений, хотя языковые системы рассматриваются разные. Действительно, с чем мы имеем дело при совпадении грамматической эволюции — с взаимовлиянием? с типологической конвергенцией? с языковой универсалией? И как, выбрав одно решение, мы можем это доказать?

Вторая часть книги посвящена языковым контактам более позднего периода и построена по двум основаниям — а) от более общего к более частному и б) от группы языков — к одному языку. При этом встают уже иные вопросы, так как сами заимствования становятся все более очевидными и верификации требуют все меньше. Зато более актуальны функциональные проблемы, когда важно понять, какие именно компоненты заимствуются и почему. Так, в области лексических заимствований мы имеем дело с ситуациями: когда в исходном языке подобного понятия нет и оно становится единственным, когда новое слово и старое распределяют между собой семантическое поле, когда новое и старое сосуществуют в разных языковых сферах, когда новое и старое образуют некий единый концепт-терм, подобно двуликтому Янусу, обращенный к языкам контакта (см. об этом в статьях И. Седаковой, А. Литвиной, А. Павленко). По-прежнему, как и в диахронической коллизии, сложными для решения остаются вопросы грамматики — на грани взаимовлияния, конвергенции и типологии систем. Об этих проблемах можно прочесть в работах Р. Бенаккьо, с современных позиций пересмотревшей ранний подход к словенской Резии И. А. Бодуэна де Куртенэ, и Т. Молошной, осветившей не совсем ясные для интерпретации схождения артиклеобразных систем языков Славии и Скандинавии. Наконец, современный инструментальный анализ да-

ет возможность увидеть интерференцию на уровне просодической системы, обратившись к словосочетанию с разным акцентным и разным частеречным наполнением (работа Т. Николаевой).

Приближение к современности диктует и введение в анализ социально-стилевой аспект языкового функционирования. Так, латинские формулы должны были обеспечить начало делопроизводства в России (А. Литвина), социальный заказ Петровской эпохи определял нужды перевода и уровень перевода и — соответственно — уровень подготовки языковой индивидуальности — Личности (статья Н. Запольской).

Уже по-другому могут быть поставлены вопросы контактологии для самого последнего времени. Вопрос о верификации источника заимствования, основной для диахронического исследования, для современности очевиден. На первый план начинает выходить лингвосоциология: так (как показывает «полевое» исследование М. Осиповой) употребление — неупотребление макаронической лексики в языке иммигрантов во многом обусловлено референтной группой общения. Еще больше широта социального подхода представлена в небольшой по объему статье Т. Цивьян: по ее мнению, русское речевое общение в последние годы медленно, но верно дрейфует от языковой ксенофобии к готовности к межъязыковому контакту (об этом же — «извне» — пишет и И. Беккер).

По сути новую страницу в контактологии открывает и изучение этноязыковых контактов. Метатеоретической трудностью здесь является пока полная неопределенность в дискретизации плана содержания фольклорных текстов. Поэтому достаточно смелыми и новыми являются попытки М. Завьяловой выявить для заговорных текстов на балто-славянском пограничье те ситуации, когда мы можем для одних текстов говорить о славянском влиянии, а в других — о балтийском.

В трех статьях сборника, рассматривающих разный по контактологии материал, говорится об «иноязычном» слове-именовании демонов, нечистой силы в славянском и восточнороманском мире. И. Седакова подчеркивает, что страшные существа балканского мира именуются через турцизмы и грецизмы: табуируется через «чужое» слово нечто, приносящее вред. Точно так же в статье Т. Свешниковой важен именно функциональный аспект широкого проникновения иноязычного именования демонических существ уже в восточнороманский мир. Примыкает к этому циклу и статья Е. Вельмезовой: рассматривая «действенность» заговора и воздействия на «нечистую силу», она обнаруживает в чешских текстах большую возможность спасения от демона при немецком его именовании и большую неотвратимость опасности — при чешской его номинации. Создается впечатление, по этим работам, что контактология этноязычных систем по своим проблемам и сфере нерешенных и

важных вопросов приближается именно к диахроническому аспекту взаимовлияний.

Сборник этот (или полукolleктивная монография) готовился довольно долго. Между тем число контактологических работ растет в мировой лингвистике стремительно. Надеемся, что мы еще успели сказать о контактах славян хоть что-нибудь новое.

Т. М. Николаева

ВВЕДЕНИЕ

Проблема соотношения славянских языков и культурных традиций с неславянскими предстает с нескольких сторон, каждая из которых изучается в отдельных статьях настоящего сборника.

Прежде всего к подобному сопоставлению можно подходить типологически, рассматривая каждую из сравниваемых систем или их фрагментов (например, славянские и иранские фонологические и морфологические структуры) на более широком фоне языковых и этнологических универсалий, проявляющихся в их функционировании и в их истории. Но такое типологическое сопоставление переплетается со сравнительно-историческим в случае генетически связанных или диахронически друг с другом взаимодействовавших систем. Помимо генетического родства для современной науки все более важными становятся случаи вторично образовавшихся сходств благодаря возникновению языковых союзов и взаимовлиянию субстратных и адстратных языков, которые могли быть как изначально неродственными, так и отдаленно (как ностратические — индоевропейские и финно-угорские или тюркские) или близко (как те же иранские и славянские) родственными. Поясню сложность выделения разных уровней взаимодействия и их результатов на примере раннеславянского дуализма мифологических представлений и их языкового выражения. В свете исследований таких крупных этнологов минувшего (XX) века, как А. М. Золотарев и А. Хокарт, можно полагать, что дуалистическая социальная структура и сопутствовавшая ей бинарная символическая классификация (типологически сходная с принципами фонологических систем по Р. Якобсону) являются универсалиями (в конечном счете соотносимыми с ролью симметрии, выявляемой в науке о человеке, как и в естественных науках). Но в той конкретной дуалистической символической структуре, которая отчетливо обнаруживается в раннеславянских традициях, перекрещивается достаточно архаическое индоевропейское наследие с усиливавшим его бинарные семиотические черты влиянием позднейшего иранского дуализма (воспринятого славянами скорее всего в его митраистическом варианте) вместе с ареальным воздействием контактировавших со славянами евразийских дуалистических культур (в частности, шаманистских, с противопоставлением белого и черного шаманства).

В последних случаях на первый план выступают факторы времени и пространства. С точки зрения относительной хронологии наиболее ранние контакты праславянского (возможно еще в пределах более широкой балто-славянской общности задолго до его окончательного выделения из нее) осуществлялись главным образом внутри индоевропейского диалектного континуума. Но уже ко времени ранее середины III тысячелетия до н. э. следует отнести отдельные исключительные изоглоссы, объединяющие праславянский как индоевропейский (в другой терминологии «индо-хеттский») диалект с северно- (или восточно-) анатолийским (хеттским), с одной стороны, и балто-славянский как группу диалектов с южно- (или западно-) анатолийским (лувийским) — с другой стороны (в последнюю группу по некоторым признакам входил и пратохарский). Следовательно, история праславянского начинается еще до выделения хеттского, а также лувийского и позднее тохарского из этого индоевропейского континуума и насчитывает уже несколько тысяч лет. Хотя ранние этапы его эволюции пока еще с трудом восстанавливаются, некоторые опорные точки дают именно обнаруживающиеся следы взаимодействия праславянского с такими восточноиндоевропейскими диалектами, как индоиранские, и черты, сближающие балто-славянский с германским (эта идея, восходящая к Шлейхеру, подтвердилась лексикологическими разысканиями Станга и лексикостатистическими вычислениями группы Дайена) и другими западноиндоевропейскими (или древнеевропейскими) диалектами. Рано начавшиеся контакты с такими ностратическими соседями балто-славянских и германских языков, как финно-угорские, не только важны для истории этих последних, но и могут помочь выяснению деталей древнего фонетического развития праславянского в пору его наибольшей близости к только еще начинавшимся от него отличаться другими балто-славянскими диалектами (которые частично исчезли, сохранившись лишь в некоторых заимствованных из них формах живых языков).

Взаимодействие славянских языков и культур как с их неиндоевропейскими (прежде всего финно-угорскими и тюркскими, но и с другими евразийскими) соседями, так и с иранскими и западноиндоевропейскими языками и культурными традициями длилось и после разделения славянской общности и продолжается до настоящего времени. Такие основоположники современных исследований контакта и смешения (или гибридации и пиджинизации) языков, как Шухардт и Бодуэн де Куртенэ, недаром получили один из главных стимулов для своих теоретических открытий в этой области из наблюдений за взаимодействием современных романских и славянских языков на границе Италии и Словении. Не менее увлекательны (хотя иногда и драматичны, если не трагичны) и проблемы, связанные с многочисленными циклами влияния и противоборства западнославянских и восточнославянских языков с герман-

скими. Процессы дифференциации и интеграции не только балтийских и славянских, но и некоторых других языков, входивших в евразийский языковой союз, на протяжении нескольких столетий с особой интенсивностью осуществлялись на территории многоязыкового и многокультурного Великого княжества Литовского. История главного его официального письменного языка — «простого», или «рутенского» — показательна и для оценки того, насколько сложны отношения между языком, пользующейся им этнической группой и ее самосознанием. Например, та этническая группа, которая сохраняется теперь на территории Польши под (соответствующим ее этническому самосознанию) названием «польских татар», на протяжении нескольких веков (по-видимому, начиная с XVI в.) пользовалась «простым» языком, записывая тексты на нем, а потом на других славянских языках, которыми ее члены стали пользоваться — белорусском и польском, — арабским письмом (религией этой группы был и остается ислам). В этом отношении группа «польских татар», первоначально говорившая (до перехода на славянские языки) на тюркском кыпчакском (половецком) языке, отлична от двух других восходящих к половцам этнических групп Великого княжества Литовского и Польши — караимов (чей тюркский язык использовал древнееврейское письмо в соответствии с иудейской религией караимов) и татар-«армян», писавших на своем тюркском языке армянским письмом.

Проблема «своего» и «чужого», отношения между своей и «чужой», или «другой», культурой выдвинулись на первый план в современной гуманитарной науке и в философской антропологии и этике, где вслед за Когеном, Бубером и Бахтиным связь Я и Ты (Ближнего, Другого) стала главным предметом теоретических раздумий и практических забот. Целью настоящей книги было привлечение внимания славистов к этой важнейшей области занятий.

I

СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ (= ИНДОИРАНСКИЕ) ЛЕКСИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Предлагаемая тема, во всяком случае в той ее части, которая касается славяно-иранских лексических сопоставлений, рассматривалась давно и для славянских этимологических изысканий в определенном смысле стала традиционной. Тем не менее кажется возможным вернуться к ней еще раз — не столько для подведения итогов (что делалось уже неоднократно), сколько для того, чтобы коснуться хотя бы бегло некоторых ее сторон, прежде в малой степени занимавших исследователей.

1. Балто-славяно-арийские (= индоиранские) лексические сопоставления. I: гиппологические термины. Наиболее показательные ранние сходства, уже бегло отмеченные предшествующими исследованиями, шире славянского и иранского и включают вместе с ними также балтийский и иранский, т. е. речь может идти о взаимодействии балто-славянского и индоиранского (арийского), что отодвигает хронологический уровень достаточно далеко назад. Слав. *sivъ 'сивый' обозначает темно-серую с сизоватым оттенком (с сединой) масть коня в летописном др.-русск. и дары емоу дасть великын, и конь свои борзюи сивыи (Ипатьевский список летописи 6721 г.) и в других аналогичных древнерусских примерах (сивыи жеребець, Духовная новгородца Климента 1270 г.¹, конь сивъ, цена емоу четыре рубли, Духовная И. И. Салтыкова, 1483 г.², кобылу сиву, Вкладная и Кормовая книга Кирилло-Белозерского монастыря³; ср. архаическое сивый мерин в присказке), в украинском, в изолированных сербохорватских текстах, в польском и в чешском⁴.

По отношению к масти коня употреблялось и родственное лит. šyvas 'белый' (с семантическим изменением, ср. сохранение более древнего значения в

¹ Срезневский 1867, т. 1, вып. 4, 38.

² Список XVII в., Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства 1838, № 413.

³ Список первой половины XVII в. с рукописи, начатой в начале XVI в., Колесов 1972, 206.

⁴ Герне 1954, 115—116, § 169; Срезневский 1958, III, 344; Черных 1993, 2, 160.

др.-прусс. *sywan* 'grow = grau', Эльбингский словарь, 461⁵). Вед. *śyāvā-* (с архаической формой женского рода на *-ī* в отличие от более поздней на *-ā*⁶) обозначало и темно-коричневый цвет, и темную масть гнедого коня (например, в гимне Савитару, «Ригведа», I, 35, 5⁷), и самого коня, и ночь (также, как и кобыла, называемую производным на *-ī* женского рода *Śyāv-ī*), метафорически названную по этому цветовому эпитету. Производное на *-ka-* — собственное имя *Śyāva-ka-* в «Ригведе»⁸, соответствующее скиф. *Σιαυακ/γος*⁹, по типу образования можно сравнить с архаическим русским фольклорным (и поэтическим — у Кольцова) именем коня *Сивк-а/-о* (ср. также форму *сивець* 'сивый конь'¹⁰, «Слово о Задонщине», *хоровори пересвѣтъ поскакивает на своемъ вѣщемъ сивцѣ*, тот же эпитет *вещий* употребляется по отношению к сказочному коню-помощнику *сивке-бурке*, *вещему каурке*, об этимологии формы *бурка* см. ниже) и с кашуб. *sivk* 'сивый'. Об индоиранском возрасте этого коневодческого употребления позволяет думать авест. *Syāv-asp-ī* (< 'владеющий сивыми кобылицами'¹¹, женское имя, относящееся к продуктивному типу индоевропейских «лошадиных» личных имен, образованных посредством сложения с общеиндоевропейским названием «коня»). Сказочный мотив коня-помощника, подобно русскому *сивке*, связывается с этимологически тождественным цветовым эпитетом в ягнобских сказках. В одной из них герой — младший сын «сжег (волос) из хвоста (*dum-eš*¹²) черной лошади (*šow aspē*). Лошадь прибежала. Земля задрожала»¹³. Позднее в этой сказке (как и в других сходных с ней ягнобских и таджикских сказочных текстах) противопоставляется эта масть коня двум другим (обозначаемым в современном языке

⁵ Endzelīns 1982, 306; Mažiulis 1981, 33, 302; Fraenkel 1962, I, Lief. 13, 996.

⁶ Renou 1984, 280, § 211.

⁷ Macdonell 1972, 14, 251. См. о значении этого прилагательного: Елизаренкова 1989, 564.

⁸ Grassmann 1873, 1416. О цветовых прилагательных в новых индо-арийских языках, продолжающих ведийское слово, см.: Turner 1989, 735, № 12672.

⁹ Миллер 1886, 244; 1887, 80; Vasmer 1923, 52 (со ссылкой на предшествующие работы Вс. Миллера); Абаев 1949, 182, 210 (об озвончении интервокального *-к- > -γ-*), 223 (суффикс *-ak*); Zgusta 1955, 144, § 210.

¹⁰ Срезневский 1958, т. 3, 344; Одинцов 1980, 100.

¹¹ Bartholomae 1979, 1631.

¹² Точный перевод: Андреев, Пещерева 1957, 323 (в отличие от приблизительного там же, 95). Во многих ягнобских текстах и в секретном языке это название хвоста служит метонимическим обозначением коня, см. об этом ниже. Мотив сожжения волосков из хвоста коня, повторяющийся в ягнобских сказках (ср. волоски из гривы коня в сказке № 29: Андреев, Пещерева 1957, 142, 145 и др.), есть и в мунджанской сказке: Грюнберг 1972, 122, 127.

¹³ Андреев, Пещерева 1957, 93, 95 (сказка № 15).

таджикскими заимствованиями): *Žúta safét áspě x^w atč a-nós, surx áspěš bidónčik virote á-l'fár, šow áspe-š káttá viróte á-l'fár* 'Юноша белую лошадь взял себе, рыжую отдал среднему брату, черную (вороную) лошадь отдал старшему брату'¹⁴. В другой сказке в описании такой лошади ее черный цвет передается и связанной с ней сбруе: *šow áspe yol pazd a-kun. šow ásp a-vvów. A-džax. žúta. a-nós-š- afzólš tim šow, žúta afzól tim šow* 'Он сжег гриву вороной лошади. Появилась вороная лошадь. Юноша встал, сел на нее верхом (буквально: поймал ее), и сбруя у нее черная, и то снаряжение (которое она для юноши принесла) — черное'¹⁵. Значимость черного цвета волшебного предмета видна и в других сказках¹⁶.

Семантика и формальные особенности этого эпитета позволяют реконструировать две праформы прилагательного, при одинаковом значении различавшихся по диалектам внутри satəm-ного ареала, часть которого характеризовалась этой изоглоссой¹⁷. Из двух параллельных форм этой «двуслоговой базы», или «бинома», в арийском используется только та, в которой его вторая часть всегда в нормальной полной ступени огласовки *k'y-eH- (+ *wo-), тогда как балто-славянский обобщил нулевую ступень огласовки этого «детерминатива», причем на первый слог, не включавшийся уже в чередования гласных, по «правилу Хирта» передвинута ударение (откуда славянский циркумфлекс в начальном долготном слоге баритонированной парадигмы при литовском началь-

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же, 143, 146. О диалектологическом значении формы *pazd* 'грива' ср.: Хромов 1972, 101, 103. Те же выражения повторяются в конце этой сказки, Андреев, Пещерева 1957, фразы 62 и др., там же, 144, 148.

¹⁶ Там же, 188, 192. В согдийском родственное прилагательное š^w 'черный' (Gauthiot 1914—1923, 73, 117) используется обычно по отношению к людям: Vessantara Jātaka, строки 39d, 1107, Benveniste 1946, 32, 67. Ср. ягнобский оборот *rit (-em, -it, -išint) šow* 'лиц-о/-а (мое, твое, ваши) черн-ое = (я, ты, вы) несчаст-ен/-ны', Андреев, Пещерева 1957, 313, 328.

¹⁷ Порциг 1964, 246—247; Барроу 1976, 25 (там же в детальном перечислении арийско-балто-славянских изоглосс, в том числе лексических, см. о названии «черного» цвета. русск. *черный*, предположительно общего для того же диалектного индоевропейского ареала, но ср. о трудностях, связанных с фонетическим его обликом: Herne 1954, 98—99, §148). В связи с гиппологическим употреблением из общих названий цветов особенно интересно лит. *raudas* 'красно-коричневый, бурый', использующееся как название масти коня, но этот термин характерен не только для арийского и северо-западноиндоевропейского. т. е. балто-славянского и германского, но и для латинского и греческого: Herne 1954, 27, 32—33, § 39, 49—50. Если германское существительное со значением 'вид, форма' (гот. *hiwi*, др.-англ. *hīew*) и связано с балто-славянским и арийским названием «сивой» масти (ср. Lehmann 1986, 185, Н 69, там же о возможном соответствии в кельтском существительном: ср.-ирл. *cēo* 'туман'), то нигде в германских языках не засвидетельствованы цветные эпитеты, от него образованные.

ном акуте и окситонезе в арийском): **k'i-H-* (+ **-wo-*)¹⁸; в индо-арийском ударение стояло на суффиксе **-wo-*, что характерно для архаического типа такого рода производных, позднее давших названия цветов в разных диалектах¹⁹.

Суффикс **-mo-*, часто выступающий в качестве параллельного к **-wo-*, представлен в лит. *šėmas* 'синеваго-серый (о животном)'²⁰, вед. *śyāmá-* «черный, иссинь-черный» с многочисленными продолжениями в новых индо-арийских языках, в том числе и с тем же суффиксом *-ka-*, что и в авестийском названии горы или горной местности *Syāmaka-*. В славянском, как и в некоторых других подобных случаях, из двух вариантных суффиксов предпочтен **-wo-*, тогда как в литовском более архаичное значение сохранено прилагательным с древним суффиксом **-mo-*, в связи с чем параллельная форма на **-wo-* в пределах семантического поля цветообозначений значение изменила (на «белый», ср. выше о сохранении архаического значения в прусском, где вариант с суффиксом **-m-* отсутствует). В восточнобалтийском в производном с суффиксом **-mo-* был представлен древний тип огласовки, благодаря чему преобразилась форма корня из-за регулярного упрощения начального сочетания **k'y-* > **šy-* > *š-*²¹. Праформа **k'y-eH-mo-*, реконструируемая для восточнобалтийского, показывает, что архаический тип образований от этого корня в балтийском (и раньше в балто-славянском) не отличался от арийского.

Значительно более трудно определить точное время и место диалектных контактов, отраженных в другом гиппологическом термине. Др.-русск. уменьшительная форма **бѣвѣрчѣнокъ** выступает в сочетании с **меринъ**: **да отъ мерина отъ бѣвѣрченка дано отъ личення 9 алтынъ** (Книга расходная Болдина-Дорогобужского монастыря, 1586 г.²²); **давали конскому мастеру... монастырской меринъ чалой бѣвѣрченку лечитъ на немъ болезнь** (там же)²³. Это слово, остающееся до сих пор загадочным²⁴, можно в качестве предполагаемого просторечного продолжения древнего названия масти коня сравнить с

¹⁸ См. о данной основе: Мейе 1951, 141. О правиле Хирта (-Бонфанте): Иллич-Свитыч 1963, 78—88, 156; Дыбо, Николаев, Замятина 1990, 50 (табл. 10), 53. О дальнейших изменениях акцентуации и долготы корня в отдельных славянских языках ср. Stankiewicz 1993, 64, 273; Колесов 1972, 206.

¹⁹ Lehmann 1964, 59—60.

²⁰ Яунис 1916, 9, 125; Вѣга 1959, 190, 422 (с указанием диалектных отличий в акцентуации), Fraenkel 1962, I, Lief. 13, 972. Параллелизм двух суффиксов в этих прилагательных отмечен: Skardžius 1943, 202, § 123; Delamarre 1984, 239.

²¹ См. об этом изменении: Stang 1966, 105.

²² Русская историческая библиотека 1871. Т. 37, 302.

²³ Там же, 45; Словарь русского языка XI—XVII вв. I, 1975, 62; Одинцов 1980, 130.

²⁴ За пределами индоевропейского у этого семантически неясного гиппологического термина может быть соответствие в тюркском: ср. др.-тюрк. *bürčäk* '(конская) грива' (Надеждин, Носилов, Тенишев, Щербак 1969, 132), но редупликации в этом последнем слове нет.

праслав. **ba-bur-ъ/-a* как названием ряда растений и животных, в том числе и с последующим **-k-* (русск. диал. *бабурк-а* ‘бабочка, особый род мелкой рыбы’ при *бабура* ‘рыба бычок, подкаменщик’; словацк. диал. *baburk-y* ‘сережки вербы’²⁵ и др.). В таком случае (при известных сложностях в объяснении корневого гласного второго слога: из **bhō-bhe/our-* ~ **bho-bhur-* ~ *bhru?*; о других возможных гипотезах, предполагающих более поздние контакты, см. ниже), слово может быть славянским соответствием редуцированного вед. *babhru-* ‘красно-коричневый’, которое в «Ригведе» в двух случаях выступает как название масти коня²⁶ (в частности, в гимне игроку в X-й мандале, где этот цвет проходит через весь текст как основной эпитет игральных костей из дерева вибхидака). В санскрите оно также служит для обозначения ихневмона (мангусты), в пали — кошки, в новоиндо-арийских языках (панджаби, пахари и др.) — медведя²⁷. О древности гиппологического употребления слова свидетельствует месопотамское арийское *p/bapru-nnu* — (с аккадизированной формой *-nn-i* хурритского постпозитивного определенного артикля *-nn-i*), использующееся в аккадских текстах из Нузи как эпитет коня²⁸. По-видимому, можно считать достоверной связь основы этого арийского редуцированного прилагательного с подобным ей существительным, выступающим в качестве названия бобра в западно-индоевропейских («древнеевропейских») диалектах, балтийском²⁹, славянском³⁰ и иранском. Авест. *bawra(-y)* ‘бобр’³¹ подтверждает, что эта изоглосса некогда могла включать и остальные арийские диалекты; перенос имени на мангусту в индо-арийском мог зависеть от конкретных экологических условий после миграции индо-ариев в Индию³².

Можно предположить (вопреки другим часто предлагавшимся этимологиям³³), что славянское существительное родственно цветовому эпитету **burь* >

²⁵ Трубачев 1974, I, 113—114 (с другой этимологией).

²⁶ Macdonell 1972, 192—193 (ср. 59—67, 148, о других случаях употребления прилагательного, которое, в частности, характеризует бога Рудру как коричневого быка); Grassmann 1873, 899; Елизаренкова 1972, 218—220, 368—369; 1999.

²⁷ Turner 1989, 516, № 9149.

²⁸ Kammenhuber 1961, 20; Mayrhofer 1979, 67; 1982, 76.

²⁹ Fraenkel 1962, I, 38; Топоров 1975, 203—205 (с дальнейшей литературой); Seebold 1999, 107. Славянские (с.-хорв. *dabar*) и литовские варианты слова с начальным *d-* (лит. *debras*) напоминают кельтские названия воды и выдры (др.-ирл. *dobor-chъ* ‘собака воды = выдра’) и могут иметь не чисто фонетическое объяснение в отличие от обычно приводимого.

³⁰ Трубачев I, 174—175; II, 144—147.

³¹ Bartholomae 1979, 925.

³² О других возможных выводах из географии распределения названий выдры и бобра в индоевропейских диалектах см. Гамкрелидзе, Иванов 1984, II, 529—530.

³³ Н. К. Дмитриев, включая слово *бурый* в дополнительный список русских тюркизмов, сделал ошибочную литературную ссылку: Дмитриев 1962, 566; Черных 1993, т. 1, 126.

др.-русск. **бұрыи**, относящиеся к масти животных (волов в «Молении Даниила Заточника»), в том числе и коней: **прося ү ннұхъ десятины во всемъ... и в конехъ, десятое в бѣлыхъ, десятое в бұрыхъ, десятое въ рыжихъ**, Троицкая летопись, 6745 (1237) г.³⁴, ср. выше о фольклорном коне *сивка-бурка*. Для этого слова ближайшее соответствие обнаруживается в иранском. В восточноиранском **bur-/bor-* отражено в скифском личном имени Вор-αποδ 'имеющий буланых коней'³⁵ и в соответствующем его первой части осетин. *bor-/bur-* 'желтый'³⁶; ягноб. *vir* 'серый, бурый'³⁷, шугнанск. *vür* 'бурый, коричневый', язгулямск. *bär*, мунджанск. *vür* 'светло-красный (о крупном рогатом скоте)'³⁸.

В западноиранском с этими словами могут быть сопоставлены перс. *būr-/bōr* 'бурый, желтый' предположительно из **barwa-*³⁹, *bor* 'лиса' (<* *baβr-*?). Кажется возможным предположение, что, если вся эта группа слов имеет индоевропейское происхождение⁴⁰, она в конечном счете родственна лит. *bēr-a-s* 'коричневый' (используется как название масти коня и в этом смысле прямо сопоставимо с приведенными выше ведийским и месопотамско-арийским редуплицированным словом и со скифским сложным именем), *bēr-v-a-s* 'коричневатый'⁴¹, германск. **ber-ōn* 'медведь' > др.-исл. *björn* (основа на *-u*)⁴², германск. **brūna* — 'коричневый' > др.-исл. *brúnn*, др.-англ. *brūn*⁴³, греч. φούνη 'жаба', ср. др.-русск. **бронны** 'белый (о коне)'⁴⁴ и родственные слова других славянских языков. Краткое или долгое **u* (/ *-ū*), появляющееся после корня в приведенных формах, в некоторых из иранских и славянских слов характеризует корневой вокализм. Если эти формы с корневым *-u-* не являются сравнительно более поздними славянскими заимствованиями из иранского, можно думать

³⁴ Срезневский 1958, I, 194.

³⁵ Миллер 1962, 19; Vasmer 1923, 36; Абаев 1949, 161; 1958, I, 271.

³⁶ Абаев 1958, I, 271—272 (с указанием мифологических контекстов употребления слова).

³⁷ Андреев, Пещерева 1957, 349.

³⁸ Грюнберг 1972, 372.

³⁹ Bartholomae 1925, 5.

⁴⁰ Распространение же по Евразии, предположенное В. И. Абаевым (Абаев 1958, I, 271—272), объясняется в таком случае позднейшими многократными заимствованиями, скорее всего связанными с иранским источником (ср. ниже об аналогичном предположении в отношении названия богатыря).

⁴¹ Также 'гнедой': Явнис 1916, 126; Fraenkel 1962, I, Lief. 1, 39.

⁴² Seebold 1999, 79—80; Havers 1946, 35—37.

⁴³ Seebold 1999, 132; Schwentner 1915, 56—59; Öhmann 1951, 137—142.

⁴⁴ Срезневский 1958, I, 180; Nerne 1954, 106, § 160; Гамкрелидзе, Иванов 1984, II, 530. Барроу (1976, 25) относит слово к числу арийско-балто-славянских изоглосс.

о параллельных изменениях (типа метатезы, предположенной выше по отношению к редуплицированному существительному **babur-a-* в славянском).

К семантическому полю гиппологических терминов относится объединяющее индо-арийский со славянским название конской шеи и гривы, на ней растущей: специальное значение санскрит. *grīvā* 'шея или загривок коня'⁴⁵ при более общем 'шея, затылок' в «Ригведе» и в некоторых современных индо-арийских языках⁴⁶, а также в авестийском *grīvā* 'затылок'⁴⁷; праслав. **grīvā* 'грива животного, в частности коня' (русск. *грива*, др.-русск. *имяше гриву лвову*, Александрия, Список XV в.⁴⁸; *емъ же его за гриву үкרותи его*, там же⁴⁹; *имъ льва ... и потомъ постригъ его гриву*, Пчела, список XIV—XIV в.⁵⁰), польск. *grzywa*, чешск. *hřiva*⁵¹, с.-хорв. *grīva* с производными, семантика которых позволяет предположить также достаточно раннее значение 'ворот, воротник'⁵², что прямо соотносится с соответствующим восточно-иранским афганским *grélawa* 'воротник, ключица' / *garwā* 'ключица'⁵³. Метафорическое использование слова и по отношению к географическим понятиям в славянском (в том числе в древнерусском) согласуется со значением родственного латышск. *grīva* 'устье реки' и восточно- и западнобалтийских и палеобалканских (фракийских и «дакских») гидронимов и топонимов, образованных от этой основы⁵⁴ (их самым близким структурным соответствием в этой ветви индоевропейских диалектов может быть и албан. *grykë* < **grīwīkā* «горло»)⁵⁵.

⁴⁵ O'Flaherty 1978, 476.

⁴⁶ Grassmann 1873, 419; Turner 1989, 235—236, № 4387—4390, 4394—4397.

⁴⁷ Bartholomae 1979, 530. См. ниже о специфике употребления этого слова в авестийском.

⁴⁸ Истрин 1883, 3; Срезневский 1958, I, 587; ср. Срезневский 1879.

⁴⁹ Истрин 1883, 17 (= греч. τοῦ τένοντος); Срезневский, там же.

⁵⁰ Семенов 1893, 10 (= греч. κόμην), 10; Срезневский 1958. Т. III, Дополнения, 79; Черных 1993, I, 217. Перевод относят ко 2-й половине XII в.: Сперанский 1904, 329; 1960; Дурново 1969, 79, 107.

⁵¹ Machek 1957, 149.

⁵² Skok 1971, I, 620.

⁵³ Эдельман 1986, 145, 2.1.3.84. Во второй форме (как и во многих других случаях, изученных В. А. Дыбо) афганская окситонеза может отвечать индо-арийской и восходить к индоиранскому и диалектному индоевропейскому ударению (см. о балто-славянской и индоевропейской акцентуации слова: Иллич-Свитыч 1963, 73, 153, § 30, 63). В некоторых других восточноиранских языках (ваханском, ягнобском) слово вытеснено персидско-таджикским заимствованием *yoł* 'грива'.

⁵⁴ Топоров 1979, 295—299; Vanagas 1981, 123; Duridanov 1969, 25—26.

⁵⁵ Orel 2000, 18 (1.1.4.6), 133 (2.1.2.5: предполагается подвижно-конечноударный тип исходной индоевропейской парадигмы), 157 (2.3.1.7: реконструируется суффикс **-iko-*), 239 (изменение окончания в зависимости от типа ударения). Наиболее близкое соответствие

В работах по индоевропейской диалектологии установлено, что это слово как название шеи, затылка, гривы и производного от него «ожерелья» в балтославянском и арийском⁵⁶ (а возможно и в албанском и «палеобалканском»-фракийском) заменило более древний термин, еще сохранявшийся в архаичных формах. Во II тыс. до н. э. в целом ряде древнеближневосточных языков в заимствованиях представлено месопотамское арийск. *mani-nni* ‘ожерелье’ (засвидетельствовано в аккадских текстах из Эль-Амарны, Алалаха и Катны, аккадизированная форма с хурритским *-nni*, см. выше об однотипном *p/babru-nni*), гибридное месопотамско-арийско-хуррит. > хетт. *manni-nni* ‘драгоценное ожерелье’ (в качестве заимствованного слова с хеттской геминацией первого *-n-* > *-nn-* в корне в хеттских инвентарных текстах и текстах оракулов⁵⁷, а также собственное имя *Manninni*, иероглифическое лувийское *Ma-ni-na* в Угарите⁵⁸). Соответствующее основе этого слова вед. *maṇi-* ‘драгоценное ожерелье’ и многочисленные санскритские и позднейшие индо-арийские производные сложные слова восходят к той же исходной форме, что и *mānyā* ‘затылок’, встречающееся в «Атхарваведе»⁵⁹. В ведийском удается проследить достаточно ранний этап взаимодействия двух синонимичных основ, соединенных в сложном слове *maṇi-grīvā* ‘несущий драгоценное ожерелье на шее’, представленном в I-й мандале «Ригведы»⁶⁰. Позднее в сходном значении в лексикографических санскритских сочинениях засвидетельствовано сложное слово *kañṭha-maṇi* ‘драгоценность, которую носят на шее’ с обратным порядком по

суффиксу можно было бы видеть в ср.-персид. *grīvāk* и в нуристанских формах: кати *grāk*, прасун *gik*, но при словообразовательном сходстве они могут восходить не к этому же слову, а к общенуристанскому названию горла из **ghāṭā-*, см. о двух этих объяснениях: Turner 1989, 235, 827 (№№ 4387; 14463); однако возможность наличия последнего слова в нуристанском ослабляется гипотезой о заимствовании всей группы слов этого типа из мунда или дравидского в индоиранский, см. об этом в связи с санскрит. *kañṭha-* ‘глотка, горло, шея’ ниже.

⁵⁶ Порциг 1964, 247, 255, ср. 170—171; Ernout, Meillet 1994, 412.

⁵⁷ Güterbock, Hoffner 1983, 3,2, 170 (с библиографией); Laroche 1980, 166; Mayrhofer 1982, 76, 87.

⁵⁸ Laroche 1966, 112—113, № 746—747; Beckman 1983, 625.

⁵⁹ Turner 1989, 557—558, 566, № 9731, 9733—9734, 9858. Скептическое отношение к этой этимологии у Тернера, как и у ряда других индологов (Thumb, Hauschild, 1958, I, 1, 238, § 84, с библиографией, 1953, II, 280), не подтверждается фактами других языков. обнаруживающих семантически параллельные формы (Ernout, Meillet 1994, 412), ср. ниже о славянском и других диалектах индоевропейского.

⁶⁰ 122, 14: Aufrecht 1955, I, 111; Grassmann 1873, 974; ср. о типе словосложения: Барроу 1976, 203; Wackernagel 1905, 277, 109a, α: *ṛkṣá-grīvā* «den Nacken eines Bärs habend (Bez. eines gespenstigen Wesens)». Т. Я. Елизаренкова (1989, 153) переводит «с драгоценными камнями на шее».

отношению к ведийскому словосложению⁶¹. В этом более позднем слове (в новом индо-арийском продолженном также в сингальском *kaṭamina* с тем же значением) в качестве названия шеи выступает *kaṇṭha-* ‘глотка, горло, шея’, в котором (как и в целой группе синонимов, обнаруживающих фонетические вариации: **ghāṭṭā* и т. п.) усматривают древнее заимствование из мунда (или — шире — из аустро-азатских диалектов древней Индии), проникшее в дравидский (каннада *kattu/gaṇṭlu* ‘глотка, горло, шея’) и в индо-арийский⁶². В этом последнем судьба всех этих слов изменилась благодаря воздействию туземных неиндоевропейских языков Индии.

Еще более интересный аспект позднейшей диалектной предыстории индоиранского корня раскрывается в авестийском. Образованное от той же индоиранской основы авест. *manaθri* ‘шея, затылок’ известно и в сочетании с *mini-* ‘ожерелье’, которое можно понять как след древней *figura etymologica*: *minum barat hvāzāta arədvī sūra anāhita upa tqm srīqam manaθrim* (Yašt V = Ardvīsūr Yašt, 127) ‘(Драгоценное) ожерелье было надето на прекрасную шею весьма благородной Ардвиг-Суры-Анахиты’⁶³. Это авестийское слово могло относиться только к шее (или затылку) ахуровского (благотетельного) существа. Оно противопоставлялось *grīvā* как названию шеи или затылка дэвовского (враждебного) существа: в соединении с именем дэва Арезура (Эрэзура, сына Ахримана) *grīvā* означает гору, где собираются дэвы согласно «Видевдату» (3.7)⁶⁴.

Представляется вероятным, что использование этого слова по отношению к дэвовским существам представляет собой авестийское зороастрийское семантическое новообразование, как и другие подобные смысловые трансформации в иранском. Исходным было наличие двух синонимичных терминов, отраженное в ведийском сложном слове, где соединены их производные. Славянский, как и ведийский, свидетельствует о том, что термин мог относиться к существам разного рода (в гимне I-й мандалы «Риг-Веды» — ко Всем Богам и изобилию, с ними связанному⁶⁵), но главным образом к коням. Можно ду-

⁶¹ Ср. *kaṇṭha-* на первом месте в сложном слове *kaṇṭha-daghna* ‘до шеи’ в брахманической прозе: Wilman-Grabowska 1928, 172.

⁶² Turner 1989, 134, № 2680—2682; Burrow, Emeneau 1984, 127, № 1366. Независимое заимствование из аустро-азиатского в индо-арийский и дравидский предположено также в этимологическом словаре: Thumb, Hauschild 1953, II, 196.

⁶³ Reichelt 1978, 304 (§ 630), 392; Bartholomae 1979, 1126, 1186 (и 205—206 в дополнениях с особой пагинацией); ср. стихотворный русский перевод: Стеблин-Каменский 1990, 46; ср. также в контексте популярного пересказа: Рак 1998, 144.

⁶⁴ Bartholomae 1979, 292—293. О горе Арезур у ворот ада в позднейшей зороастрийской традиции ср. Чунакова 1997, 194, 197, 277—278, 329 (примеч. 120). Ср. использование слова **grīvā* как топонима в балто-славянском и палеобалканском.

⁶⁵ К истолкованию этого места гимна: Репов 1958, 30—31.

мать, что подобные изоглоссы сформировались внутри *satəm*-ной группы индоевропейских диалектов задолго до специфического дуалистического развития иранской религии и соответствующей части словаря. Следовательно, данная изоглосса намного древнее предполагаемого позднейшего влияния иранского дуализма и дуалистического словаря на славянский.

Исходное сосуществование двух этих синонимичных основ в славянском подтверждается наличием двух типов названия драгоценного ожерелья. Более архаический тип представлен в ст.-слав. *монисто*. Уникальность суффикса, встречающегося только в этом слове⁶⁶, гарантирует древность образования, которое семантически сходно с лат. *monile* ‘ожерелье’⁶⁷, др.-исл. *men* ‘ожерелье’ (основа на *-ja-*), др.-англ. *mene* при германских названиях гривы: др.-англ. *tati* и др.⁶⁸; др.-ирл. *muin-torc* ‘ожерелье’ при *tong* ‘грива’ < **mon-k-*, *tu(i)nēl* ‘шея’ = валл. *mwngl*⁶⁹. Кельтский, германский и арийские языки сохраняют слова этого корня в обоих значениях — ожерелья и части тела, на которую оно надевалось; диалектное распределение говорит в пользу сохранения в них индоевропейского архаизма, в анатолийском и тохарском не обнаруживающегося (значение ‘грива’ могло меняться по тем же экологическим и техническим причинам, что и другие термины, связанные с конями и колесным транспортом). Латинский и ранний славянский сохраняют только производное со значением ‘ожерелье’, которое в более поздних славянских языках утрачивается. Балтийский в этом семантическом поле отличен от славянского и сближается с западноиндоевропейским (древнеевропейским), где побеждает форма, скорее всего связанная с корнем **kwel-* ‘вертеть’⁷⁰. Значительный ин-

⁶⁶ Birnbaum, Schaeken 1997, 48.

⁶⁷ Ernout, Meillet 1994, 412 (с указанием целой серии аналогичных соотношений между производными от разных корней с подобными значениями в индоевропейских языках).

⁶⁸ Seebold 1999, 533; Sievers, Brunner 1951, 232, § 263.1; Krause 1948, 56, 82. a.

⁶⁹ Thurneysen 1946, 79, § 125; Льюис, Педерсен 1954, 26; Королев 1984, 179.

⁷⁰ Ср. сходную внутреннюю форму в славянском производном типа русск. *ворот*, *воротник* от синонимичного корня **wert-*: Порциг 1964, 170; см. Lehmann 1986, Н 17; Delatagge 1984, 102 (см. о других производных от этого корня ниже). В восточно-балтийском форма редуцированная с *satəm*-ным отражением лабиовелярных как простых велярных: лит. *kāklas*, латыш. *kakls* (при отсутствии редупликации в древнепрусском названии колеса и производных от него и в латышском названии двуколки от того же корня: Ivanov 1999, 219). Если эти балтийские слова сопоставимы с нередуцированными западноиндоевропейскими формами с таким же развитием лабиовелярных, то в последних можно усмотреть воздействие восточных диалектов. Появление этих инноваций изменило соотношения между словами этого семантического поля в западноиндоевропейском. Характерна, например, древнеисландская фраза *hann batt menit á háls sér* ‘он надел (повязал) ожерелье себе на шею’ (Zoega 1910, 294), где (в отличие от сходного авестийского места, цитированного выше) древнее название ожерелья сочетается с новым названием шеи.

терес представляет распространение в славянских диалектах нового названия «ожерелья, драгоценности > монеты», образованного от диалектного индоевропейского слова для «гривы»: праслав. **grīvьn-a* > др.-рус. гривна 'ожерелье; мера веса (серебра, золота); денежная единица'; с.-хорв. *grivna* 'браслет, перстень, кольцо', чешск. *hřivna* при **grīvьn-ъ* > др.-рус. гривьный 'шейный'⁷¹. Аксиологическая и позднее финансовая значимость ожерелий представляется такой характеристикой, которая позволяет соотнести языковые данные с археологическими и дать типологическую характеристику имущественных отношений в обществе, где обнаружено это явление.

Исходное употребление индоевропейского корня **g^wer-* (правда, в полной, а не нулевой, как в цитированных формах, ступени огласовки) уже с суффиксом **-wā* и в значении, близком к этой изоглоссе, но еще без суффикса (женского рода, если не более древнего собирательного) **-ī* < **-iH-*, позднее объединившего значительную часть языков *satəm* (кроме армянского, который мог утратить слово), засвидетельствовано в др.-греч. (арк.) *δερ-φ-α* < **gwer-wā*⁷². Можно, следовательно, датировать начало формирования изоглоссы концом восточноиндоевропейского (греко-армяно-арийского) единства, из арийской части которого она распространилась далее на большинство *satəm*-ных диалектов.

К числу сходств в ведийской и славянской гиппологической лексике может принадлежать также обозначение яиц (ядер) жеребца метафорой, сопоставляющей их с мышью. Выражение *ṛju-muṣkā* 'обладающий тугими = сильными ядрами' как обозначение мощного жеребца дважды встречается в «Ригведе» (IV, 2,2; 6,9); в обоих случаях речь идет о конях Бога Огня Агни⁷³. Использование этой метафоры в индо-арийском⁷⁴ нередко сравнивается с тем общеиндоевропейским описанием мускулов как мышей, бегающих под кожей (ст.-слав. *мышька* 'рука', *мышница*, др.-рус. *мышьца* > *мышца*), которое начиная с известной статьи Гюнтерта вошло в обиход составителей этимологических словарей⁷⁵. Но ведийское словоупотребление прямо совпадает с такими гиппологическими славянскими оборотами, как отраженный в позднейшем фразеологическом сочетании рус. *мышинный жеребчик* (в смысле 'деятельный молодой человек', ср. антоним: *жеребчикъ безмудъ* 'молодой мерин'⁷⁶). Не исключено, что с подобными индо-арийскими оборотами, но в

⁷¹ Срезневский 1958, I, 588—591; Machek 1957, 149; Skok 1971, 620; Черных 1993. I. 217—218. Интересную семантическую параллель к славянскому представляет в нуристанском вайгали *girīw* 'воротник', *grēw-afī* 'ключица' < **grīw* (Turner 1989, 235, № 4387).

⁷² Lejeune 1987, 159, 235 (§ 159, 235).

⁷³ Grasmann 1973, 280, 1052. К переводу ср. Елизаренкова 1989, 359, 368.

⁷⁴ Turner 1989, 589, № 10218—10219.

⁷⁵ См., например, Преображенский 1958, 577.

⁷⁶ Засвидетельствовано в XVII в.: Одинцов 1980, 127, см. о слове *жеребчик* там же, 54—55.

значении (также отраженном в санскрите), относящемся не к мужским символам, а к женщинам или самкам (кобылицам), сопряжено и название авест. *Mūš-* — злой паирики (женского дэвовского существа)⁷⁷, в позднейшей традиции *Mūš-par(-ik)*. В «Бундахишне» она называется «разбойничьей» (пехлев. *duž-dēn*, авест. *duž-daēnā* ‘враждебный по отношению к религии = зороастрийскому вероучению’). По словам этого памятника, она была привязана к колеснице солнца⁷⁸ (как лошадь?), с которым, как и с луной и звездами она, как и Гозихр (созвездие Дракона), соотнесена в качестве их «полководца». Истолкование этого персонажа, сопоставляемого с названием мыши, достаточно затруднительно. Но в пользу предлагаемого сравнения с гиппологическими терминами могло бы говорить наличие у этого дэвовского существа хвоста, имевшего название общеиранского происхождения: пехлев. *dumb-ōmand-* ‘хвостатый’⁷⁹, *dum(b)-ak* (> арм. *dmak*), перс. *dum* ‘хвост’, белуджск. *dummag*, курдск. *duw*, авест. *duma*, афган. (пушту) *ləm*, йидга *lim*, мунджан. *lum*⁸⁰, язгулям. *dom*, шугнан. *dum*, сарыкол. *дыт*, ишкашим. *дымб*⁸¹, вахан. *дымб* (в двух последних памирских языках заимствования?); хотано-сакск. *dumaa-*, хорезм. *δwm*, осет. *dy/umaeg* ‘хвост, курдюк’⁸², согд. *δwnp’k* (= [*dumbāk*]?) ‘хвостатый’⁸³, ягноб. *du(y)m* ‘хвост’. В ягнобском секретном языке

⁷⁷ Bartholomae 1979, 1189.

⁷⁸ Чунакова 1997, 185, 272, 327, примеч. 54—55; ср. популярный пересказ, цитирующий прежние переложения (иногда далекие от подлинника): Рақ 1998, 92, 491. Из вероятных архетипических аналогий ср. у Маяковского: «Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным».

⁷⁹ Ср. Bartholomae 1979, 1189.

⁸⁰ Грюнберг 1972, 320. О возможных истолкованиях отношения к афганской и сходным ареальным формам ср. Эдельман 1986, 169—170 (согласно Соколовой 1973, 60, афганское развитие могло повлиять на мунджанский).

⁸¹ Пахалина 1959, 197; Соколова 1967, 46, 125; 1973, 210 (32), 222—223 (15), примеч. 5, где отмечена возможность двойного истолкование ишкашимского слова как исконного (с развитием **u* > *ь*, Соколова 1967, 124—125) или заимствования. По отношению к ваханскому слову с аналогичным гласным (там же) объяснение из таджикского принято в словаре: Грюнберг, Стеблин-Каменский 1976, 340 (ср. *дымба/о* ‘курдюк’, *дымбыр* ‘бесхвостый’, Пахалина 1975, 196), в значении ‘(конский) хвост’ в ваханском обычно используется *bičkām* (Грюнберг, Стеблин-Каменский 1976, 306; Пахалина 1975, 184), ср. ниже о ваханском табуистическом названии медведя с этим вторым элементом.

⁸² Абаев 1958, I, 381; Миллер 1962, 39, § 7.1.

⁸³ Реконструкция произношения по Gauthiot 1914—1923, 88, 109, 131 (§ 96, 112, 130): 1920—1928, 140. В согдийской грамматике (Benveniste 1929, 94, § 75, 2) Бенвенист предполагал наличие того же элемента во второй части слова *p’r-δwnph*, встречающегося только один раз (при описании роскошного убранства слонов) в Vessantara Jātaka, 1419, но в своем издании этого текста он ограничивается переводом «подхвостник», основанном на приводимом в особом примечании сравнении с персид. *pār(l)dum* (> арм. *Aprdum* = **pardum*): Benveniste 1946, 81, 98—99, 115.

и в некоторых фольклорных текстах лошадь называлась *rubĕ-dŭma* < 'веник, метла' + 'хвост'⁸⁴. Другое секретное название лошади *dym-zŭr*⁸⁵ отличается обратным порядком элементов словосложения ('хвост' + 'веник, метла') и тем, что второй из них представляет собой таджикское слово (со значением 'метла из ветвей дерева'⁸⁶). Сочетание этого названия конского хвоста с обычным обозначением коня часто встречается в ягнобских фольклорных текстах⁸⁷.

В «Бундахишне» в мифологическом контексте эти же слова соединяются при описании коней как ипостасей Тиштара и Апоша⁸⁸. При этом этимология названия хвоста, связывающего общеиранское слово с др.-верх.-нем. *zumpfo* 'пенис'⁸⁹, остается в том же семантическом кругу, который предположен выше для совпадающего родственного санскритского и славянского гиппологического термина.

2. Балто-славяно-арийские (= индоиранские) соответствия. II: транспортные и пространственно-временные термины, образованные от корня *wert- 'вертеть'. С гиппологическими терминами по своему употреблению прямо связаны некоторые из индоиранских слов, образованных от индоевропейского корня *wert- 'вертеть'. Их формальные соответствия в славянском передают значения, связанные с категориями пространства и времени:

А. Основа с суффиксом *-men-: диалектное индоевропейское *wert-men-. В ведийском существительное *vart-man-* имеет значение 'след колеса, путь, дорога'⁹⁰ в гимне Марутам: *vartmāni ēṣām ānu rīyate ghṛtām* 'следом за ними на их пути струится жир'⁹¹ («Ригведа», I, 85, 3). Это значение сохраняется в более поздних индо-арийских языках у самого слова и многочисленных его производных, в частности, в сложных словах, его включающих⁹².

⁸⁴ Андреев, Пещерева 1957, 315 (там же о параллельных табуистических названиях животных с тем же вторым элементом в других памирских языках: вахан. *n((o)u);((i)u)r-dum* — 'медведь' и др.).

⁸⁵ Хромов 1972, 167 (без объяснения).

⁸⁶ Андреев, Пещерева 1957, 368.

⁸⁷ Андреев, Пещерева 1957, 88, № 10, фраза 26; 94, № 14, фраза 43. 189, № 41, фраза 71, 206, № 44, фраза 65; см. также: Ivanov 1999, 230, примеч. 390; 2000, 357, ср. мотив хвоста жеребенка: Андреев, Пещерева 1957, 193—194.

⁸⁸ Чунакова 1997, 189 (18v), 274.

⁸⁹ Buck 1988, 210 (библиография).

⁹⁰ Grassmann 1873, 1223 (единственный пример); Macdonell 1972, 24; 274. Ударение может реконструироваться на основании сравнения ведийского со славянским, где в парадигме *c* в восточнославянских диалектах отражена акцентуация энклиноменных форм: Зализняк 1985, 256, 283.

⁹¹ Елизаренкова 1989, 103.

⁹² Turner 1989, 662—663, № 11366.

В славянском аналогичное имя существительное через представление о 'коловороте' получает значение 'время' (а в некоторых контекстах — 'отклонение' > 'супружеская измена')⁹³.

Давно уже было отмечено М. М. Покровским (Покровский 1928) точное семантическое соответствие в развитии исходного значения корня **wert-* в слав. **verme* и лат. *annus vertens*⁹⁴. Семантические параллели латинскому и славянскому можно обнаружить как в древнеиндийском, так и в иранском: санскрит. *ṛtu-vṛtti* 'год', *ṛtūām parivarta-* 'длительность периода времени' и хотанско-сакск. *bada* < **varta-* 'время'⁹⁵. Но при полном семантическом сходстве в этих словах использованы другие суффиксы.

Временное значение этого корня связано со специфической восточно-иранско-славянской изоглоссой, обнаруживаемой в ягнубск. *xur a-zi-wort* 'солнце повернулось' (о зимнем солнцестоянии)⁹⁶, буквально совпадающей по внутренней форме и смыслу с русск. *солнце-ворот*. Ягнубская глагольная основа исторически тождественна согд. будд. *z(y)wrt-* 'повернуться'⁹⁷ < **uz-vart-*. Из других ирано-славянских параллелей в сочетаниях превербов с этим корнем ср. также: согдийск. *prw'rt* [= **par-wart*] 'соглашение, договор, документ'; *prw'rt* 'повернуть, изменить'⁹⁸; ср. славянские сочетания типа русск. *пере-вернуть*.

Б. Основа с суффиксом *-*t-i-*: диалектное индоевропейское *vrt-ti-*. В древнеиндийском и в среднеиндийском и новоиндо-арийских языках⁹⁹ это имя существительное имеет значение 'способ или средство к существованию, закон, возможность'. В славянском и здесь обнаруживается преимущественно временное значение: ст.-слав. *врѣсть* 'возраст, ряд'.

В. Основа, произведенная посредством суффикса *-*to-* и сложных суффиксов, от него образованных: диалектное индоевропейское *vrt-to-*. Можно полагать, что со славянским **vr̥sta* (ст.-слав. *врѣста*) можно соотнести индо-арийск. *vṛtta-* > пали *vatta*.

Архаическая русская система *верстовых столбов*, расположенных вдоль дороги через определенные промежутки (длиной в *версту*), отражена не только в достаточно ранних документах и прозаических текстах, но и в русской поэзии от Пушкина до Цветаевой. В том виде, в каком она функциони-

⁹³ Jakobson 1971, II, 652. См. об исследовании этого развития значений у Флоренского и Якобсона: Иванов 1995, 212—213.

⁹⁴ Покровский 1928; ср. о других сходствах в употреблении этого корня в латинском и ведийском: Haudry 1979, 256—257 (3.2.6.6).

⁹⁵ Leumann 1966, 472; Bailey 1967, 223. К глаголу *bad-< *varta-*: Emmerick 1968, 92.

⁹⁶ Андреев, Пешерева 1957, 368.

⁹⁷ Benveniste 1946, 71—72, строка 1201.

⁹⁸ MacKenzie 1976, 123.

⁹⁹ Turner 1989, 699, № 1207.

ровала в позднейший период, она испытала влияние транспортной организации Орды. Но начальными истоками эта система и связанная с ней терминология уходит к гораздо более далеким корням. В частности, ее прототип можно видеть в иранском «лесе кругов», сооружаемых во время конных стачек. Он отражен, в частности, в авестийских выражениях типа *nava frāθwārāsama razurəm* ‘лес девяти кругов’, который упоминается при описании состязания колесниц, запряженных лошадьми, в *Yašt* 5.50¹⁰⁰. Славянская система, сложившаяся еще до последующих степных воздействий на восточных славян, могла объясняться исторически влиянием этих иранских обычаев и обрядов на те древние славянские, для которых можно предположить более ранний балто-славянский и индоевропейский прообразы. О значительной близости ранних балто-славянских обозначений пространства и времени и соответствующих индоиранских терминов свидетельствует западнобалтийск. древнепрусское сложное слово, включающее в качестве второго члена производное от *wert-: др.-прусск. *aina-wārst* ‘единократно’. Только суффикс числительного (в древнепрусском имеющий форму, характерную для западноиндоевропейских языков) отличает этот древнепрусский термин от сходного по смыслу индоиранского слова, отраженного в ведийск. *eka-vṛt-*, новоиндо-арийск. непал. *yeuṭā*, ассамск. *eṭā*¹⁰¹; месопотамск. арийск. *a-i-ka(-) wa-ar-ta-an-na* ‘один поворот (на стадионе); круговая дорожка на стадионе для тренировки коня’¹⁰². Сходным образом построено сложное слово, лежащее в основе ведийск. *tri-vart-(u)-* ‘тройной’ (в «Ригведе»), ‘тройная веревка’ (в «Атхарваведе»); среднеиндо-арийск. *tri-vṛt-* (откуда название растения *Convolvulus turpethum* в различных новоарийских языках¹⁰³), *tri-vart-man* ‘хождение по трем путям’ (*Śvetāśvatara-Upaniṣad*), *tri-vart-ma-ga* в эпическом санскрите (*Mahābhārata*); месопотамск. арийск. *tr-(u)vart-anna-* ‘три поворота (на стадионе); три круговых дорожки на стадионе для тренировки коня’. В этом хронотопе пространственные меры обозначались производными от *wert-.

В месопотамском арийском все сложные слова, обозначающие по этому типу нечетное число поворотов или круговых дорожек (1 — *aika-wartanna*, 3 — *tr-(u)vart-anna*, 5 — *panza-vart-anna*, 7 — *ṣat-vart-anna*, 9 — *na-vart-anna*), включают в качестве второго члена месопотамск. арийск. *wart-a(n)n-a* ‘пово-

¹⁰⁰ Hauschild 1959; Гамкрелидзе, Иванов 1984, II, с. 547, прим. 2.

¹⁰¹ Текст конноводческого трактата митанийца Киккули, Turner 1989, 119, № 2477; Ivanov 1975; Иванов 1979; 1980.

¹⁰² Kammenhuber 1961, 80, 294; Starke 1995. Во II-ой таблице, I, 17, написано как одно слово, в I, 22 как 2 слова.

¹⁰³ Turner 1989b, 345, № 6055.

рот, круг, круговая дорожка для тренировки коня на стадионе'. Это существительное, переводящееся хеттской глоссой *wahnuwar* 'поворот' (от глагола *wahnu-* 'поворачивать'), произведено от месопотамск. арийск. глагола *wart-* «поворачивать», который встречается в гибридной хеттско-месопотамско-арийской конструкции *anda wartanzi* 'они заворачивают (внутри)'¹⁰⁴ с хеттским глагольным окончанием, присоединенным к месопотамско-арийской основе, которой предшествует хеттский преверб.

Этой месопотамской арийской основе в восточноиранском соответствует в скифском осетинск. *aewwerdyn* 'тренировать коня перед скачками'¹⁰⁵, ср. перс. (фарси) *gardūn* и др.-(зап.)-иранск. **Varta-aspa* 'тренер лошадей', переданное в аккадской клинописи как *U-ma-ar-ta-as-pa-*¹⁰⁶. Родственное имя существительное используется в качестве названия колесной повозки, колесницы: авест. *vāša* 'повозка', зап.-иранск. парфянск. *wardyūn* 'повозка, колесница', вост.-иран. согд. *wrtin* 'колесница'¹⁰⁷, осетинск. *waerdon* 'повозка'; из скифо-кавказского аланского диалекта термин был заимствован в северокавказские нахские языки (чеченск. *varda[n]*, ингушск. *vorda* 'повозка'), лакский (*warda*) и абхазо-адыгские языки: абхазск. *a-wardən* 'повозка', абазинск. *wandər* < **wardən*¹⁰⁸. В славянском соответствующее существительное имеет значение 'веретено': русск. *веретено*, ср. аналогичное значение у восточноиранских производных от того же корня с другим суффиксом орудий действия: осетин. *waedaert(t)* 'массивное деревянное кольцо, надеваемое на веретено для придания ему тяжести и вращательной инерции', 'прясло'¹⁰⁹; ягнобск. *wātra* 'ручное веретено'¹¹⁰.

К общим славяно-индоиранским временным терминам можно отнести также и обозначение полнолуния посредством сложного слова с первым элементом, восходящим к индоевроп. **p[^h]-H-n-* 'полный': др.-инд. *pūrṇā-mās*: авест. *parəpō-mah-*¹¹¹, вост.-иранск. скифск. Μύσπ[ε]λ[λ]η ἢ Σελήνη παρὰ Σκόθαζ (Гес.); русск. *полн-о-луние*; похожее тохарское обозначение может быть заимствованным из иранского.

¹⁰⁴ Текст конноводческого трактата митаннийца Киккули, Kammenhuber 1961.

¹⁰⁵ Bailey 1957, 64.

¹⁰⁶ Zadok 1975.

¹⁰⁷ См. некоторые контексты употребления слова в буддийском согдийском в связи с колесницами, запряженными конями: Benveniste 1946, строки 7516, 9866, 1170; о манихейском согдийском, Gershevich 1954, 4, 157, 184.

¹⁰⁸ Абаев 1979, IV, 92; Ivanov 1999, 229, примеч. 364.

¹⁰⁹ Абаев 1979, IV, 84—85.

¹¹⁰ Андреев, Пещерева 1957, 351; ср. о семантических параллелях: Ivanov 1999, 134—135, примеч. 406.

¹¹¹ Scherer 1953, 61—62.

3. Славяно-индо-арийские лексические сопоставления

Прямые славяно-индо-арийские связи считаются сомнительными по географическим причинам¹¹². Однако никак нельзя быть уверенным в том, что нам хотя бы приблизительно известно расположение этих диалектов в то время, к которому могут относиться предполагаемые изоглоссы этого рода (в них может входить и часть отмеченных выше гиппологических терминов в той мере, в какой они больше представлены в индо-арийском, чем в иранском, хотя в этих случаях в последнем они могли быть и утрачены позднее). При предположении индо-арийской компоненты в тех северокавказских названиях (в частности, гидронимах), которые были обнаружены еще Усларом, а потом Кречмером и за ним следовавшими учеными, в частности О. Н. Трубачевым¹¹³, нельзя считать исключенной индо-арийскую принадлежность хотя бы части обитателей той области, которая соотносится с майкопской культурой. Для ранней эпохи складывания *satəm*-ного диалектного ареала славянский мог соседствовать с индо-арийскими диалектами этой территории или во всяком случае мог быть связан с ними достаточно устойчивыми торговыми путями. Одна из наиболее ярких изоглосс этого рода может помочь именно прояснению экологической характеристики ареала этих контактов.

Особо близкое сходство может быть видно в санскрит. *pra-hlāda* 'остывание, прохлада' (: *hlāda-te* 'остывает') и ст.-слав. *про-хлада* (< **xold-*). Соответствие др.-инд. *h-* и загадочного слав. *x-* напоминает то объяснение славянской фонемы из (восточно-)иранского, которое в последнее время предлагалось для нескольких отчасти сходных случаев¹¹⁴. Хотя санскритское слово допускает сближение с греч. *χάλαζα* 'град', в этом последнем случае возможно другое славянское соответствие: ст.-слав. *жабѣница* 'слякоть'. Разница может определяться разной хронологией: первый термин мог быть заимствован из (индо-)иранского, тогда как второй может быть достаточно древним (диалектным восточно-) индоевропейским наследием.

В одном случае специфическое славяно-индо-арийское соответствие как будто указывает на восточные пути заимствования, в случае славянского в переводном тексте соотносимые с Красным морем. Санскритское *kṛmī-* 'красная краска, произведенная шелковичным червем', *kṛmī-raga-* 'окрашенный в красный цвет (с помощью лака, производимого червем)', *kṛmī-varṇa* 'красная крас-

¹¹² См., например, Витчак 1994, 28; предлагаемая в этой статье этимология при всем ее остроумии более чем сомнительна, во-первых, из-за недостоверности имени древнерусского бога: скорее всего, речь идет о части имени (*Семаргла*), к тому же морфологически не обособляемой; во-вторых, из-за изолированности того фонетического развития (*-*gl-* < *-*dl-* > -*dr-*), которое предполагается этой этимологией, основанной только на созвучии.

¹¹³ Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. 2, 917—918 (с библиографией); Трубачев 1998.

¹¹⁴ Абаев 1965; Golab 1973; Reczek 1968.

ка, красная одежда', *kṛmi-ranga*- 'пурпурный, темно красный цвет' (ср. семантически сходное согдийск. *krm'yr* и армянск. *karmir*, заимствованное из иранского, который в данном случае представляет меньшее число прямых соответствий славянскому, чем индо-арийский) имеет точное соответствие в ст.-слав. **чръмное море** «ή ἐρυθρά θάλασσα» — 'красное море', **чръмноуєтъ сѧ небо** 'πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός' — 'небо стало багровым', **чръвленъ** 'красный', ср. рифменное слово в белорусск. *вермяний*¹¹⁵. Близкие соответствия этому рифменному образованию с тем же значением обнаруживаются и в некоторых балтийских и германских языках: прусск. *wortuan*, *urminan* 'красный цвет', др.-англ. *wurta* 'тугех', др.-фриз. *worta* 'пурпурный' при др.-англ. *wurt* > *worm* 'червь', готск. *waurms* 'червь'; ср. лат. *vermis* и возможно беот. *ῥάρμχος* (< **wṛm*), а также *ρόμος* (Гес.). Культура насекомых, производящих (как шелковичный червь) красную краску, была распространена в древности в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европе и считается заимствованной с Востока.

Но в большинстве индоевропейских диалектов слова, родственные приведенной рифменной паре, означают мифологического червя, предстающего в поэтическом облики миниатюрного дракона — противника Бога Грозы или же самого дракона в образе огромного червя¹¹⁶: **k^wrmi* > др.-ирл. *cruim(h)*. корнуэл. *pryf*, брет. *precv*; албанск. *krimbh*, ст.-литовск. *kirmis* (откуда соврем. лит. *kirm-elė*), латыш. *šerms*, слав. **čьrm-čьrv-* (с чередованиями согласных в конце основы того же типа, что и в приведенных рифменных парах); др.-инд. *kṛmi-*, восточно-иранск. язгулемск. *karm*, шугнанск. *čirm*, новоперс. (фарси) *kirm*. Сдвиг значений в иранском, в этом семантическом развитии отличающегося от индо-арийского и славянского, особенно отчетливо обнаруживается не только в пехлевийск. *kirm* 'дракон', приводимом в данной связи Уоткинсом¹¹⁷, но и в аналогичном осетинск. *kalm*-**kṛm-* 'червь, змей'¹¹⁸ и в сходном двойном значении ягнобск. *kirm* (из согдийского)¹¹⁹. На фоне этой иранской семантической инновации более отчетливо проступает сходство славянских и древнеиндийских производных от этого корня.

4. К славяно-иранским лексическим связям

А. Религиозный и фольклорно-мифологический словарь. Возможности сопоставлений славянского словаря (и отдельно древневосточнославянского дописьменного времени) с иранским со времен известной работы Мейе обсу-

¹¹⁵ См. дальнейшие примеры и источники: Herne 1954, 33—48.

¹¹⁶ Watkins 1995, 416, 521—522.

¹¹⁷ Там же.

¹¹⁸ Миллер 1962, 66; Абаев 1958, I, 569.

¹¹⁹ Андреев, Пещерева 1957, 273.

ждались и уточнялись много раз¹²⁰. Вслед за Мейе и Якобсоном особое внимание было обращено на вероятное воздействие иранских религиозных представлений (в частности, митраистических) на славян¹²¹. То, что заимствованными у славян оказываются парные названия дуалистически противопоставленных названий основных полюсов мироздания, позволяет думать, что у славян следы давнего индоевропейского дуализма¹²² оживились благодаря последующим иранским воздействиям, шедшим в том же направлении. Как и по отношению к языку, особенно глубокое влияние в сфере религии оказалось возможным именно из-за изначального родства взаимодействовавших традиций.

Особенно интересными представляются слова, обозначающие общий дуалистический взгляд на мир тех иранских племен, которые повлияли на религию своих славянских соседей. Негативное обозначение дурного ряда явлений — вост.-слав. **xudъ* — до сих пор объяснялось обычно сравнением с др.-инд. *kṣudra-* ‘маленький’¹²³. Однако представляется возможным объяснить слово как славянское заимствование из скифск. **fud-* > осетин. *fɨd/fud* ‘плохой, дурной’. Это осетинское имя, как и его славянское соответствие, особенно часто выступает в качестве составной части сложных слов. Семантические обертоны русск. *худой* ‘тощий’ сопоставимы с аналогичным значением осетин. *fɨd-x₂ɨz* ‘дурно выглядящий, истощенный’. Русская пословица *нет худа без добра* близка к осетин. *fɨd, xorz aem ta sɔzur* ‘ни плохого, ни хорошего ему не говорите’. По употреблению русскую сравнительную степень *хуже* можно сопоставить с осетин. *fɨddaer/fuddae*. В славянском можно предположить перекодирование заимствованного скифск. **fu-* > *xu-*, ср. к фонетической мене согласных передачу скиф. **huška* (осетинск. *xusk'ae/x₂ɨsk'* ‘сухой’) посредством греч. Φυσκῆ в качестве названия Высохшего Устья реки у Птолемея. Функция и этимология второй именной основы в согдийском сложном слове *'βɨz'krtyh = *aβiza-kar-ti* ‘плохое/злое действие’ аналогичны структуре осетин. *fɨd gandrae* ‘злое посвящение животных, не подходящих для жертвы, памяти умерших людей’, ср. подобное сходство между согд. *ze-kar* < **dus-kara* и осетин. *fɨlɨd-gaeneg* ‘злодей’.

Предполагаемое заимствование этого отрицательного обозначения из иранского в славянский согласуется с ранее установленным заимствованием соответствующего положительного термина: русск. *хорош-ий* и древнерусское имя *Хорса*, одного из тех языческих богов, чьи идолы у своего дворца в Киеве

¹²⁰ Meillet 1926. Из обширной литературы достаточно назвать: Зализняк 1962; 1963; Абаев 1965; Торогов 1968; Топоров 1973—1995; Поль 1975; Reczek 1985; Cornillot 1994.

¹²¹ Торогов 1968; Топоров 1973; 1983; 1989; 1995.

¹²² Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. 2, 776—779, 791, 885.

¹²³ См. о сопоставлении со старославянским: Schwartz 1989, 119, § 190. Семантическая сторона этой традиционной этимологии сомнительна, как и фонетические соотношения. ею предполагаемые.

поставил Владимир, возводятся к скифск. **xors-*. Эта основа отражена в осетин. *xorz/xwarz* ‘хороший, добрый’, *xwarz Nikkola* ‘добрый святой Николай’ (эпитет святого в осетинском фольклоре), аланск. *Hurz* в язигском собственном имени служившего у монголов аланского военного, которое передается в китайской транскрипции как [*k'əw-rɣ'-tɕ'i*¹²⁴]. Возможно, что то же имя входит в состав массагетск. *Харсáматис* = осетин. *xorz-* + *amond* ‘наделенный хорошей судьбой’¹²⁵. Если предлагаемые объяснения славянских терминов правильны, то оба названия полярно противоположных характеристик, выражающих дуальную картину мира, были заимствованы из восточно-иранского. У восточных славян оба эти названия восходят к скифско-осетинскому. Можно также заметить, что и другая славяно-иранская изоглосса (к которой может быть примыкает и соответствующее слово в германском) связана с выражением одного из главных негативных понятий в дуалистической системе: ст.-слав. *срамъ* < **sormъ*: иран. **fsarma-* > авест. *fsarəma*, перс. *šarm*, белуджск. *šarm*, пашту *šarm*, осетин. *aefšarm*, согд. *šβ'r* ‘стыд, скромность’¹²⁶, йидга *šarm/šfarm*, мунджанск. *šfyrəm*¹²⁷, хотано-сакск. *kšārmā*¹²⁸.

Если принять гипотезу, по которой скифские и осетинские слова того корня, к которому возводится рус. *хороший*, восходят к терминологии солнечного культа, они могут быть тогда связаны со скифск. *Хор-* /**hvar-* / осетин. *xor-/xur-* ‘солнце’. С этой точки зрения др.-русск. имя бога Хорса можно сравнить также с перс. *Xurset*, авест. *xvarə xšaētəm* ‘Солнце-правитель, Солнце как Царь’¹²⁹.

Из слов этого семантического круга, сохранившихся преимущественно в фольклорном употреблении, особый интерес представляет русск. *жар-птица*, точно отвечающее осетин. *zaer-vatykk* ‘ласточка’ (в нартовском эпосе *adanlimaen zar-batyg* ‘друг людей ласточка’) < **zara-patuka-* (от *zaerin* ‘золото’, ср. культовое имя солнца *Xur Zaerin* и хотано-сакск. *ysarra* ‘золото’, с ко-

¹²⁴ Раннемандаринская фонетическая значимость иероглифических знаков дается согласно реконструкции: Pulleyblank 1984, 113 (3,4,7, Liu I k), 241 (№ 188 и 227), 252 (№ 1451). Восстанавливая звуковую структуру этого слова, Абаев (1949, 254, примеч. 4) ссылаясь на предположение Драгунова о возможном северо-западном произношении спиранта *x-*, ср. о диалектном изменении **k* > *x-*: Norman 1974; Старостин 1989, 55, 116.

¹²⁵ Абаев 1949, 254, 594; 1989, IV, 219. Объяснение русск. *хороший* из осетинского было предложено в работе Обнорский 1929; относительно объяснения слав. *x-* по Абаеву см. выше.

¹²⁶ Абаев 1958, I, 482—483; MacKenzie 1976, 25, 133. Славянская форма обнаруживает фонетическое упрощение начальной группы согласных того же типа, что и осуществившееся преимущественно в западноиранском.

¹²⁷ Грюнберг 1972, 359.

¹²⁸ Bailey 1967, 54—55.

¹²⁹ Топоров 1989; 1995, 208.

торым связывают и название куропатки), ягнубск. (из согдийского) *murγ-e zarrin* ‘жар-птица’¹³⁰.

В восточнославянском предполагаются и другие иранские заимствования в этом семантическом поле: др.-русск. **Гемар(ъ)гль**, один из богов пантеона Владимира, представляет вероятное славянское соответствие перс. *Simurg/γ*, пехлеви *Sēnmurγ*, авест. *saēna-marəga*¹³¹, осетин. *saw-maelgae*, которое как название птицы сближается со скифск. *Муруето* в качестве тотемистического названия племени, и иранским заимствованием в армян. *sira-marg* ‘павлин’¹³².

Р. Якобсон, одним из первых смело развивший идеи Мейе об иранском влиянии на славянскую мифологию, несколько раз писал об имени чешского и словацкого демона огня и золы (пепла), чей образ можно возвести к древнему мифологическому символу. По Якобсону, разные варианты этого западнославянского имени — чешск. *Rarog, Rarax, Rarašek* — сопоставимы с др.-русск. **Сварогъ** (имя бога, входившего в пантеон Владимира). В этот круг вероятных сближений включается русское имя мифологической птицы *Рах-Страх* и мифологические птицы *Вострогор, Вострогот* в архаической духовной Голубиной книге, содержащей наряду с вероятными следами представлений индоевропейской древности также разительные аналогии с индоиранскими поверьями. Указанные имена сопоставимы с авест. *Vərəθraγna*¹³³. Вместе с тем хотя бы часть этих славянских мифологических имен можно сопоставить и с осетин. *aert-xutaeg/aert-xotug* ‘зола = прах огня’. Для сравнения со славянским *Svarož-ič* > др.-русск. **Сварожичь** (производное от **Сварогъ** с суффиксом происхождения *-ичь*) особенно примечательно осетин. сложное слово *Aert-xūloron* ‘божество огня и солнца’ (которое может быть благодарственным, но отвечает и за кожные болезни); посвященный этому богу священный новогодний пирог съедает вместе за общей трапезой вся семья, не приглашая чужих; в праскифско-согдийском диалекте восточноиранского можно восстановить общий источник для этого слова. Он отражен в согдийском слове, тождественном осетинскому по составу элементов, расположенных в обратном порядке: согд. *γwr’rδ* [**xōr-arθ*]. На этом архаическом сочетании основано древнее осетинское имя бога *Xur-at-xuron* ‘Огонь, товарищ Солнца’¹³⁴. Другие следы иранского по происхождению культа огня, распро-

¹³⁰ Так переводится в русском тексте сказки, буквально «золотая птица»: Андреев, Пещерева 1957, 54—55, 58—59, сказка № 5.

¹³¹ Тревер 1937; Ворт 1978; Топоров 1995, 209.

¹³² Есть и некоторые другие названия птиц, являющихся вероятными славянскими заимствованиями из иранского: русск. *сыч*, укр. *січ* : согд. *suc* ‘утка’.

¹³³ Jakobson 1985, VI, 7, 26—28, 47—52; Топоров 1983; 1989; Ivanov 1999, примеч. 364.

¹³⁴ Dumézil 1978, 141—142; Ivanov 1999, 159, примеч. 75. Согласно Дюмезилю, это имя в архаической осетинской молитве, записанной Гатиевым (1876), нужно понимать: «сол-

странившегося на большой территории юго-восточной Европы, на которой обитали и славяне, сохранены в сакральных терминах типа сербск. *жива ватра* с соответствиями в широком карпато-балканском ареале¹³⁵: албан. *valotër* 'очаг', венгер. *vatra*, румын. *vatră* 'огонь', цыган. *vatr-ol-a* 'костер на месте лагеря > лагерь', словен. *vatra*, чешск. *vatra*, польск. *watra*, *watrysko*, укр. *ватра*, *ватрыце*, русск. *ватрушка* (ср. выше об осетинском обрядовом пироге). Хотя пути распространения этого термина остаются дискуссионными, появление начального *v- кажется возможным связать с воздействием тех славянских диалектов, где наблюдается подобное явление. Поскольку культ огня составлял одну из важнейших черт древней иранской религии¹³⁶, а иранск. **ātar* 'огонь' (авест. *ātar*, пехлеви *ātaxš*, курдск. *ār*, пушту *or*, мунджан. *yūr*, йидга *yūr*, ягноб. *ol*, шугнан. *uōc*, язгулем. *ues*, хорезм. 'dr, бактр. AΘOŠO, согд. 'rō, осет. *aert*¹³⁷) играет ключевую роль в соответствующем семантическом поле, распространение этого слова может пролить свет на пути влияния.

Пользуясь термином, который Е. Д. Поливанов ввел для описания современных среднеазиатских диалектов, славянские языки, во всяком случае в отношении таких семантических полей словаря, как религиозное, можно признать иранизованными (как можно считать иранизованными некоторые другие индоевропейские языки: армянский, тохарские). Более половины известных нам богов Владимира носят имена, которые предположительно заимствованы из иранского. Вероятными иранскими заимствованиями было не только основное слово со значением 'бог', но и ряд от него образованных слов и оборотов: например, мидийск. *Bag-ā-farnah* 'величие, слава, сияние бога' отождествляется с праславянской фразой **xvala... bog(u)*, (Dat.Sg), которая восстанавливается на основе др.-русск. *Бог-оу-хвалъ* = чешск. *Bohuxval* = польск. *Boguchwał*¹³⁸. Та-

нечный огонь, сын Солнца» (см. об этом уже Миллер 1882, II, 266—267). В авестийской религии Огонь считается сыном Ахура Мазды (именем последнего в хотано-сакском и иш-кашимском называется Солнце).

¹³⁵ Клепикова 1973; Нанр 1976, 1981; Huld 1974; Orel 2000, 37. Не кажется вероятным происхождение слова из иранского заимствования в цыганском (Machek 1957, 124): цыганское слово (см. о его диалектных чешских вариантах Ješina 1886, 97, 105) считается в свою очередь заимствованным из румынского: Wolf 1989, 239, № 3648; Boretzky, Iglá 1994, 298.

¹³⁶ Hertel 1925—1931; Kramers 1954; Boyce 1968; Перихаян 1983, 161, 335, 337. Автору настоящей статьи посчастливилось еще в годы учебы в аспирантуре узнать от своего учителя В. И. Абаева вариант того описания древнеиранского культа огня и его терминологии, которое им предполагалось к изданию во 2-м томе «Осетинского языка и фольклора» (набор книги, которую я читал в рукописи, был рассыпан).

¹³⁷ Benveniste 1929, 91; Соколова 1967, 14, 125; 1973, 9, 48; Хромов 1972, 121, 127; Грюнберг 1972, 391; Стеблин-Каменский 1981, 321; Эдельман 1986, 172—175.

¹³⁸ Milewski 1969, 222. Анализ Милевского был позднее развит Витчаком и Решком.

кие обороты входят во множество сочетаний с иранским и праславянским именами бога, как, например, др.-перс. *bagahya rādiy*, ст.-слав. **Бога ради**¹³⁹. Использование в христианском контексте таких древних дохристианских оборотов представляет значительный интерес для понимания значимости этого иранизованного слоя лексики в позднейших переводах с греческого. Именно потому, что славяне уже были знакомы с достаточно развитой религиозно-философской системой и ее терминологией, усвоение новых христианских смыслов не оказалось трудным.

Среди старых восточно- и западнославянских сложных имен существительных с первым элементом **bog-a-* иранского происхождения особый интерес представляет название богатыря. Богатырский сказочный и повествовательный эпос у иранских, тюркских, монгольских и других народов Средней Азии и Кавказа имеет общие черты со славянским, что было показано Стасовым, Потаниным, Вс. Миллером, Жирмунским¹⁴⁰. Представляется, что эти фольклорные связи отражены и в названии богатыря, которое в качестве миграционного культурного термина переходило из одной семьи языков Евразии в другую. Оно представляет собой сложное слово, первой частью которого было иранское название бога. Для второй части словосложения исходным можно было бы считать общеиндоевропейское название «мужа, носителя силы мужественности». В южноанатолийском и греческо-армянском диалектном ареале слово выступает с протетическим *a-* (лувийск. *annar-* : *annari-* ‘могущество, мужественность’, *annar-ummi-* ‘могучий, мужественный’, др.-греч. ἀνήρ, арм. *ayr* ‘мужчина’), которому в североанатолийском соответствует *i-* в *innar-*: хеттск. *innar-aw-atar* ‘сила, мощь, мужественность’, *innar-aw-ant-* ‘сильный, мощный, могучий, наделенный половой силой’. В других индоевропейских диалектах начальный гласный (по-видимому, из сочетания ларингального с последующим редуцированным гласным, т. е. **(ə)*, исчезает: др.-инд. *nar-*; авест. *nar*; алб. *njer* ‘мужчина’. Произведенная от этого имени основа на **-t-* (словосложение др.-инд. *sū-ṇṛ-t-ā* ‘жизненная сила’ [с долгим *ī* в начальном слове, вызванном исчезнувшим ларингальным в начале корня] = др.-ирл. *so-nir-t* ‘сильный’; *ner-t* ‘мужество; войско’; вост.-иранск. хотан-сакск. *nadaun* < **ṇṛ-t-ā-van*¹⁴¹; лит. *nér-tėti* ‘сердить(ся)’, др.-пруссск. *ner-t-ien* ‘гнев’) известна также и в фольклорном и мифологическом употреблении как имя

¹³⁹ Структурная параллель была отмечена в замечательном для своего времени труде: Kossowicz 1872 (Glossarium 44); Meillet 1926. В фарси древняя конструкция преобразована в *khodārā*, где *rā* из *rādiy*.

¹⁴⁰ Миллер 1892; Стасов 1894; Потанин 1899; Жирмунский 1974; 1979.

¹⁴¹ Bailey 1967, 127.

осетинских героев-нартов, распространившееся по всему Кавказу, и древнегерманских богов: др.-исл. *Njörðr*, ср. имя др.-герм. богини *Nerthus*. Следуя предположению Бэйли, принятому Винтером¹⁴², можно допустить, что от основы, родственной осет. *nart* 'эпический герой, один из 100 братьев-нартов', при метатезе группы **rt* > *-tr-* и изменении начального слогового **ŋ* > *alä*, могла образоваться незасвидетельствованная иранская основа **atr-*. Подобной трансформацией исходной формы можно было бы объяснить (при допущении в нем иранского заимствования или же слова неизвестного индоевропейского языка с соответствующими звуковыми изменениями) тохар. *A atär* [*aträ* 'герой', сложное слово *atra-tampe* 'обладающий мощью героя'; *B etre* 'герой'. В сочетании с заимствованным иранским **bag-a-* 'бог' тохарское слово образовало словосложение, которое распространилось по разным 'степным' евразийским языкам (в частности, монгольским) в своей тюркизованной форме: *bay-atur* (> др.-тюркск. *batur* 'герой, богатырь'), *bay-adur*. Уже в качестве евразийского миграционного термина слово было снова заимствовано в восточноиранский осетинский (скифский): в форме *baeyatur* оно известно из грузинской хроники «*Kartlis Sxovtba*», тогда как еще раз метатезированную форму *qaebatyr* сохранил иронский диалект осетинского¹⁴³. Средневековая восточноиранская форма типа раннеосетинской близка к заимствованным восточно- и западнославянским и могла послужить источником русск. *богатырь*, украинск. *богатыр*, чешск. *bahatýr*, польск. *bohатыr*, *bohater*, др.-польск. *bohaterz* 'могучий воин, эпический герой'. Это языковое соответствие подтверждает общее происхождение давно замеченных аналогичных жанровых черт (в том числе и относящихся к герою песни — богатырю) славянского эпоса (русских былин) и сходных фольклорных композиций тюркских и монгольских сказителей, с одной стороны, осетинского нартовского эпоса и его кавказских ответвлений — с другой.

5. К славяно-иранским лексическим и деривационно-фразеологическим связям

В. Словообразовательные параллели и глагольные сочетания с прербами.

I. Из именных суффиксов, обнаруживающих особенно далеко идущие параллели, следует отметить несколько общих для иранского и славянского образований с суффиксом **-āk*, продуктивных в скифско-согдийской части восточно-иранского: 1. Ст.-слав. *зънакъ* 'σημείον', согд. *zn'kh* [*zamak*] 'знак'

¹⁴² Winter 1984, 41.

¹⁴³ Абаев 1958, II, 278; III, 231.

(*'wrn'zn'k* 'знак доверия'¹⁴⁴); 'наука; знание'¹⁴⁵, от корня *z'n/zn [zan-]* 'знать = распознать', осетин. *zonun*, привативное осетин. *aeznagon* < **a-zn-a-ka-* 'чужой, не обладающий различительным знаком племени', язиг. (XIV в.) *Znagan*; суффикс **-k-* присоединяется к долгому гласному, на который кончается производная глагольная основа от этого корня. Большинство славянских производных с этим суффиксом относятся к слою аффективных существительных, отмеченных в социолингвистическом плане¹⁴⁶; 2. Русск. *пис-ака-* (*написать*), согд. *np's'k*; осетин. *nyffyssaeg*: ср. бактрийск. глагольную форму NIBIX-TIGENDI в длинной бактрийской надписи, относительно недавно найденной в Рабатаке на Северном Гиндукуше; 3. Этот семантический тип отражен в согд. *yur'k* 'глупый'¹⁴⁷, *'ntr'k [anadrik]* 'евнух, слуга' (< 'принадлежащий к внутренней части дома'); 4. Словообразовательный тип русск. *родн-ик, источн-ик* тождествен тому, который обнаруживается в согд. *y'y'uk* 'принадлежащий источнику' (согд. *y'y*, язгулям. *hex* 'вода', авест. *xa*).

II. Более древние словообразовательные связи можно предполагать в случае таких собирательных именных форм, которые известны не только в славянском и иранском, но и в тохарском. Славянск. **-t(-)va* в формах типа русск. *плотва* может быть древним суффиксом иранского происхождения, ср. вост.-иран. *-twa*, перс. *-ha*¹⁴⁸. Но в этом случае сходство распространяется и на тохарский. Можно ли думать о приобретенном («аллогенетическом», по Г. В. Церетели) сходстве двух иранизованных индоевропейских диалектов, объясняемом в конечном счете иранским влиянием? Аналогичное распределение (в восточноиранском, славянском и тохарском) можно установить и по отношению к употреблению префикса **pe-/po-* с императивом (тип русск. *по-ид-е-те*). К лексическим изоглоссам, объединяющим те же диалекты, принадлежит ст.-слав. *рать*, пехлеви *ratak* 'порядок', тохар. *A ratak, B retke*.

III. В славянском и иранском обнаруживается значительное число одинаковых или предельно близких друг к другу сочетаний глаголов с провербами и производных образований от этих последних (см. выше о словах и сочетаниях с корнем **wert-*). Слав. **pro-dati* тождественно согд. *pr'dt, pr'dn* 'проданный'¹⁴⁹, шугнан. *pardad-*, саглич. *parde*, йидга *plar-*, мунджан. *p(ə)lor*, пушту *prōlalai* < **parādataka*, название правящей скифской династии, по Геродоту Παράδαται¹⁵⁰, осетин. *raeddyn* 'дать' < **fra-da-* 'дать' (с отделяемым провер-

?
эво пр.т
лр рт м
ПОВТУ!

¹⁴⁴ Лифшиц 1962, 63.

¹⁴⁵ MacKenzie 1976, 17, 182.

¹⁴⁶ На этот суффикс в данной связи обратил особое внимание Абаев 1949, 221—224.

¹⁴⁷ Этимологически из 'темный': Bailey 1967, 62; MacKenzie 1976, 105.

¹⁴⁸ Смирнова 1974, 37, 62—92; Молчанова 1975; Эдельман 1990, 152 след.

¹⁴⁹ Benveniste 1946, строка 1252.

¹⁵⁰ Benveniste 1929, 13.

бом в дигорском диалекте), ср. также, возможно, *raedaw* ‘великодушный’ (в случае, если и это слово восходит к аналогичному сочетанию с превербом **fra-*, к которому в качестве иранского заимствования возводится также и армян. *arat*’). В этих сходных славянских и иранских сочетаниях отразилась история отношений обмена — дарения — купли — продажи, представляющая значительный интерес для социально-экономического и этнологического изучения соответствующих периодов эволюции установлений этих народов.

Параллелизм в использовании славянского преверба и его иранского соответствия отчетливо виден в славянских производных от **pro-* + **ster-* (русск. *про-стор*, *про-стирать-ся*) и таких иранских форм¹⁵¹, как согд. *prstrt* [*parsīrt*] ‘расстелить, разостлать ковер’. От этого согдийского корня было образовано несколько названий ковров и фраз, их обозначающих: согд. *bynyk prstrn* ‘божественный¹⁵² ковер’, *ḍnn* ‘nych prst’k ‘со множеством ковров’¹⁵³, ср. хотаносакск. *bastarra* ‘ковер’, *ba-starr* < **upa-str-n-* ‘расстилать, покрывать ковром’¹⁵⁴.

Хотя при полном семантическом тождестве согд. *wpr’s* ‘вопрос’¹⁵⁵ и праславянского существительного **vъprosъ* > ст.-слав. *въпросъ* возможно исходное различие в вокализме (ср. приведенные выше формы от основы со значением ‘писать’), тем не менее сходство типов образования несомненно. Первичный индоевропейский глагол с основой на **-s-*, от которой образована эта префиксальная форма, вошел в семантическое поле слов, соотносимых с чтением, что могло сделать его источником для заимствования или префиксального калькирования.

Разительно (типологически?) сходны, с одной стороны, слав. **po-vēd-tь* > ст.-слав. *повѣсть*, русск. *повесть*, *по-вест-ка*, с другой — согд. *pwstk* ‘книга, договор’¹⁵⁶. Так же структурно аналогичны ст.-слав. *на-пасти* : *въ-пасти*, согд. *hp’t* [**an-pat*] ‘упасть’ (иранск. преверб **ham* < *som*, др.-инд. *som*, хет. *-šan*) и согд. *wp’t* [**wapa’t*] ‘упасть вверх тормашками’ (иранск. преверб **awa*)¹⁵⁷.

В связи с отмеченными выше разительными сходствами в гиппологической терминологии и в свете выявления особой роли иранских терминов верховой езды¹⁵⁸ представляется особенно примечательным найденное еще Бенвенистом¹⁵⁹ противопоставление согд. *β’zyδ* = **[βazyad]* ‘вскочить на коня’

¹⁵¹ Ср. Зализняк 1963.

¹⁵² О прилагательном см. MacKenzie 1976, 92.

¹⁵³ Benveniste 1946, строки 846, 39с.

¹⁵⁴ О родственных глагольных формах ср. Bailey 1967, 20.

¹⁵⁵ Mackenzie 1976, 140.

¹⁵⁶ Gauthiot 1914—1923, 69, 101—102, 126, 136.

¹⁵⁷ Benveniste 1929, 15, 58—59.

¹⁵⁸ Ivanov 1999, 169—170, 232—233.

¹⁵⁹ Benveniste 1929, 19, 61—62.

(иран. *ava- + *zga-, основа пушту *zyāstāl*) и согд. *w'zyd* 'соскочить с седла'. Сравнимая согдийские префиксальные формы типа *ptsm'r* = *[*patsmar*] 'число' (хорезм. *pcm'r*)¹⁶⁰, *ptywš* 'слышать' (ягноб. *duyuš*-¹⁶¹), *ptswc* 'поджечь, зажечь' с аналогичными скифо-осетинскими типа осетин. *fae-* (< *pati-*) + *dzaexsyn* 'обучать' (возможно, родственно согд. *ptxs'wn* = *[*pat-xšawan*] 'учитель', авест. *xšwa-/šaxs-* 'обучать'), можно восстановить прасогдийско-скифский тип префиксальных конструкций, весьма сходных со славянским употреблением префикса **rodъ* (ср. тип русск. *под-считать*, *под-слушать*, *под-жечь* и т. п.). Словообразовательные модели при интенсивном взаимодействии языков могут складываться под влиянием уже усвоенных слов или конструкций, включающих соответствующие элементы. За лексическим взаимовлиянием следует в этих случаях и структурное.

Литература

- Абаев 1949 — *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. 1. М.; Л.: АН СССР, 1949.
- Абаев 1958—1989 — *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. 1; 3; 4. М.: АН СССР: Наука, 1958—1989.
- Абаев 1965 — *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М.: Наука, 1965.
- Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства 1838 — Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб.: Издание Археографической комиссии, 1838.
- Андреев, Пещерева 1957 — *Андреев М. С., Пещерева Е. М.* Ягнобские тексты. М.; Л.: АН СССР, 1957.
- Барроу 1976 — *Барроу Т.* Санскрит. М.: Прогресс, 1976.
- Витчак 1994 — *Витчак К. Т.* Из исследований праславянской религии. 1. Новгородское Ръгль и ведийское *Rudra* // Этимология. 1991—1993. М.: Наука, 1994, 23—31.
- Ворт 1978 — *Ворт Д.* Div=Simurg // Восточнославянское и общее языкознание / Под ред. О. Н. Трубачева и др. М.: Наука, 1978, 127—132.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. 1—2. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
- Гатиев 1876 — *Гатиев Б.* Суеверия и предрассудки у осетин: Сборник сведений о кавказских горцах. 9. 3.1. Тифлис, 1876.
- Грюнберг 1972 — *Грюнберг А. Л.* Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык. Л.: Наука, 1972.
- Грюнберг, Стеблин-Каменский 1976 — *Грюнберг А. Л., Стеблин-Каменский М. И.* Ваханский язык. Тексты, словарь. Грамматический очерк. М.: Наука, 1976.
- Дмитриев 1962 — *Дмитриев Н. К.* О тюркских элементах русского словаря // *Дмитриев Н. К.* Строй тюркских языков. М.: Наука, 1962, 503—569 (впервые напечатано в 1958 г.).

¹⁶⁰ MacKenzie 1976, 126.

¹⁶¹ Андреев, Пещерева 1957, 249.

- Дурново 1969 — *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка / Подготовка текста, редактирование и комментарии Л. Л. Касаткина, Т. С. Сумниковой. М.: Наука, 1969 (перизд. изд. 1927 г.).
- Дыбо, Николаев, Замятина 1990 — *Дыбо В. А., Николаев С. Л., Замятина Г. И.* Основы славянской акцентологии. М.: Наука, 1990.
- Елизаренкова 1972 — Елизаренкова Т. Я. (пер., коммент.). Ригведа. Избранные гимны. М.: Наука, 1972.
- Елизаренкова 1989—1999 — *Елизаренкова Т. Я.* (пер., коммент.). Ригведа. Мандалы I—IV.: V—VIII; IX—X. М.: Наука, 1989—1999.
- Жирмунский 1974 — *Жирмунский В. М.* Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974.
- Жирмунский 1979 — *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л.: Наука, 1979.
- Зализняк 1962 — *Зализняк А. А.* Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. 1962. Т. 6, 28—45.
- Зализняк 1963 — *Зализняк А. А.* О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами // Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР. Вып. 38. М., 1963, 3—22.
- Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к древнерусской. М.: Наука, 1985.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* К истории коневодства и колесных повозок у иранских и индо-иранских племен // *Annali della facoltà di lingue e letterature straniere di Ca' Foscari.* 1979. 18. № 8.
- Иванов 1980 — *Иванов Вяч. Вс.* К индоевропейским названиям колеса и колесницы // В чест на акад. Владимир Георгиев. Езиковедски проучвания. София, 1980, 112—117.
- Иванов 1995 — *Иванов Вяч. Вс.* Флоренский и проблема языка // П. А. Флоренский и культура его времени. Marburg: Blaue Hörner Verlag, 1995, 207—251.
- Иллич-Свитыч 1963 — *Иллич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. М.: АН СССР, 1963.
- Истрин 1883 — *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов. М., 1883.
- Клепикова 1973 — *Клепикова Г. П.* Из карпато-дунайской терминологии высокогорного скотоводства: *vatra* // Балканское языкознание. М.: Наука, 1973.
- Колесов 1972 — *Колесов В. В.* История русского ударения. Именная акцентуация в древнерусском языке. Л.: Изд-во ЛГУ, 1972.
- Королев 1984 — *Королев А. А.* Древнейшие памятники ирландского языка. М.: Наука, 1984.
- Лифшиц 1962 — *Лифшиц В. А.* Юридические документы и письма. Согдийские документы и письма / Ред. К. В. Тревер. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1962.
- Льюис, Педерсен 1954 — *Льюис Г., Педерсен Х.* Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954.
- Мейе 1951 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1951.
- Миллер 1882—1887 — *Миллер Вс. Ф.* Осетинские этюды. 2—3. М., 1882—1887.
- Миллер 1886 — *Миллер Вс. Ф.* Эпиграфические следы иранства на Юге России // Журнал Министерства народного просвещения. 1886. Октябрь.
- Миллер 1892 — *Миллер Вс. Ф.* Экскурсы в область русского народного эпоса. 1—8. М.: Тип. И. К. Кушнерева; Товарищество А. А. Левензон, 1892.

- Миллер 1962 — *Миллер В. Ф.* Язык осетин. М.; Л.: АН СССР, 1962 (пер. нем. 1-го изд. 1903 г.).
- Молчанова 1975 — *Молчанова Е. К.* Категория числа // Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. 2: Эволюция грамматических категорий / Ред. В. С. Расторгуева. М.: Наука, 1975, 200—259.
- Наделяев, Носилов, Тенишев, Щербак 1969 — *Наделяев В. М., Носилов В. М., Тенишев Э. Р., Щербак А. М.* Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969.
- Обнорский 1929 — *Обнорский С. П.* Прилагательное *хороший* и его происхождение в русском языке // Язык и литература. Т. 3. Л.: РАНИОН, 1929, 241—258.
- Одинцов 1980 — *Одинцов Г. Ф.* Из истории гиппологической лексики в русском языке. М.: Наука, 1980.
- Пахалина 1959 — *Пахалина Т. Н.* Ишкашимский язык. Очерк фонетики и грамматики, тексты и словарь. М.: АН СССР, 1959.
- Пахалина 1975 — *Пахалина Т. Н.* Ваханский язык. М.: Наука, 1975.
- Периханян 1983 — *Периханян А. Г.* Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М.: Наука, 1983.
- Покровский 1928 — *Покровский М. М.* *Etymologica* // *Studia grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowskii*. 2. Kraków, 1928, 224—226.
- Поль 1975 — *Поль Х.* Слова иранского происхождения в русском языке // *Ricerche Linguistiche*. 1975. 2, 81—90.
- Порциг 1964 — *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М.: Прогресс, 1964.
- Потанин 1899 — *Потанин Г. Н.* Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе / Изд. Географического Отделения Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. М.: Типо-лит. товар. И. Н. Кушнерев, 1899.
- Преображенский 1958 — *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М.: Гос. изд. иностр. и национальн. словарей, 1958 (репринт выпусков 1910—1914 гг. и выпуска, напечатанного в 1949 г.).
- Рак 1998 — *Рак И. В.* Зороастрийская мифология. СПб.: Журнал «Нева»; Летний сад, 1998.
- Русская историческая библиотека 1871 — Русская историческая библиотека. Т. 1—39. СПб.: Изд. Археографической комиссии, 1871.
- Семенов 1893 — *Семенов В.* Древнерусская Пчела по пергаменному списку // Сб. Отд. русск. яз. и словесности Имп. Росс. Акад. наук. 1893. Т. 54. № 4.
- Словарь русского языка XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 1—4. М.: Наука, 1974.
- Смирнова 1974 — *Смирнова И. А.* Формы числа имени в иранских языках. Л.: Наука, 1974.
- Соколова 1967 — *Соколова В. С.* Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л.: Наука, 1967.
- Соколова 1973 — *Соколова В. С.* Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской группы. Л.: Наука, 1973.
- Сперанский 1904 — *Сперанский М. Н.* Переводные сборники изречений. М., 1904.
- Сперанский 1960 — *Сперанский М. Н.* К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур // *Сперанский М. Н.* Из истории русско-славянских литературных связей / Ред. В. Д. Кузьмина. М.: Наука, 1960, 7—54 (переиздание статьи 1923 г.).

- Срезневский 1867—1879 — *Срезневский И. И.* Сведения и замечания о малоизвестных и неизвестных памятниках. 1867—1879. Т. 1. Вып. 4; т. IV.
- Срезневский 1958 — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. М.: Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1958 (репринт изд. 1893—1903 гг.).
- Старостин 1989 — *Старостин С. А.* Реконструкция древнекитайской фонологической системы. М.: Наука, 1989.
- Стасов 1894 — *Стасов В. В.* Происхождение русских былин // Собрание сочинений. Т. 3. СПб.: Тип. М. М. Станюлевича, 1894.
- Стеблин-Каменский 1981 — *Стеблин-Каменский М. И.* Бактрийский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки / Под ред. В. С. Расторгуевой. М.: Наука, 1981, 314—346.
- Стеблин-Каменский 1990 — *Стеблин-Каменский М. И.* (пер., коммент.). Авеста: Избранные гимны. Душанбе: Адиб, 1990.
- Топоров 1973 — *Топоров В. Н.* О семиотическом аспекте митраической мифологии в связи с реконструкцией некоторых древних представлений // *Semiotyka i struktura tekstu*. Warszawa: Ossolineum, 1973, 357—374.
- Топоров 1975; 1979 — *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. А—D; Е—Н. М.: Наука, 1975, 1979.
- Топоров 1983 — *Топоров В. Н.* Русск. Святогор: свое и чужое (к проблеме культурно-языковых контактов) // Славянское и балканское языкознание. 7. Проблемы языковых контактов / Под ред. Л. А. Гиндина, Г. П. Клепиковой, Л. Г. Невской. М., 1983, 89—126.
- Топоров 1989 — *Топоров В. Н.* Об иранском элементе в русской духовной культуре // Славянский и балканский фольклор. М.: Наука, 1989, 23—60.
- Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* Боги // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М.: Междунар. отношения, 1995, 204—215.
- Тревер 1937 — *Тревер К. В.* *Senmurv-Paskudž*. Л., 1937.
- Трубачев 1967 — *Трубачев О. Н.* Из славяно-иранских лексических отношений // *Этимология* 1965. М.: Наука, 1967, 3—81.
- Трубачев — *Трубачев О. Н.* (ред.). *Этимологический словарь славянских языков*. Т. 1—4. М.: Наука, 1974.
- Трубачев 1998 — *Трубачев О. Н.* Фрагменты этимологического словаря индоарийских реликтов Северного Причерноморья // ПОЛУТРОПОН: К 70-летию В. Н. Топорова. М.: Индрик, 1998, 53—60.
- Хромов 1972 — *Хромов А. Л.* Ягнобский язык. М.: Наука, 1972.
- Черных 1993 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 1—2. М.: Русский язык, 1993.
- Чунакова 1997 — *Чунакова О. М.* Зороастрийские тексты. Суждения духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. М.: Вост. лит., 1997. (Памятники письменности Востока, 114).
- Эдельман 1986 — *Эдельман Дж. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М.: Наука, 1986.
- Эдельман 1990 — *Эдельман Дж. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М.: Наука, 1990.

- Яунис 1916 — *Яунис К. О.* Грамматика литовского языка / Перевод К. К. Буги под редакцией Ф. Ф. Фортунатова. П.: Тип. Императорской Академии наук, 1916.
- Aufrecht 1955 — *Aufrecht T.* Die Hymnen des Rigveda. Bd. 1—2 (3. Aufl.). Berlin: Akademie Verlag, 1955.
- Bailey 1957 — *Bailey H. W.* A Problem of the Indo-Iranian Vocabulary // *Rocznik Orientalistyczny*. 1957. 21, 59—70.
- Bailey 1967 — *Bailey H. W.* Prolexis to the Book of Zambasta. Khotanese Texts. Vol. 6. Indo-Scythian Studies. Cambridge: University Press, 1967.
- Bartholomae 1925 — *Bartholomae Ch.* Zur Kenntniss der mitteliranischen Mundarten. 6 // *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philolog.-Histor. Klasse*, 1925.
- Bartholomae 1979 — *Bartholomae Ch.* Altiranisches Wörterbuch zusammen mit Nacharbeiten und Vorarbeiten. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1979.
- Beckman 1983 — *Beckman G.* A Contribution to Hittite Onomastic Studies // *Journal of the American Oriental Society*. 1983. Vol. 103. № 3, 623—627.
- Benveniste 1929 — *Benveniste E.* Essai de grammaire sogdienne. 2 partie. Morphologie, syntaxe et glossaire. Mission Pelliot en Asie Centrale. Série in-octavo. T. 3. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929.
- Benveniste 1946 — *Benveniste E.* (éd.) Vessantara J-taka. Texte sogdien. Mission Pelliot en Asie Centrale. Série in-quarto. 4. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1946.
- Birnbaum, Schaeken 1997 — *Birnbaum H., Schaeken J.* Das altkirchenslavische Wort. Bildung — Bedeutung — Herleitung. München: Verlag Otto Sagner, 1997.
- Boretzky, Iгла 1994 — *Boretzky N., Iгла B.* Wörterbuch Romani Deutsch English mit einer Grammatik der Dialektvarianten. Wiesbaden, 1994.
- Boyce 1968 — *Boyce M.* On Sacred Fires of Zoroastrians // *Bulletin of the School for Oriental Research*. 1968. 31 (1), 52—68.
- Buck 1988 — *Buck C. D.* A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago: The University of Chicago Press, 1988 (1 ed. — 1949).
- Būga 1959 — *Būga K.* Rinkiniai Raštai. Vilnius: Politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959.
- Burrow, Emenau 1984 — *Burrow T., Emenau M. B.* A Dravidian Etymological Dictionary. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1984.
- Cornillot 1994 — *Cornillot F.* L'aube scythique du monde slave // *Les mystères de l'aube: Scythes et Slaves, Mongoles, Arméniens*. Slovo. Revue de CERES. 1994. Vol. 14, 77—260.
- Cvetko-Orešnik 1983 — *Cvetko-Orešnik V.* Zu neueren Iranisch-Baltoslawischen Isoglossen-Vorschlägen // *Linguistica*. 23. 1983, 175—256.
- Delamarre 1984 — *Delamarre X.* Le vocabulaire indo-européen. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient, 1984.
- Dumézil 1978 — *Dumézil G.* Romans de Scythie et d'alentour. Paris, 1978.
- Duridanov I. 1969 — *Duridanov I.* Thrakisch-Dakische Studien. 1. Teil. Die Thrakisch- und Dakisch-Baltischen Sprachbeziehungen. Linguistique Balcanique. 13; 2. Sofia: Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, 1969.
- Emmerick 1968 — *Emmerick R. E.* Saka Studies. London Oriental Series. Vol. 20. London: Oxford University Press, 1968.
- Endzelīns 1982 — *Endzelīns J.* Senprūšu valoda // *Endzelīns J.* Darbu izlāse. 4; 2. D. Rīgā: Zinātne, 1982, 9—351.

- Ernout, Meillet 1994 — *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris: Éditions Klincksieck, 1994 (retirage de la 4^e éd.).
- Fraenkel 1962—1965 — *Fraenkel E.* Litauisches Etymologisches Wörterbuch. 1—2. Heidelberg: Göttingen: Carl Winter, 1962—1965.
- Gauthiot 1914—1923 — *Gauthiot R.* Essai de grammaire sogdienne. 1 partie. Phonétique. Mission Pelliot en Asie Centrale. Série in-octavo. T. 1. Paris: Librairie Paul Geuthner, 1914—1923.
- Gauthiot 1920—1928 — *Gauthiot R. (éd.)*. Sûtra des Causes et des Effets. Mission Pelliot en Asie Centrale. Paris: Librairie Paul Geuthner, 1920—1928.
- Gershevich 1954 — *Gershevich I.* A Grammar of Manichaean Sogdian / Publications of the Philological Society; 16. Oxford: B. Blackwell, 1954.
- Goląb 1973 — *Goląb Z.* The initial *x-* in Common Slavic: a Contribution to prehistorical Slavic-Iranian Contacta // American Contributions to the VIIth International Congress of Slavists. Vol. 1: Linguistics and Poetics / Ed. L. Matejka. 1973.
- Grassmann 1873 — *Grassmann H.* Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1873.
- Güterbock, Hoffner 1983 — *Güterbock H. G., Hoffner H. A.* The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Vol. 3, fasc. 2. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1983.
- Hamp 1976 — *Hamp E.* On the Distribution and Origin of *vatra* // Opuscula Slavica et Linguistica / Ed. H. D. Pohl and N. Salnikow. Klagenfurt, 1976, 201—210.
- Hamp 1981 — *Hamp E.* Autochthonous *vatra* // Revue roumaine de linguistique. 1981. 24, 315.
- Haudry 1979 — *Haudry J.* L'emploi des cas en védique. Introduction à l'étude des cas en indo-européen. Thèse présentée devant l'Université de Paris. Lille: Service de reproduction des thèses Université de Lille III, 1979.
- Hauschild 1959 — *Hauschild R.* Die Tirade von den Wagenwettfahrt des Königs Haosravah und des Junkers Nərəmanah (Yašt 5, 50) // Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Bd. 7. H. 1. Berlin: Akademie Verlag, 1959, 1—78.
- Havers 1946 — *Havers W.* Neuere Literatur zum Sprachtabu. Wien, 1946.
- Herne 1954 — *Herne G.* Die slavische Farbenbenennungen. Eine semasiologisch-etymologische Untersuchung. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, 1954.
- Hertel 1925 — *Hertel J.* Die arische Feuerlehre // Indo-iranische Quellen und Forschungen. H. 6. Leipzig: H. Haessel, 1925.
- Hertel 1927 — *Hertel J.* Sonne und Mitra in Awesta, auf Grund der awestischen Feuerlehre dargestellt // Sächsischen Forschungsinstitute zu Leipzig. Forschungsinstitut für Indogermanistik. Indische Abteilung. Veröffentlichung № 6. Indo-iranische Quelle und Forschungen. H. 9. Leipzig: H. Haessel, 1927.
- Hertel 1929 — *Hertel J.* Beiträge zur Erklärung des Awesta und des Vedas. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig // Philologisch-historische Klasse. Bd. 40. № 2. Leipzig: S. Hirzel, 1929.
- Hertel 1931 — *Hertel J.* Die awestischen Herrschafts- und Siegesfeuer: mit Text. Übersetzung und Erklärung von Yašt 18. und 19 // Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Bd. 41. Leipzig: S. Hirzel. 1931.
- Huld 1974 — *Huld M.* Basic Albanian Etymologies. Columbus (Ohio), 1974.

- Ivanov 1975 — *Ivanov V.* Aryen du Mitanni *aika(-)vartanna* et védique *ekavrt-* // Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste // Collection Linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris; 70. Paris, 1975, 283—288.
- Ivanov 1999 — *Ivanov V.* Comparative notes on Hurro-Urartian, Northern Caucasian and Indo-European // UCLA Indo-European Studies. Vol. 1. / Ed. V. Ivanov and B. Vine. Los Angeles: UCLA Program in Indo-European Studies, 1999, 147—264.
- Ivanov 2000 — *Ivanov V.* Early Slavic/Indo-Iranian Lexical Contacts // Proceedings of the Eleventh Annual UCLA Indo-European Conference. IES Monograph № 35 / Ed. K. Jones-Bley, M. E. Huld, A. Della Volpe. Washington, D. C.: Institute for the Study of Man, 2000, 355—370.
- Jakobson 1971, 1985 — *Jakobson R.* Selected Writings. Vol. 2; 6. Berlin; The Hague: Mouton de Gruyter, 1971, 1985.
- Ješina 1886 — *Ješina P. J.* Románi Čib oder die Zigeuner-Sprache: Grammatik, Wörterbuch. Chrestomatie. (3. Aufl.). Leipzig, 1886.
- Kammenhuber 1961 — *Kammenhuber A.* Hippologia Hethitica. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1961.
- Kossowicz 1872 — *Kossowicz C.* Inscriptiones Paleo-Persicae Achaemenidarum quot hucusque repertae sunt ad apographa viatorum. Petropoli: Caesareae Universitatis Impensa. Excusum in Typographeo Wladimiri Golowin (с отдельной пагинацией приложенного к книге словаря, цитируемого как Glossarium), 1872.
- Kramers 1954 — *Kramers J. H.* Iranian Fire-Worship // Analecta Orientalia: Pothumous Writings and Selected Minor Works. Vol. 1. Leiden: E. J. Brill, 1954, 342—363.
- Krause 1948 — *Krause W.* Abriss der altwestnordischen Grammatik. Halle (Saale): Max Niemeyer Verlag, 1948.
- Laroche 1966 — *Laroche E.* Les noms des hittites. Études linguistiques. 4. Paris: Librairie Klincksieck, 1966.
- Laroche 1980 — *Laroche E.* Glossaire de la langue hurrite. Études et commentaires. 93. Paris: Éditions Klincksieck, 1980.
- Lehmann 1964 — *Lehmann W. P.* On the Etymology of «black» // Taylor Starck Festschrift. The Hague: Mouton & Co, 1964, 56—61.
- Lehmann 1986 — *Lehmann W. P.* A Gothic Etymological Dictionary. Leiden: E. J. Brill, 1986.
- Lejeune 1987 — *Lejeune M.* Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. Tradition de l'humanisme. 9. Paris: Éditions Klincksieck, 1987.
- Leumann 1966 — *Leumann E.* (ed.). Das Nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus / Aus dem Nachlass hrsg. von M. Leumann. Nendeln, Lichtenstein: Kraus Reprint Ltd, 1966 (reprint of 1922—1936 ed.).
- Machek 1957 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1957.
- Macdonell 1972 — *Macdonell A. A.* A Vedic Reader for the Students. Madras: Oxford University Press (8th impression), 1972.
- MacKenzie 1976 — *MacKenzie D. N.* The Buddhist Sogdian Texts of the British Library. Acta Iranica. Troisième série. Textes et mémoires. Leiden: Brill, 1976.
- Mayrhofer 1979 — *Mayrhofer M.* Ausgewählte kleine Schriften. Wiesbaden, 1979.
- Mayrhofer 1982 — *Mayrhofer M.* Welches Material aus dem Indo-Arischen von Mitanni verbleibt für eine selektive Darstellung? // Investigationes Philologicae et comparativae. Gedenkschrift für Heinz Kronasser / Hrsg. E. Neu. Wiesbaden: Harrassowitz, 1982, 72—90.

- Maziulis 1981 — *Maziulis V.* Prūsų kalbos paminklai. Vilnius: Mokslas, 1981.
- Meillet 1926 — *Meillet A.* Le vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien // *Revue des études slaves.* 1926. 6. 3—4, 165—174.
- Milewski 1969 — *Milewski T.* Indoeuropejskie imiona osobowe. Oddział w Krakowie // *Prace Komisji Językoznawstwa.* 18. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969.
- Norman 1974 — *Norman J. L.* The Initials of Proto-Min // *Journal of Chinese Linguistics.* 1974. 2. 1, 27—37.
- O'Flaherty 1978 — *O'Flaherty A.* Contributions to an equine lexicology with special reference to frogs // *Journal of the American Oriental Society.* 1978. Vol. 98. № 4, 475—478.
- Orel 2000 — *Orel V.* A concise historical Grammar of Albanian. Reconstruction of Proto-Albanian. Leiden: Brill, 2000.
- Öhmann 1951 — *Öhmann S.* Wortinhalt und Weltbild. Stockholm, 1951.
- Pulleyblank 1984 — *Pulleyblank E. R.* Middle Chinese: A Study in Historical Phonology. Vancouver: University of British Columbia Press, 1984.
- Reczek 1968 — *Reczek Y.* Iranische Beziehungen im Urslavischen // *Folia Linguistica.* 1968. 9, 85—91.
- Reczek 1985 — *Reczek Y.* Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe. Kraków, 1985.
- Reichelt 1978 — *Reichelt H.* Awestisches Elementarbuch. Heidelberg: C. Winter Universitätsverlag, 1978 (3. Aufl.).
- Renou 1958 — *Renou L.* Études védiques et pāninéennes. T. 4. Publications de l'Institut de civilisation indienne. Série in -8e, fasc. 6. Paris: E. de Brocard, éditeur, 1958.
- Renou 1984 — *Renou L.* Grammaire sanscrite. T. 1—2. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient, 1984.
- Scherer 1953 — *Scherer A.* Gestirnnamen bei der indogermanischen Völkern. Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1953.
- Schwartz 1989 — *Schwartz M.* Part 2 // *Schwartz, Flattery* 1989.
- Schwartz, Flattery 1989 — *Schwartz M., Flattery D. S.* Haoma and Harmaline. The Botanic Identity of the Indo-Iranian Sacred Hallucinogen «Soma» and its Legacy in Religion, Language and Middle Eastern Folklore / *University of California Publications. Near Eastern Studies.* Vol. 21. Berkeley: University of California Press, 1989.
- Schwentner 1915 — *Schwentner E.* Farbenbezeichnungen. München, 1915.
- Seebold 1999 — *Seebold E.* Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin: Walter de Gruyter, 1999.
- Sievers, Brunner 1951 — *Sievers E.* Altenglische Grammatik / Neubearbeitet von Brunner K. Halle (Saale): Max Niemeyer Verlag, 1951.
- Skardžius 1943 — *Skardžius.* Lietuvis kalbos žūdžius daryba. Vilnius: Lietuvos Mokslas Akademija; Lietuvis kalbos Institutas, 1943.
- Skok 1971 — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1971.
- Specht 1947 — *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947.
- Stang 1966 — *Stang Ch.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo: Universitetsforlaget, 1966.
- Stankiewicz 1993 — *Stankiewicz E.* The Accentual Pattern of Slavic Languages. Stanford: Stanford University Press, 1993.

- Starke 1995 — *Starke F.* Ausbildung und Training von Streitwagenpferden: ein hippologisch orientierte Interpretation der Kikkuli-Textes. StBoT; 41. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1995.
- Thumb, Hauschild 1953; 1958 — *Thumb A.* Handbuch des Sanskrit / Bearb. bei R. Hauschild. Teil 2: Texte und Glossar; Teil 1: 1. Einleitung und Lautlehre. 2, erweiterte Aufl. Heidelberg: C. Winter Universitätsverlag, 1953; 1958.
- Thurneysen 1946 — *Thurneysen R.* A Grammar of Old Irish. Dublin: The Dublin Institute of Advanced Studies, 1946.
- Toporov 1968 — *Toporov V. N.* Parallels to the ancient Indo-Iranian Social and Mythological Concepts // Prtidānam. Indian, Iranian and Indo-European Studies presented to F. B. J. Kuiper. The Hague; Paris, 1968, 108—120.
- Turner 1989 — *Turner R. L.* A comparative dictionary of the Indo-Aryan Languages. London: Oxford University Press, 1989 (reprint; 1 ed. 1966).
- Urbutis 1981 — *Urbutis V.* Etimologijas etiudai. Vilnius: Mokslas, 1981.
- Vanagas 1981 — *Vanagas A.* Lietuvis hidronims etimologinis žodinas. Vilnius: Mokslas, 1981.
- Vasmer 1923 — Untersuchungen über die älteste Wohnsitze der Slaven. 1: Die Iranier in Südrußland. Veröffentlichungen des baltischen und slavischen Instituts an der Universität Leipzig / Hrsg. G. Gerullis und M. Vasmer. 3. Leipzig: In Kommission bei Markert & Petters, 1923.
- Wackernagel 1905 — *Wackernagel J.* Altindische Grammatik. 2. 1. Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1905.
- Watkins 1995 — *Watkins C.* How to Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics. New York: Oxford University Press, 1995.
- Willman-Grabowska 1928 — *Willman-Grabowska H.* Les composés nominaux dans le Ūatapathabrāhmaṃa. 2 partie: Le rôle de la composition nominale dans le Ūatapathabrāhmaṃa // Prace Komisji orientalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności; 12. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1928.
- Winter 1984 — *Winter W.* Studia Tocharica; Selected Writings. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1984.
- Wolf 1989 — *Wolf S. A.* Grosses Wörterbuch der Zigeunersprache (Romani Tšiw): Wortschatz deutscher und anderer europäischer Zigeunerndialekte. Hamburg, 1989.
- Zadok 1975 — *Zadok R.* Iranian Names in Old Babylonian Documents // Indo-Iranian Journal. 1975. 17. № s, 245—247.
- Zgusta 1955 — *Zgusta L.* Die Personennamen griechischen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1955.
- Zoega 1910 — *Zoega G. T.* A concise Dictionary of Old Icelandic. Oxford: Clarendon Press, 1910 (reprint 1988).

ЕЩЕ О СЛАВЯНО-ТОХАРСКИХ ИЗОГЛОССАХ

Вероятные контакты праславянского с (пра)тохарским были предметом многочисленных исследований¹. Тем не менее оказывается возможным вернуться к этой теме потому, что недавние находки в Китайском Туркестане недоставших фрагментов тохарской А буддийской мистериальной пьесы о будущем Будде-Майтрейе² расширили знание словаря этого архаичного тохарского диалекта и сделали возможной гипотезу о еще одном лексическом сближении, которое может представить значительный интерес для обнаружения уникальных связей тохарского со славянским и балто-славянским.

Речь идет о тохарском А сложном слове *mälkartem*, которое много раз встречается во вновь найденных фрагментах пьесы в значении³, эквивалентном древнетюркскому *tüzün-üm* ‘сдержанный, благородный, скромный’⁴ в древнетюркском (древнеуйгурском) переводе пьесы. Пино предположил для тохарского значение типа ‘великодушный, милосердный’ и с полным основанием определил древнюю структуру слова как сложного, имеющего во второй части продолжение индоевропейского названия сердца⁵. Сомнение в его реконструкции вызывает только неясность первого элемента, который он не вполне убедительно сопоставляет с греч. μέλε, не имеющим ясного исторического объяснения⁶ и употребляемого как обращение в просторечии, что весьма отлично от особенностей употребления тохарского А слова, выступающего при почтительном величании собеседника в языке вежливости.

В тохарском А дифтонги монофтонгизировались. Многие из тех, которые вторым элементом имели *-i*, могли (в особенности при долгой ступени огласовки корня) развиваться в *e*. Поэтому, принимая предположение Пино о проис-

¹ Некоторые из них отмечены в одной из последних обзорных работ, написанных на эту тему автором: Иванов 1998.

² Xianlin, Winter, Pinault 1998.

³ Там же, индекс, s.v.; Pinault 1993, 163—166.

⁴ Наделяев, Насилов, Тенишев, Щербак 1999, 583.

⁵ Pinault 1993, 174—179.

⁶ Chantraine 1984, 681.

хождении второй части тохарского сложного слова, можно предположить его отождествление в целом со ст.-слав. *милосърдъ*. Первый элемент является общим для славянского и балтийского. От него образуются такие производные, как *милость*, которые могли употребляться в почтительных обращениях того же типа, что и в тохарском.

Часто предполагалось, что ст.-слав. *милосърдъ* было калькой либо лат. *miseri-cor-s* (морфологическая структура которого далека от славянской), либо гот. *arma-hairt-s*⁷. Но это последнее слово само признается калькой с латинского⁸.

Историческое объяснение этих сложных слов в разных индоевропейских традициях следует пересмотреть, учитывая наличие в предыстории хеттского языка сложного слова *šall-a-kart-* ‘великодушие > гордость, надменность’, от которого образованы производные *šall-a-kart-ae-* ‘оскорбить (гордостью, надменностью)’⁹, *šall-a-kart-ah-* ‘задеть, оскорбить (гордостью, надменностью)’, *šall-a-kart-atar* ‘гордость, небрежение’. Производные этого типа крайне редко встречаются в хеттском языке; это обстоятельство, вместе с исчезновением самого исходного сложного слова, которое может быть только реконструировано на основании приведенных выше производных, изменивших вероятное первоначальное значение, позволяет видеть в *šall-a-kart-* остаток древнего словосложения. Это предположение подтверждается и сравнением с древнехеттским сложным словом с тем же первым элементом *šall-a-ḫ(a)ššuwa* ‘велико-цар-ский’: оно засвидетельствовано в древнехеттском названии города и в аналогичном топониме в староассирийском тексте из Малой Азии¹⁰.

Сравнение этого архаического хеттского словосложения со славяно-тохарскими и сложными словами других индоевропейских языков, производными от названия сердца, позволяет прийти к предположению о наличии уже в диалектную пору распада праязыка сложного слова этого типа. Во всех перечисленных диалектах слово имело название «сердца» в качестве второго элемента. Ему предшествовало прилагательное с достаточно общим положительным значением. Тохарский и праславянский объединяются сохранением одного и того же первого прилагательного (кроме этих двух диалектов оно есть еще и в литовском и других балтийских). Что же касается хеттского, германских языков и латыни, в каждом из них представлены разные прилагательные; воз-

⁷ Ср., например, Мейе 1951, 301 (§ 430), 411 (§ 582).

⁸ Или греческого: Lehmann 1986, 42—43 (с библиографией). См. о нем. (b) *arm-herz-ig*: Seebold 1999, 82.

⁹ Oettinger 1979, 34; Van den Hout 1998, 132—133 (DINGIR-LUM ... *pa-ra-a [š]al-la-karta-an ḫar-ku-un* ‘я оскорбил божество’).

¹⁰ Иванов 2001, 44. Поэтому несостоятельны предположения о калькированном характере хеттского словосложения: Gusmani 1968, 88.

можно, что хеттская форма архаичнее других, но она не сохранена ни в одном из этих языков.

Эта изоглосса вместе с несколькими другими подобными удостоверяет наличие связей между праславянским и тохарским в эту раннюю эпоху.

Литература

- Иванов 1998 — *Иванов Вяч. Вс.* Контакты славянского с тохарском // Доклады русских ученых на XII Международном съезде славистов в Кракове. М.: Наука, 1998.
- Иванов 2001 — *Иванов Вяч. Вс.* Древнейшие индоевропейские собственные имена из Анатолии // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. Часть 1. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2001, 42—48.
- Мейе 1951 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М.: Изд-во иностр. лит., 1951.
- Наделяев, Насилов, Тенишев, Щербак 1999 — *Наделяев В. М., Насилов Д. М., Тенишев Э. Р., Щербак А. М.* Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1999.
- Chantraine 1984 — *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris: Éditions Klincksieck, 1984.
- Gusmani 1968 — *Gusmani R.* Il lessico ittito // Collana di studi classici. 5. Napoli: Libreria Scientifica Editrice, 1968.
- Lehmann 1986 — *Lehmann W. P.* A Gothic Etymological Dictionary. Leiden: Brill, 1986.
- Oettinger 1979 — *Oettinger N.* Die Stammbildung hethitischen Verbuns. Nürnberg: Verlag Carl Hans, 1979.
- Pinault 1993 — *Pinault G.-J.* Tocharien A *mälkartem* et autres mots // Tokharian and Indo-European Studies. 1993. Vol. 6, 133—188.
- Seebold 1999 — *Seebold E.* (bearb.). Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter, 1999.
- Van den Hout 1998 — *Van den Hout Th.* The Purity of Kingship / An Edition of CTH 569 and related Hittite Oracle Inquiries of Tudhaliya IV. Documenta et Monumenta orientis Antiqui (DMOA). Vol. 25. Leiden: Brill, 1998.
- Xianlin, Winter, Pinault 1998 — *Xianlin J., Winter W., Pinault G.-J.* (eds.). Fragments of the Tocharian A «Maitreya-samiti-Nātaka» of the Xinjiang Museum, China. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998.

РАННИЕ КОПТСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ

Проблема коптско-славянских (и древнеегипетско-славянских) языковых связей была уже 30 лет назад поставлена Н. А. Мещерским¹, который соединял в своем лингвистическом пути профессиональные познания в двух этих областях. Справедливость его общей идеи можно попробовать доказать некоторыми новыми лексическими сближениями.

Ст.-слав. *ащѣръ* 'ящерица'² < **jašterь* тождественно коптск. АЩРА 'хамелеон, ящерица'³. Хотя несоответствие гласных во втором слоге может вызывать известные трудности, развитие на старославянской почве можно было бы объяснить влиянием предшествующего согласного. В остальном же соответствие представляется настолько точным, что случайность практически исключается. По географическим и культурно-историческим причинам прямой устный контакт носителей двух традиций маловероятен. Скорее всего речь может идти о достаточно раннем заимствовании книжного характера (заметьте, что коптское происхождение с большим основанием предполагалось для входящего в написание слова знака для *ц*; Фортунатов думал и о коптском происхождении глаголицы в целом). Если коптское слово рано через книжную монастырскую среду проникло в старославянский, оно потом было уже в устной и поэтому более подвижной форме заимствовано в другие славянские языки, испытав изменения анлаута, в восточных и части западных славянских языков приведшие к протетическому *j*- (др.-русс. *ящѣръ*, русск. *ящерица*, *ящер*, укр. *ящипка*, белорус. *яшчарка*; ст.-чеш. *jěščer* > чеш. *ještěr*, ст.-чеш. *jěščerka* > чеш. *ještěrka*), перед которым может появляться *h*- (диалектн. морав. *hiščerka*), а в полабском и севернолехитском — начальное *v*-/*u*- (полабск.

¹ О коптском и древнеславянском как о языках «восточно-средиземноморского цикла» см. Мещерский 1979; 1995, 13—19, 24; Иванов 2000, 287.

² *Slovník jazyka staroslovenského* 1959, 66; Severjanov 1956, 272—570 (Супрасльская рукопись. Слово Иоанна Златоустого в Великую Среду).

³ Crum 1939 23a; Černý 1976, 16, там же дальнейшая литература о коптском слове, его значении и вероятных египетских истоках.

vjestaréica ‘ящерица’, *vistāraica*, кашубск. *vješčeřeca*, словинск. поморск. *vješčigrčā*); в южнославянском перед сходным *u-* образовался согласный *g-/k-*: болг. *гуцер*, серб. *гѹмтер*, хорв. *gušcer*, словен. *kuščar*⁴. В западнославянском, откуда слово было заимствовано и в прусский⁵, оно в части диалектов изменило и вокализм второго слога и развило и в нем *-u-* (ср. *u-* в анлауте в других диалектах). По существу общеславянскую форму восстановить можно лишь совершенно условно. Некоторые наиболее вдумчивые исследователи предполагали даже возможность реконструкции двух разных исходных форм для южнославянского и для других языков, но этому бы противоречило наличие консонантной структуры согласных внутри слова, которая объединяет все формы разных языков, хотя их и нельзя свести вместе по обычным законам сравнительной фонетики. Представление о диалектной трансформации древнего заимствования кажется значительно более реалистичным⁶.

Число аналогичных заимствований, в конечном счете восходящих к коптскому или древнеегипетскому источнику, может быть умножено. При неясности первоначального прототипа слав. **goloNbъ* ‘голубь’ и признании его вероятной (но фонетически незакономерной) связи с лат. *columba* и с балтийскими названиями лебедя⁷ давно высказывалось предположение о субстратном (или неиндоевропейском) происхождении слова⁸. Самым близким соответствием представляется коптск. **ΣΡΟΟМΠΕ** ‘голубь’ < древнеегип. **grmp*⁹ (чередование **-l- ~ -r-* при первичности первого плавного сонанта наблюдается в значительном числе случаев¹⁰).

Оба эти случая относятся к семантической сфере названий животных, где поиск других аналогичных заимствований имеет смысл продолжить¹¹. Но в

⁴ Skok 1971, 638.

⁵ Топоров 1979. Т. Е—Н, 98—100 (с детальным обзором литературы вопроса).

⁶ Если пробовать распространить подобное объяснение и на отчасти сходное слав. **aštelú* (> в.-луж. *ješčel* ‘самец ящерицы’; с чередованием **-l- ~ -r-*, ср. Трубачев 1974, 86—87), то ближайшим соответствием могло бы стать если не диалектное преобразование того же коптского слова (ср. ниже о плавных сонорных), то египетск. демотич. *šdyt* ‘ящерица’ (Černý 1976, 263).

⁷ Ср. обзор возможных объяснений и вероятной связи с балтийскими названиями голубя: Топоров 1979. Т. Е—Н, 74—75; неточность соответствий в балтийском со свойственной ему осторожностью неоднократно отмечал в цикле своих работ о славянских названиях птиц Л. А. Булаховский (1978, 259, 262, ср. о старом типе основ на *-i* там же, 270).

⁸ Machek 1957, 137. Ср. Трубачев 1979, 216—217.

⁹ Černý 1976, 335.

¹⁰ Kuentz 1938; Коростовцев 1967, 34—35; Korostovtsev 1973, 10; Loprieno 1995, 31, 246, п. 56.

¹¹ В настоящем коротком сообщении я не касаюсь более поздних заимствований в отдельные славянские языки таких восточных миграционных терминов, которые могут быть в конечном счете возведены к коптскому: так, в сфере названий культурных растений

случае голубя следует иметь в виду аксиологическую ценность этого образа как на Древнем Востоке, так и в христианской символике¹², с которой можно было бы связывать распространение коптского названия.

К другому семантическому полю должно относиться коптское название дрожжей, закваски, молозива, масла **ΣΙΡ**, демотич. егип. *sur* ‘масло’, которое в качестве миграционного культурного термина было уже ранее сопоставлено, с одной стороны, с семитским $\sqrt{s}r$ ‘дрожжи’, представленным в древнееврейском и арамейском, с другой же стороны — со славянским **суръ*, далее сравниваемым с греч. τυρός, авест. *tūri* ‘кислое молоко’¹³. Особый интерес этого сопоставления определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, наряду с этой формой с начальным *s-* в коптском в близком значении засвидетельствовано и слово **ТРОΥΑΝ** ‘сыр (?)’, непосредственно сопоставимое по значению и звучанию с греческо-авестийским названием кислого молока, сыра¹⁴. Во-вторых, форма этого последнего значительно уточняется и удревняется прежде всего из-за обнаружения микен. греч. *tu-ro₂* < **tur-yo-*¹⁵, благодаря которому прояснился архаический характер авест. *tūrya-* ‘превращенный в сыр’¹⁶. В-третьих, это греческо-авестийское (т. е. восточноиндоевропейское) название нашло соответствие также в восточной части северо-западноиндоевропейского: в древнегерманском (др.-англ. *ge-bweor* ‘сырная масса’) и славянском: русск. *творог*, производное от которого впервые засвидетельствовано в Смутное время в записях Ричарда Джеймса, чеш. *tvaroh*, польск. *twaróg*, н.-лужицк. *tvarog*, заимствованное в позднеср.-в.-нем. *twarc, quarc*¹⁷.

русск. *инжир* в относительно позднее время было заимствовано через тюркские языки. где слово персидского происхождения (Дмитриев 1962, 534). Новоперсидское (фарси) слово *andžir* ‘инжир, фи́га, винная ягода’, в свою очередь распространившееся как миграционный термин в других иранских (Стеблин-Каменский 1982, 85) и индо-арийских языках (Laufer 1919, 411; Turner 1989, 9, № 174), вероятно, может быть возведено в конечном счете (при семантическом изменении, возможно связанном с экологическими ботаническими и собственно культурно-историческими различиями) к коптск. **ΑΝΩ/ΣΙΡΙ** ‘phaseolus, фасоль’ < др.-егип. *ndr* ‘фасоль, боб’, Černý 1976, 10; Crum 1939, 12b.

¹² Cirlot 1971, 85; Becker 2000, 86—87; ср. о фольклоре: Фрейденберг 1997, 206.

¹³ Dévaud 1922, 50—51; Crum 1939, 353a; Erichsen 1954, 442, 3; Černý 1976, 160.

¹⁴ Crum, Evelyn White, 1926, 217, № 256, n. 3; Černý 1976, 195. Приводя в обеих цитируемых частях своего словаря сопоставление с одним и тем же греческим словом (во втором случае, *ibid.*, предполагая наиболее близкое сходство с греч. уменьшительным τυρίον ‘сырок’). Черны не связывает тем не менее двух этих коптских форм между собой и во всяком случае не дает перекрестных ссылок (ср., однако, о греческих формах в индексе, *ibid.*, 374).

¹⁵ Chantraine 1984, 1146—1147.

¹⁶ Bartholomae 1979, 655.

¹⁷ Bellmann 1971, Steinhauser 1978, 57—58; Seebold 1999, 659. Намеченная в этих работах биография славянского заимствования в немецком, в частности в его венском варианте,

Поэтому название творога теперь включают в число реконструируемых (во всяком случае для достаточно древнего диалектного состояния) индоевропейских терминов¹⁸. Остается загадочным соотношение между этим словом и частично синонимичным названием сыра, представленным в слав. *суръ*. В последнее время получило распространение высказанное Махеком (приведшим и убедительные соответствия названию творога из неиндоевропейских языков евразийского языкового союза) предположение, по которому слав. *суръ* и *tvor(o)gъ* происходят из одного источника¹⁹. Но ни Махек, ни ученые, за ним следовавшие, не могли удовлетворительно объяснить разницу между начальными согласными в двух этих словах²⁰. Коптские формы и с ними связанные другие афразиатские (семито-хамитские) слова²¹, обнаруживающие сходное соотношение, могли бы содействовать решению при предположении о заимствовании разных рефлексов одной и той же миграционной основы. Заимствование могло быть связано с технологией изготовления продукта и передаваться вместе с этим нововведением через промежуточные звенья; отсутствие пространственного соседства языков не должно было этому препятствовать. Но время, место и пути распространения и заимствования слова остаются неизвестными.

Литература

- Булаховский 1978 — Булаховский Л. А. Славянские наименования птиц // Булаховский Л. А. Избр. труды: В 5 т. Т. 3. Киев: Наукова думка, 1978, 189—299.
 Дмитриев 1962 — Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского словаря // Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М.: Изд-во вост. лит., 1962.

нашла продолжение в современном международном физическом термине *quark* 'кварк', историей которого перед самой своей смертью занимался Роман Якобсон в докладе, прочитанном перед физиками: по Якобсону, Джойс усвоил это слово в свою бытность в Вене из немецкого языка города, после чего использовал его в своем романе «Finnegans Wake». Создатель теории кварков Гел Манн, найдя это слово в романе и считая его заумным, применил его как термин для названия мельчайших элементов творения. Это представлялось Якобсону особенно интересным в свете принимавшейся им (как теперь многими: Черных 1993, 231) этимологической параллели слав. *tvor-ogъ* : *tvor-iti* и франц. *fromage* 'сыр' < *formage* < вульгарно-лат. **formaticum*: *formāre* 'творить, придавать форму'.

¹⁸ Delamarre 1984, 151 (приводится соответствие между авестийским, греческим и славянским).

¹⁹ Machek 1957, 491; Черных 1993, 221.

²⁰ В качестве параллели (скорее всего чисто типологической) можно было бы привести соотношение начального *č*- в иранских названиях масла (осет. *carv*) и *s*- в соответствующих формах многих других индоевропейских языков.

²¹ Соотношение **t/s*- могло быть следствием изменения согласных в египетском и коптском: Kuentz 1935; Vergote 1945; Коростовцев 1967; Korostovtsev 1973; Schenkel 1990; Ehret 1995.

- Иванов 2000 — *Иванов Вяч. Вс.* Избр. труды по семиотике и истории культуры. Т. 2: Статьи о русской литературе. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Коростовцев 1967 — *Коростовцев М. А.* Фонологическая система новоегипетского языка // Эллинистический Ближний Восток, Византия и Иран. История и филология: Сб. в честь 70-летия Н. В. Пигулевской. М.: Наука, 1967, 25—43.
- Мещерский 1979 — *Мещерский Н. А.* Египетские имена в славяно-русских месяцесловах // Ж. Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов. М.: Наука, 1979, 117—128.
- Мещерский 1995 — *Мещерский Н. А.* Избранные статьи. СПб.: СПбГУ, 1995.
- Северьянов 1904 — *Северьянов С.* Супрасльская рукопись. СПб., 1904. (Памятники старославянского языка. Т. 2. Вып. 1).
- Стеблин-Каменский 1982 — *Стеблин-Каменский М. И.* Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М.: Наука, 1982.
- Топоров 1979 — *Топоров В. Н.* Прусский язык. Е—Н. М.: Наука, 1979.
- Трубачев 1974, 1979 — *Трубачев О. Н.* (ред.). Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1, 6. М.: Наука, 1974, 1979.
- Фрейденберг 1997 — *Фрейденберг О. М.* Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997.
- Черных 1993 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Русский язык, 1993.
- Bartholomae 1979 — *Bartholomae C.* Altiranisches Wörterbuch. Berlin: de Gruyter, 1979.
- Becker 2000 — *Becker U.* The Continuum Encyclopedia of Symbols. New York; London: Continuum, 2000.
- Bellmann 1971 — *Bellmann G.* Slavoteutonica. Berlin, 1971.
- Chantraine 1984 — *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris: Klincksieck, 1984.
- Cirlot 1971 — *Cirlot J. E.* A Dictionary of Symbols. New York: Philosophical Library, 1971.
- Crum 1939 — *Crum W. E.* A Coptic Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1939.
- Crum, Evelyn White 1926 — *Crum W. E., Evelyn White H. G.* The Monastery of Saint Epiphanius at Thebes. Part 2. New York: Metropolitan Museum of Art, 1926.
- Černý 1976 — *Černý J.* Coptic Etymological Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Delamarre 1984 — *Delamarre X.* Le vocabulaire indo-européen. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1984.
- Dévaud 1922 — *Dévaud E.* Études d'étymologie copte. Fribourg, 1922.
- Ehret 1995 — *Ehret Cgr.* Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian). Vowels, Tones, Consonants, and Vocabulary // University of California Publications Linguistics. 1995. Vol. 126.
- Erichsen 1954 — *Erichsen W.* Demotisches Glossar. Copenhagen, 1954.
- Korostovtsev 1973 — *Korostovtsev M.* Grammaire du Neo-égyptien. Moscou: Nauka, 1973.
- Kuentz — *Kuentz Ch.* Les deux mutations consonantiques de l'égyptien // International Congress of Linguists. Atti. Firenze, 1935, 193—199.
- Kuentz 1938 — *Kuentz Ch.* L'égyptien avait-il deux *l*, ou un seul, ou aucun? // Actes du quatrième congrès international des linguistes. Copenhague, 1938, 272—273.
- Laufer 1919 — *Laufer B.* Sino-Iranica // Field Museum of Natural History Publication 201. Anthropological Series. Vol. 15; № 3. Chicago, 1919.
- Loprieno 1995 — *Loprieno A.* Ancient Egyptian. Cambridge: University Press, 1995.

- Machek 1957 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1957.
- Schenkel 1990 — *Schenkel W.* Einführung in die altägyptische Sprachwissenschaft. Orientalistische Einführungen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990.
- Seebold 1999 — *Seebold E.* (bearb.). Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter, 1990.
- Severjanov 1956 — *Severjanov S.* (ed.). Codex Suprasliensis. Vol. 1. Graz: Akademische Drucke u. Verlagsanhang, 1956 (переиздание с: Северьянов 1904).
- Skok 1971 — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Kniga 1. A—J. Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 1971.
- Slovník jazyka staroslovenského 1959 — Slovník jazyka staroslovenského. 3. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1959.
- Steinhauser 1978 — *Steinhauser W.* Slawisches in Wienerischen. 2 Aufl. Wien, 1978.
- Turner 1989 — *Turner R. L.* A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages. London: Oxford University Press, 1989.
- Vergote 1945 — *Vergote J.* Phonétique historique de l'égyptien. Les consonnes. Louvain, 1945.

Д. И. ЭДЕЛЬМАН

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ИРАНско-СЛАВЯНСКИХ ДИАХРОНИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

Изучение иранско-европейских и особенно иранско-славянских лингвистических отношений имеет богатую историю. Общеизвестны достижения в этой области в трудах XIX и первой половины XX в., итоги которых были подведены в небольших по объему, но очень емких обобщающих работах 60-х гг.: [Зализняк 1962] и [Абаев 1965] (текст последней с дополнениями, а также многие более поздние статьи по данной проблеме собраны вместе и переизданы в кн.: [Абаев 1995]). Одновременно и впоследствии публикуется целый ряд работ, посвященных анализу конкретных сходств, соответствий и ареальному взаимодействию языков этих семей в фрагментах их исторической фонетики и морфологии, лексики (включая ономастику), элементов мифологии и т. д., а также работ, рассматривающих эти моменты сходства специально или в связи с другими проблемами (см. в особенности труды В. Н. Топорова, О. Н. Трубочева, а также обзор Х. Бирнбаума, где затрагивается, в частности, и эта область славистики [Бирнбаум 1987]).

Теперь, когда со времени написания данных обобщающих работ прошли уже десятилетия, весьма плодотворные как для изучения каждой из этих языковых семей в сравнительно-историческом (генетическом), типологическом и ареальном аспектах, так и для выявления новых иранско-славянских сходных элементов, представляется возможным пополнить (а в отдельных фрагментах и откорректировать) некоторые представления о соотношении истории этих языковых семей.

Для иранистики эти штудии имели серьезные результаты как в чисто фактологическом, так и в методическом планах. Так, в частности, были пересмотрены некоторые, считавшиеся хрестоматийными, реконструируемые характеристики общеиранского состояния: например, определенные «праязыковые» черты оказались на деле свойственными только центральному ареалу общеиранского диалектного континуума, то есть не «общеиранскими» в буквальном смысле этого термина. Коррективы подверглись и наши знания о путях развития отдельных групп и «ветвей» иранских языков, при этом были уточнены причины возникновения ряда инноваций внутри иранской семьи: неко-

инновации
и т. д.

торые весьма распространенные инновации оказались результатами не генетически единых, как считалось ранее, а типологически сходных (и не всегда тождественных) трансформаций исходной системы. Некоторые новые элементы и структуры оказались обязанными своим развитием определенным ареальным тенденциям в рамках крупных и мелких языковых союзов. Методическое размежевание причин трансформаций в истории иранских языков, т. е. выявление следствий генетических, типологических и ареальных процессов, позволило более четко определить ход генетической филиации общеиранского (и ранее — общеарийского) состояния, выявить пути типологических трансформаций ряда языков и языковых групп и базы образования языковых союзов с участием иранских языков.

В ходе этих исследований были пересмотрены и опровергнуты отдельные пункты в истории иранских языков, которые прежде служили ориентирами для сравнения с другими индоевропейскими языками, в частности со славянскими (например, положение об общеиранской фронтальной ассибиляции и.-е. палатальных, о чем будет сказано ниже). Все это требовало обобщения. Попытка такого обобщения содержится в специально посвященной этому книге¹. Здесь приводятся лишь некоторые моменты.

Следует сразу отметить, что сравнение материала языков этих двух «ветвей» или «под-ветвей» индоевропейской семьи осложнено различием не только их внутренней и внешней истории, степенью их изученности, но и целым рядом дополнительных факторов. Поэтому в ходе сравнения постоянно приходится учитывать следующие моменты:

1. Языки иранской и славянской семей имеют разную степень доказанного внешнего родства с другими индоевропейскими языками, и при их сравнении необходимо было учитывать данные их ближайше родственных языков и «промежуточных» праязыков тех генетических подгрупп, в которые они входят на том или ином этапе истории.

В частности, для иранской семьи важен был не только общеизвестный факт вхождения ее в более древнюю арийскую общность, но и выявленные в последние десятилетия определенные этапы дивергенции этой общности: первый — вычленение из нее вначале нуристанской, или «кафирской», группы языков и только затем уже второй — разделение оставшихся собственно «индоиранских» диалектов на индоарийские и иранские. При этом вычленение иранских языков как единой семьи происходило уже с ее изначальной диалектной неоднородностью. Все эти этапы и «ступеньки» характеризовались определенными историко-лингвистическими (в основном, историко-фонетическими) инновациями, свойственными тому или иному праязыку (обще-

¹ См. Д. И. Эдельман. Иранские и славянские языки: Исторические отношения (в печати).

арийскому, общенуристанскому, общеиранскому, общеиндоарийскому), которые теперь приходится учитывать при сопоставлении иранского материала со славянским. (Подробнее об этапах членения арийского состояния на «ветви» см. также [Morgenstierne 1945, 228—232; 1973, 338—342; 1974; Buddruss 1977; СГВЯ-Ф, 42—43, 48, 55; Эдельман 1992].).

Идея же раннего балто-славянского генетического единства вызывает, судя по литературе, споры и ныне. Не будучи специалистом в данной области, не берусь высказывать свое суждение по этому вопросу. Поэтому славянские и балтийские материалы в моей работе просто использовались по отдельности.

2. Языки иранской и славянской семей характеризуются разной степенью «внутрисемейной» дивергенции: иранские разошлись намного раньше и глубже, чем славянские. Это затрудняет их сравнение по принципу «семья с семьей», но в случаях заимствования из иранских языков в неиранские облегчает нахождение языка-источника.

3. Иранские и славянские языки имеют разную хронологию древнейшего реконструируемого праязыкового уровня. Это касается не только абсолютной хронологии, отчасти верифицируемой хронологией древнейших памятников отдельных языков (ср. с одной стороны, язык Авесты, передаваемый в устных текстах как минимум с середины второго тысячелетия до н. э. или фиксированные тексты наскальных надписей древнеперсидского языка VI—IV вв. до н. э., с другой стороны — памятники старославянского языка X—XI вв. н. э.), но и относительной хронологии праязыкового состояния: для иранских языков оно, как выяснилось, мало отличается от индоиранского, для славянских оно представляет собой в некоторых подсистемах в значительной мере «продвинутую» в своем развитии языковую систему.

При этом, во всяком случае для иранских языков, приходится учитывать разработанную в последние десятилетия хронологическую и ареальную стратификацию праязыкового периода: выявленные существенные различия между ранним и поздним состоянием относительно «общей» прасистемы и между центральным и маргинальными, западным и восточным ареалами.

4. Языки иранские и славянские исследованы далеко не в одинаковой степени, поскольку материал многих «малых» иранских языков зафиксирован относительно фрагментарно и с разной степенью достоверности, отсюда — разная степень изученности их истории, поскольку для целых групп внутри иранской языковой семьи мы можем вычлениить, например, «звукосоответствия» (буквально), но не соответствия фонем (которое практически понимается обычно под термином «звукосоответствия»). В различной степени исследована лексика таких языков: как лексический состав, так и система словообразования. А вместе с тем, эти «малые» языки хранят иногда рефлексy более архаичного состояния, чем то, которое донесено до нас древними письменными памятниками.

5. Языки иранские и славянские очень резко различаются в плане сохранности в них морфологии, особенно именной, и в плане различного построения синтаксической схемы предложения. Эти факторы налагают существенные ограничения на возможности их сравнения в этом аспекте.

Вместе с тем принадлежность обеих семей к большой индоевропейской семье и переплетение судеб части языков обеих семей стимулируют продолжение их сравнения.

При этом исследования языков и иранской и славянской семей по отдельности в сравнительно-историческом, историко-типологическом и ареальном аспектах, особенно развернувшиеся в последние десятилетия, выявили ряд не известных ранее существенных моментов в специфике диахронического развития самих этих семей. Тем самым уточнились наши знания о внутренних, спонтанных изменениях в истории конкретных иранских, славянских и других индоевропейских языков Европы и Азии, а также о тех чертах, которые могли быть приобретены ими благодаря внешним воздействиям. К последним относятся разные вторичные (и одновременные) характеристики, усвоенные отдельными группами языков и единичными языками в различных ареалах. Для иранских языков оказались важными вторичные черты адстратного происхождения, возникшие в различные относительно поздние периоды под влиянием разных языков в разных регионах иранского языкового мира, а также субстратные элементы и целые системы, особенно в ареалах языковых союзов.

Следует подчеркнуть, что для иранских языков контакты и особенно воздействие субстрата практически на всех языковых уровнях представляют собой важный фактор, значение которого трудно переоценить: в отличие от славянских языков и от других «ветвей» индоевропейских языков Европы, о прародине которых могут вестись дискуссии, иранские языки ни в одном из регионов их нынешнего бытования не являются автохтонными. Их распространение на историческую и современную территорию сопровождалось разновременными и разнотипными контактами с языками разных семей, в том числе и с теми, которые еще «просвечивают» в виде субстратных для целого ряда иранских языков в различных регионах иранского пространства. В связи с этим в изучении истории иранских языков немалая роль принадлежит ареальной лингвистике, позволившей выявить некоторые вторичные ареальные конвергентные общности — языковые союзы, которые основаны на разных типах контактирования языков и в которые входят (или входили прежде) иранские языки. Среди таких союзов следует прежде всего упомянуть центральноазиатский языковой союз (ЦАЯС, термин В. Н. Топорова [Топоров 1965]), включающий языки разных семей (в том числе и иранские), содержащий в себе также «малые» языковые союзы и имеющий определенную суб-

стратную базу², в отличие от балканского языкового союза (для которого такая база как будто не прослеживается).

Более четкое представление о временном и ареальном факторах позволило уточнить историю не только конкретных иранских языков, но и общеиранской праязыковой системы. Тем самым в более детализированном виде представляется ныне общеиранская система с ее хронологической и ареальной стратификацией: определились некоторые этапы как становления этой системы, так и ее дальнейшей дивергенции.

Так, можно считать, по-видимому, доказанным, что действительно общее для всех иранских языков протосостояние оказалось более архаичным и «отодвинутым» к общеиндоиранскому, чем оно реконструировалось ранее на основании только авестийского и древнеперсидского языков. При этом язык данного протосостояния не был единым и монолитным по всему иранскому ареалу: во-первых, в нем совершенно отчетливо выступают диалектные или, во всяком случае, ареальные варианты: 1) «продвинутый», обладающий определенными инновациями центральный и архаичные (либо с собственными, отличными от «центральных», инновациями) маргинальные (что отразилось, в частности, на разной судьбе в них индоевропейских палатальных); 2) западный и восточный, по-разному преобразовавшие на фонетическом уровне рефлекс индоевропейских звонких (и отчасти глухих) аспирированных и неаспирированных согласных в период совпадения этих двух серий в общеиранском в единую фонологическую серию. Поскольку различные иранские языки, принадлежащие к разным иранским группам и подгруппам, контактировали с неиранскими (в частности, со славянскими) языками в разные периоды и поскольку эти контакты носили различный характер (от возможных целых эпох и больших ареалов тесного контактирования и даже двуязычия до разовых контактов при торговле), представляется важным отождествление того или иного контактировавшего иранского языка, и следовательно, выяснение свойственных ему (как представителю той или иной группы или подгруппы) тех или иных лингвистических (главным образом, историко-фонетических) характеристик.

Все сказанное выше заставило вернуться к рассмотрению некоторых характеристик, которые квалифицировались прежде как общеиранские и как общие для иранских и славянских языков еще с момента их праязыковых состояний (а в отдельных работах — и как общие признаки, знаменующие некое «эксклюзивное» иранско-славянское родство), и попытаться проанализировать заново их происхождение.

К этому следует отметить, что в большинстве работ, посвященных иранско-славянским отношениям, основное внимание уделяется генетическому и

² О ЦАЯС и его характеристиках см. подробнее: [Топоров 1965; Эдельман 1980].

ареальному, главным образом этимологическому аспекту проблемы (то есть, сходному генетическому развитию иранских и славянских языков и заимствованиям или возможности заимствования из одних языков в другие). О трудности разделения спонтанных и контактных стимулов развития см. также [Бирнбаум 1987, 29 сл.]). Вместе с тем, немалый интерес представляют иранско-славянские сходные системные черты, развившиеся в результате общих (и/или сходных) историко-типологических процессов. Краткая сводка иранско-европейских (включая иранско-славянские) общностей в плане выявления тенденций их появления и развития была предложена ранее (см. [Эдельман 1989; 1996]), однако представляется необходимым вернуться к их рассмотрению с точки зрения их методической квалификации, поскольку на данном этапе важно более строго разграничить типологически сходные черты и генетически единые характеристики³ и отделить их от тех, и от других явления, вызванные ареальными тенденциями, включая контактные.

При учете всех этих факторов, сходные явления иранских и славянских языков а priori могут быть порождением различных факторов — они могут представлять: 1) общие генетические характеристики; 2) общие или сходные типологические черты; 3) ареальные свойства (об ареале и времени контактирования балтийцев, славян, иранцев, готов см. [Топоров 1983]).

Рассмотрим прежде всего генетический аспект проблемы: насколько общими для иранских и славянских языков были материальные инновации, которые могли бы свидетельствовать об их особой генетической близости?

А. Наиболее показательными для этой цели являются историко-фонетические процессы. Выбор инноваций этого языкового уровня определяется тем, что морфология иранских языков дает очень немного материала для подобных выкладок: в результате коренной перестройки морфологической системы иранских языков в эпохи, последовавшие за древнеиранской, сравнительно-историческая картина в морфологии оказалась размытой (а также неопределимыми оказались звукосоответствия в флексии и аффиксах), и выявление общих материальных, а не чисто структурных, морфологических элементов

³ В качестве примера того, как важно определить аспект рассмотрения истории языков можно привести тезис о переходе и.-е. *k в s через этап *c [ц] в славянских языках и в языке Авесты [Бошкович 1984, 96]. Не говоря о том, что тезис неверен фактически (в языке Авесты имеются недвусмысленные свидетельства перехода *k в s через этапы общеарийского *č и дальнейшего индоиранского *ś, о чем ниже), он неточен методически: здесь даже не ставится вопрос, был ли такой переход в славянских и (гипотетически) в авестийском результате типологически сходных, параллельных процессов или единого процесса, свойственного генетически единой группе. Это не упрек, а констатация того, как важно на современном этапе сравнения языков разных ветвей индоевропейской семьи «развести» разные аспекты такого сравнения.

(не только флективных, но и аффиксальных) удается далеко не всегда (поэтому даже размежевание основных групп внутри иранской семьи определяется главным образом на базе историко-фонетических данных). Морфологические данные приходится привлекать лишь попутно, к тому же ни один из выделяемых традиционно «классифицирующих» морфологических признаков, даже для размежевания подгрупп внутри иранской семьи, на деле не является классифицирующим: они носят не общий для генетической группы, а лишь частотный характер, охватывая часть языков той или иной группы. К тому же и таких признаков мало. Тем более малонадежен морфологический уровень для внешнего сравнения материала иранских языков.

Как уже говорилось, в ходе сравнительно-исторического исследования иранских языков в последние годы были уточнены основные вехи их историко-фонетического развития.

При этом выяснилось, что трансформационные процессы, сопровождавшие вычленение иранской семьи из более ранних и более «крупных» «ветвей» индоевропейской языковой семьи и затем дивергенцию этих языковых групп, проходили не совсем по тому «сценарию», который подразумевался ранее при формулировке сходств иранского и славянского путей развития. Рассмотрим ключевые моменты этого процесса.

I. Процессы ассимиляции индоевропейских палатальных в рассматриваемых языках проходили не идентично.

Позднеиндоевропейские палатальные $*k̄$, $*ḡ$, $*gh̄$ через этапы «сатэмных» $*k̄$, $*ḡ$, $*gh̄$ и ранних общеарийских аффрикат $*č$, $*j$, $*jh$ — дали поздние общеарийские аффрикаты $*ć$, $*j$, $*jh$, единые для раннего состояния всех арийских языков. Далее их развитие шло разными путями.

В нуристанских («кафирских») языках эти аффрикаты продвинулись вперед, в дентальный ряд, не утратив смычного компонента артикуляции, и перешли в дентальные аффрикаты c , $*z$ ($> z$), что в целом находит аналогию в славянских языках. После отделения нуристанской «ветви» в собственно индоиранских языках, то есть в индоарийских и иранских, на раннем этапе сохранилась их палатальная артикуляция при ослаблении элемента смычки в глухом согласном, и он спирантизовался, перейдя $*ć > *ś$. Очевидно, в западной части континуума этот процесс частично затронул и звонкие согласные с переходом через общеиндоиранские $*j$, $*jh$ соответственно в $*j/ž$, $*jh/ž$.

Далее в диалектах общеиранского состояния⁴ согласные этой группы развивались в наиболее ранний период по типу не $*c > *s$, как утверждается в не-

⁴ В диалектах же индоарийского праязыка предполагаются их рефлексы в виде $*ś$, $*j$, $*jh$, с переходом затем — ко времени создания древнеиндийских памятников — придыхательного $*jh$ в h (аналогично переходу в h в ряде случаев других звонких придыхательных).

которых работах (с опорой на авестийский и неиранские языки, но без учета архаизмов в иранских языках, в том числе и в самом авестийском), а через этап шипяще-свистящих глухой *ś и звонкой *ž/j.

Только позднее в большинстве древних иранских диалектов центрального ареала в свободной позиции (т. е. не в составе консонантной группы) общеир. *ś переходит в s, а общеир. *ž/j в z, с совпадением их со звукотипами *s, *z иного происхождения (из рефлексов и.-е. *s, из вариантов *d перед глухими и звонкими согласными и др.).

Однако в части окраинных диалектов в течение относительно длительного времени сохранялся шипящий компонент в звучании, т. е. они артикулировались, по-видимому, как *ś, *ž (или во всяком случае с неким «шепелявым» фокусом, типа θ, δ). Это способствовало, в частности, отражению данных согласных в диалекте-предке древнеперсидского в виде θ, d (последнего предположительно через этап *δ [Brandenstein, Mayrhofer 1964, 38; Mayrhofer 1968, 8, п. 36], см. артикуляционное обоснование также [СГВЯ-Ф, 40—45]) и отличие их рефлексов в дальнейшем от рефлексов звукотипов *s, *z (из и.-е. *s и *d перед согласными). Различные отклонения от «центральной» линии развития обнаруживают также древние иранские диалекты скифо-осетинской и сако-ваханской групп.

В частности, для последней группы показательны рефлексы общеиранской группы *śɟ, сохранившие шипящий характер праиранского *ś и предстающие в виде не sp, как во многих других иранских языках (включая авестийский), а шипящего ś (подробнее об этом переходе и примеры см. [СГВЯ-Ф, 81, 84, 119—120]). Отличия отражения общеиранской группы *śɟ (из и.-е. *kɟ) от группы *sp (из и.-е. *sp) отмечаются и в скифо-осетинской группе, и в древнеперсидском языке (где первая отражается в исконных словах как s, в м. *sp > fs, вторая сохраняет смычный элемент sp).

В составе же консонантных групп, особенно в частотных для иранских языков сочетаниях «рефлекс палатального + t» шипящий компонент общеарийских рефлексов палатальных сохраняется во всех языках индоиранского мира (включая и авестийский язык), поскольку развитие шло здесь путем преобразования группы *k̂t > *čt > *čt > *št > *št (например, *ok̂tō(u) > арийск. *aĉtā(u) > общеир. *aŝtā- > *aŝtā- > ав. aŝtā-). Характерно, что это был общеиндоиранский, но не общеарийский путь, поскольку в нуристанских языках

особенно *jh из и.-е. *gh в позиции палатализации), при сохранении в этот период ś, j. Возможно, в какой-то мере аффрикатный характер j, без перехода его в спирант *ž или *ž, поддерживался общими системными (ареальными?) тенденциями диалектов, легших в основу древнеиндийских памятников: на «неприятие» древнеиндийским языком звонких сибилантов указывает также и стабильное отражение более ранних звукотипов *z, *ž (из вариантов и.-е. *s перед звонкими согласными) в виде d, d.

имеются недвусмысленные свидетельства развития этих групп через этапы $*\acute{c}t > *ct > st$ (ср. язык прасун *āstē* 'восемь' < $*actāu-$ < $*oktō(u)-$). Тем самым подтверждается наличие шипящего компонента в артикуляции рефлексов палатальных в наиболее раннюю индоиранскую эпоху, что отразилось в иранских языках, как и в индоарийских, в отличие от нуристанских.

В славянских и балтийских же языках, как известно, трансформация индоевропейских палатальных прошла по-разному и независимо друг от друга: если в прабалтийском рефлексом и.-е. \hat{k} явился шипящий \acute{s} (его дальнейшая ассибиляция в латышском и древнепрусском языках может быть отнесена к более позднему периоду), то для праславянского признается развитие путем прямой ассибиляции.

Тем самым для группы языков «сатэм», включая арийские, славянские и балтийские, общими явились: отсутствие системной депалатализации и.-е. палатальных и процессы их аффрикации по первоначальному типу $*\hat{k} > *c$, с последующим переходом в $*\acute{c} > c$, или $*\acute{c} > c > s$, или $*\acute{c} > *s > \acute{s}$ или $*\acute{c} > *s > s$ уже параллельно и независимо в разных «ветвях» и даже «подветвях».

II. Действие правила «guki» также оказалось не вполне единообразным даже в пределах арийской семьи. В переходе и.-е. $*s$ в \acute{s} -образные звуки (нурист., др.-инд. \acute{s} , общеир. $*\acute{s}$) после $*i$ (включая $*i < \text{и.-е. } *ə$), $*u$, $*r$ (включая $*r < *l$), $*k$ (из и.-е. $*k$, $*k''$) и после рефлексов и.-е. $*\hat{k}$ здесь наблюдаются определенные этапы как в протекании данного процесса на фонетическом уровне, так и в фонологизации его результатов, которая в разных ветвях была неодинаковой. Выявлению этих этапов помогают характерные исключения: 1) сохранение индоевропейского $*s$ в виде s после $*u$ в нуристанских языках, при том что в собственно индоиранских $*s$ переходит в \acute{s} -образные звуки и в этой позиции; 2) сохранение s в группе sr в древнеиндийском, при переходе его в \acute{s} -образные звуки в иранских языках.

В ряде трудов переход $*s > \acute{s}$ рассматривается как палатализация, что во всяком случае для арийских языков не совсем так. При общей фонетической тенденции к появлению дополнительного фокуса у $*s$ после указанных индоевропейских звуков характер этого фокуса варьировал в зависимости от характера предшествующего звука: после $*r$, $*k$ и в большинстве диалектов после $*u$ возникал дополнительный заднеязычный (велярный) фокус, порождая веляризованные (твердые) шипящие звукотипы [\acute{s} , $\acute{\acute{s}}$], а после $*i$ и рефлекса $*\hat{k}$ (возможно, уже представлявшего к этому времени афrikату [\acute{c}] или [\acute{c}]) возникал дополнительный среднеязычный (палатальный) фокус, порождая палатализованные (мягкие) [$\acute{\acute{s}}$, \acute{s}].

Первоначально это были позиционные варианты, находившиеся в положении дополнительной дистрибуции друг с другом и со свистящим [s]. В диа-

лектах прануристанской зоны после *и фонема *s реализовалась также в виде лабиализованного свистящего [s°]. Перед звонкими согласными выступали соответственно варианты [z, ž, ź, ẓ́, z°].

Позднее — после отделения нуристанских диалектов и перехода в индоиранских языках рефлексов палатальных перед согласными в ž- и ź-образные звуки — прежняя дополнительная дистрибуция между свистящими и шипящими оказалась размытой, что способствовало фонологизации оппозиции s ~ ž. При этом в древних индоиранских диалектах образовались также минимальные пары типа ав. *asti* '[он] есть' (< и.-е. **es-ti*) ~ *ašti*- 'мера ширины в четыре пальца' (производное от раннеиндоевропейского **okto*- 'четыре'). В нуристанских языках фонологизация этой оппозиции сопровождалась закреплением звукотипа [s°] за фонемой s, как и рефлекса *ḳ в позиции перед согласным (см. в языке прасун *mīsu* 'мышь' < и.-е. **mūs*- 'мышь, мышца', ср. *āstē* 'восемь' из и.-е. **oktō(u)* [Kuiper 1978, 101]).

Реализация новой фонемы ž по ареалам была различной: в древних диалектах нуристанской и индоарийской групп, а также в юго-восточных иранских диалектах она реализуется веларизованными твердыми звукотипами⁵, в западной зоне иранских диалектов — преимущественно палатализованными мягкими, что отражается в ее дальнейших рефлексах (см. [СГВЯ-Ф, 106—118; Расторгуева 1990, 71—75, 134—137, 210—212]).

В славянских же языках этот процесс имел, как известно, дальнейшее развитие: в случаях, когда за рефлексом и.-е. *s в виде уже сатэмного *ž не следовали взрывные согласные p, t, k, это *ž переходило в праславянское x (перед p, t, k шипящий ž здесь сохранялся). Об артикуляционной базе, относительной хронологии возникновения x и о путях развития здесь x см. *ž велась дискуссия, однако само распределение ž и x на первых порах в праславянском как будто бы сомнению не подвергается (см. [Мейе 1951, 26—30, 80—81, 105; Бошкович 1984, 97—100, особенно с. 99]).

В балтийских языках ситуация более разнообразна: в литовском языке правило «гикі» действовало обычно при положении *s после *r и *k. Действие же его на *s после *i, *u менее отчетливо, к тому же оно подвержено колебаниям при ассимилятивных процессах, в том числе под влиянием морфологических и словообразовательных моментов (что находит аналогию и в других языках группы «сатэм», ср., например, ав. *usaiti* 'светает' < и.-е. **us-ske-ti*, где ожидаемое *ž в **už*- «поглощается» продуктивным в ту эпоху суффиксом **-sa-*

⁵ Древнеиндийское «исключение» в виде *sr* см. **sr̥* связано именно с твердостью, бемольностью здесь *ž*, сходной с бемольностью *r*: артикуляционный элемент постальвеолярности воспринимался, вероятно, как не ингерентный, а резонансный, характеризующий не один сегмент [ž], а консонантную группу [sr̥] в целом, то есть как результат фонетической регрессивной ассимиляции со стороны *r*, не значимый фонологически.

из и.-е. **ske-*; то же в др.-инд. *ucchati* < и.-е. **us-ske-ti*, при лит. *aišta*, и т. п.). При этом направление ассимиляции здесь противоположно арийскому (ср. лит. *saurà*, где **-s-* сохраняется благодаря влиянию начального **s-*, ср. лит. *aišrà*, где такого влияния нет, при том что в др.-инд. мы имеем в том же корне *śuṣ-* в м. ожидаемого **suš-*, т. е. с частичной ассимиляцией **s-* под влиянием *-ṣ-*). Подробнее: [Каралонас 1966, 113—126].

Согласно одной из гипотез, начало этого процесса — перехода **s* в *š*-образные звуки в диалектах индоевропейского континуума — было положено в некотором едином центре, по отношению к которому протобалтийские диалекты находились на периферии ареала распространения этого перехода, а переход этого **š* в *x* в праславянском был одним из первых (после трансформации групп **sk* > *š* и **sg* > *š*) собственно праславянских фонетических изменений [Чекман 1981, 36—37].

Таким образом мы можем констатировать, что правило «*guki*» действовало как фонетическая ассимилятивная тенденция во всех арийских, славянских и балтийских языках, но на ее реализацию (и на последующий «выход» с фонетического на фонологический уровень) в той или иной группе налагались дополнительные индивидуальные правила и ограничения.

III. Неединообразным предстало отражение в иранских языках общеарийских звонких аспирированных и неаспирированных согласных.

Так, стало очевидно, что в нуристанских языках они отражаются как звонкие неаспирированные смычные, при сохранении различия в их артикуляции в собственно индоиранских языках. То есть отделившиеся от арийской общности нуристанские языки относительно скоро бесследно утратили аспирацию звонких аспирированных, в то время как индоиранские дольше сохраняли этот элемент артикуляции.

В древнеиндийском оппозиция звонких аспирированных и неаспирированных сохранилась, и на этой почве фонологизировалась аналогичная оппозиция глухих.

В диалектах общеиранского обе эти серии звонких совпали в единую фонологическую серию, утратив признак аспирированности; фонологически их обозначают **b*, **d*, **g*, однако их фонетическая реализация была по группам диалектов неодинаковой. Практически основное генетическое членение иранской семьи на западную и восточную группу началось именно с трансформации звонких придыхательных и непридыхательных согласных.

В праиранских диалектах восточного ареала, где, как и в праиндоарийских диалектах, аспирация удержалась дольше и где, по-видимому, она была относительно сильной, возобладали аспирированная артикуляция, реализовавшаяся в сильной позиции (а таковой было начало слова) в превращении аспирированного смычного в спирант (первоначально — только на фонетическом

уровне, поскольку оппозиции звонких согласных по признаку «смычный ~ щелевой» еще не было). По аналогии с аспирированными повели себя рефлексы звонких неаспирированных. В результате мы имеем в восточноиранских языках в анлауте переход в спиранты звонких аспирированных, а затем, по аналогии с ними (при утрате оппозиции аспирации у звонких) и звонких неаспирированных, т. е. по типу **gh- > *γ-* и по аналогии **g- > *γ-* (то же **dh- > *δ-* и **d- > *δ-*, а также **bh- > *v-* и нечастое **b- > *v-*). Тем самым разрушение оппозиции звонких аспирированных ~ звонких неаспирированных в восточноиранском ареале вызвало контаминацию их по типу реализации фонологической серии звонких аспирированных.

В ареале западных диалектов соотношение было обратным: ранняя утрата аспирации звонких привела к совпадению двух арийских серий в звонкие смычные неаспирированные, а отсюда к отражению их в начале слова в виде **b-*, **d-*, **g-*.

В славянских языках, как и в балтийских, следов этой позднеиндоевропейской оппозиции в системе согласных нет: она выявляется из косвенных данных (закон Винтера).

IV. Более дифференцированной предстала судьба глухих согласных.

В нуристанских языках следов аспирации глухих не обнаруживается. Скорее всего, к периоду их отделения от других арийских серия глухих аспирированных еще не приобрела устойчивого статуса. Судя по их рефлексам в иранских языках, эта серия не фонологизировалась окончательно и к периоду отделения иранских диалектов от индоарийских.

В иранских языках, согласно традиции, арийские глухие придыхательные **ph*, **th*, **kh* перешли в общеир. **f*, **θ*, **x*, различно отразившиеся по языкам. Однако исследования последних лет показали, что в диалектах общеиранского состояния имелись перебои в отражении этой серии согласных, то есть, например, предполагаемое арийское **kh* далеко не всегда отражается в виде общеиранского **x* с соответствующими рефлексами, имеются примеры и отражения его в виде общеир. **k*, а также с вариантами (ареальными и индивидуальными по языкам) **k/x*. Особенно тяготеет к смычной артикуляции ваханский язык. Ср., например, разные способы отражения общеиранск. **kan-* / **xan-* < **kan-* / *khan-* 'источник, родник' — ср. авестийский *xan-* 'колодец, родник', старованджский *kik*, язгулямский *xex* 'вода' (< **xā-ka-* при ассимиляции *-k > -x* с начальным *x-*), но вах. *kyk* 'источник, родник', сарыкольский *kewg* 'источник, родник' (из вах.), хотаносакский *khāhā-*, среднеперсидский *xān* и т. п., при др.-инд. *khā* [Абаев 1956₁, 446]; материал восточноиранских языков см. также [СГФЯ-Ф, 140—142, 166—168, 186—187]. Сюда же относится общеиранское **kata-* 'дом, хижина; лачуга', производное от глагола **kan-* 'копать' (как и предыдущее слово), отразившееся в засви-

детельствованном материале конкретных иранских языков с начальным **k-*, но в заимствованном из иранского диалекта (скифского?) украинском *хата* с начальным *х-*.

При этом отмечается как бы «зеркальное» соотношение в их отражении с отражением соответствующих звонких: если в восточном ареале диалектов общеиранского состояния звонкие (придыхательные, а по аналогии с ними и непридыхательные) спирантизовались, проходя путь типа **gh- > *γ-* и по аналогии **g- > *γ-*, то глухие отражались по типу **k > *k*, **kh > *k/x*. Для западного ареала соотношение было обратным: если звонкие стремились к смычно-сти, по типу **g > *g* и по аналогии с непридыхательными **gh > *g*, то у глухих придыхательных возобладала, как правило, щелевая артикуляция: **kh > *x*, хотя непридыхательные отражаются обычно смычными: **k > *k* (см. подробнее [СГВЯ-Ф, 139—142, 166—168, 186—187; Расторгуева 1990, 115, 121, 141—142, 179—183, 190—193, 218—223]).

В славянских и балтийских языках, как известно, отражение глухих согласных в свободной позиции не выявляет различия рефлексов придыхательных и непридыхательных. Поскольку глухие придыхательные на фонологическом уровне в общеиндоевропейском языке отсутствовали, возможно, их попросту не было в доисторическом прошлом славянских и балтийских языков, в отличие от диалектов арийского континуума.

V. При анализе иранских заимствований в славянских языках часто упоминается иранский переход **s > h*. Он действительно имел место во всех иранских диалектах праязыкового периода в свободной позиции (то есть в начале, середине или исходе слова, но не в составе консонантных групп), что коренным образом отличает иранские языки от многих других индоевропейских языков, включая другие арийские, то есть нуристанские и индоарийские. В ряде работ имеется даже тезис о фронтальном системном переходе **s* в **h* в общеиранском, однако на деле это не так: этот переход был строго позиционным. В случаях, когда за **s* следовали глухие смычные (включая придыхательные) и **č*, **n*, а также в случаях, когда перед **s* находились **t*, **d*, **n*, — т. е. в тех позициях, которые «консервировали» дентальную артикуляцию, сибилантная глухая артикуляция **s* сохраняется (то есть арийск. **s >* иранск. **s*); в позиции перед звонкими согласными сохраняется его фонетическая реализация в виде **z*. (При следовании **s* после **p* зафиксировано изменение типа **ps > *fš*, возможно, по аналогии с соответствующим изменением группы, продолжающей сочетание **p* с рефлексом палатального: **p + *k̂ >* ар. **pč > *pś >* ир. **fš*). Подробнее см. [Bartholomae 1895, 5 сл.; Benveniste 1968, 64; Оранский 1979, 50, 57; СГВЯ-Ф, 23—24, 27; Расторгуева 1990, 67—71].

Учитывая все эти моменты рефлексации **s*, можно говорить не об общем переходе арийской **s* в иранскую **h*, а о соответствующем позиционном из-

менении и о наличии в общеиранской системе единой фонемы **s/h/z* с вариантами, обусловленными позицией.

Самостоятельную фонологическую значимость звукотип **[h]* обрел позднее, в ходе дальнейших изменений в системе. И только после фонологизации *h* и тем самым с утратой фонемой *s* начальной, интервокальной и др. позиций происходит ассимиляция рефлексов общеиранской **ś* с переходом их в *s* и совпадением с *[s]* из других источников. (Следует заметить, что в случае ранней ассимиляции рефлексов **ś* и совпадении их с рефлексами арийского **s* переход **s > h* затронул бы и те, и другие рефлексы.) Подробнее об этих процессах и их относительной хронологии см. [СГВЯ-Ф, 40—41, 50—54], здесь же уместно подчеркнуть, что эти данные относительной хронологии фонемных изменений еще раз указывают на относительно поздний период «окончательной» ассимиляции рефлексов палатальных в иранских языках и иной, чем в славянских и балтийских языках (как и в арийских), фонологический фон, на котором протекал данный процесс.

VI. В связи с судьбой согласных особого внимания заслуживают два момента в отражении индоевропейских заднеязычных согласных в иранских языках в сравнении со славянскими и балтийскими, поскольку вокруг схожести их развития ведутся давние и серьезные споры — это так называемая «вторая» палатализация и спирализация рефлексов **g* (с последующими изменениями). Здесь давно отмечаются определенные сходства, которые трактуются представителями разных направлений по-разному. При этом существенно, что определенная часть такой общности находится в русле больше артикуляционной фонетики, чем исторической фонологии, что снимает во всяком случае часть возражений против общности этих процессов.

1. Как известно, существенной чертой, присущей индоевропейским диалектам группы «сатэм», была (и продолжается поныне) фонетическая тенденция к палатализации заднеязычных согласных (**k*, **g*, **gh*) перед **i* (и **j*) и **e*. Известны и фонологические следствия этой палатализации, т. е. вычленение самостоятельных фонем **č*, **j*, **ž* в славянских и арийских языках, при том что в языках балтийской группы, которая по другим показателям значительно ближе к славянской, чем индоиранская, такой переход не произошел. Ср., например, соответствия типа и.-е. **k^hetcer-*, **k^hetcor-* ‘четыре’ > русск. *четыре*. др.-инд. *catvar-*, общеир. **čatvar-*, но лит. *keturi*; и.-е. **g^hīcos* ‘живой’ > русск. *живой*, др.-инд. и общеир. *jīac-* (ср. также в конкретных иранских языках: язгулямский *žaw-* ‘выжить после тяжелой болезни’, ягнобский *ži-* ‘жить’), но лит. *gyvas* ‘живой’ и т. п.

Характерно, что в дальнейшем в ряде иранских языков, как и в славянских, продолжается тенденция к позиционной палатализации заднеязычных согласных, причем неодинаковая в различных языках: с фонологическими пе-

реходами типа $*k > *č$, $*č' > c$ и выделением фонологического ряда палатализованных согласных. При этом назвать эту черту единой генетической, объединяющей иранские и славянские языки, невозможно: сходные процессы имеются и в других языках, включая и некоторые арийские (нуристанские, дардские). Скорее здесь тоже приходится говорить о типологически параллельных процессах, начало которым было положено в едином «толчке» генетической группы «сатэм». Ср. также мнение о трудности разграничения типологического сходства и генетического родства славянских, балтийских и индоиранских языков в отношении перехода и.-е. $*s > š$ и второй палатализации гуттуральных (с тезисом о невозможности в последнем случае генетически общей черты) [Бирнбаум 1987, 30].

2. Немалый интерес представляют щелевые согласные, продолжающие варианты фонем заднеязычного ряда. Об отражении типа $*k / *x$ в диалектах древнеиранского континуума и об отражении иранского щелевого $*x$ в славянском заимствовании говорилось выше. Пожалуй, в еще большей степени существенно для славянско-иранских отношений развитие иранской звонкой фонемы этого ряда.

Как говорилось выше, общеиранская звонкая заднеязычная фонема, условно обозначаемая как $*g$, отражается как щелевая $ɣ$ в разных позициях в различных иранских языках. Особенно характерна ее реализация в виде $*ɣ$ - в начале слова во всех языках генетической восточноиранской группы с самого древнего периода — диалектов общеиранского состояния. При этом щелевая $*ɣ$ отодвигается в увулярную зону практически уже по всем иранским языкам. И эта ранняя увуляризация также влияет на ее историю, обособленную от истории заднеязычных смычных согласных.

Таким образом, иранские языки наглядно демонстрируют диахронические следствия той артикуляционной асимметрии, которая была свойственна смычным и щелевым согласным заднеязычного ряда в древних иранских диалектах, как и в разных других языках мира (включая русские говоры [Высотский 1978]), а именно: смычные были заднерядны и легко палатализовались и продвигались вперед при определенных условиях. Щелевые имели тенденцию отодвигаться назад, вплоть до увулярного ряда, а укрепившись в нем, они утрачивали связь с заднеязычными и часто уже не поддавались свойственной последним палатализации (даже в «палатализирующих» позициях).

Как говорилось, древнейшее членение диалектов общеиранского праязыкового состояния на западную и восточную группы выразилось, помимо прочего, в соответствиях звонких анлаутных согласных, включая западные смычные b -, d -, g - ~ восточные щелевые v - (w -), $δ$ -, $ɣ$ -. Тем самым, отражение $*g$ в виде $ɣ$ здесь предстает а) системным (поскольку существует на фоне спирантов в других артикуляционных рядах), б) генетически заданным, а потому су-

шествующим с древнейшей эпохи (уходящей началом в диалекты индоиранского единства) и на огромном ареале распространения языков восточноиранской «ветви». Поскольку к генетической восточноиранской группе относятся языки разных регионов — от пашто и «малых» языков Памиро-Гиндукушского региона до скифских диалектов (предков современного осетинского языка), эта черта представляет немаловажный интерес с точки зрения возможного контактного взаимодействия со славянскими языками.

Характерно, что в эпохи после общеиранской и общевосточноиранской в ходе истории отдельных иранских языков, например осетинского, ягнобского, ишкашимского, в силу разных поздних причин наблюдается как бы вторичный возврат части звонких щелевых фонем в однорядные им звонкие смычные: в осетинском это результат усиления анлаутной интенсивности в артикуляции звонких, в остальных языках — свои, иные причины (подробнее см. [СГВЯ-Ф, 213]). Однако **y* при этом никогда не переходит в смычную **g*, поскольку она уже принадлежит к увулярному ряду и не отождествляется с заднерядной *g*. (То же относится к взаимоотношениям глухих *x* и *k*, см. ниже.) Даже осетинский язык, при его тяготении к смычной артикуляции анлаутных звонких согласных, сохраняет щелевую увулярную *y* в дигорском диалекте (как более архаичном с точки зрения исторической фонетики); в иронском же диалекте, где тенденция к смычности все же возобладала, результатом такой «интенсификации» артикуляции **y* явился ее переход в увулярную же глухую смычную *q* — как единственную смычную фонему этого артикуляционного ряда.

Таким образом, закономерность наличия звонкой щелевой *y* (из более ранних общеарийских **g*- и **gh*-) в скифском и осетинском, как и генетическая предопределенность именно щелевой артикуляции, вопреки поздним тенденциям, для нас особенно важны как свидетельства того, что эта черта развивалась в общем русле внутренних историко-фонетических законов большой генетической группы иранских языков, охватившей огромный ареал Евразии. При этом широкая историческая локализация скифских и родственных им диалектов на Восточноевропейской равнине и их контакты со славянским миром, носившие в определенные отрезки времени довольно тесный характер, наводят на предположения о прямом или косвенном влиянии на щелевую артикуляцию рефлексов **g* в виде $y > h$ в некоторых славянских языках ареала контактов славянских языков со скифскими и генетически родственными им восточноиранскими диалектами (см. [Абаев 1965, 41—52], ср. карту распространения *y* в славянских языках, по С. Б. Бернштейну [там же, 45]; то же с изменениями в кн. [Абаев 1995, 332—342]).

Слависты рассматривают переходы в славянских языках и диалектах **g* > *y* и **g* > *y* > *h* как результаты спонтанных внутриславянских процессов (см., в частности, [Бошкович 1984, 100—102]). Естественно, предположение о

переходе в части славянских языков $*g > \gamma (> h)$ только в результате воздействия скифской стихии было бы упрощением. Процесс переустройства всей подсистемы заднеязычных имел в этих языках значительно более сложный ход (и в собственно фонетическом, и в ареальном аспектах) и предположительно бо́льшую протяженность во времени, чем это казалось еще несколько десятилетий назад. Однако ареальная приуроченность этого явления, примыкающего к зоне контактирования со скифскими диалектами, наводит на мысль о возможности поддержки со стороны последних определенных ареальных производительных навыков, реализующихся в спирантизации рефлексов $*g$.

Обратное же воздействие — славянской среды на иранскую — в отношении процесса перехода $*g > \gamma$ трудно предположить, поскольку, как уже говорилось, этот процесс в иранских языках был а) системным, б) распространялся на всю большую генетическую восточноиранскую группу во всем ее ареале далеко за пределами контактных (со славянскими языками) регионов, а также, возможно, намного опережал во времени соответствующий славянский сдвиг.

Система иранского вокализма представляет результат «свертывания» индоевропейской системы до двух гласных фонем еще в общеарийском состоянии: краткой a и долгой \bar{a} (соответственно из и.-е. кратких $*e$, $*o$, $*a$ и долгих $*\bar{e}$, $*\bar{o}$, $*\bar{a}$ и из соответствующих вариантов носовых сонантов), имеется также звукотип $[j]$ (из и.-е. $*\bar{a}$ в определенных позициях), совпадающий с ир. $[j]$ — слоговым вариантом сонанта. Практически эту же систему мы застаем в общеиранском.

Кроме того, в общеиранском еще сохраняется остаточный разряд фонем-сонантов: $/j/$, $/u/$, $/r/$ с вариантами: 1) слоговыми — с вариациями а) монофтонговыми $[j, \bar{j}]$, $[u, \bar{u}]$, $[r = \bar{r}, r\bar{a}]$, б) в виде слабых дифтонгов $[ij, \bar{a}j]$, $[iu, \bar{a}u]$; $[iu, \bar{a}u]$, $[ur, \bar{a}r]$; в чередованиях принимали участие и сильные дифтонги, однако для этого периода их можно рассматривать как бифонемные сочетания); 2) неслоговыми — с вариациями а) $[y, \bar{y}]$, $[w, \bar{u}]$, $[r]$ в позициях Son-, VSonV; б) $[j]$, $[u]$, $[r]$ в позициях VSon, VSonC. Позднее, после эпохи древних памятников этот разряд фонем окончательно расщепляется на гласные и сонорные согласные y , w (и/или v — в языках, где утрачена оппозиция губно-губных и губно-зубных), r .

Праславянский язык характеризовался, как известно, в корне иной трансформацией вокализма. Здесь исчезла индоевропейская количественная оппозиция однокачественных гласных фонем (типа $a \sim \bar{a}$, $o \sim \bar{o}$ и т. п.) и выработалась зависимость количества гласного от его качества; исчезла система дифтонгов; при этом дифтонги, содержавшие носовые m и n , перешли в разряд назализованных фонем-монофтонгов; появились новые редуцированные гласные. Иным образом развивалась и система сонантов. Хотя в подсистеме сонантов праславянский выявляет больше сходства с общеиранским, оно (сходство) не носит

характера генетически общих инноваций: здесь тоже можно говорить скорее о типологически сходных линиях развития, чем об общих изменениях системы.

Подытоживая беглый обзор историко-фонетических признаков праязыковых систем иранской и славянской общностей и путей фонетических и фонологических трансформаций в них элементов индоевропейской фонологической системы, можно сказать, что особой генетической близости или сходств в историко-фонетических процессах, каких-либо общих «эксклюзивных» материальных инноваций, которые указывали бы на более тесное родство этих «ветвей», чем обычные «общесатэмные» инновации, здесь не обнаруживается. Иранская фонологическая система формировалась в целом в рамках арийской, славянская — в значительной мере обособленно даже от балтийской. При этом, как показывает материал, и иранская, и славянская праязыковые системы не были монолитными, а представляли собой некие диалектные континуумы, и следовательно, при рассмотрении путей их дальнейших контактов и взаимодействия приходится учитывать, что эти контакты могли быть скорее между отдельными ареальными зонами или диалектами и диалектными группами, чем между цельными праязыковыми системами, которые к тому же могли не совпадать в плане абсолютной хронологии.

При этом ряд сходных параллельных линий развития одних и тех же общеиндоевропейских или «общесатэмных» элементов и подсистем могут быть квалифицированы как типологически общие процессы, «генетически запрограммированные», спровоцированные единым «первотолчком» — в виде подвижки, присшедшей еще в системе соответственно индоевропейского или «общесатэмного» состояния.

Б. Еще меньшее число надежных общих инноваций, которые могли бы быть интерпретированы как общие генетически черты, наблюдается при сравнении иранских и славянских языков в морфолого-синтаксическом аспекте. Здесь исследования последних десятилетий иранских языков показали следующую картину.

Реконструированная общеиранская морфологическая система оказалась более «отодвинутой» к общеарийскому архаичному состоянию, чем предполагалось на основании сравнения только авестийского и древнеперсидского языка. Однако при этом приходится учитывать и тот факт, что авестийский язык в ряде случаев хранит в текстах и «застывшие» формы доиранского образования, а его инновации имеют не только спонтанный характер, но и привнесенный западноиранскими жрецами. Практически для праиранского уровня восстанавливается почти полная арийская парадигма имени и глагола (см. подробнее [Bartholomae 1895; СГВЯ-М, 9—67]).

Праславянский язык оказался значительно более «продвинутым» не только в фонетике, но и в морфологии.

При этом каких-либо иранско-славянских эксклюзивных морфологических материальных (а не типологических) инноваций в праязыковых системах этих семей не отмечается. Мы не рассматриваем здесь сходные утраты тех или иных элементов, категорий и даже целых парадигм в иранских и славянских языках — они мало что значат для выявления возможного тесного родства или контактов между отдаленно родственными языками, поскольку такие утраты могли происходить в разных языках и независимо. Они не могут быть расценены в качестве общих материальных инноваций, говорящих о генетической близости. Не являются особо значимыми для определения тесного родства и общие материальные архаизмы, поскольку они могли сохраниться в системе каждого из праязыков самостоятельно. В этом отношении перечень выявленных морфологических материальных сходств интересен для индоевропеистики, однако эти сходства обычно разделяются и другими родственными языками [Зализняк 1962, 33].

Вместе с тем сравнение морфологии и синтаксиса иранских языков более позднего периода с другими индоевропейскими недревними языками выявляет целый ряд любопытных типологических инноваций, общих у иранских языков с индоевропейскими языками Европы, включая славянские.

Так, в иранских языках недревнего периода отмечается относительно быстрое «упрощение» морфологии языков западной и — с некоторым отставанием — большинства языков восточной группы, развитие аналитических структур с последующей агглютинацией и вторичным синтезом в подавляющем большинстве живых иранских языков (подробнее [Расторгуева 1975, 112—224]).

При этом процессы сворачивания древних парадигм и выработки новых грамматических структур в поздних иранских языках имеют типологические аналогии в индоевропейских языках Европы: например, относительно быстрая тематизация склонения и спряжения, поскольку она проходила в славянских (см., например, [Мейе 1951, 164—165]) и в иранских языках независимо, в рамках «унификации» словоизменительных парадигм.

Известно, что в истории глагола большинства иранских языков огромную роль сыграла коренная трансформация всей глагольной системы, разрушившая древнюю систему трех типов основ (презенса, аориста, перфекта) с определенными типами флексии (первичные, вторичные, перфектные окончания), — систему, в которой ведущим было выражение Aktionsart'a, а категория времени была подчиненной и свойственной не всем подсистемам глагола. Развиваются аналитические конструкции, в которых на первый план выступает категория времени (в основном в виде оппозиции форм настоящего-будущего ~ прошедших времен), а также формализуется классификационная оппозиция переходности ~ непереходности глагола, которая в древнюю эпоху еще только вырабатывалась на лексическом уровне (в виде классов глаголов).

Данная структурная трансформация, перестроившая и средства выражения тех или иных категорий (включая архаичные), разделялась этими иранскими языками не только с ближайше родственными индоарийскими, дардскими и нуристанскими, но и с индоевропейскими языками Европы. Последовательность процессов для иранских языков предполагается следующая.

С затуханием роли древнеиранского перфекта, унаследованного из индоевропейского состояния, развиваются аналитические конструкции со значением результативности, строившиеся на базе причастий на **-ta* (реже на **-na* и от единичных глаголов — также на **-ца*). Залоговая характеристика этих причастий — активная для непереходных глаголов и пассивная для переходных — обусловила различные построения данных конструкций. Для непереходных использовались конструкции типа «я пришедший есмь». Для переходных аналогичные построения имели бы пассивное значение, и для выражения активного действия употреблялись посессивные конструкции, в которых субъект действия выступал в качестве посессора его результата, то есть модель имела вид «[у] меня это сделано // сделанное есть», сходный с аналогичными результативными построениями в истории индоарийских языков, армянского языка и в современных русских говорах. В основной части иранских языков имя субъекта действия (// посессора результата) оформлялось генитивом — «[у] меня», а в ряде древних восточноиранских языков, как и в древнеиндийском, здесь выступал инструменталис «мною».

Этот тип построения результативных оборотов в истории подавляющего большинства иранских языков (как и в индоарийских и некоторых других), в отличие, например, от романских и германских, объясняется тем, что к моменту их грамматикализации в лексической системе данных языков глагол с абстрактной семантикой «иметь» еще не был выработан либо имел слабые позиции (как и в русском языке), поскольку общеиранский корень **dar-* ‘схватывать, держать’ (из и.-е. **dher(a)-*) приобретает здесь значение ‘иметь’ позднее, и не во всех иранских языках.

Лишь в нескольких иранских языках северо-восточной генетической подгруппы: согдийском — в его литературном варианте (с продолжающим его ягнобским), и в хорезмийском — засвидетельствована глагольная система, где роль претерита выполняли флективные формы древнего имперфекта от презентной основы, а данная «пассивно-посессивная» результативная конструкция грамматикализовалась в функции перфекта относительно поздно, когда глагол, продолжающий общеир. **dar-*, уже обрел устойчивый статус в значении ‘иметь’. В результате в согдийском и хорезмийском языках возобладало перфектное построение «германского» типа (естественно, с поправкой на «иранский» порядок слов): «я это сделанным имею». При этом в согдийской разговорной норме, отразившейся в «Старых письмах» и продолженной в по-

томке одного из диалектов (который не был зафиксирован письменными памятниками) — в ягнобском языке, отражается более архаичная связочная «пассивно-посессивная» конструкция перфекта «[у] меня это сделанное / сделано есть», как и в других иранских языках.

Об истории становления этих иранских конструкций, называемых в разных традициях «пассивно-посессивными», «псевдопассивными», «эргативными», «эргативообразными» и т. п., имеется большая литература (см., например, [Бенвенист 1974, 192—224; Кауфман 1956, 492—495; Пирейко 1968, 9—34; ОИТИИЯ, II, 258—261, 318 и др.; Эдельман 1974; СГВЯ-М, 70—72, 103 сл.] и мн. др.

Со временем в подавляющем большинстве иранских языков эти грамматикализованные построения утрачивают значение результативности и становятся формами претерита, вытесняя из этой сферы рефлексы древнего имперфекта (аорист утрачивал свои позиции несколько раньше).

Тем самым основное отличие иранских (как и индоарийских и других близкородственных иранским) языков от индоевропейских языков Европы в формальном плане состоит в грамматикализации в первых переходных конструкций типа «[у] меня // мною это сделано // сделанное (есть)» с косвенным падежом имени субъекта и — в отдельных языках — с объектной ориентацией глагола, при непереходных типа «я пришедший есмь», с прямым падежом (или с номинативом) имени субъекта, обычных и для иранских языков, и для индоевропейских языков Европы, которые использовали здесь конструкцию типа «я имею это сделанным». При этом по первоначальному характеру соотношения компонентов и «иранские», и «германские» (если обозначить их условно так) переходные конструкции в целом однотипны: это посессивные обороты, в которых субъект действия предстает как посессор результата действия, выраженного пассивным (для данного класса глаголов) причастием. Таким построением как бы преодолевалась пассивность причастия и весь оборот переводился в активный план. Формальные же различия между «иранской» и «германской» конструкциями основаны на различии способов выражения посессивности в данных языках, о чем писал еще Э. Бенвенист.

Характерно наличие сходных с иранскими причастных сочетаний «перфектного», т. е. результативного, значения в русских говорах (по говорам — для переходных и непереходных глаголов), где они организованы так же — не с глаголом «иметь», а с глаголом «быть» или с нулевой связкой (при нехарактерности связки для устной формы русского языка), что связывается со слабой позицией здесь глагола «иметь». То же отмечается в литовском языке — в сочетаниях с пассивными причастиями среднего рода и генитивом имени субъекта, наблюдаемых для переходных и непереходных глаголов (ср. *tėvo*

ruġiāi sējama / sēta ‘отец сеет / сеял рожь’ (букв. ‘отца рожь сеямо / сеяно’),
těvo ġūlima / ġulěta ‘отец лежит / лежал’ (букв. ‘отца лежимо / лежано’) [Ам-
 бразас 1990, 207—208].

Характерно, что в языках, где сходные результативные перфектные конструкции могли иметь базой причастия с активной семантикой, предложения с результативным значением могли строиться в «номинативном» плане как с переходными, так и с непереходными глаголами (например, в литовском языке, см. [Грамматика лит. яз., 216—217; Амбразас 1990, 186 сл.]).

При всем этом, несмотря на структурные сходства и различия всех этих вторичных перфектных причастных образований, развившихся параллельно, основной причиной их возникновения мог быть единый механизм, «запущенный» значительно раньше. Им послужило постепенное ослабление (либо изменение) содержания древнеиндоевропейской оппозиции «перфект ~ неперфект» (последний в разных традициях именуется также «инфект», «инъюнктив» и т. п., см., например, [Елизаренкова 1960, 120—124, 130 сл.; Gonda 1980, 35ff; Szemerényi 1990, 317; Макаев 1977, 56—57]) и тем самым соответственно ослабление у «перфекта» особого значения состояния — с частичной передачей этого значения медиальным формам «неперфекта», а также, возможно, вследствие этого, слабой выраженностью значения результативности как причины состояния.

Таким образом, данная инновация — образование сходных по внутренней структуре, но не тождественных на поверхностном уровне новых форм перфекта → претерита из причастных сочетаний — может трактоваться как общая черта, типологическая по образованию, однако «генетически запрограммированная», поскольку она была стимулирована неким единым системным «первотолчком» в недрах единой для этих языков генетической общности, а именно — разрушением старого раннеиндоевропейского перфекта или затуханием его функций. Такой единый «первотолчок» потребовал развития неких компенсаторных средств выражения сходных значений, а типологически похожие морфолого-синтаксические системы новых индоевропейских языков Европы и Азии выработали относительно сходные средства их выражения.

Немалый интерес представляет собой процесс становления у форм вторичного (причастного) перфекта и у сходных с ними причастных конструкций модальных значений «неочевидности»: «заглазости» действия, логического вывода из ситуации и т. п., то есть подчеркивания говорящим того факта, что он сам не был свидетелем события, о котором говорит. В различных иранских языках наблюдается разная степень интенсивности данного процесса. Наиболее ярко такие формы представлены в таджикском языке, где из перфекта выросла целая система форм «неочевидного», или «ауди-

тивного», наклонения (подробнее [Расторгуева, Керимова 1964, 71—97]). Здесь характерно употребление форм аудитивного наклонения при любом повествовании с чужих слов и в связи с этим их особая частотность в фольклоре — в сказках, преданиях, легендах и т. п. (при этом как бы подчеркивается «[Сказывают, что...»]).

Значения и оттенки неочевидности у форм и сочетаний перфектной серии отмечаются и в языках Европы (см., например, соответствующие литовские образования [Грамматика лит. яз., 215—217, 231—235]).

Естественно, такое явление едва ли можно рассматривать безоговорочно как заданное генетически: аналогичные значения обнаруживают причастные результативные образования также в тюркских языках, при том что развивались они здесь различными способами и в относительно поздний период уже изолированного существования этих языков (см. [Дмитриев 1940, 106; 1960, 50—51; Гаджиева 1966, 77; Покровская 1966, 123; Серебренников, Гаджиева 1986, 212—213] и мн. др.). Ср. также мнение о выражении неочевидности действия в македонском языке под воздействием турецкого [Бенвенист 1974, 223—224].

Немалый интерес в сфере глагольной морфологии представляет также степень формального размежевания презенса ~ футурума и средства образования форм последнего. В древнеиранских языках, как известно, футурум не был формализован, поскольку основы, соответствующие ведическим на *-sya-*, здесь не были генерализованы в качестве основ будущего времени. Действие в будущем передавалось обычно конъюнктивом. В большинстве языков последующих эпох имеется единая основа настоящего-будущего времени (продолжающая, как правило, древнюю презентную или построенная по аналогии с ней) и единая форма настоящего-будущего времени. Однако ряд языков выработал новые формы презенса и футурума, при этом строятся они согласно различным моделям и с неодинаковым материальным «наполнением».

Из последних обращают на себя внимание формы будущего времени, образованные при помощи глаголов (или глагольных основ) с семантикой «хотеть» (либо производных от этих глаголов). При этом сами глаголы и производные основы со значением «хотеть» по разным иранским языкам различны с точки зрения их этимологии; различны и построения данных форм будущего времени. Так, в классическом персидском языке это было сочетание личной формы глагола *x^vāh-* ‘хотеть, желать’ с полным или усеченным инфинитивом основного глагола: *x^vāham kardān* // *x^vāham kard* ‘сделаю’ (← ‘хочу сделать’). Современные персидский, таджикский, дари продолжают эту аналитическую форму с усеченным инфинитивом (типа перс. *xāham kard*). Сходные формы отмечаются в «малых» языках Ирана.

В согдийском и хорезмийском языках футурум образуется сочетанием личной формы презенса с постпозитивной неизменяемой основой *-kām* — из древнеиранской деноминативной глагольной основы **kāta-* ‘хотеть, желать’, образованной от имени **kāta-*, продолжающего, в свою очередь, производное от глагольного корня **kā-*, ср. согд. *kunand* ‘делают’ ~ футурум *kunand-kām* [Лившиц, Хромов 1981, 485—486]. В осетинском языке футурум маркируется суффиксом *-zæp-* (в ед. числе), *-zæ-* (во мн. числе), продолжающим древнеиранское образование **čina-*, **čana-* ‘желающий, хотящий’, восходящее, в конечном итоге, к тому же глагольному корню: ср. осет. *сæрзæпæп* ‘я буду жить’ (см. [Бенвенист 1965, 87—89]).

Различия в моделях построения новых футурумов и в этимологиях основ со значением ‘хотеть’ в рассмотренных иранских языках, а также ареальная разбросанность языков с этими формами свидетельствуют об их относительно позднем и независимом друг от друга развитии по языкам. При этом все они имеют типологически единую содержательную подоплеку: связь представления о действии в будущем с модальной окраской речи (подробнее об иранских языках см. также [ОИТИИЯ, II, 407]), что представляет собой отражение в языковом мышлении принципиального осознания недетерминированности будущего. Возможно, здесь продолжается содержательная линия, восходящая к употреблению в древних языках конъюнктива для обозначения действия в будущем.

Развитие же форм футурума с помощью основ именно со значением ‘хотеть, желать’ типологически объединяет данные иранские языки с языками — представителями балканского языкового союза (ср. [Schaller 1975, 152—155]), при отсутствии ареальной зависимости, а также предположительно с армянским (см. материал и литературу в кн. [Макаев 1977, 149—154]), где ареальное контактирование не исключается. Неясно, есть ли ареальная зависимость в том, что использование основы **čana-*, **čina-*, характерно именно для осетинского языка, что находит поддержку в славянском языковом мире. Ср. положение Х. Бирнбаума о том, что из древнецерковнославянских перифрастических форм еще не полностью грамматикализовавшиеся аналитические формы футурума, образующиеся обычно с помощью глаголов *imati* и *hoštiq* + инфинитив любого вида, реже *-čьnq* + инфинитив несовершенного вида, если и имеют славянское происхождение, то в дальнейшем развивались под влиянием иноязычных, в первую очередь греческих моделей. Это — считает он — относится, во всяком случае, к конструкциям с *imati* и *hoštiq*, славянское происхождение которых сомнительно. Сочетание *-čьnq* + инфинитив, хорошо представленное также и в древнерусском, кажется исконно славянским (хотя и не общеславянским) способом образования будущего времени [Бирнбаум 1987, 124].

Сам же принцип развития футурума из модальных форм и сочетаний сближает типологически и те и другие языки с тюркскими (ср. [Серебренников, Гаджиева 1986, 192—198]).

При этом, однако, отдельный интерес представляет тот факт, что в совпадении этой черты отдельных иранских языков с языками балканского союза участвует персидский язык.

В иранских языках отмечаются и другие способы образования форм футурума — с помощью частиц и префиксов, например в языке пашто имеются превербы, типологически напоминающие русские, однако их функции несколько отличны: в пашто превербы, образующие формы будущего времени, ограничены грамматическими функциями и не используются в глагольном словообразовании.

В большей степени близки к славянским осетинские превербы, выполняющие комплекс функций, включая видовую характеристику совершенного вида. Хотя sporadически сходное употребление превербов встречается и в других иранских языках, совпадение именно комплекса значений и целой системы превербов, характерное именно между осетинским и славянскими, естественно расценивается как общая черта, обязанная ареальным контактам скифов и славян в Восточной Европе (подробнее [Абаев 1965, 54—68]).

Сходство исторической морфологии иранских и славянских (а также иных индоевропейских языков) затрагивает также изменения в глагольной системе в двух планах: 1) изменения в системе древних презентных основ (степень утраты части их классов, различная продуктивность отдельных основ презенса в разных языках), однако это относится в большой мере к лексике; 2) уход из глагольной системы древних основ «косвенных» наклонений. Однако сами по себе утраты тех или иных категорий и материальных элементов, как уже говорилось, не представляют собой обязательно общих инноваций — они могут происходить параллельно и безотносительно к таким же изменениям в других языках.

Для именной подсистемы недревних иранских языков, как известно, характерно постепенное «сворачивание» древней богатой флективной парадигмы, различное и независимое по языкам.

При этом из двусложных падежных показателей наиболее «живучими» оказывались те, которые были в тот период наиболее синтаксически информативными для системы данного языка (подробнее см. [Эдельман 1988, 54—55]). Для иранских языков в целом это были показатели генитива, а в ряде восточноиранских языков также инструменталиса — тех падежей, которые выступали в предложении как падежи субъекта в «эргативных» и «эргативообразных» конструкциях. При этом в тех языках, документы которых фиксируют различные этапы свертывания именной парадигмы и

различный удельный вес «номинативных» и «эргативных» построений — в древнеперсидском, хотаносакском, раннем состоянии согдийского, — наблюдается общая черта исторической морфологии имени: довольно раннее поглощение датива генитивом и включение в функции генитива исторических дативных значений (см. [Абаев 1965, 75—79; Emmerick 1968, 249—250; Лившиц, Хромов 1981, 422]). Другие иранские языки отражают уже более «продвинутые» этапы свертывания именной парадигмы, поэтому очередность исчезновения падежных форм на основании их материала определить затруднительно.

Такое соединение генитива с дативом сходно с ситуацией в индоарийских языках, в армянском и в языках балканского союза и является явно вторичным, обусловленным некими историко-типологическими причинами (см. [Абаев 1965, 76, 79]; ср. [Schaller 1975, 134—138]). При этом общей причиной для сходных процессов в этих языках могло послужить употребление обоих этих падежей в древности в сходных функциях, особенно в посессивных оборотах и в оборотах, близких к ним по значению (см. [Бенвенист 1974, 213]), хотя следует отметить, что первоначально генитивная конструкция, обозначавшая посессивность, и дативная конструкция, обозначавшая предназначенность, должны были различаться. В древнеперсидском мы уже застаем употребление генитива, кроме посессивного, в значении предназначенности (ср. *baga vazarka Auramazdā... šiyātim adā martiyahyā* [Dsc, 2—3] ‘Бог великий Ахурамазда... счастье создал для человека’).

Употребление этих падежей в сходных по семантике конструкциях отмечается и теперь в виде «посессивного датива» (ср. совр. осет. *Wærxægy* (ген.) *fyrttæ* ‘сыновья Уархага (ген.)’, и *Wærxægæn* (дат.) *jæ fyrttæ* ‘Уархагу (дат.) его сыновья’) [Абаев 1965, 76], ср. русск. *он её брат* и *он ей брат*. Однако в современных языках это явление обычно связано не с собственно посессивностью, а с определенными человеческими отношениями (ср. «приходиться кем-либо кому-либо» — дат.).

Позднее во многих иранских языках благодаря усилению функциональной нагрузки генитива он постепенно расширил свои функции до сферы общекосвенного падежа. «Поглощение» им функций датива было одним из первых этапов сворачивания именной падежной парадигмы. Сходная ситуация отмечается в индоарийских языках (см. подборку фактов и анализ материала [Абаев 1965, 76—77]).

Такое совпадение генитива с дативом в иранских (и отчасти индоарийских) языках и в языках балканского союза представляет немалый интерес особенно в связи с тем, что в других регионах и языках индоевропейского мира сворачивание именных парадигм шло различными путями, ср. так назы-

ваемый «синкретизм падежей»: в классическом греческом — датив/локатив, генитив/аблатив; в германских — датив/аблатив, в латинском — аблатив/локатив, инструменталис.

Можно строить различные предположения, почему иранская, и в частности персидская модель, свертывания именной парадигмы совпала не только с индоарийской, но и — на Западе — именно с балканской. Было ли это связано с особого рода «пиджинизацией» древнеперсидского языка, о которой уже приходилось писать в связи с проблемами морфологии (см. [Эдельман 1988]), или, учитывая сходство свертывания именной парадигмы в индоарийских языках, в этом процессе участвовали какие-то более широкие дополнительные семантические факторы?

По мнению В. И. Абаева, распространение форм генитива на функции аккузатива в осетинском, восточноармянском и славянском, когда в качестве объекта подразумевается личность или одушевленный объект, либо определенный объект в отличие от неодушевленного, неопределенного, который обозначается здесь обычно номинативом (подробнее см. [Абаев 1965, 68—79]), также пролегает через этап поглощения генитивом датива (обоснования см. [там же, 75—79]). Характерно, что при различии оформления имени объекта в зависимости от его определенности / неопределенности, одушевленности / неодушевленности, личности / неличности, наблюдаемом в различных индоевропейских и неиндоевропейских языках и выражаемом обычно маркированием / немаркированием этого имени, оформление этого противопоставления именно генитивом / номинативом (или неоформленным именем) типично именно для осетинского, восточноармянского и славянских языков, контактировавших между собой в разные эпохи [там же].

Выражение категорий рода и числа в большинстве иранских языков постепенно выходит из флективной падежной парадигмы и становится аффиксальным, поэтому от падежного оформления этих категорий, которое можно было бы сопоставить со славянским, остались только отдельные рудименты архаизмов. Инноваций, которые могли бы быть общими со славянскими, здесь проследить не удастся.

В истории парадигм прилагательных в иранских языках большую роль сыграли «микросинтаксические» процессы, а именно закрепление места прилагательного при существительном (в части языков в препозиции, в части — в постпозиции), благодаря чему прилагательные относительно быстрее утрачивали падежную парадигму (при том что в тех языках, где сохраняется категория рода, выражение этой категории часто берут на себя именно прилагательные). При этом падежная неизменяемость прилагательных (а также в большинстве иранских языков неизменяемость по роду и числу) породили некие способы их связи с определяемыми ими существи-

тельными, которые могут быть сопоставлены со способами, характерными для славянских языков.

В микросинтаксической, а затем и в морфологической структуре многих иранских языков большую роль в становлении способов выражения связи определения с определяемым сыграли исторические относительные местоимения, в основном — те, которые восходили к общеиранскому относительному **ja-* (< и.-е. **jo-*), реже — к общеиранскому **či-* (< и.-е. **k^wi-*). В части западноиранских языков они (и содержащие их составные дейктические элементы типа **ha-ja-* // **h(i)ja-* и **ta-ja-* // **t(i)ja-*) стали средством оформления определяемого в определительных (на первых порах — относительных) сочетаниях типа «дом, *который* отца», «дом, *который* большой», путем их постпозитивного присоединения к определяемому (см. [Бенвенист 1974, 225—240]) и постепенного превращения в синтаксический показатель определяемого перед последующим определением (так называемый изафет) с утратой значения относительности.

В результате этого процесса в поздних иранских языках наблюдается как бы зеркальное по отношению к славянским языкам построение определительного сочетания по модели «определяемое + энклитический постпозитивный относительный местоименный элемент — определение», в отличие от славянского с обычной препозицией определения и примыканием этого энклитического элемента к определенному (членному) прилагательному (термин Мейе), при слиянии этой энклитики с окончанием прилагательного. Однако сам принцип — использование этого местоименного элемента: ир. **ja-*, слав. *je* в определительных сочетаниях в качестве определительного и согласовательного элемента — по-видимому, продолжает весьма архаичный тип связи определяемого с определением. Ср. авестийский пример *stārəm yəm tištrīm* (где *yəm* является таким элементом), приводимый А. Мейе в его высказывании о сходстве иранских, славянских и литовского языка (в последнем это элемент *ja-*) в построении таких конструкций [Мейе 1951, 357 сл., особенно с. 358].

Следует отметить, что в некоторых иранских языках рефлексy этого **ja-* совпадают функционально и фонетически с рефлексами указательного местоимения от корня **ai-*: *ī-* ‘этот’ или составного указательного местоимения **aija-* ‘тот; так’ (ср. ав. *aēva* ‘так’, др.-инд. *evā* ‘так’), из которых развиваются обычно препозитивные определенные артикли (например, в хорезмийском, согдийском и некоторых других языках), либо с рефлексами числительного **aija-* ‘один’, которые образуют артикли-показатели выделительности, неопределенности, единичности, в одних языках препозитивные, как, например, в согдийском, в других — постпозитивные, например в среднеперсидском (-*ēv*, -*ē*) и далее — в классическом персидском (-*ē*), современном персидском (-*i*), дари (-*ē*) и таджикском (-*e*).

Такое двойное отражение **ja-* — и в препозиции, и в постпозиции к имени в функциях как относительного элемента, так и (особенно при контаминации его рефлексов с рефлексами указательного местоимения и числительного «один») артиклей — продолжает, возможно, его двойной круг значений, свойственный ему еще в индоевропейском состоянии (см. [Бенвенист 1974, 235]) и отраженный в славянских языках в окончаниях прилагательных, о которых говорилось выше (см. [Мейе 1951, 357—358]).

Постпозиция же самого относительного элемента (простого или составного), во всяком случае в той части западноиранских языков, где он превратился затем в изафет (и возможно, в одном восточноиранском — бактрийском), а также постпозиция выделительного, или неопределенного, единичного артикля в среднеперсидском языке и в продолжающих его персидском, дари, таджикском (ср. тадж. *odam* ‘человек’, *odame* ‘некий человек’, *odame ki...* ‘[тот] человек, который...’), ср. [Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982, 110—111] и в ряде других языков (в некоторых также под воздействием вышеназванных), типологически сходны с постпозицией определенного артикля в балканских языках (см. о них [Schaller 1975, 143—148]).

В какой-то мере общим истоком этой тенденции к постпозиции данных элементов в иранских и балканских языках может быть тяготение к постпозиции индоевропейских действительных основ в относительной функции. Однако последующее развитие постпозитивного артикля в среднеперсидском и родственных ему языках и комплексность его значений связаны, возможно, с какими-то свойствами уже данных языков, например с развитием компенсаторных формальных средств выражения синтаксических функций имен, сопровождавшим процесс разрушения падежной флексии и «упрощения» общей морфологической системы языка (типа пиджинизации, см. [Эдельман 1988, 60]).

Как известно, общеиранская парадигма имени, местоимения и глагола имела развитые подсистемы форм единственного и множественного числа, но весьма скудную подсистему двойственного числа, с синкретизмом падежей в парадигмах имен существительных и прилагательных, а также в местоименных парадигмах (к тому же на основании иранских языков реконструируются не все формы дуалиса, которые предположительно должны были существовать). В более поздний период эта подсистема — как регулярный участок парадигмы — отмирает, и мы можем лишь на основании некоторых исключений проследить ее рудименты.

Так, в ряде иранских языков разных периодов отмечается особая форма имени, употребляемая в сочетании имен существительных с числительными. Сюда относятся, например, формы на -’ в согдийском: ср. согд. ’*dw*’ *kr*’ ‘две рыбы’, и IV *δβr*’ ‘четверо ворот’, при обычном использовании в таких

сочетаниях также падежных форм единственного или множественного числа имен. Сюда же могут относиться формы на *-a* (в диалектах также — на *-e*) в пашто, а также совпавшие с родительным или косвенным падежом единственного числа формы на *-i* в ягнобском (ср. *tiray yówi* ‘три коровы’), формы на *-y / -i* в осетинском (*dæs bonu / boni* ‘десять дней’) и некоторые другие. Они сопоставимы с формами древнего дуалиса имен (соответственно с номинативом для согдийского и пашто и с генитивом для ягнобского и осетинского), которые, по-видимому, постепенно распространились от сочетаний имени с числительным «два» на сочетания с числительными «три» и далее и контаминировались с косвенными падежами единственного числа.

Это сопоставимо типологически с употреблением исторического дуалиса при числительных «три», «четыре» в русском языке и при различных числительных в болгарском и др. Такое распространение рефлексов дуалиса в виде особой формы имени при числительном либо формы, контаминированной с косвенным падежом единственного числа (см. подробнее: [Sims-Williams 1979, 339—342; 1982, 68; MacKenzie 1987, 557]), явно позднее и носит чисто структурный, аналогический характер, как и распространение форм множественного числа на сочетания с числительным «два». Ср. аналогичные сочетания с «перебоями» двойственного и множественного числа в славянских языках [Семереньи 1967, 11—12]⁶.

Общей типологической чертой иранских, славянских, балтийских и многих других индоевропейских языков является перестройка системы указательных местоимений, унаследованной из индоевропейского состояния, которая происходила параллельно и независимо друг от друга в разных индоевропейских языках (даже в различных языках иранской семьи), но дала сходные системные результаты.

Как известно, поздняя индоевропейская дейктическая система различала как минимум три серии указательных местоимений. Их отражение наблюдается в латинской триаде *hic — iste — ille* (к ним добавляют также нейтральное *is*, см., например, [Семереньи 1980, 217; Szemerényi 1990, 216]). Наиболее от-

⁶ По-видимому, такое аналогическое воздействие форм дуалиса на формы, отражающие сочетания с числительными, выражающими числа больше «двух», вообще свойственно при словесном оформлении счета: очевидно, с этой же тенденцией было связано и распространение основы двойственного числа на другие члены системы числительных, например в образовании русского *тридцать* по типу *двадцать* и общеиранского **tʰri(n)šat* ‘тридцать’ с основой двойственного числа **-šat-* (< и.-е. **-kmt-*) по аналогии с **ui(n)šati* (< и.-е. **(d)ui-kmti*) ‘двадцать’ — вместо ожидаемой здесь основы множественного числа **-šam/nt-* (< и.-е. **-kom/nt-*).

четливая функциональная характеристика этих серий может быть представлена на основе анализа К. Бругмана [Brugmann 1904, 9—12].

Впоследствии, как мы знаем, в подавляющем большинстве индоевропейских языков эта трехсерийная система была трансформирована в двухсерийные типа «этот ~ тот», «здесь ~ там» и т. д. Исключение составляют, кроме латинского, единичные индоевропейские языки. Наиболее известны среди них армянский и отдельные славянские языки и диалекты, а также испанский, португальский, каталанский, сохранившие трехсерийные системы. В древних иранских языках сохранилось большое количество указательных основ (в Авесте их 16, причем их соотношение не всеми учеными трактуется одинаково), при, предположительно, трех пространственных сериях. Позднее большая часть языков перестроила систему с троичной на двоичную, как и большая часть славянских языков, и лишь небольшая часть иранских языков (на Памире и остаточно — в виде направительных префиксов при глаголе — в пашто) — сохраняет три серии. Однако этимология конкретных компонентов этих систем не во всем совпадает со славянской.

Поскольку в новых двоичных системах этимология их компонентов в разных языках неодинакова, перестройка системы носит характер типологического, а не генетического сходства.

В. Интерес с точки зрения сопоставления иранских и славянских языков представляют и некоторые синтаксические и «микросинтаксические» структуры.

Так, в подавляющем большинстве иранских языков после древнего периода (с его богатой морфологией и относительно свободным порядком слов) предложение тяготеет к модели SOV. Этот процесс сопровождается параллельными процессами: свертыванием древней именной флективной парадигмы, о чем говорилось выше, развитием систем предлогов и послелогов и аранжировкой очередности второстепенных именных членов предложения. Собственно, эти тенденции намечаются уже в древнеперсидском языке, но жанровая специфика текста не дает возможности утверждать это с большой степенью уверенности. Исключения из общей тенденции к закреплению модели предложения SOV представляют хорезмийский язык с обычным порядком SVO и осетинский с колебаниями SOV и SVO, хотя косвенные данные свидетельствуют о том, что в более древнем состоянии и этих языков основной моделью предложения была модель SOV.

При этом в хорезмийском языке выработалась система постпозитивного присоединения к глаголу так называемых поствербов с пространственным значением и энклитических местоимений, соотносимых с прямым и косвенным объектами, при том что эти же понятия часто бывают выражены в том же предложении также существительными или местоимениями, стоящими обычно в постпозиции к глаголу. Ср., например, *p'cnwduw 'y wʒ fnknc* [он] вдел-ее-

туда (ту) нитку в-иголку»; *h'vrn'hyd y' dʏd'm* '[я] дал-ее-тебе (ту) дочь-мою', *dhdyn fcr' x* '[он] ударил-их мечом' (подробнее см. [Henning 1955₁; 1955₂; Боголюбов 1962; 1965]).

Сходные «антиципации» (предваряющие «повторы» прямых и косвенных дополнений энклитиками, или неполноударными местоимениями) отмечаются в осетинском языке, хотя здесь эти элементы занимают более свободную позицию (что может быть связано и с более свободным порядком основных членов осетинского предложения: SOV // SVO, подробнее о строе предложения: [Абаев 1962, 653—654]).

Эти «опережающие повторы» дополнений развились в данных иранских языках относительно поздно и обязаны своим происхождением, как представляется, прежде всего сворачиванию именной парадигмы в условиях относительно свободного порядка членов предложения в период его перестройки с модели SOV на SVO. Они призваны как бы «пояснить» направленность, предназначенность действия, «высветить» тот или иной прямой или косвенный объект (один из них или оба). Этот путь развития подтверждается косвенными свидетельствами вне иранской среды — на примере языка кашмири (язык, относящийся к дардской группе, близкой к индоарийской или являющейся ее ранним ответвлением), где аналогичная перестройка с модели SOV на SVO, свертывание древней парадигмы и перераспределение функций между падежами привели к выработке сходных «повторов» в виде постпозитивных энклитик при глаголе. Однако в кашмири процесс пошел еще дальше: были выработаны три серии энклитик, указывающих не только на прямой и косвенный объекты, но — в определенных условиях — и на субъект (подробнее см. [Захарьин, Эдельман 1971, 106—107]).

Эти «повторы» сходны типологически с местоименной репризой, свойственной языкам балканского союза (см. [Schaller 1975, 161ff; Цивьян 1979, 171—172 и др.]), при том что порядок основных и второстепенных членов предложения и место «поясняющего» местоимения здесь в целом иные: ср. отмечаемую в литературе о балканских языках большую регулярность употребления местоименных повторов при косвенном дополнении, чем при прямом, большую при дополнении, стоящем в препозиции к глаголу, чем при дополнении, стоящем в постпозиции, и др. (см. [Лопашов 1970], особенно с. 56).

К таким же интересным синтаксическим параллелизмам относятся характерные построения модальных оборотов намерения, возможности и т. п., различающиеся подчас даже в близкородственных друг другу иранских языках, распространенных в различных ареалах. Ср. обычное построение таких оборотов в современном персидском языке с основным глаголом в личной форме сослагательного наклонения (например, *netevânestam in ketâb-râ bexânam* 'я не

смог прочесть эту книгу’, букв. ‘[я] не смог, [чтобы] эту книгу [я] читал-бы’), при том что в языках ареала Средней Азии, включая близкородственный персидскому таджикский язык, аналогичные по значению обороты строятся чаще с инфинитивом основного глагола (например, *in kitobro xonda natavonistam* ‘я не смог прочесть эту книгу’, букв. ‘эту книгу читать [я] не смог’ — с основным глаголом *xondan* ‘читать’ в усеченном инфинитиве).

Поскольку до XV в. эти языки имели практически единую литературную норму, проследить время их размежевания в этом фрагменте синтаксиса довольно трудно. Известно, что к периоду формирования единого для них классического литературного языка древняя система косвенных наклонений была давно уже утрачена (еще в среднеперсидском языке прослеживаются лишь рудименты древних наклонений), а новое сослагательное наклонение выделилось из форм изъявительного уже значительно позднее этого периода, и имеет некоторые различия в деталях между языками-продолжениями классического языка (т. е. между языками персидским, дари и таджикским). Подробнее об этом процессе см. [ОИТИИЯ, II, 338—390, 433; Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982, 158, 170—171, 184]. Инфинитив (он же имя действия) обоих языков имеет одинаковое происхождение.

В древнеиранских языках эти типы модальности передавались различными оборотами: и с инфинитивами (именами действия), и с личными формами косвенных наклонений основного глагола, поэтому современные персидский и таджикский языки продолжают — каждый свою — одну из древних моделей такого построения. При этом не вполне ясно, явилось ли закрепление одной и другой моделей в каждом данном языке спонтанным или оно было поддержано определенными ареальными тенденциями. Вместе с тем обращают на себя внимание следующие обстоятельства.

Во-первых, в таджикском языке инфинитив имеет значительно более широкий круг синтаксических функций, чем в персидском (особенно это существенно для северных таджикских говоров, на которых базировался до последнего времени современный литературный язык), и данные модальные обороты здесь естественно «вписываются» в общий фон многих разнородных синтаксических оборотов с инфинитивом. Во-вторых, для языков ареала Средней Азии (не только различных иранских, но и тюркских) характерны модальные обороты этого же типа именно с инфинитивами (разного происхождения) и с именами действия.

Персидские же построения с личными модальными формами выявляют определенное сходство с аналогичными оборотами в языках балканского союза с характерной для них исторически ослабленной позицией инфинитива (см., например, [Schaller 1975, 156—158]; об истории возникновения, затем ослабления инфинитива на Балканах и о выработке вторичного ал-

банского инфинитива см. [Габинский 1967], особенно 33—54). Существенно, что похожая слабая позиция инфинитива и, соответственно, аналогичные построения модальных оборотов, присуща не только языкам, традиционно входящим в балканский языковой союз, но и тем языкам, которые появились на Балканах относительно недавно — гагаузскому и диалектам турецкого языка (при том что остальные тюркские языки и частично также гагаузский сохраняют традиционную для них модель таких конструкций с именем действия), см. [Покровская 1978, 22—23, 91—117, 141—144], ср. [Дмитриев 1940, 189].

Г. Я намеренно не рассматриваю здесь списки слов, которые могли быть заимствованы из одной языковой стихии в другую. Такие попытки уже имеются в литературе: см., например, список А. А. Зализняка [Зализняк 1962, 33—41], где собраны лексические соответствия, имеющие разную степень хронологической глубины (иранско-славянские, славяно-арийские, балто-славяно-иранские) и разные пласты лексики (от бытовой до сакральной). Эти сопоставления дают очень интересный и перспективный этимологический материал, однако вызывают и большие дискуссии: см., например, возражения О. Н. Трубачева на большую часть списка А. А. Зализняка [Трубачев 1967, 3 сл., особенно 21 сл.]).

В качестве примера различия мнений о словах с прозрачной индоевропейской этимологией можно привести оценку происхождения славянского обозначения огня *vatra*: некоторые из исследователей рассматривают его как балканизм (см. обзор мнений в списке А. А. Зализняка [Зализняк 1962, 41]; эта точка зрения была поддержана позднее А. В. Десницкой [Десницкая 1983, 86—88], считавшей, что слово распространилось с Балкан на восток в связи с распространением культа огня), другие — как иранизм (см., например, [Зализняк 1962, 40], эта точка зрения разделяется В. В. Мартыновым [Мартынов 1981, 24—25])⁷, третьи — как исконное славянское слово, родственное иранскому (см. обзор А. А. Зализняка [1962, 40], то же в [ЭССЯ, I, 91—92], где слово рассматривается как исконно славянское: праславянское **atra*, с последующим наращением протезы *ц*).

Анализ этимологии таких слов, с приведением всех аргументов «за» и «против» их заимствованного (с указанием временного периода, направления и источника заимствования) или исконного характера должен составить предмет не раздела небольшой статьи, а отдельной большой работы, поскольку эти слова должны быть собраны и систематизированы с учетом обще-

⁷ Если принять эту точку зрения, придется признать изменение анлаута уже на славянской почве: протеза *v-* перед долгим **ā-* для иранских языков вообще нехарактерна, а в рефлексах данного слова ни в одном из иранских языков не зафиксирована.

го исторического, социального и культурно-исторического фона появления и условий заимствования таких слов. С другой стороны, кроме собственно лексем, внимания к себе требует и огромное поле словообразовательных изоглосс, которые могут быть как поздними, совпадающими чисто типологически (отчасти благодаря сходству порождающих их синтаксических микроструктур), так и ранними, частично унаследованными, частично связанными с иррадиацией словообразовательных моделей из анатолийско-ближневосточного региона, и т. д. Большой интерес представляют также общие (и/или сходные) семантические изменения унаследованных иранских и славянских слов, о которых следует говорить отдельно: даже сугубо предварительные наблюдения над сходными лексемами дают много интересного в плане возникновения таких семантических параллелизмов, ареалов распространения, связи с определенными этнокультурными традициями (об этом будет сказано в другом месте). Эти направления имеют, как представляется, большие перспективы, однако решающим аргументом для определения особой близкой степени родства они едва ли могут стать: здесь возможны либо влияния языков друг на друга при контактах (особенно в ареалах большего или меньшего двуязычия), либо сходство семантических процессов в условиях относительно сходных параметров этнокультурного пространства⁸. Возможны и случайные совпадения⁹.

⁸ Особого внимания в этом плане заслуживает лексика, обязанная происхождением габу или эвфемизмам, — как показатель продуктивности того или иного словообразовательного типа или средства на определенном этапе истории языка, а также как показатель сходства определенных семантических ассоциаций.

Таковы, например, способы табуирования названий волка, медведя, мыши в определенных ареалах распространения славянских и иранских языков. Иногда такие слова выходят из разряда табуированных и становятся принадлежностью обычного языка, «выдавливая» первоначальное слово, обозначавшее данный объект. Когда эти первоначально табуированные слова базируются в языках разных ветвей индоевропейской семьи не только на единой семантической ассоциации, но и на единой индоевропейской основе, наблюдаются любопытные этимологические совпадения, о чем будет сказано в другом месте.

⁹ Некоторые сопоставления имен, в том числе и сакральных, оказываются спорными. Так, предложенное В. И. Абаевым сопоставление укр. *Вій* и осет. *wæjyg / wæjug* ‘ваюг’ (из индоир. *Vāyu-* ‘ветер’ → ‘божество ветра и бури’), поскольку он выступает в иранской мифологии и как бог мертвых, повелитель потустороннего мира, см. подробнее [Абаев 1956, 450—457; 1960, 5—7; ИЭСОЯ, IV, 68—71], поддерживается А. А. Зализняком [Зализняк 1962, 44], но отвергается О. Н. Трубачевым, связывающим укр. *вій* с обозначением не ветра, а ресницы — *вія, війка*, — поскольку *вій* ‘мифическое существо с веками до земли’ [Трубачев 1967, 42—43]. Здесь следует упомянуть также тот факт, что не все из привлекаемых В. И. Абаевым иранских слов являются соответствиями осет. *wæjyg / wæjug*: так шугнанское *vīyd* ‘дух, нечистая сила (в облике мужчины); черт’ (ж. р.

Немалый интерес представляют и общие архаизмы (как, например, сохранение рефлексов и.-е. указательного местоимения **oio-* в виде праслав. **ovъ* ~ общеир. **aia-*, отмеченное А. А. Зализняком и В. И. Абаевым), важные для индоевропеистики в целом, но не имеющие решающего значения для определения степени близости родства между собой отдельных индоевропейских языков и потому не учитывавшиеся в предыдущем повествовании. Для иранских языков выявление таких слов имеет особую значимость, поскольку далеко не вся лексика зафиксирована в древних памятниках и выявляемые из живых «малых» языков архаизмы (чисто лексические, например праир. **nakt-* ‘ночь’, **anguli-* ‘палец’, или историко-фонетические, такие как **šuan-* : **sun-* ‘собака’, **ašua-* ‘лошадь’ и др.) способны существенно откорректировать наши представления о наиболее древнем состоянии исконного иранского лексического фонда и, следовательно, о возможных лексических заимствованиях и позднейших фонетических, семантических и иных трансформациях лексем в различные эпохи в разных регионах иранского мира.

Рассмотренный выше материал можно суммировать следующим образом.

Иранские языки выявляют целый ряд черт, сходных с определенными характеристиками индоевропейских языков Европы, включая славянские.

Работы последних лет, посвященные истории как иранских, так и славянских языков, выявили целый ряд новых фактов диахронии и тех и других языков, отвели некоторые традиционные взгляды на их историю, благодаря чему ушли в прошлое некоторые «мифы» (например, о сплошной общеиранской ассимиляции рефлексов индоевропейских палатальных в иранских языках), задававшие в относительно недавнем прошлом неточные или даже неверные ориентиры при сравнении истории этих двух индоевропейских «ветвей». С другой стороны, выявлен целый ряд дополнительных общих явлений, объединяющих те или иные иранские языки (или группу в целом) с различными индоевропейскими языками Европы, включая славянские.

В настоящее время представляется важным провести методическую классификацию обнаруженных общих явлений, которая позволила бы избежать ложных ориентиров в дальнейших сравнениях материала этих языков.

Эти явления условно можно разделить на следующие группы:

vōd), ванджский говор таджикского языка *voyt* ‘горный дух; исполин; божество, рождающееся из смерча’ (явное заимствование из субстратного памирского [старованджского] языка), ваханский *vaʔd* ‘вагд — злой дух, нечистая сила, оборотень’ по фонетическим признакам не могут восходить к **Uaju-*: их начальная согласная происходит из **b-* (в отличие от и- < **u-*). Это скорее отражение древнеиранского названия божества **bagtar-* ‘Податель, Наделитель’, низведенного в ходе смены религий до положения злого духа, хотя и исполинского.

I. Общие архаизмы материального и структурного характера (например, отмечавшееся А. А. Зализняком и В. И. Абаевым наличие в славянских и в иранских языках продолжений и.-е. **oцo-* 'тог' (праслав. *ovъ* ~ праир. **aca-*), которые представляют интерес для истории индоевропейской семьи языков, но не являются показательными для квалификации этих языковых семей особенно близкими друг другу с генетической точки зрения.

Следует подчеркнуть, что общих материальных инноваций между иранскими и славянскими языками, которые были бы более «эксклюзивными» и, следовательно, более поздними, чем инновации, общие для всей группы «сатэм», не прослеживается. Следовательно, нет доказательств и более тесного генетического родства между иранскими и славянскими языками, чем родство, восходящее к периоду «общесатэмного» состояния.

II. Общие или сходные типологические инновации, которые, в свою очередь делятся на разные группы. Сюда относятся:

1) инновации, которые развиваются в иранских (и — шире — арийских) языках и в индоевропейских языках Европы параллельно и независимо друг от друга, но являются как бы «генетически запрограммированными», возникшими в результате единого для них общего «первотолчка», происшедшего еще в недрах индоевропейской или «общесатэмной» системы. Сюда из отмеченных выше относится, например, дальнейшее развитие некоторых фонетических процессов, начавшихся в «общесатэмном» состоянии древних диалектов — предков этих языков. К этому кругу можно отнести и развитие вторичного «перифрастического» перфекта на базе причастных конструкций — в арийских и в романских, германских и других языках, включая совсем поздние образования в русских говорах: дальней причиной их развития явился, по всей вероятности, процесс «затухания» древнего индоевропейского перфекта и — тем самым — старой оппозиции «перфект ~ инфект // инъюнктив» и появления в разных индоевропейских языках «пустующей ниши» для выражения состояния и результативности. Сюда же относится трансформация трехчленной системы указательных местоимений в двухчленную.

2) Инновации, которые появляются и развиваются параллельно в результате сходных — уже не задаваемых генетически, а поздних чисто типологических процессов.

а) Часть из них может диктоваться общей контенсивной базой. Сюда относится, например, развитие «неочевидных» форм и оборотов на базе причастных конструкций. С этим же связано появление новых форм футурума, продолжающих сочетания с глаголом «хотеть». По-видимому, с общей контенсивной базой можно связать и общий тип «свертывания» падежной парадигмы существительных через слияние форм генитива и дати-

ва. В лексике к таким явлениям примыкает сходное словообразование некоторых слов-табу и др.

б) Часть же имеет чисто структурный характер, развиваясь согласно законам внутрискрутурных трансформаций языка. Сюда относится, например, явление местоименной репризы в языках балканского союза и сходные с ним элементы «пролептических» конструкций в ряде иранских языков, особенно в хорезмийском и в осетинском. Причину возникновения этих явлений можно усматривать в сочетании в системе этих языков двух факторов: свертывания падежной парадигмы имени и тяготения предложения к модели SVO. Такая система требует неких «поясняющих» элементов — наречий-поствербов и энклитических местоимений, соотносимых с именем объекта.

III. Общие или сходные ареальные инновации, обязанные своим происхождением языковым контактам и свойственные относительно узкому ареалу контактирования. Сюда относится заимствованная лексика, а также более «тонкие» случаи семантического «сдвига» в значении отдельных слов и корней, вызванные воздействием иной языковой стихии. Возможно, сюда может быть отнесена и поддержка некоторых артикуляционных тенденций. Не исключено, что к этому же ареально приуроченному типу относится различное построение определенных модальных оборотов (с инфинитивом в среднеазиатском регионе, но с личными неизъявительными глагольными формами в персидском языке): связано ли это явление с общим центром иррадиации «инфинитивной депрессии» или с какими-то еще причинами, неясно.

Заставляют задуматься определенные «балканизмы», наблюдаемые в некоторых иранских языках. Сюда относятся: 1) «свертывание» падежной парадигмы имени путем совпадения форм генитива и датива (через «поглощение» генитивом датива); 2) выработка в группе языков постпозитивного артикля; 3) образование форм футурума через морфологизацию синтаксических оборотов с глаголом или основой со значением «хотеть»; 4) построение модальных оборотов возможности, желания и т. п. согласно модели «[я] хочу // могу [чтобы я] пошел-бы» — с личными формами основного глагола, 5) наличие конструкций с «опережающим повтором» — энклитиками прямого и косвенных дополнений и обстоятельств (сходные с местоименной репризой языков балканского союза).

Наибольшее число их обнаруживается в морфологической и синтаксической структуре персидского языка — признаки 1—4. Наличие ряда сходных черт, хотя и не в таком наборе, отмечается и в других иранских языках, что также побуждает искать некие общие или сходные причины их происхождения.

Возникновение этих характеристик под влиянием прямых контактов с балканскими языками маловероятно. Греко-скифские контакты не могли

столь существенно отразиться на морфолого-синтаксической структуре осетинского языка; скорее в ней можно усматривать кавказские параллели. Эллинизация части ираноязычного ареала в период после завоеваний Александра Македонского носила не столь глубокий характер.

Трудно предположить здесь и единый путь развития данных структур как следствие единого индоевропейского «первотолчка», поскольку часть этих черт сформировалась очень недавно на базе вторичных, изрядно перестроенных систем, к тому же эти черты охватили также и неиндоевропейские — тюркские языки на Балканах. Не исключено сходное в чем-то типологически воздействие субстратов на Балканах и в иранских регионах, хотя они, несомненно, принадлежали к разным генетическим группам (ср. [Оранский 1979, 61—82, особенно с. 74] и [Откупщиков 1988]).

Часть признаков определенно имеет причиной сходные типы «упрощения» древней индоевропейской флективной системы имени и глагола, сопровождавшегося развитием сходных же типов компенсаторных средств. Некоторые из них характерны для языков, подвергающихся процессам пиджинизации и креолизации, связанным с массовым и относительно быстрым переходом на данные языки иноязычных племен и народов, притом в условиях неполного усвоения системы этих новых для них престижных в данных регионах языков. Различная социолингвистическая ситуация в разных регионах древнеиранского мира породила и различные результаты в структурах разных языков, включая стремительное «упрощение» древней флективной системы древнеперсидского языка, которое можно расценить как его пиджинизацию (подробнее см. [Эдельман 1988, 60], ср. также сходные преобразования индоарийской системы ([Елизаренкова, Топоров 1965, 150—155]). Аналогичные явления в других языках и в более поздние эпохи (см., например, [Дьячков 1988]) делают такое предположение вполне правдоподобным.

Литература

- Абаев 1956₁ — Абаев В. И. I. Иранское *kan-* — «копать, насыпать»: Этимологические заметки // Труды Института языкознания АН СССР. Т. 6. М., 1956.
- Абаев 1956₂ — Абаев В. И. II. Осетинское *wəjɯg / wəjɯg*: Этимологические заметки // Труды Института языкознания АН СССР VI. М., 1956.
- Абаев 1960 — Абаев В. И. Дохристианская религия алан // Доклад на XXV Международном конгрессе востоковедов. М., 1960.
- Абаев 1962 — Абаев В. И. Грамматический очерк осетинского языка // Осетинско-русский словарь. Орджоникидзе, 1962.
- Абаев 1965 — Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965.

- Абаев 1995 — *Абаев В. И.* Избранные труды. Т. 2. Общее и сравнительное языкознание. Владикавказ, 1995.
- Амбразас 1990 — *Амбразас В.* Сравнительный синтаксис причастий балтийских языков. Вильнюс, 1990.
- Бенвенист 1965 — *Бенвенист Э.* Очерки по осетинскому языку. М., 1965.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Бирнбаум 1987 — *Бирнбаум Х.* Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
- Боголюбов 1962 — *Боголюбов М. Н.* Личные местоимения в хорезмийском языке // Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедч. наук. № 306. Вып. 16. Л., 1962.
- Боголюбов 1965 — *Боголюбов М. Н.* Пролептические конструкции в иранских языках // Филология и история стран зарубежной Азии и Африки: Тез. научной конференции. Л., 1965.
- Бошквич 1984 — *Бошквич Р.* Основы сравнительной грамматики славянских языков: Фонетика и словообразование. М., 1984.
- Высотский 1978 — *Высотский С. С.* Звуковые изменения, не влияющие на основные черты фонологического строя говоров // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М., 1978.
- Габинский 1967 — *Габинский М. А.* Возникновение инфинитива как вторичный балканский языковой процесс (на материале албанского языка). Л., 1967.
- Гаджиева 1966 — *Гаджиева Н. З.* Азербайджанский язык // Языки народов СССР. Т. 2. М., 1966.
- Грамматика лит. яз. — Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985.
- Десницкая 1983 — *Десницкая А. В.* К вопросу о раннеисторических языковых связях восточных славян с балканским лингвистическим ареалом // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов (Киев, сентябрь 1983 г.): Доклады советской делегации. М., 1983.
- Дмитриев 1940 — *Дмитриев Н. К.* Грамматика кумыкского языка. М.; Л., 1940.
- Дмитриев 1960 — *Дмитриев Н. К.* Турецкий язык. М., 1960.
- Дьячков 1988 — *Дьячков М. В.* Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания. 1988. № 5.
- Елизаренкова 1960 — *Елизаренкова Т. Я.* Аорист в «Ригведе». М., 1960.
- Елизаренкова, Топоров 1965 — *Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н.* Язык пали. М., 1965.
- Ефимов, Расторгуева, Шарова 1982 — *Ефимов В. А., Расторгуева В. С., Шарова Е. Н.* Персидский, таджикский, дари // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Западная Группа, прикаспийские языки. М., 1982.
- ✓ Зализняк 1962 — *Зализняк А. А.* Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. 1962.
- Захарьин, Эдельман 1971 — *Захарьин Б. А., Эдельман Д. И.* Язык кашмири. М., 1971.
- ✓ ИЭСОЯ — *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М.; Л., 1958. Т. 2. Л., 1973. Т. 3. Л., 1979. Т. 4. Л., 1989; Указатель — М., 1995.
- Каралюнас 1966 — *Каралюнас С.* К вопросу об и.-е. *s после i, u в литовском языке // Baltistica. 1966. 1 (2).
- Кауфман 1956 — *Кауфман К. В.* Некоторые вопросы истории согдийского языка // Труды ИЯз АН СССР. Т. 6. М., 1956.

- Лившиц, Хромов 1981 — *Лившиц В. А., Хромов А. Л.* Согдийский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
- Лопашов 1970 — *Лопашов Ю. А.* К вопросу о местоименных повторах дополнений в балканских языках // Лингвистические исследования. Л., 1970.
- Макаев 1977 — *Макаев Э. А.* Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.
- Мартынов 1981 — *Мартынов В. В.* Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян // Балто-славянские исследования—1980. М., 1981.
- Мейе 1951 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.
- ОИТИИЯ — Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. 1—2. М., 1975.
- Оранский 1979 — *Оранский И. М.* Иранские языки в историческом освещении. М., 1979. ✓
- Откупщиков 1988 — *Откупщиков Ю. В.* Догреческий субстрат (у истоков европейской цивилизации). Л., 1988.
- Пирейко 1968 — *Пирейко Л. А.* Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. М., 1968.
- Покровская 1966 — *Покровская Л. А.* Гагаузский язык // Языки народов СССР. Т. 2. М., 1966.
- Покровская 1978 — *Покровская Л. А.* Синтаксис гагаузского языка (в сравнительном освещении). М., 1978.
- Расторгуева 1975 — *Расторгуева В. С.* Вопросы общей эволюции морфологического типа // ОИТИИЯ. Т. 1. М., 1975.
- Расторгуева 1990 — *Расторгуева В. С.* Сравнительно-историческая грамматика западноиранских языков. Фонология. М., 1990. ✓
- Расторгуева, Керимова 1964 — *Расторгуева В. С., Керимова А. А.* Система таджикского глагола. М., 1964.
- СГВЯ-М — *Эдельман Д. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.
- СГВЯ-Ф — *Эдельман Д. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.
- Семереньи 1967 — *Семереньи О.* Славянская этимология на индоевропейском фоне // Вопросы языкознания. 1967. № 4.
- Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Серебренников, Гаджиева 1986 — *Серебренников Б. А., Гаджиева Н. З.* Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. М., 1986.
- Топоров 1965 — *Топоров В. Н.* Несколько замечаний к фонологической характеристике Центрально-Азиатского языкового союза (ЦАЯС) // Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz. Wrocław, 1965.
- Топоров 1983 — *Топоров В. Н.* Еще раз о GOLTHESCYTHA у Иордана (Getica, 116): К вопросу северо-западных границ древнеиранского ареала // Славянское и балканское языкознание: Проблемы языковых контактов. М., 1983. ✓
- Трубачев 1967 — *Трубачев О. Н.* Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология-1965. М., 1967. ✓
- Трубачев 1983 — *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов (Киев, сентябрь 1983 г.): Доклады советской делегации. М., 1983.

- Цивьян 1979 — *Цивьян Т. В.* Синтаксическая структура Балканского языкового союза. М., 1979.
- Чекман 1981 — *Чекман В. Н.* Древнейшая балто-славо-индоиранская изоглосса (*s_{i-k} > *š) // Балто-славянские исследования-1980. М., 1981.
- Эдельман 1974 — *Эдельман Д. И.* О конструкциях предложения в иранских языках. Вопросы языкознания. 1974. № 1.
- Эдельман 1980 — *Эдельман Д. И.* К субстратному наследию Цетральноазиатского языкового союза // Вопросы языкознания. 1980. № 5.
- Эдельман 1988 — *Эдельман Д. И.* Некоторые проблемы сравнительно-исторической морфологии иранских языков // Вопросы языкознания. 1988. № 6.
- Эдельман 1989 — *Эдельман Д. И.* Еще раз об иранско-европейских изоглоссах // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 48. № 4. М., 1989.
- Эдельман 1992 — *Эдельман Д. И.* Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // Вопросы языкознания. 1992. № 3.
- Эдельман 1996 — *Эдельман Д. И.* Да пытання даследавання славяна-іранскіх ізаглас // Вестник Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4. Мінск, 1996.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—.
- Bartholomae 1895 — *Bartholomae Chr.* Vorgeschichte der iranischen Sprachen // Grundriss der iranischen Philologie. Strassburg, 1895—1901. Bd. 1. Abt. 1.
- Benveniste 1968 — *Benveniste É.* Le système phonologique de l'iranien ancien // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1968. T. 63; Fasc. 1.
- Brandenstein, Mayrhofer 1964 — *Brandenstein W., Mayrhofer M.* Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, 1964.
- Brugmann 1904 — *Brugmann K.* Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen: Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung // Abhandl. der philol.-hist. Klasse der königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig, 1904. Bd. 22; № 6.
- Buddruss 1977 — *Buddruss G.* Nochmals zur Stellung der Nūristān-Sprachen des afghanischen Hindukusch // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1977. H. 36.
- Emmerick 1968 — *Emmerick R. E.* Saka grammatical studies. London, 1968.
- Gonda 1980 — *Gonda J.* The character of the Indo-European moods. Wiesbaden, 1980.
- Henning 1955; — *Henning W. B.* The Khwarezmian language // Z[eki] V[elidi] Togan'a Armağan. Istanbul, 1955.
- Henning 1955₂ — *Henning W. B.* The structure of the Khwarezmian verb // Asia Major. London, 1955. New Series. Vol. 5. Pt. 1.
- Kuiper 1978 — *Kuiper F. B. J.* Rec.: G. Morgenstierne. Irano-Dardica // Indo-Iranian Journal. 1978. Vol. 20. № 1/2.
- MacKenzie 1987 — *MacKenzie D. N.* Pashto // The World's major languages. London, 1987.
- Mayrhofer 1968 — *Mayrhofer M.* Die Rekonstruktion des Medischen // Anzeig. phil.-hist. Kl. Österreichischen Akad. Wiss. Jg. 1968. So. 1.
- Morgenstierne 1945 — *Morgenstierne G.* Indo-European *k'* in Kafiri // Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. 1945. Bd. 13.
- Morgenstierne 1973 — *Morgenstierne G.* Irano-Dardica. Wiesbaden 1973.
- Morgenstierne 1974 — *Morgenstierne G.* Languages of Nuristan and surrounding regions // Cultures of the Hindukush. Wiesbaden, 1974.

- Sabaliauskas 1990 — *Sabaliauskas A.* Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.
- Schaller 1975 — *Schaller H. W.* Die Balkansprachen (Eine Einführung in die Balkanphilologie). Heidelberg, 1975.
- Sims-Williams 1979 — *Sims-Williams N.* On the plural and dual in Sogdian // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 1979. Vol. 42. Pt. 2.
- Sims-Williams 1982 — *Sims-Williams N.* The double system of nominal inflection in Sogdian // Transactions of the Philological Society. 1982.
- Szemerényi 1990 — *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1990 (4. Aufl.).

ПОЗДНЕ(ВУЛЬГАРНО-)ЛАТИНСКИЕ И РАННЕРОМАНСКИЕ ЗАЙМСТВОВАНИЯ В СЛАВЯНСКОМ

Проблема латино-славянских связей включает и вопросы, касающиеся более ранних периодов, начиная со связей отдельных индоевропейских диалектов друг с другом¹. Настоящая статья ограничена только таким значительно более поздним временем, по отношению к которому непросто разграничить вульгарную латынь и ее диалекты и берущие в них начало романские языки. Другая трудность, существенно осложнявшая решение этой задачи, состоит в возможности предположения германского (в частности, готского) посредничества между латинским и славянским. Для некоторых слов, которые могли бы относиться к числу позднелатинских или раннероманских элементов в славянском, нередко раньше предполагалось именно заимствование из готского (или из других германских языков), хотя это далеко не всегда было доказано лингвистически (с историко-культурной и географической точки зрения оба предположения равновероятны). Якобсон и Бонфанте² обратили внимание на вероятность интенсивного славяно-романского контакта в период распада вульгарной латыни, исходя из разительного структурного сходства праславянской и прароманской фонологической систем. С этой точки зрения можно переинтерпретировать и приводимые ниже лексические данные, излагаемые в соответствии с классификацией слов по смысловым полям.

1. Названия блюд, вкусовых ощущений, растений и утвари. К вульгарно-латинским заимствованиям в этих семантических полях представляется возможным отнести о.-слав. **oskomina*. Для общеславянского можно восстановить два основных значения этого слова: 1) неприятное ощущение в зубах, вызванное кислой пищей; 2) аппетит, сильное желание. Первое значение является общеславянским, второе известно во всех славянских языках, кроме русского, македонского и некоторых сербохорватских диалектов³. Др.-русск.

¹ См. обзор: Pohl 1977.

² Bonfante 1973. Ср. Иванов 1989.

³ Этот семантический вопрос, как и предлагаемая этимология этого слова, кратко излагаемая в настоящей статье, подробно рассмотрены в другой работе автора: Ivanov 1997.

оскомина засвидетельствовано в нескольких церковнославянских и древнерусских текстах в первом из этих значений, делающим его эквивалентным греч. ἀκοδία⁴. Во всех ранних контекстах слово употребляется вместе с названием зубов: *ѡци ѡзобаши пародѣкы, а зжѡмъ чад нхъ ѡскомины быша* = οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν⁵; *зоубѣ чадомъ нхъ ѡскомина бысть* = οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἠμοιδίασαν⁶; *такъ же отъ ѡскомины пакость зоубомъ* = ὡσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαβερὸν⁷. Для выявления связи этих ранних примеров употребления слова с последующей традицией особый интерес представляет фраза: *иже грызетъ зелениноу, то того боудетъ зоубомъ оскомина*⁸. Ее вариация на псковском русском диалекте начала XVII в. записана Фенне как *Chto kislogo iabloka ne gryzet, vtovo oskomina ne zhivet* (= *De se suhre appell nicht eht de hefft och dat tehnen slee nicht*)⁹, что его издатели (Хаммерих и Якобсон) истолковали как построенное по фольклорной модели двустишие :

Кто кислого яблока не грызет,
У того оскомина не живет.

Подобное архаическое словоупотребление отражено в XVII в. и у Аввакума: *оскомина на зубы пала*¹⁰.

В других восточнославянских языках, как и в западнославянском и в большинстве южнославянских, слово имеет одновременно и положительное значение 'аппетит': в древнепольском оно засвидетельствовано уже в 1472 г.¹¹, в старочешском уже известно производное *laskominy*, вызванное звуко-смысловым отождествлением с производными от *láska* 'любовь'¹².

Сопоставление значений в разных славянских языках приводит к выводу, что слово должно было первоначально означать острый вкус пищи, возбуж-

⁴ Лат. *stupor dentium*, Miklosich 1963, 517.

⁵ = лат. *obstupuerunt*. Копия выполненного в 1047 г. попом Упырем Лихим перевода Иезекиля, XVIII, 2, Рук. отд. Нац. б-ки, ф. 304, I, № 89; Срезневский 1958, II, 719, там же вариация этого текста: Изборник Святослава 1073 г., 146 об.; Арсений Грек, Скрижаль 1656, IV, 81.

⁶ Хроника Григория Амортюла, переведена не позднее середины XI в., Истрин 1920. I. 157; 1930, III, 126, 277.

⁷ Копия перевода «Пчелы» XII в., сделанная в XIV—XV вв., Семенов 1893.

⁸ Изборник Святослава 1076 г., Голышенко, Дубровина, Демьянов, Нефедов 1965, 527.

⁹ Hammerich, Jakobson 1970, 447, № 473, б, и с. XXIV; ср. Корнев, Лебедев, Лютовина, Мжельская 1990, 58 (там же о значении глагола *грызти* в псковском диалекте). Метафорический смысл существительного *оскомина* свидетельствуется I Новгородской летописью (Насонов 1950, 93, 6566 г.), как и Ипатьевской летописью и Златоуструем (Срезневский 1958, II, 719—720).

¹⁰ Аввакум 1679/1927, 647.

¹¹ Urbańczyk 1969, 652.

¹² Holub, Kopečný 1952, 199; Machek 1957, 259; Трубачев 1987, 39, 41.

дающей аппетит, но иногда и чрезмерно резкой или острой. Поэтому оно может быть заимствованием из вульгарно-латинского *oxusomina*. Слово встречается в «Сатириконе» Петрония при описании пира Трималхияна: *etiam in alveo circumlata sunt oxusomina, unde quidam etiam improbely ternos pignos sustulerunt* 'Да, еще на блюде тминные семечки с приправой разносили, так иные бессовестные туда трижды пригоршни запускали'¹³. Слово означало острое и возбуждающее аппетит блюдо из (семечек) кумина под укусом. Оно принадлежало к позднелатинскому продуктивному типу *oxy-piper*, *oxy-garum*, *oxy-melle*, *oxy-zacara/zuccharum* и было собственно латинским по происхождению, хотя и состояло из элементов с греческой этимологией.

Фонетический облик предполагаемого раннероманского источника этого славянского заимствования ближе всего к западнороманской (предсеверно-итальянской или ретской) форме слова, история которого может быть предположительно восстановлена как **oxy-comina > *os(s)i-komina > os(i)-komina > oskomina*. Заимствование можно приблизительно отнести ко времени около 750 г. н. э. Среди относимых к этому же времени ранних романских или вульгарно-латинских заимствований по меньшей мере одно могло принадлежать к тому же семантическому полю: славянское **осьць* 'укус' заимствовано из лат. *acetum*¹⁴. Подчас делалось предположение, что латинское слово могло быть заимствовано через посредство готских солдат, с ним познакомившихся во время службы в римской армии. Фонетически гот. *aket(is)/akeit(-is)* достаточно близко к латинскому первоисточнику (который видят одновременно в *acētum* 'укус' и в *acidus* 'кислый', по гласному второго слога, возможно, более близкого к готскому и славянскому¹⁵) и к реконструируемой форме, к которой можно возвести славянское слово до палатализации, осуществившейся еще в диалектах праславянского. Но именно эта близость и делает затруднительным решение вопроса о том, имело ли место германское (готское) посредничество: поскольку в готский оно было заимствовано столь поздно, что характерные германские изменения консонантизма типа передвижения согласных в нем не сказались, его можно было бы считать и проникшим в славянский непосредственно из латыни

¹³ Гаврилов 1989, 169.

¹⁴ Lehr-Splawinski 1929; 1957, 197 (там же о других латинских заимствованиях этого времени в праславянском). Ср. также о названиях растений близкого семантического круга и их славянских соответствиях: Pellegrini 1980, 112—113.

¹⁵ Stender-Petersen 1927, 369; Jellinek 1929, 129. Однако славянский и готский вокализм второго слога можно объяснить и как отражение латинского *ē* долгого: Lehmann 1986, 23, ср. также о возможном времени заимствования в готский Schwarz 1951, 48—53; Corazza 1969, 13—14, 72—73; Scardigli 1973, 80—81. Часть германских языков рано осуществила метатезу в децессивной последовательности смычных: др.-исл. *edik*, нем. *Essig*, Seebold 1999, 235 (с дальнейшей библиографией).

(минуя гипотетическое германское промежуточное звено). Как показывают новейшие материалы Общеславянского лингвистического атласа, это заимствование характерно для всех славянских языков, кроме русского, который заимствовал еще в древнерусский период *оуксоусть* (совр. *уксус*) из греческого *ὄξος*. Совпадение этой изоглоссы с отмеченным выше различием между славянскими языками в отношении семантики слов, восходящих к общеславянскому **oskomina*, заставляют предположить общую (вкусовую и/или религиозно-диетическую) основу для двух этих явлений. Те области внутри *Slavia Orthodoxa*, которые отражают только негативное значение последнего слова, заимствовали греческое, а не латинское название уксуса. Можно было бы предположить различие восточнохристианской и западной (в *Slavia Romana*) традиций по отношению к этой детали употребления приправ и вкусовых прирастаний.

К числу подобных слов «кухонного» семантического круга, заимствованных в славянский либо непосредственно из латинского (*catillus* ‘блюдо, миска’, аффективная уменьшительная форма, возможно указывающая на просторечный характер слова; предположение об изменении **-n-> l-* в непроизводном слове *catinus* кажется менее вероятным), либо через посредство готского (или другого германского диалекта), принадлежит также слав. **котль* (> ст.-слав. *котьль* ‘χαλκίον’). Предположение о том, что слово было заимствовано в славянский (откуда оно далее проникло в балтийские и финно-угорские языки) непосредственно из латыни, высказывалось рядом ученых начиная с Мейе и находит подкрепление в его акцентуации, но вопрос остается открытым¹⁶. К названиям утвари примыкает также славянск. **коръбъ* ‘корзина’, для которого вероятный источник можно видеть в лат. *corbis*, хотя и здесь высказывалось предположение о германском посредничестве (имелось в виду др.-в.-нем. *Korbif*¹⁷). Слово получило также распространение в балтийских языках¹⁸ и поэтому принадлежит к числу миграционных терминов, распространявшихся вместе с названием соответствующего предмета.

Среди названий растений лат. *lactuca* (> *lattuca*, CIL, III, 807, 6) является источником слав. **lotica*¹⁹ > др.-чеш. *lotica*, польск. *locyka/locyga*, словен. *locika*, с.-хорв. *locika* (слово не имеет надежных соответствий в восточнославянском и в восточной ветви южнославянского, ср. выше о возможных объяс-

¹⁶ Топоров 1975—1980. Т. I—K, 267—268 (с подробной библиографией); Stender-Petersen 1927, 100, 400—401; Jellinek 1929, 129; Mossé 1933; Lehmann 1986, 215—216; Seebold 1999, 439.

¹⁷ Об этимологии германских слов ср. Seebold 1999, 477; Schulze 1933, 497—508.

¹⁸ Топоров 1975—1980. Т. I—K, 217—218 (с литературой вопроса).

¹⁹ По Махеку, из слав. **loktika*, более близкого к латинской форме (Machek 1954, 233—234), но изменение группы согласных, судя по данным надписей, могло осуществиться и в вульгарной латыни, откуда заимствовалась славянская форма.

нениях подобных лексических особенностей языков, входивших в ареал *Slavia Orthodoxa*). Это растение распространялось из средиземноморской области²⁰ вместе со своим названием латинского происхождения. Позднелат. *cannapis, ca(n)napus, can(n)ape, canapa* ‘конопля’ (более раннее *cannabis* из миграционного термина, широко распространенного в иранских и других языках) было источником слав. **konopjll'a* > русск. конопля, укр. коноплі, с.-хорв. конопља, словен. konoplja, др.-чеш. konopě, польск. konopie²¹.

К возможным поздне(вульгарно)латинским или ранне(западно)романским заимствованиям в славянском принадлежит название тополя **topol'ь/a*, весьма важное для определения (по его фонетическим особенностям) того раннезападнороманского (ретского или предсеверноитальянского, см. выше о происхождении из этого же диалекта слав. *oskamina*), из которого делались заимствования в праславянский.

2. Названия домашних животных и транспорт. В качестве первоначального источника слав. **osь/b* ‘осел’ предполагается латинская уменьшительная форма (см. выше о названии котла) *asellus* от лат. *asimus* (миграционный термин, для которого предложено несколько этимологий²²).

3. Названия официальных зданий. Семантически, возможно, наиболее интересной формой является позднелат. *palatium* ‘дворец’ (из собственного имени *Palatium*), безусловно являющееся источником слав. **polata* ‘дворец’ (ср. сохранение архаического значения в современном русском в сочетаниях типа *Грановитая палата*).

4. Сфера народных верований. Позднелат. *paganus* ‘нехристианский, нехрист’²³ отражено в слав. **roganь* ‘языческий, нехристианский’, русск. *поганый* ‘нечистый (в обрядовом смысле)’²⁴. Существуют народные названия некоторых растений, в частности грибов, образованные от славянской основы в этом последнем значении: ср. русск. *поганка* ‘несъедобный или ядовитый гриб’²⁵, чеш. *rohánka*²⁶ (обозначение, связанное, как и многие подробности языческих славянских представлений о грибах, исследованных В. Н. Топоровым²⁷, с общевразийскими мифологическими мотивами и шаманистскими обрядами).

Сходное смешение христианских и языческих представлений можно обнаружить и в семантике славянских слов, происходящих из лат. *calendae*

²⁰ Haudricourt, Hedin 1987, 139, 146.

²¹ Machek 1954, 93—94.

²² О наиболее вероятных из них см. Ivanov 1999, 184—185.

²³ Loefstedt 1959, 75—78.

²⁴ Зеленин 1991, 92, 280.

²⁵ Белова 1995, 548.

²⁶ Machek 1954, 88.

²⁷ Топоров 1979. Ср. также Белова 1995 (с дальнейшей библиографией).

‘праздник первого дня Нового года’. К этому латинскому источнику восходит слав. **koled-a* > русск. *Коляда* (название мифологического карнавального образа в низовой народной традиции) и связанные с ней ритуальные термины: *колядки, колядные песни, колядовщики*²⁸. К более позднему христианскому периоду относятся такие заимствования, как моравск. ст.-слав. *комъкание* ‘причащение’ от глагола **komъkati* из лат. *communicāre*²⁹.

5. Семантическое поле названий оружия. Славянское **sekyra* ‘секира, боевой топор’ восходит к латинскому термину *secūris* (первоначально древнеближневосточного происхождения). Заимствование осуществилось в эпоху, предшествовавшую делабиализации славянского *у.

Лат. *scūtum* ‘большой квадратный щит’ было заимствовано в ст.-слав. *щитъ* (моравск. *за-щитъ-ь*), хотя высказывалось и соображение об исконном родстве этих слов (маловероятное по соображениям культурно-исторического характера). В этом заимствовании обнаруживается поздний рефлекс палатализованного слав. **sk*’ перед **i*, которое передавало лат. *ī* долгое так же, как и в лат. *iūdaeus* (итал. *Giudeo*) ‘еврей(ский)’: слав. *židь* ‘еврей’, вульгарнолат. *crūc-em* ‘крест’: слав. **kr’izь* (> *kř’izь*) ‘крест’, ср. также вульгарнолат. *Rōma(m) = [Rūma]*: слав. *Rimu* ‘Рим’³⁰.

Латинские заимствования более поздней эпохи ограничены отдельными славянскими диалектами и/или речевыми жанрами (преимущественно книжно-церковными)³¹.

Литература

- Аввакум 1679/1927 — *Аввакум*. Книга обличений, или евангелие вечное // Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. 1. Л., 1927, 577—650. (Русская историческая библиотека; Т. 39).
- Белова 1995 — *Белова О. В.* Грибы // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1. М.: Международные отношения, 1995, 548—551.
- Гаврилов 1989 — *Гаврилов А.* (пер.) Петроний. «Сатирикон» // Римская сатира / Под ред. М. Л. Гаспарова, 1989, 131—235.
- Гольшпенко, Дубровина, Демьянов, Нефедов 1965 — *Гольшпенко В. С., Дубровина В. Ф., Демьянов В. Г., Нефедов Г. Ф.* Изборник 1076 г. М.: Наука, 1965.
- Зеленин 1991 — *Зеленин Д. К.* Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991.
- Иванов 1989 — *Иванов Вяч. Вс.* Латынь и славянские языки // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма / Под ред. Г. Г. Литаврина, Вяч. Вс. Иванова. М.: Наука, 1989, 25—35.

²⁸ Зеленин 1991, 370, 401—402.

²⁹ Об этом типе глаголов в вульгарной латыни ср. *Vacaenaepen* 1981, 91.

³⁰ О трех последних формах см. *Stieber* 1974.

³¹ *Birnbaum, Schaeken* 1997, 136—137.

- Истрин 1920—1930 — *Истрин В. М.* Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе: Текст, исследование и словарь. Т. 1—3. Пг./Л.: Типография изд-ва АН СССР, 1920—1930.
- Корнев, Лебедева, Лютовина, Мжельская 1990 — *Корнев А. И., Лебедева А. И., Лютовина И. С., Мжельская О. С.* Пековский областной словарь с историческими данными. Вып. 8. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
- Насонов 1950 — *Насонов А. Н.* (ред.). Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. М.; Л.: АН СССР, 1950.
- Семенов 1893 — *Семенов В.* Древнерусская Пчела по пергаменному списку // Сборник Отделения русского языка и словесности. 1893. Т. 54. № 4.
- Срезневский 1958 — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. М.: Изд-во нац. и иностр. словарей, 1958 (воспроизведение изд.: СПб., 1893—1903).
- Топоров 1975—1980 — *Топоров В. Н.* Прусский язык: Словарь. М.: Наука, 1975—1980.
- Топоров 1979 — *Топоров В. Н.* Семантика мифологических представлений о грибах // *Balkanica*. М.: Наука, 1979, 234—297.
- Трубачев 1987 — *Трубачев О. Н.* (отв. ред.) Этимологический словарь славянских языков. Вып. 14. М.: Наука, 1987.
- Birnbaum, Schaecken 1997 — *Birnbaum H., Schaecken J.* Das altkirchenslawische Wort. Bildung — Bedeutung — Herleitung. München: Otto Sagner, 1997. (Altkirchenslawische Studien; 1).
- Bonfante 1973 — *Bonfante G.* Influsso del protoromeno sul protoslavo // *Bonfante G.* Studi romeni. Roma, 1973, 235—258.
- Corazza 1969 — *Corazza V.* Le parole latine in gotico / Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Roma, 1969. (Classe di Scienze morali, storiche, e filologiche. Ser. 8. Vol. 14; fasc. 1).
- Hammerich, Jakobson 1980 — *Hammerich L. L., Jakobson R.* (eds.). Toennies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian Pskov 1907. Vol. 2: Transliteration and Translation. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 1980. Commissioner: Munksgaard, 1907.
- Haudricourt, Hedin 1987 — *Haudricourt A., Hedin L.* L'homme et les plants cultivées. Paris: Metaille, 1987.
- Holub, Kopečný 1952 — *Holub J., Kopečný.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Statní nakladatelství ucebnic, 1952.
- Ivanov 1997 — *Ivanov V. V.* A neglected Early Romance Borrowing in Slavic // *Die Welt der Slaven*. 1997. 42, 57—85.
- Ivanov 1999 — *Ivanov V. V.* Comparative Notes on Hurro-Urartian, Northern Caucasian and Indo-European // *UCLA Indo-European Studies* / Ed. Brent Vine and V. V. Ivanov. Vol. 1. Los Angeles, 1999, 142—263.
- Jellinek 1929 — *Jellinek M. H.* Gotica // *Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur*. Bd. 66. 1929, 117—140.
- Lehmann 1986 — *Lehmann W. P.* A Gothic Etymological Dictionary. Leiden: E. J. Brill, 1986.
- Lehr-Splawiński 1929 — *Lehr-Splawiński T.* Les empruns latins en slave commun // *Eos*. 1929. 32, 705—710.
- Lehr-Splawiński 1957 — *Lehr-Splawiński T.* Zapożyczenia łacińskie w języku prastowiańskim // *Studia i zskycze wybrane*. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1957 (польский перевод работы Lehr-Splawiński 1929).
- Loefstedt 1959 — *Loefstedt E.* Late Latin. Oslo, 1959.

- Machek 1954 — *Machek V.* Česká a slovenská jména rostlin. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1954.
- Machek 1957 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1957.
- Miklosich 1963 — *Miklosich F. von.* Lexicon Paleoslovenico-greco-latinum. Aalen, 1963 (воспроизведение изд. 1862—1865).
- Mossé 1933 — *Mossé F.* Sur le nom d'homme *ketill* en scandinave // *Revue Celtique.* 1933. 50, 248—253.
- Pellegrini 1980 — *Pellegrini G. B.* Nomi di piante nell'area dalmatina e friulana // *Linguistica.* 20: In memoriam Milan Groselj oblata. 2. 1980, 73—123.
- Pohl 1977 — *Pohl H. D.* Slavisch und Lateinisch. Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. Beiheft 2. Klagenfurt, 1977.
- Scardigli 1973 — *Scardigli P.* Die Goten: Sprache und Kultur. München: Beck, 1973.
- Schulze 1933 — *Schulze W.* Kleine Schriften. Göttingen, 1933.
- Schwarz 1951 — *Schwarz E.* Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Ausgliederung der germanischen Sprachen. Bern: Francke, 1951. (Bibliotheca Germanica; 2).
- Seebold 1999 — *Seebold E.* Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter, 1999.
- Stender-Petersen 1927 — *Stender-Petersen A.* Slavisch-germanische Lehnwortkunde: Eine Studie über die ältesten germanischen Lehnwörter im Slavischen in sprach- und kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Göteborg: Elander, 1927. (Göteborgs vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Följden IV, 31/4).
- Stieber 1974 — *Stieber Z.* Świat językowy słowian. Warszawa, 1974.
- Urbańczyk 1969 — *Urbańczyk S.* (ред.). Słownik staropolski. T. 5. Z. 9 (33), 1969.
- Vaeaeanaenen 1981 — *Vaeaeanaenen V.* Introduction au latin vulgaire. Paris, 1981.

С. А. БУРЛАК, А. С. МЕЛЬНИКОВ,
А. В. ЦИММЕРЛИНГ

ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ СЛАВЯНСКИМИ И ГЕРМАНСКИМИ ЯЗЫКАМИ: ИНДООЕРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО¹

0. Работа посвящена параллелям между славянскими и германскими языками в области фонетики, просодики, словаря и грамматики. Явления, о которых пойдет речь в статье, обсуждались в связи с тремя группами проблем: 1) генетической общностью славянских и германских языков, которые могут сохранять отдельные черты индоевропейского праязыка, утраченные в других индоевропейских языках, 2) типологической близостью славянских и германских языков на разном уровне организации; сходство фонетических и грамматических параметров, а также сходство словарных концептов и механизмов их эволюции во времени могут объясняться конвергентным развитием; 3) контактами носителей славянских и германских языков и диалектов. В цели статьи входит также обзор работ, показывающих современное состояние дискуссии. В основном учитывались работы второй половины XX в., но в некоторых случаях обсуждаются выводы и предположения, высказанные в более ранний период, но по тем или иным причинам не получившие надлежащего осмысления. Некоторые из упоминаемых работ хорошо известны и часто цитируются, другие мало доступны и носят специальный характер. Для нас решающим обстоятельством везде был не индекс цитирования работы, а доказательность её выводов. Главной целью статьи является отделение *предположений* о причинах возникновения тех или иных сходжений между славянскими и германскими языками, сделанных с позиций тех или иных теорий от строго доказанных *фактов*; по мнению авторов настоящей статьи, реестр последних нуждается в тщательной ревизии. Выборка обсуждаемых работ не является строго формальной и не претендует на полноту охвата научных материалов, но она дает представление об основных направлениях поиска и основных результатах в затронутых областях.

¹ Раздел 3 написан при поддержке гранта CEU/RSS № 932/1999.

Славянские и германские языки интересны для историко-типологической и ареальной лингвистики прежде всего тем, что они представляют две сравнительно близкородственные языковые семьи, которые развивались в Европе в непосредственной близости друг от друга, при этом процесс распада славянского и германского праязыков и их ветвления на отдельные диалекты осуществился весьма поздно — в течение последних двух тысячелетий. Это значит, что большинство славянских и германских языков имеет длительную письменную историю, что облегчает их изучение; в отдельных случаях мы даже благодаря удачному стечению обстоятельств можем оценить условия перехода некоторых славянских и германских языков от устного состояния к письменному. Культурно-исторические факторы играют не последнюю роль для успешного проведения сравнительно-исторической и диалектологической процедуры, поскольку при наличии репрезентативного корпуса текстов и методов их толкования можно делать более точные выводы о формальных ограничениях и семантике единиц в языках и диалектах, отдаленных от нас во времени и пространстве. Авторы работы стремились по возможности учесть эти факторы, хотя их действие не везде оговаривается в нашем материале.

Статья написана совместно С. А. Бурлак, А. С. Мельниковым и А. В. Циммерлингом². На стадии подготовки работы большую помощь оказала Т. В. Штарева. Авторы благодарят И. Б. Иткина, Т. М. Николаеву, Т. Н. Молошную и всех сотрудников Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН за высказанные замечания.

Начальный раздел работы посвящен проблемам исторической лексикологии, второй раздел посвящен проблемам фонетики и просодики, заключительный раздел посвящен проблемам грамматики. Объем материала заставляет нас выбрать внутри каждой группы работ основные линии.

1. Проблема славяно-германских изоглосс

В индоевропеистике существует традиция доказывать генетическую общность двух языков, приводя специфические только для них изоглоссы; изоглоссы могут базироваться как на сопоставлении корней, так и на сопоставлении основ, дифференцированных теми или иными морфологическими (аффиксы) или морфонологическими (огласовка корня) средствами. Кроме того, отличительным признаком может считаться особое семантическое развитие данного корня или основы, сближающее данные языки и противопоставляющее их другой группе родственных языков. Наличие списка подобных изо-

² Раздел 0 написан авторами совместно, раздел 1 написан С. А. Бурлак, раздел 2 — А. С. Мельниковым, раздел 3 — А. В. Циммерлингом, § 2.4 написан А. С. Мельниковым и А. В. Циммерлингом совместно.

гloss может считаться доказательством того, что сближаемые языки на определенной стадии составляли языковую общность (в данном случае — «славяно-германский язык» или «славяно-германский языковой союз»), но лишь при условии, что количество изогloss превышает среднестатистическое значение, проверяемое путем сопоставления двух произвольно взятых родственных языков. Понятно, что успех процедуры зависит от наличия предварительно составленного списка корней и сопоставляемых значений, но мы этот вопрос опускаем.

Нельзя не видеть, что результат процедуры даже при том условии, что число изогloss удовлетворяет названным требованиям, во многом зависит от случайных факторов, а именно от сохранности той или иной изогlossы в корпусе текстов: так, некая лексема или основа могла существовать, но не отразиться в записях. Между тем компаративисты, пользующиеся методом изогloss при сближении языка X и языка Y, обычно исходят из презумпции «закономерности»: если лексема *a* отразилась в языках X и Y, но не в языке Z, значит, её в языке Z и не было (по крайней мере, начиная с определенного времени)! Не менее важным экстралингвистическим фактором является состояние этимологических знаний: этимология разных индоевропейских языков разработана в разной мере. Поскольку компаративист не может полагаться на то, что к началу его работы будут найдены новые языковые данные и мгновенно появятся новые этимологические словари, ресурс прогресса видится в оценке корректности существующих этимологий. Данная работа была проделана С. А. Бурлак для списка славяно-германских изогloss, составленного Х. Стангом.

Книга норвежского лингвиста Х. Станга «*Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen*» [Stang 1972] была избрана для анализа потому, что она содержит наиболее подробное обоснование списка славяно-германских лексических изогloss. С момента выхода работы Х. Станга в свет, насколько нам известно, не появилось кардинально новых оценок в этой области. Книга Х. Станга посвящена анализу сепаратных балто-славяно-германских сходжений. Работа не ставит цели рассмотреть все когда-либо предлагавшиеся сближения; автор стремится выбрать из них лишь наиболее надежные. Всего в рассмотрение включены 188 этимологий; их них 66 — балто-германские; 68 — балто-славяно-германские и лишь 54 — славяно-германские. Среди славяно-германских сближений некоторые представляются нам ненадежными по семантическим причинам или имеют настолько общую семантику, что не могут (в силу большой вероятности случайного совпадения) служить доказательством чего бы то ни было. Таковы (в данный список не включены слова, помеченные Х. Стангом как сомнительные, в том случае, если сомнения Х. Станга представляются достаточно обоснованными):

БЫСТРЫЙ: рус. *быстрый* — др.-исл. *bysja* ‘mit grosser Gewalt ausströmen’ и т. д., — значение ‘быстрый’ отсутствует в германском, значения, представленные в германском, не встречаются в славянском.

БАБИТЬ: старосл. *вабити* ‘привлекать, манить’, рус. *вабить* ‘манить, звать птицу на охоте’, сербск. *vábiti* ‘манить’, *váb* ‘приманка’, словенск. *vabiti* ‘манить’, *vab* ‘приманка’, польск. *wabić* ‘манить; давать кличку’ — гот. *wopjan* ‘laut rufen, ausrufen’, *at-* ‘herbeirufen’, др.-исл. *épa* ‘rufen, schreien’, *óp* ‘Ruf, Schrei’, англос. *wēpan* ‘weinen’, др.-сакс. *wōpian*, д.-в.-н. *wuofan* ‘wehklagen’. Несмотря на фонетическое тождество протославянской и протогерманской форм, связь между ними, принимаемая многими этимологами, представляется нам, вслед за В. В. Мартыновым, сомнительной по семантическим причинам: славянское *vabiti*, по-видимому, не является глаголом звукопроизводства и первоначально имело значение ‘заманивать в западню, в неволю’. Нельзя также исключать, что прагерманская форма является заимствованием из славянского *vъpiti* ‘вопить’ [Мартынов 1963, с. 190—191].

ГЛУМИТЬСЯ: рус. *глумиться* — др.-исл. *glaumr* ‘Lärm, Getöse, Jubel’ и т. д., — значение ‘насмешка’ отсутствует в германском, значения, представленные в германском, не встречаются в славянском.

ДАВИТЬ: рус. *давить* — гот. *afdauiþs* ‘geplagt, gehetzt’ и т. д., — значения ‘wägen, drücken, pressen’ отсутствуют в германском, значения, представленные в германском, не встречаются в славянском.

ДОЖДЬ: рус. *дождь*, старосл. *дъждь*, болг. *дъжд*, польск. *deszcz* — норв. *duskregn* ‘мелкий дождь’, норв. (диал.) *dusk* ‘feiner Regen’, швед. *regndusk*, др.-исл. *dust*, ср.-н.-нем. *dust*, норв. *dust* ‘пыль’, — в германском значение скорее ‘пыль’, чем ‘дождь’; развитие значения ‘дождь’ < ‘пыльный’ (прилагательное с суффиксом *-j-*) представляется маловероятным.

КАМЕНЬ: рус. *камень* — д.-в.-н. *hamar* ‘молоток’ и т. д. (по мнению Х. Станга, сепаратное развитие и.-е. **akmen-* ‘камень’ заключается в метатезе двух начальных звуков), — если даже германские формы восходят к и.-е. **akmen-* (что вероятно ввиду греч. *ἄκμων* ‘наковальня, каменная подставка’), эволюция славянской формы, включающая, во-первых, сепаратное балтославянское развитие **k̄ > *k* (вместо обычной для языков *satəm* спирантизации), а во-вторых, сепаратную славяно-германскую (без балтийского, ср. лит. *akmuõ* ‘камень’) метатезу, представляется малореальной.

КОГОТЬ: рус. *коготь*, в.-луж. *kocht* ‘терн, шип’ — д.-в.-н. *hakō* ‘Haken’ и т. д., — значения ‘коготь’ и ‘шип’ отсутствуют в германском, значение ‘крюк’ — в славянском.

[КРОМЫ]: рус. *кромы* ‘ткацкий станок’, *закромить* ‘огородить досками’, укр. *прикромити* ‘унять’, польск. *skromić* ‘приручить, укротить’ — д.-в.-н. *(h)rama* ‘рама, станина’, англос. *hremmian* ‘einegnen, behindern’, — сближение

Сомнит.
германск.

возможно лишь в том случае, если первично русское значение (и слово не связано с *кромка*).

ЛЕС: старосл. *лѣсъ*, рус. *лес*, польск. *las* 'лес', н.-луж. *lěso* 'лиственный лес', др.-чешск. *les*, мн. ч. *lesy* 'листва, побеги' — англос. *læs*, род. п. *læswе* ж. р. 'выгон, пастбище', — в германском слово имеет ограниченное распространение и не означает 'лес', в то время как для славянского это значение первично.

МАЯТЬСЯ: рус. *маяться, маета*, болг. *мая* 'затягиваю, нарушаю' — д.-в.-н. *tiuoen* 'трудиться, стараться', гот. *afmauþs* 'утомленный', — в славянском значение 'мучение', скорее всего, производно от 'колебаться, двигаться туда-сюда' (ср. тот же перенос значения в рус. *мотаться* 'двигаться туда-сюда' — *замотаться/вымотаться* 'измучиться'), которое М. Фасмер относит к другому корню [Фасмер 1986, 2, с. 587], значительно лучше представленному в славянских языках и родственному лит. *móti, móju* 'махать', возможно, также др.-инд. *māyá* 'превращение, видение, обман, иллюзия' (ср. значение болг. *омая* 'чарую, одурманиваю' и польск. *majak* 'призрак, (при)видение'). В любом случае это сближение не может быть признано сепаратным германославянским ввиду наличия литовской параллели.

ПРЯДАТЬ: рус. *прясть*, сербск. *прѣдати* 'бояться', *прѣнути се* 'воспрянуть; вскочить спросонья' — др.-исл. *spretta, spratt* 'пробиваться, лопаться', англ. *sprint* 'рвануться, броситься', ср.-в.-н. *sprenzen* 'рвать; брызгать' — значение настолько размыто, что сближение не может быть признано доказательным.

Некоторые слова имеют параллели в других индоевропейских языках, в том числе в балтийских, отвергаемые автором без достаточных, на наш взгляд, оснований. Эту группу составляют:

(У)БЕДИТЬ: старосл. *бѣдѣти* 'принуждать' — гот. *baidjan* 'zwingen', др.-исл. *beida* 'um etw. bitten', д.-в.-н. *beitten* 'drängen, fordern' — сюда же, вопреки Стангу, по крайней мере, греч. *πειθω* 'убеждать; (мед.) повиноваться', алб. *be* < и.-е. *bhojdhā* 'клятва, присяга': общее значение 'побуждение — с помощью языковых средств — непременно совершить какое-либо действие' восстанавливается достаточно хорошо; дальнейшее развитие: в славянском и готском — утрата компонента «с помощью языковых средств», в древнеисландском — компонента «непременно», в греческом — добавление компонента «(совершить) по собственной воле» (это же развитие значения наблюдается и в старославянском *оубѣдѣти, оубѣждати*), в албанском — компонента «(побуждение) себя»;

БЛЕДНЫЙ: старосл. *вѣдъ* 'bleich, blass', сербск. *blijed*, слов. *blêd*, польск. *blady* — англос. *blât* 'blass, bleich', д.-в.-н. *bleiza* 'Blässe' < **bhloido-*, — нет необходимости, вопреки Стангу, отделять суффиксальное производное от

этого корня — алб. *bl'edhurë* (< *bledrē) 'blass, bleich' (лит. *bleidnas* 'бледный' заимствовано из славянского [Фасмер 1986, 1, с. 173]);

ГЛЯДЕТЬ: старосл. *гладати* 'орāv', рус. *глядеть*, болг. *гледам*, сербск. *glèdati*, слов. *glèdati*, чешск. *hleděti*, польск. *glądać* — ср.-в.-н. *glinzen* 'glänzen', *glanz*, норв. (диал.) *gletta* 'gucken', 'einen Blick werfen' (отметим, что как в германском, так и в славянском это не основное слово для данного действия), — Фасмер [Фасмер 1986, 1, с. 418] приводит в качестве параллелей лтш. (курземск.) *glendi* 'ищи', *glenst*, *glendēt* 'смотреть, искать', *niugleñst* 'увидеть, заметить' и ирл. *inglennat* 'vestigant', *atgleinn* 'demonstrat'.

ЖЕВАТЬ: рус. *жевать*, болг. *преживам* (о жвачных животных), сербск.-цслав. *жвати*, польск. *żuć* — д.-в.-н. *kiuwan* 'жевать', англос. *ceowan* id., — сюда же, по крайней мере, перс. *jāvīdan* и тох. АВ *śwā-* 'есть' [Van Windekens 1976, с. 490].

ЗЕВАТЬ: рус. *зевать*, сербск. *zujèvati*, польск. *ziewać* — д.-в.-н. *giwen* 'зевать', — звук [v] в этом корне присутствует не только в германских и славянских языках, но также в балтийских, ср. лит. *žióvauti*, лтш. *zàvāt* 'зевать', и тохарских, ср. тох. А *śew-* 'зевать' [Van Windekens 1976, с. 479].

КЛЕН: рус. *клён* — др.-исл. *hlynr* 'гж.', — к этому же корню должны быть отнесены, вопреки Х. Стангу, также валл. *celyn*, др.-корн. *kelin*, др.-исл. *cuilenn* 'падуб остролистный', поскольку это растение имеет листья, похожие на кленовые и резко отличающиеся от листьев других растений (заметим, что неизвестно, какое из значений было первичным в индоевропейском: если индоевропейская прародина располагалась на Балканах, то падуб остролистный был индоевропейцам известен; сохранили же название лишь кельты, поскольку в других регионах Европы падуб остролистный не встречается). Макед. *кљнóтpоxоv* (Феофраст) 'вид клена' может быть протославянским заимствованием (И. Б. Иткин, устное сообщение): *klin-o-* — это **кльнь* до перехода краткого *i* в *ь*. Неясно, как относятся сюда лит. *klėvas* (*kliāvas*), лтш. *kļavs* 'клен'.

КОБЧИК: рус. *кобеч*, *кобчик* 'Bienen-, Wespenfalkе', болг. *кобѐц*, сербск. *kóbac* 'Sperber' — д.-в.-н. *habuh* 'Habicht', др.-исл. *haukr* (слово проникло и в прибалтийско-финские языки, ср. финск. *haukka* 'ястреб, сокол', вепск. *habuk* 'ястреб', эстонск. *haugas* 'ястреб'), — сюда же может быть отнесено алб. *shkabë* 'орел, коршун' [Июль 1923, с. 303 сл.].

ЛГАТЬ: старосл. *лѣгати*, рус. *лгать*, *ложь*, сербск. *lågati*, польск. *lgac* — гот. *liugan*, д.-в.-н. *liogan*, — сомнения Х. Станга относительно включения сюда др.-лит. *luginaitę* (*pabuczėwimas*) 'предательский, иудин (поцелуй)' и др.-ирл. род. п. ед. ч. *logaissi* 'mendacii' ('обмана, неправды') представляются необоснованными.

ЛОСЬ: рус. *лось*, чешск. *los*, польск. *łoś* — др.-исл. *elgr* (мн. ч. *-ir*), англос. *eolh*, д.-в.-н. *elaho*, — нет необходимости отделять лат. *alces*, греч. *ἄλκη* 'лось', а также не приведенные Х. Стангом др.-инд. *ṛṣya-* 'самец антилопы'.

памирск. *rus* ‘каменный баран’ [Фасмер 1986, 2, с. 522]: достаточно хорошо восстанавливается и.е. слово со значением ‘крупный олень’. Наличие индоиранских данных не позволяет считать греческое и латинское слова заимствованиями из европейских языков.

[МЪНИТЬ]: старосл. мѣнити ‘вспоминать’, слов. *měniti* ‘полагать, думать’, польск. *mienić* — д.-в.-н. *meinen* ‘думать, полагать’, — вопреки М. Фасмеру [Фасмер 1986, 2, с. 633], нет оснований отделять эти слова от старосл. мьнѣти, рус. *(no)мнить*, *мнение*, лит. *minėti* ‘вспоминать, упоминать’, др.-инд. *mānyate* ‘думает, помнит’, лат. *memini* ‘вспоминаю’, *mens* ‘ум’, ирл. *do-moiniur* ‘верю, полагаю’, греч. *μνῆσκα* ‘вспоминаю’ и т. д.

МНОГО: рус. *много*, старосл. мѣногъ, сербск. *mnogo*, польск. *mnogi* — гот. *manags* ‘многий’, д.-в.-н. *manag* ‘иной, некоторый’, нем. *Menge* ‘толпа’, — к этому же корню восходит кельтское суффиксальное производное **meneg-ni* ‘частый; частый посетитель, завсегдатай’ (др.-ирл. *menicc*, валл. *munuch*, корн. *menough*).

ПАРОМ: рус. *паром* (диал. *пором*) ‘Fähre’, болг. *прам*, сербск. *prām*, чешск. *prám*, польск. *prom* — д.-в.-н. *farm* ‘Nachen, Fähre’, др.-исл. *farmr* ‘груз, товар’, — возможно, связано, с греч. *πορθμός* ‘место переправы, пролив; переправа, переезд’ [Фасмер 1986, 3, с. 331—332].

ПЯТЬ: др.-рус. *пясть* ‘кисть руки’, слов. *pěst*, *-ī* ‘кулак, ладонь, пригоршня’, чешск. *pěst*, польск. *pięść* ‘кулак’ — д.-в.-н. *fīst* ‘кулак’, англос. *fýst* < **funsti* ‘кулак’, — поскольку германские и славянские слова, вероятно, восходят к и.е. **ppkʷ-sti* ‘пятерня’, сюда же можно отнести (с неясным характером колебаний *s ~ š*) лит. *kūmštis / kūmšte / kūmstė / kūmščia*, лтш. *kumste* ‘кулак’ с той же метатезой *k-p- < p-k-*, как и в лит. *kėpti*, лтш. *sept* ‘печь’.

СЕРЫЙ: рус. *серый*, болг. (диал.) *сяр*, др.-чешск. *šěry*, польск. *szary* (< **xoiro*) — др.-исл. *hárr* ‘серый, седой’, англос. *hár*, д.-в.-н. *hēr* ‘достойный, величественный’, — с семантической точки зрения не менее правдоподобным выглядит сближение с ирл. *siag* ‘темный’, которое также может восходить к **k(h)ejro-*. Славянское ‘серый’ обычно считается родственным ‘седой’, возможно, также *сивый*, *сизый* и *синий* [Фасмер 1986, 3, с. 590]; таким образом, этимология, приводимая Х. Стангом, — лишь одно из многих возможных предположений.

СНОВАТЬ: рус. *сновать*, болг. *снова* ‘набираю основу ткани, спую’, чешск. *snouti*, *snuji*, *snovati* ‘набирать основу ткани; замышлять’ — др.-исл. *snúa* ‘вертеть, мотать, плести’, гот. *sniwan* ‘спешить’, — сюда же лтш. *snaujis* ‘петля’; О. Н. Трубачев возводит эти слова к и.е. корню со значением ‘вязать, плести’ (вероятно, из жил) [Фасмер 1986, 3, с. 700, статья СНОХА], от которого произошло название шнура — и.е. **shʷnēyrl/n-* (реконструкция принадлежит И. С. Якубовичу, см. [Yakubovich 2000]), вед. *snāvan* ‘лента; мышца; сухожилие’, ав. *snāvarə* ‘сухожилие, шнур’, греч. *νεῦρον* ‘жила, мускул’, лат. *nervus*

‘жила, сухожилие, струна’; хеттск. *išhunawar* ‘жила, сухожилие’ [Yakubovich 2000, с. 137], тохарск. В *šlor* ‘тж.’ [Van Windekens 1976, с. 458].

СПОРЫЙ: рус. *спорый*, др.-рус. *споръ* ‘обильный’, слов. *spory*, в.-лужиц. *spory* ‘щедрый, обильный’, чешск. *spořiti* ‘спaren’ — др.-исл. *sparr* ‘бережливый, пощаженный’, д.-в.-н. *spar* ‘sparsam’, англос. *sparian*; — сюда же, по М. Фасмеру [Фасмер 1986, 3, с. 738], др.-инд. *sphirá* ‘тучный, обильный, богатый’, арм. *p'art'am* ‘обильный’. Все эти слова производны от глагола и.-е. **sp(h)ei-* ‘спеть’ (лит. *spėti, spėjti* ‘поспевать, иметь время, досуг, быть в состоянии’, др.-инд. *sphāyate* ‘процветает, тучнеет’ и т. д.)

СТРОГАТЬ: рус. *строгать, стругать*, старосл. *стръгати*, польск. *strugać* — др.-исл. *strjúka* ‘гладить, стирать, проводить’, вост.-фриз. *strók* ‘полоса’, — если данные значения вообще можно признать сопоставимыми, то сюда же следует отнести и лтш. *strūgains* ‘streifig’ (см. [Фасмер 1986, 3, с. 779]).

ТРУД: др.-рус. *трудъ* ‘труд, работа, рвение, забота, страдание, скорбь’, старосл. *трудоу* ‘πόνος, ἄγών’, болг. *труд*, польск. *trud* — гот. *us-priutan* ‘отягощать’, др.-исл. *braut* ‘испытание, беда, искушение’, англос. *bréotan* ‘утомляться’ — значения достаточно сильно расходятся; не исключено, что сюда же можно отнести и лат. *trūdō* ‘толкать, понуждать’, а возможно, и лтш. *traūds* ‘хрупкий’ (см. [Фасмер 1986, 4, с. 108]).

[ЧЕМЕР]: др.-рус. *чемеръ* ‘яд’, *чемеръ* ‘чемерица’, рус. *чeмep* ‘головная боль, боль в животе, пояснице; болезнь лошадей’, *чeмepá* ‘одуряющий табак из багуна’, *чeмepицa*, укр. *чeмip* ‘спазм живота’, *чeмepиця* ‘чемерица’, *чeмepник*, *чeмepухa*, *чeмep* ‘лошадиная болезнь’, белор. *чeмep* ‘тж.’, болг. *чeмep* ‘яд’, *чeмepигa*, *чeмepиkа* ‘чемерица’, сербск. *чeмep* ‘яд, гнев, скорбь’, *чe мepан* ‘ядовитый, горький, терпкий, несчастный’, слов. *čemer* ‘яд, желчь, гной, гнев’, *čemerika* ‘чемерица’, чешск. *čemer* ‘сыпь’, *čemeřice* ‘чемерица’, слов. *čemer* ‘опухоль, сгусток крови’, *čemerica* ‘чемерица’, др.-польск. *czemier, czemierzysa*, польск. *ciemierzysa*, в.-луж. *čemjerica* ‘чемерица’ — д.-в.-н. *hemera*, нов.-в.-н. диал. *Hemern* ‘чемерица’, — сюда же отсутствующие у Х. Станга лтш. *cemeriņš* ‘чемерица’ и, возможно, лит. *kemeras* ‘посконник’ (растение) (ср. [Фасмер 1986, 4, с. 331]).

Не имеют индоевропейских соответствий, но имеют параллели в других ностратических языках:

ГОЛЫЙ: старосл. *голъ* ‘нагой’, рус. *голый*, польск. *goły* — д.-в.-н. *kalo* ‘лысый’, англос. *calu*, — даже если не относить к этому же корню лтш. *gāls* ‘Eisglatt’, то можно привести такие параллели за пределами индоевропейской семьи, как уральск. **kal'a* ‘пленка, кожица; голый, гладкий’ (фин. *kalju, kalja, kalea* ‘гладкий, скользкий, лысый’, ? мокша-морд. *kalyš* ‘голый, лысый’), алт. **kal* ‘лысый, голый’ (тюрк. **Kal-ka* ‘лысый’, монг. письм. *qal-tar* ‘голый, лысый’) [Иллич-Свитыч 1971, с. 289].

СИЯТЬ: старосл. *снѣти* ‘сиять’, рус. *сиять*, сербск. *sjāti*, сербск.-цслав. *sinuti* — гот. *skeinan* ‘leuchten, scheinen’, англос. *scīnan*, д.-в.-н., др.-сакс. *skīnan* (мы согласны с мнением Х. Станга, согласно которому слово ‘тьнь’ — греч. σκιά и т. д. — к данному корню не имеет отношения по семантическим причинам), — индоевропейский корень восходит к ностратическому **čajha* ‘мерцать’, ср. уральск.: сев.-саам. *čaje-ti* ‘показывать, выглядеть’ (с тем же развитием семантики, что и нем. *scheinen*), удмуртск. *šij-al* ‘блестеть, мерцать’, морд. *sija* ‘серебро’; дравидийск.: тамильск. *cāj* ‘блеск, свет’ и т. д.; семитохамитск.: арабск. *šhw/šhj* ‘быть безоблачным, ясным’, сокотри *šjh* ‘светить, освещать’ и т. д. [Иллич-Свитыч 1971, с. 199].

Более похожи не на сепаратные схождения, а на заимствования из германского в славянский слова:

ГРОТ: рус. *грот* ‘метательное копьё, дротик’ (устар.), чешск. *hrot*, польск. *grot* ‘стрела; наконечник, острие’ — ср.-в.-н. *grāt* ‘рыбья кость, острие’, нов.-в.-н. *Grat, Gräte* ‘тж.’, — слово, по всей вероятности, этимологически одно и то же, но соотношение значений делает более вероятной гипотезу о заимствовании славянами германского слова в качестве обозначения оружия.

ЛЕСТЬ: старосл. *лъсть* ‘List, Trug’, рус. *лесть* ‘Schmeichelei, List, Trug, Fälschung’, сербск. *lâst*, чешск. *lest*, др.-польск. *leśc* — гот. *lists* ‘List’, д.-в.-н., др.-сакс., англос., др.-исл. *list* (в германском слово, по-видимому, является производным от глагола гот. *lais, laisjan*, д.-в.-н. *lēren, lirnēn*, в славянском же является морфологически нечленимым). Этой же точки зрения придерживаются, в частности, М. Фасмер [Фасмер 1986, 2, с. 487] и В. В. Мартынов [Мартынов 1963, с. 48—50].

Представляются сомнительными в силу ограниченности распространения:

[ОБРЪЗГНУТЬ]: рус.-цслав. *обрѣзгнѣти* ‘скиснуть’, чешск. *břesk* ‘терпкий вкус’, польск. *brzazg* ‘неприятный, терпкий вкус’ — норв. (диал.) *brisknen* ‘горький, терпкий’, *briskna, bresna* ‘скиснуть’.

СТОГ: рус. *смог*, болг. *смог*, сербск. *cmōg*, польск. *stóg* ‘стог’ — др.-исл. *stakkr* ‘стог’ (причина удвоения *k* неясна)³.

Некоторые слова имеют в германском и славянском общий корень, но различные суффиксы, или различаются по ступени аблаута:

БОРОВ: рус. *боров*, болг. *брав* ‘кастрированный кабан, боров’, сербск. *брѣв* ‘овцы’, слов. *brāv*, чешск. *brav* ‘(мелкий) скот’, словц. *brav* ‘боров’, польск.

³ Следует заметить, что в древнескандинавском языке удвоение заднеязычных смычных *k, g* в краткосложных корнях было достаточно регулярной тенденцией. Однако вероятность фонетического развития *stak + r > stak: + r* не может доказать, что др.-исл. *stak(k) + r* непременно восходит к тому же этимону, что славянское (рус., болг. и т. д.) *смог*.

browek 'откормленный кабан' — д.-в.-н. *barug, barh* 'verschnittenes Schwein', др.-исл. *borgr*, англос. *bearh, bearg*, совр. нем. *Borch*, — в германском, как отмечает Х. Станг, к основе **bhoru-* добавлен суффикс *-ko-*; обсуждение различных аспектов проблемы см. в [Мартынов 1963, с. 80—82].

КРУГ: слав. **krogъ* 'круг' — др.-исл. *hringr*, англос., д.-в.-н. *hring* 'кольцо', — эти слова явно восходят к одному этимону, но демонстрируют различные ступени аблаута; поэтому более вероятным представляется то, что они независимо унаследованы от и.-е. **krengo-* (с чередованием *e ~ o* в парадигме), чем то, что они являются продолжениями некоторого слова, возникшего в германо-славянском диалектном ареале, или заимствованиями.

ЛЕБЕДЬ: рус. *лебедь*, укр. *лебідь*, болг. *лебед*, польск. *labędź*, слов. *labôd*, слов. (диал.) *lebéd*, сербск. *lâbûd*, чешск. *labuť* — д.-в.-н. *albiz, elbiz*, др.-исл. *qlptr*, — в славянском суффикс с носовым, в германском — без носового.

МЕЛЬ: рус. *мель*, польск. *mieł* 'мель' — др.-исл. *melr* 'отмель', шв. (диал.) *mjäg* < **mjalg* 'Sandhügel, hohes Flussufer', — германские формы, в отличие от славянских, как справедливо отмечает Х. Станг, восходят к **melha- / *melga-*. В свою очередь, славянские формы традиционно рассматриваются как синхронное производное от *мѣлкий* (< *мѣлькъ*), которое имеет гораздо меньше общего с германским.

МОЛНИЯ: рус. *молния* — др.-исл. *Mjöllnir* 'молот Тора, молния' и т. д., — разные ступени аблаута: германские формы восходят к **meln-*, славянские — к **mĭn-*, сам же корень представлен и в других индоевропейских языках, ср. лат. *malleus* 'молот, колотушка', валл. *mellt* 'молния', др.-прусс. *mealde* 'тж.'. хетт. *malatti* 'боевое оружие'.

РЕБРО: рус. *ребро*, сербск. *рёбро* и т. д. 'тж.' — д.-в.-н. *ribbi, rippi* 'ребро', др.-исл. *rif* ср. р. 'ребро', — в славянском имеется суффикс *-p-*.

Таким образом, остаются следующие надежные славяно-германские сближения:

1) БОР: цслав. *боръ* (Pl. *борове*) 'сосна', рус. *бор*, польск. *bór* (Lok. w *boru*) — др.-исл. *borr* (Dat. *borvi*) 'Baum' (поэт.), англос. *bearu* (Gen. *bear[wes]*) 'Wald', д.-в.-н. *baro* 'Hain, Wald'. И в славянском, и в германском представлена *u*-основа [Stang 1972, с. 15]. Относимое сюда М. Фасмером [Фасмер 1986, I, с. 193] др.-инд. *bhṛṣti-* 'острие' следует отвергнуть по семантическим причинам. См., однако, интересные аргументы в пользу заимствования праславянского **borъ* в германский у В. В. Мартынова [Мартынов 1963, с. 108—112].

2) ГНЕСТИ: старосл. *гнѣсти* (гнетж), рус. *гнесту* (гнету), слов. *gnétem* 'мять, давить', др.-чешск. *hnetu*, польск. *gnieść* (*gniotę*) — д.-в.-н. *knetan* 'давить, мять', др.-исл. *knōða* (слаб. глаг.) 'kneten'.

3) [ГНЯВИТИ]: сербск. *gnjáviti* 'drücken', слов. *gnjáviti* 'drücken, knällen, wärgen', чешск. (диал.) *gňávit, gňábit* — др.-исл. *knýja* (praet. *knūða, knýða*)

'klemmen, drücken, stossen, schlagen, treiben', англос. *snūwian* 'drücken, langsam kauen', *snéowian* 'beschlafen'.

4) [ЖЕЛЕСТИ]: старосл. **жлѣсти** (жлѣдѣ), **жласти** 'abzahlen, vergelten', др.-рус. *желести* (*желеду*) 'платить, искупать вину' — гот. *fragildan* 'отплатить, вознаградить', д.-в.-н. *geltan* 'уплачивать', др.-исл. *gjalda* 'отплатить' (термин из области имущественных отношений).

5) [ЛЮТ]: рус. диал. *лут* 'лыко, кора липы', *лутьё* 'молодой липовый лес, пригодный для дранья лыка', укр. *луття* ср. р. 'ивовые ветки, липовое лыко', белор. *лут* 'молоденькая липа, кора с нее', польск. *łęt* 'прут, хлыст' — др.-исл., англос. *lind* 'липа', д.-в.-н. *linte* 'липа, щит', — вероятно, первоначальным значением этого корня было '(гибкая) часть дерева, используемая для хозяйственных нужд', ср. относимые сюда же М. Фасмером [Фасмер 2, с. 536] лит. *lentà* 'доска' и алб. *landë* 'строевой лес', но значение 'липа', действительно, встречается лишь в германском и славянском.

6) [ПРУГ]: старосл. **пржгъ** 'ѡкрѣзъ', др.-рус. *прузь* 'саранча' — ср.-н.-н. *spranke*, *sprinke* 'саранча', д.-в.-н. *houuespranca* 'саранча' (букв. 'прыгающая по сену'), ср.-н.-н. *sprenger* 'саранча', — корень со значением 'прыгать' известен и за пределами славянских и германских языков, ср. тох. В *pruk-* (< и.-е. *prug-*) 'прыгать', но образование с носовым в корне со значением 'саранча' нигде, за исключением славянских и германских языков, не встречается. В пользу того, что слав. **prǫgъ* не является заимствованием из германского, свидетельствует отсутствие в славянском начального *s*. Впрочем, возможно, что славянские и германские слова являются не этимологическими соответствиями, а параллельными образованиями от глагола (глаголов? — ср. различия в вокализме: герм. **i* < **e*, слав. **y* < **ī*) со значением 'прыгать', ср. болг. *скакалец* 'саранча', англ. *grasshopper* (букв. 'травяной прыгун') 'кузнечик, саранча', нем. *Grashüpfer* (разг.) 'кузнечик'.

7) СОЛОВЫЙ: рус. *соловый*, рус.-цслав. **славоочне** (= **сѣвроочне**) — д.-в.-н. *salō*, *salowēr* 'dunkelfarbig, trübe', англос. *salu*, англ. *sallow*, др.-исл. *sq̄lr* 'schmutzig, bleich (poet.)' (прусск. *salowis* 'соловей', приводимое М. Фасмером в качестве соответствия, см. [Фасмер 1986, 3, с. 711], скорее заимствовано из восточнославянского после развития полногласия).

8) СТАДО: старосл. **стадо**, рус. *стадо*, сербск. *stàdo*, чешск. *stádo*, польск. *stado* — др.-исл. *stóð* 'Stutenherde', англос. *stód* 'Pferdeherde', д.-в.-н. *stuoit* 'тж.', — вопреки М. Фасмеру [Фасмер 1986, 2, с. 743], сюда не может быть отнесено лит. *stodas*, лтш. *stāds* 'саженец, растение'. В то же время нельзя исключать этимологизацию данной лексики на собственно-германской почве и, соответственно, заимствование из германского в славянский [Мартынов 1963, с. 53—55].

9) СТЕНА: рус. *стена*, старосл. **стѣна** 'стена, скала', сербск. *стijèna* 'скала, камень', польск. *ściana* — гот. *stains*, др.-исл. *steinn*, д.-в.-н. *stein* 'камень', — в славянском, видимо, первично значение 'скала'.

10) СТРОП(ила): старосл. *стропъ* ‘Zimmerdecke’, рус. *строп* ‘Zimmerdecke, Dach, Dachboden’, слов. *strop*, польск. *strop* — др.-исл. *hróf* ‘Dach: Boothaus’, англос. *hróf* ‘Dach’, англ. *roof* ‘крыша’ (этимология возможна, если слав. формы восходят к **kʷrVp-*; качество гласного не вполне ясно, так как слав. **o* < **ǎ*, **ǫ*, тогда как германское **o* < **ā*, **ō*).

11) [СЯДРА]: сербск. *sèdra* ‘известковый натек’, чешск. *sádra* ‘гипс’, слов. *sadra* ‘тж.’ — др.-исл. *sindr* ‘натек, шлак’, д.-в.-н. *sintar*, ср.-в.-н. *sinter* ‘окалина, натек’, англос. *sinder*. По-видимому, слово представляет собой старый технический термин.

12) ЧУП: рус. диал. *чуп* (вятск. тж. ‘сорная трава’) и сербск. *чўна* ‘пучок волос’, но тж. рус. *чуб*, укр., белор. *чуб*, чешск., словц. *čub* ‘хохол у птицы’, польск. *czub* ‘хохол, вихор’ — др.-исл. *skúfr* ‘махор, пучок’, д.-в.-н. *scoub* ‘сноп, связка соломы’, ср.-в.-н. *schoup*, нов.-в.-нем. *Schaub* ‘связка, пучок соломы, клок’. В германском также можно усматривать следы колебания *b ~ p*, ср. такие формы, как гот. *skuft* ср. р. ‘волосы на голове’, ср.-в.-н. *schopf* ‘чуб, вихор’⁴. Сближение можно считать надежным; интересно, однако, что в славянском, в отличие от германского просматриваются рефлексy *r-*: *чуприна* ‘чуб’, укр. *чуприна*, белор. *чупрына* тж. (ср. *зуб* — *зазубрина*, *дуб* — *дубрава*), явно достаточно древнего.

Итого 12 надежных изоглосс.

А также, возможно,

13) (раз)БУХНУТЬ: рус. *бухнуть*, слов. *büchnem*, *bühniti* ‘anschwellen, sich aufblasen’, кашубск. *bucha* ‘Stolz’ — ср.-н.-н. *būs* ‘Aufgeblasenheit, schwellende Fülle’, *būsen* ‘schwellen’, норв. (диал.) *baus* ‘stolz, ungestüm, hitzig’.

К списку надежных сближений можно добавить:

МОЩЬ: др.-рус. *мочь*, старосл. *моць* ‘ισχύς, δύναμις’, сербск. *mōh*, польск. *mos* — гот. *mahts* ‘мощь, сила’, д.-в.-н. *maht* ‘тж.’ — корень представлен также в балтийском (лтш. *mēgt* ‘мочь, иметь обыкновение’) и, возможно, в греческом (если относить сюда *μηχανή* ‘орудие’, см. [Фасмер 1986, 2, с. 635]), но производное на *-t-* присутствует лишь в германском и славянском.

Не вполне ясны следующие случаи:

БОЛЬ: старосл. *бѣль* м. р. ‘больной’, рус. *боль*, сербск. *ból* м. р. — слов. *ból* м. р. — д.-в.-н. *balo* ‘пагуба, зло’, др.-исл. *ból*, ‘Shaden, Unglück’, англос. *bealu*,

⁴ Однако в самих древнегерманских языках в слогоконечных кластерах типа *b, g, + t* звонкие смычные и спиранты закономерно оглушались; в результате ассимиляции в данной позиции возникали глухие спиранты [f], [x], поэтому предположение об исконном характере *p* в гот. *skuft*, // др.-исл. *skopt* [...-ft] необязательно. Более интересно ср.-в.-н. *schopf*, если оно восходит к **skūp-t*, но и здесь можно предполагать оглушение до стадии глухого смычного **skūb-t* > **skūp-t* незадолго до древневерхнемецкого передвижения *p(t) > pf(t)*.

гот. *balwawesei* ‘злость’, *balwjan* ‘мучить’, — значение чего-то нехорошего. вредного является слишком общим⁵ и поэтому не может служить весомым аргументом в пользу признания сепаратных германо-славянских связей; кроме того, в принципе не исключено и заимствование из славянского в германский [Мартынов 1963, с. 195—198].

ВЕДРО: старосл. *ведро* ‘хорошая погода’, *ведръ* ‘ясный’, рус. *ведро*, болг. *вѣдър* ‘ясный’ — сербск. *vědar* ‘ясный’, слов. *védar* ‘веселый’, чешск. *vedro* ‘жара’ — д.-в.-н. *wetar* ‘погода’, др.-сакс. *wedar* ‘Wetter, Sturm’, др.-исл. *vedr* ‘Wind, Luft, Windrichtung, Wetter’ (первое значение, видимо, ‘погода’, дальнейшее развитие: в славянских — по пути ‘хорошая погода’ → ‘ясный’ или ‘жара’, в германских языках — по пути ‘плохая погода’ → ‘буря’ или ‘ветер’). Все же история данного слова вызывает некоторые сомнения: особенности индоевропейской морфологии заставляют предполагать в нем наличие *r*-ового суффикса, в связи с чем заслуживает внимания гипотеза В. В. Мартынова о связи прагерм. **wedra* с индоевропейским названием года (греч. (F)έτος, др.-инд. *vatsará*) и, соответственно, заимствовании из германского в славянский [Мартынов 1963, с. 56—58].

ВЕХА: рус. *веха*, ‘Ackerpfahl, Strohwischstange; Signalstange’, обычно ‘lange Stange mit einem Bündel Stroh daran’, др.-чешск. *viech*, чешск. *vich* ‘соломенный жгут’, слов. *véha* ‘ботва’, польск. *wiecha* ‘метелка’ — др.-исл. *visir* ‘Knospe, Keim, Spitze eines Gewächses’, норв. (диал.) *vise* ‘метелка, Büchsel’; норв. *visk* ‘Wisch, Bündel’, д.-в.-н. *wisc* ‘пучок, соломенный жгут’, нем. *Wisch*; др.-исл. *visk* ‘вязанка соломы, камыша’, — значительную трудность представляет отделение этих слов от ряда других, имеющих близкое значение и восходящих к похожим праформам, ср., например, лит. *viksvà* ‘осока’, сербск. *виши* ‘длинная болотная трава’, возможно тж. лат. *virga* ‘ветка, прут, розга’ и т. д. (подробнее см. [Минлос 2001]).

ВЕЩЬ: старосл. *вѣщь* ‘вещь, материя’, рус. *вещь*, чешск. *věc*, болг. *вещ* — гот. *waihts* f. ‘Ding, Sache’, *ni waiht(s)* ‘nicht’, др.-исл. *vættr* f. ‘Wesen, Wicht, Geschöpf; Geist, Gott, Göttin, Ding, Sache’, *vættki* ‘nichts’, англос. *wiht* f. ‘Wesen, Dämon, Sache’, др.-сакс. *wiht* m. ‘Wesen’, д.-в.-н. *wiht* m., n. ‘Wesen, Dämon, Ding’, — впрочем, в славянском значение уже, так что можно предполагать заимствование из германского в одном из значений, на чем настаивает, в частности, В. В. Мартынов [Мартынов 1963, с. 76—79].

[(ОУ)ГЛЬБѢТИ]: цслав. (оу)гльбѣти ‘stecken bleiben’, рус.-цслав. оугльбѣвати ‘infingere’, др.-слов. *zagołbniti* ‘stecken bleiben’, др.-польск. *uglnąć*

⁵ Для древнегерманского **balo* прощупывается инвариантное значение ‘активное зло’, ‘нечто вредоносное’. Описания славянского **bolъ*, направленные на выявление в нем того же концепта, нам неизвестны.

'infigi' — д.-в.-н. *klēben* 'kleben an', англос. *clīfian*, *cleofian* 'festhangen', д.-в.-н. *klīban* 'kleben, festhangen', др.-исл. *klifa* 'klimmen, klettern' (X. Станг считает эту этимологию не вполне убедительной по семантическим причинам).

ДРИСТАТЬ: рус. *друстать* 'Durchfall haben', *друст* 'Durchfall': болг. *дрѹскам*, сербск. *driskati* — др.-исл. *drita* 'sacare', англос. *dritan* (в славянском, видимо, **drid-t-t-* с последующим переразложением и чередованием *st/sk*). Финаль неясна. Сюда же может относиться (с метатезой) лит. *tridė*, *trieda* 'понос' [Бернекер 1913, с. 224].

[ЛОУДЪ]: болг. *луд* 'безумный', сербск. *луд* 'сумасшедший, слабоумный, глупый', *luditi se* 'sich dumm stellen', польск. *łudzić* 'täuschen, trügen, blenden, locken' — гот. *liuts* 'лицемерный, ханжеский', *liutai* 'фигляры, мошенники'. *usluton* 'irre führen', англос. *lot* 'Betrug', д.-в.-н. *lioz* 'lügnerisch'.

МОЛЬ: рус. *моль*, болг. *молец*, чешск. *mol* — гот. *malō*, др.-исл. *mōlr* 'моль', — в славянском слово относится к *i*-склонению, в германском — к *u*-склонению (но ср. такое же соотношение типов склонения между слав. **bolь* и герм. **balu-*).

СНОП: старосл. *снопъ*, рус. *сноп*, сербск. *снѹп*, чешск., польск. *snop* — д.-в.-н. *snuaba* 'повязка', *snuobili* ср. р. 'цепочка', — сюда же может быть отнесено лат. *napurae* мн. ч. 'Strohseile' (если оно существует).

(за)СТЕГНУТЬ: рус. *застегнуть*, ц.-слав. *застога* 'застежка', *остежь* 'χλαμός', чешск. *přistehnouti* 'пристегнуть', польск. *ścieg* 'стежок' — гот. *stakins* вин. п. мн. ч. 'отѹмата', д.-в.-н. *stahhula* 'жало, шип', *stehen* 'колоть', — значения 'застежка', 'одежда', 'застегивать' отсутствуют в германском, значения 'колоть', 'колючка' и т. п. — в славянском; неясными остаются отношения между этими корнями (по X. Стангу, **steg-* / **stog-*) и **stig-* 'колоть; колючий, острый' (др.-инд. *tigmás* 'острый', греч. στίξω 'колю, татуирую', д.-в.-н. *stih* 'укол' и т. д.).

[ЩИРЫЙ]: рус. *щирый* 'истинный, подлинный, прямой, откровенный', укр. *щирий* 'настоящий, правдивый, прилежный', чешск. *čirý* 'чистый', словц. *čirý*, польск. *szczery* 'чистый, искренний' — гот. *skeirs* 'ясный, явный', др.-исл. *skirr* 'чистый, ясный', ср.-в.-н. *schīr*, — сближение представляется вероятным: греч. σκίρον 'белый зонт от солнца' и алб. *hīr* 'милость божья', даже если восходят к тому же корню, в отличие от славянских и германских слов, не являются прилагательными и далеко отстоят по значению.

Одна из этимологий, включенных X. Стангом в число балто-славяно-германских, является скорее славяно-германской:

КЛАСТЬ: старосл. *класти* 'legen, laden', рус. *класть* (*кладу*), сербск. *klāsti* (*klādēm*), чешск. *klasti* (*kladu*), польск. *klásć* (*kladę*) — гот. *afslapan* 'beladen'. д.-в.-н., др.-сакс., англос. *hladan* 'laden' (лит. *klóti*, *klója* 'стелить, накрывать'. вопреки мнению X. Станга, едва ли может быть включено сюда в качестве сбли-

ср. *puč-*
puč-
← *reife*

жения, поскольку не содержит корневого *d*; ср., впрочем, лит. *sálti* 'становиться сладким' : *saldūs* 'сладкий').

Общее количество надежных германо-славянских сепаратных схождения невелико. Оно едва ли больше, чем между любыми двумя праязыками — потомками праиндоевропейского, — и число их с развитием индоевропеистики (прогрессом албанской этимологии, появлением новых анатолийских или тохарских данных, практически не учтенных в работе Х. Станга, и т. п.) может только уменьшаться. В то же время большое количество славизмов в германском и германизмов в славянском, данные археологии и этнической истории свидетельствуют о длительных и интенсивных славяно-германских контактах. Отсутствие же большого количества сепаратных схождения, демонстрирующих индоевропейские соответствия, говорит о том, что эти контакты происходили после длительного независимого развития как прагерманского, так и праславянского языков.

2. Фонологические системы славянских и германских языков: типологические параллели и контактное взаимодействие

2.1. Палатализация. Одним из важнейших комбинаторных изменений, произошедших в истории славянских языков, является палатализация. Этот процесс происходил неоднократно, затрагивая как заднеязычный, так и другие ряды. Принято отдельно выделять I, II и III палатализации, а также корреляцию мягкости. I (йотовая) палатализация была вызвана смягчением задне- и переднеязычных согласных перед йотом и последующей ассимиляцией йота. Заднеязычные претерпевали подобные изменения не только перед йотом, но и перед всеми гласными переднего ряда. II (вторичная) палатализация заключалась в палатализации заднеязычных перед новообразованными гласными переднего ряда, образовавшимися в результате монофтонгизации дифтонгов. III палатализация в отличие от двух предыдущих являлась прогрессивной. Корреляция мягкости присуща в той или иной степени всем славянским языкам, наибольшее развитие она получила в русском языке, наименьшее — в словенском и сербохорватском. Данная корреляция основана на противопоставлении палатальных и непалатальных согласных фонем и сопровождается смягчением согласных перед исконными гласными переднего ряда.

Аналогичные явления происходили и в германских языках. Во многих из них происходила ассимиляция йота предыдущим согласным. Это явление было названо *j*-геминацией, и особенно интенсивно оно происходило в западногерманских языках в дописьменную эпоху. Следует отметить, что шумные удлинялись не только перед *j*, но и перед *l*, *n*, *r*, *m*, что позволяет считать *j*-геминацию частным случаем удлинения перед сонорными, (см. [СГГЯ,

с. 65—69]; *j* отпадал после удлинённого согласного в древнеанглийском, древнефризском и древневерхненемецком. Однако в ранних древневерхненемецких памятниках спорадически встречаются формы с *j*, о чем свидетельствуют написания *minnea*, *sippea*, *enteon* наряду с более обычными *minna* ‘родня’, *sippa* ‘любовь’, *enton* ‘кончать’, см. [Braune 1955, с. 113]. В древнесаксонском *j* не отпадал. В древнеанглийском и древнефризском произошла фонологизация различия между палатализованными и непалатализованными аллофонами заднеязычных, что привело к возникновению новых фонем /*c*/, /*dz*/ (последняя фонема существовала только в древнефризском). По-видимому, на определенном этапе истории в древнеанглийском существовало фонологическое различие между старым *ll* и *ll* < **lj*. Это видно из правил веларизации переднеязычных гласных, которая действовала перед *ll*, если эта гемината не происходила из сочетания **lj*, см. [Смирницкий 1955, с. 118]. Фонема /*c*/ резко увеличила свою частотность в результате появления многочисленных заимствований из старофранцузского с фонемой /*c*/, обозначавшейся через диграф *ch*. После этого фонема /*c*/ в древнеанглийском стала обозначаться отдельной графемой — *ch*, тогда как до норманского влияния /*k*/ и /*c*/ на письме не различались. (Однако в английском руническом алфавите для палатального /*c*/ существовала отдельная руна.)

В северогерманском ареале йотация развивалась по другому сценарию. В отличие от западногерманских языков, в скандинавских *j*, также как и *w*, в ряде позиций относился не к сонорным, а к шумным. Такой вывод мы можем сделать на материале затвердения образовавшейся по закону Хольцмана геминаты **-jj-* > *gg*’ (в древнеисландской графике — *ggi*), что полностью аналогично затвердению других звонких щелевых, произошедшему еще в прагерманскую эпоху: **bb*, **dd*, **gg* > *bb*, *dd*, *gg*, см. [СГГЯ, с. 46.] Таким образом, в праскандинавском уже существовала по крайней мере одна палатальная фонема, а именно /*g*’/. Релевантность признака палатальности благоприятствовала палатализации гуттуральных во всех древнескандинавских языках в позиции перед гласными переднего ряда и *j*. *J*-геминация в праскандинавском наступала лишь в сочетаниях *gj* и — нерегулярно — *kj*: дисл. *leggja* ‘класть’ < **lagjan*, *hyggja* ‘думать’ < **hugjan*, *lykkja* ‘замок’ при *lok* ‘замок’, *knækktan* ‘разламывать’ при дшвед. *knaka* ‘разламывать’, *rek(k)ja* ‘постель’ < **rakjan*, *þekja* ‘молчать’ < **þakjan*, см. [Noreen 1923, с. 203—204]. Отпадение *j* после долгих слогов привело к фонологизации противопоставления /*k*/ : /*k*’/: *merkja* ‘замечать’, /*merk*’a/ < **markjan*, но *orka* ‘сила’, /*orka*/ < **urko*. Противопоставление палатальных и заднеязычных в его новом виде нейтрализовывалось в пользу последних в позиции перед согласным и концом слова: gen. sg. *bekkjar* — nom. sg. *bekkr*, acc. sg. *bekk* ‘скамья’, inf. *merkja* — praet. *merkti* ‘замечать’. Поэтому корректнее было бы говорить о палатализованных задне-

язычных в праскандинавском, а не об отдельном ряде палатальных. Никаких следов корреляции палатализации, обусловленной йотом, в других рядах не обнаружено. Тем не менее заметим, что в праскандинавском нейтрализовывалась оппозиция $Cj : C > C$ в тех же позициях, где нейтрализовывалась корреляция палатализации, ср. inf. *skilja* 'понимать' — 1 sg. pres. *skil*, 2, 3 sg. pres. *skilr*. (О палатальных сонорных в скандинавских диалектах см. ниже.)

Таким образом, йотовая ассимиляция либо вообще не приводила к появлению палатальных фонем, как в древневерхненемецком и древнесаксонском, либо они возникали при уже существующих палатальных фонемах, как в праскандинавском, либо палатализация захватывала лишь гуттуральный ряд, как это случилось в древнеанглийском, а впоследствии и в древнефризском. Если абстрагироваться от данных древнеанглийского, фонологическая система которого характеризовалась целым рядом особенностей и носила явно периферийный характер, материал остальных древнегерманских языков показывает инертность по отношению к йотовой палатализации. Это можно объяснить лишь тем, что фонема /j/, как правило, не вызывала появления палатального аллофона у предыдущего согласного. Наоборот, в праславянском палатальные аллофоны появлялись у всех передне- и заднеязычных фонем.

Согласно 4-му из положений диахронической фонологии, сформулированных М. И. Стеблиным-Каменским, «при ассимиляции по определенному признаку ассимилируется та фонема, для которой данный признак иррелевантен, и наоборот», см. [Стеблин-Каменский 1966, с. 23]⁶. Данное положение вызвало критику со стороны В. К. Журавлева, указавшего, что ассимиляция может происходить и по признаку, релевантному для ассимилируемой фонемы, ср. рус. *собирать* — [зб]ор, *разорвать* — ра[сн]устить, см. [Журавлев 1986, с. 66]. Однако идея самого В. К. Журавлева о том, что «на месте ассимиляции должно выступать фонологическое понятие нейтрализации», не отвечает на поставленный вопрос, поскольку ассимиляция иногда не свидетельствует о нейтрализации какой-либо оппозиции, а именно в тех случаях, когда ассимиляция происходит по признаку, иррелевантному для ассимилируемой фонемы, ср. швед. диал. *rt > rʃ* при отсутствии фонемы /ʃ/. В данном случае о нейтрализации речь может идти лишь после появления оппозиции /t/ : /ʃ/, таким образом, нейтрализация является следствием ассимилятивных процессов,

⁶ На основании данного постулата М. И. Стеблин-Каменский выдвинул оригинальное объяснение причин ассимиляции *rt > rʃ* в шведских и норвежских диалектах. Появление альвеолярного аллофона *t*, обусловленного предыдущим *r*, и его отсутствие в русском *rt* вызвано, согласно автору, тем, что альвеолярность, иррелевантная для русского /r/, релевантна для /r/ в скандинавских диалектах, где оно противопоставлено какуминальному одноударному /r/ см. [Стеблин-Каменский 1966, Кузьменко 1978, с. 81—82.]

их же первопричину следует искать именно в признаке, по которому происходит ассимиляция.

Ассимиляция может происходить по признаку, лежащему в основе привативной оппозиции (один из членов которой вызывает ассимиляцию у соседней фонемы в синтагматической цепи). Если мы обратимся к вопросу о палатализации, то можем увидеть, что до I палатализации в праславянском уже существовала привативная оппозиция $/*k/ : /*k'/$, см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984, с. 112]. Фонема $/*s/$, произошедшая из $/*k'/$, не подвергалась веляризации после i, u, r, k , что свидетельствует о том, что на определенном этапе существования праславянского языка в нем существовала оппозиция $/*s/ : /*s'/$, основанная на противопоставлении непалатального согласного палатальному⁷, см. [Бернштейн 1961, с. 154, Ebeling 1963, с. 28]. Релевантность признака палатальности в праславянском и привативность оппозиции палатальности могли создать предпосылки для последующих палатализаций. На этом основании мы рискуем предположить, что признак палатальности в праславянском не возник после йотовой ассимиляции, а сохранился еще с позднеиндоевропейского периода, в то время как в прагерманском, относившемся к языкам группы *kenum*, предпосылок для фронтальной йотовой палатализации не существовало. Данное решение не позволяет решить всех проблем, связанных с объяснением возникновения аллофонов в определенной позиции, — как будет показано ниже, одних внутрисистемных данных может оказаться мало — однако оно указывает на тот максимум, которого может добиться фонолог, изучающий развитие того или иного явления с опорой лишь на внутреннюю реконструкцию.

Наиболее полное описание палатализации в германских языках дано в работе П. Торссона, см. [Thorsson 1950]. В начале своей статьи автор представляет очерк, посвященный фонетическому объяснению процесса палатализации. Далее читателю предлагается общее описание палатализации в германских языках, которое начинается с обсуждения готского материала. Автор относит интервокальную геминату, обозначавшуюся как *ddj* и относившуюся к рефлексам закона Хольцмана, к палатальным фонемам, отмечая, что следов палатализации у других согласных не обнаружено. Далее описывается палатализация в древнефризском, древнеанглийском и средненижненемецком. П. Торссон приводит убедительные примеры, показывающие, что вторичная палатализация заднеязычных существовала в английском до XIX в., ср. написания *cyan, gyet, begyin* — совр. англ. *can, get, begin*. Затем автор весьма по-

⁷ Возможно, слияние $/*s/$ с $/*s'/$ и $/*z/$ с $/*z'/$ было вызвано затвердением $/*s'/$ и $/*z'/$ в результате появления новых палатальных фонем $/*s'/$ и $/*z'/$, ср. аналогичное затверждение $/s/$ и $/z/$ в русском без слияния с $/s/$ и $/z/$, см. [Колесов 1980, с. 152].

дробно описывает историю палатализации в скандинавских языках от древнего периода до наших дней. Особое внимание привлекают материалы датских диалектов, где происходила депалатализация, результатом которой явилась реституция непалатальных фонем, ср. ддат. *kjende, gjøre* > дат. *kende, gøre*, ср. также гиперкорректный пример лол. *kæne* из *tjena* ‘служить’ (с. 366). В конце своей статьи П. Торссон приводит краткий очерк развития палатализации в славянских языках. Из исследования П. Торссона следует, что большинство германских диалектов с палатализацией *k* и *g* относились к двум основным ареалам — североскандинавскому и «ингвеонскому», к которому примыкают южно- и западнодатские диалекты.

Существуют работы, посвященные палатализации заднеязычных в отдельных языках, см. [Kristensson 1976, Penzl 1947, Lasch 1939, Кузьменко 1971.] Также заслуживают внимания статьи, в которых изучаются отдельные аспекты палатализации. В статье [Кузьменко 1968] на материале скандинавских диалектов показывается, что палатальные аффрикаты стабильны лишь при наличии спирантов того же ряда образования, в ином случае они дезаффрицируются. Тезис Ю. К. Кузьменко подтверждается данными славянских языков, в которых рефлексy I палатализации дезаффрицируются при условии отсутствия гоморганного щелевого, ср. **g* > **dž* > **ž*, но **k* > **č* при **x* > **š*. Заметим, что рефлексy сатемной палатализации во всех славянских языках представлены как спиранты, что свидетельствует о том, что они были первыми палатальными фонемами в праславянском. Достояны упоминания и другие работы того же автора, в которых затрагивается тема палатализации сонорных в скандинавских диалектах, см. [Кузьменко 1973, Кузьменко 1978]. Как известно, праскандинавские /л/ и /пн/ во многих современных диалектах обнаруживают палатализованные рефлексy. В ряде диалектов противопоставление палатализованных и непалатализованных выполняет морфонологическую функцию, различая, соответственно, мужской и женский рода, ср. борн. м. р. /slawin'/ : ж. р. /slawen/ — дисл. *sleginn* : *slegin*, прич. II от *slá* ‘бить’, борн. м. р. /gam:al'/ : ж. р. /gam:al/ — дисл. *gamall* — *gømul* ‘старый’ [Кузьменко 1978, с. 76—77]. В данных диалектах морфологическая маркированность палатальных⁸ сопровождается их фонологической маркированностью, что видно из нейтрализаций перед дентальными смычными, где появляется немаркированный член противопоставления, ср. борн. м. р. /fol':er/ : ср. р. /folt/ ‘полный’, м. р. /san':er/ : ср. р. /sant/ ‘правдивый’. В диалектах, где различие между мужским и женским родами утрачено, маркированным оказывается непалатализованный член оппозиции, ср. юдат. общ. р. /fi:n/ : ср. р. /fin't/ ‘прекрасный’, общ. р. /ha:ler/ : ср. р. /hal't/ ‘косой’. В данном случае фиксируется веля-

⁸ Маркированным является мужской род, ср. дисл. м. р. *gulur* : ж. р. *gul* ‘желтый’.

ризованность непалатального *l*, а также тенденция к замене противопоставления *l' : l'* на *l' : l*. В отношении истории палатализации *ll* и *nn* автор сразу отмечает гипотезу о ее происхождении из *lj* и *nj*: ассимиляция *lj > ll, nj > nn* не приводила к появлению палатализованных согласных, ср. норв. диал. /vep':e/ — др.-исл. *venda* 'поворачивать', но норв. диал. /vep:e/ — др.-исл. *venja* 'приучать'. Также критически было оценено предположение о происхождении палатализации в результате ассимиляции палатального */*R/ lR > ll, nR > nn* на том основании, что палатальность не была релевантной для */*R/*⁹. Ю. К. Кузьменко склонился к просодическому происхождению данной палатализации¹⁰. Однако ввиду того, что впоследствии данный автор отказался от теории о древности акцентов в скандинавских языках (см. [Кузьменко 1991, с. 146]), мы считаем правомерным реабилитировать гипотезу о происхождении палатализации из **lR, *nR*. В пользу данного предположения свидетельствует то, что, как и *R, nn* и *ll* оказывали влияние на предыдущий гласный, см. примеры выше, также [Brøndum-Nielsen 1950, с. 195]. На наш взгляд, палатальность, обусловленная неполной ассимиляцией *R*, закрепилась благодаря морфонологической нагрузке, о чем свидетельствует факт ее стабильности в говорах, где она сохраняет эту функцию.

2.2. Сегментная просодика. Традиционно термины «супрасегментный» и «просодический» считаются синонимами. Для того, чтобы устранить разночтения, мы начнем раздел с определения данного понятия: «Слоговые акценты и тоны — это супрасегментные просодические единицы, которые как бы накладываются на сегментную последовательность фонем. Существуют, однако, и сегментные просодические различия — это различия, определяющиеся взаимоотношением двух основных составных частей слога гласного и согласного (VC). Эти различия связаны с типом соединения гласного и согласного (слогоделения, способ примыкания) и с временным соотношением гласного и согласного в комплексе VC» [Кузьменко 1991, с. 8—9].

Проблема слога занимает особое место не только в сравнительной грамматике германских языков, но и в общей теории языка. До сих пор понятие слога не имеет общепринятого определения, хотя его реальность осознается не только исследователями, но и носителями языка. В большинстве монографий, где основное внимание уделяется проблеме слога, содержится разбор основных теорий слога. Истории изучения данного вопроса посвящена статья венгерского лингвиста Дьюлы Ласициуша, см. [Laszicius 1966]. Автор рассматривает теории скандинавских, английских и немецких лингвистов с

⁹ Палатальный характер **R* доказывается палатальной перегласовкой предыдущего гласного, см. [Noreen 1923, с. 66.]

¹⁰ О связи палатализации *l* с тоном в кетском см. [Вернер 1979, с. 282].

XIX в. по 60-е гг. XX в. В заключение автор констатирует, что при всех их достоинствах разобранные теории не отвечает на все вопросы и не решают всех проблем, связанных с определением физических и лингвистических коррелятов слоговых границ.

Существующие методики определения слога, исходящие из правил фонотактики, основаны на поисках общефонетических и фонологических закономерностей, определяющих место слогораздела. В работе [Потапова 1986] представлено экспериментально-фонетическое исследование слога и слоговой границы, ее связи с длительностью, примыканием и фразовой просодикой. В данной монографии рассматривается материал языков со слоговым равновесием (шведский и норвежский) и с корреляцией контакта (английский, немецкий, голландский и датский). Согласно данным, полученным Потаповой, в современных германских языках представлены различные типы количественной организации слога в одно- и двусложных словах. В английском и шведском представлена компрессия длительности гласного в дисиллабах по сравнению с моносиллабами, в датском, немецком и голландском существует прямо противоположная тенденция, норвежский относится к смешанному типу, см. с. 43—44. В целом временной компрессии, согласно автору монографии, больше подвержены согласные, чем гласные. (Это согласуется с историческими данными — в языках, где происходит переход к корреляции контакта, сокращаются все долгие согласные и лишь в отдельных случаях — долгие гласные, определение понятия «корреляция контакта» см. ниже.) Кроме того, автор рассматриваемой монографии приходит к выводу о том, что в германских языках существует лишь один тип примыкания — сильный, те же различия, которые традиционно приписываются противопоставлению слабого и сильного примыканий, относятся исключительно к предшествующему гласному, с. 92. Потапова признает, что при краткости гласного слоговая граница проходит либо по следующему за ним согласному, либо после него, см. с. 96. Заслуживают упоминания и сведения о зависимости примыкания от фразовой интонации. Так, в датском языке в общевопросительных предложениях происходит ресиллабация слогоконечного согласного в двусложных словах: CVC-V > CV-CV. Такое явление характерно только для датского, где степень примыкания согласного к гласному более слабая, чем, например, в английском языке, где такое явление не зафиксировано. Особо стоит отметить результаты экспериментов по временному квантованию и сегментации речевого потока, проведенные на носителях английского, немецкого и русского языков. В ходе данных экспериментов было установлено, что речь на одном из германских языков по-разному разбивается на слоги носителями данного языка и русскоязычными информантами — последние зачастую слышат открытый слог там, где немец или англичанин постулируют закрытый, что неудивитель-

но, поскольку закрытые слоги практически не свойственны русской речи, см. с. 98—101.

Последнее замечание свидетельствует о том, что использование инструментальных методов для поисков универсальных правил слогоделения в каждом конкретном языке в принципе не может дать искомого результата, поскольку в данном случае не учитываются фонологические и морфологические факторы, проявляющиеся только в лингвистической интуиции носителей языка. Однако именно решение проблемы дискретизации речевого потока на слоги с опорой на интуицию информантов помогает нам вскрыть языковое содержание слогоделения. Подобный подход наиболее четко выражен в уже упоминавшейся монографии [Кузьменко 1991] где представлена оригинальная точка зрения на проблему слогоделения, которая рассматривается не столько в свете фонетических и фонологических реалий, сколько в связи с морфологическим типом языка. Современные германские языки разбиты автором на группы в зависимости от их типа сегментной просодики, который обнаруживает прямую или опосредованную связь с грамматической системой данного языка. Всего автором выделено 4 просодических типа:

Моросчитание — существуют длинные и краткие ударные слоги, слогоделение не связано с количественной структурой слога, слова типа CVCV имеют открытый слог, см. с. 13—15, 30. Все древнегерманские языки были моросчитающими, однако в настоящее время он представлен лишь в наиболее архаических диалектах Швеции и Норвегии, а также в швейцарских диалектах немецкого языка.

Изохрония — все ударные слоги длинные. В словах типа CV:CV первый слог всегда открытый, в словах типа CVC:V слогораздел зависит от типа примыкания гласного к согласному. Наиболее распространена та точка зрения, согласно которой слогораздел в этих словах проходит посреди геминаты (с. 35—36). Изохрония характерна для всех скандинавских языков, кроме датского, а также для ряда баварских и алеманнских диалектов немецкого.

Корреляция контакта — различаются открытые и закрытые слоги, последние требуют краткости слогообразующего гласного. Одна из особенностей данного типа языков — отсутствие геминат (за исключением морфемных швов, ср. англ. *penknife* [pen'aif] 'перочинный нож'), см. с. 59—64. Обычно выделяется 2 типа примыкания — плотный и свободный контакт. В датском корреляция контакта осложнена корреляцией толчка, что приводит к четырехчленной схеме: сверхсвободный контакт *havet* [ha'vəd] 'море (опр.)', свободный контакт *kane* [ka'nə] 'сани', плотный контакт *falde* [falə] 'падать', сверхплотный контакт *falder* [fal'əR] 'падает'. Корреляция контакта отмечается как для датского, так и для всех западногерманских языков.

Силлабоморфемность — полное совпадение слоговых и морфологических границ, сопровождающееся апокопой безударных слогов, а также воз-

никновением тональных различий, несущих грамматическую функцию. В связи с этим весьма показательны высказывание датского диалектолога Б. Нильсена, который, описывая слоговоеделение в одном из ютландских диалектов, пишет, что «в безударных слогах нет слогоначальных согласных» (разрядка Ю. К. — А. М.), ср. *o-n-i*, дат. литер. *orne* [o-nə] ‘боров, кабан’, с. 119. Такой тип сегментной просодики разительно напоминает строение силлабемы в слогоморфемных языках Юго-Восточной Азии и Африки. Ю. К. Кузьменко отмечает, что силлабемность является не правилом, а тенденцией, наиболее сильно проявляющейся в ютских и южнодатских диалектах, а также в рейнско-франкских диалектах немецкого языка.

Основной заслугой авторской концепции Ю. К. Кузьменко является установление связи между характером слоговогоделения и грамматическими тенденциями, преобладающими в германских языках. Таким образом, проблема слоговогоделения была выведена за рамки фонетико-фонологических исследований. Кроме того, были приведены к общему знаменателю факты из таких разных языковых типов, как флективный и изолирующий.

В связи с этим стало очевидным, что корректное разрешение проблемы слога и слогораздела должно осуществляться с учетом функции слоговогоделения в отдельно взятом языке. Если квантование речевого потока на слоги свойственно всем языкам, то сегментация речи на слоги, по-видимому, оправдана именно в тех языках, где слогораздел имеет функциональную нагрузку. Обычно лингвисты признают универсальным именно открытый слог, см. [Златоустова, Потапова, Трунин-Донской 1986, с. 67—68.] и постулируют тенденцию к восходящей звучности в качестве принципа построения инициали слога. В языке, где слогораздел иррелевантен, слогораздел производится по принципу открытых слогов, там же, где он релевантен, слоговоеделение прямо не зависит от сегментного базиса. Однако в языках с закрытыми слогами существует тенденция к вокализации слоговой финали, см. [Кузьменко 1991, с. 214—217, 223]. Подобные явления характерны и для слогоморфемных языков Африки и Юго-Восточной Азии, см. [Кузьменко 1991, с. 241].

В аналитических германских языках с корреляцией контакта тенденция к закрытому слогоразделу проявляется лишь в одном фонологическом контексте, а именно в словах типа CVCV (? CV-CV). Для развития морфологически связанного слоговогоделения необходима стратегия акцентного выделения корня на фоне аффиксов; ср. французский язык, где такой стратегии нет и аналитическая морфология, но не сопровождается корреляцией контакта. Тем самым, сегментная и супraseгментная просодика связаны не только между собой, но и с морфологическим уровнем языка.

В отличие от германских языков, в славянских просодика не так жестко детерминирована морфологически. С одной стороны, в славянских языках не

действует правило акцентного выделения корня, соответственно — с другой стороны — слогораздел в целом не обнаруживает зависимости от морфологических границ.

В монографии [Лекомцева 1968] содержится описание слоговых структур во всех славянских языках с позиций фонологического подхода. Анализируя фонемный инвентарь каждого языка в терминах различительных признаков классификации Якобсона, автор формулирует понятие слога как «последовательность фонем, при котором каждые следующие друг за другом фонемы имеют признаки, связанные друг с другом», с. 50. Доказательства производятся с использованием сложного логико-математического аппарата. М. И. Лекомцевой устанавливаются две ядерные слоговые структуры: CV и SVC. Последняя наличествует только в русском, белорусском, верхнелужицком и словенском. Обращает на себя внимание тот факт, что в белорусском гласные *e*, *o* и *i*, которые встречаются только в слогах типа SVC, относятся к напряженным. Заметим, что ряд лингвистов также приписывают гласным закрытого слога в германских языках признак напряженности [Кузьменко 1991, с. 84]. В целом Лекомцева отмечает, что выделенные ею типы соответствуют интуитивному делению на слоги за исключением случаев конца слова, оговоренных отдельно. Этот факт вызывает у нас сомнение, поскольку, например, литературному русскому языку закрытые слоги не свойственны, см. [Бондарко 1977, с. 137].

В работе [Калнынь, Масленникова 1985] содержится описание слогораздела в сочетаниях из двух и более согласных на материале говоров из различных диалектных зон славянского ареала. Этой же теме посвящена статья [Касаткин 1995]. Согласно данным Л. Л. Касаткина, в севернорусских диалектах, где шумные противопоставлены по напряженности/ненапряженности, существует сильное примыкание 1-го члена консонантного кластера к гласному, при этом данный согласный является фонетически долгим. Это приводит к тому, что последовательность VCCV, содержащая открытый слог в большинстве русских диалектов (V-CCV), сегментируется носителями севернорусских диалектов иначе — VC-CV. Эти данные представляют определенный интерес для германистики. Как известно, большинству германских языков практически не свойственна корреляция звонкости: оппозиция звонких и глухих не нейтрализуется в английском, шведском и норвежском, в исландском, датском и фарерском противопоставления в системе шумных основаны на признаках напряженности и придыхания, в немецком смычные противопоставлены как по звонкости, так и по напряженности. В голландском и фризском корреляция звонкости осложнена аспирацией начальных глухих смычных. Это ставит вопрос о соотношении напряженности поствокалического согласного, его долготы и положения, занимаемого им относительно слоговой границы. Данная проблема особенно актуальна для датского языка, в котором

становление корреляции контакта происходило одновременно с так называемым датским передвижением согласных, в результате которого смычные стали противопоставляться по признаку напряженности. К сожалению, на данный момент проблема взаимоотношения типа слогоделения и корреляций в системе шумных остается практически не изученной¹¹.

Как известно, фонологический подход к решению проблемы слога страдает одним существенным недостатком — он заставляет постулировать один определенный тип слогоделения для каждого конкретного базиса. При этом может не учитываться интуиция носителей языка, а также влияние на слогораздел морфологических ассоциаций, фразовой просодии и т. п. Это свидетельствует лишь о том, что фонологические правила слогоделения не являются жестко детерминированными, допуская влияние других факторов при определении слоговой границы. В статье [Винарская, Лепская, Богомазов 1977] представлен материал экспериментов с детьми в возрасте от 2 до 10 лет, которым предлагалось разделить на слоги ряд слов. На основании полученных данных авторы пришли к выводу о том, что дети разного возраста используют разные модели слогоделения. Дети самого младшего возраста делят слово на открытые слоги, исходя из правила восходящей звучности. Потом, по мере освоения грамоты, появляется морфологический принцип слогоделения по принципу закрытых слогов. В обеих моделях слоговая граница четче фиксируется в начальной части слова, которая динамически выделена сильнее, чем конечная часть слова. В языке старшей возрастной группы информантов функционируют различные слоговые модели, из чего авторами статьи делается вывод о поливалентности слогоделения в естественном языке, что объясняет все многообразие теорий слога в современной лингвистике. На наш взгляд, вывод авторов статьи наиболее приемлем если не для всех типов языков, то для тех, в которых слогоделение не испытывает сильного давления со стороны морфологической системы, что имеет место в слогоморфемных изолирующих языках и приближающихся к данному типу языков с корреляцией контакта.

2.3. Супрасегментная просодика (акцентуация). В данном разделе затронута проблема германской акцентуации и ее истории. Обусловленно это тем, что исследования по славянской акцентологии давно вышли за пределы

¹¹ Следует обратить внимание на тот факт, что из всех славянских языков типологически наиболее близкими к германским оказываются севернорусские диалекты. Помимо корреляции напряженности такое сходство подтверждается неосуществлением II (вторичной) палатализации и слабым развитием корреляции мягкости, см. [Зализняк 1995, с. 37. Колесов 1980, с. 140]. Тем не менее, данные из пиджина *russenorsk*, которым пользовались норвежские моряки и поморы (см. ниже), показывает, что сходство не было абсолютным.

материала славянских языков. Возрос интерес представителей славистской акцентологической школы к акцентуации других индоевропейских языков, в частности германских. Это способствует как сравнительно-историческим, так и типологическим исследованиям в рассматриваемой области, что мы попытались отразить в своей работе.

Большинство германских языков относятся к моноакцентным языкам. В исконных словах ударение ставится на корень, заимствования зачастую сохраняют место ударения языка-источника. Исключение составляет исландский, в котором заимствования могут иметь только начальное ударение, см. [Мельников 1997]. Также отмечаются колебания между начальным и нена начальным ударением в немецком, см. [Schmidt 1981], также [Попов 1986], где представлено контрастивное исследование ударения в русском и немецком с анализом акцентуационных ошибок русских студентов, изучающих немецкий язык. Наибольший интерес представляет акцентуация скандинавских языков. В шведском и норвежском языках отмечается наличие двух акцентов — акцент I (акут) и акцент II (гравис), а также циркумфлекс, наблюдающийся, в основном, в апокопированных словах и имеющий контур акцента I или акцента II. Традиционно считается, что акцент I присущ словам, бывших односложными в древнескандинавскую эпоху, акцент II — наоборот — у исконно дву- и многосложных. Описания данной системы ударения содержатся в работах [Кацнельсон 1966, Gårding 1978, Liberman 1982, Кузьменко 1991].

Изучению акцентного противопоставления акцент I : акцент II посвящено исследование шведского фонетиста Энгстранда, см. [Engstrand 1995]. В работе представлено фонетическое исследование обоих акцентов и их поведения во фразе. Слова с акцентом I содержат один пик основной частоты (F₀), располагающийся в ударном слоге. Слова с акцентом II содержат два пика — в ударном и безударном слогах. При этом отмечается, что пик в словах с акцентом I и второй пик в словах с акцентом II определяются фразовой акцентуацией и исчезают в безударной позиции во фразе. Первый пик в словах с акцентом II стабилен и не зависит от фразового ударения.

Существует много фактов, свидетельствующих о связи начального акцента II с акцентом I на первом слоге:

а) колебания в заимствованиях, ср. швед. *tele`fon* / *tel:efon* ‘телефон’, *a`vis* / *av:is* ‘газета’, см. [Клычков 1966, с. 297, Кацнельсон 1966, с. 41];

б) метатония акцент I > акцент II: ранненшвед. *al`drig* ‘никогда’, *fi`ende* ‘враг’, *hed`ning* ‘язычник’, *sa`lat* ‘салат’, *lappe`ri* ‘пустык’ > ншвед. *aldrig*, *fiende*, *hedning*, *sallat*, *lappri*, см. [Noreen 1907, с. 296—298];

в) колебания в сложных словах, ср. *gud`fruktig* / *gudfruktig* ‘набожный’;

г) глагольные синтагмы, ср. норв. диал. *gikk`inn* ‘вошел’, *tar`med* ‘берет с собой’ — норв. литер. *gikk inn*, *tar med*, см. [СГТЯ, с. 188, Gårding 1978,

с. 23], швед. *Lars 'Emil* / *'Lars Emil* (имя собст.), *bra 'nog* / *'bra nog* 'довольно хорошо', см. [Noreen 1907, с. 252].

В связи с этим интересны показания информантов-носителей норвежского языка, которые в словах с акцентом I ставили ударение на первый слог, слова с акцентом II вызывали у них затруднение, см. [Liberman 1982, с. 9]. В целом исследователи сходятся на том, что в словах с акцентом II последний слог динамически выделен сильнее по сравнению с акцентом I.

В диалектах, сохраняющих моросчитание, привязка акцента к определенному слогу в исконно двусложных словах типа CVCV вызывает еще большие затруднения. В этих словах наблюдается особая акцентная структура — так называемый равновесомый акцент (швед. *jämnviktaccent*, англ. *level stress*). В словах CVCV оба слога характеризуются равным распределением интенсивности и тона. Данный тип представляет собой реликтовое явление, об исчезновении равновесомого акцента см. [Hovda 1954]. Иногда он может сменяться конечным ударением (окситонезой), реже — начальным ударением (баритонезой). В норвежском говоре вого, наиболее архаичном из всех скандинавских континентальных диалектов, краткосложники имеют равновесомый акцент в изолированном положении и в срединной позиции во фразе (*-bæta* 'кусать'), в начале фразы и при эмфазе слово, удлиняя первый слог, получает акцент II (*'be-ta*), перед паузой — акцент I (*be'ta*), см. [Christiansen 1954, 195]. В ряде диалектов равновесомый акцент сменяется акцентом II с удлинением второго или обоих слогов, ср. туддальс. *'skröve* < *skrifá* 'писать', *'bete* < *biti* 'кусочек', весттелем. *'vi-ka* < *vika* 'неделя', *'ve-ra* < *vera* 'быть', *'ga-ma-le* < *gamli* 'старые' при *gamall* 'старый'¹², см. [Christiansen 1954, 196]. Однако в отдельных случаях равновесомый акцент сохраняется даже при удлинении одного из слогов, см. [Кузьменко 1991, с. 22.]

Ударение можно трактовать как характеристику, приписываемую одному из слогов слова, либо как характеристику, приписываемую целому слову. Акценты в шведском и норвежском описывались и как слоговые, и как словесные, см. обзор дискуссии в [Кацнельсон 1966, 14—19, Кузьменко 1991, 37—39]. Од-

¹² Удлинение двух слогов при утрате моросчитания зафиксировано в древн. ср. **dabaru* 'слово' > *dā'bār*, см. [Дьяконов 1967, с. 376]. Сходный процесс мог действовать в начале истории германского языка идиш в XI—XIII вв., в период интенсивного освоения его носителями субстратной западнославянской лексики. С учетом этого пралужицкая односложная форма **nemč* 'немец' может, несмотря на возражения Х. Шустер-Шевца [Schuster-Šewc 1991: 199], рассматриваться в качестве источника двусложной формы ид. *nemes* 'тж.'. Однако это обстоятельство, вопреки П. Векслеру [Wexler 1991a: 217], не доказывает, что ид. *nemes* непременно возникло путем просодического растяжения: источником заимствования вполне могла послужить двусложная форма одного из восточно- или западнославянских диалектов.

нако нетрудно заметить, что ударение выполняет как слововыделительную, так и слоговыделительную функции. Исключение из данного правила представляют так называемые энклиномены. Под понятием «энклиномен» понимаются схожие, но различные по своему содержанию сущности — просодически невыделенная словоформа (которая в позиции во фразе примыкает к тактовой группе ближайшей ортотонической формы, классический пример — энклиномены в праславянском, см. [Дыбо 1981, с. 52]) или словоформа без просодически выделенного слога. Рассмотрим характер кульминативной функции каждого акцента. Акцент I выполняет обе функции. Наоборот, акцент II, несущий слововыделительную функцию, не позволяет нам однозначно определить привилегированный слог ввиду того, что последний (безударный) слог получает некоторое динамическое усиление. Данная особенность характеризует акцент II во всех скандинавских диалектах, имеющих акценты, см. [Liberman 1982, с. 193]. Это подтверждается и чередованием акцента II с акцентом I на первом слоге. Главной привилегией ударного слога в словах с акцентом II является долгота, что не позволяет нам отнести данный акцент к показателям энклиномичности. Однако в исконно двусложных словах, где долгота не установилась, налицо все признаки энклиномичности второго типа. Вопрос о соотношении обоих типов энклиноменов представляется достаточно сложным, однако их близость несомненна. Из приведенного выше описания акцентуации двухсложных краткосложников в говоре Вого следует, что наличие равновесного акцента в словах данного типа связано с фразовой безударностью, ср. также нотацию шведского диалектолога Л. Левандера *sumi 'karl* 'тот же мужчина', где слово с равновесным акцентом (*sumi*) не имеет знака фразового ударения, см. [Кацнельсон 1966, с. 49]. Заслуживает внимания и тот факт, что равновесный акцент зачастую реализуется как ровный низкий тон — такая же тональная характеристика была и у праславянских энклиноменов, состоявших из «низкотональных» морфем, см. [Дыбо 1978, с. 57]. Энклиномический характер равновесного акцента еще не изучено полностью, пока же мы можем констатировать, что энклиномичность следует рассматривать как градуальную характеристику, полюсами которой являются фразовая энклиномичность и слоговыделительный акцент ортотонических форм.

Акцентная система датского языка в целом очень сильно напоминает акцентуацию в шведском и норвежском. Аналогом акцента I в датском выступает толчок (дат. *stød*), противопоставленный отсутствию толчка, см. [СГГЯ, с. 193—200, Кацнельсон 1966, с. 116—137, Liberman 1982, с. 50—79, Кузьменко 1991, с. 73—79.] Связь толчка с бывшим количеством слогов побудила ряд исследователей трактовать корреляцию толчка как просодию исконно односложных слов, превратившуюся в показатель слогаделения [Кузьменко 1991, с. 76, 205—207] или морфемного сандхи [Циммерлинг 2000, с. 7]. Отличие датской акцентуации от североскандинавской заключается в том, что оп-

позиция «толчок : отсутствие толчка» не нейтрализуется в односложных словах, ср. *hun* ‘собака’ : *hun* ‘она’. Основную массу односложных слов без толчка образуют бывшие краткосложные слова, ср. *ven* ‘друг’ < *vinr*, *led* ‘калитка’ < *hlid*. Подобная особенность датской акцентуации обусловлена тем, что, по-видимому, корреляция контакта наступила еще до полного исчезновения краткосложности. Отсутствие толчка в неудлинившихся краткосложниках связано с тем, что минимальной единицей, способной нести ударение, являлся биморный базис¹³. Толчок, неразрывно связанный с ударением, не мог проявляться на одноморном базисе. Несмотря на то, что датский сохранил следы акцентной инертности старых краткосложников, не следует считать акцентуационную систему датского литературного языка архаичной. Помимо того, что датский относится к языкам с корреляцией контакта, просодия в датском в целом отражает не столько результат естественного развития языка, сколько продукт деятельности создателей литературной нормы. В монографии [Skautrup 1947] описывается ситуация фонологической амбивалентности долготы, явившейся результатом смешения в литературном языке XVI—XVII вв. различных диалектных норм, а также влияния книжного произношения, см. с. 332—333. Там же приводится сравнение литературной нормы, отраженной словарями Мота и Понтопидана, между которыми обнаруживаются существенные расхождения в акцентуации одних и тех же слов. Этой теме посвящена статья [Циммерлинг 1999с], где обсуждается амбивалентность долготы в датском XVII в. Стабилизация датской нормы, относящаяся к началу XVIII в., явилась результатом деятельности грамматистов и распространения книгопечатания, см. [Skautrup 1947, с. 320—321]. Однако уже с XIX в. датский литературный язык обнаруживает тенденцию к сокращению долгих гласных, см. [Кузьменко 1991, с. 228, Brink, Lund 1975, с. 221.] Наиболее подвержены сокращению базисы на *V + r, g, v, ð* (именно эти согласные больше всего стремятся к вокализации). Сокращение слога приводит к перемещению толчка на согласную либо к его исчезновению, ср. *haʷv* ‘море’ > *hau*, но *liʷv* ‘жизнь’ > *liu*. При этом, заметим, датские лингвисты не отмечают никакого просодиче-

¹³ Равновесный акцент свидетельствует о генерализации правила долготности ударного базиса, являясь таким образом побочным продуктом перехода от моросчитания к изохронии. Возможно, в датском и западногерманских языках, где слоговому равновесию не удалось закрепиться, данное правило не смогло генерализоваться. Это подтверждается материалом моросчитающих баварских говоров, где в словах типа CVCV нет равновесного акцента, а конечный гласный редуцирован, см. [Кузьменко 1991, с. 28—29, 31]. Здесь будет уместным предположение о том, что отсутствие правила двуморности ударного базиса благоприятствовало становлению корреляции контакта, и наоборот. Таким образом, линейный характер схемы моросчитание > изохрония > корреляция контакта должен быть пересмотрен.

ского различия между словами, обнаруживающими сокращение, и словами, сохраняющими долготу. Недавно появилась гипотеза, в которой отстаивается другая точка зрения, а именно связь новодатского сокращения долгот с индоевропейской акцентуацией. Ее автор — славист С. Л. Николаев — разбил датские односложные слова на два класса в зависимости от долготы/краткости корневой гласной: к первому классу были отнесены долговокалические слова, ко второму — «слова с сокращенным долгим гласным (и *stød*’ом на ауслатном сонанте) и с неудлиненными краткими гласными (первоначально без *stød*’а на ауслатном сонанте)», см. [Николаев 1993, с. 83]. При этом осталось непонятным, по какому принципу в первый класс попали слова *hjort* [hjoRt] ‘олень’, *sølv* [sölv] ‘серебро’, *værk* [værk] ‘дело, работа’, не имеющие ни толчка, ни долгого гласного. Автор на основании внешнего сравнения попытался доказать, что в первый класс входят слова, восходящие к индоевропейскому «высокотональному» классу, второй класс в датском отражает «низкотональный» класс. Однако, на наш взгляд, предоставленный С. Л. Николаевым материал недостаточен для подобных выводов. Больше всего сомнений вызывает второй просодический датский класс, где краткость зачастую обусловлена позднейшими процессами. Из него следует исключить примеры:

6. *sej* [sai] ‘вязкий, упругий’, 7.—8. *høj* [høi] ‘высокий’ и ‘холм’: на данных базисах еще в древнедатский период произошла вокализация *g*, приведшая впоследствии к дифтонгизации гласного, на дифтонгах же толчок может стоять только после глайда, см. [Стеблин-Каменский 1953, с. 137, 140, Brøndum-Nielsen 1968, с. 210]; 19. *tam* [tam] ‘ручной’, 27. *dom* [dom] ‘приговор’: в датском *m* удлинялось перед всеми гласными, кроме *i*, ср. *lim* > *li’m* ‘клей’, но *koma* > *komme* ‘приходить’, см. [Brøndum-Nielsen 1968, с. 375—379]. Слова 13. *byrd* [byrt] < ддат. *byrb* ‘род, происхождение’ и 20. *hjort* [jort] < ддат. *hjort* ‘олень’ не являются непосредственными рефлексами соответствующих прагерманских архетипов: $\beta[\delta]$ отпало в инлауте и ауслaute в XV—XVI вв., произношение на его месте [t] является следствием книжного произношения, см. [Skautrup 1947, с. 184]. Следует признать неоправданным использование примеров из южноютского диалекта о. Ремё, в которых долгота/краткость корня определяется качественной структурой его древнедатского архетипа: Ремё *la-ń* < ддат. *land*, Ремё *toń* < ддат. *tunnr*, о просодическом различии рефлексов *ld*, *nd* и *ll*, *nn* (< *ll*, *lp*; *nn*, *np*, *tn*) см. [Кашнельсон 1966, с. 149]. Это позволяет нам исключить из списка примеры 30. и 31. Вдобавок у целого ряда слов из датского второго просодического класса была долгота на рубеже XIX—XX вв., ср. 2. *led* [le’ð] ‘путь’, 3. *hud* [hu’ð] ‘кожа’, 10. *hav* [ha’v] ‘море’, 13. *byrd* [by’rt] ‘происхождение’, 21. *stød* [stø’ð] ‘толчок’, см. [Wied 1898, Dahlerup 1919—1954]. Особо следует коснуться примера 1. *sted* [sted] ‘направление, путь’. Непосредственным рефлексом древнедатского *stapr* является малоупо-

требительное слово *stad* [sta'ð]. Огласовка в *sted* обычно трактуется как результат аналогического влияния перегласованной формы мн. ч. от *stapr*, также отмечается возможность влияния западногерманских языков, см. [Falk-Тогр 1960, с. 1154], ср. дангл. *stede* 'место, устойчивость', дфриз. *stede* 'место', дсакс. *stad/stede* 'место', снем. *stat* 'место, город' / *stede* 'место, случай', свнем. *stat* 'место, город' / *stete* 'место'. Таким образом, мы вправе исключить пример 2. *sted* из рассмотрения из-за сомнений в его древнедатском происхождении и заменить его на исконно датское *stad*, которое сохраняет исконную просодию благодаря своей малоупотребительности.

В итоге во втором классе остается 11 примеров и 7 контрпримеров, которые следует отнести к первому классу. Если к этому прибавить 5 исключений на «низкотональные словоформы», то получается, что индоевропейский «низкотональный» класс практически поровну (12 на 11) распределяется по обоим просодическим классам в датском. Это заставляет нас скептически отнестись к теории С. Л. Николаева, однако следует признать, что с учетом последних достижений в сравнительно-исторической акцентологии разработка данного направления может способствовать уточнению акцентной природы таких процессов, как закон Вернера, закон Хольцманна, сокращение гласных перед сонантами по закону Дыбо и др.

Истории скандинавской акцентуации посвящено множество статей и монографий, см. обзор в [Кацнельсон 1966, Liberman 1982]. В монографии [Кацнельсон 1966] представлен первый опыт реконструкции прагерманского ударения на базе акцентуационных систем северо- и западногерманских языков, а также ее индоевропейских истоков. С. Д. Кацнельсон вслед за некоторыми диалектологами отказался считать циркумфлекс в скандинавских говорах продуктом редукции на том основании, что данный акцент встречается и в исконно односложных, и в неапокопированных словах (с. 103). На этом основании автор отказался от трактовки правила былого количества слогов, определяющего акцентуацию в современных шведском и норвежском, как исконного. Кроме того, Кацнельсон принял точку зрения Б. Хессельмана об обязательности факультативной апокопы для всех скандинавских языков в определенный период их истории, согласно которой одни диалекты выходили из состояния апокопы с апокопированными, другие — с неапокопированными формами (с. 112—113). По Кацнельсону, именно факультативная апокопа и вызванные ею просодические изменения явились причиной появления правила зависимости акцентов с прежним количеством слогов, сами же акценты существовали и раньше. Кацнельсоном реконструировалось 4 акцента, противопоставленных по признаку резкости / плавности и одно- / двувершинности, и проявляющих сильную зависимость от качества базиса, а также от слоговой структуры слова. По Кацнельсону, одновершинный акцент соответствует гре-

ко-индийской окситонезе, двувёршинный — баритонезе (с. 310, см. также с. 308). Теория Кацнельсона имела большое значение для отечественной германистики и компаративистики, стимулируя дальнейшие исследования скандинавской акцентуации. В работах [Герценберг 1979 и Герценберг 1981] была сделана попытка соединить результаты реконструкций прагерманской (С. Д. Кацнельсон) и балто-славянской (В. А. Дыбо) акцентуационных систем. Однако основное препятствие для подобной реконструкции заключается в том, что, по словам В. А. Дыбо, Кацнельсон не смог составить списков праформ с реконструированной акцентуацией, из-за чего становится невозможным проведение сравнения с данными балтийских и славянских языков и доказательство индоевропейского происхождения германских акцентов. Несмотря на это, монография Кацнельсона до сих пор сохраняет значение для германской акцентологии если не своими выводами, то подбором материала и проблемами, поставленными перед исследователями.

Упрек В. А. Дыбо приложим и к реконструкции последователя С. Д. Кацнельсона — А. С. Либермана, чья концепция изложена в [Liberman 1982]. Вслед за своим предшественником А. С. Либерман считал, что все скандинавские языки прошли через стадию факультативной апокопы, сами же акценты существовали и до нее. Для праскандинавского автор восстанавливает оппозицию «толчок : отсутствие толчка», которая в ряде современных диалектов представлена оппозицией «акцент I : акцент II», связь последних с былым количеством слогов является следствием факультативной апокопы. Концепция А. С. Либермана во многом схожа с теорией С. Д. Кацнельсона, однако в вопросе о моросчитании оба исследователя пришли к диаметрально противоположным выводам: если С. Д. Кацнельсон полностью отрицал существование моросчитания в современных германских диалектах, то А. С. Либерман пришел к противоположному выводу, зачислив в разряд моросчитающих датский. Однако то, что в датском не действовал закон метрического распушения (CVC = CVC = CVCV), препятствует отнесению датского к моросчитающим языкам, несмотря на то, что он благодаря корреляции толчка сохранил просодическое противопоставление исконных долгих и кратких слогов в односложных словах. Тем не менее автором не было предоставлено убедительных доказательств в пользу того, что толчок существовал в древнедатском и праскандинавском. (А. С. Либерман не продолжил реконструкцию до прагерманского и протогерманского уровней, ограничившись скандинавским материалом.)

В монографии [Кузьменко 1991] изложена противоположная точка зрения. Две предыдущие реконструкции отвергаются Ю. К. Кузьменко на основании следующих соображений:

а) Неверно представление о том, что факультативная апокопа может смениться отсутствием апокопы: во всех исследованных диалектах факультатив-

ная апокопа сменяется обязательной, при этом апокопа является изменением грамматического порядка (с. 203—204, 210). (Добавим, что веских доказательств существования факультативной апокопы во всех скандинавских диалектах так и не было представлено.)

б) Циркумфлекс — вне зависимости от его дистрибуции — встречается только в апокопирующих говорах, в остальных акценты либо отсутствуют, либо в целом отражают былое количество слогов (с. 146).

На этом основании автор присоединяется к точке зрения норвежского лингвиста М. Офтедаля о появлении акцентных различий на большей территории Скандинавии в результате образования суффицированного артикля, прежде относившегося к тактовой группе следующего за ним прилагательного. Таким образом, фразовая акцентуация была интраполирована на словесный уровень, ср. *karl* || *inn gamli* ‘мужик тот старый’ > *karlinn gamli* ‘старый мужик (опр.)’. Важное преимущество концепции Ю. К. Кузьменко по сравнению с многими другими теориями заключается в учете архаичности/инновационности той или иной просодической системы и присущего ей типа сегментной просодики. Данный подход высветил существенный недостаток реконструкций С. Д. Кашнельсона, А. С. Либермана и С. Л. Николаева, которые в поисках реликтов прагерманской акцентуации обращались к данным датских, ютских и рейнско-франкских диалектов, представляющих совершенно новый просодический тип и относящихся к центру германского ареала, являющемуся ареной оживленных языковых контактов, что делает сомнительными поиски в языках данной зоны следов древних акцентов.

Моросчитающие говоры, просодика которых наиболее близка древнему языковому состоянию, указывают на одну немаловажную черту прагерманского ударения, а именно отсутствие резкого динамического выделения ударного слога, которое больше свойственно языкам со слоговым равновесием и корреляцией контакта.

Выше мы показали, что в исконно двусложных словах в шведском и норвежском слоговыделительная функция ударения выражена менее четко, чем в словах с акцентом I, восходящим к акцентуации односложных слов, где слово- и слоговыделительные акценты были сфокусированы на единственном слоге слова¹⁴. На наш взгляд, это является причиной того, что акцент I всегда ассоциируется с резкостью в отличие от «плавного» акцента II. Это подтверждает, что резкое динамическое ударение в германских языках вопреки тра-

¹⁴ Материал датского языка показывает, что только долготным односложникам был присущ подобный синкретический тип ударения. Степень ударности краткостных односложных словоформ нам неясна. Следует отметить, что в прагерманском (до эпохи редукции) количество знаменательных односложных слов было ничтожно.

диционной точке зрения носит инновационный характер и вызвано такими факторами, как долгота корня и/или редуцированность закорневой части слова. Таким образом, мы можем рассматривать главность как основную характеристику словесного ударения в моросчитающих древнегерманских языках, что предполагает музыкальное, а не динамическое выделение ударного слогоносителя. Однако реконструкция прагерманского ударения затруднена тем, что в наиболее архаичных говорах либо наличествует редукция, либо существует равновесомый акцент, который отсутствовал в древнюю эпоху, о чем свидетельствует редукция прасканд. им. п. *winir, вин. п. *wini > дисл. *vinr. vin* 'друг'. Ни в той, ни в другой группе не сохранились безударные долготы, что делает реконструкцию прагерманского ударения скорее делом умозаключений, основанных на типологических универсалиях, чем продуктом внутренней реконструкции на основе собственно германского материала.

Отдельно следует коснуться отсутствия акцентов в исландском и фарерском языках, где появление суффицированного артикля не привело к изменениям словесной просодии¹⁵. Отчасти это может быть связано с тем, что удельный вес словоформ и синтагм, противопоставленных только своим акцентом, невысок из-за развитой флективной морфологии и свободного порядка слов. В шведском и норвежском можно выделить 4 основные группы, в которых противопоставляются акценты:

- а) сильное склонение — слабое склонение, ср. швед. *'and-en* 'селезень' — *'ande-n* 'дух';
- б) существительное — причастие, ср. швед. *'drag-et* 'черта' — *'draget* ср. р. прич. II от *dra(ga)* 'тянуть';
- в) глагол с предлогом — глагол с поствербом, ср. швед. *'ta på* 'коснуться' — *'ta 'på* 'положить';
- г) сложное слово — генитивное определение, ср. швед. *en 'stor 'mansdräkt* 'большой мужской костюм' — *en 'stormans 'dräkt* 'костюм феодала'.

В исландском эти группы слов различаются своим морфологическим составом или порядком слов:

- а) сильное склонение — слабое склонение, ср. им. п. *sopur-inn*, вин. п. *sópinn* — *sópa-nn*, им. п. *list-in* 'искусство' — *listi-nn* 'планка', но вин. п. *list-ina* — *lista-nn*;

¹⁵ М. Клостер Йенсен утверждал, что в фарерском наблюдается акцентная фигура, напеминающая акцент II. По нашим слуховым впечатлениям, данный «акцент» появляется перед паузой в утвердительных и вопросительных предложениях. Тем не менее мы присоединяемся к выводу, сделанному Б. Хагстромом о факультативном характере данной просодии, см. [Hagström 1967, с. 46]. Профессор Й. Ришель (устное сообщение) в беседе с одним из авторов данной статьи высказал мнение, что по отношению к фарерским диалектам речь может идти только о фразовой, а не о словесной просодии.

в) глагол с предлогом — глагол с поствербом, ср. *kota af e-u* ‘приходить из ч.-л.’ — *kota e-u 'af* ‘выполнить ч.-л.’ (для шведского и норвежского более характерно контактное расположение глагола и постверба, см. [Никуличева 1996, с. 21]);

Примеров на группу г) нет, поскольку генитивное определение в исландском стоит в постпозиции к определяемому слову, в фарерском генитив фактически отсутствует, вместо него употребляются предложные обороты, также стоящие в постпозиции, см. [Берков 1996, с. 154, 227]. Таким образом, остается группа б), которая является слишком малочисленной, чтобы обеспечивать фонологическое противопоставление слов с разными акцентами. В отличие от островных исландского и фарерского, в континентальных скандинавских языках количество минимальных пар на противопоставление двух акцентов весьма внушительно: 300 пар в шведском см. [Eiert 1972] и 2400 пар в норвежском [Kloster Jensen 1958]. Это свидетельствует о том, что существование акцентных различий в Скандинавии не является просто реликтом, оставшимся от древней эпохи, но поддерживается такими факторами, как скудность флективной морфологии и жесткий порядок слов.

Кроме этого, связь грамматики и просодики в германских языках демонстрируется категориальным принципом постановки ударения, которое зависит от морфологической структуры слова и/или от грамматического разряда, к которому принадлежит слово (последний фактор релевантен для полиакцентных шведского и норвежского, а также для примыкающего к ним датского). Категориальный характер германского ударения прослеживается еще с прагерманского периода, когда сформировалось правило просодического приоритета корневой морфемы. Праславянский язык показывает противоположный принцип акцентной организации: каждой морфеме приписана определенная просодическая характеристика, не зависящая от семантики или синтактики морфемы (так называемый парадигматический принцип), см. [Дыбо 1978, с. 56—57]. Существующая в славянских языках тенденция к категориализации акцента и стабильность категориального принципа ударения в германских языках позволяет нам предположить, что категориальный принцип является универсальным и отражает морфологическую природу ударения. Более редкой является тенденция к переходу от категориального к парадигматическому принципу — этот процесс происходит вместе со становлением силлабоморфизма (Южная Дания, рейнско-франкские диалекты). В этих диалектах полная апокопа приводит к совпадению различных морфологических классов (например, сильное и слабое склонения у имен), в результате чего появляются этимологические тональные различия, никак не определенные семантикой. В итоге мы можем констатировать, что в славянских и германских языках представлен широкий спектр типологически возможных акцентуационных систем. Это

делает сопоставление материала обеих групп важным для выяснения общих закономерностей эволюции тех или иных типов ударения.

2.4. Контактные явления. Принцип системности строения фонологического уровня связан с принципом симметричности, что проявляется в «оппозитивно-коррелятивном» характере фонологической системы, при котором каждая фонема представляется как пучок различительных признаков, см. [Журавлев 1986, 165]. Там же подчеркнуто, что симметричность не является абсолютным принципом, что означало бы невозможность развития системы. Эта же идея развивается в статье [Стеблин-Каменский, Воронкова 1974]. Авторы критикуют определение фонемы как пучка различительных признаков, которая толкает фонологов к тем или иным огрублениям в угоду принципу симметрии, что зачастую приводит к появлению противоречащих друг другу трактовок одного и того же явления, причем данное многообразие объясняется игнорированием тех или иных фактов (с. 125). Далее авторы утверждают, что у фонологического изменения существует несколько равносильных путей развития, объяснение которых одним стремлением системы к восстановлению равновесия является тавтологичным, поскольку равновесие системой никогда не достигается.

Выводы, полученные М. И. Стеблин-Каменским и Г. В. Воронковой, делают очевидным тот факт, что в фонологической системе заложена неопределенность, или энтропийность, являющаяся причиной неоднозначности фонологического описания. На наш взгляд, данная особенность фонологической системы обуславливает различное поведение тех или иных единиц в разных языках, восходящих к одному источнику. При идентичности исходных условий в разных языках происходят различные процессы, что не могло бы произойти, если бы система имела один вариант развития, ср. различные возможности совпадения гуттуральных рядов в языках *satem* и *kentum*. Если нельзя объяснить эти процессы исходя только из внутрисистемных данных, то следует искать внешние факторы, повлиявшие на то или иное изменение. Таким образом, иноязычное влияние на звуковую систему конкретного языка может рассматриваться как один из факторов, снимающих неопределенность фонологической системы данного языка, и потому имеет большое значение для фонологической теории.

Из всех германских языков наибольшее влияние со стороны славянских языков претерпел идиш. В [Hutterer 1975] дается краткое описание синхронного состояния идиш. Как результат славянского влияния автор трактует становление фонемных различий $s : z$, $x : h$, ср. *halə* ‘зал’ — *xalə* ‘пирожное’, *sax* ‘много’ — *zax* ‘вещь’. Также следует отметить проникновение в идиш палатализации и исчезновение придыхания у начальных p , t , k . Этой же теме посвящена статья [Jakobson 1962a]. Автор связывает воедино дезаспирацию p , t , k и

отпадение начального *h* во многих диалектах идиш, также отмечая утрату количественных различий у гласных, что может сопровождаться появлением качественных различий, ср. *i : ī > y : i* (с. 409, 412). Данная тема затронута в [Weinreich 1958], где речь идет об отношениях идиша и немецких диалектов на территории СССР. Автор освещает звуковые особенности языка в свете славянского влияния, из чего следует упомянуть о заимствовании аканья в белорусском варианте идиша из соседних славянских говоров, ср. *akóršt < okoršt* (эмфатическая частица, употребляемая после императивов), *xalile < xolile* 'Боже прости'. В монографии [Weinreich 1980] содержится подробное описание истории идиша, его диалектов, также затрагивается тема взаимоотношения идиша с еврейскими языками Испании, Франции и Италии и влияния на него славянских диалектов. Книга содержит богатый материал по истории и современному состоянию различных диалектных норм идиша, однако, к сожалению, эти данные представлены в несистематизированном виде, что затрудняет их изучение. Ряд идей, высказанных в монографии, заслуживают особого внимания. Так, М. Вейнрейхом введено понятие диафонемы, различающейся своими региональными реализациями, ср. /ai|ei|a||a:/, см. с. 659. Этот термин удобен для описания такого языка, как идиш, который характеризуется отсутствием единой нормы, а также облегчает работу по реконструкции вокалической системы. В целом следует отметить, что идиш обычно оставался за рамками фонологических исследований в германистике, что не позволило нам подробней осветить фонологические особенности идиша и его диалектов. Сравнительно недавно П. Векслер предложил новую концепцию происхождения идиша, предполагающую наличие у него конкретного западнославянского субстрата, «иудео-лужицкого языка» (Judeo-Sorbian), предположительно существовавшего в IX—XII вв. [Wexler 1991, Wexler 1991a]. Провокационное название монографии Векслера — «Идиш — пятнадцатый славянский язык» относится прежде всего к реконструированному иудео-верхнелужицкому языку, хотя Векслер утверждает также, что морфонология и синтаксис идиша в его современной форме характеризуются чертами не германского, а славянского типа¹⁶. Концепция Векслера была враждебно встречена большинством славистов, наиболее резко высказался немецкий сорабист Х. Шустер-Шевц, который

¹⁶ Мнение Векслера том, что такие черты, противопоставляющие идиш немецкому литературному языку и большинству немецких диалектов, как сохранение звонких смычных *b, d, g* в ауслауте и возможность вынесения финитного глагола в начало повествовательного предложения, объясняются славянским влиянием, неверифицируемо, что вынужден признать даже сочувственно комментирующий концепцию Векслера Б. Комри [Comrie 1991: 152—153]. Ср., например, отсутствие оглушения *b, d, g* в современном английском языке и порядок V1 в повествовательных предложениях современного исландского языка.

нашел большое количество фактических ошибок в славянском материале, привлеченном Векслером [Schuster-Šewc 1991: 199—203].

Из других германских языков особого интереса заслуживает немецкий язык. С одной стороны, немцы издавна жили в соседстве с западно- и южнославянскими народами, с другой стороны, на территории бывшего СССР существовало несколько зон компактного проживания носителей немецкого языка. В работах [Lessiak 1959] и [Lessiak 1963] содержатся описания немецких диалектов Каринтии (Kärnten) — области, находящейся на границе Австрии и Словении. В данных говорах действует закон слогового равновесия. Главная особенность этих диалектов состоит в постепенном вытеснении типа VC: типом V:C, ср. [rī-bmen] *beben* ‘дрожать’, [mī-gla] *möglich* ‘возможный’, ср. также [hit-tn] *Hutte* ‘хата, изба’, [tut-ta] ‘бородавка’, но [lō-ta] *Latte* ‘планка» (с. 40—41). В ряде случаев фиксируются колебания, ср. [pet-tln / rē-tln] *bitteln* ‘попрошайничать’. Интересны и сообщения о заимствованиях из немецкого в словенский. Многосложные слова с исконно кратким первым слогом обнаруживают в словенском конечное ударение. В случае долготы первого слога заимствования имеют восходящее ударение на первом слоге. В односложных словах существует следующее распределение: краткость в немецком — восходящее ударение в словенском, долгота в немецком — нисходящее ударение в словенском. В работе [Michalk, Protze 1974] описываются немецкие диалекты из ареала проживания лужицких сербов. В этих диалектах зафиксированы колебания в долготе ударного гласного, приводящие к совпадению кратких и долгих гласных во многих идиолектах, в результате пары *Aale* : *alle*, *Weg* : *weg* становятся омонимами, см. с. 9. В этом случае отмечается влияние сегментной просодики соседних нижнелужицких говоров, которым не свойственно различие гласных по долготе, см. с. 43. Из других явлений, специфичных для немецких диалектов данной контактной зоны, следует упомянуть озвончение глухих шумных перед гласными и сонорными, а также палатализацию периферийных согласных и плавных перед гласными переднего ряда. В работе [Foss 1971] содержится описание нижнегерманского говора Липно (Польша, Варшавское воеводство). В этом говоре все согласные палатализуются в соседстве с гласными переднего ряда, единственное исключение — фонемы /k/ и /ŋ/, отнесенные к «превелярному» ряду, т. е. для них в целом характерна определенная степень палатализации. На конце слова встречаются лишь /gʲ/, /xʲ/ и /nʲ/, при этом им предшествует гласный переднего ряда. Это позволяет нам считать, что палатализация в говоре Липно привела лишь к образованию палатальных аллофонов, но не вызвала появления новых фонем. В данном говоре, для которого характерна корреляция контакта, отмечено удлинение краткого *a*, ср. [nāxt] *Nacht* ‘ночь’. У других гласных тенденция к удлинению выражена менее ярко.

Схожие явления характерны и для немецких диалектов бывшего СССР. Истории их изучения посвящена монография [Berend, Jedig 1991]. Данное издание содержит очерки о различных научных центрах, где изучались немецкие диалекты, а также снабжено подробнейшей библиографией работ советских лингвистов, работавших в данной области. Для более обстоятельной рецензии см. [Домашнев, Смирницкая 1992]. В работе [Иоганзен 1985] дано описание севернобаварского говора Алтая. Среди особенностей фонетики данного говора автор отметил отсутствие твердого приступа, слоговое равновесие, сопровождающееся удлинением гласного в ряде позиций, ср. [fve:stə] *Schwester* ‘сестра’, [ve:dʌ] *Wetter* ‘погода’.

Согласные палатализируются перед гласными переднего ряда, при этом палатализованное *l* вытесняет велярное *l*, характерное для баварских диалектов (с. 10). Помимо этого, в говоре происходит озвончение в интервокале $s > z$, $\xi > \zeta$, переход $w > v$. Данные изменения, несомненно, обусловлены влиянием фонетики русского языка, в результате которого одни фонемы приобретают облик, характерный для схожих звуков русского языка, у других фонем появляются схожие аллофоны. Влияние фонологических систем русского и украинского языков проявляются в новообразованной фонеме [i:], которая фонетически реализуется как русское [ы], ср. [bī:fʰts] *Pelz* ‘шкура, мех’, [i:l] *Öl* ‘пиво’ (с. 7). Фонетическая интерференция в большей степени свойственна тем немецким диалектам, носители которых переходят на русский язык. Этому посвящены статьи [Донгаузер 1986] и [Донгаузер 1987], в которых описывается немецкий диалект Свердловской (ныне Екатеринбургской) области. В [Донгаузер 1986] описана фонологизация палатализации во во франкском говоре г. Березовский. В [Донгаузер 1987] автор касается темы уподобления немецкого вокализма гласным русского языка. Согласно данным Донгаузера, в большей степени подвержены уподоблению краткие гласные, которые имеют практически ту же фонетическую долготу, что и гласные русского языка, в меньшей степени — долгие гласные и дифтонги (с. 113). Заслуживает внимания и сообщение автора о проникновении редукции безударных гласных в речь носителей говора среднего и младшего поколений, ср. [p'in'ok] ‘пенёк’ < [p'en'ok], [k'iproxʰt] *gebracht*, [p'itruŋga] *betrunken* (с. 115). Работа [Шрамл 1969] содержит описание немецких говоров Закарпатья (Львовская область, Мукачевский район). Автор отмечает, что данный диалект относится к смешанному типу и представляет собой язык потомков переселенцев из Франконии, Баварии, Саксонии, Австрии, Швабии и Чехии. Судя по описанию, данному диалекту присуща корреляция контакта, что выражается в отсутствии геминат. Характерное удлинение гласных происходит в диалекте в позиции перед определенными согласными и зависит от количества слогов в слове, ср. [ōlt] *alt* ‘старый’, [wēnt] *Wand* ‘стена’. В некоторых говорах удлинение гласно-

го сопровождается дифтонгизацией, ср. [haunt] *Hand* 'рука', [nouxt] *Nacht* 'ночь', [kloukə] *Glocke* 'колокол' (села Бородивка, София)

Таким образом, германским диалектам славяно-германской контактной зоны свойственны палатализация согласных в соседстве с гласными переднего ряда, а также удлинение кратких гласных. Последнее изменение происходит как в диалектах со слоговым равновесием, так и в диалектах с корреляцией контакта. Оба типа сегментной просодики абсолютно чужды всем славянским языкам. Геминация согласных и восходящий к ней плотный контакт не свойственны славянской просодике, поэтому преобладающим типом становится либо слог с количественным пиком на гласном (CV:C), либо свободный контакт, обеспечивающие слогораздел по принципу открытого слога. В ряде диалектов (идиш, немецкие говоры Закарпатья) удлиненный гласный дифтонгизируется, что следует считать проявлением все той же тенденции к открытости слога.

Изменения на фонемном и аллофоническом уровнях носят более разнообразный характер. Мы выделим 3 основных типа фонологических изменений, обусловленных влиянием иноязычной фонологической системы:

- акустическое уподобление реализаций существующих фонем;
- акустическое уподобление реализаций фонем, возникших во время контактного взаимодействия;
- появление новых признаков, вызывающих ассимилятивные процессы и образование новых аллофонов у фонем данного языка.

Как это ни странно, влияние немецкого на фонетику славянских языков минимально и касается скорее отдельных фонем, чем целой системы. В уже упоминавшейся работе [Michalk, Protze 1974] для ряда нижнелужицких говоров отмечается переход конечного [y] в [e], а также увулярное *r*. В статье [Schuster-Šewc 1972] автор утверждает, что за исключением увулярного *r*, характерного для ряда лужицких и западнопольских диалектов и имеющего недавнее происхождение, никаких следов глубинного влияния немецкого языка на лужицкую фонологическую систему не обнаружено. Отказывается Х. Шустер-Шевц относить к немецкому влиянию и переход $x > k^h$ в верхнелужицком, отмечая, что в последнее время наблюдается замена k^h на k (с. 364). Таким образом, аспирированное k^h оказывается промежуточной стадией перехода $x > k$, который характерен в определенных позициях для многих западнославянских языков. На наш взгляд, сам факт продолжительного (с XVII в.) k в верхнелужицком и отсутствие стадии $*kx < x$ может свидетельствовать о некотором влиянии немецкого, однако мы согласны с автором в том, что причины этого процесса являются специфическими для верхнелужицкого. Из других работ по данной проблематике см. [Michalk 1971], где описывается говор билингвалов, пользующихся лужицким и немецким языками. Изложенный в данной работе материал по звуковым переходам также не позволяет нам выделить изменения,

обусловленные немецким влиянием. Как мы уже упоминали, сегментная просодика славянских языков мало подвержена германскому влиянию. То же самое можно было сказать и о просодике супraseгментной. Правда, территориально близкие к немецкому чешский и лужицкие языки имеют, как и немецкий, ударение на первом слоге. При этом если в лужицком существует сильное динамическое ударение на первом слоге (см. [Трофимович 1977, с. 181]), то в чешском факт влияния не столь очевиден, поскольку ударный слог динамически выделен не столь четко, как в немецком или русском, см. [Широкова 1977, с. 70]. С другой стороны, в нижнелужицком отмечены колебания между начальным и предконечным ударением, что свидетельствует об исконно славянских тенденциях, противостоящих немецкому влиянию, см. [Калнынь 1967, с. 78—83].

Существует ряд работ, в которых освещается проблема фонологии заимствованных слов. В статье [Bielfeldt 1983] изложен материал по отражению гласного *e* как *(j)a* в заимствованиях из немецкого в лужицкий. Данные германских языков зачастую помогают определить датировку тех или иных процессов на основании анализа фонетического облика заимствований. В статье [Schwarz 1960] исследуются рефлексы вокалической долготы топонимов славянского происхождения в баварских диалектах. Э. Шварц рассматривал заимствованные из древнечешского топонимы, содержащие исходно долгий гласный. Дифтонгизация, происходившая в баварских диалектах в XII—XIII вв., позволяет установить приблизительное время заимствования: топонимы с дифтонгами относятся к ранним заимствованиям XII—XIII вв., ср. дчеш. *čьrnidlo* — бав. *Schirnaidel*, топонимы без дифтонгизации представляют поздние заимствования, которые относятся к периоду после сокращения староакутовых долгот в западнославянских языках, протекавшего параллельно с дифтонгизацией в баварских диалектах, ср. дчеш. *močidlo* — бав. *Motzidel*. Исключение представляют слова, содержащие суффиксы *-ici*, *-ica*, долгота в которых сократилась в западнославянском раньше всего, — в заимствованиях с данными суффиксами дифтонгизация отсутствует.

В статье [Schwarz 1929] представлено исследование по датировке перехода $*\bar{u} > u$ в праславянском на основе изучения заимствований в славянских языках. Наиболее древние заимствования из германских диалектов в праславянский, содержащие *u*, имеют в современных славянских языках рефлекс праславянского $*u$ ($< *\bar{u}$), ср. прагерм. *tun* ‘огороженное место’ — чеш. *tyn* ‘город, огороженное место’, цслав. **тынъ** ‘ограда’, рус. *тын* ‘изгородь’; гот. *mōta*, **mūta* — старосл. **мытѣ** ‘пошлина’, гот. **mūtareis* — старосл. **мытгарь** ‘сборщик податей’¹⁷. С другой стороны, праславянская фонема $*u/\bar{u}$ отража-

¹⁷ Как известно, готское *o* имело закрытый характер и обнаруживало тенденцию к переходу в *u*, что комментируется Е. Шварцем в данной статье, см. также [Гухман 1994, с. 22].

лась как и в заимствованиях из славянских языков, ср. прусский топоним *Rubinicha* при праслав. **rūba* ‘рыба’. Переход *ū > u*, начавшийся согласно Е. Шварцу в VIII в., а также изменения *au, o > ū* отразились на фонетической интерпретации заимствований, ср. дннем. *rūta* — луж. *ruta* ‘тысячелистник’, свнем. *brūn* — чеш. *bruny* ‘черный’, словен. *brūn* ‘коричневый’. С другой стороны, заимствованные из славянских языков после VIII в. топонимы не содержат рефлексов *ū*, ср. дбав. топоним *Ziup* из дсловен. **supь* ‘развалины’. В конце статьи автор касается перехода германских заимствованных имен *o*-склонения в славянское *ŷ*-склонение, а также позднейшего аналогического перевода заимствований из немецкого в *ŷ*-склонение в западнославянских языках.

До сих пор мы касались лишь проблемы взаимного влияния фонологических систем славянских и германских диалектов, не касаясь темы смешанных языков. Последней проблеме посвящена монография [Broch, Jahr 1984], содержащая наиболее полное описание языка «gussenorsk» — пиджина, которым пользовались русские и норвежские рыбаки, промышленявшие в Баренцевом и Норвежском морях. Данное исследование содержит раздел, посвященный теории смешанных языков, и включает краткую историческую справку о торговых контактах поморов и норвежцев. Книга снабжена подробным очерком грамматики со словарем и текстами, а также содержит краткий обзор предыдущих описаний gussenorsk.

В разделе, посвященном фонетике этого языка, дается перечисление основных отличий gussenorsk от русского и норвежского. Звуки, представленные лишь в одном из языков, заменяются на общие для обоих языков. Так, норвежское *h* в ряде слов заменяется на *g*, ср. рн. *gāv* ‘море’ — норв. *haf*, рн. *galannja* ‘полтора’ — норв. *halvanna*, но рн. *hal* ‘половина’ — норв. *halv* (с. 41). Русским *х, з, ж* соответствуют *k, s*, ср. рн. *q̄rēka* — рус. *орех*, рн. *snai* — рус. *знай*, рн. *dāmōsna* — рус. *таможня*. Однако в записях, сделанных русскими, зафиксирован вариант рн. *prezentom* ‘дать’ вместо *presentom*, ср. также варианты *prinsipal* (норв.), *printsipal* (рус.) ‘капитан’¹⁸. Заметим, что в форманте, восходящем к окончанию 2 л. ед. ч. наст. вр. *-шь* в русском, употребляется *s* несмотря на то, что в норвежском существует фонема /š/, ср. рн. *kopisli* — рус. *купишь ли*, рн. *vros* — рус. *вредишь*. Также зафиксированы колебания в отражении русских смычных, ср. рн. *spasibal/basiba* ‘спасибо’, *strāsvi/drasvi* ‘здравствуй’, *damosna* ‘таможня’, *kak/gak* ‘как, когда’, *tva* ‘2’, *tvātsit* ‘20’. Авторы монографии считают, что подобное нерегулярное отражение смычных в gussenorsk обусловлено тем, что глухие смычные в норвеж-

¹⁸ Следует заметить, что пиджин имел две произносительные нормы. В нашей статье по умолчанию описывается норвежский вариант gussenorsk, который лучше записан.

ском, в отличие от русских, аспирированы. Поэтому неаспирированные глухие смычные в русских словах могут отождествляться с неаспирированными звонкими в норвежском. Для числительных *tva*, *tvatsit* И. Брок и Э. Х. Яр отмечают влияние саамского, через посредство которого, возможно, эти слова попали в *gussenorsk*, см. с. 42¹⁹.

В дополнение к вышесказанному необходимо коснуться вопроса палатализации и акцентуации в *gussenorsk*. Представленный в книге материал позволяет предположить, что палатализация существовала в речи как норвежских, так и русских моряков, использовавших пиджин, но в графике отражалась весьма нерегулярно. Палатализованными в *gussenorsk* были геминаты *ll*, *nn* в словах норвежского происхождения, а также начальные согласные перед гласными переднего ряда в русских словах, ср. рн. *burmain* наряду с *burmann* 'моряк', *ailsamma* или *altsamma* 'вместе', *galannja* 'полтора' < норв. *halvanna*, *djengi* 'деньги', *njed* 'нет', ср. также *njem* 'брат' из голландского *nemen* (с. 62). Непоследовательность в обозначении палатализации хорошо демонстрируется следующей фразой: *Бурманъ закрепико троса лита грань немножко 'рыбак,крепи немного трос'* при норв. *burmann*, *grann* (с. 126). Текст с наиболее последовательным обозначением палатализации приведен на с. 98 и представляет собой запись стихотворного тоста, сочиненного и рассказанного русским моряком, но записанного норвежцем. В заключение стоит отметить, что палатализация в *gussenorsk* чаще всего получала обозначение у русскоязычных пользователей пиджина. В данной связи привлекаю внимание данные норвежского разговорника для русских, который был издан в XVIII в. Автор разговорника отмечал смягчение *l* перед *i* и *j*, а также палатализованный характер конечного *r* в норвежском, ср. *pengar* 'деньги', *tjuvar* 'воры', *sel'ja* 'продавать', *stul'it* 'украденное', см. с. 74. На наш взгляд, причиной подобного нечеткого различия между русским и норвежским вариантами пиджина могло послужить влияние русской графики, в которой различаются твердые и мягкие согласные, в то время как в норвежском палатализация не охватывает весь консонантизм и не обозначается на письме.

Ударение в *gussenorsk* разноместное: слова сохраняют место ударения языка-источника. Исключение составляют два трехсложных слова русского происхождения: *'sapagof* 'сапоги' и *'pēdisat* '50'. Во многих русских словах со вторым ударным слогом первый слог, как правило, содержит долгий гласный, ср. рн. *ō'reka* 'орехи', *spā'siba* 'спасибо', но *dū'mosna*, *dā'mosna* 'таможня', также императивы *prō'daj*, *klā'di*. Различается долгота гласного перед кластером, ср. рн. *prāšnik* 'праздник', *dōbra* 'хорошо', *strāsvi* 'здравствуй', *odināsit*

¹⁹ Отметим случаи замены *n* на *l*: рн. *regel* < норв. *regn* 'дождь', рн. *filmann*, *fielmain* < норв. *finn* 'саам'. Причины подобного перехода неясны.

‘11’, но *smøttrom* ‘смотреть’, *pjětnatsit* ‘15’, *đivinōsta* ‘90’, *djěngi* ‘деньги’. Характер распределения долгот показывает на изохронный характер *gussenorsk*. Однако зафиксирован ряд написаний, которые можно интерпретировать как краткосложные слова, ср. рн. *stōva* ‘дом’, *kōna* ‘жена’ наряду с *konna*, *vōsim* ‘8’. Зачастую долгота ударного или предударного гласного в словах русского происхождения обнаруживает связь с фразовой просодией, ср. краткость в словах, употребляющихся изолированно, т. е. в императивах и числительных (*prodaj, kladi, vosim, divinosta*), в слове *yes* ‘да’, а также в служебном слове *kak* ‘как, когда’, однако *koda* ‘когда’, ср. также *ēta, etta* ‘это’. Данный материал показывает, что просодика *gussenorsk* (в его норвежском варианте) отражала влияние словесной и фразовой просодики русского языка. К сожалению, в записях *gussenorsk*, сделанных русскими, долгота никогда не отмечалась, что не дает нам судить о норвежском влиянии на просодику русского варианта пиджина, однако полученные нами выводы подтверждают факт одностороннего влияния славянских языков на просодику германских языков.

Смешанным языком (по крайней мере, в исторической перспективе), следует признать и идиш. В упомянутой выше монографии П. Векслера на основе косвенных данных (мнения еврейских ученых XVI в.) делается вывод о том, что носители идиш при употреблении графемы *h* как показателя просодической долготы опирались на данные западнославянских языков (верхне-лужицкого), сохранявших количественный контраст между этимологически длинными и короткими гласными. Х. Шустер-Шевц, однако, указал, что лужицкие диалекты утратили этимологическую долготу гласных еще в XII в. [Schuster-Šewc 1991: 199—203], поэтому речь может идти лишь о чешском субстрате. Безосновательно мнение Векслера о том, что консонантизм идиш отражает смешение сибилантов и шипящих *s / š, z / ž, c / č* (так называемое мазуреканье) в лужицком ареале: очаги мазуреканья, как известно, лежат за пределами лужицких диалектов — в Мазовии, северной Силезии и Полабии [Comrie 1991: 152]. При этом переход *c > č* отражен в только в нижнелужицком, где, однако, нет смешения *s / š*. Тем самым данных лингвистической географии для верификации гипотезы о иудео-лужицком языке недостаточно. Несмотря на субъективные недочеты книги Векслера и неразборчивость автора в подборке аргументов, основная мысль Векслера о том, что современный идиш возник в результате «частичной смены языкового кода с иудео-*славянского²⁰ на немецкий в процессе миграции евреев в двух направлениях — на запад в монолингвальную немецкую среду и на восток в Чехию и Польшу», представляется в общенаучном плане отнюдь не менее правдоподобной, чем более уважаемая теория М. и У. Вейнрейхов о том, что идиш возник вне

²⁰ В книге П. Векслера: «Judeo-Sorbian».

строго определенной территории и временных рамок как «фузионный» германский язык, ассимилировавший некие аморфные лексические и грамматические вхождения арамейских и славянских языков. Направленные против концепции Векслера возражения компаративистов и диалектологов не обязательно свидетельствуют о её ложности, и это знаменательно. Традиционная лингвистика — слишком слабое орудие реконструкции экстралингвистической реальности: строго доказать факт существования в IX—XIV вв. бесписьменного смешанного языка в славяно-германском ареале (при том, что нам точно известен этнос, способный на нем говорить!) столь же трудно, как доказать факт существования балто-славяно-германского языка на основе метода изоглосс.

В заключении раздела упомянем малоизвестную, но заслуживающую внимания книгу датской исследовательницы Ф. Хоустед, где доказывается наличие славянского субстрата на островах, лежащих к югу от Зеландии — Лолланде, Фальстере и Мёне [Housted 1994]. С учетом наличия многочисленных славянских топонимов на северном побережье Германии непосредственно южнее Лолланда, Фальстера и Мёна приводимые Ф. Хоустед южнодатские топонимы славянского происхождения с высокой вероятностью свидетельствуют о наличии на данных островах славянской (полабской или вендской) общины. Кроме того, имеются основания предполагать отсутствие компактной датской общины на данных островах по крайней мере до XIII в. Это означает, что практически все балтийское побережье, включая острова к югу от Зеландии, к началу второго тысячелетия н. э. оставалось славянским и было частично германизировано лишь в последующие века, путем политики внутренней колонизации в период укрепления немецких городов и скандинавских государств.

3. Параметры грамматики: стадиальная типология и компаративистика

Среди множества общих проблем славянской и германской грамматики, обсуждение которых имеет давнюю традицию, выделим две: эволюцию possessивных конструкций и эволюцию субъектно-предикатных отношений. Ход обсуждения обеих проблем в славистике и германистике показывает, что грань между стадиально-типологическим и сравнительно-историческим синтаксисом не является вполне четкой из-за того, что строго доказать общее происхождение синтаксической структуры — схемы предложения или группы определенного типа — даже в близкородственных языках почти невозможно, если время существования общего для них бесписьменного праязыка сильно отдалено от времени, когда зафиксированы первые письменные тексты. Поэтому реконструкция синтаксической парадигматики без типологической оценки праязыка немислима. Компаративисты прошлого хорошо осознавали

эту связь; по существу, обе затронутые в нашем материале проблемы индоевропейской грамматики были поставлены уже Антуаном Мейе (1870—1941), который наметил и путь их решения. Мейе исходил из того, что современные славянские и германские языки, с одной стороны, и славянский и германский праязыки (возможно, как и более ранний праязык, к которому восходят праславянский и прагерманский), с другой, стоят на разных стадиях грамматической эволюции.

Согласно первой гипотезе Мейе, индоевропейские языки первоначально не имели переходных глаголов обладания с широким недифференцированным значением 'иметь' (ср. герм. **haban*, слав. **imēti*), такие глаголы появляются лишь в ходе позднейшего индивидуального развития в отдельных индоевропейских языках. До этого значения обладания выражалось в основном с помощью непереходной конструкции с глаголом «быть» и косвенным падежом посессора. Таким образом, стадильность здесь проявляется, во-первых, в отсутствии лексем типа герм. **haban*, слав. **imēti* в индоевропейском праязыке и их появлении в последующий период, а во-вторых, в смене свойственной индоевропейскому праязыку непереходной посессивной конструкции с глаголом «быть» переходной посессивной конструкцией с глаголом «иметь». Разумеется, отсутствие лексемы «иметь» в некоторых современных индоевропейских языках, по-прежнему предпочитающих непереходную посессивную конструкцию (ср. армянский), не означает автоматически, что данные языки сохранили прочие параметры раннеиндоевропейского синтаксиса в неизменном виде. Однако наличие лексемы «иметь» и переходной посессивной конструкции (ср. славянские, германские, романские языки) будет означать, что мы, во-первых, имеем дело с инновацией данных языков, а во-вторых, со стадильной эволюцией грамматической строя. Кроме того, наличие в некотором языке двух данных конструкций одновременно (ср. в латыни *mihi est* и *habeo*), согласно данной гипотезе, будет истолковано как свидетельство реликтового характера одной из данных конструкций, а именно — непереходной. Данная гипотеза Мейе в практически неизменном виде повторяется в компендиях и обзорных статьях по индоевропейскому синтаксису, ср. [Бенвенист 1974, 213], хотя против неё порой выдвигались эмпирические возражения; оспаривался статус непереходной конструкции как грамматического реликта в отдельных языках, приводились доводы в пользу вторичности некоторых посессивных конструкций с «быть» в истории отдельных языков, отмечалось диалектное варьирование, ставился вопрос о субстратном влиянии и контактном развитии славянских, германских и романских языков [Маслов 1949].

Согласно второй, более общей гипотезе Мейе, индоевропейское предложение характеризовалось принципиально иными отношениями между синтаксисом целого и его элементами, нежели в современных языках; не струк-

тура предложения накладывала селективные ограничения на состав и порядок его компонентов, а наоборот, наличный состав потенциальных составляющих моделировал предложения. Данный параметр Мейе назвал «автономностью»²¹.

Проявлениями синтаксической автономности слова Мейе считал отсутствие группы подлежащего и группы сказуемого, многовариантность конструкции предложения (личное vs безличное, глагольное vs именное), факультативность согласования, возможность однословных предложений, свободный порядок слов, наличие слов, совмещающих в себе функции разных частей речи [Meillet 1908; Мейе 1938, 359—365, 369]. Лингвисты XX в., за единичными исключениями, отнеслись к идее Мейе как к типологическому конструкту, которому не соответствует ни один реально засвидетельствованный индоевропейский язык ср. [Адмони 1988, 162]. Вместе с тем, некоторые слависты и германисты сочли, что гипотеза Мейе перспективна для описания частных проблем исторического синтаксиса и прежде всего для анализа субъектно-предикатных отношений. Стадиальная гипотеза сразу позволяет представить частную проблему происхождения безличного предложения в индоевропейских языках в привлекательном виде как общую проблему синтаксической деривации: вместо априорных оценок первичности/вторичности односоставных или двусоставных высказываний (ср. негативную оценку работ в этом направлении со стороны двух ученых, имеющих мало общего по своему темпераменту — С. Д. Кацнельсона и Я. Ваккернагеля [Кацнельсон 1936; Wackernagel 1926, 117]) в качестве релевантного предлагается обсуждать механизмы перехода от двусоставного предложению к односоставному, и механизмы обратного перехода. Кроме того, открывается возможность изучать в качестве параметра структуру глагольных значений, ассоциированных с той или иной конструкцией предложения в древних славянских и германских языках. Параметр «автономности» в стадиальной эволюции славянского и германского синтаксиса обсуждался в работах Й. Зубаты, Б. Гавранка, А. С. Мельничука, К. И. Ходовой, В. Г. Адмони, А. В. Циммерлинга.

²¹ Любопытно, что гипотеза Мейе о синтаксической автономности слова, оставшаяся неустраиваемой в индоевропеистике, в 1970—1990 гг. была с успехом использована для описания неиндоевропейских языков с подвижным порядком слов и богатой словоизменной морфологией. Так, Д. Нэш начинает описание австралийского языка варльпири с программной декларации о том, что «никаких синтаксических категорий, кроме частей речи, которые могут быть определены в терминах словообразования», для грамматики варльпири не требуется [Nash 1986: 11], что «предложения варльпири порождаются просто как произвольные цепочки слов», а «слова порождаются со всеми присущими им морфологическими чертами» [Nash 1986: 13, ср. 1986: 162—165]. Нетрудно убедиться, что эти тезисы полностью эквивалентны программе Мейе.

3.1. Изучение непереходной посессивной конструкции. В 1949 г. Ю. С. Маслов опубликовал важную работу о стадийной эволюции посессивного перфекта; в ней, помимо фактов древних и новых славянских, германских и романских языков, широко обсуждался материал русских диалектов. Пафос статьи Ю. С. Маслова сводится к тому, что эволюция перфектных конструкций имеет свою внутреннюю логику, перфект проходит несколько стадий развития, внутреннюю форму перфекта нельзя понять, если связывать его генезис только с особенностями поверхно-синтаксических схем, с которыми он связан в конкретных языках. Автор ставит вопрос о «политенезисе перфекта», т. е. его независимом развитии в языках с переходной и непереходной посессивной конструкцией, при этом высказывания, демонстрирующие переход от статального к акциональному значению типа сев.-рус. у кошки мясо съедено = кошка съела мясо признается инновацией независимо от того, как выражен субъектный компонент перфекта — косвенным падежом (как в данном примере) или прямым, как в части славянских (чешский, македонский языки) и во всех германских языках. Концепция Маслова, выдвинутая им в 1940-е гг., повторяется в последующих работах того же автора, в том числе в его последней книге «Очерки по аспектологии» (1984), а также во всех работах по аспектологии, учитывающих результаты Маслова.

Сопоставление славянского и германского материала намечено в ряде работ О. А. Смирницкой [Смирницкая 1969, Смирницкая 1970, Smirnicksaja 1972], которая частично полемизирует с Ю. С. Масловым. Главный итог её работ — доказательство того, что в древних германских языках непереходная посессивная конструкция с маркировкой субъекта обладания косвенным падежом не исчезла полностью; дистрибуция посессивных и перфектных конструкций с герм. **haban* и непереходных схем с глаголом **wesan* 'быть' и сфера использования последних должна быть осознана как типологический параметр. Это позволяет исследователю обосновать следующую перспективу развития: в славянском посессор маркируется предложным родительным падежом, в германском — беспредложным дательным [Смирницкая 1969, 37]. На определенной стадии конструкция с «быть» и дат./род. п. оказывается в дополнительной дистрибуции с конструкцией с глаголом «иметь», что влечет изменение ее исходной семантики. Для славянского ареала типичным является сдвиг от посессивного значения к локативному, для германского — от посессивного к аффективному: *у меня есть / я имею брата, надежду* > *у меня есть надежда, я имею брата* [Смирницкая 1970]. Концепция Маслова—Смирницкой обладает рядом преимуществ по сравнению с более известной в нашей стране и на Западе концепцией А. В. Исаченко, который механически противопоставляет европейские языки с преобладанием непереходных посессивных схем с расширителем типа «у меня» и переходных схем с глаголом типа «иметь».

Близкий работам О. А. Смирницкой подход к становлению новых дативных конструкций в славянских и германских языках обсуждается в статье Ю. С. Степанова [Степанов 1984]; оба автора подчеркивают, что в смешении различных субъектных употреблений индоевропейского дательного падежа важную роль сыграли синтагматические факторы. Однако О. А. Смирницкая основное внимание уделяет анализу деривационных отношений между разными типами дативных конструкций, в то время как Ю. С. Степанов изучает возможность возникновения новых синтаксических моделей на базе межфразовых связей между соседними высказываниями, имеющими общую актантную позицию (конструкция *ἀπό κοινοῦ*).

Тот же круг идей обсуждается в публикациях других авторов, которые, однако, ограничиваются рассмотрением отдельных языков. Попытка учесть их результаты и нарисовать общую картину эволюции непереходных посессивных схем сделана в статьях А. В. Циммерлинга [Циммерлинг 1999, Циммерлинг 2000а]. Можно констатировать, что в некоторых языках и диалектах (древненовгородский, древнесаксонский, древнеисландский, часть норвежских говоров) круг возможных предикатов резко расширяется, глагол существования при этом может осмысляться как связка. В итоге посессивный по происхождению элемент превращается в универсальный расширитель односоставных и двусоставных схем различной семантики. В этой группе диалектов элемент *У МЕНЯ* (resp. герм. *МНЕ*) выражает недифференцированное агентивно-посессивное отношение, ср. рус. диал. *у коты мясы съедено* = *кот съел мясы*; *у него швы наложены* = *ему наложили швы* [Трубинский 1983, 223].

С другой стороны, расширение лексической базы причастий прошедшего времени (ср. рус. диал. *хозяйка уехана*) при ограничении непредикативного употребления (**уеханая хозяйка*) превращает причастия на *-но*, *-то* и севернорусские деепричастия на *-ши* в синтагматические эквиваленты глагола с малодифференцированным результативным значением. При этом семантика высказываний с вербоидом перестает непосредственно отражать направленность действия в коррелирующих с ними глагольных высказываниях. Ср. а) *он уехавши / уехан*; в) *стол поставивши / поставлено* [Обнорский 1953, 157; Кузьмина, Немченко 1971]. В германском данный процесс сдерживается ранней парадигматизацией перфекта с глаголом «иметь», но в ряде языков — немецком, древне- и новоисландском, современных норвежских диалектах — развивается и сохраняется результативная конструкция от непереходных предельных глаголов, которая частично противопоставлена перфекту [Смирницкая 1977, 40, 65; Берков 1983, 198; Lie 1989, 191]. Тенденции к превращению причастий в вербоиды и к расширению функциональной сферы посессивных сочетаний вполне осуществляются лишь в некоторых диалектах, находящихся

на периферии германского и славянского ареала: исландский язык, норвежские диалекты, македонский язык, диалекты русского Севера.

Среди других работ, где затрагивается проблема генезиса посессивных схем, следует выделить статью Х. Василева [Vasilev 1973]; основываясь на анализе функциональной сферы непереходной посессивной конструкции, автор доказал, что в южнославянских языках она является исконной и восходит по крайней мере к славянскому праязыку. Эмпирически важными являются также результаты А. А. Зализняка, который обнаружил непереходную конструкцию с посессивным расширителем *у* в языке древнейших новгородских грамот. При этом для языка грамот конструкция с посессивным беспредложным дат. п. нехарактерна; в то же время она встречается в древнейших южнорусских памятниках, а также в древнейших памятниках западнославянских языков. С учетом этого для славянского праязыка скорее всего следует реконструировать не одну, а несколько поверхностных схем непереходной посессивной конструкции. Для древних германских языков фактов диалектного или синхронного варьирования непереходной посессивной конструкции не обнаружено, поэтому для германского праязыка следует реконструировать единственную поверхностную схему предикатной посессивной конструкции, где субъект обладания маркируется беспредложным дат. п., а объект обладания — им. п.

3.2. Работы об эволюции славянского и германского перфекта.

А. В. Циммерлинг (Циммерлинг 1999а) стремится показать, что для ранних примеров славянского перфекта с *У МЕНЯ* и согласуемым причастием характерно значение «субъектного» результата. Для сходных германских примеров с *МНЕ* более характерно значение «адресатного» или «медиального» результата, ср.:

н.-в.-нем: *Euch* (DAT) *ist heute der Heliand geboren, welcher ist Christus*
Luth II, Luk 2, 11

букв. 'Вам сегодня родился Спаситель, который есть Христос' (обращение к Марии и Иосифу).

Ранним примерам славянского перфекта с *У МЕНЯ* и безличным причастием обычно свойственно значение субъектного результата, ср.:

др.-рус. *да аще оуслышано се будеть оу князя* Усп. сб. 246 б 21—22.
'да услышит князь'.

Типологию развития перфекта с «быть» и косвенным падежом посессора принято усматривать в превращении расширителя *МНЕ / У МЕНЯ* из факультативного в обязательный компонент причастных сочетаний с грамматической направленностью [Маслов 1983, 52; Timberlake 1975, 565]. Имеются ос-

нования объяснять этот синтаксический сдвиг не только внутрисистемными факторами — переосмыслением внутренней формы посессивных сочетаний (данный аспект проанализирован Ю. С. Масловым [Маслов 1949]), — но и изменением сегментации текста.

Непосредственным источником субъектного компонента славяно-германского перфекта с «быть» были причастные конструкции с агентивным дополнением. Наиболее ранние примеры обнаруживаются у самых истоков письменной традиции:

др.-исл. *eini dægri var mér aldr um skapaðr* Sc. 13, 4—5,
букв. ‘до единого дня была мне жизнь отмерена’

др.-рус. новг. *Жизнобоуде погублене оу Сычевиць* (Берестяная грамота 607/562 XI₂ [Зализняк 1995; 167])

Однако в эпоху первых письменных памятников грань, отделяющая эти конструкции от пассивных, неустойчива: позиция элемента МНЕ / У МЕНЯ не зависит от какого-либо одного члена предложения, но является детерминантом всей фразы. Поэтому соответствующие высказывания амбивалентны и им должно быть сопоставлено минимум два толкования:

моя жизнь отмерена — пассив (не сам субъект отмерял свою жизнь);
у меня жизнь отмерена = я имею жизнь отмеренной — перфект (кто отмерил, неясно) [Смирницкая 1970, 74]; .

Жизнобуд погублен в доме Сычевичей — пассив с локативным уточнением;

Сычевичи погубили Жизнобуда — акциональный перфект [Зализняк 1995, 228].

Неоднозначное субъектно-предикатное членение можно объяснить тем, что причастный трансформ соответствует большим отрезкам текста, которые могут оставаться в сверхфразовом единстве эксплицитно невыраженными. Окончательное размежевание ролей субъекта и локативного/бенефактивного дополнения происходит с окончанием младописьменной эпохи, когда модель *У X-а чайник потушен / белья наполощено, У дородного доброго молодца много было на службе послужено* утверждается в коротких текстах, где причастный вербоид может быть единственным предикатом. В севернорусских говорах данный процесс, по-видимому, хронологически совпал с разрушением новгородской государственности и упадком литературной традиции в XV—XVI вв.

3.3. Субъектно-предикатные отношения и механизмы деривации. К числу механизмов, восходящих к дописьменной эпохе, относится образование глагольно-безличных предложений без семантического субъекта (тип #V_{imp}).

Данный тип прослеживается во всем древнем славянском и германском ареале. В древних славянских языках, как показали Й. Зубаты и Б. Гавранек, а также в некоторых древних германских языках переход от двусоставного предложения в односоставному не всегда семантически мотивирован. Реликтами ранней стадии следует считать прежде всего сохранение однословных предложений (подтип # V_{imp} # — ср. рус. моросит, светает) и возможность перехода от двусоставного глагольного предложения к безличному без изменения лексического значения глагола и залоговых отношений, ср. др.-рус. на Дунаеви Ярославнынь глась слышити (Слово о полку Игореве): X слышити Y-а. В историческую эпоху бессубъектные высказывания с глаголом в 3 л. ед. ч. активного залога образуют дополнительную дистрибуцию с конструкциями, специально маркирующими элиминацию актантов, ср. слышити ся, слышно, возможно услышать. Закрепление односоставных высказываний с глаголом в 3 л. ед. ч. за стандартными, формульными контекстами проявляется независимо от типа памятника. Вместе с тем частота данных высказываний и репертуар лексем, допускающих безличное оформление, зависит от жанра текста. Симптоматично, что канцелярской формуле древнерусских грамот пишет в древнеисландской саге — жанре, восходящем к устной традиции, — соответствует формула *segir* 'говорит'.

Данные работ Й. Зубаты, Х. Педерсена, А. Хойслера, Б. Гавранка показывают, что в прагерманском и праславянском, вопреки господствующему мнению, не было так называемых собственно безличных лексем, т. е. предикатов, возможных лишь в рамках односоставного предложения; к сожалению, четкий вывод об этом у большинства названных авторов отсутствует. Общей предпосылкой формирования построения # V_{imp} , действовавшей на протяжении всего дописьменного периода, было то, что глагол не предполагал фиксированного набора актантов. Отсюда, с одной стороны, возможность спорадического сочетания глаголов, преимущественно употребляющихся безлично, с подлежащим в им. падеже — тип **дождь дождит*, старосл. Зогр. Л. 17, 29, с другой — бесподлежащее оформление глаголов, преимущественно употребляющихся в личной конструкции — типа др.-рус. на Дунаеви Ярославнынь глась слышитъ, др.-исл. *veit* букв. 'знает'.

В языках древней церковной традиции — старославянском и готском — некоторые лексемы отмечены только как безличные, хотя не исключено, что мы имели бы и примеры альтернативного употребления, если бы в нашем распоряжении было большее количество памятников. Данные других языков часто указывают на различное географическое распределение конкурирующих моделей. Так, согласно И. Лекову, двусоставный тип *дождь дождит* более частотен в восточнославянском, верхне- и нижнелужицком, односоставный тип *дождит* — в чешском и словацком, в южнославянских языках и в

польском они представлены равномерно [Леков 1967]²². В германском ареале в древневерхнемецком преобладает двусоставный тип (с формальным подлежащим) *es schneit* ‘идет снег’, букв. ‘(оно) снежит’ [Behaghel, II: 127], в древнеанглийском оба типа представлены более равномерно [Колесникова 1974: 10,15], в древнеисландском двусоставный тип при *verba meteorologica* отсутствует [Heusler 1913: 164 сл.; Смирницкая 1972: 65]. С точки зрения типологии синтаксических систем это означает, что в языках типа древневерхнемецкого действует требование на заполнение субъектной позиции предложения, которая замещается семантически пустым элементом — формальным подлежащим, в языках типа древнеисландского действует запрет на её заполнение при безличном глаголе — так называемый принцип синтаксического нуля («нулевой субъектный параметр»), что представляет собой более редкий случай; в системах обоих типов заполнение или вакантность субъектной позиции при *verba meteorologica* служит формальным признаком всех высказываний с данной группой безличных предикатов. В языках типа древнеанглийского заполнение или незаполнение субъектной позиции не является жестким структурным требованием, *verba meteorologica* лишены здесь единых синтаксических маркеров. Большинство славянских языков соответствует именно последнему случаю; как правило, сохраняется возможность факультативного заполнения позиции субъекта, либо, напротив, опущения элемента, выполняющего роль формального или тавтологического подлежащего — ср., с одной стороны, рус. *гремит, сверкает, дождит, снежит, моросит*, с другой — рус. *гром гремит, молния сверкает, снег идет, дождь идет/моросит* и т. п.

И в славянском, и в германском безличное построение часто дают глаголы со значениями начинания/завершения, избыточности/недостаточности, должностования: симптоматично, что семантические группировки «безличных предикатов», выделяемые В. Л. Георгиевой в старославянском и М. Нюгором в древнеисландском, совпадают почти полностью [Nygaard 1906, 14—15; Георгиева 1969, 74]. Тем не менее почти все глаголы данных групп дают и лич-

²² Характеристика западнославянского синтаксиса, которую дает Й. Леков, неточна, так как в пределах одного языка может сохраняться несколько схем реализации одних и тех же предикатных значений. Так, в верхне- и нижнелужицком языках, имеющих формальное подлежащее *wón / wone / wono / to* ‘этот / это, то’, последнее нигде не является обязательным компонентом предложения. Как показал Й. Шустер-Шевц [Schuster-Ševc 1974], все диалекты, использующие для реализации метеорологического предиката «двусоставную» схему с формальным подлежащим, допускают при том же предикате односоставную схему, ср. возвратный глагол *so deščuje* ‘идет дождь’:

а) в.-луж. *Wón no nje deščuje, dokelžje zyma* ‘Дождя нет, так как холодно’, букв. ‘Этот (форм. п.) себе не дождит, так как холодно’;

б) в.-луж. *so nje deščuje, dokelžje zyma* ‘то же’.

ное построение [Ходова 1980, 267], а семантическая сфера модели $\#V_{\text{imp}}$ остается незамкнутой. Наиболее ясно это видно на материале древнеисландской прозы: большой корпус памятников и их разнообразие позволяют установить, что элиминация подлежащего при *любом* двусоставном глаголе дает полные безличные высказывания: $N_{\text{nom}} - V_{\text{fin}} > \#V_{\text{imp}}$, ср.: др.-исл. *ok sá hvárigan stafn frá öðrum* Fr. VI, 4 'и с кормы не было видно носа и наоборот', букв. 'и не видел ни одного штевня (корабля) с другого'.

Нет необходимости соглашаться с мнением Й. Зубаты и Б. Гавранка о том, что славянский тип $\#V_{\text{imp}} 3 \text{ sg}$ (др.-рус. *пишет*, чеш. диал. *ten kraj uvidí u starých lidí* букв. 'тот покрой увидит у старых людей' и т. п.) представляет собой промежуточную зону от двусоставной конструкции к безличной [Zubáty 1954, 450—465; Navránek 1962, 75—76; ср. также Мельничук 1966, 148—149; Ходова 1980, 265]. В то же время Б. Гавранек и его последователи, безусловно, правы в том, что данная модель рано теряет продуктивность и в разных славянских диалектах замещается при помощи разных конструкций — возвратной либо обобщенно-личной с глаголом во 2/3 л. мн. ч. В германских языках аналогичную функцию выполняет формальное подлежащее [Brugmann 1925, 22, Behaghel, II, 139]. Развитие формального подлежащего (*ono/vono, to*) в ряде западнославянских языков (чешский, лужицкие), по мнению ряда исследователей, также обусловлено средне- и новонемецким влиянием, т. е. ареальными контактами славянских и германских языков [Trávníček 1956, 22].

В отдельных языках — в первую очередь в древнеисландском и в древнечешском конструкция $\#V_{\text{imp}}$ удерживается сравнительно долго. Для древнеисландского это объясняется тем, что эпическая традиция не исчезла с появлением письменности: в XIII—XV вв. еще господствуют жанры текста, восходящие к дописьменной эпохе. В языке саг элементарное предложение остается слабо структурированным, поэтому сохраняется синтагматическая предпосылка порождения бессубъектных глагольных высказываний — опущение актанта там, где он восстанавливается из предыдущей части текста или где он коммуникативно нерелевантен. Часть древнечешских высказываний, построенных по модели $\#V_{\text{imp}}$ тоже можно непосредственно объяснить правилами построения крупных фрагментов текста. Другая группа древнечешских примеров, которая обсуждалась чаще, связана с клишированными частями текста. Фр. Травничек высказал мысль о том, что модель $\#V_{\text{imp}}$ использовалась в истории чешского языка для выражения значения «внезапно прерванного действия» [Trávníček 1956, 32]. Это наблюдение верно, хотя данная характеристика имеет отношение не столько к синтаксической семантике модели, сколько к синтагматическим ограничениям на ее реализацию в тексте. В памятниках XIV—XV вв. модель $\#V_{\text{imp}}$ появляется прежде всего в отступлениях от основной линии повествования, комментариях и вводных оборотах.

Нередко при этом реальное положение дел противопоставляется возможному: так, модель #V_{imp} часто реализуется в предложениях условия или долженствования/возможности: др.-чеш. *plovíce tehda z Cypru do Tiru... Připlúti moz jednoho dne a jedné noci* Каб., букв. ‘плывя из Кипра в Тир, приплыть может за сутки’ ≅ ‘можно проплыть за сутки’ или: ‘если кто поплывет, то доплывет за сутки’.

Другое типичное модальное значение — сравнение:

др.-чеш. *by ot břéha pláne taká, jakz by mohl dovrci z praka* Алх., букв. ‘была у берега такая равнина, как будто бы из пращи мог добросить’;

др.-чеш. *jako by řekl Štit*.

букв. ‘как если бы сказал’; т. е. ‘как говорится’, ‘как принято говорить’.

В последних примерах мы имеем дело уже со вторичным использованием модели #V_{imp} и превращением ее в синтаксическое клише, застывшую фразеосхему. Конечную стадию развития показывает современный чешский язык, где схема #V_{imp} допускается лишь в жанре поговорки, т. е. внутри короткого текста, соединяющего актуальное положение дел с родовым:

чеш. *mlčí, jako by mu ústa zašil* букв. ‘молчит, как будто бы ему рот зашил’ (подобные обороты уже воспринимаются многими информантами как устаревшие либо нелитературные);

Единичные примеры фразеосхем с безличным глаголом в форме мужского рода есть и в словацком языке [Pauliny, Ružička, Štolz 1968: 370].

История славянских языков показывает, что лексические и синтаксические ограничения на использование модели #V_{imp} не всегда сопутствуют друг другу. В большинстве языков происходит лексикализация модели, схема #V_{imp} закрепляется за строго определенными лексемами: болг. *може, пише, няма, има* ‘es gibt’, польск. *pisze, nie pisze*, др.-рус. *пишетъ*, укр. *нема*, др.-чеш. *najde, nalezne* ‘man findet’. Критерием лексикализации служит возможность свертывания высказывания до ядерного слова. В древнечешских памятниках XIV—XV вв. круг глаголов, допускающих построение #V_{imp}, довольно широк (не менее 20—30 лексем), однако сама конструкция тяготеет к клишированным частям текста и постепенно превращается во фразеосхему. При этом сохранение глагольной группы (т. е. зависящих от глагола слов) часто является условием правильного распознавания синтаксиса поговорок и клише.

Сходные факты обсуждаются и в ряде других работ, где, однако, полностью отсутствует стадияльная или типологическая перспектива. В целом стадияльное изучение синтаксической парадигматики представляется перспективной и незаслуженно забытой областью исследования славистов и германи-

стов. Достижение конечной цели таких исследований — реконструкция не синтаксических структур как таковых, а параметров их построения — технически трудное, но осуществимое дело.

3.4. Исследования в области порядка слов. Сентенциальные клитики и закон Ваккернагеля. Наиболее часто обсуждавшейся проблемой поверхностного синтаксиса, обсуждавшейся в связи с фактами славянских и германских языков, является сходство принципов линейного упорядочения славянских сентенциальных клитик и финитных форм глагола в германских языках: обе категории элементов имеют фиксированное место и тяготеют к второй позиции от начала предложения, в то время как альтернативные расположения германских глагольных форм / славянских сентенциальных форм либо не допускаются, либо ограничиваются. Сходство германских систем, где есть параметр «финитный глагол не может стоять во второй позиции от начала предложения»²³ (далее сокращенно V2, V= Verbum finitum) и славянских систем, где есть параметр «сентенциальная клитика нормально размещается после первого ударного слова» (далее сокращенно W2, W= Wackernagel clitic), имеет не только синхронно-типологический, но и сравнительно-исторический аспект: предполагается, что финитные формы индоевропейского глагола атонировались в главном предложении и в этом случае примыкали к первому ударному слову, т. е. упорядочивались точно так же, как местоименные и наречные клитики [Wackernagel 1892/1953: 425—430; Delbrück 1911]. Данный принцип, более 100 лет назад открытый Б. Дельбрюком и Я. Ваккернагелем и носящее имя последнего²⁴, иллюстрируется фактами разных индоевропейских

²³ Данный параметр имеется во всех современных германских языках, кроме английского. Более точно, в английском языке есть отдельные эффекты ограничения V2 в вопросительных предложениях и в коммуникативно нейтральных повествовательных предложениях с инверсией субъекта вида XP—V—S, ср. англ. *Not for nothing |took| he reside in a slide area*, однако снят запрет на размещение более одного члена предложения перед глаголом. В исторической перспективе данная особенность английского языка является поздней инновацией. Параметр V2 жестко выдерживается во всех древних германских языках, кроме языка старших рунических надписей (III—VI вв.). Существуют сомнения в том, что германские надписи старшими рунами являются синтаксически связными. См. обсуждение в [Циммерлинг 1999а].

²⁴ Дельбрюк первым открыл данный закон на древнеиндийском материале (что указал в своей статье Ваккернагель [Wackernagel 1892/1953: 402]) и позже пытался подвести под него данные древнеисландского языка. Ваккернагель первым обобщил принцип размещения энклитик как закон построения индоевропейского предложения и подчеркнул, что в каждом индоевропейском языке действуют свои правила рангов, т. е. упорядочения клитик внутри цепочки контактно стоящих клитик. Около 70% статьи Ваккернагеля занимает ана-

языков. Наиболее регулярно он действует в двух классических языках — веди-ческом древнеиндийском и гомеровском древнегреческом. Авторитет данных языков и древность соответствующих памятников послужили источником убеждения, что в индоевропейском праязыке правило клитизации к первому ударному слову фразы, независимо от частеречного статуса сентенциальной клитики и наличия тесной грамматической связи между ней и ударным словом, носило характер формального закона (по мнению А. Мейе — единственного синтаксического закона, развившегося в праиндоевропейский период [Мейе 1938, 369]), а отступления от него объясняются сменой синтаксического типа. Поэтому, с точки зрения классической компаративистики, отдельные эффекты закона Ваккернагеля, наблюдаемые в древних славянских и германских языках, заведомо не могут подтвердить сепаратные синтаксические сходжения двух данных семей, но зато могут свидетельствовать об архаичности грамматического строя в эпоху записи первых памятников.

К сожалению, за последние 100 лет компаративисты так и не представили внятных доказательств того, что ограничение V2 в германских языках генетически восходит к индоевропейскому ограничению W2. Б. Дельбрюк [Delbrück 1911], первым четко сформулировавший принцип V2 как запрет на уход финитного глагола вправо дальше второй позиции от начала независимого повествовательного предложения, исследует в основном контексты появления высказываний с порядком V1 в языке древнеисландской прозы и приходит к выводу, что начальный финитный глагол был ударным, а при порядке V2 мог атонироваться. Однако есть контрпримеры, где финитный глагол несет главный фразовый акцент и при порядке V2. Х. Кун [Kuhn 1933] исходит из предположения, что принцип W2 сохранился в языке скандинавской аллитерационной поэзии, причем финитные формы глагола и эксплетивные частицы *of* и *um* (функционально соответствуют западногерманским превербам) образуют комплементарную дистрибуцию, попеременно занимая позицию в спаде аллитерационного стиха: если глагол коммуникативно выделен, он отодвигается вправо частицами *of* и *um*. Анализ Куна основан на некорректном отождествлении

лиз клитик в древнегреческих памятниках, подробно разбираются также латинские клитики [id., 406—425], упоминаются факты древнеиндийского, древнеперсидского и германских языков [id., 402—405]. Знаменательно, что Ваккернагель начинает свою статью с опровержения ложного объяснения происхождения цепочек др.-греч. $\mu\eta\ \mu\upsilon\upsilon$, дринд. $m\bar{a}\ sma$, данного компаративистом А. Тумбом: автор показывает, что параллелизм расположения $\mu\eta\ \mu\upsilon\upsilon$ и $m\bar{a}\ sma$ следует объяснять не предполагаемым происхождением др.-греч. (гом.) вин. п. $\mu\upsilon\upsilon$ 'его' из $*im + (s)ma$, а общим принципом размещения цепочек клитик после первого ударного слова [Wackernagel 1892/1953: 332—342]. Аналогичный поворот от генетического объяснения к типологическому, как показал опыт лингвистики XX в., характеризует и сдвиги в понимании самого закона Ваккернагеля.

краткой строки аллитерационного стиха и простого предложения и на ложном тезисе о том, что прагерманский язык имел базовый порядок SOV; последний тезис без серьезной аргументации повторяет У. Ф. Леман, который реконструирует порядок SOV для индоевропейского праязыка [Lehmann 1974]. Ср. критику в [Циммерлинг 1999a]. Диссертация Н. Л. Огуречниковой [Огуречникова 1994] предлагает анализ древнеанглийских модификаторов глагола как фразовых частиц, т. е. в индоевропейской перспективе, как сентенциальных клитик, размещавшихся в соответствии с законом Ваккернагеля и не имевших фиксированного места по отношению к форме глагола. Автору удается показать, что древнеанглийские модификаторы *be*, *ymb*, *tō* в памятниках IX—XI вв. не являлись чистыми превербными или поствербными и могли занимать разное место в глагольно-объектных синтагмах, выступать как в роли приставок/предлогов, так и в роли послелогов/поствербов. Таким образом, категоризация др.-англ. *be*, *ymb*, *tō* как «фразовых частиц» имеет под собой основания. Однако из приводимого материала недвусмысленно вытекает, что дистрибуция древнеанглийских фразовых частиц на синхронном уровне не удовлетворяет принципу W2, так как между ними и другими слабоударными элементами могут помещаться ударные члены предложения. Ср. наряду с др.-англ. *him bēah tō* «ему (под)чинился *nod*», *him tō bigon* «ему *nod* чинились» пример др.-англ. *ond him bēah | eall folc | tō* «и им (под) чинился | весь народ | *nod*», где между E = *him*, V^c = *bēah* и P1 = *tō* вклинивается ИГ *eall folc* «весь народ».

Таким образом, приходится констатировать провал германистов и индоевропейцев в двух направлениях: 1) им не удалось удовлетворительно объяснить порядок V2 в терминах фразовой просодии/атонирования финитного глагола на примере какого-бы то ни было реально засвидетельствованного германского языка 2) им не удалось показать, что спад предложения мог быть занят словами других классов, помимо глагола. Поэтому вызывает удивление легкость, с которой С. Андерсон [Anderson 1993] и его последователи объявляют ограничение V2 «застывшим принципом W2». Можно допустить, что унификация места ударного и безударного глагола является результатом грамматической аналогии, но никакой аналогией нельзя объяснить переход от системы, одинаково размещающей все слабоударные элементы предложения, к системе, чувствительной к позиции единственного типа клитик — финитного глагола.

Главным эмпирическим открытием славистов в реферируемой области мы признаем данное А. А. Зализняком описание сентенциальных клитик в древненовгородском диалекте [Зализняк 1993, Зализняк 1995]. Автор не только вывел правила рангов новгородских клитик и доказал, что древненовгородский диалект XI—XIV вв. строго следовал принципу W2, но и объяснил феномен отхода клитик вправо дальше второй позиции структурными и коммуникатив-

ными факторами. Древненовгородские тексты (берестяные грамоты, диалогические фрагменты летописей) подтвердили предположение, что размещение клитик после первого ударного слова — естественная стратегия развертывания устного сообщения. Но даже в памятниках, наиболее близких к устной речи, сентенциальные клитики и цепочки клитик не могут быть предметом логико-семантических операций (контраст, сочинение, противопоставление, добавление). Если высказывание с цепочкой клитик начинается с коммуникативно выделенного элемента, «вакернагелевская область» сдвигается вправо. Ср. в *недоворехъ* (вынесенный топиальный элемент) // *плати ми сѧ животиноу* [Зализняк 1993, 288]. Тем самым значительная часть контрпримеров, выдвигавшихся против отнесения древних славянских языков к типу W2, была снята. После работы Зализняка стало очевидно, что поддержание принципа W2 не скоррелировано с сохранением генетического состава сентенциальных клитик; так, энклитические местоименные формы дат. п. *ми, ти, си* являются индоевропейскими, а энклитические местоименные формы вин. п. *мя, тя, ся* являются общеславянской инновацией. Однако на синтаксическом поведении оно не отражается²⁵. Тот же подход следует распространить на клитики, возникшие в отдельных славянских языках в более позднее время. К примеру, в сербохорватском, болгарском и македонском вспомогательный глагол будущего времени «хотеть» превратился в клитику (болг. *ще*, мак. *ќе*, србхрв. *ће*).

Главными теоретическими достижениями славистов в реферируемой области мы считаем акцентную классификацию раннеславянской лексики, предложенной Р. О. Якобсоном [Jakobson 1935] и признание современных южнославянских и западнославянских языков в качестве живых языков типа W2. Тем самым закон Вакернагеля окончательно перестал восприниматься как теоретический конструкт, постулированный для отдаленного праязыка. Этот сдвиг следует занести в актив авторам коллективной монографии «Клитики в языках Европы», подготовленной в рамках проекта EuroType [Clitics]. Вместе с тем данная монография страдает органическими недостатками, проистекающими из узкой теоретической базы — грамматики Хомского: описание неполно, часто поверхностно, многие авторы трактуют правила размещения клитик не как автономный механизм линеаризации, а как довесок к формальным правилам, порождающим дерево предложения²⁶.

²⁵ Ср. выше пример обратного распределения из древнеанглийского языка, который сохранил древние фразовые частицы *be*, *umb* и *ið*, но не трактует их как сентенциальные клитики.

²⁶ Наглядным проявлением этого служит уже базовое терминологическое разграничение *простых* и *специальных* клитик, расходящееся с принятым в традиционной европейской лингвистике разграничением *сентенциальных* и *локальных* клитик. *Специальными* клитиками современные формалисты называют любые элементы, занимающие позиции,

В статье [Jakobson 1935] предложено различать ортонические словоформы, всегда сохраняющие ударение, клитики²⁷, и энклиноменальные, т. е. атонируемые формы. По интерпретации Якобсона, лишь ортофонические формы имеют «фонологическое», т. е. подлинное словесное ударение. Данная кон-

зарезервированные за слабоударными словоформами и недоступные полноударным словоформам; данный класс, таким образом, шире класса сентенциальных клитик, объединяющего слабоударные элементы, относящиеся не к определенной составляющей предложения, но ко всей предикации в целом. Класс *простых* клитик примерно совпадает с классом локальных клитик. Сюда относятся неизменяемые неаргументные и непредикатные слова с модальным и дейктическим значением, не являющиеся обязательными компонентом схемы предложения и в традиционной грамматике называемые частицами, ср. рус. *же, ли, то*. Локальные клитики или локальные частицы в структурно-семантическом плане жестко соотнесены со смежными элементами; поэтому в формальной грамматике их удобно задать путем операции вставки между ранее упорядоченными полноударными элементами предложения (что заведомо невозможно применительно к сентенциальным клитикам). Согласно теориям европейских генеративистов (А. Хольмберг, А. Кардиналетти, М. Штарке), противопоставление специальных клитик полноударным элементам можно задать как тернарное, добавив в качестве промежуточного звена так называемые *слабые* категории, графически омонимичные полноударным, но атонируемые в определенных позициях. На практике, однако, в научной литературе обсуждалась графическая омонимия одного класса слов — местоимений; трудно отделаться от ощущения, что различие «слабых», «сильных местоимений» держится лишь на неполном соответствии письменной и устной нормы тех современных литературных романских и германских языков, где «местоименные клитики» официально не признаны в качестве особого класса выражений. При этом в качестве эталона берется письменный вариант литературной нормы. А. Кардиналетти и М. Штарке пытаются доказать, что «слабые» местоимения объединяются с клитиками и всегда занимают в структуре предложения позиции, отличные от позиций «сильных», однако Л. Хеллан и К. Платцак это отрицают, ссылаясь на факты современных скандинавских языков, где различие между местоименными и неместоименными аргументами более релевантно для линейной схемы предложения, чем различие между разрядами местоимений. Ср. примеры из норвежского языка: норв. *Ola gav [henne/a] ikke appelsinen* 'Ула не дал ей/е (1) апельсин' букв. 'Ула дал ей/е не апельсин', где ИГ *appelsinen* 'апельсин' предшествует отрицанию *ikke*, а просодический тип местоименного косвенного дополнения нерелевантен, и пару примеров норв. *Ola gav henne (1) den (2) ikke* 'Ула дал ей (1) его (2) не' = норв. диал. *Ola gav 'a (1) 'n (2) ikke* 'Ула дал'ей (1)'во (2) не', где цепочка из двух любых слабоударных местоименных дополнений, независимо от их длины, будет стоять перед отрицанием. Сомнения возникают и при анализе языков с более свободным порядком слов, чем норвежский. Так, для разговорного русского характерны местоименные формы дат. п. *те* и *се*, которые обычно ведут себя как клитики. Но отсюда едва ли следует, что надо постулировать для них особые позиции в парах типа рус. *Что те надо, парень?* vs рус. *Что тебе надо, парень?*, *А он се (= себе) в ус не дует*, ср. также примеры с выносом *те /Тебе* в начало предложения *Те чо надо?* vs *Тебе чо надо?* и т. п.

²⁷ В праславянском языке к классу про- и энклитик относилось около 50 элементов.

цепщия получила плодотворное развитие в славистике и русистике, см. работы В. А. Дыбо и А. А. Зализняка, упомянутые выше в разделе 2. Вместе с тем, попутно в данной работе Р. А. Якобсон высказал ряд спорных и неverified утверждений о связи параметров звукового и грамматического строя. Так, Якобсон утверждал, что исчезновение сентенциальных клитик в части славянского ареала есть прямое следствие изменения фонетической природы словесного ударения от музыкального к динамическому. Еще более спекулятивный характер носит тезис Якобсона о том, что все предложения праславянского языка были на глубинном уровне двусоставными, поскольку финитные и согласовательные категории могли выражаться формами связки «быть», в то время как развитие односоставных предложений в восточнославянских языках обусловлено опущением связки. Все эти идеи интересны сами по себе, но не способствуют оптимальному описанию славянских клитик.

Монография [Clitics] изобилует априорными утверждениями иного рода. В центре внимания авторов — вопросы формального порождения сентенциальных клитик и разграничение компетенции просодики и синтаксиса. Часть ученых полагает, что на глубинном уровне цепочки клитик порождаются в правой части предложения и затем переносятся во вторую, «ваккернагелевскую», позицию путем операции перемещения (movement). Такого рода операции признаются собственно синтаксическими. Другая часть ученых полагает, что цепочки клитик надстраиваются над первым ударным словом предложения (right adjointment); такого рода операции называются просодическими, поскольку грамматика Хомского запрещает линейное перемещение категорий слева направо²⁸. Подобного рода псевдопроблемы отвлекают от осмысления реальных различий между славянскими языками и вносят сумбура в изложение, тем более что авторы коллективной монографии не придерживаются единой точки зрения. К примеру, болгарская исследовательница М. Димитрова-Вулканова ратует за «синтаксическое» объяснение дистрибуции бол-

²⁸ Более экстравагантный подход пропагандирует типолог С. Андерсон. В работе [Anderson 1993] все правила упорядочения элементов предложения, включая эффекты закона Ваккернагеля, отнесены к компетенции... морфологии. Это причудливое решение, как утверждает автор статьи, внушено аналогией между линейной схемой предложения в языке с жестким порядком слов (ср. английский, датский) и структурой знаменательного слова с большим количеством аргументных аффиксов в языках, чувствительных к ролевой семантике актантов (навахо, дырбал). Между структуралистскими теориями структуры слова (Ф. Боас, С. Андерсон) и схемы предложения (П. Дидериксен, С. Н. Кузнецов) действительно есть сходство, но оно вносится не морфологической природой предложения, а использованным эвристическим приемом — описывать сложные объекты, имеющие линейную протяженность, в качестве матрицы или базы данных, устроенной по типу телефонной книги, где каждый элемент имеет свою «клетку» или «столбец».

гарских и македонских клитик, признавая возможность объяснения сербохорватских и чешских в просодических терминах. Напротив, Д. Чавар и К. Уайлдер, описывающие (сербо)хорватский язык, убеждены, что клитики необязательно составляют с начальным элементом единую тактовую группу, поэтому синтаксическое объяснение является единственно возможным. Статья Чавара и Уайлдера называется «Клитики на третьем месте в хорватском языке»; материал работы заставляет думать, что позиция клитик определена неверно, и они упорядочиваются не относительно начала независимого финитного предложения, а относительно начала произвольной предикативной группы. Как в сербохорватском, так и в других южно- и западнославянских языках зарегистрированы колебания в размещении отдельных клитик и их цепочек; большинство из них можно удовлетворительно объяснить описанными А.А.Зализняком на новгородском материале эффектами «барьера».

Факультативными коммуникативными барьерами в современных славянских языках служат начальные группы с топикальным²⁹, кванторным и ограничительным значением. Ср. с.-хорв. [u njegovi motornom čamcu] (1) *se*-Cl (2) *mogu odvesti izwan grada* букв. '[на его моторной лодке] (1) *ся* (2) можно отправить из города' → [u njegovi motornom čamcu] (1) // [mogu] (2) *se*-Cl (3) *odvesti izwan grada*. Грамматикализованными барьерами, разбивающими цепочки клитик или нарушающими их порядок, служат определенные категории предложения, например, отрицание в болгарском³⁰. Ср. примеры, приводимые М. Димитровой-Вулкановой [Clitics: 95]. *Майка* (1) [*не* (2)] *го*-Cl (3) *пуска* 'мать (1) / [*не* (2)] / *не* (3) его (2) отпустила'. Исходный порядок *Майка* (1) *го*-Cl (2) *не* (3) *пуска* 'мать (1) его (2) не (3) отпустила', как указывает автор, по-прежнему сохраняется в ряде болгарских диалектов; тем самым, отрицание *не* в этих диалектах барьером не является. Возмущающее влияние, кроме того, оказывают некоторые контексты с однородными членами, эллипсисом или

²⁹ Правило, разрешающее помещать в болгарских общих вопросах перед цепочкой клитик группы вида [ИГ + глагол] и [ИГ + союз], скорее всего, нужно интерпретировать как грамматикализованный барьер, так как предложения обсуждаемого типа открываются топикальной ИГ, ср. блг. *Книгата*, // *даде ли му я?* 'Дал ли ты ему эту книгу?', букв. 'Эта книга; // дал-ты ли ему ee₁?', блг. *Книгата*, // *дали му я дадоха?* 'Дали ли ему эта книга?', букв. 'Эта книга // ли ему ee₁ дали-они?'. Наша интерпретация поддерживается тем, что повествовательных предложениях группы вида [ИГ + глагол] перед цепочкой клитик запрещаются, ср. *блг. *Книгата*, // *дал съм му я?* 'Я дал ему эту книгу', букв. 'Эту книга; // дал есмь ему ee₁' [Clitics: 92].

³⁰ В древнегреческом языке отрицание тоже вело себя как барьер, отодвигающий местоименные клитики на шаг вправо, что установил уже сам Ваккернагель, который квалифицировал примеры типа Р 410 *vñv δ'* / *oñ-Neg* / *oi* не как исключение, а как частный случай реализации своего закона [Wackernagel 1892/1953: 336].

сменной подлежащего, ср. с.-хорв. *Ivan ga-Cl-ARG (1) je-Cl-AUX (2) vidio* ‘Иван его (1) *связка* (2) видел’, местоименная клитика предшествует связке, но *Ivan_i je-Cl-AUX vidio auto*, [*i pro_i kupio je-Cl-AUX (1) ga-Cl-ARG (2)*] ‘Иван_i *связка* видел машину [и про_i; купил *связка* (1) её (2)]’. *Ivan_i je-Cl-AUX vidio auto*, [*a Stanko_i kupio je-Cl-AUX (1) ga-Cl-ARG (2)*] ‘Иван_i; *связка* видел машину [а Станко_i; купил *связка* (1) её (2)]’. Станным образом, Д. Чавар и К. Уайлдер, приводя эти примеры в разделе об условиях сочинения синтагм с клитиками, оставляют без внимания тот основополагающий факт, что во втором конъюнкте систематически нарушается правило рангов клитик [Clitics: 454—455]. Помимо барьеров, сфера действия основного правила Ваккернагеля, предписывающего размещать сентенциальные клитики / цепочки клитик после первого ударного слова, сужается из-за запретов на дистантное размещение некоторых составляющих, например относительного придаточного с ограничительным значением и его антецедента, ср. с.-хорв. [*Djevojka_i [koju_i Ivan voli]*] (1) *je-Cl-AUX (2) fina* ‘[Девушка_i; [которую_i; Иван любит] (1) *связка* (2) хорошенькая’, но не *[*Djevojka_i; (1) je-Cl-AUX (2) [koju_i Ivan voli]*]] *fina*³¹. Существуют также запреты, связанные с извлечением клитик из состава зависимой предикации в состав главной. Подобные явления статистически ограничивают число случаев, подпадающих под основное правило W2, но не могут поколебать того факта, что в южнославянских языках, чешском и словацком закон Ваккернагеля является не реликтом, а действующим механизмом. Главное подтверждение мы видим в том, что в перечисленных языках нет более грамматикализованного механизма линейного упорядочения. Попытки доказать обратное и вывести позицию клитик на основе генеративной теории перемещения глагола (*verb movement*) заведомо непродуктивны не только применительно к славянским, но и применительно к германским языкам.

Для германских языков анализ слабоударных местоименных и действительных элементов как сентенциальных клитик апробирован в работе [Циммерлинг 1999b]. Автор показал, что их распределение в древнескандинавском языке непосредственно объясняется эффектами закона Ваккернагеля. При контактном расположении клитик действует правило рангов, местоименные клитики стоят до действительных клитики *nú* ‘вот, теперь’ и *þá* ‘тут, тогда’, а адвербиальные клитики — после них³². В данном языке порядок слов может

³¹ Дистантное расположение в сербохорватском разрешается, в частности, для бинарных групп вида [атрибутивное прилагательное + ИГ] [детерминатив + ИГ], и [посессивный детерминатив + ИГ], [детерминатив + ИГ], [имя + фамилия]. Соответственно, все эти группы допускают вставку клитики после первого элемента.

³² Ср. примеры на правило рангов: при наличии цепочек из клитик в спаде древнеисландского предложения словоформы личных и возвратных местоимений стоят левее *nú* / *þá*, а поствербы, отрицания и локативные наречия — правее:

быть квалифицирован как свободный, есть единственное ограничение V2: финитный глагол может занимать в независимом повествовательном предложении как вторую, так и первую (начальную) позицию. Место клитик *nú* и *þá* зависит от места, которое занимает глагол. При порядке Субъект — Глагол они не могут занимать вторую позицию, поскольку это нарушит принцип V2. При порядке Глагол — Субъект частица может занимать как вторую, так и третью позицию. Препозиция глагола в древнеисландском языке чаще всего связана с дислокацией ремы.

SV		VS	
SV <i>nú</i> / <i>þá</i> X _R	*S <i>nú</i> / <i>þá</i> V X _R ;	V _{R1} <i>nú</i> / <i>þá</i> S X _{R2} ~	~ V _{R1} S <i>nú</i> / <i>þá</i> X _{R2}

Таким образом, при порядке V1 частицы *nú* / *þá* могут либо стоять на своем законном (втором) месте, либо сдвигаться вправо. Такой эффект может быть объяснен правилом барьера: если в предложении с начальным глаголом имеется полноударное неместоименное тематическое подлежащее, оно отодвигает клитики на шаг вправо. Если постпозитивное подлежащее представлено слабоеударным местоимением, оно ведет себя как клитика и открывает цепочку клитик. Наиболее последовательно описанная система прослеживается по памятникам древнеисландских саг XIII—XIV вв., однако рефлексы закона Ваккернагеля прощупываются по памятникам скандинавских диалектов по крайней мере до конца XVI в.

Современных литературных германских языков и диалектов, где закон Ваккернагеля важен для упорядочения всего предложения, видимо, не существует, несмотря на уверения К. Хупер в обратном [Clitics: 713³³]. В норвежской и немецкой литературных нормах поддерживаются особые правила размещения аргументных клитик, которые восходят к правилу рангов; данные правила, однако, действуют в рамках узкого участка предложения и не привязаны к позиции W2. Ближе к славянским и древнескандинавским системам системы, действующие в ряде норвежских диалектов. Так, в говоре Осло, как

X <i>nú</i> / <i>þá</i>	<i>nú</i> / <i>þá</i> Y
Vil ek <i>nú</i> at vit farim <i>báðir</i> til Noregs (Far 93)	ok er Ragnhildr <i>nú</i> þar eftir , ok er hun flytt til byggða (Far 93)
Хочу я теперь , чтобы мы поехали в Норвегию оба	и <i>остаётся</i> Р. теперь там после , и её увозят на хутор

³³ К. Хупер в указанном месте обсуждает распределение клитик в швейцарских диалектах Берна и Цюриха, где эффекты закона Ваккернагеля прослеживаются прежде всего в придаточном предложении. В данных диалектах закрепилось тернарное различие нередуцированных личных местоимений, проклитик и энклитик.

и в других германских языках, в общих вопросах порядок #VSO обязателен, при этом полноударные дополнения в данном говоре стоят правее отрицания #VSNegO_{NP}, а объектные клитики предшествуют отрицанию #VSO_{Clit}Neg. Объектная клитика не может присоединяться к постпозитивному подлежащему, если оно представлено полноударной ИГ (*#VSN_{NP}O_{Clit}Neg), ср. неграмматичное предложение норв. диал. *Så Peter 'a ikke?* 'Видел ли ее Петер?', букв. 'Видел Петер=ю не?'. Если подлежащее представлено клитикой *n'* (= *han* 'он'), цепочка клитик занимает вторую, «ваккернагелевскую», позицию, что дает правильное предложение #VSO_{Clit}O_{Clit}Neg, ср. норв. диал. *Så=n'=a' ikke?* букв. 'Видел=n=ю не?'. Данная картина тривиально объясняется тем, что подлежащая неместоименная ИГ *Peter* 'Петер' образует лишнюю тактовую группу, отодвигая объектную клитику, которая в силу формального запрета на порядок OS не может занять второе место (**Så=a' Peter ikke?*) недопустимо далеко от управляющего ей начального глагола. Напротив, в невопросительных предложениях с начальным ударным подлежащим норв. диал. *Peter // så=a' ikke* 'П. её не видел', проблема взаимного упорядочения S и O_{Clit} не возникает, поэтому ИГ *Peter* естественно трактовать как грамматикализованный барьер, отодвигающий клитику вправо³⁴.

Прогресс в сопоставительно-типологическом описании славянских и германских сентенциальных клитик, по нашему убеждению, связан с отказом от ложных установок, не оправдавших себя в лингвистике XX в. Необходимо отказаться от бесплодных попыток объяснять принцип V2 в германских языках в терминах фразовой просодии и признать, что закон Ваккернагеля совместим с наличием формально-синтаксических ограничений; необходимым условием его функционирования является не полное отсутствие запретов на те или линейные порядки, а наличие большого количества альтернатив, переносящих элементы предложения в начальную позицию. Противопоставление так называемых просодических и так называемых синтаксических объяснений непродуктивно. Закон Ваккернагеля при любых условиях должен быть признан синтаксической идеализацией. Запечатленная в гомеровском древнегреческом и древненовгородском языках «эталонная» система, где в большинстве случаев сентенциальная клитика стоит после первого ударного слова независимо от его синтаксической функции, основана на не менее сложном категориальном обобщении начальной ударной группы как «произвольной синтаксической категории», чем система современного болгарского или современного сербохорватского языков, где начальная группа получает некоторую формально-

³⁴ Показательны трудности, с которыми сталкиваются Л. Хеллан и Кр. Платцак, ищущие альтернативного объяснения в теории перемещения финитного глагола [Clitics: 137—138].

синтаксическую маркировку в силу запрета на разрыв сложных ИГ определенного вида, ср. србхрв. *[*Djevojka*_i (1) *je*-Cl-AUX (2) [*koju*_i *Ivan voli*])] *fin*. Сфера применения эффектов барьера (А. А. Зализняк) и развитие формально-синтаксических ограничений в языках, где действует закон Ваккернагеля, должны стать предметом интенсивного исследования, которое поможет оценить естественные пути эволюции порядка слов в германских и славянских языках.

Еще один ресурс мы видим в пересмотре соотношения формальных и коммуникативно-семантических аспектов функционирования клитик. Когда утверждают, что неспособность открывать предложение и употребляться изолированно — словарно заданная черта клитик, проистекающая из их особой просодической природы, это не вызывает возражений, поскольку данные синтаксические свойства клитик вполне выявляются в рамках предложения или даже произвольной замкнутой синтаксической группы, меньшей, чем элементарное предложение. Но когда словарными характеристиками клитик объявляются такие особенности их употребления, как неспособность быть в фокусе контраста и согласовываться с полноударными членами предложения или другими клитиками (новг. *хлеб ти ся дал*, но не **ти и ми дал*, **ти и Ивану дал*, *ти дал*, **а Ивану не дал*), такой подход ведет в тупик, поскольку дискурсивные явления искусственно загоняются в теорию предложения. Между тем все до сих пор описанные факты, от работы Ваккернагеля до работ Зализняка, свидетельствует о том, что закон Ваккернагеля характеризует не синтаксическую структуру независимо от ее коммуникативной интерпретации (доводом *ad reversum* служат огрехи [Clitics: 713] и других работ того же плана), но коммуникативно немаркированную стратегию развертывания устного сообщения в нарративном тексте, при этом вряд ли существует хотя бы один язык, в котором стратегия группировки всех сентенциальных клитик в спаде предложения была бы единственно возможной.

Таким образом, современное состояние знаний к началу XXI в. побуждает заключить, что для адекватного объяснения своеобразия языков, в которых действует или действовал закон Ваккернагеля, требуется отказ как от ортодоксальной генеративной грамматики, так и от не оправдавших себя стереотипов компаративистики.

Литература

- Адмони 1988 — Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. 1988.
 Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Общая лингвистика: Пер. с фр. М., 1974.
 Берков 1983 — Берков В. П. Результатив, пассив и перфект в норвежском языке // Типология результативных конструкций. Л., 1983, 197 — 204.

- Берков 1996 — *Берков В. П.* Современные германские языки. СПб., 1996.
- Бернекер 1913 — *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch: A — mor-. Heidelberg, 1908—1913.
- Бернштейн 1961 — *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Бондарко 1977 — *Бондарко Л. В.* Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
- Борковский, Кузнецов 1963 — *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1963.
- Вернер 1979 — *Вернер Г. К.* Взаимодействие тональной и фонемной систем в современных енисейских языках // Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. Л., 1979.
- Винарская, Лепская, Богомазов 1977 — *Винарская Е. Н., Лепская Н. И., Богомазов Г. М.* Правила слогаделения и слоговые модели (на материале детской речи) // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. Вып. 8. М., 1977.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. 1. Тбилиси, 1984.
- Георгиева 1969 — *Георгиева В. Л.* Безличные предложения по материалам древнейших славянских памятников (особенно старославянских) // *Slavia*. 1969. 38, 63—90.
- Герценберг 1979 — *Герценберг Л. Г.* Реконструкция индоевропейских слоговых интонаций // Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков. Л., 1979.
- Герценберг 1981 — *Герценберг Л. Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
- Гухман 1994 — *Гухман М. М.* Готский язык. М., 1994.
- Домашнев, Смирницкая 1992 — *Домашнев А. М., Смирницкая С. В.* [Рец. на:] Berend, Jędrig 1991 // Известия АН СССР, Серия литературы и языка. 1992, № 5.
- Донгаузер 1986 — *Донгаузер В. П.* Некоторые фонемные отношения в смешанной фонологической системе // Реализация языковых единиц в тексте. Свердловск, 1986.
- Донгаузер 1987 — *Донгаузер В. П.* Фонологическая и морфонологическая характеристика вокализма при двуязычии (на материале франкского говора) // Межуровневые связи в синхронии и диахронии. Свердловск, 1987.
- Дыбо 1978 — *Дыбо В. А.* Тонологическая гипотеза генезиса индоевропейских акцентных систем // Конференция «Проблемы реконструкции» 23—25 октября 1978: Тезисы докладов. М., 1978.
- Дыбо 1981 — *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. М., 1981.
- Дьяконов 1967 — *Дьяконов И. М.* Языки древней Передней Азии. М., 1967.
- Журавлев 1986 — *Журавлев В. К.* Диахроническая фонология. М., 1986.
- Зализняк А. А. 1993 — *Зализняк А. А.* К изучению языка берестяных грамот // *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте; из раскопок 1984—1989 гг. М., 1993.
- Зализняк 1995 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М.: Гнозис, 1995.
- Златоустова, Потапова, Трунин-Донской 1986 — *Златоустова Л. В., Потапова Р. К., Трунин-Донской В. Н.* Общая и прикладная фонетика. М., 1986.
- Иллич-Свитыч 1971 — *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Т. 1. М., 1971.

- Иоганзен 1985 — *Иоганзен Т. Б.* Звуковой строй северобаварского диалекта в СССР. Одесса, 1985.
- Июль 1923 — *Jokl N.* Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen. Berlin, 1923.
- Калнынь 1967 — *Калнынь Л. Э.* Типология звуковых различий в нижнелужицком языке. М., 1967.
- Калнынь, Масленникова 1985 — *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Опыт изучения слога в славянских диалектах. М., 1985.
- Касаткин 1995 — *Касаткин Л. Л.* Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древнерусском и праславянском языках, связанные с противопоставлением согласных по напряженности/ненапряженности // Вопросы языкознания. 1995. № 2.
- Кацнельсон 1936 — *Кацнельсон С. Д.* К генезису номинативного предложения. М.; Л., 1936.
- Кацнельсон 1966 — *Кацнельсон С. Д.* Сравнительная акцентология германских языков. Л., 1966.
- Клычков 1966 — *Клычков Г. С.* К типологии фонологических систем (исландский консонантизм и скандинавские тоны) // Структурно-типологическое описание современных германских языков. М., 1966.
- Колесов 1980 — *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
- Колесникова 1974 — *Колесникова Л. А.* Семантико-синтаксический анализ предложений с *verba* и *nomina meteorologica* древнеанглийского языка. АКД. Л., 1974.
- Кузьменко 1968 — *Кузьменко Ю. К.* Аффрилаты и сибиллянты в шведских диалектах // Тезисы докладов 4-ой всесоюзной конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. Петрозаводск, 1968.
- Кузьменко 1971 — *Кузьменко Ю. К.* Исландские палатальные смычные // Тезисы докладов 5-ой всесоюзной конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. Ч. 2. М., 1971.
- Кузьменко 1973 — *Кузьменко Ю. К.* Палатализация дентальных в скандинавских языках // Скандинавский сборник. Т. 18. Таллин, 1973.
- Кузьменко 1978 — *Кузьменко Ю. К.* Судьба исконных противопоставлений /l—/ll/ и /n—/nn/ в скандинавских языках // Скандинавская филология «Scandinavica». № 3. Л., 1978.
- Кузьменко 1991 — *Кузьменко Ю. К.* Фонологическая эволюция германских языков. Л., 1991.
- Кузьмина, Немченко 1971 — *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.
- Леков 1967 — *Леков И.* Колебания между подложна и безподложна сказуемост при т. н. безлични изречения в славянските езици // *Slavia slovaca*. 1967. Roč. 2, 4, 321—326.
- Лекомцева 1968 — *Лекомцева М. И.* Типология структур слога в славянских языках. М., 1968.
- Мартынов 1963 — *Мартынов В. В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.
- Маслов 1949 — *Маслов Ю. С.* К вопросу о происхождении possessивного перфекта // Ученые записки Ленинградского университета. 1949. № 97. Сер. филол. наук; вып. 14, 76—104.

- Маслов 1983 — *Маслов Ю. С.* Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983, 41—54.
- Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Мейе А. 1951 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.
- Мельников 1997 — *Мельников А. С.* Особенности становления изохронии в исландском // XIII Конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии: Тезисы докладов. Петрозаводск, 1997.
- Мельничук 1966 — *Мельничук О. С.* Развитие структуры словянского предложения. Киев, 1966.
- Минлос 2001 — *Минлос Ф. Р.* Об одном нетривиальном фонетическом соответствии (рус. *вѣх*, зап.-укр. *весь*, морав. *veš*) // *Die Welt der Slaven*. 2001. Bd. 46.
- Николаев 1993 — *Николаев С. Л.* Отражение германского ударения в датском // *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии: Словарь. 1993.
- Никуличева 1996 — *Никуличева Д. Б.* Характерологические расхождения между датским, шведским и норвежским языками в синтагматике группы глагола // Скандинавские языки. Вып. 3. М., 1996.
- Обнорский 1953 — *Обнорский С. П.* Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
- Огуречникова 1994 — *Огуречникова Н. Л.* Участие просодических факторов в организации синтаксических моделей с частицами *VE* и *YMB* (на материале древнеанглийского языка). АКД. М., 1994.
- Пауль 1960 — *Пауль Г.* Принципы истории языка: Пер. с нем. М., 1960.
- Попов 1986 — *Попов В. С.* Словесное ударение современных немецкого и русского языков. Сопоставительные исследования семантического взаимодействия единиц разных уровней в системах немецкого и русского языков. Тула, 1986.
- Потапова 1986 — *Потапова Р. К.* Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.
- СГГЯ — Сравнительная грамматика германских языков. Т. 2. М., 1962.
- Смирницкая 1969 — *Смирницкая О. А.* Архаизмы и инновации в древнеисландском синтаксисе (на материале двух глагольных конструкций) // Вестник Московского университета. 1969. № 4, 30—40.
- Смирницкая 1970 — *Смирницкая О. А.* Семантическое взаимоотношение глаголов «НАФА» и «VERA» в древнеисландском // Вестник Московского университета. 1970. № 5, 69—74.
- Смирницкая 1977 — *Смирницкая О. А.* Эволюция видо-временной системы в германских языках // Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола. М., 1977, 5—127.
- Смирницкий 1955 — *Смирницкий А. И.* Древнеанглийский язык. М., 1955.
- Стеблин-Каменский 1953 — *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М.; Л., 1953.
- Стеблин-Каменский 1966 — *Стеблин-Каменский М. И.* Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966.
- Стеблин-Каменский, Воронкова 1974 — *Стеблин-Каменский М. И., Воронкова Г. В.* Фонема — пучок РП? // *Стеблин-Каменский М. И.* Спорное в языкознании. Л., 1974.
- Степанов 1984 — *Степанов Ю. С.*оборот *земля пахать* и его индоевропейские параллели // Известия АН СССР; Сер. литературы и языка. 1984. Т. 43. № 2.
- Трофимович 1977 — *Трофимович К. К.* Серболужицкий язык // Славянские языки. М., 1977.

- Трубинский 1983 — *Трубинский В. И.* Результатив, пассив и перфект в некоторых русских говорах // Типология результативных конструкций. Л., 1983, 216—226.
- Фасмер 1986 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1986.
- Ходова 1980 — *Ходова К. И.* Простое предложение в старославянском языке. М., 1980.
- Циммерлинг 1999 — *Циммерлинг А. В.* Посессивные конструкции в эдических памятниках // Атлантика. 1999. № 4.
- Циммерлинг 1999а — *Циммерлинг А. В.* Древнегерманский как язык SOV? // Языковая система и речевая деятельность. № 2. Санкт-Петербург, 1999.
- Циммерлинг 1999б — *Циммерлинг А. В.* Порядок слов и синтаксические позиции // Труды международного семинара «Диалог 1999» по компьютерной лингвистике и её приложениям / Под ред. А. С. Нариньяни. Казань, 1999.
- Циммерлинг 1999с — *Циммерлинг А. В.* Между синхронией и диахронией: просодические противопоставления в скандинавских языках // Проблемы фонетики. № 3. М., 2000.
- Циммерлинг 2000 — *Циммерлинг А. В.* Между синхронией и диахронией: просодические противопоставления в скандинавских языках // Проблемы фонетики. № 3. М., 2000.
- Циммерлинг 2000а — *Циммерлинг А. В.* Текст — высказывание — слово: автономность слова как параметр исторического синтаксиса // Славяно-германские исследования. Т. 1. М., 2000.
- Широкова 1977 — *Широкова А. Г.* Чешский язык // Славянские языки. М., 1977.
- Шрамл 1969 — *Шрамл И. И.* Фонетика и морфология немецких говоров советского Закарпатья (на материале немецких говоров Мукачевского района). Львов, 1969.
- Anderson 1993 — *Anderson S.* The Wackernagel revenge // *Language*. 1993. 1.
- Avgustinova, Oliva 1997 — *Avgustinova T., Oliva K.* On the Nature of the Wackernagel Position in Czech // *Formale Slavistik / Uwe Junghanns, Gerhild Zybatow.* Frankfurt-a. M., 1997.
- Behaghel 1922 — *Behaghel O.* Deutsche Syntax. Heidelberg. Bd. 1: 1922; Bd. 2: 1924; Bd. 3: 1927.
- Berend, Jedig 1991 — *Berend N., Jedig H.* Deutsche Mundarten in der Sowjetunion. Geschichte der Forschung und Bibliographie. Marburg, 1991.
- Bielfeldt 1983 — *Bielfeldt H. H.* Die Vertretung deutscher e-Laute in sorbischen Entlehnungen // *Zeitschrift für Slawistik*. Bd. 28. № 3. Berlin, 1983.
- Braune 1955 — *Braune W.* Althochdeutsche Grammatik. Halle (Saale), 1955.
- Brink, Lund 1975 — *Brink L., Lund J.* Dansk rigsmel. Lydudviklingen siden 1840 med særlig henblik pe socialekten i København. Bd. 1, 2. København, 1975.
- Broch, Jahr 1984 — *Broch I., Jahr E. H.* Russenorsk — et pidginsprek i Norge. Oslo, 1984.
- Brugmann 1925 — *Brugmann K.* Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen. Berlin, Leipzig, 1925.
- Brøndum-Nielsen 1950 — *Brøndum-Nielsen J.* Gammeldansk grammatik. 1. Inledning. Tekst-kildernes lydbetegnelse. Vokalisme. København, 1950.
- Brøndum-Nielsen 1968 — *Brøndum-Nielsen.* Gammeldansk grammatik. 2. Konsonantisme. København, 1968.
- Christiansen 1948 — *Christiansen H.* Norske dialekter. Hf. 3. Oslo, 1948.
- Christiansen 1954 — *Christiansen H.* Norske dialekter. Hf. 3. Oslo, 1954.
- Clitics — Clitics in the languages of Europe / Ed. H. van Riemsdijk. The Hague, 1999.
- Comrie 1991 — *Comrie B.* Yiddish is Slavic? // *International Journal of the Sociology of Language*. 1991. № 91.

- Dahlerup 1919—1954 — *Dahlerup V.* Ordbog over det Danske sprog. København, 1919—1954.
- Delbrück 1991 — *Delbrück B.* Germanische Syntax. Bd. 2. Zur Stellung des Verbums. Leipzig, 1911.
- Ebeling 1963 — *Ebeling C. L.* Questions of Relative Chronology in Common Slavic and Russian Phonology // Dutch Contributions to the Fifth International Congress of Slavistics. The Hague, 1963.
- Elert 1972 — *Ebeling C. L.* Tonality in Swedish: rules and a list of minimal pairs // Studies for Einar Haugen. The Hague; Paris, 1972.
- Engstrand 1995 — *Engstrand O.* Phonetic Interpretation of the World Accent Contrast in Swedish // *Phonetica*. 1995. Vol. 52. № 3.
- Falk, Torp 1960 — *Falk H. S., Torp A.* Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch. Oslo: Bergen; Heidelberg, 1960.
- Foss 1971 — *Foss G.* Die niederdeutsche Siedlungsmundart in Lipnoer Lande. Poznań, 1971.
- Franks 1995 — *Franks S.* Parameters of Slavic Morphosyntax. (Oxford Studies in Comparative Syntax). New York; Oxford, 1995.
- Gårding 1978 — *Gårding E.* The Scandinavian word accents. Lund, 1978.
- Gebauer 1929 — *Gebauer J.* Historická mluvnické jazyka českého. 4. Praha, 1929.
- Hagström 1967 — *Hagström B.* Ändelsevokalerna i färöiskan. En fonetisk-fonologisk studie. 1967.
- Havránek 1937 — *Havránek B.* Genera verbi v slovanských jazycích. 2. Praha, 1937.
- Havránek 1962 — *Havránek B.* K historickosrovnávacímu poznání syntaxe slovanských jazyků // Otázky slovanské syntaxe. Praha, 1962.
- Havránek 1973 — *Havránek B.* Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků // Československé přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů. Praha, 1973.
- Heusler 1913 — *Heusler A.* Altisländisches Elementarbuch. Heidelberg, 1913.
- Housted 1994 — *Housted F. D.* Stednavnene af Slavisk Oprindelse pø Lolland, Falster og Mon. København: C. A. Reitzels Forlag, 1994.
- Hovda 1954 — *Hovda P.* Ymist kring jamvektlovi // Maal og minne. Oslo, 1954.
- Hutterer 1975 — *Hutterer C. J.* Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Budapest, 1975.
- Jakobson 1935/1971 — *Jakobson R.* Les enclitiques slaves // *Jakobson R.* Selected Writings II. Word and language. The Hague; Paris, 1935/1971.
- Jakobson 1962a — *Jakobson R.* Звуковые особенности, связывающие идиш с его славянским окружением // *Jakobson R.* Selected Writings. 1. Phonological Studies. 's-Gravenhage, 1962.
- Jakobson 1962b — *Jakobson R.* On the Elimination of Long Consonants in Czech // *Jakobson R.* Selected Writings. 1. Phonological Studies. 's-Gravenhage, 1962.
- Kloster Jensen 1958 — *Kloster Jensen M.* Bokmålets tonelagspar («Vippere») // Universitet i Bergen. Erbok 1958. № 2. Bergen.
- Kristensson 1976 — *Kristensson G.* A note on palatalization of Germanic *k* in English // *Studia neophilologica*. Vol. 48; № 2. Stockholm, 1976.
- Kuhn 1933 — *Kuhn H.* Zur Vorstellung und Betonung im Altgermanischen // *PBB*. Bd. 57. Halle, 1933, S. 1—108.
- Lasch 1939 — *Lasch A.* Palatales *k* im Altniederdeutsch // *Neuphilologische Mitteilungen*. Jg. 40. Helsinki, 1939.
- Lasziczius G. 1966 — *Lasziczius G.* Geschichte der Silbenfrage // *Lasziczius G.* Selected Writings. 's-Gravenhage, 1966.

- Lehmann 1974 — *Lehmann W.* Proto-Indo-European Syntax. Austin; London: University of Texas press, 1974.
- Lessiak 1959 — *Lessiak P.* Die deutsche Mundart von Zarz in Oberkrain. A. Grammatik. Marburg, 1959.
- Lessiak P. 1963 — *Lessiak P.* Die Mundart von Pernegg in Kärnten. Marburg, 1963.
- Liberman 1982 — *Liberman A. S.* Germanic Accentology. 1. The Scandinavian Languages. Minneapolis, 1982.
- Lie 1989 — *Lie S.* Være som hjelpeverb i perfekt // *Maal ok Minne.* 1989. № 3—4.
- Meillet 1908 — *Meillet A.* La phrase nominale en indoeuropéenne // *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris.* T. 14; Fasc. 1. Paris, 1906—1908, 1—21.
- Meillet 1924 — *Meillet A.* Le développement du verb *avoir* // *Antidoron...* J. Wackernagel. Basel, 1924.
- Michalk 1971 — *Michalk S.* Mundart und Umgangssprache der Bilingualen von Gross Partwitz im Kreis Hoyeswerda // *Zeitschrift für Slavistik.* Berlin, 1971. Bd. 16. № 1.
- Michalk, Protze 1974 — *Michalk S., Protze H.* Studien zur sprachlichen Interferenz. 2. Deutsch-sorbische Dialekttexte aus Radibor Kreis Bautzen. Bautzen, 1974.
- Nash 1986 — *Nash.* Topics in Warlpiri Grammar // *Outstanding dissertations in linguistics.* New York; London, 1986.
- Noreen 1907 — *Noreen A.* Vårt språk. Bd. 2. Lund, 1907.
- Noreen 1923 — *Noreen A.* Altisländische und altnorwegische Grammatik. Halle (Saale), 1923.
- Nygaard 1906 — *Nygaard M.* Norrøn Syntax. Kristiania, 1906.
- Penzl 1947 — *Penzl H.* The phonemic Split of Germanic *k* in Old English // *Language.* Baltimore, 1947. V. 23. № 1.
- Pauliny, Ružičká, Štolz 1968 — *Pauliny E., Ružičká J., Štolz J.* Slovenská Gramatica. Bratislava, 1968.
- Schmidt 1981 — *Schmidt H.* 'Salat oder Sa'lat? Gegensätzliche Betonungstendenzen in der deutschen Literatursprache // *Sprachpflege.* Leipzig, 1981. 30. Jg. № 10.
- Schuster-Šewc 1972 — *Schuster-Šewc H.* Die Genese des aspirierten Konsonanten *k* im Obersorbischen. (Ein Beitrag zur historischen Phonologie des Westslawischen) // *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung.* Berlin, 1972. Bd. 25: № 4/5.
- Schuster-Šewc 1974 — *Schuster-Šewc H.* Sätze mit fiktivem Subjekt vom Typ os. wono so dešćuje / ns. to se pada «es regnet» und ihre Stellung in der slawischen Syntax // *Zeitschrift für Slavistik.* 1974. 3, 340—352.
- Schuster-Šewc 1991 — *Schuster-Šewc H.* Gutachten // *International Journal of the Sociology of Language.* 1991. № 91.
- Schwarz 1929 — *Schwarz E.* Zur Chronology von Asl. *u > y* // *Archiv für slavische Philologie.* Berlin, 1929. Bd. 42.
- Schwarz 1960 — *Schwarz E.* Slavische Vokalkürzungen und deutsche Diphtongierung // *Zeitschrift für slavische Philologie.* Berlin, 1960. Bd. 28; Hf. 2.
- Skautrup 1947 — *Skautrup P.* Det Danske sprogs historie. Bd. 2. København, 1947.
- Smirnitskaja 1972 — *Smirnitskaja O.* The Impersonal sentence patterns in the Edda and in the Sagas // *Arkiv för Nordisk Filologi.* 1972. 87, 56—88.
- Stang 1972 — *Stang Chr.* Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1972.

- Thorsson 1950 — *Thorsson P.* Om regressiv palatalisering av *g, k* i germansk, serleg i nordisk // *Acta philologica Scandinavica*. 1949 [1950], 20. Aarg., Hf. 3.
- Timberlake 1975 — *Timberlake A.* Subject properties in the North Russian Passive // *Subject and Topic*. New York, 1975, 547—570.
- Trávníček 1956 — *Trávníček Fr.* Historická mluvnická česká. 3. Praha, 1956.
- Vasilev 1973 — *Vasilev C.* Ist die konstruktion «u menja est» russisch oder urslavisch // *Die Welt der Slaven*. 1973. Bd. 18, 361—367.
- Wackernagel 1892/1953 — *Wackernagel J.* Über ein Gesetz der indogermanischer Wortstellung // *Wackernagel J. Kleine Schriften*. Bd. 1. Basel, 1953, 1—103.
- Wackernagel 1926 — *Wackernagel J.* Vorlesungen über Syntax. 1. Basel, 1926.
- Van Windekens 1976 — *Van Windekens A. J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indoeuropéennes. Louvain, 1976.
- Weinreich 1958 — *Weinreich W.* Yiddish and Colonial German in Eastern Europe: The Differential Impact of Slavic. *American Contributions to the Fourth International Congress of Slavistics*. Moscow, Septembre. 's-Gravenhage, 1958.
- Weinreich 1980 — *Weinreich M.* History of the Yiddish Language. Chicago; London, 1980.
- Wexler 1991 — *Wexler P.* Yiddish — the 15th Slavic Language // *International Journal of the Sociology of Language*. 1991. № 91.
- Wexler 1991a — *Wexler P.* Rebuttal essay // *International Journal of the Sociology of Language*. 1991. № 91.
- Wied 1898 — *Wied K.* Dänische Konversations-Grammatik. Heidelberg, 1898.
- Yakubovich 2000 — *Yakubovich I.* Laryngeals from velars in Hittite: A triple-headed argument // *Proceedings of the 11th Annual UCLA Indo-European conference*, 2000.
- Zubaty 1954 — *Zubaty J.* Studie a články. 2. Praha, 1954.

**ВИЗАНТИЯ И РУСЬ
В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
(на материале языковых данных)**

0.0. В настоящей работе рассматривается этногеографический аспект древнескандинавских представлений о Руси, реконструируемый на основании целого ряда письменных источников. Обращение к означенной проблематике требует от нас небольшой культурологической преамбулы.

1.0. Для понимания проблем этнического самосознания определенное значение имеет традиция описания и локализации той или иной страны в разнообразных источниках (как местного, так и иностранного происхождения). В отношении Древней Руси это достаточно самоочевидное утверждение нуждается в некотором развитии. Русь могла восприниматься как территория с не вполне ясно очерченными границами и потому легко попадающая в сферу притяжения того или иного культурного центра. Обращает на себя внимание прежде всего то обстоятельство, что в собственно русских и, например, в скандинавских текстах Русь описывается как лежащая на пути, а именно на пути из варяг в греки (Austrvegr 'Восточный Путь' у скандинавов): «Поляномъ же жившимъ особѣ по горамъ симъ бѣ путь изъ Варягъ въ Греки и изъ Грекъ по Днѣпру, и верхъ Днѣпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в- Ылмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и вѣтечеть в озеро великое Ново, и того озера внидеть устье в море Варяжское, и по тому морю ити до Рима, а от Рима прити по тому же морю к Царюгороду, а от Царягорода прити в Поноть моря, в неже втечет Днѣпръ рѣка. Днѣпръ бо потече из Оковьскаго лѣса, и потечеть на полдне, а Двина ис того же лѣса потечет, а идеть на полунощье и внидеть в море Варяжское, ис того же лѣса потече Волга на вѣстокъ и вѣтечеть семьдесятъ жерель в море Хвалиское. Тѣмже и из Руси может ити по Волзѣ в Болгары и въ Хвалисы и на вѣстокъ дойти въ жребий Симвъ, а по Двинѣ въ Варяги, изъ Варягъ до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днѣпр втечетъ в Понетское море жереломъ, еже море словеть Руское, по немуже училъ святыи Оньдрѣй, брат Петровъ, якоже рѣша» [ПРСЛ 1926/1: 7].

1.1. Свидетельств древнескандинавской традиции мы подробно коснемся ниже, однако уже здесь отметим, что Русь — явно неслучайным образом — могла называться в ней точно так же, как и сам путь из варяг в греки. И в том и в другом случае — в качестве обозначения страны и в качестве обозначения пути — скандинавами использовалось одно и то же наименование — *Austrveg*, т. е. собственно «Восточный Путь».

2.0. Нужно думать, что осмысление Руси как принципиально пограничного государства определяло ряд особенностей в ее восприятии. Так, именно промежуточное местоположение Руси на основной магистрали Восточной Европы — как бы между двумя полюсами: Скандинавией и Византией — позволяет взглянуть на нее как на результат «двойного сечения», точку скрещения или наложения друг на друга двух перспектив — соответственно греческой и скандинавской.

3.0. В самом деле, в перспективе византийца русские и скандинавы легко могли объединяться между собой или, говоря несколько иначе, совпадать в пределах одного культурно-исторического образа. В нашем распоряжении немало примеров смешений или, точнее, отождествлений русских и скандинавов, обязанных своим возникновением именно подобного рода позиции «внешнего наблюдателя». Приведем здесь лишь один из них, принадлежащий, правда, перу не византийского историографа, а западноевропейского писателя, дважды, при этом, посетившего Византию. Тем ценнее и выразительнее для нас, однако, наблюдения Лиутпранда, епископа Кремоны (X в.), уловившего нюансы той перспективы, которую мы назвали здесь византийской: *Gens quaedam est sub aquilonis parte constituta, quam a qualitate corporis Graeci vocant Rússios, nos vero a positione loci nominamus Nordmannos. Lingua quippe Teutonum Nord aquilo, man autem dicitur homo, unde et Nordmannos aquilonares homines dicere possums* [MGH/III: 331] ‘Есть некий народ, живущий в северной части, который по физическим признакам греки называют русами, а мы по положению местности называем норманнами (выделено нами. — Ф. У.). На языке тевтонов Nord означает север, man означает человека, почему норманнами можно называть людей севера’. Немногим ранее автор, перечисляя народы, соседствующие с Византийской империей, в частности пишет: *Habet quippe ab aquilone Hungarios, Pizenacos, Chazaros, Russios quos alio nos nomine Nordmannos apellamus...* [MGH/III: 277] ‘<Византия> имеет с севера венгров, печенегов, хазар, русиев, которых мы иначе называем норманнами...’ (выделено нами. — Ф. У.).

Итак, в перспективе византийца Русь как бы втягивается в орбиту «чужого» и русские, соответственно, соотносятся со скандинавами.

4.0. Нечто аналогичное происходит при взгляде на Русь и со «скандинавских позиций». Русские точно так же оказываются отнесенными к прямо противоположному полюсу и объединяются в рамках скандинавской перспекти-

вы, но, на этот раз, уже с греками. Иными словами, с точки зрения скандинава, именно русские и византийцы могли служить предметом отождествления, помещаясь в пределах одной этногеографической рубрики.

4.1. Рассмотрению скандинавской перспективы и посвящена эта работа. Нам бы хотелось в первую очередь привлечь здесь внимание к отдельным (не вполне прозрачным для современного исследователя) фактам этногеографического сознания, свидетельствующим о самом существовании особого — «интегрирующего» — взгляда скандинавов на Русь и Византию. В предлагаемой работе мы будем говорить о сравнительно малочисленных, но до сих пор должным образом не описанных случаях отождествления, или различия, «греческого» и «русского» в древнескандинавской письменной традиции.

5.0. Особо подчеркнем, что, говоря об отождествлении «греческого» и «русского», «греков» и «русских» (в дальнейшем мы убедимся, что самый термин отождествление нуждается здесь в некотором уточнении), нам предстоит иметь дело со свидетельствами и фактами, идущими до некоторой степени вразрез с устоявшимися воззрениями на греко-русско-скандинавские взаимосвязи. При этом наш материал, вопреки сказанному, менее всего обладает чертами сенсационного. Напротив, явление, о котором пойдет речь ниже, в целом отмечалось исследователями (иногда, правда, в качестве своеобразного курьеза), а отдельные примеры, анализируемые в работе, не раз становились предметом обстоятельного, но не целиком, на наш взгляд, удовлетворительного комментария.

В настоящей работе мы попытались собрать все доступные языковые данные из древнескандинавских источников, свидетельствующие о наличии подобной перспективы восприятия.

(I). На подступах к теме.

Сближение Греции и Руси в литературной традиции

1.0. В древнескандинавской номенклатуре, судя по всему, существовало обозначение греков, тогда как обозначение русских в скандинавских текстах представляет собой проблему для исследователей. Уже при простом обзоре наименований различных народов в древнескандинавских источниках исследователь сталкивается с «идиоматичными» по своей сути фактами использования одного и того же этнонимического обозначения для греков и русских. Так, в поле зрения исследователя оказывается прежде всего специфический древнеисландский термин (*girzki*), очевидно обладающий в письменной традиции двойной референцией, то есть применявшийся, в зависимости от контекста, как относительно греков, так и относительно русских (ср. [Cleasby 1957: 201; Fritzner 1954/I: 599, 645; ср. Vries 1977: 168]).

2.0. Упомянутый термин достаточно надежно этимологизируется и представляет собой закономерное одъективное образование (при помощи суффикса *-sk- < *-iska-*) от этнонима *grik(k)jar* 'греки'¹ или, вернее, его варианта с метатезой *girk(k)jar*².

2.1. Таким образом, современному исследователю в этой ситуации остается лишь допустить, что отэтнонимическое прилагательное, являющееся, с этимологической точки зрения, не чем иным, как этническим определением греков, может принимать на себя дополнительное значение и выступать в письменной традиции в качестве этнического определения русских.

Приведенная деталь, в принципе, чрезвычайно удачно дополняет образ Византии, складывающийся в соответствии с показаниями древнескандинавских письменных источников. В общем массиве скандинавских сведений о Византии прослеживается отчетливая тенденция к сближению Греции и Руси как земель, расположенных в восточном, по отношению к Скандинавии, направлении (так, в системе пространственной ориентации древних скандинавов практически все земли считались лежащими на востоке, если путь к ним проходил через Восточную Прибалтику и Русь [Мельникова 1986: 33; Мельникова 1998: 201; ср. Джаксон 1997: 36; Einarsson 1944: 265—285] (ср., в связи с этим, серию гипертонимов с корнем *-aust* 'восток': *Austrriki* 'Восточное государство', *Austrlönd* 'Восточные Страны' и, наконец, *Austrvegr* 'Восточный Путь' — скандинавский аналог пути «из варяг в греки» [Джаксон 1988: 140—144]).

Со временем это сближение закрепил, по-видимому, и конфессиональный фактор, способствовавший объединению русских и греков в западно- и североевропейском средневековом сознании.

Сам факт регулярного соотнесения Греции и Руси в пределах одного региона представляется достаточно нетривиальным, тем более, что, по существу, он находит себе поддержку в данных древнескандинавской топонимии Восточной Европы (см. подробнее ниже). Именно это, последнее, обстоятельство и позволяет увидеть в подобном сближении Греции и Руси нечто большее, чем просто механическое соположение этих двух стран в литературной традиции.

3.0. Как известно, первые походы скандинавов в пределы Византийской империи датируются IX в., однако свое отражение в памятниках письменности (прежде всего, в рунических надписях) они получают значительно позже — лишь с XI в.

¹ Здесь уместно напомнить, что сам этноним *grik(k)jar*, который лег в основу общескандинавского наименования страны *Grikland* или *Girkland* 'Страна греков', по некоторым предположениям восходит к древнерусскому обозначению Византии «Греци». На это указывает, между прочим, краткое *-i-* в скандинавском этнониме, которое противоречит остальным германским формам, где представлен долгий гласный в корне (ср. гот. *kreks* [Lehmann 1986: 220—221], др.-верхн.-нем. *kriahi* < о.-герм. **krekos* [Stender-Petersen 1927: 347; Stender-Petersen 1953: 137; ср. Мельникова 1997: 30].

² О метатезе *ri/ir* в древнеисландском см. [Noren 1923: 47, § 51.1; ср. § 315: 228].

4.0. Вероятно, одним из первых литературных свидетельств, указывающих на присутствие в традиции подобного рода интегрирующих представлений о Греции и Руси, следует признать скальдический кеннинг из поминальной драпы (панегирика) *Erfiðrára* в честь норвежского конунга Харальда Сурового, где Иисус Христос назван «защитником Греции и Гардов (= Руси)» (*Girkkja vörð ok Garða*) [Kock 1946/I: 165, строфа 19].

5.0. Поэма, сочиненная исландцем Арнором Тордарсоном Скальдом Ярлов в 1067 г., цитируется отдельными строфами в другом исландском памятнике — «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона, — составленном, в свою очередь, ок. 1222—1225 гг. В частности, интересующий нас кеннинг Снорри приводит в качестве иллюстрации того, как скалды могли называть Христа «конунгом Греции» (... *Grikkja-konungr, sem Arnótt kvæð...* (выделено нами. — Ф. У.)) [SnE. 65 (52): 159]. При этом Снорри, знаменательным образом, игнорирует в своем комментарии всякое упоминание о Руси в поэтической перифразе³.

Иными словами, при объяснении данного примера автор скальдической поэтики опускает второе определение к основе кеннинга, представляющее собой древнескандинавское обозначение Руси, и демонстративно отклоняется тем самым от буквы цитируемого текста.

6.0. Бросающееся в глаза несоответствие между показанием поэтического источника и сопроводительным комментарием самого Снорри может интерпретироваться по-разному. С одной стороны, Снорри, конечно же, стремился к унификации имевшегося в его распоряжении материала, а кеннинг Арнора, с формальной точки зрения, не вполне отвечал описываемой им традиционной модели. Действительно, кеннинг «защитник Греции Гардов»

³ Снабжая приведенный кеннинг таким комментарием, Снорри едва ли пытался возродить, по-видимому, уже вышедшую к тому времени из употребления [Meissner 1921: 369, 378] модель скальдического кеннинга — «конунг, владыка, защитник + определенный внескандинавский топоним = Бог-Отец или Христос» (ср. его отсылку к древним скальдам: «Какие есть кеннинги Христа? Зовут его <...> „конунгом небес, солнца, ангелов. Иерусалима, Иордана и Греции“ (... *konung himna ok sólar ok engla ok Jórsala ok Jórdanar ok Grikklánda...*) <...> Древние скалды упоминали в его кеннингах еще источник Урд (*Urdabrunn*) и Рим (*Róm*)» [SnE: 158]). Скорее, он ставил перед собой задачу лишь описать эту модель и процитировать здесь тех или иных знаменитых авторов.

Примечательно, что, перейдя уже к собственно нормативной части своего изложения, Снорри, в сущности, предписывает употреблять эти кеннинги в адрес земных правителей: «конунг греков» (*Grikkjakonungr*) оказывается у него, таким образом, «кесарем Миклагарда (= Царьграда)», (*Miklagarðskeisari*), «конунг Рима» (*Rómskonungr*) — «Римским кесарем» (*Rómaborgar keisara*), а «конунг ангелов» (*engla konungr*) превращается в нормативном разделе его поэтики в «короля Англии» (*Englakonungr*) [SnE. 66: 160].

являет собой разновидность скальдических перифраз для Христа, содержащих, как правило, всего лишь один внескандинавский топоним в своем составе (ср. [Kuhn 1971: 15]). Существуют подтверждения тому, что в качестве топонимического определения к основе кеннинга у скальдов могло выступать, среди прочих, именно название Греции⁴ (ср., например, рефрен (стев) к несохранившейся целиком поэме Торарина Славослова «Выкуп за голову» (1026 г.), отсутствующий в «Младшей Эдде», но определенно известный Снорри⁵: *Knútr veit grund sem gætir // Griklands himinriki* ‘Кнут <конунг> защищает землю // как хранитель Греции (= Христос) — небесное царство’ [Kock 1946/I: 151])⁶.

7.0. Можно было бы предположить, что, ориентируясь на сходные образцы и ставя перед собой задачу унифицировать имеющийся материал, Снорри как бы привел кеннинг Арнора к общему знаменателю и планомерно подогнал его, таким образом, под соответствующую рубрику.

8.0. С другой стороны, это объяснение представляется явно недостаточным, поскольку оно делает более понятными определенные действия Снорри, но не проливает света на те обстоятельства, которые позволили ему столь откровенно «исказить» скальдический оригинал. Для того чтобы по возможности глубже разобраться в сложившейся ситуации, необходимо прежде всего определить, что Снорри знал о Руси, т. е. попытаться примерно восстановить тот объем сведений, который был доступен ему из традиции.

(II). Древнескандинавская топонимия Восточной Европы Проблема наименования Руси и некоторых городов, лежащих на «пути из варяг в греки»

1.0. Начнем с того, что само наименование Руси — в том виде, как оно представлено у скальдов (*Garðar*) — было несомненно известно Снорри, хотя

⁴ Здесь Е. А. Рыздзевская, а вслед за ней и О. Прицак не без основания усматривали влияние восточного христианства на поэзию скальдов [Рыздзевская 1935: 7, прим. 2; Pritsak 1981: 253]. Кроме того, анализируемый кеннинг «страж Греции и Гардов» в ряде работ рассматривался (не вполне убедительно, на наш взгляд) как указание на приверженность Харальда Сурового (главного адресата поэмы) православному обряду — см. подробнее: [Johnsen 1969: 49—50; Kuhn 1971: 14—15].

⁵ Снорри приводит эти строки в составленной им «Саге об Олаве Святом» из «Круга Земного» [Нкр./П (ОН), кап. 172: 397].

⁶ Свообразным продолжением «греческой» темы в поздней скальдической поэзии можно считать появление кеннингов, где Бог обозначается как «стольный конунг небес» (*himna stólkonungr*) [Meissner 1921: 378; Рыздзевская 1935: 7, примеч. 2]. Термин *stólkonungr*, очевидно, восходит к др.-русск. *стольный князь* [Vries 1977: 551] и применялся в древнеисландской прозе исключительно к византийским императорам [Blöndal 1981: 3, 141].

сам он регулярно употреблял в своих сочинениях другой, более поздний и производный по отношению к первому, топоним *Gardaríki*⁷.

1.1. Последовательное предпочтение, которое Снорри оказывает топониму Гардарики, само по себе ничем не примечательно: ко времени составления «Младшей Эдды» именно этот термин был, по-видимому, наиболее активно задействован культурной традицией в XIII в. Однако в контексте нашего рассуждения оно приобретает особое значение и нуждается в дополнительном комментарии.

2.0. В самом деле, помимо приведенных топонимов, Снорри наверняка были известны и наименования трех восточноевропейских (в скандинавской перспективе) городов, исключительно тесно связанных с древнескандинавским названием Руси: *Hólmgarðr* (Новгород), *Kænugarðr* (Киев) и *Miklagarðr* (Царьград).

3.0. Очевидным образом, все три топонима объединяет друг с другом наличие общего форманта *garðr*, который и послужил, в свое время, основой для наименования древнерусского государства: так, первоначальное обозначение Руси — *Gardar* — представляет собой не что иное, как именительный падеж множественного числа от существительного мужского рода *garðr* ‘двор, хутор’.

4.0. Существующая взаимосвязь между наименованием Руси и обозначением крупнейших городов, расположенных на пути через эту страну, была очевидна не только современным исследователям, но и самим скандинавам; образуя как бы единый комплекс, данные топонимы были в особой степени подвержены топографическому «выравниванию по аналогии»⁸.

5.0. Следует вообще отметить, что Константинополь мог называться — наряду с обычным *Miklagarðr* «Великий Город» — просто «Гард» (*Garðr*), т. е. «Град» (см. ниже), что в точности соответствует как византийской, так и

⁷ О замене «Гардов» на «Гардарики» в некоторых произведениях Снорри см. [Джаксон 1991: 97]. Помимо приведенных только что общескандинавских обозначений для Древней Руси, Снорри мог, в принципе, использовать и книжный термин *Ruzia* (*Rusia*, *Ruzcia*, *Ruszia*) или *Ruzaland*, заимствованный из западноевропейских латиноязычных источников [Paff 1959: 156; Metzenthin 1941: 88—89; ср. Graf 1972], однако реальных подтверждений этому в его текстах обнаружить не удалось.

⁸ Этим, в частности, могут объясняться единичные, но исключительно симптоматичные случаи локализации Константинополя на Руси в поздних прозаических памятниках XIV в. (ср. ... borg af borg, stad af stad, en austr kemr hann í Gardaríki í Miklagarð. Var þá Adrianus keisari [í] Constantinopoli ‘... город за городом, столица за столицей — оказался он, наконец, на востоке в Гардарики, в Миклагарде. Тогда правил Константинополем Адрианус кесарь’ [Æв./I: 9; Æв./II: 339]). В другой саге рассказывается о вымышленном конунге Хугоне, который правил Миклагардом (*gæðr fyrir Miklagarði*), однако в дальнейшем он фигурирует в том же тексте как конунг Гардарики (см. [Bragða-Mág.: 3, 13]).

древнерусской традиции именования Царьграда [Вауп 1924: 195; Джаксон, Молчанов 1990: 234 и след.]. Так, например, в *Ágrip*, древнейшем своде саг, возникшем ок. 1190 г., говорится, что будущий конунг, Харальд Суровый, «возвращался домой на торговом судне <в Норвегию> из Гарда (= Миклагарда) Восточным Путем» (...þá scekir Haraldr, broder ens helga Olafs, heim or Gardi um Austrveg á kaupskipi... [AR/II: 89]). Наименование *Gardr* присутствует еще в двух сводах королевских саг — «Красивой Коже» и «Круге Снорри Стурлусона»; наконец, в поздней «Саге о Конраде» форма *Gardr* (вернее, *Gardinn* — форма с суффицированным артиклем [Конг.: 15, 101, 119, 135]) встречается немногим реже, чем синонимичная ей *Miklagardr* [Конг.: 14, 79, 101, 115, 116, 122, 135].

5.1. Таким образом, название византийской столицы (*Gardr*) и название Руси (*Gardar*), соседствуя друг с другом в определенном контексте, могли различаться лишь по числу (ср. *Gardskonungr* ‘император Византии’, но *Garda-konungr* ‘русский князь’ [Fritzner 1954/I: 558, 563]).

5.2. В свете сказанного обращают на себя внимание отдельные случаи употребления топонима *Gardr* (форма ед. числа) в скандинавских рунических надписях, выполненных младшим футарком. Некоторые комментаторы — см., например: [Мельникова 1977: 48, 100, 202—203] — по-видимому, по инерции отождествляют этот топоним со скандинавским обозначением Руси *Gardar* (мн. число), хотя естественнее было бы предположить, что речь здесь идет собственно о Константинополе (ср. [Джаксон 1991: 141, 147—148]). В одном случае такое предположение оказывается вполне возможным в силу общей неопределенности контекста (см. надпись из Лоддерста: <...> *hn • fur • ausR • i karþa* ‘<...> Он <Арифаст> ездил на восток в Гард’ [SR/VIII (Upplands runinskrifter), 1: 76—77; Мельникова 1977: 100, № 70]). В другом случае — в случае с Альстадской надписью из Норвегии (первая половина XI в.) — дело обстоит сложнее. По мнению некоторых исследователей (Б. Клейбер, Е. Мельникова), в надписи, наряду с двумя трудно идентифицируемыми топонимами, присутствует и топоним *Gardar* в форме единственного числа [Мельникова 1977: 48—53; ср. Pritsak 1981: 373]. Соответственно, текст надписи, где сообщается, что некий Эгиль, или Энгли, «умер в Витакольме (*i uitaholmi*) между Устахольмом <?> и Гардом (*miþli u[?]taulms auk karþa*), читался по-разному. Согласно одной из интерпретаций, принадлежащей Б. Клейберу, речь здесь идет о Витичеве (**Vitaholmr*) между Устьем и Киевом (**Gardr*) [Kleiber 1965: 61—75]. Необходимо подчеркнуть, что подобное обозначение Киева не встречается ни в рунических, ни в письменных текстах. Кроме того, остается не вполне ясной аргументация исследователей, настаивающих на том, что в надписи присутствует именно форма единственного числа топонима *Gardar*.

6.0. Дело только усугубляется еще и тем обстоятельством, что группа восточноевропейских топонимов на *-gardr* занимала совершенно особое, изолированное положение в древнескандинавской географической номенклатуре.

7.0. Как уже не раз отмечалось, *gardr* интенсивно использовался в качестве топонимического форманта для оформления как внутрискандинавской, так и восточноевропейской топонимии. Однако если в собственно скандинавской топонимии этот термин (в соответствии со своим словарным значением) применялся исключительно для обозначения объектов сельского типа (хуторов и усадеб), то в топонимии Восточной Европы он использовался скандинавами при номинации городов в смысле *urbs* или *arx*.

7.1. Последнее обстоятельство в известном смысле противоречит традиционному наполнению термина: так, использование слова *gardr* в значении 'город' не верифицируется практически ни одним контекстом; таким образом, три восточноевропейских топонима представляют собой единичные, исключительные случаи употребления *gardr* для обозначения города. По-видимому, наименование Константинополя, Киева и Новгорода, а в конечном счете и скандинавское название Руси, возникают в результате окказионального использования продуктивного термина, что и приводит к образованию семантического «зазора» между топонимом на *-gardr* и статусом обозначаемого восточноевропейского объекта.

8.0. Определенный семантический сдвиг, который претерпевает термин *gardr*, участвуя в оформлении восточноевропейской топонимии, обусловлен, по-видимому, ориентацией скандинавов на максимально адекватную транскрипцию местных названий: скандинавское *gardr* в составе приведенных топонимов выступает в качестве оптимального эквивалента славянскому *градъ*, *городъ* (< **gorǫbъ*).

8.1. Таким образом, в группе внескандинавских топонимов на *-gardr* имеет место «приспособление близкого слова из чужого языка к своему» (Е. А. Рыдзевская) или своеобразный «пересчет» между двумя, этимологически родственными и фонетически сходными лексемами (*gardr* и *градъ/городъ*), позволяющий судить о значительной близости языковых и этнокультурных контактов. Подобное предположение было впервые высказано В. Томсенем в конце XIX в., однако с тех пор сама идея подверглась значительным уточнениям и модификациям (см. подробнее [Рыдзевская 1978: 143—152; Мельникова 1977а: 199—210; Джаксон 1984]; обзор различных точек зрения см. [Джаксон 1991: 140—145; Успенский 1997: 51—54]).

8.2. Наиболее убедительным, на наш взгляд, аргументом в пользу того, что скандинавы действительно соотносили термин *gardr* с восточнославянским и древнерусским *градъ/городъ*, является уже упомянутый факт именования Константинополя Гардом в древнескандинавской традиции.

8.3. В самом деле, здесь «пересчет» представлен, так сказать, в чистом виде — сам геополитический статус византийской столицы к моменту знакомства с ней скандинавов исключает все предположения об естественной языковой эволюции элемента *-garðr* в восточноевропейской топонимии (от «гнезда», группы поселений сельского типа к обозначению «столичных» центров Древней Руси или, иначе говоря, от наименования некой территории к городу, см. [Мельникова 1977а: 203 и след.]): Константинополь во всех описательных контекстах последовательно и закономерно обозначается словом *garðr* — собственно «Город» (ср. диагностические примеры [Fritzner 1954/1: 560]⁹), а жители Царьграда могли называться, соответственно, *garðsmaðr/garðsmenn*, т. е. ‘горожане, жители Града’ (например, [Конг.: 15]), явно по аналогии с обычным *borgarmaðr/borgarmenn*.

9.0. Более того, с учетом этих фактов именования Константинополя Гардом становятся допустимыми и некоторые соображения о динамике освоения скандинавами культурного пространства Восточной Европы. Представляется возможным предположить, что вообще весь комплекс восточноевропейских топонимов на *-garðr* обязан своим возникновением именно такому названию Царьграда.

10.0. Первоначально скандинавы могли усвоить от русских византийскую традицию наименования Константинополя городом (Градом), преобразованным ими в Гард¹⁰. Так, по сути дела, возник прецедент использования термина *garðr* при оформлении восточноевропейской топонимии.

11.0. Следующим этапом, предположительно, было образование — опять-таки в соответствии с византийской традицией, где столицу называли «Вели-

⁹ В поздних памятниках Константинополь иногда мог называться Miklaborg. Ср.: ... ok kallað þá borg af sinu nafni Constantinopolis, þá borg kalla Nordmenn síðan Miklaborg ‘... и назвал город своим именем, Константинополь, этот город норманны назвали позднее Миклаборг’ [Æv./I: 23].

¹⁰ Наши предположения о существовании такой традиции у русских носят отчасти априорный характер, поскольку, в Начальной летописи, Царьград называется просто Градом как будто бы лишь в русских переводах договоров с Византией и переписке Иоанна Цимисхия с князем Святославом Игоревичем [Джаксон, Молчанов 1990: 235, прим. 47; ср., однако, Лихачев 1983: 413]. Вместе с тем, в ряде случаев при обозначении Константинополя словом *Град* мы сталкиваемся с проблемой, когда оказывается невозможным однозначно определить, имеем ли мы дело с окказиональным употреблением слова в тексте или, напротив, с явлением системы (существенно также, что подобные затруднения возникают при передаче прямой речи в тексте летописи: ср. «И поиде Володимерь на Царьградъ въ лодяхъ, и прошель пороги, и придоша къ Дунаю. Рекоша Русь Володимеру: „станемъ здѣ на поли“; а Варяги ркоша: „поидемъ в лодяхъ подъ Градъ“. И послуша Володимерь Варягъ, и отъ Дуная поиде Володимерь въ лодяхъ ко Царюграду» [ПСРЛ 1856/VII: 331 (1043 г.)]).

ким Городом» — топонима Миклагард (*Miklagarðr* ‘Великий Град’, ср. [Томсен 1891: 74, прим. 73; Джаксон, Молчанов 1990: 234 и след.]).

12.0. Затем модель X-garðr могла быть перенесена на узловые пункты днепровского пути — Киев (*Kænugarðr*) и Новгород (*Hólmgarðr*), после чего уже было образовано собирательное название *Gardar* ‘Гарды’, объединяющее все три топонима между собой.

13.0. Таким образом, можно предположить, что изначально название Гарды (*Gardar* — напомним, что оно представляет собой мн. число от существительного *garðr*) относилось, по-видимому, не столько непосредственно к Руси, сколько к определенному отрезку пути или фрагменту территории, конституируемому тремя городами-гардами. Иными словами, *Gardar* служило прежде всего наименованием некоего общего территориального единства и в качестве такого наименования могло актуализироваться тем или иным способом как Русь или как Византия. Однако при отсутствии специального обозначения для Руси естественно, что *Gardar* значительно чаще актуализировалось как раз по отношению к Руси¹¹.

¹¹ Именно такое словоупотребление мы, по-видимому, и наблюдаем de facto в памятниках, выполненных младшими рунами, и в особенности в поэзии скальдов, где часто невозможно определить конкретное наполнение топонима *Gardar* без позднейшего прозаического комментария, который, тем не менее, соотносит Гарды преимущественно с русью. Показательно в этой связи, что некоторые макротопонимы с элементом *garðr* в своей основе и в поздней традиции сохраняют свою относительную «неопределенность»: например, периферийный и достаточно редкий топоним *Gardaveldi* ‘империя Гардов’, обозначавший, как правило, Русь [Fms./X: 240, ср. 242; Fritznér 1954/I: 558], мог употребляться в том числе и по отношению к Греции. Так, если в одной из рукописей географического сочинения (*Tocius orbis brevis descriptio*) говорится о том, что Русь расположена в восточной части Европы (*I austanverðri Europa er Gardaveldi* (вариант: *Gardaríki*), þar er Holmgarðr ok Pallteskja ok Smálenskja. Næst Gardaveldi (вариант: *Gardaríki*) til sudrs er Grikiá konungs veldi, höfuðstaðr þikis þess er Constantinopolis, er vér köllum Miclagarðr ‘В восточной части Европы находится Гардаveldи. Там есть Хольмгард [Новгород], Палтескья [Полоцк] и Смаленскья [Смоленск]. Около Гардаveldи к югу находится государство греческого конунга. Главный город этого государства — Константинополь, который мы зовем Миклагард’ [AA: 286; ср. Pritsak 1981: 532; Мельникова 1986: 77], то в уже упоминавшейся «Case о Конраде» это же обозначение явно относится к Греции: ...þar j Gardauelldi ne uidara annarsstaðar ‘ни там в Гардаveldи, ни в других отдаленных местах’ (ср. тот же фрагмент в редакции A: i Grickiaríki oc víðara annarsstaðar) [Konr.: 21]. Сказанное применимо отчасти и к топониму *Gardaríki*, который не всегда оказывался тождественен названию Руси: ср. — Hertryggr hefir konungr heitir; hann réð fyrir austr í Rússía; þat er mikit land ok fjolbyggt ok milli Húnalands ok Gardaríki [Fas./III (EA): 365] ‘Хертрюгг звался конунг; он правил на востоке в Руси; это большая и густонаселенная страна, которая расположена между землей гуннов и Гардарики’ (ср. в этой связи: [Braun 1924: 192ff]); в «Case о крещении» император Византии ставит

14.0. Заклочительным этапом нашего построения, в принципе, можно считать появление топонима *Gardaríki*, который достаточно устойчиво соотносится в Русью в культурной традиции и окончательно вытесняет такое «не-терминологическое» обозначение Руси, как *Gardar*.

15.0. Так — в самых общих чертах — выглядит проблематика внескандинавских географических названий с элементом *gardr*, которая скорее всего ощущалась как таковая и самим Снорри Стурлусоном.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, например, на его интерпретацию некоторых мифологических наименований, тождественных по своей структуре группе восточноевропейских топонимов на *-gardr*.

Излагая эвгемеристическую концепцию в «Младшей Эдде» и в «Саге об Инглингах», Снорри примечательным образом урбанизировал в своем описании три мифологических объекта: Асгард (*Ásgardr* 'Двор асов' [= мир богов]), Мидгард (*Midgardr* 'Средний двор' [= мир людей]) и Утгард (*Útgardr* 'Внешний двор' [= окраина мира]), что если не противоречило скандинавской мифопоэтической «модели мира», то, во всяком случае, значительно модернизировало ее (см. подробнее: [Успенский 1997]).

Совершенно очевидно, что подобная модернизация была в полной мере оправдана внутренней логикой повествования: задача Снорри заключалась здесь не в прямом соотнесении или отождествлении мифологических объектов с конкретными городами, расположенными на востоке, но в создании своеобразной стилизации, в рамках которой имитировалась бы принадлежность мифологических топонимов на *-gardr* к внескандинавской (восточноевропейской) топонимии вообще. Тем самым достигалась искомая цель всего эвгемеристического построения — изобразить мифологические Асгард, Мидгард и Утгард как реальные города, расположенные где-то за пределами Скандинавии и населенные языческими богами, которые, на деле, оказывались земными правителями и основателями целых королевских династий.

Однако для нас подобный семантический ход автора «Младшей Эдды» представляет значительный интерес прежде всего потому, что основывается на переосмыслении мифологических наименований по образцу восточноевропейских топонимов на *-gardr*. Следовательно, проблематика трех городов-гардов и древнескандинавского названия Руси в определенный момент явля-

Торвальда над всеми князьями Руси и всей Гардарики (... yfir alla konunga á Rúzlandi ok í öllu Gardaríki [Kr., кап. 9: 78]). Ср. также «Сагу об Одде-Стреле», где топоним *Grikkjaríki* иногда заменяет собой *Gardaríki* [Örv. Odd.: 186] (см.: [Boer 1892: 107]). При этом для большинства прозаических текстов все же более типичной остается формула ... Rúcia, þat köllum vér Gardaríki 'Русия, которую мы зовем Гардарики' (см., например, [Sigþög.: 55] или [Hkb.: 155]).

лась предметом отдельной рефлексии для Снорри. Это обстоятельство, в свою очередь, уже необходимо иметь в виду при рассмотрении вопроса о скальдическом кеннинге из «Младшей Эдды».

(III). *Girkkja vörðr ok Garda* («страж Греции и Гардов»). Опыт комментария

0.0. Напомним, что наше внимание с самого начала было привлечено определенным расхождением между репликой Снорри и поэтической цитатой, к которой он отсылает читателя. Суть этого расхождения целиком сводилась к тому, что скальдический кеннинг Христа — «защитник Греции и Гардов» — редуцировался в его собственном комментарии до «конунга Греции». Подобные действия Снорри (в сущности, целенаправленно искажающие скальдический оригинал), мы квалифицировали, не находя им объяснения в самой «Младшей Эдде», как непрозрачные и, на первый взгляд, совершенно немотивированные.

0.1. Стремление приблизиться к ответу на целый ряд возникших вопросов потребовало от нас краткого экскурса в древнескандинавскую топонимию Восточной Европы, а некоторые промежуточные выводы (и, в частности, вывод о том, что проблематика древнескандинавского названия Руси так или иначе была отрефлектирована автором «Младшей Эдды») лишь убеждают нас, что причины отклонения от скальдического оригинала следует объяснять различиями или расхождениями прежде всего в концептуальном плане. Если проблема восточноевропейских топонимов на *-gardr* действительно занимала Снорри, то попытка игнорировать упоминание о Руси в скальдическом кеннинге скорее всего отражает его собственную позицию. Каков же тогда индивидуальный взгляд Снорри и чем он отличается от точки зрения скальда XI века?

1.0. Анализируемый эпизод из «Младшей Эдды» наглядно иллюстрирует те этапы своеобразной эволюции древнескандинавского наименования Руси, о которых речь вкратце шла выше.

2.0. В самом деле, создавая нестандартный кеннинг Христа на основе традиционной модели («защитник», «хранитель» + внескандинавский топоним), скальд, естественным для него образом, двигался от определенных географических реалий к их обозначению в языке, или, иначе говоря, шел от заданного содержания к тексту. При этом вероятное использование в качестве образца кеннингов типа «хранитель Греции» (ср. уже цитировавшийся стев Торарина Славослова) накладывало на возможности скальда некоторые ограничения. Так, стремясь несколько видоизменить традиционную модель за счет упоминания Руси, Арнор был вынужден прибегнуть к топониму *Gardar* и по следующей, на наш взгляд очевидной причине: в

географической номенклатуре отсутствовало специальное обозначение для Руси, сопоставимое по своей терминологической определенности, например, с куда более поздним топонимом *Gardariki*¹².

2.1. Как мы уже предположили выше, *Gardar* служило прежде всего обозначением некоего территориального единства, и в качестве подобного наименования могло актуализироваться тем или иным способом. Существенно, однако, что скандинавы уже освоили к тому времени отдельное название Греции — *Grik(k)land* (в исходной своей форме приобретенное ими, кстати, от русских), но, по-видимому, еще не имели, при этом, специализированного обозначения для Руси. Поэтому, нет, в сущности, ничего удивительного в том, что — *de facto* — наименование *Gardar* актуализировалось в подавляющем большинстве случаев именно по отношению к Руси.

2.2. Подчеркнем еще раз, что скальд при создании кеннинга шел, так сказать, от реалии к обозначению, что само по себе снимало для него неопределенность, потенциальную многозначность употребляемого топонима.

3.0. Напротив, эта многозначность оставалась актуальной для Снорри как для автора, идущего в своем комментарии прямо в обратном направлении — от географического названия к его соотносению с конкретной реалией.

3.1. Как мы помним, для обозначения Руси Снорри достаточно последовательно использует топоним *Gardariki*, который он, вероятно, и ассоциировал с Гардами, но ретроспективно¹³, поскольку к XIII в. прежде всего *Gardariki* был

¹² Впрочем, существует и иная точка зрения, согласно которой *Gardar* в рассматриваемом кеннинге *Grikkja vörd ok Garða* является скорее этнонимом (Einwohnername), нежели топонимом (см.: [Kuhn 1971: 15]; ср. [Whaley 1998: 301]. Таким образом, автор данной гипотезы (Ханс Кун) предлагает переводить кеннинг как «страж греков и русских (= православных)», исходя из религиозного содержания скальдической перифразы. Нам такое предположение представляется малоубедительным по целому ряду причин. Совершенно очевидно, что оно возникло прежде всего потому, что формально мы действительно имеем здесь дело с совмещением этнонима (*Grikkjar*) и топонима (*Gardar*) в пределах одного кеннинга. Более правдоподобно, однако, что как раз именно этноним «греки» фигурирует в данном случае в качестве топонимического обозначения: подобное словоупотребление этнонима *Grikkjar* мы нередко находим в рунических надписях (см., например, надпись из Хёгбю <Högby in Östergötland, ок. 1010> — *i krikum* (*i Grikkjum); ср., в этой связи, также летописное «въ Грьцьхъ»). Вопросы об обозначении «русских» в древнескандинавской традиции мы подробнее коснемся ниже.

¹³ В данном случае мы вполне разделяем точку зрения Ф. Брауна, согласно которой топоним *Gardariki* представляет собой специфически исландское обозначение Руси, возникшее только в конце XII в. [Braun 1924: 192—196]. В этом случае — при всей гипотетичности подобного рассуждения — можно предположить, что элемент *Gardar* сперва вошел в состав композита *Gardariki*, на правах имени собственного (т. е. рассматриваемый

окончательно востребован традицией в качестве наименования древнерусского государства. При этом *Гарды*, по-видимому, трактовались им здесь в своем исходном значении, то есть как обозначение территориального единства, конституируемого тремя городами: Киевом, Новгородом и Константинополем.

3.2. Скальд же, с точки зрения Снорри, тавтологически совместил в своем кеннинге общее и частное — название отдельной страны и название этногеографического образования, само упоминание которого в данном контексте уже делает избыточной отсылку к более конкретному топонимическому обозначению. Кеннинг «защитник Греции и Гардов» воспринимался, тем самым, как отчасти устаревшая поэтическая фигура, построенная на своеобразной гиперхарактеризации, что, возможно, не вполне устраивало Снорри в том числе и по стилистическим соображениям (существенно учитывать, что «Младшая Эда» представляет собой трактат, написанный в жанре учебника для скальдов).

3.3. Кроме того, автор скальдической поэтики несомненно знал о существовании кеннигов для Христа типа «хранитель Греции» и стремился, так или иначе, унифицировать имевшийся в его распоряжении материал.

3.4. Все это в совокупности и определило, по-видимому, выбор Снорри при передаче скальдического кеннинга «защитник Греции и Гардов» как «кунунг Греции» в прозаическом комментарии.

4.0. Позиция Снорри, вероятно, не исчерпывается одним лишь стремлением избежать тавтологии за счет устранения наименования *Гарды*. Ситуация вокруг кеннинга Арнора демонстрирует, помимо всего прочего и некоторые примечательные особенности его восприятия определенных географических реалий. Так, для общей характеристики этногеографических представлений Снорри Стурлусона безусловную важность имеет тот факт, что при выборе

топоним следовало бы переводить тогда как «государство Гардов» (ср. также *Garða-veldi* ‘империя Гардов’, уникальный топоним *Gardaland* ‘страна Гардов’ в «Саге о Стурлауге Трудолюбивом» [Глазырина 1996: 164—165, 190]), и лишь затем стал вновь соотноситься — вторичным образом — с древнерусскими городами. Причем новый топоним *Garðaríki* уже мог трактоваться, по-видимому, достаточно широко, на что косвенно указывает, между прочим, пример из географического описания, где для обозначения русских городов вообще (в том числе и тех, где формант *garðr* отсутствует) использован композит *höfuðgarðar*, заменяющий здесь традиционный в описательных контекстах термин *höfuðborgar* (собственно ‘главные города’): *í því ríki er þat Ruszía heitir þat kollum ver Garðaríki þar ero þessir höfuðgarðar. Moramar. Rostofa. Surdalar. Hólmgarðar. Symnes. Gadar. Palteskja. Koenu-garðr...* ‘в той стране, которая называется Руссия и которую мы зовем Гардарики, есть такие главные города: Муром, Ростов, Суздаль, Хольмгард, Сюрнес <?>, Гадар <?>, Полоцк. Кэнугард...’ [Hkb.: 155].

О перечне городов см. подробнее: [Древнерусские города 1987: 120—125; Мельникова 1986: 36—40; Pritsak 1981: 537].

между двумя восточноевропейскими обозначениями Снорри отдает здесь очевидное предпочтение наименованию Греции; во всяком случае, именно Византия, а не Гарды, формирует, так сказать, отдельную рубрику в его описании.

Иными словами, если для скальда топонимическая пара — Греция и Гарды — вписывается в рамки эквиполентной оппозиции, то для Снорри это же противопоставление явно обладает уже всеми чертами привативного.

Характерным образом, ракурс Снорри в данном случае почти совпадает с точкой зрения отдельных европейских писателей, которые могли отождествлять Грецию и Русь, греков и русских по юрисдикционному признаку¹⁴. В случае со Снорри у нас нет оснований полагать, что конфессиональный фактор имел для него определяющее значение. Однако саму возможность столь радикального изменения взгляда на роль Греции (т. е. своеобразного перераспределения акцентов в некой заданной оппозиции) необходимо, как кажется, учитывать при обсуждении другого, более общего вопроса, который, собственно, и составляет предмет нашей работы.

(IV). Отэтнотонимический термин *gerzkr/girzkr*.

Этимология и проблема его вариативности в письменной традиции

0.0. Интересующая нас проблема отэтнотонимического прилагательного, применявшегося одновременно по отношению к грекам и по отношению к русским, лишь вскользь отмечалась некоторыми исследователями. Можно предположить, что недостаток внимания к данной теме отчасти обусловлен ее сугубо прикладной оценкой в научной литературе.

0.1. Между тем, ситуация с отэтнотонимическим термином, думается, отнюдь не так проста и изолирована, как это кажется при первом приближении. Более того, современный исследователь, по-видимому, до сих пор испытывает в обращении с ним примерно те же трудности, что и большинство составителей и переписчиков саг XIII—XIV вв.

1.0. В самом деле, в древнескандинавских текстах мы встречаем прилагательное — *gerzkr/girzkr* — одинаково способное обозначать в зависимости от

¹⁴ Так, например, Русь могла объединяться с Грецией в сочинениях Адама Бременского (см. подробнее: [Назаренко 1989: 114—115; Günther 1894: 22, примеч. 5; Dietrich 1885: 103, 210; Lönborg 1897: 41, 107]; соответственно, русский мог определяться эпитетом *Graecus* ([Müllenhoff 1856: 165ff; Müllenhoff 1865: 348—355]). Подобный взгляд на Русь и на русских был, по-видимому, далеко не единичным явлением, некоторые исследователи говорили в связи с этим о существовании универсального для всей Западной Европы этнокультурного стереотипа (ср. [Ловмянский 1985: 164, 210, 288; Paff 1959: 82—83, 216]).

Любопытно отметить, что древнорвежский перевод немецких сказаний — «Сага о Тидреке Бернском» — демонстрирует иной вектор отождествления: здесь Греция, напротив, включена в число русских земель, что, возможно, объясняется спецификой собственно скандинавской перспективы.

контекста как греков, так и русских. В большинстве современных комментариев и словарей приведенные формы обычно рассматриваются как взаимозаменяемые дублеты, всякий раз вызывающие известные сомнения при переводе (ср., например: [Lönborg 1897: 41; Whaley 1998: 150; Рыдзевская 1978: 66]).

2.0. Между тем, у нас есть определенные основания предположить, что, по существу, перед нами два слова различного происхождения.

2.1. Из имеющегося в нашем распоряжении материала становится совершенно очевидно, что оба прилагательных попросту отождествлялись в письменной традиции, поскольку объединялись между собой по значению и были исключительно близки по форме. Иначе говоря, однородные термины *gerzkr* и *girzkr* естественным образом объединялись в языковом сознании и осмыслялись, судя по всему, как варианты одного слова.

Итак, обратимся к этимологии этнонимических терминов *gerzkr* и *girzkr*.

3.0. Выше нам уже приходилось отмечать (см. I) этимологическую ясность прилагательного *girzkr*. Напомним, что оно со всей очевидностью является адъективным образованием от этнонима *girk(k)jar* (< *grik(k)jar*) 'греки', который лег в основу скандинавского наименования Византии.

3.1. Полная прозрачность внутренней формы термина *girzkr* не раз давала основания переосмыслять именно эту форму в качестве прототипической и позволяла, в свою очередь, считать термин *gerzkr* производным от *girzkr*. Между тем, более обоснованным представляется принципиально иное объяснение прилагательного *gerzkr*.

4.0. Судя по всему, в древнескандинавской номенклатуре отсутствовал как таковой специальный этноним для русских: во всяком случае, почти все зафиксированные обозначения представляют собой оттопонимические композиты, легко образуемые ad hoc (ср., например, *Gardariks-menn* 'люди из Гардарики', *Garda-manna* 'люди из Гардов')¹⁵.

¹⁵ В самом факте отсутствия специального этнонима для русских мы усматриваем еще одно косвенное подтверждение нашему тезису о древнейших способах обозначения Руси у скандинавов. Со временем, однако, у них появляется этноним *Russar (Ruzzar)*, заимствованный вслед за книжным термином *Rusia, Ruciland* из западноевропейских источников, но сфера его применения, характерным образом, фактически ограничена текстами, принадлежащими к так называемой «ученой традиции»: анналами, географическими описаниями, переводными сочинениями и т. п. Достаточно показательны и отдельные, редкие случаи употребления этнонима «русские» в сагах. Так, в «Большой саге об Олаве Трюгвасоне», написанной после 1300 г., «русские» упоминаются, например, в следующем диагностическом контексте: *Pessir lutir sem nu voro sagdir vm kristni bodan Olafs TryGva sonar i Garda riki ero eigi v truanlighir þviat ein bok aagiæt ok sann frod er heitir Ymago mundi kvedr skyrt aa at þessar þiodir er sva heita. Rvsci. Polau. Vngarij. kristnaðvz aa dógum Ottonis þess er hinn. iij.*

4.1. Исходя из этого, естественно было бы допустить, что и прилагательное *gerzkr*, хотя и выступавшее в качестве этнического определения, не является в строгом смысле слова отэтнотимическим образованием, но восходит к определенному топониму с корнем *-gardr* (ср. [Успенский 1997а: 61]).

5.0. Вслед за этим, мы можем уже сделать и следующий шаг — то есть реконструировать исходную форму прилагательного, которая выглядела бы, соответственно, как **gard-isk-ar*. Таким образом, форма *gerzkr* (< **gardiskar*) представляет собой закономерное образование от основы *-gard* с палатализацией корневого гласного, вызванной суффиксальным *-i*¹⁶.

var keisari með því nafni ‘Все то, что было теперь рассказано о христианской проповеди Олава Триюгвасона в Гардарики, не является невероятным, потому что превосходная и достойная веры книга, которая называется *Imago mundi*, говорит ясно, что те народы, которые зовутся руссы, полавы, унгарии, крестились во дни Оттона, того, кто был третьим императором с этим именем’ [Otm./I, cap. 76: 158].

Остается, в сущности, открытым вопрос об отэтнотимическом прилагательном «русский» (*ryzkr*). Активное использование данного прилагательного, в принципе, допускается некоторыми исследователями (так, например, А. Ольрик приводит эту форму в своей реконструкции «бравальской тулы» [Olrik 1894: 254ff.]; ср., кроме того, указания Линда на существование прозвища *Ryzki, ryzci (rusci), ryzki* [Lind 1920—1921: 300]; ср. [Holthausen 1948: 234]), но практически не верифицируется данными источников XIII в., а потому не фиксируется большинством словарей. В этой связи, однако, заслуживает самого пристального внимания датская руническая надпись из Сульдрупа (конец X—XI в.), где говорится, что некто **riuskR** установил камень в память о своем брате Офейге. Л. Виммер в свое время предположил, что **riuskR** представляет собой отэтнотимическое прилагательное «русский», используемое здесь в качестве имени или прозвища (возможно, немецкого происхождения) (см.: [DR: 69, 245; Metzenthin 1941: 89; Pritsak 1981: 333, 368; Мельникова 1977: 42]). Такое прочтение выглядит тем более правдоподобным, что и в остальных, хронологически более поздних, случаях прилагательное *ryzkr, ryzkr* известно нам прежде всего как прозвище: так, в «Книге с Плоского Острова» (XIX в.) упоминается *Ketill ryzske* [Flat./I: 452] (известен также как *Ketill rygske* [Flat./III: 623; OT Oddr 1932: 250], т. е. из Рогланда), а в «Перечне скальдов» (рукопись XIV в.) фигурирует некий *Refr ryzki, ryzci, ruzci* [Skáldatal: 251, 259] (ср. [Lind 1920—1921: 300]). Кроме того, в ряде поздних юридических памятников встречается словосочетание *ryski leðr* [DI/XI: 448 <1545 г.>] ‘русская кожа’ и *ryskir skúar* ‘русские <кожаные> башмаки, сапоги’ [NGL/IV: 362; NGL/V: 529a] (ср. [Falk 1919: 139]).

¹⁶ Суффиксальное *-i*, по-видимому, не вызывало перегласовки, если суффикс **-isk-* присоединялся к двусложной основе (ср. *saxneskr* ‘саксонский’ < **saxaniskaR, frakkneskr* ‘франкский’ < **frakkaniskaR, gotneskr* ‘готский’ < **gotaniskaR*); вместе с тем, будучи присоединенным к односложной основе, суффиксальное *-i* вызывало перегласовку в том случае, если слог был долгим, после краткого *-i* исчезало, не вызывая палатализации: ср., например, *danskr* ‘датский’ < **daniskaR* (о различном прохождении перегласовки в отэтнотимических прилагательных см. подробнее: [Heusler 1921: 20—21, § 56—61; ср. 37, § 110; Sturtevant 1928: 150]).

6.0. Географическим наименованием, от которого, в таком случае, могло бы быть произведено прилагательное *gerzkr*, следует признать — ввиду очевидной ограниченности нашего выбора — топоним *Gardar*, используемый для обозначения территориального единства и применявшийся по отношению к Руси.

Возможность образования *gerzkr* от топонима *Gardariki* отпадает прежде всего по хронологическим соображениям (так, *gerzkr* употребляется уже у скальда Арнора Тордарсона ([Kock 1946/I: 155 строфа 4, 156 строфа 9]; ср. [Whaley 1998: 150, 161]), который, как мы предположили выше, скорее всего не знал подобного обозначения Руси).

Теоретически остается и другая возможность — интересующий нас термин мог быть произведен непосредственно от наименования Константинополя *Gardr*, если считать это обозначение византийской столицы первоначальным. Однако мы предполагаем, что данное наименование Константинополя употреблялось нерегулярно — наряду с Гардом греческий город назывался и Миклагардом, причем последнее наименование, судя по дошедшим до нас текстам, использовалось гораздо чаще. По этой причине, данная возможность представляется нам значительно менее вероятной.

7.0. Подробное объяснение термина *gerzkr*, лежащее, впрочем, на поверхности (ср. [Holthausen 1948: 83; AR/I: 295]) и потому, возможно, так и не получившее до сих пор своего эксплицитного выражения в научной литературе, позволяет нам уже здесь сделать некоторые замечания предварительного характера.

(V). *Gerzkr* и *girzkr* в дописьменную эпоху. Общие соображения

0.0. Итак, нам предстоит иметь дело с двумя этимологически различными прилагательными, одно из которых — *girzkr* — определенно восходит к этнониму *Girk(k)jar/Grik(k)jar* ‘греки’, а другое — *gerzkr* — является оттопонимическим образованием от наименования *Gardar*.

1.0. Целесообразно учитывать при этом, что семантическое наполнение обоих терминов, в принципе, должно было соответствовать значению стоящих за ними этнонима и географического наименования; таким образом, характер противопоставления *gerzkr* и *girzkr* до появления письменной традиции (где они, очевидным образом, переосмысляются как варианты одного слова) целиком определялся, по-видимому, самим соотношением или различием исходных для них слов, т. е. *Gardar* и *Girkjar*.

2.0. Как мы уже предположили, наименование *Gardar* служило прежде всего обозначением территориального единства и как таковое могло актуализироваться по отношению к Руси. Следовательно, сама возможность начального использования прилагательного *gerzkr* в качестве этнического определения русских, в принципе, не должна вызывать возражений.

3.0. Иначе обстоит дело с этнонимом *Girkjar* и его производными. Здесь у нас как будто бы нет оснований утверждать, что топоним *Girkland* или лежащий в его основе этноним обозначали нечто помимо самой Византии и собст-

венно греков¹⁷. Соответственно и *girzkr* изначально должно было бы значить не что иное как 'греческий'.

4.0. Таким образом, в реконструируемом состоянии, предшествующем письменной традиции, мы имеем термин *gerzkr* для обозначения как «гардского», так и «русского», и только термин *girzkr* для обозначения «греческого».

5.0. В дальнейшем — как мы намереваемся показать ниже — эти прилагательные отождествились между собой. Однако уже в ходе данного рассуждения возникает вопрос: не были ли они достаточно близки по значению еще в «дописьменный» период? Отождествились ли они в конечном итоге исключительно по форме или в том числе и по содержанию?

5.1. По существу, этот вопрос так и останется открытым до тех пор, пока мы не обнаружим, что этноним *Girkjar* и соответствующие дериваты могли использоваться в самом широком смысле, т. е. пока не будут найдены примеры, где между Грецией и Гардами (как обозначением территориального единства) мог бы быть поставлен безусловный знак равенства. Нахождение подобных аргументов позволило бы, в свою очередь, выделить некое общее поле, которое в одинаковой степени «захватывали» *gerzkr* и *girzkr* в плане содержания. Теоретически говоря, такой точкой соприкосновения для обоих прилагательных могло быть пространство Гардов: так, если *Gardar* обозначало в определенный момент либо территориальное единство, либо Русь, но никак не Грецию, то *Girkjar* могло относиться либо к грекам, либо — при известном допущении — к жителям Гардов, но едва ли к русским.

5.2. Сразу же оговоримся, однако, что для развития этой темы нам очевидно не хватает конкретного материала — так, примеров, поддерживающих последнюю часть нашей реконструкции, в достаточном объеме не найдено.

(VI). *Gerskr* / *girskr* в качестве прозвищ

0.0. До сих пор мы сделали целый ряд предварительных наблюдений, совершенно сознательно отказываясь от демонстрации и обсуждения собранных нами примеров. В частности, нам неоднократно приходилось подчеркивать тот факт, что термины *gerzkr* и *girzkr*, будучи различными по своему происхождению, тем не менее отождествлялись уже в древнескандинавской письменной традиции и последовательно осмыслились как варианты одного слова. Остановимся теперь подробнее на имеющихся в нашем распоряжении свидетельствах такого отождествления.

¹⁷ Если не брать в расчет те единичные случаи, когда топонимом *Grikland* обозначались малоазийские греческие колонии, а топонимом *Girkland* (т. е. форма с метатезой) — непосредственно сама «метрополия» (см. [Мельникова 1986: 62, 65, 70, 205—206]).

0.1. Надо сказать, что соответствующих примеров не так уж много, и все они отчетливо распадаются на отдельные группы, своего рода самостоятельные тематические рубрики (ср. [Успенский 1997а: 62—63]).

1.0. Одну из наиболее обширных групп образуют случаи, которые объединяет между собой использование *gerzkr/girzkr* в составе антропонимов; при этом носителями соответствующих прозвищ выступают исключительно скандинавы, чья этническая принадлежность — примечательным образом — может специально оговариваться в тексте.

1.1. Так, например, по свидетельству саг, в 1017 г. (а по некоторым данным, в 1016 г.; см. [An. X]) на обратном пути из Новгорода был убит некий норвежец по имени Гудлейк. Незадолго до этого Гудлейк отправился на Русь с особым поручением от конунга Олава Святого: он должен был купить там драгоценности, которые трудно было приобрести в Норвегии. По-видимому, Гудлейк не раз бывал на Руси и до того — во всяком случае, о нем сообщается, в частности, следующее: *hann fór austr j Gardarike optliga ok var hann firir þa sok kalladr Gudlæikr girdzske (gerzci [OHm. 121₂] > ([Flat./II: 55₃])* ‘он часто ездил на восток в Гардарики и по этой причине его называли Гудлейк *girdzske*’; ср. ...*oc var hann fyrir þa sauc kalladr gerzci (girski [AM 75a fol 1300] > ([OHm.: 120₂; Hkr. (OH)/II: 98₆])* ‘... и по-той причине его называли *gerzci*’¹⁸.

1.2. Прозвище Гудлейка, очевидно, не является камнем преткновения ни для читателя, ни для переводчика благодаря, в первую очередь, его развернутой мотивировке в тексте (которая, заметим, призвана объяснить здесь не только само прозвище, но и новый виток повествования: очеред-

¹⁸ Отчет о поездке Гудлейка присутствует прежде всего в «Саге об Олаве Святом» из «Круга Земного» и в трех редакциях «Отдельной саги об Олаве Святом»; автором всех этих сочинений предположительно является Снорри Стурлусон. В упомянутых текстах содержится следующая характеристика Гудлейка, которую мы приводим здесь по «Кругу Земному»: *Maðr hét Gudleikr gerzki. Hann var setzkaðr af Ögðum. Hann var farmaðr ok kaupmaðr mikill, auðigr ok rak kaupferðir til ymissa landa. Hann fór austr i Gardariki ofliga, ok var hann fyrir þá sök kalladr Gudleikr gerzki [Hkr. (OH)/II: 98]* ‘Одного человека звали Гудлейк *gerzki*. Он был родом из Агдира. Он много ездил и был богатым купцом. Он ездил по торговым делам в разные страны и часто бывал на востоке в Гардарики, по этой причине его и прозвали Гудлейк *gerzki*’. Подробнее о плавании Гудлейка см. [Джаксон 1994: 148—150]. Из многочисленных орфографических вариантов его прозвища (*gerzsci, gerzci, gærzke, groski, gørzki, gerzki, gerdzki, gærdzke, grenski <sic!>, girzki (girzski)*); ср. [AR/I: 295, 432]), пожалуй, специальной оговорки требует явно ошибочный здесь эпитет *grenski*, которым обозначаются в сагах выходцы из Гренланды (= область в Норвегии).

Стоит отметить в этой связи, что в ряде случаев Гудлейк также ошибочно назван Гудлейвом ([Fms./IV: 124; ср. Konungsan. 1981: 5]). Кроме того, упоминания о Гудлейке имеются в исландских анналах, где он назван *Gudleikr gerdzka, girzka, girska* ([An. IV, An. VIII, IX <1017 г.>, X <1016 г.>; ср. AR/II: 373]).

ная поездка Гудлейка на Русь — а именно в Новгород — выполняет в саге отчетливую сюжетобразующую функцию). Вместе с тем данный пример — при всей, казалось бы, его определенности, несвойственной остальным примерам из нашего списка — представляет все же значительный интерес для исследователя.

1.3. В имеющихся письменных свидетельствах о плавании Гудлейка отсутствуют прямые указания на его пребывание в Византии; в то же время сфера его торговой деятельности, по-видимому, никак не может быть ограничена Русью или собственно Новгородом. Так, в саге [Нкр. (ОН)/II, кап. 66: 98₆₋₇] говорится, что Гудлейк «снарядил свой корабль и собрался летом плыть на восток в Гарды» (...bjó Gudleikr skip sitt ok ætlaði at fara um sumarit til Garða austr), после переговоров с Олавом Святым он отправился «летом в плавание по Восточному Пути» (fór Gudleikr um sumarit í Austrveg), и, лишь побывав на Восточном Пути, прибыл, наконец, в Новгород (Gudleikr fór <...> í Austrveg til Hólmgarðs...) [Нкр. (ОН)/II, кап. 66: 99₂].

Не привнесит ли тем самым рассказчик, конкретизируя прозвище купца Гудлейка и увязывая его с частыми поездками последнего на Русь, элемент индивидуальной, дополнительной интерпретации в свое повествование?

2.0. Прозвище *gerzkr/girzkr*, которое, очевидно, включает в себе здесь скорее социальную (во всяком случае, не этническую) характеристику, указывающую на определенный род занятий его обладателя, возможно, и не предполагало — так сказать, в языковой перспективе — обязательного соотнесения с Русью или же с Византией. Термин *gerzkr/girzkr* применялся в качестве прозвища преимущественно к купцам восточного направления, что уже могло делать более подробную топографическую дифференциацию в таких антропонимах попросту неактуальной. По-видимому, на первый план здесь выступает региональный признак, как бы и подразумевающий — в известных пределах — двоякое, диффузное восприятие антропонима: оба значения органично связывались в представлении носителя языка; поэтому, называя скандинава, побывавшего на Руси и/или в Греции, *gerzkr/girzkr*, он мог говорить одновременно о том и о другом, синхронно иметь в виду как «греческое», так и «русское».

2.1. Тем самым, представляется правомерным рассуждать не столько об отождествлении «греческого» и «русского» как исходной культурной установке, сколько об обретении своеобразной смысловой точки или устойчивой позиции в языке, где различие «русского» и «греческого» становится фактически нерелевантным.

2.2. В то же время, при узуальном использовании термина *gerzkr/girzkr*, внутри одного семантического поля, определяемого смешением двух — исторически различных — прилагательных, могло фокусироваться, естественным

образом, то или иное значение, что мы и наблюдаем, в сущности, на примере рассказа о Гудлейке¹⁹.

3.0. По сути дела, прозвища *gerzkr/girzkr* образуют собой особую группу антропонимов, где региональный масштаб осмысления оказывается по-своему более адекватным, чем подробное уточнение географической разницы. Такое положение вещей могло бы поддерживаться в том числе и тем обстоятельством, что *gerzkr/girzkr* в качестве прозвищ выражали по преимуществу профессиональную, а не этническую, характеристику их носителей — в большинстве своем скандинавских купцов восточного направления, торгующих на пути из варяг в греки.

Следует отметить, что рассматриваемые антропонимы представляют собой не единственный способ обозначения скандинавов, бывающих в восточных странах и, в частности, на Руси. Так, достаточно распространенным, по-видимому, являлось прозвище *Hólmgarðsfari* ‘ездок в Новгород’ (ср. *Jórsalafari* ‘паломник в Иерусалим’ (и ‘крестоносец’), *Dyflinnarfari* ‘Ездок в Дублин’, *Englandsfari* ‘Ездок в Англию’ [Cleasby 1957: 144]); см. подробнее: [Древнерусские города 1987: 23—24]. Ср., например: *þetta sumar kom skip af Noregi til Færeyja, ok hét Hrafn styrimaðr, vikverskr at ætt, ok átti garðr í Túnsbergi. Hann sigldi jafnan til Hólmgarðs, ok var hann kalladr Hólmgarðsfari [Færeying. 8] ‘Тем летом из Норвегии к Фарерским островам пришел корабль, и рулевого звали Храфн, он был родом из Вика и владел двором в Тунсберге. Он постоянно плавал в Хольмгард (= Новгород), и был прозван Ездок в Хольмгард’. В другой саре об этом же персонаже сказано: ok reð fyrir skipinv vikverskr maðr er het Hrafn ok var kalladr Holmgardz fari, þviat hann hafði siglt avstr í Garða Ríki [Otm./II: 38] ‘и управлял кораблем муж, родом из Вика, которого звали Хравн, а называли Ездоком в Хольмгард, поскольку он плавал на восток в Гардарики’. Или: Hann var farmaðr mikill (Hólmgarðsfari) ok kaupmann. For oft í Austrveg ok hafði betri skinnavöru en aðrir kaupmenn flestir ok var af*

¹⁹ Нечто подобное происходит и с древнеисландским термином *danskr* ‘датский’, который, как известно, служил для обозначения не только собственно датских, но и общескандинавских реалий (так, в частности, выражение *dönsk tunga* ‘датский язык’ обозначала скандинавские языки вообще [Karker 1977; Skautrup 1957: 662—664; Maurer 1867: 48—49; Cleasby 1957: 96; Kalinke 1983: 858; Стеблин-Каменский 1953: 33]); ср. также *danskr höttur (hattur)* = ‘скандинавский (автохтонный) головной убор’).

Таким образом, слово *danskr* выступало в двух значениях: с одной стороны, оно означает ‘общескандинавский’ и в то же время относится к определенной разновидности скандинавов, а именно — к датчанам.

При этом отэтнонимическое прилагательное *danskr* достаточно активно использовалось в качестве прозвища (см. [Lind 1920—1921: 56]) — и здесь мы наблюдаем картину, уже совершенно аналогичную той, что мы имеем с *gerzkr/girzkr*, когда внутри некоего общего семантического поля может выделяться конкретное значение антропонима (ср., например, характерное уточнение в рассказе об одном из соратников конунга Олава Трюгвасона: ...hét Aki inn danski. Hann var ok dansk at ætt [OT Oddr., kap. 39: 121] ‘... звали <его> Аки Датским Он и был датским по происхождению’).

þvi kallaðr Skinna-Björn [Ldn.: 212] ‘Он был великим путешественником (Ездок в Хольмгард) и купцом. Он часто плавал по Восточному Пути и привозил лучшие меховые товары, чем многие другие купцы, и поэтому был прозван Меховой Бьерн’. Наряду с Hólmgarðsfari хорошо засвидетельствовано и другое прозвище — *krikkfari*, т. е. *grikkfari* ‘Ездок к грекам’, неоднократно встречающееся в шведских рунических надписях ([SR/VI: 439—440; IX: 76—81; Peterson 1994: 19]). Не исключено, что оно могло относиться к лицам, побывавшим и на Руси (ср. [Lönborg 1897: 41]).

Кроме того, из саг известны отдельные лица, побывавшие в Греции или на Руси (полезный свод сведений о них: [Бибиков 1997: 7—10]) и получившие — несомненно благодаря этим поездкам — соответствующие прозвища (при этом характер их деятельности не всегда поддается четкому определению). Так, в «Пряди об Эймунде» [Flat./II: 127; Джаксон 1994: 99; Рыдзевская 1978: 98] и «Саге об Ингваре» [YS.: 12] фигурирует персонаж по имени Гарда-Кетиль (*Garda-Ketill*), получивший свое прозвище в связи с поездкой на Русь; в «Саге о Стурлунгах» многократно упоминается Сигурд Грек (*Sigurðr Grikk*), однажды посетивший Константинополь [Surl./I: 158, 160, 228]; в норвежских дипломах встречается некий Гуннар Грек (*Gunnar girkr* [DN/II: 94; ср. Lind 1920—1921: 119—120; Kahle 1909: 196]); в исландских римах есть *Avnvdgr gricr* (ср. [Metzenthin 1941: 37]); наконец, к числу явно вымышленных персонажей принадлежит Сигурд Грек (*Sigurðr gircr / grikr*) в «Саге о Тидреке Бернском» [ÞS/I: 223ff. 338; II: 3, 61]²⁰.

3.1. Действительно, социальные коннотации рассматриваемых прозвищ как будто бы хорошо подтверждаются на материале саг. В «Саге о людях из

²⁰ Любопытно кстати отметить, что в отношении этого, последнего, персонажа — Сигурда Грека или Сигурда Старого (*inn gamli*) — неоднократно предпринимались попытки доказать его «русское происхождение» (см. об этом с указанием литературы: [Studer 1931: 111]), против чего возражал, в частности, А. Веселовский [Веселовский 1906: 76]. Дело в том, что «Сага о Тидреке Бернском» представляет собой переложение в прозаической форме древненемецких эпических сказаний, составлявших цикл поэм о Дитрихе Бернском и его рыцарях. В немецком эпосе, как показал еще в прошлом веке К. Мюлленгоф, отождествление греков и русских имело место (см. подробно: [Müllenhoff 1856: 165ff; Müllenhoff 1865: 348—355, особенно с. 349; Ярхо 1917: 335—336; Paff 1959: 82—83, 216; Keller 1985: 89]; ср. упомянутые замечания Веселовского и критическое мнение Кирпичникова [Кирпичников 1873: 96—97, 107—110]). Следы или отголоски такого смешения усматривались и на скандинавском материале: так, например, персонаж из немецкой поэмы «Ортнит» по имени Илиас Русский <von Riuzen> (которого, начиная с Мюлленгофа [Müllenhoff 1865: 353], идентифицируют как Илью Муромца русских былин [Ярхо 1917: 326—337; Keller 1985: 92, примеч. 11; Berkov 1976: 306; Bräuer 1973: 144, 146; ср. Глазырина 1978]) превращается в «Саге о Тидреке» в ярла Илиаса из Греции <af Grecia, af Greka> (ср. [Веселовский 1906: 66—80, особенно 74—76; Лященко 1925]) (см. об этом ниже). Соответственно, презумпция Мюлленгофа («... im Mittelalter das Wort <Graecus> für beide Völker synonym gebraucht wurde (d. h. für Griechen und Russen)» [Studer 1931: 111]) автоматически распространялась на всякого персонажа, носящего эпитет «греческий» или «прозвище» Грек, и, в том числе, на Сигурда Грека из «Саги о Тидреке Бернском».

Лососьей Долинь», например, рассказывается, как один из главных персонажей зашел во время торгового купца: *Höskuldr gekk þangat ok í tjaldit, ok sat þar maðr fyrir í gudvefjarklæðum ok hafði gerzkan hatt á höfði. Höskuldr spurði þann mann at nafni; hann nefndist Gilli, — «en þá kannast margir við, ef heyrta kenningarnafn mitt; ek em kallaðr Gilli hinn gerzki»* <= *gerske, girske, griski, greski* [AR/II: 286]>. Höskuldr kvadst oft hafa heyrta hans getit, kallaði hann þeira manna audgastan, sem verit höfðu í kaupmannalögum ([Ld., kap. 12: 27]) ‘Хёскульд вошел в шатер и увидал, что перед ним сидит человек в одеянии из великолепной ткани и с *gerzk*’ой шапкой²¹ на голове. Хёскульд спросил, как его зовут. Тот назвал себя Гилли. — Однако, — сказал он, — многим больше говорит мое прозвище: Гилли *hinn gerzki*. Хёскульд сказал, что часто о нем слышал. Его называли самым богатым из торговых людей’²².

4.0. В то же время данный аспект интересующих нас прозвищ, по-видимому, не стоит преувеличивать: подобно тому, как далеко не все скандинавы, торговавшие на восточном пути, устаиваются этого эпитета, не все скандинавы, называемые *gerzkr/girzkr*, оказываются и торговыми людьми. Таков, например Свейн (*Sveinn gerzci* [Mork.: 104], *girz(s)ke* [Flat./III: 314—315]), о котором известно лишь, что «Он прибыл в страну <Норвегию> с Харальдом <Суровым>» (*hann kom í land með Haraldi*), где получил от конунга земли [Mork.: 25; Fms./VI: 187; Flat./III: 314]²³; таков, по всей видимости, и Гейр (*Geirr inn gerzki* из «Саги о Золотом Торире» [Gullþ, kap. 6: 16₂₂], который, согласно саге, был в шайке шведского берсерка Гаута²⁴.

²¹ Относительно данного атрибута купца см. наши соображения ниже.

²² Сведения о Гилли содержатся только в «Саге о людях из Лососьей Долины», где он называется также Гилли Богатым (*Gilli enn augði*) [Ld.: 29]. Имя *Gilli* — несомненно кельтского происхождения (см. о нем: [Vries 1977: 167; Lind 1905—1915/III: 333—334]).

²³ Саги ничего не сообщают нам о торговых занятиях Свейна, что, по-видимому, дало дополнительные основания Линду считать его выходцем из Гардарики [Lind 1920—1921: 108]. Между тем, мы склонны усматривать косвенное объяснение его прозвищу в том, что Свейн приехал в Норвегию с Харальдом Суровым: очень вероятно, что будучи спутником или даже дружинником Харальда, он побывал с последним как в Византии (где Харальд возглавлял варяжскую дружину), так и на Руси (о пребывании Харальда у Ярослава Мудрого достаточно хорошо известно). Таким образом, прозвище Свейна, возможно, указывает не на его этническую принадлежность, а — опять-таки — на некоторые аспекты его деятельности, так или иначе связанной с Русью и Византией.

²⁴ Сага лишь однажды называет Гейра в числе викингов, с которыми приходится столкнуться одному из главных действующих лиц — Ториру. Вероятнее всего, Гейр является вымышленным персонажем (ср. [Lind 1920—1921: 108]), хотя немотивированность и единичность его появления в саге говорит, возможно, и об обратном. Стоит отметить в этой связи, что нам известен персонаж с тем же прозвищем (отсутствующий, между прочим, в словаре Линда), о вымышленности которого мы можем говорить с относительно

4.1. Последние из приведенных примеров показывают, что попытка рассматривать прозвища *gerzkr/girzkr* исключительно в качестве своего рода *terminus technicus* для купцов восточного направления (см., например: [Веселовский 1906: 74; Medieval Scandinavia 1993: 553; Джексон 1994: 149] ср. более корректную интерпретацию: [AR/I: 295], повторенную [Лященко 1925: 60—61]) отчасти упрощает ситуацию, хотя подобное понимание предмета, возникло, разумеется, не на пустом месте.

4.2. Наиболее убедительным образом эти положения иллюстрирует, в частности, один эпизод из жизнеописаний норвежского конунга Олава Трюггвасона (995—999 или 1000), непосредственно связанный как с обстоятельствами его крещения в Византии, так и с той миссионерской деятельностью, которую он осуществлял на Руси.

**(VII). Олав Трюггвасон как купец восточного направления.
Попытка анализа одного сюжета**

0.0. Как известно, в некоторых скандинавских источниках Олаву Трюггвасону отводится едва ли не центральная роль в деле крещения Руси.

0.1. Олав вырос при дворе князя Владимира (конунг Вальдамар в сагах), где однажды во сне ему было откровение: некий голос велел Олаву ехать в Грецию, где ему «станет известно имя Господа Бога его». Он отправляется в Грецию, получает там знамение креста (*prima signato*, т. е. речь идет о катехизации, или оглашении [Molland 1968: 439—444; Архипов 1995: 33, примеч. 10; Laws of Early Iceland 1980: 26, примеч. 6; Sandholm 1965], чин которого практически перестал существовать к тому времени в Западной Церкви ([Мусин 1997: 134—135])) от некоего греческого епископа, которого он просит отправиться с ним и крестить язычников-русских.

0.2. Вернувшись на Русь, Олав Трюггвасон убедил князя Владимира и княгиню Аллогию принять крещение; затем приехал греческий епископ Павел (*Pall byskop af Griclande*) и крестил князя и княгиню со всем народом. Сам же

большой определенностью. Так, в одной из редакций рыцарской саги — «Саги о Сигурде Молчаливом» — вскользь упоминается викинг по имени *Gardr en girzki* [Sigþög.: 106, 108, 110—112, 117; <Gardr the Greek в комментариях>], которого убивают братья главного героя во время своего похода в Прибалтику (под этим именем он фигурирует и в римах, тогда как в другой — краткой — редакции саги этот же викинг назван Тейтом <Teitr>). Имя *Gardr* или *Gard-arr* (ср. [Vries 1977: 156; Janzen 1947: 41, 147, 252]), вообще говоря, было достаточно широко распространено в скандинавской среде (см. [Lind 1905—1915/II: 299—301]), однако, в нашем случае, трудно отделаться от ощущения, что оно подобрано не случайно и, тем или иным образом, коррелирует с его прозвищем. *Gardr hinn girzki* известен также и в поэтической традиции, откуда он попал, возможно, в пространную редакцию прозаического текста (ср. [Sigþög.: LXXXIII, CIX, CX]).

Олав вновь отправляется в путь и принимает окончательно крещение, на этот раз неподалеку от Ирландии, на островах Сьюлинга.

В свое время два источника христианства Олава — греческий и ирландский — попытался примирить А. Архипов, предположив, что под Грецией в сагах об Олаве понимается Ирландия: «... страна Grikland в действительности является Ирландией. Известно, что отождествление Греции и Ирландии, греков и ирландцев (Scotti) является своего рода общим местом медиевистики (по выражению Рене Деролеза, who says Greek(s), says Scotti)» [Архипов 1995: 33—34].

А. Архипов в своем рассуждении об ирландцах и греках опирается, в частности, на работу А. В. Исаченко о кельтской миссии у моравских и паннонских славян [Исаченко 1963], где имеются сходные утверждения, подкрепленные достаточно произвольной цитатой из Деролеза (например, фраза последнего исследователя «Even if we no longer believe that who says Greek, says Scotti, it remains true that the Irish diaspora played an important part in the diffusion of Greek lore» [Derolez 1954: 160] в переводе выглядит так: «Даже если мы больше принимаем на веру, что тот, кто говорит „греки“, говорит „ирландцы“, все же остается фактом, что ирландская диаспора сыграла важную роль в деле распространения греческой мудрости» [Исаченко 1963: 62]. Утверждение же, приписываемое Деролезу — «Кто говорит „греки“ — имеет в виду ирландцев: это общее место медиевистики» [Исаченко 1963, там же], — вовсе отсутствует в цитируемой работе (аналогичное понимание Деролеза еще раз нашло свое отражение в работе [Фалилеев 1999: 93]). К сожалению, говоря об отождествлении ирландцев и греков, Исаченко почти не приводит материалов из латиноязычных источников, подтверждающих его сведения (за исключением одного примера из «Обращения баварцев и хорутан», где фигурирует ирландский епископ Добда Грек (Dobdagrecus); однако единичное прозвище епископа, на наш взгляд, еще не свидетельствует со всей очевидностью о самом отождествлении ирландцев и греков).

Сказанное о недостатке примеров отчасти относится и к предположению А. Архипова. Древнескандинавской традиции совершенно неизвестны факты отождествления Греции (Grikland) и Ирландии (Irland), однако ситуация в случае с Олавом Трюггвасоном осложняется тем, что мы имеем здесь дело с переводами утраченного латинского оригинала (сага монаха Одда в трех редакциях). Не исключено, что отдельные несоответствия и противоречия, касающиеся поездок в Грецию и Ирландию, обусловлены специфической дошедшего до нас памятника. Так, если в большинстве жизнеописаний Олава место, где он принимает крещение, локализуется «на западе от Англии», причем Олав попадает туда непосредственно после битвы в Ирландии («Круг Земной») или побывав перед тем в Греции и крестив Русь («Большая сага», сага монаха Одда, редакция А), то в другой редакции (S) саги монаха Одда содержатся куда более противоречивые сведения.

Согласно исландскому списку перевода (есть все основания считать, что редакция S возникла именно в Исландии), Олав получил *prima signato* в Греции (Grikland), вернулся на Русь (Garða gíke) с обещанием греческого епископа Павла приехать позже, заставил князя Владимира и княгиню принять крещение, а сам отправился в земли неподалеку от Ирландии (Irland), где взял хорошо обученных священников. Тогда приехал епископ Павел из Греции и, при помощи Олава, опять крестил князя и княгиню со всем войском. Благодаря этим событиям Олав стал широко известен на Восточном Пути, и

слава о нем, в конце концов, достигла Норвегии [ОТ Oddr 1932: 43]. Затем сюжет вновь развивается по традиционной схеме: Олав вновь едет в Ирландию и принимает крещение на островах Сюдлинга... Действительно, упоминание островов рядом с Ирландией в контексте крещения Руси кажется не вполне уместным и несколько преждевременным (ср. аналогичный маршрут Олава в 6 главе «Саги о крещении»: *Oláfr konungur fór af Írlandi ok austr í Hólmgarð, en or Hólmgarði til Noregs, sem ritad er í sögu hans...* ‘Олав конунг поехал из Ирландии на восток в Хольмгард, а из Хольмгарда в Норвегию, как написано в саге о нем...’ <т. е. в саге Олда> [Кг. VI: примеч. 16, ср. с. XII; AR/II 236]), однако, как видно из нашего пересказа, в исландской редакции события дублируются и как бы проговариваются по два раза: князь Владимир д в а ж д ы принимает крещение (ср. [Архипов 1995: 32, примеч. 9]), Олав Трюггвасон д в а ж д ы посещает Ирландию, причем первое его посещение мотивировано в саге весьма слабо. Все это в совокупности заставляет думать прежде всего о вероятной компилятивности рассматриваемого источника, где версия перевода, возможно, попросту наслаивается на версию оригинала.

Как бы то ни было, всех этих наблюдений едва ли достаточно для того, чтобы утверждать, что под *Grikland*’ом автор исландского перевода имеет в виду Ирландию; равным образом, невероятным оказывается и обратное утверждение — у нас нет никаких оснований считать, что под топонимом *Irland* подразумевается Греция. Думается, что для авторов саг об Олаве Трюггвасоне (за исключением разве что Снорри) мотив обращения Олава в Византии и последующего крещения неподалеку от Ирландии обладал исключительной значимостью, подобно тому как для исландских и норвежских клириков было важно оговорить, что Олав Святой уверовал в Англии, но принял крещение в Руане («Древненорвежская книга проповедей» вместо Руана <*Rúða, Rúðaborg*> называется Рим <*Róm*> [GNH 1864: 146]; согласно другой версии, Олав Святой был крещен в Хрингарики (Норвегия) Олавом Трюггвасоном). Версия «постепенного» обращения Олава Святого представлена преимущественно в памятниках ученой традиции [Lönnroth 1963: 58, 93] и, возможно, отражает действительную поэтапность самой процедуры, включающую в себя обряд оглашения и собственно акт крещения (ср. в связи с этим мнение М. Арранца относительно двух этапов крещения князя Владимира в Киеве и в Херсонесе [Арранц 1988; Aganz 1989: 81—98; ср. Мусин 1997: 134 и след.]).

Именно поэтому гипотеза А. Архипова, примиряющая и по-своему нейтрализующая два источника христианства Олава Трюггвасона, представляется нам в целом совершенно неубедительной.

1.0. В большинстве саг об Олаве Трюггвасоне сообщается, что на пути в Норвегию будущий конунг и «апостол норманнов», как его называют некоторые источники²⁵, принял решение сменить имя. Необходимость в этом цели-

²⁵ Употребление данного выражения (ср. ...er at réttu má kallast postoli Nordmanna ‘... который мог по праву называться апостолом норманнов’ в [ОТ Oddr. 78: 261]) по отношению к Олаву представляется достаточно нетривиальным: как известно, ему не удалось окончательно крестить Норвегию — крестителем страны и первым скандинавским святым был его троюродный племянник и крестник Олав Харальдссон (Святой).

По-видимому, выражение «апостол норманнов» (см. о нем из последних работ: [Zernack 1998: 77—95]) следует понимать в несколько ином ключе: речь идет не только и не

ком была вызвана как будто бы внешними обстоятельствами: Олав собирался оспаривать свои права на норвежский престол и был кровно заинтересован в том, чтобы оставаться неузнанным у себя на родине²⁶.

столько о Норвегии, но о тех — населенных норманнами — странах, которые обратились в христианство в период его правления и/или при его активном участии. Из источников известны шесть таких стран — En þessi eru heiti landa þeira, er hann kristnaði: Noregr <sic!>, Hjalmland, Orkneyjar, Færejar, Island, Grænland [OT Oddr. 52: 155] ‘Вот названия тех земель, которые он крестил: Норвегия <!>, Хьялmland <Шетландские о-ва>, Оркнейские о-ва, Фарерские о-ва, Исландия, Гренландия’ (подробнее о перечне стран: [Jóhannesson 1962/1965: 63; Fidjestøl 1997: 201, 207; ср. Успенский 1999: 159]). Этот список, в принципе, легко могла бы пополнить и Русь: ведь именно Русь оказывается первой и едва ли не единственной внескандинавской страной, которая, согласно некоторым источникам, приняла христианство по инициативе Олава Трюггвасона. Подробнее о возможной аллюзии на миссионерскую деятельность Олава на Руси, содержащейся в формуле «апостол норманнов» см.: [Успенский 1999: 158—163].

²⁶ Как не раз отмечалось, подобного рода сюжеты принадлежат к числу весьма распространенных, если не сказать универсальных, в средневековой литературе (ср., например, [Орлов 1906: 160—227; Веселовский 1906: 38 и след.; Лященко 1922: 131]). Вместе с тем, именно сейчас имеет смысл еще раз остановиться на уже выделенных параллелях к этому эпизоду и, по возможности, привести новые. Так, А. Лященко [Лященко 1922: 116; Лященко 1926: 11—12] не без основания сопоставлял интересующий нас рассказ об Олаве Трюггвасоне с эпизодом из «Саги о Харальде Суровом» (Лященко ошибочно ссылался при этом на «Круг Земной»), где говорится, что Харальд, попав в Византию, стал называться Нордбриком (Nordbrikt) [AR/II: 22]. Любопытно отметить, что появление у Харальда достаточного прозрачного, намекающего на его этническую принадлежность, псевдонима мотивируется в саге тем, что в Византии будто бы существовало предписание, запрещавшее иностранцам королевского рода пребывание в стране или обладание властью. Ссылки на аналогичный закон (только на Руси, а не в Греции!) содержатся и в сагах об Олаве Трюггвасоне (см. [Джаксон 1993: 199]), однако там они не увязаны с самим фактом перемены имени.

Кроме того, заслуживают упоминания многочисленные эпизоды из исландских родовых и фантастических саг, где некоторые персонажи нередко в силу тех или иных обстоятельств скрывают свое подлинное имя ([Voberg 1966: 215 <P322.2>, 181 мотив <K1831>]). Здесь бросается в глаза одна примечательная закономерность — все они, сохраняя инкогнито, как правило называют себя именем Gestr, т. е. собственно «Гость» (семантика имени часто обыгрывается в сагах: ср., например, konungr tók honum vel ok spurði, hvert hann væri, en hann sagðist Gestr heita; konungr svarar: gestr muntu her vera, hversu sem þú heitir; Gestr svarar: satt segi ek til nafns míns, herra [Flat./I: 346] ‘конунг принял его хорошо и спросил его, кто он такой. Он сказал, что его зовут Гест. Конунг ответил: «Гостем быть тебе здесь, а как же тебя зовут?» Гест ответил: «Честно я назвал свое имя, государь»’; ср. также «Сагу о Греттире», гл. 72, или сообщение «Саги о Вига-Стуре» о пребывании Геста в Константинополе [AR/II: 266; Бибиков 1997: 8]) (см. более полный обзор примеров: [Lind 1905—1915: 330; Fritzner 1954/I: 589]).

2.0. В то же время, нельзя не отметить, что перемена имени в ряде источников приходится на промежуток времени между *prima signato*, принятым в Византии, обращением Руси и крещением Олава у берегов Ирландии; таким образом, можно с уверенностью предполагать, что в литературной традиции сам факт перемены имени Олава Трюггвасона так или иначе имплицитно связан с некоторыми обстоятельствами его крещения.

2.1. Так, в «Большой саге об Олаве Трюггвасоне» говорится, в частности, следующее: *En ecki hafði hann meira af nafni sino síðan hann fór or Garða ríki hit fyrta sinn. en hann kallaði sik Óla. ok sagðiz vera girdzkr < = gerzkr, girzkr, girzskr [Otm./Л: 162; AR/Л: 409]> [Otm./Л: 78: 161—162; Fms./Л: 145]* ‘И не имел он более своего имени с тех пор, как в первый раз уехал из Гардарики. И называл себя Оли и говорил, что он *girdzkr*’²⁷.

Наконец, отметим, что тоже «гостем», но уже в совершенно ином — терминологическом — смысле, называет себя Олег в летописном рассказе о походе на Аскольда и Лиру, составляющем, пожалуй, наиболее разительную аналогию к нашему эпизоду из жизнеописаний Олава Трюггвасона — напомним, что, стоя с дружиной под Киевом, Олег выдает себя за новгородского купца, направляющегося в Византию (так называемого Гречника): «Гость есмь, и идемъ въ Греки...» [ПСРЛ 1926/Л: 23, 882 г.] (о летописном рассказе в связи с русско-варяжской проблематикой см. [Рыдзевская 1978: 173—178], где помимо литературы приводятся некоторые параллели из Саксона Грамматика).

²⁷ Примерно то же самое сказано и в «Круге Земном» Снорри Стурлусона, где перемена имени происходит прямо на островах Скуллинга, непосредственно перед принятием крещения: *En síðan er hann fór ór Gardaríki, hafði hann eigi meira af nafni sínu en kallaði sik Óla ok kvazk vera gerzkr [Hkr/Л, 31: 309]* ‘И с тех пор, как он уехал из Гардарики, он изменил свое имя и называл себя Оли и говорил, что он *gerzkr*’.

Разные источники по-разному преподносят новое имя Олава: в «Большой саге об Олаве Трюггвасоне» он назван Оли, тогда как в двух редакциях саги монаха Одда, например, приводится форма Али. Если форма *Óli*, в принципе, не вызывала сомнения у исследователей, и идентифицировалась как сокращение от имени *Óláfr* [Джаксон 1993: 209, 210], то для формы *Áli* подыскивались различные объяснения (так, в частности, Л. Лённрот предположил, что Али — это имя морского конунга (...*Áli* er ett sjökunungsnamn) из скальдического кеннинга *Ála el*, обозначающего «битву» [Lönnrotth 1963: 89]). Между тем, такая интерпретация, как, отчасти, и сама постановка вопроса, представляется достаточно искусственной и надуманной. Мы считаем здесь формы *Óli* и *Áli* вариантами одного имени (*Áli*), этимологически, по видимому, связанного с именем *Óláfr* [Jóhannesson 1951/1956: 24], но нетождественного ему (существенно, в частности, что имя *Áli* способно образовывать самостоятельные патронимы типа *Alasson/Ólason*) [ср. Lind 1905—1915/Л: 17—20; VI: 810—816; Vries 1977: 6, 418; Höfler 1954: 47—48].

Другое дело, что псевдоним Олава Трюггвасона построен, по-видимому, на языковой игре и подразумевает неизбежную ассоциацию с известным сокращением от имени *Óláfr* — *Óli, Ólle*.

3.0. Смысл этой фразы (в особенности последней ее части) не вполне ясен, поскольку Олав мог выдавать себя не только за торгового человека (в этом случае *girdzkr* следовало бы понимать, вероятно, как его профессиональное прозвище), но, например, и за выходца из той или иной восточноевропейской страны, очутившегося на Западе (и тогда *girdzkr* выступало бы здесь скорее в качестве этнического определения).

3.1. Достаточно показательно что и сами источники демонстрируют, на первый взгляд, относительную неопределенность в данном вопросе. Например, из «Большой саги» известно, что Олав Трюггвасон однажды уже воспользовался подобной уловкой, но тогда он выдавал себя как будто бы за торгового человека. Так, уехав из Гардарики и оказавшись в Стране Вендов, Олав женился на некоей Гейре, дочери вендского конунга Буришлава. Гейра впервые узнает об Олаве от своего советника Диксина, который приходит к ней в покои и сообщает, что видел множество чужих кораблей и людей под предводительством некоего мужа, *einn ágætr maðr bæði at ætt ok ásyndum, er nefniz Óli enn girdzki* < = *gerzski, girzki, girzski* [Otm./I: 112] > *ok kvedz uera einn kaupmaðr* [Otm./I, 59: 112; Fms./I: 101] ‘выдающегося как обликом так и происхождением, который назвался Оли *girdzki* и сказал, <что он> купец’²⁸.

3.2. С другой стороны, в той же «Большой саге об Олаве» есть примеры, где *gerzkr/girzkr* осмысливается скорее как указание на его этническую принадлежность; так, слухи о появлении Олава доходят, наконец, до его главного соперника — ярла Хакона: *Hakon j(arl) hafði fengit af spraka nökkum, at sá maðr mun vera fyrir vestan haf er Óli nefniz* < = *nefndr er Óli hín gerzski* (Bergsbók)> *ok halldi menn þar fyrir konung. En j(arl) grunar af frasögn aNaRa manna at veras muni nöckuR af konunga ætt norænni. jarlinum var sagt at Óli kalladiz girzkr at ætt* < = *var girdzkr, gerdzskr, gerzskr kalladr* [Otm./I: 205]> *en hann hafði þat spurt at Trygvi Ólafs s(on) hafði att son þann er farit hafði austr i Garða ríki ok þar upp fædz með Valldamar konungi ok het sa Ólafr* ([Otm./I, 93: 204—205; Fms./I: 187]) ‘До ярла Хакона дошли какие-то слухи, что на западе за морем есть такой человек, который называет себя Оли <ср. ...которого называют Оли *hín gerzski*>, и люди считают его конунгом. По рассказам других людей ярл дога-

²⁸ Воспользуемся случаем, чтобы исправить здесь одно недоразумение. Т. Н. Джаксон в своей монографии опровергает М. Бережкова (а вслед за ним В. Т. Пашуто, А. П. Новосельцова и В. М. Потина), который писал, что Олав представился как купец из Новгорода «в земле венедов» [Бережков 1879: 52]; по мнению исследовательницы, этого эпизода нет в саге [Джаксон 1993: 209]. Между тем, сведения Бережкова верны (см. цитату в тексте нашей работы), с той лишь оговоркой, что Олав не называется в «Большой саге» н о в г о - р о д с к и м купцом, но использует в качестве прозвища интересующий нас термин *gerzkr/girzkr*.

дался, что это, должно быть, кто-то из рода норвежских конунгов. Ярлу было сказано, что Оли называет себя *gizrkr* по рождению <ср. ...был прозван *girdzkr, gerdzskr, gerzskr*>, а он — <Хакон> — знал, что у Трюггви сына Олава был сын, который уехал на восток в Гардарики и воспитывался у конунга Вальдамара, а звали его Олав²⁹. Затем ярл Хакон рассказывает всем о своей догадке относительно Оли (*Óli en girdzki < = gerdzki, gerdzski, gerzski, gírzski [Otm./I: 205]*)> и подсылает к нему своего человека по имени Торир Клакка. Тот отправляется в Дублин и встречается с Оли *en girdzki < = gerdzki, gerdzski, gerzski, gírzski [Otm./I: 205]*)³⁰.

4.0. Как видно из приведенных цитат, в сагах представлены практически все возможности прочтения термина: в одном и том же источнике *gerzkr/gizrkr* может пониматься то как прозвище купца-скандинава, то, напротив, как обозначение жителя по имени местности. Возникает впечатление, что мы имеем здесь дело по меньшей мере с двумя версиями одного события, что на уровне поэтики кажется уже почти литературным приемом — известная про-

²⁹ Cp. *Hákon jarl fær nökkurn pata af því, at maðr mun sá vera fyrir vestan haf, er Ali nefndisk, ok halda þeir hann fyrir konung, en jarl grunadi af frásögn nökkurra manna at vera myndi nökkur af konungaætt norrœnni. Honum var sagt, at Oli kalladisk gerzkr at ætt, en jarl hafði þat spyrnt, at Tryggvi Olafsson hafði átt son þann, er farit hafði austr í Gardaríki ok þar upp fæzk með Valdímar konungi, ok hét sá Oláfr [Hkr./I, 46: 343—344]* ‘До Хакона ярла дошли слухи, что на западе за морем есть человек, который называет себя Али, и его считают там конунгом. Из рассказов некоторых людей ярл заключил, что этот человек какой-то потомок норвежских конунгов. Ярлу сказали, что Оли, по его словам, родом *gerzkr*. А ярл слышал, что у Трюггви сына Олава был сын, который уехал в Гардарики, вырос там у Вальдамара конунга и звался Олавом’.

³⁰ Для выяснения обстоятельств и деталей эпизода с переменной имени немаловажную роль играют показания еще одного источника — переводной «Саги об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда. Так, в одной из редакций (А) этого перевода с латыни рассказывается, что, приняв крещение неподалеку от Ирландии, Олав отправился в Англию и назывался Оли Богатым: *hann hét Oli inn augði ok var kaupmaðr, — «en ver eru komnir allir af Gardaríki» [OT Oddr. 14: 46]* ‘...зовут его Оли Богатый и он купец, — «и все мы <т. е. сопровождающая дружина> прибыли из Гардарики’». В другой редакции (S) Олав рекомендуется сходным образом: *hann kvaz heita Alen avdge ok forenge kavp manna ok nv allir komnir af Garda ríke [OT Oddr 1932. 10: 46]* ‘Он отвечает, что зовется Али Богатый, что он чужеземный купец, «и теперь прибыли мы все из Гардарики’».

Любопытно отметить, что рассматриваемые характеристики Олава, по-видимому, относительны и определяются самим географическим направлением его маршрута: так, на Западе он представляется как купец восточного направления, но по пути на юг он называется уже норвежским купцом или купцом-скандинавом (ср. о его путешествии на юг из страны вендов в редакции (U): *en O. for sudr til Rums með .IX. mann. oc lez vera þorrænn kaupmaðr [OT. Oddr 1932, 78: 260]* ‘а Олав поехал на юг в Рим с девятью людьми и говорил, что он норвежский купец’; ср. еще: [Otm./II: 319]).

тиворечивость в употреблении *gerzkr/girzkr* как бы искусно воссоздает атмосферу слухов, сопутствующих возвращению Олава к себе на родину.

5.0. Между тем эта противоречивость легко снимается, если принять во внимание, что Олав изначально — по замыслу авторов его самых ранних жизнеописаний — выдавал себя за купца-иностранца (ср. в одной из редакций перевода с латыни: *hann kvaz heita Alen avðge ok vera forenge kavp manna ok nv allir komnir af Garða ríke* [OT Oddr 1932, 10: 46] ‘Он отвечает, что зовется Али Богатый, что он чужеземный купец, «и теперь прибыли мы все из Гардарики»’).

6.0. Таким образом, применительно к Оли один и тот же термин *gerzkr/girzkr* может употребляться в принципиально различных смыслах причем и то и другое его употребление в равной степени будет оправданным в контексте той мистификации, которую устраивает Олав Трюггвасон. Условно говоря, в «загадке», которую задает Олав, в немалой степени обыгрывается известное тождество профессионального прозвища и соответствующего этнического определения, однако для ее окончательной расшифровки требуется некоторая осведомленность, так сказать, в сугубо событийной стороне дела. Сохраняя инкогнито, Олав как бы одновременно выступает и в том и в другом качестве, т. е. представляется купцом-иностранцем, торгующим на восточном пути.

6.1. Понятно также, что, скрывая свое неординарное происхождение, Олав следует определенным стандартам — именно этим обусловлено, по видимому, появление «говорящего» и, в то же время, вполне расхожего, подчеркнуто нейтрального прозвища в саге (ср. его вариант у монаха Олда: Али Богатый)³¹.

7.0. Какие мотивы, однако, могли побудить его назваться *gerzkr/girzkr* по рождению? Казалось бы, ответ на этот вопрос здесь тем более очевиден, что сага предлагает нам проследить всю логику рассуждения главного адресата инсценировки — ярла Хакона. Действительно, Олав воспитывался на Руси, при дворе князя Владимира, и кем ему было называться, оказавшись на Западе, как не иностранцем³², выходцем из Гардов?

³¹ Вообще, данный эпизод по своему интересен тем, что применение антропонима, рассчитанное на определенные фоновые знания, призвано не столько индивидуализировать объект, сколько лишить его отличительных черт, как бы растворить его в среде «второстепенных» персонажей.

³² Так, в «Большой саге» Олав представляется чужеземцем в Англии (*Eik heiti Oli. er ek her vtlandr madr* [Otm./I, 80: 166] ‘Я зовусь Оли. Я здесь чужеземец’), однако однажды открывается императору Оттону, находясь в Дании (*Eik heiti Olaf. Ek er norrænn at ætt* [Otm./I, 70: 144—145] ‘Я зовусь Олав. Я норвежец по происхождению’). Вместе с тем, в сагах неоднократно подчеркивается, что Олав считался на Руси иностранцем (см., например, речь княгини Аллогии на тинге в [Otm./I, 76: 156—157]).

8.0. Вместе с тем, данная мистификация едва ли исчерпывается одной лишь фабульной реминисценцией — в определенном смысле рассматриваемый эпизод является узловым (в частности, в «Большой саге»), поскольку в нем сведены воедино и как бы «суммированы» некоторые магистральные линии уже изложенной истории.

8.1. Как мы упоминали выше, мотив превращения Олава в иностранного купца оказывается, по всей видимости, имплицитно связанным с обстоятельствами его крещения. Так, Олав получает знамение креста в Византии, способствует обращению Руси и лишь затем принимает крещение у берегов Ирландии. Между этими биографическими вехами и происходит собственно то, что до сих пор было предметом нашего обсуждения — Олав изменяет имя и выдает себя за купца-иностранца.

Не совокупность ли этих — решающих — событий своей биографии на самом деле имеет в виду Олав, называясь *gerzkr/girzkr* по рождению?

9.0. Если эта догадка верна, то весь эпизод в «Большой саге» может иметь дополнительный (условно назовем его «агиографическим») уровень прочтения, в соответствии с которым за этнической самоидентификацией Оли скрывается, предположительно, недоступное для ярла Хакона указание на факт обращения в Византии, а псевдокупеческое прозвище Олава как бы дополнительно свидетельствует о его проповеднической деятельности на Руси (так, прозвища миссионеров и купцов очевидным образом объединяет лежащий в их основе этногеографический принцип: ср. объяснение этого принципа в одном немецком памятнике XVI в. — «купцы и наемные солдаты получают прозвища согласно названиям обитателей тех мест или стран, где они чаще всего торгуют или бывают» (цит. по: [Назаренко 1984: 96])³³).

9.1. Впрочем, следует отметить, что возможность подобного прочтения практически отсутствует в других, более ранних жизнеописаниях Олава, где этот сюжет представлен в несколько ином виде: так, в частности, в саге из «Круга Земного» опущены рассказы о катехизации в Греции и крещении Руси (но Оли, тем не менее, называет себя *gerzkr/girzkr*), а, скажем, в саге монаха Олда *gerzkr/girzkr* не употребляется вовсе.

³³ Нам известен всего лишь один — достаточно спорный — случай, когда обладателем прозвища *gerzkr/girzkr* оказывается миссионер: в одном из поздних списков древнеисландского памятника — *Hungvaka* — знаменитый проповедник и епископ *Ion hinn írski* 'Йон Ирландский' назван Йоном *hinn griske* < = *girdsci* > [Hungrv.: 80, 57]. По всей видимости, это прозвище возникло в результате ошибки переписчика. Стоит отметить, правда, что прозвища миссионеров вообще могут отличаться вариативностью: так, например, тот же Йон *hinn írski* в древнескандинавской традиции известен как *Íon hinn saxneski* или *saxverski*, т. е. «саксонский», [DN/XVII B: 197; ср. Lind 1920—1921: 305].

(VIII). Gerzkr/girzkr в качестве этнической характеристики

1.0. Анализ одного эпизода из жизнеописаний Олава Трюгвасона приближает нас к рассмотрению другой группы примеров, где *gerzkr/girzkr* выступает в качестве основного определения этнической принадлежности того или иного лица.

1.1. В сущности, данный материал наиболее убедительным и последовательным образом иллюстрирует уже высказанный выше тезис о варьировании термина в древнескандинавской письменной традиции — не случайно именно известная неопределенность этнических характеристик, связанная с вариативностью *gerzkr/girzkr*, особенно остро ощущается при переводе и комментировании текстов (ср. [Рыдзевская 1978: 66, примеч. 104]). В самом деле, если скажем, фрагмент фразы ...engi gyðingr né **girczr**... [Leif. PC 1₂₁] большинство специалистов опознает и скорее всего переведет как ‘...несть ни эллина, ни иудея...’, справедливо сославшись при этом хотя бы на абсолютную прозрачность цитаты³⁴, то в некоторых случаях однозначное решение при переводе будет уже не столь очевидным³⁵.

1.2. Проблема, однако, не исчерпывается одним лишь прикладным аспектом, хотя наша цель с самого начала заключалась, собственно, в том, чтобы продемонстрировать многочисленные особенности «перевода» (если пони-

³⁴ Цитата представляет собой перевод из «Послания к Галатам» (3: 28), выполненный, по всей видимости, не из самого послания, а некоего промежуточного текста ([Foote 1989: 474]): ср. Þar er engi gyðingr né girzkr [maðr], heidinn né útlendr, þroell né frelsingr, karl né kopa... ‘Нет ни иудея, ни эллина, ни язычника, ни чужеземца, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины...’

³⁵ Ср. пример, казалось бы, недвусмысленного использования термина: Elena en fagra <...> er Girzkir < = girsker [152 fol 160_{ra}; 187 fol.x 2v, 535, 4 jx 3. 7]; Gerker > Gricker [590A. 4jx 2_i] > ok Trojumenn bördust um [Mág.: 3₂₁; Bragða-Mág.: 3] ‘Елена Прекрасная <...> из-за которой сражались **Girzkir** и троянцы’. При этом следует иметь в виду, что данный пример взят из фрагмента саги, где один и тот же персонаж (Хугон/Хрольв) попеременно называется то конунгом Миклагарда, то конунгом Гардарики (см. выше сноску 8). Или еще примеры (из «Саги об Александре <Македонском>» — древнеисландской прозаической версии «Александрейды» Вальтера Шатильонского): **gerzcr** < = **girzkr** [226 fol.] > maðr einn sa er Timodes het. hann hafde vordet landflotte af Gricklande [Alex.: 28₄] ‘один тот **gerzcr**, которого звали Тимодес. Он был изгнан из Греции»; ...kallar ágerzkan riddara þann Horestus heitir [Alex.: 39 2₇] ‘...окликнул того **gerzkan** рыцаря, которого звали Орест’; **gerþzcan** mann þann er Helis heitir... [Alex.: 40₂₆] ‘тот **gerþzcan**, которого зовут Хелис...’; Enos hafdi adr drepit þann mann **girzkan** er Esiphilus het [Alex.: 75₁₄ <226 fol.>] ‘Энос еще прежде убил того **girzkan**, которого звали Эсифилус’; Sá maðr var ilíde með Dario konunge er Patron het. **gerzcr** at kyne mikill vinnr konungs. hann var settr yvir Grickja líð þat er var með Dario ‘В войске с конунгом Дарием был тот человек, которого звали Патрон, **gerzcr** по рождению и большому другу конунга. Он был поставлен над тем войском, что было с Дарием’.

мать перевод здесь в самом широком смысле, т. е. как некое общее герменевтическое усилие на уровне текста), обусловленные «слиянием» двух — этимологически различных — прилагательных.

2.0. Отождествление терминов *gerzkr* и *girzkr* происходило в условиях, определяемых тем — вполне неординарным, на наш взгляд — обстоятельством, что в древнескандинавской номенклатуре, строго говоря, отсутствовал специальный этноним для русских. На этом фоне самому переосмыслению *gerzkr* и *girzkr* как вариантов одного слова неизбежно сопутствовало формирование такой перспективы, в рамках которой «греческое» и «русское», «греки» и «русские» само собой оказывались как бы двумя полюсами одного этногеографического континуума.

2.1. Мы практически не располагаем сведениями о том, в какой мере этим представлениям был присущ этногенетический аспект, однако не исключено, что скандинавы сближали греков и русских в том числе и в плане их «общего» происхождения (важно подчеркнуть при этом, что речь тогда может идти, предположительно, лишь о некоем этнокультурном стереотипе, возникшем независимо от ученой традиции, где вопросы этногенеза разрабатывались уже на совершенно иной основе).

3.0. Наши догадки о взглядах скандинавов на общность греков и русских выглядели бы более обоснованными с учетом некоторых наблюдений, которые мы и хотели бы вынести здесь на обсуждение. Насколько известно, в древнескандинавских источниках отсутствуют специальные упоминания русского языка, хотя существуют, например, любопытные свидетельства, что проблема языкового общения, несомненно актуальная для скандинавов на Руси, могла, в частности, «решаться» путем освоения норманнами русского языка» (см. [Константин Багрянородный 1989: 320]).

3.1. Так, в «Саге об Ингваре Путешественнике» рассказывается, что некий Свейн посещал школу на Руси, где осваивал многие языки, которые были на Восточном Пути (*þann uetur geck Sueinn j þann skóla, at hann nam margar tungr at tala, þær er menn uissu um austurueg ganga* [YS.: 32]; в другой редакции (B) говорится лишь, что Свейн пробыл три года на Руси, где научился говорить на всех языках (*Sueinn uar iii uetr j gardum ok nam þar allar tungur at mæla*). Из того же источника нам становятся известны эти языки: так, в саге рассказывается, что по приезде на Русь Ингвара и его дружину встретила королева Силькисив и обратилась к ним с расспросами — *en Ynguar suarar aungu, þuiat hann uilldi freista, ef hun kynni fleire tungr at tala; ok suo reyndizt, at hon kunni at tala romuersku, þyuersku, donsku ok girszsku <=grisku> ok margar adrar, er gengu um austurueg. Er en Ynguar skildi hana þessar tungr mæla, þa sagði hann henni nafn sitt ok spurdi hana at nafni, ok huertar tignar hon uæri* [YS.: 15] «Но Ингвар отвечает уклончиво, поскольку хотел испытать, может ли она говорить на многих язы-

ках. Выяснилось, что она может говорить по-латыни <букв. «по-римски»>, по-немецки, по-датски и по-girszsku и на многих других <языках>, которые были в ходу на Восточном Пути. И когда Ингвар понял, что она говорит на этих языках, то сказал ей свое имя и спросил, как ее зовут и какого она звания?

4.0. Оставленный нами без перевода термин традиционно понимается как обозначение греческого языка ([Braun 1924: 168; Глазырина 1997; Kalinke 1983: 858] вопреки Херманну Палссону, который, напротив, видит в нем обозначение русского: см. [Vikings in Russia 1989: 52]), хотя аргументация отдельных исследователей представляется нам, в данном случае, не всегда исчерпывающей и удовлетворительной (ср. «Girzka can mean either Greek or Russian. Since the setting is Russia, we can assume that the queen speaks the native language; hence, I choose to interpret „girzka“ as Greek» [Kalinke 1983: 858, прим. 43]).

4.1. Действительно, существительное *girzka* или *grikkzka* (= *grikkisk*, *girsk tunga*, *mál*) достаточно часто встречается в древнескандинавских источниках и регулярно обозначает именно греческий язык (ср. [Metzenthin 1941: 37; Fritzner 1954/1: 588, 599, 645; Cleasby 1957: 201]); приведем здесь лишь некоторые — наиболее диагностические — контексты: *hann <Hákon Magnússon> liet vanda morgum riddara sogum j norænu ur girzsku <gizku> ok franzeisku mali* [Vict.B1.: 3] ‘Он <Хакон Магнусон> велел переложить на северный язык множество рыцарских сказаний с греческого и французского’; *Kirieleison. er girsk tunga ok þyder. drottin miskuna þu.* [Messuk./I 1210; ср. GNH 1864: 205 <*griks* [g¹sksc — Cd] *tunga*>, 206] ‘«Кириелейсон» на греческом языке означает «Господь да помилует тебя»’; *Af þrimr tungom ero orð þau tekin <...> af ebreisco, ok griksco oc latino, oc á þær tungor lét Pílatís iarl scrifa titul, þann er hann sette yfir hofuddrotne orum á crossenom* [GNH 1864: 205—206] ‘Из трех языков взяты эти слова <...> из еврейского, греческого и латыни, и на этих трех языках Пилат ярл велел начертать надпись, которую он поместил над главой господя нашего на кресте’; *Sem ægigi rita grikkir latinu stofum girzkuna ok ægi latinu menn girzkum stofum latinu <...> helldr ritar sínum stofum hver þjóðsína tungu* [I Gramm.: 18] ‘Подобно тому как греки не пишут по-гречески латинскими буквами, а латиняне по-латыни греческими <...> но каждый народ пишет своими буквами на своем языке’³⁶.

5.0. С другой стороны, нам не известны случаи, когда *girzka* обозначало бы со всей определенностью русский язык — как уже было отмечено выше, русский вообще не упоминается специальным образом в древнескандинавских источниках.

³⁶ Ср. еще: [Alex.: 164₄ <226 fol.>, 165_{11, 12, 25}; Aug.: 139₁₅; Ев./I: LXXXIII₆₁, 241; 3 Gramm.: 46₃; MarD.: 1033₂₆; Vp. 383₅; Páll: 256₇; Leif. GregD. 137₆; Rómrv.: 45₁₆; Stjórn: 4. 246, 278; Petr./I: 40₁₁; ÍA: 35, 36, 159, 160, 164].

6.0. Вместе с тем, в приведенном из «Саги об Ингваре» перечне языков, распространенных на Восточном Пути, обращает на себя внимание, возможно, не случайное соседство греческого и датского (так, с точки зрения эвгемеристической традиции, изображающей скандинавских богов-асов выходцами из Азии, сближение этих языков было бы более чем оправданно: ср. *Allir menn þeir er sannfrodur eru at um tíðendi uita þat at Grickir ok Asiamenn bygdu Nordrlond. hofz þa tunga su er sidan dreifdiz um oll lond* [St. starf. 1] ‘Всем воистину сведущим людям известно о том, что Северные Страны населили греки и люди из Азии. Тогда возник и тот язык, который позже распространился по всем странам’ (см. [Глазырина 1996: 120—121, 172])).

7.0. Дело в том, что *danskr* очевидным образом может быть понято здесь двояко: как обозначение собственно датского языка или — что кажется более вероятным — как обозначение скандинавских языков вообще.

8.0. Не наблюдаем ли мы, в свою очередь, нечто аналогичное здесь и в отношении греческого? Иными словами, не фигурирует ли термин *girzka* в данном контексте в качестве собирательного наименования для языков определенного ареала, куда входит как Русь, так и, собственно, Греция (ведь при любом прочтении термина факт остается фактом — ни один из упомянутых здесь языков, кроме «греческого», не является автохтонным для Восточного Пути!)?

6.1. Подчеркнем, что речь, в таком случае, ни в коей мере не идет о смешении греческого и русского языков, которые скандинавы в основной своей массе почти несомненно различали эмпирически; действия условного автора саги, который, предположительно, использует обозначение греческого в качестве *pars pro toto* (возможно, по образцу лингвонима *dönsk tunga* ‘датский язык’), в конечном итоге, сопоставимы скорее с действиями Снорри, объяснявшего кеннинг «защитник Греции и Гардов» как «конунг Греции».

8.2. В «Саге об Ингваре», однако, окказиональное расширение термина должно было бы быть дополнительно обусловлено его общей вариативностью в традиции (которую, по-видимому, и имеет в виду М. Калинке: ср. «*Girzka can mean either Greek or Russian...*»), что, в свою очередь, позволяет поставить этот пример в один ряд с теми случаями использования *gerzkr/girskr* в качестве антропонимов, для которых характерна, на наш взгляд, «диффузность» значений — «греческого» и «русского» (см. VI).

9.0. Если наше предположение в принципе верно и термин «греческий язык» приведен здесь в специальном значении, то за единичными фактами такого словоупотребления (ср. [YS.: 174]) может скрываться целый комплекс интегрирующих представлений относительно греков и русских, заключающий в себе в том числе и определенную «лингвогеографическую» составляющую.

10.0. Как бы то ни было, но наш материал со всей определенностью показывает, что ни о каком последовательном отождествлении греков и рус-

ских — в собственном смысле этого слова — говорить, тем не менее, не приходится. Случаи, создающие эффект *qui pro quo* и обусловленные на деле вариативностью рассматриваемого прилагательного, свидетельствуют скорее о периодически возникающей неактуальности их различения (в этом смысле уместно говорить, по-видимому, о возможных зачатках «собираемости» у *gerzkr/girzkr* (ср. наши соображения о прозвище купца Гудлейка)) либо о своеобразной «гибкости» или относительной подвижности этнических характеристик, выраженных одним и тем же термином, но целиком и полностью определяемых непосредственно данным контекстом.

10.1. Однако в конечном счете все — даже наиболее нетривиальные — случаи «смещения» греков и русских так или иначе оказываются спровоцированы вариативностью термина в письменной традиции и ни в коей мере еще не указывают на сам факт тотального отождествления, так сказать, на уровне денотатов.

11.0. Исходя из презумпции вариативности термина, мы не вправе машинально и безоговорочно приписывать известную «идиоматичность», непрозрачность для исследовательского взгляда всем случаям использования *gerzkr/girzkr* в качестве этнической характеристики. Совершенно очевидно, что тот или иной автор чаще всего использовал термин в конкретном значении, как бы по необходимости выделяя последнее из общего семантического поля. Так, например, когда в жизнеописаниях Олава Святого («Легендарная сага об Олаве Святом», «Круг Земной», «Отдельная Сага об Олаве Святом») мы встречаем упоминание послов (*sendimenn inir gerdzcv <= girzco* [AR/I: 332], *gerzku* [AR/I: 446]; ср. *sendimenn játu þessu af hendi Gardakonungs* ‘послы согласились на это от лица конунга Гардов’ [AR/I: 446] > [ОИм.Л: 210₁₃; Нкр. (ОН)/Л, 93: 181₈]) в контексте сватовства конунга Ярицлейва (Ярослава Мудрого) к шведской принцессе Ингигерд (княгиня Ирина)³⁷, не возникает никакого сомнения, что аудитория безошибочно определяла их происхождение.

11.1. Однако однозначность такого прочтения была обеспечена «автором» или «рассказчиком» эпизода, который с самого начала снабдил послов странной характеристикой (ср., например: *sendimenn Jarizleifs konungs austan ór Hólmgarði* ‘вестники конунга Ярицлейва с востока из Хольмгарда <= Новгорода>’, выполняющей, не в последнюю очередь, по-видимому, и для него

³⁷ Согласно сагам, принцесса Ингигерд была сперва обещана в жены конунгу Олаву Святому. Однако ее отец, конунг шведов, не сдержал данного Олаву слова и выдал Ингигерд за князя Ярослава Мудрого. Сватовство конунга Ярицлейва по хронологии дат приходится на 1018 год. Об этом эпизоде см. подробнее с указанием литературы: [Джаксон 1994: 153—161; Мельникова 1997а: 151—153].

В большинстве саг об Олаве упоминаются несколько посольств князя Ярослава, однако интересующий нас эпитет употребляется лишь в связи с одним из них, когда принцесса Ингигерд потребовала от Ярослава в качестве приданого Старую Ладугу (*Aldeigjuborg*).

самого, функцию своеобразного «детерминатива». Потребность в уточнении, как мы помним, точно так же возникала у «рассказчика» и в случае с прозвищем купца Гудлейка, который «часто ездил на восток в Гардарики и по-этой причине его называли Гудлейк *girdzske*» (*hann fór austr j Gardaríke optlīga ok var hann firir þa sok kalladr Gudlzíkr girdzske*).

12.0. Между тем, дело вовсе не всегда обстоит именно таким образом: иногда мы сталкиваемся с примерами, лишенными, так сказать, каких бы то ни было внешних «подсказок».

13.0. Само собой разумеется, что подобного рода случаи могут быть описаны, по-меньшей мере, двумя способами: с одной стороны, мы можем исходить при их интерпретации из того, что автор все же вкладывал вполне определенное, конкретное этническое содержание в соответствующий эпитет, но никак не проявлял его при этом (т. е. находясь как бы в позиции «говорящего», в известном смысле игнорировал элементарные потребности «слушающего»); с другой же стороны, мы можем принять за отправную следующую точку зрения: этническая специфика персонажа не представлялась релевантной рассказчику, который сознательно применял (или попросту воспроизводил) интересующий нас термин как таковой, не заботясь об актуализации того или иного конкретного значения.

14.0. Очевидно также, что означенные подходы свободно могли сочетаться друг с другом — ничто, в сущности, не препятствовало условному рассказчику по ходу повествования «переключаться» с одного принципа атрибуции персонажа (или предмета) на другой.

14.1. Сама же идентификация термина при этом целиком оказывалась отданной на откуп аудитории, для которой — при любом подходе, а priori — оба значения *gerzkr/girzkr* оставались еще равным образом актуальными (что, в принципе, не исключало дальнейшего выбора в пользу того или иного значения, однако выбор этот, если и осуществлялся, то уже другой — отличной от авторской — инстанцией, так сказать, «инстанцией адресата»).

15.0. Попробуем по возможности проиллюстрировать сказанное очередным примером, где этническая характеристика персонажей дополнительно не эксплицирована обычными средствами, но представлена как бы в своем исходном, открытом для различных подстановок, виде.

15.1. В «Пряди о Хауке Длинные Чулки» (*Þáttir Hauks hárbrokar*) из «Книги с Плоского Острова» (*Flateyrbók*) рассказывается о том, как конунг Харальд Прекрасноволосый посылает своего любимца Хаука в Новгород за драгоценностями. Прибыв в Новгород, Хаук через некоторое время отправился на рынок, где, как замечено в саге собралось множество народу из разных стран: *Þat var einn dag, at Haukr gekk um bæinn við sveit sína ok vildi kaupa nokkura dyra gípi sínum herra, Haraldi konungi. Þá kom hann at þar, sem fyrir sat einn gž kr*

< = **gerzkr, girzkr**³⁸ [AR/II: 119]> мадр. Haukr sér þar eina dyrliga skikkju. Sú var öll vídgull búin [Flat./I: 577] ‘Однажды Хаук шел по городу со своей дружиной и собирался купить кой-какие драгоценности для своего государя, конунга Харальда. Пришел он туда, где сидел один **gz kr**. Там он увидел роскошный плащ. Он был весь отделан золотом’ <Хаук покупает плащ, однако у него возникает конфликт с людьми шведского конунга, которые тоже претендуют на покупку. Все заканчивается благополучно, и Хаук отвозит плащ Харальду Прекрасноволосому>³⁹.

16.0. Приведенный пример прежде всего показывает, что интересующий нас термин время от времени мог писаться под титлом (ср. еще: **gzki, gzkan** [Möðrv./I: 60], <относительно языка>: **g,sku** [Konr.: 119], **g‘đzsku** [AR/II (YS): 152], ср. [Whaley 1998: 161]).

16.1. В свете всего сказанного об отождествлении прилагательных такие случаи сокращения кажутся отнюдь неслучайными. В контексте пронизывающего всю письменную традицию восприятия *gerzkr* и *girzkr* как вариантов одного слова использование титла не позволяет реконструировать полное написание термина.

16.2. Не исключено, что весьма немногочисленные случаи сокращения несут на себе следы индивидуального отношения к рассматриваемому слову (так, сокращение могло быть вызвано в том числе и определенными затруднениями, которые переписчик испытывал при выборе между альтернативными вариантами). Именно поэтому здесь будет уместно затронуть еще один — коммуникативный — аспект проблемы и задаться вопросом о последствиях подобного написания для потенциального потребителя пряди.

17.0. Как же определялась этническая принадлежность торговца на новгородском рынке?

Опираясь на контекст, было бы естественно предположить, что Хаук встречает здесь грека, поскольку именно эта «позиция» оказывается марки-

³⁸ Ср. примечание издателя, К. Рафна, объясняющее принятое им прочтение: **girzkr** — sic emend; scriptum: **gz kr**, i. e. **grizskr**, — **grouecus** [AR/II: 119].

³⁹ Нельзя не отметить определенную близость данного эпизода к истории о купце Гудлейке, однако отдельные, действительно присутствующие, черты сюжетного сходства едва ли имеют значение в плане использования интересующего нас термина.

С этой точки зрения скорее обращает на себя внимание эпизод из «Саги об Ингваре», где из-за покупки мехового плаща на рынке разыгрывается кровопролитная ссора между неким язычником-аборигеном и безмянным персонажем, который называется в саге: **einn girdzskur maður** < = **sá girske maður, hin griske maður, hinn girzki, geirski, griske**> [YS.: 36] (об орфографии интересующего нас слова в «Саге об Ингваре» см. [Hofmann 1981: 203]). В издании [Vikings in Russia 1989: 62] соответствующий термин интерпретируется как «русский» (Russian).

рованной в Новгороде, где специальное объяснение русской принадлежности персонажа, как кажется, было бы излишним (в частности, так или примерно так понимают этот фрагмент историки, которые усматривают здесь важное подтверждение свидетельств об экспорте византийских тканей на Русь, откуда они затем попадали в Скандинавию — ср. [Джаксон 1993: 92—93]).

17.1. В то же время, в тексте пряди содержится значимое указание на то обстоятельство, что рынок посещало множество людей из разных стран (*Þar var komit mikit fólk ór mörgum löndum*), которое, возможно, понадобилось автору, прежде всего чтобы объяснить неожиданное появление на сцене людей шведского конунга.

18.0. Данная оговорка открывает некоторую новую перспективу для определения этнической характеристики в тексте. Так, с одной стороны, авторская ремарка как будто бы лишний раз подтверждает присутствие на новгородском торгу иностранного купца-грека. С другой стороны, то же указание на интернациональность рынка санкционирует и иное прочтение термина: с учетом упомянутой ремарки становится возможным предположение, что в пряди имеется в виду некий торговец из числа, скажем, местных жителей, поскольку подтверждение его русской принадлежности теряет, под определенным углом зрения, свою избыточность.

Вполне вероятно, иными словами, что применение термина в данном случае являлось, напротив, констатацией местного, т. е. новгородского происхождения персонажа.

19.0. Так или иначе, но рассмотренный нами эпизод демонстрирует достаточно характерный набор затруднений, которые испытывает исследователь, сталкиваясь с использованием *gerzkr/girzkr* в качестве этнической характеристики⁴⁰. Не менее показательными, однако, представляются и те случаи, когда

⁴⁰ Приведем дополнительные примеры использования *gerzkr/girzkr* для определения этноса того или иного персонажа. В саге об апостоле Варфоломее фигурирует безымянный церковный сторож, *girz'*кий монах (*munki girzkum*), к которому обращается апостол [Barth.: 765]. Контекст саги не дает оснований для дополнительной интерпретации термина — эпитет *girzkr* несомненно является здесь этнической, а не, скажем, конфессиональной (см. ниже) характеристикой. Кроме того, эпитет *gerzkr/girzkr* определяет собой жителей Византии в «Саге об Иоанне Крестителе», где они называются *girsk'*ими людьми (... *undan girskum < = girzkum* (Membr. 233 Folio) *monnum* [Jón. Bapt.: 850]) и противопоставляются римлянам (*Rómvefjar*).

В качестве этнической характеристики термин *gerzkr/girzkr* неоднократно фигурирует в исландских римах: так, мы находим здесь обозначение *grizkri þjóð* 'grizk'ий народ' [RS/I (Dámusta rímur i): 777, строфа 51], относящееся, согласно Финнуру Йонссону, к грекам [Jónsson 1926—1928: 48]; то же обозначение встречается еще раз в Dámusta rímur II (строфа 33), наряду с *grizke gramr* 'grizk'ий князь' (строфа 14) (ср. *Grikkja gramr* 'князь греков' в *Konráðs rímur*, строфа 72, который является синонимом титула византийского императора

исследователь встречается на своем пути с мнимыми сложностями, сопряженными с определением этнической принадлежности выраженной посредством *gerzkr/girzkr*. Обратимся к очередному примеру, вызвавшему в свое время определенный резонанс в научной литературе именно благодаря кажущейся неоднозначности содержащихся в нем этнических характеристик и проистекающей отсюда спорности и проблематичности его прочтения в целом.

**(IX). Этюд об иностранных епископах.
К вопросу об армянах в Исландии в XI в.**

0.0. Наши сведения о контактах средневековых скандинавов с другими народами имеют преимущественно односторонний характер: мы знаем об их многочисленных поездках за пределы Скандинавии, но располагаем достаточно ограниченной суммой данных, удостоверяющих существование «обратной связи» с Северной Европой.

0.1. К числу свидетельств, значительно обогащающих наши представления об общении внешнего мира со скандинавами, принадлежит показания некоторых источников о визитах в Исландию иностранных миссионеров. Помимо того, что означенные свидетельства со всей определенностью говорят о двустороннем характере контактов вообще, они безусловно оказываются ценными для историка ранних межконфессиональных отношений в частности. Так, предметом настоящего очерка являются некоторые сообщения древнеисландских источников о присутствии на острове армянских проповедников в конце XI в. Из дальнейшего изложения будет понятно, каким образом данная тема соотносится с проблематикой этнонимических терминов *gerzkr/girzkr*.

1.0. При обращении к данным древнеисландской письменной традиции специалисты сталкиваются с неоднократным упоминанием неких миссионеров-епископов, которые определяются в текстах этнонимическим эпитетом *(h)ermskr*. В качестве отправного свидетельства о появлении *(h)ermskr* их епископов следует рассматривать сообщение Ари Торгильссона (Мудрого) — первого исландского историка XII в., в сферу описания которого входила в том числе и церковная история страны: *Pessi eru nöfn byskupa þeira, es verit hafa á Íslandi útlendir at sögu Teits: Friðrekr kom í heidni hér, en þessir váru síðan: Bjarnharðr enn bókvísi fimm ár, Kolr fá ár. Hróðolfr níttján ár, Jóhan enn írski fá ár, Bjarnharðr níttján ár, Heinrekr tvau ár. Enn kvómu hér aðrir fimm, þeir es byskupar kvaðusk vesa: Örnolfr ok Godiskolkr ok þrír ermskir: Petrus ok Abrahám ok*

Stólkonungr, упоминаемого в той же строфе) и просто *grizkiar* (строфа 15). Слово сочетание *grizka lið* ‘grizk’oe войско’ есть в строфе 74 *Konráds rímur* [RR: 101]. В подавляющем большинстве случаев интересующий нас термин интерпретируется Финнуром Йонссоном как «греческий».

Stephánus [Ísl.: 15] ‘Вот имена тех иностранных епископов, которые, по словам Тейта, были в Исландии: Фридрек приехал сюда еще во <времена> язычества, а эти были позже: Бьярнхард Книжник пять лет, Кольр несколько лет, Хродольв девятнадцать лет, Йохан Ирландский несколько лет, Бьярнхард девятнадцать лет, Хейнрек два года. И прибыли сюда пятеро других, которые назвались епископами: Орнольв и Годискальк, и три *ermisk*’их: Петрус, Абрахам и Стефанус’.

1.1. В дальнейшем сообщение Ари Мудрого в «Книге об исландцах» было использовано в ряде других источников. Так, в частности, именно оно, по-видимому, нашло свое отражение в перечне епископов, составленном во второй половине XIV в. Этот перечень является особенно ценным для нас, поскольку в нем раскрывается одно из возможных значений рассматриваемого термина: *Enn váru þrír, ok sögðust biskupar vera, af Armenialandi, Petrus, Stephanus, Abraham* [DI/III: 149] ‘И были трое, и называли себя епископами из Армении, Петрус, Стефанус и Абрахам’.

1.2. Уже из последней цитаты со всей определенностью можно сделать вывод, что эпитет *ermiskir* в сообщении Ари воспринимался самими исландцами того времени как указание на армянское происхождение миссионеров. Подобное объяснение термина не вызывает никаких принципиальных возражений. Прилагательное (*h*)*ermiskr*, по всей видимости, действительно восходит к древнеисландскому обозначению Армении (*Egmland, Armenia, Armenialand*) [Vries 1977: 104], а сообщение Ари, таким образом, может рассматриваться как древнейшее свидетельство о присутствии армян в Исландии XI в. (ср. [Jørgensen 1874: 694; Jónsson 1930: 32f.]⁴¹).

2.0. Исходя из сказанного мы можем обратиться теперь к показаниям еще одного источника, на этот раз уже не описательного, но определенно нормативного характера. Для понимания сообщения Ари Торгильссона большое значение имеет неоднократно привлекавшееся к рассмотрению свидетельство из исландского свода законов «Серый Гусь» (*Grágás*)⁴². В исландском судеб-

⁴¹ Здесь уместно упомянуть о существовании еще одной точки зрения, согласно которой *ermiskr* образовано от *ermi*, *erimiti*, *heremiti* (< лат. *eremita* < греч. ἐρημίτης) «отшельник, пустынный» [Vries 1977: 104] и относится к монахам-еремитам из Италии (см. [Jónsdóttir 1959: 79-0]). Гипотеза Сельмы Йонсдоттир является частью ее более общего — искусствоведческого — построения относительно одного памятника византийского искусства XI в., найденного в Исландии (см. обсуждение: [Lágusson 1960: 33; Дашкевич 1990: 90]).

⁴² «Серый Гусь» — (происхождение названия не вполне ясно) — дошел до нас в двух основных рукописях, хранящихся в Копенгагене в Королевской и Арнамагнеанской Коллекциях: по. 1157 in fol. (так называемый *Codex Regius*, или *Konungsbók* «Конунгова книга» и по. 334 in fol. (*Staðarholtsbók* «Стадархольтская книга»). Считается, что *Kgb.* была записана приблизительно ок. 1260 г., а *St.* — ок. 1280 г.

нике содержится краткое упоминание иностранных миссионеров, важность которого для историка ранних межконфессиональных отношений было бы трудно переоценить. В первой части судебника, озаглавленной «Прядь <раздел> христианского уложения» (*Kristinna laga þátttr*)⁴³, в главе о священниках приводятся, в частности, следующие правила на случай приезда иностранных проповедников: *Ef prestar koma vt hingat til landz. þeir er fyrr hafa vt her verit. oc byskvp lofafi þeim at veita tíbir. oc er mavNvm rett. at kavpa tíbir at þeim. lengr er þeir hafa synt byskopi. bækr sinar oc messv fót, eða þeim presti er byskop byþr vm. Ef vtlendir prestar koma vt hungat. þeir er aigi hafa her fyr verit. oc scal eigi tíbir at þeim kaupa. oc eigi scolo þeir skira born. nema sva se sivkt at ölarþir menætti at skira. heldr scolo þeir scira enn ölarþir menn. ef aigi nair avþrvm presti. þá rett at kavpa tíbir at þeim. ef þeir hafa rit oc innsigli byskvps. oc vitni ij. manna þeirra er hia voro vígslv hans. oc segja ordbyskvps. þav at rett se mavNvm. at þigia alla þionostv at honum. Ef byskvpar koma vt hingat til landz eða prestar. þeir er aigi erv lærþir. a latinv tungv. huartz þeir erv **hermskir**⁴⁴ eða **girskir** < = **girzkir** [Grg./II (St.): 27; Grg./III (Sk.): 24 <исправлено — **grizkir**>; Grg./III (Sf.): 72; Grg./III (Belg.): 117; Grg./III (A.M. 158. B): 210; Grg./III (A.M. 50): 250], **girszskir** [Grg./III (Arn.): 167] **girdskir**, **gersker**, **girdsker**, **gyrdskir** [Grg./III (A.M. 181): 330]>. oc er mavnnvm rett at hlyþa tíþ vm hans ef menn vilia. Eigi scal kavpa tíbir at þeim. oc aungva þionostv at þeim þigia. Ef maþr létr þann byskop vigia kirkiv eða byskopa born. er aigi ero latinv lærþir. oc verþr hann sekr vm þat iij. morkvm. við þena byskop er her er aþr. enda scal sia taka vígslv kavpit. Sva scal kirkiv vigia. oc byskopa born. sem ecci se aþr at gort. þott þeir hafi yfir sungit. er eigi erv a latinv tungu lærþir. [Grg./I (Kgб.): §6, 21—22] ‘Если извне в страну <Исландию> приезжают священники, которые бывали здесь и прежде, и епископ позволял им отправлять требы, люди вправе платить им за требы, коль скоро те предъявили свои книги и ризы епископу или священнику, которого уполномочил епископ. Если сюда извне приезжают иностранные священники, которые никогда не бывали здесь прежде, не следует платить им за требы, и они не должны крестить детей, разве ребенок настолько болен, что его вынужден*

⁴³ Раздел христианского права был составлен и включен в свод законов между 1123 и 1133 гг.: так, в конце раздела говорится, что «прядь христианского уложения была составлена епископом Кетилем <епископ Холара; 1122—1145> и епископом Торлаком <епископ Скалахольта; 1118—1133> при участии архиепископа Эцура <архиепископ Лунда; 1104—1137> и Сэмунда [Мудрого] <исландский священник; 1056—1133>...» [Grg./I: 36, § 17].

⁴⁴ Разночтения: **hermskir** [Grg./II (St.): 27; Grg./III (Sf.): 72; Grg./III (Arn.): 167 <исправлено — **enskir**>; Grg./III (A.M. 158 B): 210 <исправлено — **enskir** ‘английские’>; Grg./III (A.M. 50): 250 <исправлено — **enskir** ‘английские’>], **hersker**, **hersher** [Grg./III: 330], **ærmskir** [Grg./III (Belg.): 117 <исправлено — **æmskir**>].

окрестить мирянин. Лучше пусть они крестят <ребенка>, а не мирянин, если поблизости нет другого священника. <Люди> вправе платить им за требы, если у них есть письмо и печать епископа и свидетельство двух человек, которые присутствовали при их рукоположении и <смогут> произнести слова епископа, гласящие, что людям дозволяется принимать от них все таинства. Если сюда извне приезжают епископы или священники, не сведущие в латинском языке, будь они *hermskir* или *girskir*, люди вправе слушать их службы, если сами того хотят. Не следует платить им за требы и принимать от них таинства. Если человек позволил такому епископу, не сведущему в латыни, освятить церковь или подтвердить детей, он должен заплатить за это 3 марки штрафа тому епископу, который был здесь и прежде, а тот должен взять еще плату за освящение <церкви>. Надлежит освятить церкви и подтвердить детей так, как будто бы до сих пор это не было сделано, хотя это и было совершено теми, кто не сведущ в латинском языке⁴⁵.

2.1. Приведенное правило принято рассматривать как еще одно свидетельство о присутствии армян в Исландии, по своему дополняющее и уточняющее сообщение Ари (см. подробнее: [Maurer 1856/II: 580—582; Munch 1853: 116; Jørgensen 1874: 694; Storm 1884; Macler 1923; Дашкевич 1990])⁴⁵. При всей

⁴⁵ В связи с этим традиционно привлекаются показания еще одного источника, где говорится, что во время первого исландского епископа Ислейва (был избран епископом на альтинге ок. 1055 г., посвящен в сан в Бремене в 1056 г. и умер в 1080 г.) в Исландию приезжали иностранные епископы, но гамбургско-бременский архиепископ Адальберт (1043—1072), которому формально подчинялись исландские приходы, запретил принимать от них таинства (Um daga Isleifs byskups kómu út byskupar af öðrum löndum ok budu þeir margt linara en Isleifr byskup; urðu þeir af því vinsælir við vándna menn, þar til er Adalbertus erkibyskup sendi bréf sitt út til Íslands ok bannaði mönnum alla þjónustu af þeim at þiggja, ok kvad þá suma vera bannsetta, en alla í óleyfi sínu farit hafa. [Hungrv.: 2] ‘Во дни епископа Ислейва приехали извне епископы из других стран и проповедовали гораздо терпимее, чем епископ Ислейв. Поэтому они пользовались успехом среди дурных людей, пока архиепископ Адальберт не послал письмо в Исландию и не запретил людям принимать от них все таинства, говоря, что некоторые <из них> были отлучены от церкви, и все они приехали <в Исландию> без его дозволения’. Приведенный фрагмент как бы подтверждает хронологически более поздние обвинения папы Иннокентия III (1179—1180), который специально порицал исландцев за общение с лицами, отлученными от церкви — см. [Hanssen 1949: 98]).

На наш взгляд, нет никакой необходимости связывать это свидетельство с упоминанием иностранных миссионеров в «Книге об исландах» и «Сером Гусе» (иначе: [Lárusson 1960, passim; Дашкевич 1990: 87—88]). По существу, речь здесь идет лишь о нарушении определенных епархиальных норм (прибытие епископов не было должным образом санкционировано; более того, письмо могло быть написано во избежание возможных недоразумений: дело в том, что Ислейв был епископом без кафедры ([Köhne 1987: 27—28; Reallexikon/I: 242; Jóhanesson 1956: 174]), и приезжие миссионеры могли попросту не знать, что

лаконичности данных свидетельств, в свое время они вызвали достаточно оживленную дискуссию, которая отчасти продолжается и по сей день (подробный обзор точек зрения см.: [Дашкевич 1990]). При этом основным предметом обсуждения самого начала являлась этническая принадлежность миссионеров, упоминаемых у Ари и в «Сером Гусе».

3.0. Как мы уже упоминали, этноним *(h)ermskr* со всей очевидностью восходит к топониму *Ermland* (ср. [Cleasby 1957: 133; Fritzner 1954/1: 352, 801]), который выступает в письменной традиции в качестве обозначения Армении (ср. также *Ermland hit micla* 'Великая Армения'). Соответственно, *(h)ermskr* понимался в научной литературе как «армянский» до 60-х гг. XX века, когда была предпринята попытка пересмотреть традиционную точку зрения на этнос миссионеров. Именно тогда и было впервые высказано предположение, что этноним *(h)ermskr* следует отождествлять не с названием Армении, а с омонимичным ему наименованием прибалтийской области Вармии (*Ermland*).

3.1. Прибалтийская Вармия, расположенная рядом с Пруссией (территория от реки Эльбинг по берегу Вислинского залива), действительно упоминается в целом ряде древнеисландских источников и иногда, примечательным образом, локализуется в них на Руси⁴⁶. Для дальнейшего изложения существенно учитывать, однако, что Вармия была обращена в христианство лишь в 1230 г. (в дальнейшем там была образована епископия, подчинявшаяся архиепископу Риги), а сам топоним, Вармия (*Warmia*, иногда, у отдельных хронистов, *Ermin*; ср. также обозначения вармийцев как *Warmienses* и *Ermini*), впервые фиксируется в одном латинском памятнике, датированном ок. 1231 г. (см. [Дашкевич 1990: 89; Lárusson 1960: 25—27]).

он выполняет в Исландии отличную от них функцию, источник ничего не сообщает нам о вероисповедании приезжих миссионеров. Тем не менее в научной литературе высказывалось предположение, что письмо Адальберта так или иначе способствовало возникновению и принятию соответствующего правила из «Серого Гуся» (см. [Lárusson 1960: 27; ср. Pritsak 1981: 481]).

⁴⁶ О локализации Вармии (в том числе и на Руси) см. [Lárusson 1960: 25—27]).

Прилагательное *ermskr* зафиксировано (помимо указанных случаев) лишь в качестве прозвища: так, в «Саге о Хрольве-Пешеходе», где фигурирует топоним Вармия (*Ermland*), есть персонаж по имени *Örn ermski* [GHr. 326], которого, не учитывая общего контекста саги, ошибочно, на наш взгляд, трактуют как «Den armeniske» [Lind 1920—1921: 73]; кроме того, в избыточном географическими прозвищами перечне соратников конунга Олава Трюгвасона на корабле «Длинный Змей» упоминается некий Вакр, чье прозвище поразному представлено в сагах (*enski* [Fms./II: 252], *elfski* [Hkr./I: 425]), однако в саге монаха Одда ему приписывается прозвище *hinn ærnski* [OT Oddr. 71: 215, ср. с. 250], которое опять-таки имеет отношение здесь скорее к Вармии, чем к Армении (если только оно не возникло в результате ошибки переписчика: ср. [Lind 1920—1921: 72, 73]).

3.2. Таким образом, новое прочтение материала, в сущности, сводилось прежде всего к совершенно неправдоподобному, на наш взгляд, утверждению, что в рассматриваемых свидетельствах «Книги об исландцах» и «Серого Гуся» речь идет не об армянских (*hermskr*, *ermskr*), но о вармийских (*ermskr*) миссионерах ([Lárusson 1960: 23—28; особенно 25—28, 33, 37, Ísl. 1968: 19, примеч.; Blöndal 1981: 100—101; Fuglesang 1997: 37] ср. [Pritsak 1981: 481] исчерпывающую критику см.: [Дашкевич 1990: 89]).

3.3. Вопреки очевидной несостоятельности подобного прочтения (достаточно повторить, что прибалтийская Вармия была крещена в первой половине XIII в., а миссионеры, напомним, появляются в Исландии в XI в.), гипотеза вызвала относительно широкий резонанс. Об этом свидетельствуют, в частности, новейшие издания и переводы обоих памятников («Книги об исландцах» и «Серого Гуся»), где соответствующий этноним трактуется как «вармийский»⁴⁷. Особенно «не повезло» в этом отношении правовому фрагменту. С определенного момента все усилия его комментаторов были направлены преимущественно на то, чтобы в точности установить значение первого термина (*(h)ermiskir*), по сравнению с которым этническая характеристика, заключающаяся во втором определении (*girskir*), казалась достаточно прозрачной и не заслуживающей специального объяснения (ср., например: [Fuglesang 1997: 36—37]). Во всяком случае, перевод термина *girskir*, как мы продемонстрируем ниже, напрямую увязывался с тем или иным прочтением предшествующего этнонима.

Нам представляется, что именно этот — правовой — фрагмент позволяет подойти к рассматриваемым свидетельствам с несколько иной стороны.

4.0. Как видно уже из беглого обзора, основное затруднение у исследователей вызывало определение этноса иностранных епископов. Между тем, если полностью отвлечься от той или иной точки зрения, то становится очевидно, что этническая принадлежность миссионеров попросту игнорируется в тексте судебника. Соответствующий эпитет выступает здесь прежде всего в качестве «означающего» для их церковной ориентации, т. е. *(h)ermiskr* (равно как и *girskr*, о котором ниже) выражает отнюдь не этническую характеристику, но является конфессиональным определением.

5.0. Если это положение верно и этнонимический термин употребляется здесь скорее в конфессиональном, нежели этническом, смысле, то *ermskr*

⁴⁷ См., например, относительно недавнее издание «Серого Гуся», вышедшее в Рейкьявике [Grg. 1992: 524]; ср. также [Ísl. 1968: 19, прим.]. Переводчик «Серого Гуся» на английский язык счел необходимым сделать следующее примечание к рассматриваемому фрагменту: «“Armenian” (*ermskr*) may mean either from Armenia or more probably from Ermland (on the south-east Baltic coast); churchmen from the former would have used Armenian as their liturgical language, from the latter Slavonic» [Laws of Early Iceland 1980: 38, примеч.].

должен был обозначать прежде всего представителей антихалкидонитской (монофизитской) церкви⁴⁸.

5.1. В случае с армянами, однако, конфессиональное и этническое практически совпадают или пребывают как бы в неизменно соразмерном соотношении друг с другом: так, в скандинавской перспективе монофизитство — как нечто отчужденное по отношению к западному христианству — должно было исчисляться, скорее всего, собственно армянами (сам факт исторической принадлежности к монофизитству, к примеру, коптов или эфиопов едва ли был отрефлектирован в Северной Европе). Это обстоятельство, в частности, затрудняет определение эпитета (*h)ermskr* в сообщении Ари Торгильссона, поскольку конфессиональный или этнический смысл термина фактически не эксплицирован здесь контекстом.

6.0. Несколько иначе обстоит дело со вторым прилагательным, атрибутирующим епископов в правиле «Серого Гуся». Как мы упоминали выше, перевод соответствующего термина напрямую увязывался с тем или иным прочтением предшествующего этнонима: так, *girskr* интерпретировался либо как «греческий»⁴⁹, либо, соответственно, как «русский»⁵⁰ — в зависимости от того, понимался ли (*h)ermskr* как «армянский» или, напротив, как «вармийский».

7.0. Сторонникам вармийского происхождения миссионеров ситуация вокруг терминов *gerskr/girskr* дала основание считать *girsk*'их миссионеров русскими [Lárusson 1960: 28, 37—38]. Принимая во внимание нашу поправку относительно конфессионального значения этнонима в тексте судебного, такой вывод следует признать не вполне ошибочным.

8.0. В самом деле, если правило из «Серого Гуся» демонстрирует возможность «переключения кода» с этнического на конфессиональное, то соответст-

⁴⁸ В свое время высказывалось предположение, что армяне, посетившие Исландию, были павликианами [Macler 1923: 241; Jóhannesson 1956: 171—172; Lárusson 1960: 23—24; Pritsak 1981: 481]. Как справедливо указывает Я. Р. Дашкевич, этому противоречит тот факт, что секте павликиан была присуща антииерархическая структура, а миссионеры в наших свидетельствах носят титул епископов.

Отметим предварительно следующую характерную деталь: конфессиональная принадлежность миссионеров, как правило, отодвигалась исследователями на второй план и ставилась в прямую зависимость от национальности епископов.

⁴⁹ См., например: [Sjöberg 1985: 71; Pritsak 1981: 480; Jónsdóttir 1959: 79—80; Kuhn 1971: 15—16; Мельникова 1989: 267, прим. 34; Дашкевич 1990: 88—90].

⁵⁰ См. [Lárusson 1960: 27—28: «The adjective *girzkr* can, of course, have the same meaning as *griskur* (“Greek”), but it could just as well refer to a man from *Gardar* or *gerzkr* (“Russian”)», 37 «...we may assume that the word *girzkr* in the *Grágás* manuscripts means “gerzkr” (i.e. Russian)»; Grg. 1992: 19, 531: «*girskur*: (líklega) rússneskur, frá Gardaríki»; Laws of Early Iceland 1980: 38, примеч. 53)].

вующий термин характеризовал епископов в плане их принадлежности к восточной (греческой) церкви (так, само православие универсальным образом обозначалось как «греческая вера», или «вера греков» (*trú Grikkja*) — см., например: [Ап. VII, под 1274 г.]; ср. также встречающееся обозначение *grísk trú*⁵¹).

9.0. Таким образом, даже с учетом общей вариативности термина, о которой шла речь выше, у нас есть все основания считать, что принадлежность епископов, выраженная в исландском судебнике при помощи *gerskr/girskr*, определяется здесь как «греческая». Однако, это определение (*girskir*), будучи использовано в сугубо конфессиональном смысле, так или иначе могло относиться ко всем исповедующим православие греческой ориентации, т. е. в том числе, например, и к русским или, теоретически говоря, даже к армянам-халкидонитам⁵².

⁵¹ Об еще одном обозначении православия в древнескандинавской письменной традиции (*Pálsbók* «Закон уложения Павла»), вероятно связанном с именем греческого епископа Павла, который, по преданию, крестил Русь вместе с норвежским конунгом Олавом Трюгвасоном, см. подробнее: [Dawkins 1947: 42—43; Fell 1973: 101—108].

⁵² Ср. еще пример употребления эпитета *gerzkr/girzkr* в специально конфессиональном значении: *ef nokkr girzkr dirfízt at endur skira þann sem adr skirde latinu tungu madr... 'если некий girzkr осмелится заново крестить того, кого прежде окрестил латиноязычный муж...'*

Не исключено, что приведенный отрывок напрямую восходит к соответствующему правилу «Серого Гуся»; во всяком случае, представитель православия (*girzkr*) эксплицитно противопоставляется здесь католику («носителю» латинского языка), а в «Сером Гусе», как мы имели возможность заметить, приезжие миссионеры (да и представители чужой конфессии вообще) обобщаются под рубрикой «не сведущих в латыни» (ср. [Kuhn 1971: 16]). Цитируемый фрагмент представляет собой правило № 7 из неизданного руководства для клириков (рукопись конца XV в. AM 672 4¹⁰, 50 г, строка 4 — см. [ONP 1989: 402—403 (Theol 672); ONP 1 1995: 71—72 (Theol AM 672 4r (1))], где, наряду с прочим, перечисляются различного рода запреты, нарушение которых, как правило, влекло за собой отлучение от церкви (так называемый *bannsetningar artikull*). Стоит отметить, что данное правило отражает, по-видимому, реальную практику греческой церкви (распространившуюся, правда, несколько позже), которая считала необходимым перекрещивать католика, желающего перейти в православие (что, в принципе, противоречило всем церковным установлениям, запрещающим вторичное, повторное совершение этого таинства над одним и тем же лицом).

Пользуемся случаем, чтобы выразить свою благодарность госпоже Э. Родэ (Дания) за своевременное предоставление материалов и сообщение необходимых сведений об источнике.

Случаи подобного обозначения православных, вообще говоря, хорошо известны: некоторые западноевропейские авторы, как мы уже отмечали выше, могли отождествлять Грецию и Русь, греков и русских по юрисдикционному признаку. Ср. также типологически однородные случаи обозначения католиков в древнерусской традиции. В частности, заслуживает упоминания в этой связи судьба термина в а р я ж с к и й: «По мере обострения в

10.0. Итак, мы коснулись двух основных свидетельств о присутствии армян в Исландии и пришли к определенному выводу о специфике употребления этнонимических терминов (*hermskr* и *girskr* в рассмотренных контекстах.

10.1. Прежде всего, мы сочли необходимым вернуться к первоначальному (т. е. традиционному для историографии конца XIX — середины XX в.) прочтению эпитета (*hermskr* как «армянский», поскольку современная его интерпретация («вармийский») не выдерживает никакой критики.

10.2. Далее: мы высказали предположение относительно специфически конфессионального значения этнонимических терминов в контексте интересующих нас свидетельств. Как нам представляется, вопрос об этносе миссионеров, посетивших Исландию XI в., не имеет под собой четкого основания. Ответ на него будет носить заведомо гадательный характер, поскольку на уровне денотата под этническим определением, использованным в конфессиональном смысле, могут пониматься представители любого этноса, принадлежащие к тому или иному вероисповеданию.

10.3. С этой точки зрения несколько более благополучно обстоят дела с армянскими миссионерами, в отношении которых мы готовы допустить известное тождество конфессионального и этнического в их определении.

10.4. Что же касается греческих епископов, упоминаемых лишь в исландском судебнике, то здесь совершенно не исключено, что под ними могли подразумеваться и некие русские миссионеры, появление которых в Исландии XI в., вообще говоря, не представляется невероятным (ср. [Lárusson 1960: 38])⁵³. В свете сказанного кажется не вполне случайным и тот факт, что епископы определяются эпитетом *girskr*, который в принципе, так сказать на уровне «системы», а не данного конкретного текста, допускает двойное прочтение; во всяком случае, конфессиональное единство русских и греков могло обусловить выбор именно этого термина при составлении правила.

клерикальных кругах конфессиональных противоречий между восточной и западной церковью самый термин *варяжский*, *варяжская вера*, стал связываться с католичеством, с латинством, варяги больше не трактуются как фактор перенесения христианства из Греции» [Рыдзевская 1935: 9; ср. Голубинский 1901: 157, примеч. 2; Коробка 1906: 370, 378, 382; Colluci 1990: 576]. Сравнительно реже отмечался тот факт, что в дальнейшем термин *варяжский* приобретает другой конфессиональный смысл у русских и может означать «языческий» (так, например, в поздних редакциях (XVI—XVII вв.) «Службы князю Владимиру» первоначальное «...отъ еллинъ родися» (т. е. язычник по происхождению) заменяется на «...отъ варягъ родився» [Славнитский 1888: 220].

⁵³ Не следует забывать при этом, что почти все русские епископы XI в. в действительности были греками (за исключением Илариона и Луки Жидяты (1036—1056, ум. 1059 г.)) [Голубинский 1901: 344 и след.].

11.0. Указанные особенности в использовании эпитетов позволяют высказать некоторые общие соображения относительно возможного источника для правила из «Серого Гуся».

Выше мы уже упоминали о наших сомнениях по поводу письма Адальберта. Повторим еще раз, что оно, судя по всему, было посвящено отдельным фактам нарушения епархиальных норм и потому едва ли может рассматриваться как источник запрета на межконфессиональное общение. Скорее, следует предположить, что правило из «Серого Гуся» восходит к определенному церковно-юридическому памятнику (возможно, даже нескандинавского происхождения). Иными словами, при составлении интересующего нас правила вполне могли быть не только учтены, но и буквально воспроизведены те или иные образцы уже сложившегося канонического права, где содержались аналогичные ограничения на общение с монофизитами или представителями греческого православия.

В то же время здесь не следует упускать из виду и исключительную ориентированность, так сказать, общую нацеленность древнеисландского законодательства на прецедент как таковой. Не останавливаясь на этом, весьма важном, моменте подробно, отметим лишь, что в целом и само правило из «Серого Гуся» декларативно ставит прецедент во главу угла: ср., например, дифференцированный подход к тем священникам, которые «бывали здесь и прежде», и тем, которые впервые посещают Исландию (в этой связи оказывается важна и оговорка о позволении епископа в тексте судебногоника). Напрашивается предположение, что в качестве искомого прецедента, из которого исходили авторы правового предписания, могло выступать известие Ари — первого историка исландской церкви — о приезде в страну армянских миссионеров⁵⁴. Таким образом, определенная оговорка в юридическом правиле (...*húartz þeir erv hermskir efa girskir...* '... будь они армянские или греческие...'), возможно, представляет собой не что иное, как заимствованное клише или усвоенную в том или ином виде формулу канонического права, которая, однако, оживляется здесь благодаря своему соотнесению с конкретным событием ранней христианской истории Исландии.

(X). Илья Русский vs. Греческий.

Об одном периферийном персонаже в «Саге о Тидреке Бернском»

1.0. Всевозможные перипетии исторического существования *gerzkr/girzkr* в традиции (включая сюда предполагаемые нюансы восприятия и смысловые

⁵⁴ Ср. в этой связи сходные случаи «застывания» некогда реального прецедента в древнеисландском праве. Так, например, в «Сером Гусе» содержится множество предписаний, касающихся рабов. Между тем, даже ко времени кодификации самого судебногоника (предположительно, в начале XII в.) рабство уже не было представлено в Исландии [Foote 1977: 41—74]. Тем не менее, рабы так или иначе присутствуют во множестве правовых разделов, записанных и в XIII в. К числу подобного рода курьезов принадлежат и неоднократные упоминания в «Сером Гусе» отдельных зверей: так, в разделе о постах фигурируют, например, олени и медведи, которых никогда не было в Исландии, но которые были в Норвегии (ср. [Gtg./I: 34—35]). Примеры подобного рода легко можно было бы умножить.

коллизии, так или иначе сопутствовавшие переосмыслению термина) по целому ряду причин достаточно сложны для исследовательского анализа. Необходимо постоянно отдавать себе отчет в том, что за рамками нашего описания остается пласт живого языка и устной традиции. В подавляющем большинстве случаев мы оказываемся не в состоянии восстановить минимальный объем сведений, как бы составить своего рода «анамнез», необходимый для полноценного и всестороннего изучения сложившегося положения.

2.0. До сих пор объектом нашего исследования было поведение *gerzkr/girzkr* в собственно древнеисландских прозаических сочинениях. Рассмотрим теперь иную ситуацию, когда в нашу орбиту оказывается вовлечен еще один — нескандинавский — язык, а интересующий нас термин возникает в качестве эквивалента при переводе.

3.0. Как уже упоминалось выше, в немецком средневековом эпосе фигурирует персонаж под именем короля Илиаса Русского (*künec Ilias von Riuzen*), который традиционно отождествляется с Ильей Муромцем русских былин. Приблизительно в середине XIII в. немецкие эпические сказания были переложены прозой на древненорвежский язык, однако в норвежской «Саге о Тидреке Бернском», по всей видимости, тот же персонаж назывался уже несколько иначе, а именно — Илиасом ярлом Греции (*af Grecia, af Greka*). Сам по себе факт превращения Ильи Русского в Илью Греческого привлекал особое внимание исследователей [Глазырина 1978: 194—195; Studer 1931: 44, 74] и нередко рассматривался в контексте отождествления или смешения греков и русских, постулируемого для западноевропейской средневековой традиции вообще и для немецкой эпической традиции в частности (см., например: [Paff 1959: 219; Müllenhoff 1856: 165ff; Müllenhoff 1865: 348—355]).

4.0. Между тем, обращает на себя внимание следующее обстоятельство: при описании в «Саге о Тидреке» битвы между конунгом Вальдемаром и Атиллой упоминается некий безымянный ярл, которого в синхронии текста со всей определенностью можно идентифицировать как ярла Илиаса (так, в частности, в некоторых рукописях он называется родичем конунга Вальдемара, т. е. точно так же, как Илиас, брат конунга Вальдемара из Хольмгарда). Это отнюдь не означает, однако, что данный персонаж был изначально тождественен ярлу Илиасу: по всей видимости, мы имеем здесь дело с контаминацией двух образов в норвежской версии.

5.0. В упомянутом фрагменте безымянный персонаж, подобно Илье, характеризуется как *jarl einn af Greka* ‘один ярл Греции’, но в ранней рукописи (B) встречается и другой вариант его определения: *jarl einn af Gers(e)keborg* [PS/II: 208] ‘некий ярл из Gers(e)keborg’а. Многие исследователи сближали топоним *Gers(e)keborg* с наименованием *Герсеке (Ерсике)* — княжеским центром на

территории Латвии, известным по некоторым документам XIII в. и по «Хронике Ливонии» Генриха⁵⁵ (ср., например: [Веселовский 1906: 73; Paff 1959: 219]; здесь же высказывалось предположение, что ярл Герсекеборга в саге есть не кто иной, как князь Висивальд (Всеволод), который под 1209 г. называется в хронике и документах *gex de Gersike*). Как бы то ни было, представляется возможным предположить, что именно данный вариант, включающий в себя топоним *Gers(e)keborg*, имеет решающее значение при рассмотрении вопроса о превращении Ильи Русского в Илью Греческого.

6.0. Допустим, что король Руси Илиас, попав из немецкой эпической традиции на скандинавскую почву, отождествился с неким, столь же второстепенным, персонажем (ярлом Герсекеборга) и, тем самым, трансформировался при пересказе в ярла. Одним из поводов или оснований для такого отождествления предположительно послужило то обстоятельство, что оба персонажа в равной степени были способны атрибутироваться посредством *gerzkr/girzkr*. Так, Илиас изначально, согласно немецкой версии, был правителем Руси; в свою очередь, основа топонима *Gers(e)keborg* напрямую ассоциировалась, по-видимому, с интересующим нас эпитетом (если прототипом *Gers(e)ke-borg* являлся топоним *Герсеке* (лат. *Gersike, Gezike, Gerseke*), то иностранное наименование скорее всего должно было искажаться в русле народной этимологии как **gerske borg*⁵⁶).

7.0. Таким образом, первоначально функцию определения при имени ярла Илиаса мог выполнять топоним *Gers(e)keborg*, переосмысленный как указание на сюжетную связь ярла с Русью (что в точности еще соответствовало немецкому «оригиналу», где Илиас определялся как *künec von Riuzen*). И лишь впоследствии при имени данного гибридного персонажа появляется эпитет *af Greka* (ср. [Веселовский 1906: 75—76]), возникший уже как следствие дальнейшего, вторичного переосмысления самой основы наименования *Gers(e)keborg* в норвежской традиции (любопытно кстати еще раз отметить в этой связи, что в «Саге о Тидреке» Русь (*Rucziland*) — а именно так и только так на-

⁵⁵ О Ерсике (Герсеке), который в XII в. находился в даннической зависимости от Полоцка, см. подробнее: [Назарова 1995: 182—196]. Любопытно отметить, что среди многочисленных этимологий топонима (их обзор: [Назарова 1995: 190—191]; Клейненберг 1972: 120, 127]), встречается и такая, которая возводит *Ерсике* (*Герсеке*) к скандинавскому *gerzkr, gerskr* (среди ученых, разделявших эту гипотезу, был, в частности, А. Н. Веселовский [Веселовский 1906: 74]) [Latviešu konversācijas vārdnīca 1932—1933: 14392—14393 lpp.]. Ср. более правдоподобную этимологию И. Э. Клейненберга, реконструировавшего для топонима *Ерсике* (*Герсеке*) исходную форму **Ярьскъ* [Клейненберг 1972: 120—127]; в последнее время за финское происхождение названия *Ерсике* выказалась Е. Л. Назарова [Назарова 1995: 191].

⁵⁶ Ср. случаи переосмысления топонима *Gregenborg* (*Greings, Gergenberg*), относящегося в «Саге о Тидреке», по-видимому, к Равенне, как *Grickia-borg* или — в шведской версии саги — *Græchen-borg* ‘город греков’ [Paff 1959: 83].

зывается Русь в этой саге — охватывает значительную часть Греции (см. [PS/L: 45, 48; II: 62, 69, 73; ср. II: 158; Paff 1959: 24, 156, 216])⁵⁷. Именно этот эпитет (в известном смысле «производный» в плане содержания от *gerzkr/girzkr*) и вытеснил собой все альтернативные определения ярла Илиаса ко времени письменной фиксации «Саги о Тидреке».

8.0. Итак, мы можем обозначить примерно следующую схему восприятия образа Ильи/Илиаса: король Руси (*künec Ilias von Riuzen*) > ярл Герскеборга (*jarl af Gers(e)keborg*) > ярл Греции (*jarl af Grecia, af Greka*).

9.0. Если наше построение в принципе верно и *gerzkr/girzkr* так или иначе повлияло на превращение Илиаса Русского в Илиаса Греческого, то за рассматриваемым термином следует учитывать известную способность провоцировать трансформации смысла при переводе. Выше мы наблюдали ситуацию, когда *gerzkr/girzkr* выступало в качестве «промежуточного звена» при перенесении образа из одной традиции в другую. Обратимся теперь к несколько иному случаю, при рассмотрении которого нам тоже придется дополнительно прибегнуть к данным другой, нескандинавской культурной традиции. Однако на этот раз речь пойдет уже не об эпическом персонаже, но о вполне конкретной исторической реалии⁵⁸.

⁵⁷ Данный вопрос (правда, в несколько иной связи) отчасти затрагивал А. И. Лященко в работе, посвященной сюжету о бое Ильи Муромца со своим сыном в русских былинах [Лященко 1925: 60 и след.]. По мнению Лященко, прозвище Ильи — Муромец — свидетельствует не о его происхождении из русского города Мурома, но о связи Ильи с мурманами (урманами), т. е. с норвежцами (ср. исходные предположения [Arne 1917: 71, 72]. Таким образом, Илья оказывался скандинавом, которого называли «норвежцем» на Руси, и, напротив, прозвали «русским» у себя на родине. Этот — последний — вывод Лященко делает прежде всего на том основании, что в «Саге о Тидреке» Илья определяется как ярл Греции. «Греческое» прозвище возникает, по мнению автора, в результате смешения терминов *gerzkr* и *girzkr*: так Илья, благодаря своему пребыванию на Руси предположительно был прозван в Скандинавии *gerzkr* (подобно Гудлейку или Гилли из «Саги о людях из Лососьей Долины»), однако со временем его прозвище было соотнесено с Грецией, а не с Русью (ср.: «часто встречающаяся перестановка слогов *ir* и *ri* <...> является причиной того, почему прилагательное *gerzki* (русский) и *girskr* (*grikskr*, греческий) часто смешиваются. Соседство России и Греции и общая религия в этих двух странах сделали смешение этих двух слов еще более обычными» [Лященко 1925: 61] — данное рассуждение является переводом примечания К. Рафна к прозвищу Гудлейка *gerzki* в [AR/L: 295]. Все это в совокупности позволяет объяснить, почему Илья в германских сказаниях называется «Русским» или «ярлом Греции». При этом А. И. Лященко полагал, вопреки ставшей традиционной к тому времени точке зрения, что образ Ильи попал в средневековый немецкий эпос от скандинавов (см. подробнее: [Studer 1931: 44—50]).

⁵⁸ Надо сказать, что эпитет *gerzkr/girzkr* достаточно редко (судя по собранному материалу) определял собой тот или иной предмет. Во всяком случае, помимо той группы при-

(XI). *Греческая или русская шапка?*

0.0. В заключение рассмотрим последнюю группу примеров из нашего списка. Говоря об использовании *gerzkr/girzkr* в качестве расхожего прозвища (в том числе и купцов восточного направления), мы уже приводили пример из «Саги о людях из Лососьей Долины», подтверждающий, на наш взгляд, наличие у ряда антропонимов соответствующих социальных коннотаций. Пришло время обратиться еще раз к этому фрагменту: *Höskuldr gekk þangat ok í tjaldit, ok sat þar maðr fyrir í guðvefjarklæðum ok hafði gerzkan hatt <= gerskan, girskan, griskan, geirskan, greskan [AR/II: 286]> á höfði. Höskuldr spurði þann mann at nafni; hann nefndist Gilli, — «en þá kannast margir við, ef heyra kenningarnafn mitt; ek em kallaðr Gilli hinn gerzki». Höskuldr kvadst oft hafa heyrt hans getit, kalladi hann þeira manna audgastan, sem verit höfðu í kaupmannalögum ([Ld. 12: 27])* ‘Хёскульд вошел в шатер и увидал, что перед ним сидит человек в одеянии из великолепной ткани и с *gerzk*’ой шапкой на голове. Хёскульд спросил, как его зовут. Тот назвал себя Гилли. — «Однако, — сказал он, — многим больше говорит мое прозвище: Гилли *hinn gerzki*». Хёскульд сказал, что часто о нем слышал. Его называли самым богатым из торговых людей’.

меров, на которой мы остановимся ниже, он фигурирует в этом качестве лишь у скальдов. Так, интересующее нас прилагательное всего лишь дважды встречается во всем корпусе скальдической поэзии, правда, у одного и того же автора — Арнора Ярлова Скальда, кеннинг которого — «страж Греции и Гардов» (= Христос) — нам уже приходилось разбирать выше. При этом оба примера из поэмы («Драпа о Магнусе» <Хрюнхенда>), сложенной в 1046 г., дошли до нас в качестве цитат в прозаических сочинениях, записанных существенно позже (XIII—XIV вв.): в саге о Магнусе Добром приводятся две строфы, в одной из которых упоминается некая оснастка корабля (... *með gerzku reidi* ‘... с *gerzk*’ой снастью’ <= *með girzku skrudi* ‘с *girzk*’ми вантами’ [Fms./VI: 23])> [Kock 1946/1: 155, N. 4; Skj. I: 306; Fms./VI: 23]), а в другой — оружие, определяемое соответствующим эпитетом (... *gerzkum* <= *girzkum* [Fms./VI: 47])> *málmi* ‘<корабль казался сверкающим> из-за *gerzk*’ого оружия <букв. металла, железа>’ [Kock 1946/1: 156, № 9; Skj./I: 308; Fms./VI: 47; Flat./III: 271] ср. [Lex. Poet.: 392].

Примечательным образом, строфа, где фигурируют корабельные снасти, появляется в саге в связи с сообщением о походе Магнуса из Гардарики в Швецию, хотя в стихотворной цитате не содержится никаких признаков того, что виса приурочена именно к этой экспедиции Магнуса (ср. [Джаксон 1991: 96]).

Единственное исключение, когда эпитет *gerzkr/girzkr* определяет собой предмет в прозаическом контексте, составляет упоминание *girzk*’ой ткани в саге: ... *Cecilia konungdottir talar við Vilhjálm konung, föður sinn, þessin orðum: Ek bid yðr, herra, at þér lofit mér at ríða norðr til Utrent eða Brandaus, at kaupa mér girska <= girzke> vefi* [Mítm.: 200] ‘Цецилия, дочь конунга, обратилась к Вильхьяльму конунгу, своему отцу, с такими словами: Прошу вас, государь, дозвольте мне поехать на север, в Утрент или Брандаус, дабы купить себе *girzk*’ой ткани’. Других упоминаний *girzk*’ой ткани (византийской парчи?) в источниках мы не находим.

1.0. Итак — в качестве атрибута купца, — в саге названа некая шапка, характеризующая соответствующим эпитетом. Попробуем определить, что за реальия имеется здесь в виду.

2.0. Прежде всего необходимо отметить, что данная вещь упоминается в сагах в относительно схожих между собой контекстах — во всех без исключения случаях речь несомненно идет о достаточно экзотической и весьма дорогой детали одежды. В качестве предмета роскоши головной убор может фигурировать, например, при описании того или иного персонажа. Так, в частности, в «Саге о Гисли» жертва готовящейся мести — Торкель, сын Кислого — выделяется на тинге (губительным для него образом!) именно своим обликом: *Porkell hafði girzkan hatt á höfði ok feld grán ok gull-dálk um öxl, en sverð í hendi* [Gisl.: 90] ‘На Торкеле *girzk*’ая шапка и серый плащ, скрепленный у плеча золотой пряжкой, а в руке меч’⁵⁹.

3.0. Другая — вполне стереотипная — ситуация, когда появляется упоминание «шапки» — это ритуал обмена дарами, который, как правило, в подробностях воспроизводится в сагах. Хотя «шапка» и фиксируется в числе дорогих подарков, мы лишены возможности, при этом, составить себе четкое представление о самом предмете: в сагах отсутствует сколько-нибудь развернутое описание головного убора, а крайняя малочисленность примеров почти не позволяет реконструировать его внешний вид.

3.1. Из тех особенностей, которые так или иначе оказываются связанными с использованием «шапки» в качестве дара, для дальнейшего, более специального, разыскания может оказаться полезным следующее: судя по «Саге о людях со Светлого Озера» соответствующий головной убор, преподнесенный тому или иному лицу, мог сам по себе, в отдельности, являться полноценным подарком — в числе даров, которые ярл Хакон (ум. в 995) послал из Норвегии, желая задобрить знатных исландцев, фигурирует и интересующая нас реальия: *hann sendi girzkan < = girdzkan* [AR/II: 271]> *hatt Gudmundi enum rikia, en Þoergeiri Ljosvetningagoda taparöxi*⁶⁰ [Ljósv. 6] ‘он послал *girzk*’ую

⁵⁹ Издатели саги (Бьерн Торольвссон и Гвюдни Йонссон) сочли необходимым пояснить здесь, что речь идет о головном уборе русского происхождения: ср. *girzkan*: *gerzkan*, frá *Gardaríki*, *rússneskan* «*girzkan*: *gerzkan*, из Гардарики, т. е. русская» (тот же комментарий содержится и в издании Финнура Йонссона в серии «Altnordische Saga-Bibliothek», Halle: Saale, 1903, Hf. 10).

Е. А. Рыдзевская переводит данное словосочетание как «гардская шапка» [Рыдзевская 1978: 79; ср., при этом, с. 66, примеч. 104, с. 78]. В другом переводе саги (О. А. Смирницкой) выражение передается как «русская меховая шапка».

⁶⁰ Стоит отметить, что среди даров здесь фигурирует по меньшей мере одна реальия, несомненно русского происхождения — это небольшой топорик (*taparöxi*); первый элемент — *tapar* — восходит к русскому *топорь*), посланный Торгейру со Светлого Озера. Подробнее об этом предмете обихода см. [Falk 1914: 110; Blöndal 1981: 84].

шапку Гудмунду Богатому, а Торгейру годи Светлого Озера топорик' (ср. другую редакцию саги: hann sendi út hatt girzkan ok taparøxi þeim Gudmundi ok Þorgeiri goda til trausts 'он послал им — Гудмунду и Торгейру годи — girzk'ую шапку и топорик в знак расположения')⁶¹.

3.2. С этим упоминанием отчасти коррелирует сообщение о том, как Кнут Могучий отблагодарил одного из своих скальдов за стихи. Выслушав поэму, сочиненную в его честь, конунг Кнут «похвалил ее и, сняв с головы girzk'ую шляпу, украшенную золотом и золотыми шишечками, велел своему казначею наполнить ее серебром и отдать скальду» (...ok tók af höfði sér hatt einn girzkan <= girdzkan> búinn gulli ok gullknappar á, bidr féhirdi sinn hroka af silfri ok fá skaldinu [OH 1849: 46]).

3.3. При этом шапка могла дариться, так сказать, и в комплекте с другими деталями костюма. Так, в «Саге о Ньяле» рассказывается, как во время своего пребывания в Дании Гуннар и конунг страны, Харальд Синезубый сын Горма (ок. 940—ок. 985), обменялись дарами: Gunnar gaf konungi langskip gott ok annat fé mikit. Konungr gaf honum tignarklæði sin ok glyfa gullgjallada ok skarband, ok gullknútar á, ok hatt gerzkan⁶² [Nj. 31] «Гуннар подарил конунгу хороший боевой корабль и много другого добра, а конунг подарил ему одежду со своего плеча, расшитые золотом перчатки, повязку на лоб с золотой тесьмой и gerzk'ую шапку».

4.0. В сущности, этими примерами исчерпываются практически все случаи упоминания «шапки» в древнеисландской прозе. На наш взгляд, ни один из них (равно как и все они в совокупности) не позволяет ответить на вопрос, какая этногеографическая характеристика вкладывалась в данном случае в определение *gerzkr/girzkr*. Решающее значение для нас имело бы точное установление материала, из которого сделан головной убор, описываемый в сагах. Так, большинство комментаторов полагало, что под выражением *gerzkr/girzkr hattr (höttr)* понималась некая меховая шапка (см., например, [Falk 1919: 92—93 «...sicher sind darunter Pelzmützen zu verstehen...»; ср. также наши примечания в сносках к отдельным цитатам]), что позволяло с большей или меньшей определенностью предположить ее русское происхождение.

5.0. Данное предположение, однако, не находит себе равным счетом никакого текстуального подтверждения в сагах. Как видно из приведенных примеров, в лучшем случае мы можем лишь констатировать, что головной убор ко-

⁶¹ Примечание издателя: *girzkr*: úr Gardaríki 'из Гардарики' (= Руси). Е. А. Рыдзевская (в данном случае, непоследовательно) переводит *girzkr hattr* как «греческая шляпа» [Рыдзевская 1978: 78; ср. с. 79].

⁶² Примечание издателя: *gerzkr hattr*: einhvers konar loðhúfa með skrauti; *gerzkr*: frá Gardaríki 'gerzkr hattr: определенного рода меховая шапка с украшениями'. Ср. в русском переводе: 'меховая шапка из Гардарики'.

нунга Кнута Могучего, который он подарил скальду, был богато украшен золотом; само же описание в саге не дает оснований для выводов ни о его форме (ср., впрочем, мнение Прищака, который произвольно определял головной убор как «russian [conic] hats...» в [Medieval Scandinavia 1993: 556]), ни о материале, из которого он был шит.

Таким образом, мы решительно склоняемся к тому, что рассмотренные контексты исключают возможность однозначного решения вопроса о *gerzk'ой/girzk'ой* шапке (ср. [Cleasby 1957: 312; Fritzner 1954/1: 742]).

6.0. Между тем, наименование той или иной детали одежды по национальному признаку, вообще говоря, представляет собой достаточно распространенное явление⁶³. Так, из самой скандинавской традиции известно о существовании «ирландской шапки» (в «Круге Земном» Снорри Стурлусона описывается, как Харальд Гилли (брат конунга Сигурда Крестоносца), одевшийся, как сказано в саге, по-ирландски (ср. его кельтское прозвище), явился на поединок с Магнусом (сыном Сигурда Крестоносца) в некой «ирландской шапке» на голове). Кроме того, в сагах часто упоминается, например, «датская шапка» (*dansk höttr*), под которой понимается, по всей вероятности, собственно скандинавский, автохтонный головной убор (возможно, то же самое, что русские называли «мурманка, мурмонка» (ср. «нурмане», т. е. норвежцы); см. [Фасмер 1996/III: 13].

7.0. Обозначения подобного рода вероятно было бы полезно учитывать при рассмотрении вопроса о *gerzk'ой/girzk'ой* шапке. Однако здесь для нас гораздо большее значение имеет, пожалуй, тот факт, что упоминание некой «греческой шапки» обнаруживается в различных культурных традициях за пределами Скандинавии. Так, соответствующее обозначение головного убора, возможно напоминающего по форме тюрбан (см. [Schultz 1889/1: 315]), мы находим, в частности, у миннезингеров (*kriechisch huetelin*). Многочисленные упоминания «шляпы земле-гречкой» или «шапки земли греческой» встречаются в южнорусских былинах, где данный предмет выступает в качестве основного атрибута калик переходящих (в новгородских былинах этой детали костюма, как показал Фасмер, соответствует «колокол», или «колпак»; см. [Фасмер 1909: 45—64], там же приводятся примеры, где фигурирует «шапка земли греческой»⁶⁴). Все эти данные в своей совокупности лишь приближают нас к

⁶³ Ср. в связи с этим этимологию русского слова *варега, варьга, варежка* («варяжская рукавица») [Ekblom 1915: 37; Vasmer 1931: 656; Фасмер 1996/1: 274; Рыдзевская 1934: 504. примеч. 4].

⁶⁴ Статья Фасмера, озаглавленная «Шапка земли греческой», посвящена прежде всего этимологии слова «колокол» в русских былинах, которое, по мнению автора, является искаженным *кукуль* или *куколь* (< греч. *κουκούλλι < κουκούλλιον*). Именно поэтому «шапка земли греческой» рассматривается исследователем лишь постольку, поскольку в данном

установлению реалии, упоминающейся в сагах, но не позволяют идентифицировать ее окончательно.

8.0. Памятуя о некоторых аналогиях из миннезингеров и былин, мы можем предположить, что скандинавская культурная традиция использует обозначение *gerzkr/girzkr hatt* для одной и той же разновидности головного убора, что и русская или немецкая. При этом мы не знаем в точности, что именно (на уровне денотата) обозначало данное словосочетание. Под «греческой шапкой» как у скандинавов, так и у других народов не обязательно должен был пониматься определенный предмет специально греческого происхождения; вероятно, так могла называться и соответствующая шапка или шляпа восточного типа (в связи с этим представляется вполне корректным определение *gerzk'ой/girzk'ой шапки*, данное в словаре Клисби и Вигфусона: «... a gorgeous foreign hood or turban from the east» [Cleasby 1957: 312]).

9.0. Каково бы, однако, ни было действительное происхождение рассматриваемой реалии, существенно, что скандинавы, русские и немцы одинаковым образом определяли ее как греческую⁶⁵.

9.1. В пользу данного предположения говорит, в частности, и тот факт, что в одном позднем памятнике (рукописи середины XV в.) фантастического жанра интересующая нас реалия упоминается именно в связи с пребыванием одного из персонажей, Асмунда, в Греции: ср. *girdzkan <hatt hafði> hann aa hofði og liet siga allt niðr fyrer hofudit og anlitit* [Sigturn.: 229₂₀] ‘на голове у него была *girdzk'*ая шляпа, и он надвинул ее себе на лоб и на лицо’. Из дальнейшего изложения становится совершенно ясно, что под *girdzk'*ой шляпой в саге понимается шляпа с широкими полями (ср. [Sigturn.: 231])⁶⁶.

наименовании можно было «видеть намек на греческое происхождение колпака калик перехожих, а следовательно и названия его в новгородских былинах — колокол» [Фасмер 1909: 60].

⁶⁵ Точнее, скандинавы определяли некий головной убор как *girzkr*, но в значении ‘греческий’ — данная оговорка следует, естественным образом, из двусмысленности самого термина *girzkr* в древнескандинавской традиции.

⁶⁶ Для уточнения того, какой тип головного убора мог обозначаться интересующим нас словосочетанием, определенное значение имеет тот факт, что в римах *girzk'*ая шапка фигурирует в качестве одного из атрибутов Одина: ср. *Gestrinn hafði girskan hatt...* ‘На госте была *girsk'*ая шляпа...’ [RS/I (Völsungsrímur III): 330, строфа 33]. Между тем, иконография Одина в литературной традиции включает в себя головной убор с большими полями: Один, как правило, появляется в сагах в образе одноглазого старика в широкополой шляпе, под которой он скрывает свое лицо. В частности, шляпа как атрибут Одина упоминается в «Саге о Волсунгах» (гл. III), стихотворным переложением которой и являются, по видимому, процитированные римы. Издатель рим, Финнур Йонссон, тем не менее переводит *girskr hatt* как «русская шапка» [Jónsson 1926—1928: 133].

9.2. Возможно, приведенный пример целиком вторичен по отношению к основной саговой традиции, а означенная деталь костюма значительно модернизирована в соответствии с этнографическими представлениями самого составителя «рыцарской саги» о греческой моде. Появление данной детали, однако, эксплицитно детерминировано самим развитием сюжета: поместив своего персонажа в Греции, автор как бы автоматически насыщает рассказ соответствующими культурными атрибутами этой страны. Тем самым автор рыцарской саги претендует на известную документальность своего описания, однако документальность эта особого рода — она продиктована условностью избранной им жанровой перспективы. Внося в портрет своего персонажа (вымышленного конунга Греции) такой дополнительный штрих, как «греческая шляпа», составитель саги стремился обогатить семантику образа: головной убор как деталь описания воплощает собой экзотику и выступает как признак бытовой роскоши (каковым он, по-видимому, и был в скандинавской среде), одновременно являясь веской этнографической подробностью (своего рода *couleur locale*), призванной создать ощущение правдоподобия у «читателя». Сходным образом *girzk*'ая шапка появляется и в другой саге, где один из героев во время похода высаживается на неведомой ему земле: *hann finnr einn mann firi sér; hann hafði girzkan hatt á höfði. Hann kvaddi Laís með nafni. Hann tók því vel, ok spurði, hvert hann væri. Ek em einn gyðingr, ok heiti ek Barus, ok ræð ek hér firi [Bragða-Mág.: 112] 'Он обнаружил перед собой человека с *girzk*'ой шапкой на голове. Тот обратился к Лаису по имени. Он принял его хорошо и спросил, кто он такой. Я иудей и зовусь Барус, и я управляю здесь'.*

10.0. Так или иначе, но последние примеры служат для нас лишним доводом в пользу того, что эпитет *gerzkr/girzkr* здесь следует понимать как «греческий», а все словосочетание в целом переводить как «греческая шапка (шляпа)». Не исключено при этом, что рассматриваемое обозначение является переводом соответствующего терминологического словосочетания из другой культурной традиции.

Теоретически говоря, мы можем представить себе иную ситуацию, в соответствии с которой культурный термин для головного убора возник в скандинавской среде и оттуда попал в другую, нескандинавскую традицию.

Как мы попытались показать на примере Ильи Русского и Ильи Греческого, термин *gerzkr/girzkr* обладал способностью провоцировать трансформации смысла при переводе. Если принять точку зрения большинства комментаторов и согласиться с тем, что *gerzk*'ая/*girzk*'ая шапка у скандинавов — это головной убор русского происхождения, то в принципе не исключена следующая последовательность событий: некая деталь костюма была заимствована как реалия у русских и, естественным образом, стала называться в скандинавской среде «русской шапкой». Затем скандинавское обозначение — *gerzkr/girzkr hattur* — тем или иным образом попадает обратно на Русь (и, напрямую или опосредованно, к немцам), но, в силу известной вариативности термина, рикшетом переосмысляется уже как «греческая шапка».

Однако такое гипотетическое построение, целиком опирающееся на фактор «обратного перевода», выглядит маловероятно и является в принципе недоказуемым.

Во всяком случае, при дальнейшем изучении этого вопроса не следует упускать из виду, что некая культурно-историческая реалья, а именно головной убор определенного типа, получает одинаковое (в плане фразеологии) выражение у русских, немцев и скандинавов.

Краткий обзор содержания

Ввиду обилия материала и разнообразия тем, затрагиваемых в настоящей статье, мы сочли целесообразным представить краткий обзор содержания работы, выполненный по главам. Отдельные рубрики снабжены здесь заглавиями, которые отсутствуют в основном тексте — подобная рубрикация призвана помочь ориентироваться при чтении данной работы.

Предварительные замечания. Общая задача работы: реконструкция этногеографических представлений древних скандинавов о Руси. Особенности локализации Руси в описаниях — Русь как лежащая на пути (из варяг в греки). Восприятие промежуточного местоположения Руси на пути из варяг в греки обуславливает возможность двух перспектив: греческой и скандинавской. Русь в перспективе византийца: отождествление русских и скандинавов в рамках одного культурно-исторического образа. Скандинавская перспектива и ее «зеркальность» по отношению к перспективе греческой; русские и греки как предмет отождествления для скандинавов.

(I). На подступах к теме. Сближение Греции и Руси в литературной традиции. Использование одного и того же обозначения для греков и русских в древнескандинавской письменной традиции (предварительная постановка вопроса). Отэтнонимический термин *girzkr* и его этимология. Позиция современного исследователя в отношении термина *girzkr*. Образ Византии в древнескандинавских письменных источниках; сближение Греции и Руси как стран восточного (по отношению к Скандинавии) направления. Первые свидетельства о существовании интегрирующего взгляда на Грецию и Русь. Кеннинг «страж Греции и Гардов» Арнора Тордарсона и его упоминание в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона. «Страж Греции и Гардов» превращается в «конунга Греции» в прозаическом пересказе Снорри. Комментарий Снорри: почему автор поэтики искажает при пересказе цитируемый им скальдический кеннинг? Предварительное объяснение проблемы.

(II). Древнескандинавская топонимия Восточной Европы. Проблема наименования Руси и некоторых городов, лежащих на «пути из варяг в греки». Реконструкция сведений Снорри о Руси. Наименование Руси и трех восточноевропейских городов (Новгорода, Киева и Константинополя). Взаимосвязь между названием Руси и обозначением городов, расположенных

на пути через страну: комплекс топонимов на *gardr*. Традиция наименования Константинополя у скандинавов. Положение восточноевропейских топонимов на *gardr* в древнескандинавской географической номенклатуре. Проблема значения термина *gardr* в контексте топонимии Восточной Европы: *gardr* 'хутор' / *gardr* 'город'. Оказационное использование термина *gardr* в восточноевропейских топонимах; причины семантического сдвига (скандинавское *gardr* и славянское *градъ*). Некоторые аргументы в пользу соотнесения *gardr* и *градъ* в древнескандинавской традиции. Формирование комплекса восточноевропейских топонимов на *gardr*: роль обозначения Константинополя (*Gardr*) в этом процессе. Первоначальное значение топонима *Gardar*: *Гарды* как наименование общего территориального единства. Осознавалась ли проблематика восточноевропейских наименований с элементом *gardr* самим Снорри Стурлусоном?

(III). *Girkkja vǫrðr ok Garda* («страж Греции и Гардов»). Опыт комментария. Краткое повторение сказанного. Анализируемый эпизод из «Младшей Эдды» иллюстрирует этапы эволюции древнескандинавского наименования Руси. Позиция скальда при создании кеннинга Христа («страж Греции и Гардов»): от определенных географических реалий к их обозначению в языке, от заданного содержания к тексту. Детерминированность появления *Gardar* в кеннинге (отсутствие в номенклатуре того времени специального обозначения для Руси). Позиция Снорри при комментировании скальдического кеннинга: от географического названия к его соотнесению с конкретной реалией. Чем был топоним *Gardar* для автора XIII в.? Мотивы, побудившие Снорри исправить кеннинг «страж Греции и Гардов» (устранение тавтологии, унификация скальдического материала). Ракурс Снорри при взгляде на Грецию и Русь.

(IV). Отэтнотонимический термин *gerzkr/girzkr*. Этимология и проблема его вариативности в письменной традиции. Ситуация вокруг термина *gerzkr/girzkr*, способного обозначать в зависимости от контекста как греков, так и русских (точка зрения современного исследователя). Наше предположение о двух словах различного происхождения (*gerzkr* и *girzkr*), которые отождествились в письменной традиции — однородные термины *gerzkr* и *girzkr* объединяются в языковом сознании и осмысляются как варианты одного слова. Этимология отэтнотонимических терминов *gerzkr* и *girzkr*. Происхождение прилагательного *girzkr*. Этимологическое объяснение прилагательного *gerzkr*. Прилагательное *gerzkr* как оттопонимическое образование (в отличие от *girzkr*). Некоторые соображения относительно исходного топонима, от которого могло быть образовано прилагательное *gerzkr*.

(V). *Gerzkr* и *girzkr* в дописьменную эпоху. Общие соображения. Семантическое наполнение обоих терминов до возникновения письменной традиции. Соотношение *Gardar* и *Girkjar*. *Gardar* и *gerzkr* в дописьменную эпоху.

Этноним *Girkjar* и его производные. Не были ли прилагательные *gerzkr* и *girzkr* близки по значению еще в дописьменный период?

(VI). *Gerzkr* и *girzkr* в качестве прозвищ. Свидетельства отождествления *gerzkr* и *girzkr* в древнескандинавской письменной традиции. Использование *gerzkr/girzkr* в составе прозвищ, носителями которых оказываются скандинавы. История купца Гудлейка. Социальные характеристики в прозвище *gerzkr/girzkr*. Региональный признак в прозвищах *gerzkr/girzkr*: возможность двойного (диффузного) восприятия антропонима. *Gerzkr/girzkr* как обозначение скандинавских купцов восточного направления. Примеры, свидетельствующие о возможности социальных коннотаций у рассматриваемых прозвищ. Примеры, препятствующие рассмотрению прозвищ *gerzkr/girzkr* в качестве *terminus technicus* для купцов восточного направления.

(VII). Олав Трюггвасон как купец восточного направления. Попытка анализа одного сюжета. Роль Олава Трюггвасона в крещении Руси (по скандинавским источникам). Критические замечания к гипотезе А. Архипова относительно отождествления Ирландии и Греции в древнескандинавских текстах (в связи с местом обращения Олава Трюггвасона в христианство). Анализ свидетельств, рассказывающих о перемене имени Олавом Трюггвасоном по пути в Норвегию: Олав называет себя *gerzkr/girzkr*. Двусмысленность прозвища Олава, которая находит свое отражение в источниках. Причина этой двусмысленности: Олав выдает себя за купца-иностранца. Характер использования термина *gerzkr/girzkr* применительно к Олаву; *gerzkr/girzkr* в контексте мистификации, разыгранной Олавом Трюггвасоном. Реконструкция логики поведения персонажа: какие мотивы побудили Олава назваться *gerzkr/girzkr* по рождению? Связь эпизода с переменной имени и обстоятельствами крещения Олава Трюггвасона. «Потаенный» смысл рассказа о перемене имени.

(VIII). *Gerzkr/girzkr* в качестве этнической характеристики. *Gerzkr/girzkr* в качестве определения этнической принадлежности того или иного лица: трудности при переводе и комментировании текстов. Реконструкция условий, при которых происходило отождествление терминов *gerzkr* и *girzkr* (отсутствие специального этнонима для русских). «Греческое» и «русское» — полюса одного этногеографического континуума. Опыт реконструкции скандинавских представлений о едином происхождении греков и русских. Проблема обозначения греческого и русского языка в древнескандинавской традиции: термин *girzka* в качестве собирательного наименования для языков определенного ареала. Уточнение характера «отождествления» греков и русских: случаи смешения спровоцированы вариативностью термина в письменной традиции. Использование *gerzkr/girzkr* в качестве этнической характеристики: выделение конкретного значения из общего семантического поля. Случаи однозначного прочтения термина (потребность в уточнении у «рассказчика»).

Случаи, допускающие двоякое прочтение; различные стратегии «рассказчика» при использовании термина *gerzkr/girzkr* в качестве этнической характеристики. Возможность сокращения термина (написание под титлом). Иллюстрация к сказанному на материале «Пряди о Хауке Длинные Чулки»: кто, грек или русский, торговал на новгородском рынке?

(IX). Этуд об иностранных епископах. К вопросу об армянах в Исландии в XI в. Несколько замечаний общего характера. Сообщение Ари Торгильсона (Мудрого) о появлении в Исландии XI в. епископов-миссионеров, определяемых эпитетом (*h*)*ermskr*. Позднейшие сообщения, основывающиеся на свидетельстве Ари (перечень епископов). Прояснение значения эпитета (*h*)*ermskr*: его связь с древнеисландским обозначением Армении. Показания еще одного источника: исландского свода законов «Серый Гусь». Внимание исследователей к этнической принадлежности миссионеров, упоминаемых у Ари и в «Сером Гусе». Споры вокруг этнонима (*h*)*ermskr*: «армянский» или «вармийский»? Некоторые факты из истории прибалтийской Вармии. Превращение армянских миссионеров в вармийских в научной литературе последних десятилетий. Перевод термина *girskr*, фигурирующего в «Сером Гусе», напрямую увязывается с прочтением этнонима (*h*)*ermskr*. Значение правового фрагмента при определении этноса миссионеров. Этническое vs. конфессиональное в тексте судебника: (*h*)*ermskr* и *girskr* как обозначения церковной ориентации миссионеров. Значение эпитета (*h*)*ermskr* в данном контексте (соотношение этнического и конфессионального при упоминании армян). Значение эпитета *girskr* в свете сказанного об использовании этнонима в конфессиональном смысле: «греческая» принадлежность епископов-миссионеров. Краткое повторение сказанного. Некоторые общие соображения относительно возможного источника для правила из «Серого Гуся»: является ли упоминание армянских и греческих миссионеров реминисценцией из канонического права?

(X). Илья Русский vs. Греческий. Об одном периферийном персонаже в «Саге о Тидреке Бернском». Общие замечания. *Gerzkr/girzkr* в качестве эквивалента при переводе с другого языка: король Илиас Русский в немецком средневековом эпосе и ярл Илиас Греческий в «Саге о Тидреке Бернском». Ярл Илиас в норвежской саге как результат контаминации двух персонажей. Появление топонима *Gers(e)keborg* в «Саге о Тидреке Бернском». Топоним *Gers(e)keborg* и его роль в процессе превращения Ильи Русского в Илью Греческого. Схема восприятия образа Ильи / Илиаса древненорвежской традицией.

(XI). Греческая или русская шапка? Шапка, характеризующаяся эпитетом *gerzkr/girzkr* в качестве атрибута кутца в «Саге о людях из Лососьей Долины». Другие упоминания данного головного убора в сагах: шапка как предмет роскоши, шапка в ритуале обмена дарами. Русское происхождение рассматриваемой реалии (мнение отдельных исследователей). Невозможность однозначного

решения вопроса о gerzk'ой/girzk'ой шапке. Случаи наименования той или иной детали одежды по национальному признаку в скандинавской традиции. «Греческая шапка» в различных культурных традициях за пределами Скандинавии («шапка земли греческой» русских былин и др.). Предположение об одинаковом обозначении головного убора у скандинавов, русских и немцев. «Греческая шапка» у скандинавов как экзотический головной убор восточного типа. Анализ одного упоминания данной реалии в поздней саге. Является ли рассматриваемое обозначение головного убора переводом соответствующего терминологического словосочетания из другой культурной традиции?

Список условных сокращений

- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. СПб./Пг./Л.; М., 1841 — 1995. Т. 1—45.
- AA. — *Antiquités Americanae* / [C. Rafn]. København, 1837.
- Alex. — *Alexanders saga* / [Udg. af Finnur Jynsson]. København, 1925.
- An. IV — *Annales regii* // ÍA (= Konungsan. 1981).
- AN VII — *Lögmansannáll* // ÍA.
- An. VIII — *Gottskálksannáll* // ÍA.
- An. IX — *Flateyarannáll* // ÍA.
- An. X — *Oddverija Annáll* // ÍA.
- AR. — *Antiquités russes d'après les monuments historiques des Islandais et des anciens Scandinaves* / [C. Rafn]. Copenhague, 1850—1852. 1—2.
- Arn. — *Arnarbælisbók* // Grg.
- Aug. — *Ágústínussaga* // HMS/I.
- Barth. — *Bartholomeus saga postola II* // *Postula sögur* / [Udg. af C. R. Unger]. Kristiania, 1874.
- Belg. — *Belgsdalsbók* // Grg.
- Bragða-Mág. — *Bragða-Mágus saga, skrifud upp eptir gömlum handritum af Gunnlaugi Þórðarsyni. Kaupmannahöfn*, 1858.
- DI — *Diplomatarium Islandicum*. København; Reykjavík, 1857—1923. 1—12.
- DN — *Diplomatarium Norvegicum*. Kristiania, 1849—1913. 1—20.
- DN/XVII B — *Diplomatarium Norvegicum (Tillæg til XVII B)* / [Udg. af Oluf Kolsrud]. Christiania, 1913.
- DR — *Wimmer F. A. De danske Runemindesmærker* / Haandudgave ved Lis Jacobsen. København; Kristiania, 1914.
- EÁ — *Sagan af Eigli einhenda ok Ásmundi berserkjabana* // *Drei lygiögur* / [Hrsg. von Åke Lagerholm]. Halle, 1927 (ASB/VII) (= Fas./III).
- Fas. — *Fornaldar sögur Norðrlanda eptir gömlum handritum* / [C. C. Rafn]. København, 1829—1830. 1—3.
- Færeying. — *Færeyinga saga* / [Ólafur Halldórsson bjó til prentunar]. Reykjavík, 1978.
- Flat. — *Flateyrbók* [Gudbrandr Vigfusson, C. R. Rafn]. Christiania, 1860—1868. 1—3.
- Fms. — *Fornmanna sögur. Kaupmannahöfn*, 1825—1837. 1—12.
- GHR. — *Göngu-Hrólfs saga* // Fas./III/
- Gísl. — *Gísla saga Súrssonar* // ÍF/VI <Vesfirðinga sögur> / [Björn K. Þórólfsson og Guðni Jónsson gáfu út]. Reykjavík, 1956 (= Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973).

- GNH 1864 — Gammel Norsk Homiliebog <Codex Arn. Magn. 619. Q.V.> / [Udgiven af G. R. Unger]. Christiania, 1864.
- 1 Gramm. — The Frist Grammatical Treatise University of Iceland: Publications in Linguistics / [Ed. by Hreinn Benediktsson]. Reykjavík, 1972. Vol. 1.
- 3 Gramm. — Den tredje og fjerde grammatiske afhandling i Snorres Edda tilligemed de grammatiske afhandlingers prolog og to andre tillæg, Islandsk grammatiske literatur i middelalderen 2 / [Udg. af B. M. Ólsen] København, 1884. (STUAGNL./12).
- Grg. — Grágás. Islændernes Lovbog i Fristatena Tid / [Udg. efter det kongelige Bibliotheks Haandskrift og overs. af Vilhjalmur Finsen]. København, 1852—1879—1883, 1—3 (repr. Odense, 1974).
- Grg. 1992 — Grágás / [Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson, Mördur Árnason sáu um útgáfuna]. Reykjavík, 1992.
- Gullþ. — Gull Þoris saga <Þorkisfirðinga saga>. København, 1898.
- Hkb. — Hauksbók / [Udg. ved Finnur Jynsson]. København, 1892—1896.
- Hkr. — Heimskringla / [Udg. ved Finnur Jónsson]. København, 1893—1900/1901. Bnd. 1—4. (STUAGNL./23) (= Snорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подг. А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980).
- HMS — Heilagra manna sögur / [C. R. Unger]. Kristiania, 1877. 1—2.
- Hungrv. — Hungrvaka / [Jón Helgason]. Byskupa Sögur. I. Hft. København, 1938.
- ÍA — Islandske Annaler indtil 1578 / [Udg. af G. Storm]. Christiania, 1888.
- Ísl. — Ares Isländerbuch / [Hrsg. von W. Golther]. Halle, 1923. (ASB/I).
- Ísl. 1968 — Íslendingabók / (Jakob Benediktsson gaf út) // ÍF/I. Reykjavík, 1968.
- Jón. Bapt. — Jóns saga Baptista // Postula sögur / [Udg. af C. R. Unger]. Kristiania, 1874.
- Kgb. — Konungsbók // Grg.
- Konr. — Konráds saga Keisarsonar / [Ed. Otto J. Zitzelsberger]. N. Y.; Bern; Frankfurt a. M.; Paris. 1987. (American University Studies. Series 1: Germanic Languages and Literature. Vol. 63).
- Konungsan. 1981 — Annálar / [Guðni Jynsson bjó til prentunar]. Reykjavík, 1981.
- Kr. — Kristni saga / [Hrsg. von B. Kahle]. Halle, 1905. (ASB. Hft. 11).
- Ld. — Laxdælasaga / [Udg. ved K. Kálund]. København, 1889—1891. (STUAGNL./19). (= Исландские саги / Ред., вступ. ст. и примеч. М. И. Стеблин-Каменского. М., 1956).
- Ldn. — Landnámabók / [Jakob Benediktsson gaf út]. Reykjavík, 1968. (ÍF./1).
- Leif. GregD. — Leifar fornrrar kristinna frœða íslenzkra. Codex Arna-Magnaeus 677 4^{to} auk annara enna elztu brota af íslenzkum gudrœdisritum / [Ed. Þorvaldur Bjarnarson]. København, 1878 (cp. HMS/I).
- Leif. PC — Leifar fornrrar kristinna frœða íslenzkra. Codex Arna-Magnaeus 677 4^{to} auk annara enna elztu brota af íslenzkum gudrœdisritum / (Ed. Þorvaldur Bjarnarson). København, 1878.
- Lex. Poet. — Sveinbjörn Egilsson. Lexicon poeticum antiquæ linguæ Septentrionalis. Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog / [Udg. ved F. Jónsson]. København, 1931.
- Ljósv. — Ljósvetninga saga / [Björn Sigfússon gaf út]. Reykjavík, 1940. (ÍF./10).
- Mág. — Mágus saga jarls / [Bjarni Vilhjálmsson] // Riddarsögur. Reykjavík, 1949. 2.
- MarD. — Mariu saga / [C. Unger] // Det norske Oldskriftselskabs Samlinger 11—16. Kristiania, 1871.
- Messuk. — Messuskýringar / [Oluf Kolsrud]. Oslo, 1952 [cp. Gamal norsk Homiliebok <AM 619 4^o> / [Gustav Indrebø]. Oslo, 1931].

- MGH — Monumenta Germaniæ Historica. Scriptorum/III. Hannoverae, 1839.
- Mírm. — Mírmáns saga // Riddar Sögur / [Hrsg. von E. Kölbing]. London; Strassburg, 1872.
- Mork. — Morkinskinna / [Udg. av C. R. Unger]. Christiania, 1867.
- Möðrv. — Möðruvallabók <AM 132 Fol.> / [Ed by Andrea van Erkel, de Leeuw van Weenen]. 1987. 1—2.
- NGL — Norges gamle Love indtil 1387. Christiania, 1846—1895. 1—5.
- Nj. — Brennu-Njáls saga / [Einar Ól. Sveinsson gaf út]. Reykjavík, 1954. (ÍF./12). (= Исландские саги. М., 1956; Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973).
- (OH). — Saga Óláfs konung ens helga // Hkr./II.
- OH 1849 — Óláfs saga hins helga epter et gammelt pergamentshaandskrift i universitetsbibliotheket i Uppsala / Udg. ved R. Keyser, C. R. Unger. Christiania, 1849.
- OHm. — Saga Óláfs konungs hins helga. Den store saga om Olav den Hellige. Efter pergamenthåndskrift i kungliga biblioteket i Stockholm nr. 2 4^{to} med varianter fra andre hendskrifter / [Utgitt av O. A. Johnsen og Jyn Helgason]. Oslo, 1941. 1—2.
- Otm. — Óláfs saga Tryggvasonar en mesta / [Udg. ved Ólafur Halldórsson]. Bnd. 1—2. København, 1958—1960. (Editiones Arnarnagnæanæ. Series A).
- OT Oddr. — Óláfs saga Tryggvasonar eftir Odd munk / [Guðni Jónsson bjó til prentunar] // Konunga sögur I. Reykjavík, 1957.
- OT Oddr 1932 — Saga Óláfs Tryggvasonar af Odd Snorrason munk / [Udg. av Finnur Jónsson]. København, 1932.
- Páll. — Páls saga postula / [C. R. Unger] // Postula sögur. Kristiania, 1874.
- Petr. — Petrs saga postula / [C. R. Unger] // Postula sögur. Kristiania, 1874.
- Rómrv. — Rómverja saga <AM 595, 4^o> / [Hrsg. von R. Meissner]. Berlin, 1910. (Palaestra. Bd./88).
- RR — Riddara Rímur / [Udg. ved Th. Wessén]. København, 1881. (STUAGNL./4).
- RS — Rímnasafn / [Udg. ved Finnur Jónsson]. København, 1905—1919. I—IV.
- Sf. — Stadarfellsbók // Grg.
- Sigturm. — Sigurðar saga tumara // Late Medieval Icelandic Romances I—V / [Ed. Agnete Loth] // Editiones Arnarnagnæanæ, Series B. København, 1963—1965. 20—24. Vol. 24.
- Sigþög. — Sigurðar saga þögla: The shorter redaction... from AM 596 4to / [Ed. M. J. Driscoll]. Reykjavík, 1992.
- Sk. — Skálaholtsbók // Grg.
- Skáldatal — Edda Snorra Sturlusonar: Edda Sturlaei / [Joannes Sigurdsson, Finmus Jonsson]. København, 1880—1887. 3.
- Skj. — Den norsk-islandske Skjaldedigtning / [Finnur Jónsson]. B. [Rettet tekst]. 1973. 1—2.
- SnE. — Edda Snorra Sturlusonar / [Finnur Jónsson]. København, 1931 (= Младшая Эдда / Изд. подг. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. М., 1970).
- SR. — Sveriges runinskrifter / Utg. av Kung. Vitterhets Hsitorie och Antikvitets Akademien. Stockholm, 1900—1964. 1—13.
- St. — Stadarholtsbók // Grg.
- Stjörn — Stjörn. Gammelnorsk Bibelhistorie / [Udg. af C. R. Unger]. Christiania, 1862.
- St. starf. — Sturlaugs saga starfsama // Fas./III.
- Sturl. — Sturlugasaga / Ed. by G. Vigfusson. Oxford, 1878. Vol. 1—2.
- Vict. Bl. — Viktors saga ok Blávus / [Jónas Kristjánsson] // Riddarsögur 2. Reykjavík, 1964.

- Vp. — Heilagra fedra æfi: «Vitæ patrum» // HMS/II.
 YS. — Yngvars saga Vídförla / [Udg. af E. Olsen]. København, 1912.
 Æv. — Íslenzk Aeventyri / [Hrsg. von H. Gering]. Halle, 1882—1883. 1—2.
 ÞS — Þiðriks saga af Bern / [Udg. ved H. Bertelsen]. København, 1905—1911. Hefte 1—2.
 (STUAGNL./34).
 Örv. Odd. — Örvar-Odds saga / [Hrsg. von R. C. Boer]. Leiden, 1888.

- ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины
 ДГ — Древнейшие государства на территории СССР
 ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Российской Академии наук
 СС — Скандинавский сборник
 ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы
 ANF — Arkiv för nordisk Filologi
 ASB — Altnordische Saga-Bibliothek
 HUS — Harvard Ukrainian Studies
 ÍF — Íslenzk Fornrit
 JEGPh. — The Journal of English and Germanic Philology
 KLNМ — Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder. København, 1956—1978. 1—22
 MPh — Modern Philology
 MLR — The Modern Language Review
 MM — Maal og Minne
 NHT — Norsk Historisk Tidsskrift
 ONP 1989 — Ordbog over det norrøne prosasprog: Register
 ONP 1 1995 — Nøgle / Key
 ScSl — Scando-Slavica. 1954 ff.
 STUAGNL — Samfund(et) til udgivelse af gammel nordisk litteratur
 ZfDA — Zeitschrift für deutsches Alterthum
 ZfS — Zeitschrift für Slawistik
 ZFSPH — Zeitschrift für Slawische Philologie

Литература

- Арранц 1988 — *Арранц М.* Чин оглашения и крещения в древней Руси // Символ. 1988. Т. 19.
 Архипов 1995 — *Архипов А.* По ту сторону Самбатиаона. Berkeley, 1995. (Monuments of Early Russian Literature. Berkeley Slavic Specialities. Vol. 9).
 Бережков 1879 — *Бережков М.* О торговле Руси с Ганзой до конца XV в. СПб., 1879.
 Бибииков 1997 — *Бибииков М. В.* Scando-Byzantina // Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежами своего отечества: Тез. докл. конф. М., 1997.
 Веселовский 1906 — *Веселовский А. Н.* Русские и вильтины в Саге о Тидреке Бернском (Веронском). СПб., 1906 (= ИОРЯС. Т. XI. Кн. 3).
 Глазырина 1978 — *Глазырина Г. В.* Илья Муромец в русской былине, немецкой прозе и скандинавской саге // Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978.

- Глазырина 1996 — *Глазырина Г. В.* Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996.
- Глазырина 1997 — *Глазырина Г. В.* «Конунги Руси» в сагах о древних временах // Первые скандинавские чтения (этногеографические и культурно-исторические аспекты). СПб., 1997.
- Голубинский 1901 — *Голубинский Е. Е.* История русской церкви. Период первый, киевский или домонгольский. М., 1901. Т. 1 (1-я половина тома).
- Дашкевич 1990 — *Дашкевич Я. Р.* Армяне в Исландии (XI в.) // СС. Таллин, 1990. Вып. 33.
- Джаксон 1984 — *Джаксон Т. Н.* О названии Руси *Gardar* // ScSl. Copenhagen, 1984. Т. 30.
- Джаксон 1988 — *Джаксон Т. Н.* Древнескандинавская топонимия с корнем *aust-* // СС. Таллин, 1988. Вып. 31.
- Джаксон 1991 — *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей (X—XIII вв.) // ДГ 1988—1989. М., 1991.
- Джаксон 1993 — *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). М., 1993.
- Джаксон 1994 — *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). М., 1994.
- Джаксон 1997 — *Джаксон Т. Н.* К вопросу о специфике древнескандинавской ориентационной системы // Первые скандинавские чтения (этногеографические и культурно-исторические аспекты). СПб., 1997.
- Джаксон, Молчанов 1990 — *Джаксон Т. Н., Молчанов А. А.* Древнескандинавское название Новгорода в топонимии «пути из варяг в греки» // ВИД. Л., 1990. Вып. 21.
- Древнерусские города 1987 — *Древнерусские города в древнескандинавской письменности* / Сост. Глазырина Г. В.; Джаксон Т. Н. М., 1987.
- Исаченко 1963 — *Исаченко А. В.* К вопросу об ирландской миссии у паннонских и моравских славян // Вопросы славянского языкознания. М., 1963. Вып. 7.
- Кирличников 1873 — *Кирличников А.* Поэмы Ломбардского цикла: Опыт сравнительного изучения западного и русского эпоса. М., 1873.
- Клейненберг 1972 — *Клейненберг И. Э.* О топонима «*Gersike*» в источниках XIII в. // ВИД. Л., 1972. Вып. 4.
- Константин Багрянородный 1989 — *Константин Багрянородный.* Об управлении империей. М., 1989.
- Коробка 1906 — *Коробка Н. И.* К вопросу об источнике русского христианства // ИОРЯС. 1906. Т. 11. Кн. 2.
- Лихачев 1983 — *Лихачев Д. С.* Текстология. Л., 1983.
- Ловмянский 1985 — *Ловмянский Х.* Русь и норманны. М., 1985.
- Лященко 1922 — *Лященко А. И.* Былина о Соловье Будимировиче и Сага о Гаральде // *Sertum bibliologicum* в честь А. И. Малеина. Пг., 1922.
- Лященко 1925 — *Лященко А. И.* Былина о бое Ильи Муромца с сыном // Памятники древней письменности и искусства. Л., 1925. Т. 190.
- Лященко 1926 — *Лященко А. И.* Сага про Олафа Трэгтвасона і літописне сповідання про Ольгу // Україна. Київ, 1926. Кн. 4.
- Мельникова 1977 — *Мельникова Е. А.* Скандинавские рунические надписи. М., 1977.
- Мельникова 1977а — *Мельникова Е. А.* Восточноевропейские топонимы с корнем *-gard* в древнескандинавской письменности // СС. Таллин, 1977. Вып. 22.

- Мельникова 1986 — *Мельникова Е. А.* Древнескандинавские географические сочинения. М., 1986.
- Мельникова 1989 — *Мельникова Е. А.* Русско-скандинавские взаимосвязи в процессе христианизации (IX—XIII вв.) // ДГ 1987. М., 1989.
- Мельникова 1997 — *Мельникова Е. А.* Образ Византии в древнескандинавской письменности // Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежами своего отечества: Тез. докл. конф. М., 1997.
- Мельникова 1997а — *Мельникова Е. А.* Брак Ярослава и Ингигерд в древнескандинавской традиции: беллетризация исторического факта // XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. Петрозаводск, 1997.
- Мельникова 1998 — *Мельникова Е. А.* Образ мира. М., 1998.
- Мусин 1997 — *Мусин А. Е.* Scandica Orthodoxa: Византия и Русь // XIII конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. Петрозаводск, 1997.
- Назарова 1995 — *Назарова Е. Л.* Русско-латгальские контакты в XII—XIII вв. в свете генеалогии князей Ерсике и Кокнесе // ДГ 1992—1993. М., 1995.
- Назаренко 1984 — *Назаренко А. В.* Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX—XIV вв.): Бавария—Австрия // ДГ 1982. М., 1984.
- Назаренко 1989 — *Назаренко А. В.* Реальность и ученая традиция в представлениях Адама Бременского (XI в.) о Северной и Восточной Европе // XI конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. М., 1989.
- Орлов 1906 — *Орлов А. С.* Сказочные повести об Азове. «История» 7135 года. Варшава. 1906.
- Рыдзевская 1934 — *Рыдзевская Е. А.* К варяжскому вопросу // Известия АН СССР. Сер. 7. Отд. обществ. наук. 1934. № 7—8.
- Рыдзевская 1935 — *Рыдзевская Е. А.* Легенда о князе Владимире в Саге об Олафе Трюгвасоне // ТОДРЛ. М.; Л., 1935. Т. 2.
- Рыдзевская 1978 — *Рыдзевская Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия (IX—XIV вв.). М., 1978.
- Славнитский 1888 — *Славнитский М.* Канонизация св. князя Владимира и службы ему по памятникам XIII—XVII веков // Странник. 1888. Июнь-июль.
- Стеблин-Каменский 1953 — *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М.: Л., 1953.
- Томсен 1891 — *Томсен В.* Начало русского государства. М., 1891.
- Успенский 1997 — *Успенский Ф. Б.* Асгард, Мидгард и Утгард в контексте древнескандинавской топонимии Восточной Европы (этюд об эвгемеристической интерпретации некоторых мифологических объектов у Снорри Стурлусона) // Атлантика. М., 1997. Вып. 3.
- Успенский 1997а — *Успенский Ф. Б.* «Греческое» и «русское» в исландских сагах (к вопросу о варьировании отэтнонимического прилагательного) // Греция Древняя — Средняя — Новая: Тез. и материалы симпозиума «Балканские чтения — 4». М., 1997.
- Успенский 1999 — *Успенский Ф. Б.* К одной из древнескандинавских версий крещения Руси (конунг Олав Трюгвасон как «апостол норманнов» в саге монаха Одда) // Восточная Европа в древности и Средневековье: XI Чтения памяти В. Т. Пашуто: Материалы к конференции. М., 1999.

- Фалилеев 1999 — *Фалилеев А. И.* Кто говорит «Греки» — имеет в виду валлийцев // Индо-европейское языкознание и классическая филология — III: Материалы чтений, посвящ. памяти профессора И. М. Тронского. СПб., 1999.
- Фасмер 1909 — *Фасмер М.* Шапка земли греческой // Сб. в честь семидесятилетия Г. Н. Потанина: Записки имп. рус. геогр. общества по отделению этнографии. СПб., 1909. Т. 34.
- Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996. 1—4.
- Ярхо 1917 — *Ярхо Б. И.* Илья, Илиас, Хильтебрант // ИОРЯС. Петроград, 1918. Т. 22. Кн. 2.
- Arne 1917 — *Arne T. J.* Det store Svitjod. Stockholm, 1917.
- Arranz 1989 — *Arranz M.* A propos du baptême du prince Vladimir // 988—1988: un millénaire. La christianisation de la Russie ancienne: Textes révisés par Yves Hamant. Paris, 1989.
- Berkov 1976 — *Berkov P. N.* Das «russische Thema» in der mittelhochdeutschen Literatur // ZfS. 1976. Bd. 21. № 3.
- Blöndal 1981 — *Blöndal Sigfús.* The Varangians of Byzantium. An aspect of Byzantine military history / Transl., rev. and rewrit. by Benedikt S. Benedikz. Cambridge, 1981.
- Boberg 1966 — *Boberg I. M.* Motif-Index of early Icelandic Literature. Copenhagen, 1966. (Bibliotheca Arnamagnæana. Vol. 27).
- Boer 1892 — *Boer R.* Über die Örvar-Odd saga // ANF. 1892. 8.
- Bräuer 1973 — Die literarischen deutsch-russischen Beziehungen im Mittelalter auf dem Gebiet der Heldenepik // ZfS. 1973. Bd. 18. № 3.
- Braun 1924 — *Braun F.* Das historische Rußland im nordischen Schrifttum des X—XIV. Jahrhunderts // Festschrift Eugen Mogk zum 70. Geburtstag. Halle, 1924.
- Cleasby 1957 — *Cleasby R., Vigfusson G.* The Icelandic-English Dictionary. Oxford, 1957.
- Colucci 1990 — *Colucci M.* The Image of Western Christianity in the Culture of Kievan Rus' // HUS 1988/1989. Cambridge (Mass.), 1990. Vol. 12/13. *
- Dawkins 1947 — *Dawkins R. M.* The Later History of the Varangian Guard: Some Notes // Journal of Roman Studies. 1947. 37.
- Derolez 1954 — *Derolez R.* Runica Manuscripta. The English Tradition / Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de wijsbegeerte en letteren. Brugge, 1954.
- Dietrich 1885 — *Dietrich D.* Die geographischen Anschauungen einiger Chronisten des XI. und XII. Jahrhunderts // Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie. Wien, 1885. Bd. 5.
- Einarsson 1944 — *Einarsson S.* Terms of direction in Old Icelandic // JEGPh. 1944. Vol. 43. № 3, July.
- Eklblom 1915 — Rus- et vareg- dans les noms de lieux de la région de Novgorod // Archives d'études orientales. 1915. 11.
- Falk 1912 — *Falk H.* Altnordisches Seewesen // Wörter und Sachen. Heidelberg, 1912. Bd. 4.
- Falk 1914 — *Falk H.* Altnordische Waffenkunde. Christiania, 1914.
- Falk 1919 — *Falk H.* Altwestnordische Kleiderkunde mit besonderer Berücksichtigung der Terminologie // Videnskapsselskapets Skrifter: 2 Hist.-Filos. Klass 1918. Kristiania, 1919. № 3.
- Fell 1973 — *Christine E. Fell.* A Note on Pálsbók // Mediaeval Scandinavia. Odense, 1973. Vol. 6.
- Fidjestøl 1997 — *Fidjestøl B.* Selected Papers. Odense, 1997.
- Foote 1977 — *Foote P.* Þrælahald á Íslandi // Saga. 1977. Bnd. 15.
- Foote 1989 — *Foote P.* [Рец. на кн.:] *Ruth Mazo Karras.* Slavery and Society in Medieval Scandinavia. Yale, 1988 // Saga-Book: (Notes and Reviews). 1989. Vol. 22. No. 7.
- Fritzner 1954 — *Fritzner J.* Ordbog over det gamle norske Sprog. Oslo, 1954. 1—3.

- Fuglesang 1997 — *Fuglesang S. H.* A Critical Survey of Theories on Byzantine Influence in Scandinavia // Rom und Byzanz im Norden / Hrsg. von M. Müller-Wille. Mainz, 1997. Bd. 1.
- Graf 1972 — *Graf H.-J.* «Russia» in den Fornaldar- und Lygisögur // Die Sprache. 1972. № 18.
- Günther 1894 — *Günther S.* Adam von Bremen der erste deutsche Geograph // Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie. Prag, 1894.
- Hanssen 1949 — *Hanssen Jens S. Th.* Theodoricus Monachus and European Literature // Symbolae Osloenses. Osloae, 1949. Fasc. 27.
- Heusler 1921 — *Heusler A.* Altisländisches Elementarbuch. Heidelberg, 1921.
- Hofmann 1981 — *Hofmann D.* Die Yngvarssaga víðförla und Oddr munkr inn frodi // Speculum Norrœnum: Norse Studies in memory of Gabriel Turville-Peter. Odense, 1981.
- Höfler 1854 — *Höfler Otto.* Über die Grenzen semasiologischer Personennamenforschung // Festschrift für Dietrich Kralik. Horn; N.-Ö., 1954.
- Holthausen 1948 — *Holthausen F.* Vergleichendes und Etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen. Göttingen, 1948.
- Janzen 1947 — Personnamn / Utg. av A. Janzen. Stockholm; Oslo; København, 1947. (Nordisk Kultur; 7).
- Jiriczek 1922 — *Jiriczek O.* Die deutschen Heldensage. Berlin; Leipzig, 1922. (Sammlung Götschen; № 32).
- Jóhanesson 1951/1956 — *Jóhanesson A.* Ísländisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1951—1956.
- Jóhanesson 1956 — *Jóhanesson J.* Íslendinga saga. Reykjavík, 1956. 1.
- Jóhanesson 1962/1965 — *Jóhanesson J.* The Date of the Composition of the Saga of the Greenlanders // Saga-Book of the Viking Society. 1962/1965. Vol. 16.
- Johnsen 1969 — *Johnsen A. O.* Harald Hardrådes Død i Skaldediktningen // MM. 1969.
- Jónsdóttir 1959 — *Jónsdóttir S.* An 11th Century Byzantine Last Judgement in Iceland. Reykjavík, 1959.
- Jónsson Finnur 1926—1928 — *Jónsson Finnur.* Ordbog til Rimur. København, 1926—1928. (STUAGNL./51)
- Jónsson Finnur 1930 — *Are hinn fróde Þorgilsson.* Íslendingabók / [Udg. ved. Finnur Jónsson]. København, 1930.
- Jørgensen 1874 — *Jørgensen A. D.* Den nordiske Kirkes Grundlaeggelse og forste udvikning. Kjøbenhavn, 1874. Bd. 1.
- Kahle 1909 — *Kahle B.* Die altwestnordischen Beinamen bis etwa zum Jahre 1400 // ANF. 1909. Bd. 26. Hf. 2 (продолжение работы см. в следующем томе ANF. 1910. Bd. 26. Hf. 3).
- Kalinke 1983 — *Kalinke M. F.* The Foreign language Requirement in Medieval Icelandic Romance // MLR. 1983. Vol. 78. Part 4, October.
- Karker 1977 — *Karker A.* The Disintegration of the Danish Tongue // Sjötiú Ritgerdir helgadar Jakobi Benediktssyni. 1—2. Reykjavík, 1977.
- Keller 1985 — *Keller M.* Vorstellung von «Riuzen» in der deutschen Literatur des Mittelalters // Russen und Russland aus deutscher Sicht: 9.—17. Jahrhundert / [Hrsg. M. Keller unter Mitarb. von U. Dettbarn und K.-H. Korn]. München, 1985.
- Kleiber 1965 — *Kleiber B.* Alstadsteinen i lyset av nye utgravninger ved Kiev // Viking. 1965. 29.
- Kock 1946 — Den norsk-isländska skaldediktningen / Reviderad av E. A. Kock. Lund, 1946. 1—2.

- Köhne 1987 — *Köhne R.* Wirklichkeit und Fiktion in den mittelalterlichen Nachrichten über Iseifr Gizurarson // *Skandinavistik*. 1987. Jahrgang 17. Hf. 1.
- Kuhn 1971 — *Kuhn H.* Das älteste Christentum Islands // *ZfDA*. 1971. Bd. 100.
- Lárusson 1960 — *Lárusson M. M.* On the so-called «Armenian Bishops» // *Studia Islandica*. Reykjavík, 1960. Vol. 18 (= *Úm hina ermsku biskupa // Skírnir*. Reykjavík, 1959. 133 ár).
- Latviešu konversācijas vārdnīca 1932—1933 — *Latviešu konversācijas vārdnīca*. Rīga, 1932—1933. 8.
- Laws of Early Iceland 1980 — *Laws of Early Iceland (Grágás)* / Transl. by A. Dennis, P. Foote, R. Perkins // University of Manitoba Press. 1980. Vol. 1.
- Lehman 1986 — *Lehman W. P.* Gothic etymological dictionary. Leiden, 1986.
- Lind 1905—1915 — *Norsk-Isländska Dopnamn ock fingerade Namn från Medeltiden / Samlade ock utgivna av E. H. Lind*. Uppsala; Leipzig, 1905—1915. 1—9.
- Lind 1920—1921 — *Norsk-Isländska Personbinamn från Medeltiden / Samlade ock utgivna med Förklaringar av E. H. Lind*. Uppsala, 1920—1921.
- Lönborg 1897 — *Lönborg S.* Adam af Bremen och hans skildring af Noreuropas Länder och Folk. Upsala, 1897.
- Lönnroth 1963 — *Lönnroth L.* Studier i Olaf Tryggvasons saga // *Sammlaren*. Årgång 84. Uppsala. 1963.
- Macler 1923 — *Macler F.* Arménie et Islande // *Revue de l'histoire des religions*. Paris, 1923. 87.
- Maurer 1856 — *Maurer K.* Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum Christentume in ihrem geschichtlichen Verlaufe quellenmässig geschildert. München, 1856. 1—2.
- Maurer 1867 — *Maurer K.* Ueber die Ausdrücke: altnordische, altnorwegische & isländische Sprache / *Abhandlungen der K. Bayer. Akademie der Wissenschaft*. 1. Cl. 11. Bd. 2. Abth. München, 1867.
- Medieval Scandinavia 1993 — *Medieval Scandinavia* / Ed. P. Pulsiano. New-York; London, 1993.
- Meissner 1921 — *Meissner R.* Die Kenningar der Skalden (ein Beitrag zur skaldischen Poetik). Bonn; Leipzig, 1921.
- Metzenthin 1941 — *Metzenthin E.* Die Länder und Völkernamen im altisländischen Schrifttum. Pennsylvania, 1941.
- Molland 1968 — *Molland E.* «Primsigning» // *KLNM/XIII*.
- Müllenhoff 1856 — *Müllenhoff K.* Zur Geschichte der Nibelungensage // *ZfDA*. Berlin. 1856. Bd. 10.
- Müllenhoff 1865 — *Müllenhoff K.* Zeugnisse und Excursus zur deutschen Heldensage // *ZfDA*. Berlin, 1865. Bd. 12.
- Munch 1863 — *Munch P. A.* Det Norske Folks Historie. Christiania, 1863. Bd. 2.
- Noren 1923 — *Noren A.* Altisländische und altnorwegische Grammatik. Halle a. Saale, 1923.
- Olrik 1894 — *Olrik A.* Bravalla kvadet // *ANF*. 1894. Bd. 10. Hf. 3—4.
- Paff 1959 — *Paff W. J.* The Geographical and Ethnic Names in the Þidreks Saga: A Study in Germanic Heroic legend. Cambridge (Mass.), 1959.
- Peterson 1994 — *Peterson L.* Svenskt runordregister. Runrön 2. Uppsala, 1994.
- Pritsak 1981 — *Pritsak O.* The Origin of Rus' (Old Scandinavian Sources other than Sagas). Cambridge (Mass.), 1981. Vol. 1.
- Reallexikon — *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde*. Straßburg, 1911—1913. 1—4.

- Sandholm 1965 — *Sandholm A.* Primsigningsriten under nordisk medeltid. Abo, 1965. (Acta Academiae Aboensis Humanoria. Bnd. 29. № 3).
- Schultz 1889 — *Schultz A.* Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger. Leipzig, 1889. 1—2.
- Sjöberg 1985 — *Sjöberg A.* Orthodoxe Mission in Sweden im 11. Jahrhundert? // Society and Trade in the Baltic during the Viking Age. Acta Visbyensia VII. Visby, 1985.
- Skautrup 1957 — *Skautrup P.* Dönsk tunga // KLNMI.
- Stender-Petersen 1927 — *Stender-Petersen A. D.* Slawisch-germanische Lehnwortkunde // Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar. 4. följd. Göteborg, 1927. Bd. 31. № 4.
- Stender-Petersen 1953 — *Stender-Petersen A. D.* Varangica. Aarhus, 1953.
- Storm 1884 — *Storm G.* Harald Haardraade og Vaeringerne i de gaeske kejsers tjeneste // Norsk Historisk Tidsskrift. 2 række. Christiania, 1884. Bd. 4.
- Studer 1931 — *Studer E.* Russisches in der Thidrekssaga // Sprache und Dichtung. Forschungen zur Sprache und Literaturwissenschaft / Hrsg. H. Mayng und S. Singer. Bern, 1931. Hf. 46.
- Sturtevant 1928 — *Sturtevant A. M.* Certain Old Norse Suffixes // MPh. Chicago, 1928. Vol. 26. № 2, November.
- Vasmer 1931 — *Vasmer M.* Wikingerspuren in Russland // Sitzungsberichte der Preussische Akademie der Wissenschaften (Philosoph.-historische Klasse). Berlin, 1931. Bd. 24. № 1—3.
- Vikings in Russia 1989 — *Vikings in Russia (Yngvar's saga and Eymund's saga) /* Transl. and intr. by H. Palsson and P. Edwards. Edinburgh, 1989.
- Vries 1977 — *Vries J. de.* Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2. verbes. Aufl. Leiden, 1977.
- Whaley 1998 — *Whaley D.* The Poetry of Arnórr jarlaskáld: An Edition and Study. Univ. of London, 1998. (Westfield Publications in Medieval Studies. Vol. 8).
- Zernack 1998 — *Zernack J.* Vorläufer und Vollender. Olaf Tryggvason und Olaf der Heilige im Geschichtsdenken des Oddr Snorrason Munkr // ANF. 1998. Bd. 13.

II

СЛАВЯНО-РОМАНСКИЕ КОНТАКТЫ В СЛОВЕНСКИХ ДИАЛЕКТАХ ФРИУЛИ¹

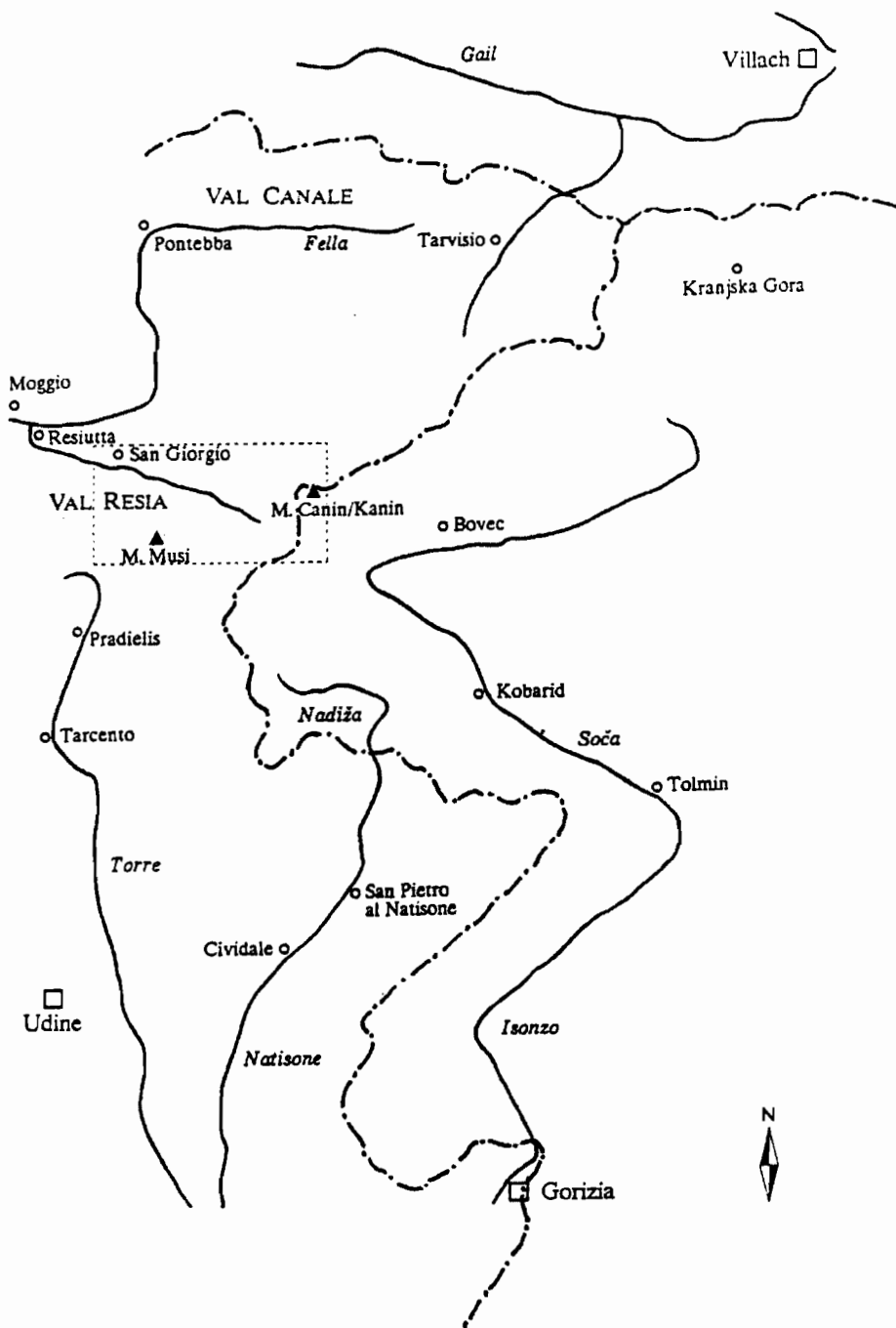
Известно, что в северо-восточной Италии, на границе со Словенией, сохранились языковые острова. Это славянские, а именно словенские диалекты, по большей части окруженные итальянско-фриульским языковым ареалом, в контакте с говорами которого они развивались веками. Они все бытуют в области Удине, во Фриули.

У этих диалектов своя особая история, сильно отличающаяся от истории словенских диалектов, распространенных южнее, в областях Триеста и Гориции². Как известно, Триест и Горицкая земля стали принадлежать Итальянскому королевству только после Первой мировой войны. До этого они входили в состав Австрийской империи, как и остальные территории теперешней Словении. Следовательно, диалекты Триеста и Гориции были все время в контакте со словенским ареалом и со словенским литературным языком, и жители этих областей до сих пор в полной мере ощущают свою принадлежность к словенскому языку и культуре. За населением Триеста и Гориции законодательно закреплены права национального меньшинства: в этих областях работают словенские школы и другие словенские культурные учреждения.

Совсем иначе обстоит дело с интересующими нас словенскими диалектами Фриули. В начале XV в. (с 1420 г.) в результате падения Аквилейского патриархата эти территории отошли к Венецианской республике, полностью разделив историческую судьбу Фриули. Следовательно, эти территории как в экономическом, так и в культурном отношении всегда относились не столько к Словении, сколько к Италии: сначала к Венецианской республике, а затем — к итальянскому государству. В отличие от Триеста и Гориции, население этих территорий не признано итальянским правительством как национальное меньшинство и не располагает своими школами и другими культурными

¹ Автор благодарит за ценные сведения и замечания Р. Говорухо, Б. Дзуанеллу (B. Zuanella), П. Лово (P. Lovo), П. Мерку (P. Merku), Л. Негро (L. Negro), С. Палетти (S. Paletti), П. Петричича (P. Petričić) и В. Черно (V. Černo).

² Напомним, что Триест и Гориция входят в состав не Фриули, а Венеции-Джулии.



Карта 1. Зоны славяно-романского контакта во Фриули (из кн.: Steenwijk 1992a)



Карта 2. Распространение резьянского и бенешских диалектов (из кн.: Lenček 1977)

учреждениями. В то же время словенцы Фриули, веками политически отделенные от других словенцев, сохранили словенский диалект и многие словенские обычаи и традиции. Тем не менее нельзя сказать, чтобы они продолжали осознавать свою принадлежность к словенскому культурному и языковому ареалу, как жители Триеста и Гориции. Проблема защиты своей языковой самобытности выражается здесь скорее в сохранении местного, исчезающего наречия, а не в защите лингвистических прав словенского меньшинства³.

Словенские диалекты Фриули можно разделить на две группы. К первой относится резьянский диалект, на котором говорят в долине Резья, простирающейся от востока к западу, с подножия горного массива Канин (Canein)⁴, отделяющего Италию от Словении, до фриульского села Резьютта, недалеко от большого населенного пункта Моджо Удинезе (см. карту 1)⁵.

В резьянской долине находятся шесть главных населенных пунктов, каждый из которых отличается своим говором: Прато ди Резья (Ravanca), Сан-Джорджо (Bila), Нива (Njiva), Озеакко (Osoanè), Столвицца (Solbica), и, наконец, отдаленный от других, прямо у границы со Словенией — Уччеа (Učja).

Несмотря на испытываемое веками романское влияние⁶, резьянский диалект сохранился хорошо, гораздо лучше других словенских диалектов Фриу-

³ Исключение представляет собой Надижская долина, где ощущение лингвистической и культурной связи со Словенией является особенно сильным. Здесь уже более 10 лет работает словенская школа, где дети учатся словенскому литературному языку, как в Триесте и в Гориции.

⁴ В данной работе топонимы передаются транслитерацией официального, итальянского названия. В том случае, если топоним имеет вариант на одном из рассматриваемых нами диалектах, то он добавляется в скобках латинским шрифтом.

⁵ Площадь резьянской долины — около 100 км². Население Резьи сегодня — около 1300 жителей, но не все они являются носителями резьянского диалекта: в основном это старшее поколение, хотя в последнее время наблюдается интерес к местному наречию и среди более молодых поколений. Следует также учесть, что носителями резьянского диалекта является большое (трудноопределимое) число эмигрантов, живущих в разных итальянских городах (прежде всего во Фриули), а также за границей. Более подробно о резьянской долине см. Benacchio 1994.

⁶ Сначала фриульского, а позднее также и итальянского языков. Можно сказать, что до 1866 г. (т. е. до включения Фриули в Итальянское королевство) фриульский был единственным языком, контактирующим с резьянским (и вообще со словенскими диалектами Фриули). После присоединения к Италии влияние итальянского языка, наряду с фриульским, становится более заметным, прежде всего в области политико-административной и технической лексики. Лишь после Второй мировой войны итальянский начинает играть важную роль, конкурируя с фриульским и постепенно его вытесняя. Венецианский диалект, распространенный в основном среди городского населения, не оказал существенного влияния на развитие рассматриваемого нами диалекта.

ли. Это объясняется особенностями географического положения этой небольшой замкнутой долины, окруженной с трех сторон высокими горами, причем с востока практически непреодолимыми. Единственный выход во Фриули — с западной стороны, где узкое шоссе соединяет долину с Резьютой и с Фриульской равниной. Вследствие этого население Резьи, с одной стороны, было изолировано от словенского языка, но, с другой стороны, относительно мало контактировало также и с романским языковым ареалом. Поэтому в резьянском сохранилось большое количество архаизмов, что делает этот диалект крайне важным для исследований в области как словенской, так и — шире — славянской диалектологии.

Резьянский диалект в последнее время переживает период обновления и возрождения благодаря деятельности самих жителей долины, направленной на сохранение диалекта. На резьянском публикуются всевозможные, прежде всего поэтические, тексты, читаются молитвы во время церковной службы и т. д. Недавно в Резье даже были установлены дорожные указатели с названиями населенных пунктов на итальянском и на резьянском⁷.

По мнению словенских диалектологов (начиная с Ф. Рамовша), резьянский диалект в настоящее время принадлежит к так называемой приморской диалектной основе (*primorska dialektična baza*), т. е. к тому же самому основному диалектному типу, к которому принадлежат и другие рассматриваемые в данной работе словенские диалекты, хотя исконно он принадлежал к каринтийской диалектной основе (*koroška dialektična baza*), от которой постепенно отделился (Ramovš 1935: XXXI, Rigler 1963: 71, Lenček 1982: 144). Однако сам Рамовш подчеркивает, что резьянский стоит особняком в группе словенских диалектов: «Resijanski dialekt moramo smatrati za samostojen dialekt slovenskega jezika. Njegove zveze s koroščino na eni in z južnozpadnimi slovenskimi dialekti na drugi strani so povsem naravne vezi med sosednimi členi in način njihovega križanja na ozemlju rezijanskega dialekta je za ta dialekt gotovo karakterističen, ni pa takšen da bi smeli rezijanski dialekt podrediti ali koroški ali južnozahodni (beneški) dialektični skupini. Kajti rezijanščina, nekako zaprta, kakor pozabljena v rezijanski dolinici, se je na zelo izrazit način po svoje razvijala in izobrazila take samostojne razvojne poteze, kakršnih ne najdemo ne v koroščini, ne v beneščini in prav te ji dajo značaj samostojnosti» (Ramovš 1935: 32. См. также Ramovš 1931: 43 и 1928: 110 и сл.).

⁷ Данное движение началось, во многом благодаря поддержке местной административной власти, на рубеже 70—80-х гг., особенно после фриульского землетрясения 1976 г. До этого резьянскому диалекту грозило исчезновение. См. замечание, сделанное Н. И. Толстым в 60-е гг.: «В настоящее время в Резье словенская речь исчезает» (Толстой 1960: 75). По поводу движения резьян за собственный литературный язык см. также Дуличенко 1981: 25—34.

Ко второй группе принадлежат так называемые диалекты Бенечии (Benečija)⁸, т. е. терский диалект и надижский диалект.

На терском диалекте говорят в терских долинах, точнее в верхней терской долине, а также в других небольших долинах, пересекаемых притоками р. Торре (Ter) и простирающихся от северо-запада к юго-востоку. Терский диалект соседствует на севере с резьянским диалектом, от которого он отделен горным массивом Музи, и на востоке — с надижским диалектом (границей можно считать линию, идущую примерно от Чивидале к северу, до границы со Словенией). На западе и на юге терский диалект соседствует с романским ареалом (см. карту 2)⁹. Основными населенными пунктами, в которых говорят на терском, являются (начиная с севера): Прадиелис (Ter), Чезариис (Podbardo), Лусевера (Bardo), Ведронца (Njivica), Вилланова (Zavarh), а также Монтеапэрта (Viškorša), Корнаппо (Karnahta), Тайпана (Tirana), Платискис (Plestišča), Чернеу (Černjeja), Канебола (Čenebola) и другие. Терский диалект можно подразделить на пять вариантов, значительно отличающихся друг от друга. Это различие отражает географическую структуру данной территории: долины отделены друг от друга горами и каньонами: каждая из них имеет свой отдельный выход в зону контакта с романским ареалом, на Фриульскую равнину, тяготея к разным экономическим и административным центрам Фриули (Тярченго, Нимис, Аттимис, Фаедис и др.). Этим и объясняется меньшая компактность терского диалекта, его большая разнородность по сравнению с резьянским и с надижским диалектами (Merkù 1978: 44—46), что ведет к его постепенному исчезновению. И действительно, сегодня терский диалект отмирает, особенно его западные и южные говоры.

На надижском диалекте говорят в долине, пересекаемой р. Натизоне (Nediža, по-словенски Nadiža, откуда и название диалекта), а также в трех

⁸ Кроме этого местного названия широко распространены и такие термины, как «Венецианская Словения» (по-словенски Beneška Slovenija), а также, особенно в Италии, «Венецианская Славия» (Slavia Veneta, см. также варианты Slavia italiana, Slavia friulana). Термин «венецианский» объясняется тем, что эти территории (терские и особенно надижские долины), имевшие важное стратегическое положение на границе с Австрийской империей, были под прямой властью Венецианской республики, которая и наделила их особыми привилегиями, возложив на них функции по защите границы. По-другому обстояли дела в Резье, зависевшей от влиятельного бенедиктинского аббатства Моджо, через которое Венецианская республика управляла этой территорией.

⁹ Площадь терских долин — более 300 км², но словенское население (около 2000 человек) сконцентрировано в горных районах и занимает сегодня не больше 200 км². Социолингвистическая ситуация терского диалекта очень сходна с ситуацией резьянского: местное наречие употребляется в основном старшим поколением; зато оно твердо сохраняется в среде эмигрантов. Немного иначе обстоит дело в надижских долинах, где диалект сохраняется и среди молодого поколения благодаря присутствию словенской школы.

других меньших долинах бассейна этой реки¹⁰. Надижский диалект, на западе соседствующий, как было отмечено, с терским диалектом, на северо-востоке непосредственно соприкасается со словенским языком (см. карту 2). В отличие от терских долин, эти долины не столь географически изолированы друг от друга. Кроме того, они все тяготеют к одному главному экономическому и административному центру — Сан Пиетро аль Натизоне (Špeter), находящемуся внутри словенского диалектного ареала и значительно удаленному от Фриульской равнины и от зоны языкового контакта¹¹. Такой географической плотности соответствует и лингвистическая компактность: надижский диалект (в котором можно выделить всего два варианта), хотя и испытал сильное романское влияние, тем не менее сохранил свою цельность гораздо лучше, чем терский, и сегодня ему не грозит исчезновение.

Другая географическая особенность отличает надижские долины от терских и, еще больше, от резьянской: они не отделены от территории Словении труднопроходимыми горами. Следовательно, их жители были все время в тесном контакте со словенским языковым ареалом. Это привело к тому, что надижский диалект, не испытавший значительного влияния романского ареала, подвергся сильному влиянию словенского языка или же словенских диалектов, бытовавших далеко от зоны романского контакта (имеются в виду обсошский и толминский диалекты). Поэтому надижский диалект сохранил гораздо меньше архаических языковых черт, чем терский, и в еще большей степени, чем резьянский, является самым близким к словенскому литературному языку словенским диалектом Фриули. Не случайно, как мы уже отмечали, на этой территории чувство принадлежности к словенской языковой и культурной общности ощущается особенно сильно.

Как уже было сказано, по классификации Рамовша (Ramovš 1935: 51—60), терский и надижский диалекты составляют группу так называемых бенешских диалектов, принадлежащих, как и современный резьянский диалект, к приморской диалектной основе.

Надо сказать, что к той же бенешской группе принадлежит и третий диалект, бришский. Он бытует на территории Коллио (слов. Vrda, откуда и название диалекта), в области Гориция, и граничит на севере с надижским (от которого отделен р. Юдрио), а на юге с крашским диалектом Горицкой области. Бришский диалект отличается от других бенешских диалектов тем, что он не развивался в тесном контакте с фриульским и итальянским: подобно Гориции и

¹⁰ Надижские долины занимают площадь в 250 км². Словенское население — около 7000 человек.

¹¹ Среди других населенных пунктов, в которых говорят на надижском, назовем Пульферо (Podboonsec), Савонья (Sovodnje), Гримакко (Grmek), Сан Леонардо (Sv. Lenart) и др.

Триесту, территория Коллио также веками принадлежала Австрийской империи и вошла в состав Италии лишь после Первой мировой войны. Значит, языковой контакт в полном смысле слова — возникающий тогда, когда одни и те же люди попеременно пользуются двумя (или более) языками (Weinreich 1968: 3), — здесь не имел места или просуществовал недолго. Надо еще сказать, что бришский диалект в настоящее время — т. е. после Второй мировой войны — большей частью распространен в Словении и лишь незначительно в Италии. Из-за всего этого бришский диалект не будет предметом нашего анализа ¹².

* * *

Из всех диалектов Фриули именно резьянский является самым изученным ¹³. Несмотря на крайне незначительное число его носителей, он постоянно привлекал внимание ученых, можно сказать — с самого момента возникновения славяноведения.

Уже отец славистики Й. Добровский в своем сборнике «Slavin», вышедшем в 1806 г., посвящает резьянскому диалекту статью «Über die Slawen im Thale Resia». Это сведения о языке (в основном — перечень слов), присланные ему его информантом капелланом австрийской армии А. Пишели.

Десять лет спустя (Й) Копитар также обращается к резьянскому диалекту, впервые переведя и опубликовав в статье «Die Slawen im Thale Resia» путевые заметки польского путешественника графа Й. Потоцкого, который еще в 1790 г. оставил первые сведения об этом лингвистическом островке.

Затем и Ф. Миклошич, переиздавший в 1857 г. статью Копитара, также обращает внимание на резьянский диалект и приводит из него немалое коли-

¹² Следует упомянуть, что Бодуэн де Куртенэ и по этому диалекту собрал материал, который до сих пор не опубликован (Толстой 1966: 79). Вне нашего анализа остается также небольшая группа словенских говоров так называемой Канальской долины, располагающейся в северо-восточной части Фриули, в области Удине, по р. Фелла, на дороге, ведущей от Понтеббы к Тарвизио, к зоне «триглоссии» (точнее, тетраглоссии), где словенский контактирует с немецким, фриульским и итальянским. Это исчезающие говоры, которые принадлежат к другой диалектной группе (зийской) и к другой диалектной основе (каринтийской). Территория, где распространен этот диалект, вошла в состав Италии — так же, как и территория Триеста, Гориции и Коллио — лишь после Первой мировой войны. До этого граница между Италией и Австрийской империей шла через Понтеббу. Следовательно, и здесь речь идет скорее о соседних, соприкасающихся, чем о контактирующих языковых группах: влияние романского ареала, хоть и существует, имеет меньшее значение, чем в остальных, принятых нами во внимание, диалектах Фриули. Подробнее о словенских (а также немецких) диалектах Фриули см. Pellegrini 1972b и 1972в.

¹³ Ср. замечание П. Мерку (Merku 1978: 43) о том, что это самый изученный словенский диалект.

чество языкового материала. Резьянские примеры, в основном взятые из материала, собранного тем временем Бодуэном де Куртенэ, помещены Миклошичем как в первый том (посвященный фонетике) его сравнительной грамматики славянских языков (особенно их много во втором издании 1879 г.), так и в этимологический словарь (1886 г.) и, наконец, в его знаменитые исследования по славянской ономастике (1927 г.). Таким образом, резьянский диалект впервые стал материалом анализа только что созданной сравнительной славистики (см. Steenwijk 19926).

В России интерес к резьянскому диалекту (и вообще к словенским диалектам Фриули) возникает благодаря И. И. Срезневскому, который в 40-е гг. XIX в. публикует различные лингвистические и этнографические заметки, сделанные им во время трехлетней научной экспедиции (IX. 1839 — IX. 1843) по славянским землям, в том числе по словенским землям Фриули. Заметки о резьянском вышли сначала (1841 г.) на чешском языке («Zpráva o Reziapesch»), и потом (1844 г.), в более развернутом виде, на русском, с включением материала о терской и надижской долинах («Фриульские славяне»). Кроме того, в другой ценной работе, вышедшей в те же годы и касающейся классификации словенских диалектов¹⁴, Срезневский поместил лингвистическое описание резьянского (Срезневский 1841: 153—155), а также терского и надижского (151—153) диалектов¹⁵.

Экспедиция по славянским землям была организована Министерством просвещения в связи с проектом формирования кадров для новой, нарождающейся в России науки славистики. Тот факт, что эта поездка включала в себя также посещение Резьянской долины, еще раз подчеркивает важную роль, отводимую резьянскому диалекту в исследованиях по славистике с самого начала существования этой науки¹⁶.

П. Шафарик также проявил интерес к резьянскому диалекту, опубликовав в 1842 г. небольшую статью («О Резьянах и Фурланских Словинах»), написанную преимущественно, как он сам указывает, на основе замечаний, присланных ему Срезневским¹⁷.

¹⁴ Это была первая классификация словенских диалектов вообще. О значении данной работы Срезневского, заложившей основы словенской диалектологии, см. Toporišič 1962.

¹⁵ Отметим, что два последних диалекта Срезневский трактует вместе, под названием словинского наречия, а самих жителей он называет словинами.

¹⁶ Как рассказывает сам Срезневский, в Бенечию он попал совершенно случайно, после услышанных в Каринтии рассказов о существовании этого языкового острова, о котором он раньше не знал. Поездка в Резью, напротив, входила в первоначальный план экспедиции: о существовании этого островка Срезневский узнал из «Slavina» Добровского.

¹⁷ Статья Шафарика включала и замечания словенского филолога и этнографа Станко Врза, который посетил Резью сразу после Срезневского. После поездки он тоже опубли-

Сам Срезневский позднее, в начале 70-х гг., обратил внимание недавно приехавшего в Санкт-Петербургский университет молодого И. Бодуэна де Куртенэ на словенские диалекты Фриули и предложил ему научную экспедицию в земли, где он был тридцать лет назад (Толстой 1960: 68)¹⁸. Известные работы Бодуэна о резьянском диалекте вообще и в частности о его фонетике и просодии (Бодуэн де Куртенэ 1874, 1875а и 1875б) являются первыми «зрелыми» лингвистическими исследованиями в этой области (несмотря на некоторые, ставшие впоследствии очевидными самому автору, ошибочные интерпретации, касающиеся загадочного резьянского вокализма). Кроме того, ценнейшим источником лингвистических исследований о резьянском диалекте все еще остаются собранные Бодуэном «Материалы...» (а именно первый и третий тома: соответственно, Boudouin de Courtenay 1895 и 1913)¹⁹, содержащие тексты, записанные и с живого голоса носителей языка во время его многократных поездок в Резью.

После Бодуэна резьянским диалектом стали заниматься словенские диалектологи, и прежде всего Ф. Рамовш, который в ряде работ, посвященных как специально резьянскому (Ramovš 1924 и 1928), так и словенским диалектам вообще (Ramovš 1931, 1935, 1936 и 1957), сделал подробный анализ этого диалекта, точно определив его место внутри словенского ареала. После него, особенно в 60-е гг., эти исследования — однако в основном только на фонологическом уровне — в Любляне продолжали Т. Логар и Я. Риглер, которые также рассматривали резьянский диалект и как таковой, и как составную часть словенского диалектного пространства. Они обратились в основном к проблемам, связанным с резьянским вокализмом (Logar 1963, 1970 и 1972; Rigler 1963) и резьянской акцентологией (Rigler 1972).

ковал небольшие, но очень интересные и верные замечания о резьянском диалекте (Vgaz 1841). Напомним, что Шафарик упоминает о Резье и в своем знаменитом труде о славянских древностях (Šafařík 1863: 360).

¹⁸ Одно из переизданий упомянутой статьи Срезневского «Фриульские славяне», вышедшее в 1878 г., содержит в примечаниях дополнения, а также некоторые исправления, внесенные Бодуэном де Куртенэ. Затем следуют рецензии Срезневского на первые труды Бодуэна по резьянскому диалекту. Эта публикация, написанная таким образом, «в четыре руки», явно свидетельствует о «передаче эстафеты» от первого второму — ученому следующего поколения.

¹⁹ Второй том, опубликованный в 1905 г., содержит тексты, записанные в терских долинах. Напомним, что в Архиве в Санкт-Петербурге хранится еще неопубликованный материал, записанный Бодуэном де Куртенэ, касающийся резьянского, бришского и других словенских диалектов. См. подробнее об этом Толстой 1960: 79—80. Надо заметить, что из списка, сделанного Н. И. Толстым, следует исключить «Тексты на говорах недижских славян (Slavi del Natisone) в северной Италии», которые были опубликованы в Италии Л. Спиноцци Монай в 1988 г. (Boudouin de Courtenay 1988).

Здесь следует также упомянуть словенского этнографа М. Матичетова, который начиная с 40-х гг. собрал (записал) огромное количество этнографического материала, имеющего большую ценность и для лингвистических исследований (см. Matičetov 1970, 1973 и 1987)²⁰.

Среди русских ученых, продолживших традицию изучения резьянского диалекта, кроме А. А. Дуличенко (Дуличенко 1981, 1995, 1996, 1997), известного специалиста по славянским литературным «микроязыкам», в том числе и по резьянскому, нельзя не упомянуть и В. А. Дыбо, который в своих фундаментальных исследованиях развития славянского ударения уделил внимание и резьянскому диалекту (см., например, Дыбо 1982).

В последнее время интерес к резьянскому диалекту вырос еще больше. Он привлекает внимание также ученых из неславянских стран, а именно из Америки, Канады и больше всего из Голландии. Е. Станкевич (Stankiewicz 1984—1985) и В. Фермэр (Vermeer 1987a) исследовали развитие резьянского ударения, рассматриваемого на общеславянском фоне, в то время как Т. М. С. Пристли (Priestly 1988) и Б. Грун (Groen 1980, 1984 и 1987), а также Фермэр (Vermeer 1987b и 1993), обратились к резьянскому вокализму. Большой интерес представляют и этимологические исследования Е. Хэмп (Hamp 1980, 1981, 1982, 1988a). Самая большая заслуга в современных исследованиях по резьянологии принадлежит, однако, Х. Стэнвейку, написавшему, кроме ряда работ по-резьянски, первую подробную описательную грамматику этого диалекта (по говору Сан Джорджо) (Steenwijk 1992a).

Имя Стэнвейка и голландской школы вообще связано и с другой темой, ставшей весьма актуальной в последнее время: нормализация резьянского диалекта как с орфографической, так и с грамматической точки зрения. Продолжая исследования, начатые еще Груном (Groen 1983) и Хэмпом (Hamp 1993), Стэнвейк подошел к этой проблеме и с теоретической, и с практической точек зрения и создал кодифицированную норму резьянской орфографии (Steenwijk 1994)²¹.

²⁰ Имя Матичетова связано с другим очень важным начинанием (правда, еще не осуществившемся), задуманным как сотрудничество между словенской и русской Академиями наук: издание оставшегося в рукописи бодуэновского «Резьянского словаря». Как известно, инициатива его публикации принадлежит покойному Н. И. Толстому, который открыл рукопись и опубликовал часть словаря (1966), поручив затем завершение работы А. А. Дуличенко и М. Матичетову. Работа над словарем уже давно закончена: издание должно осуществиться Словенской Академией наук в ближайшее время. См. подробнее Duličenko 1997.

²¹ В настоящее время Стэнвейк пишет нормативную грамматику резьянского диалекта. Напомним, что кодификации орфографической нормы предшествовала Международная конференция, посвященная проблеме нормализации резьянского диалекта, созданная в Резье в 1991 г. по инициативе самого Стэнвейка, с поддержкой местной административной

Что касается терского и надижского диалектов, отметим, что они не вызвали столь широкого и постоянного интереса, хотя, естественно, также были объектом исследований.

Как мы уже отмечали, первые сведения о существовании бенешских диалектов восходят к И. И. Срезневскому, который во время своей экспедиции по славянским землям посетил, кроме Резьи, также и Бенечию. В свои работы, опубликованные сразу после возвращения в Россию (как в путевые заметки, так и в классификацию словенских диалектов), автор включил также сведения о словинах.

Вслед за Срезневским, И. Бодуэн де Куртенэ тоже заинтересовался, помимо резьянского, и бенешскими диалектами. Правда, он не посвятил им отдельного научного исследования, а только собрал ценнейший лингвистический материал, т. е. второй (Бодуэн де Куртенэ 1905а) и четвертый (Baudouin de Courtenay 1988) тома «Материалов», которые посвящены, соответственно, терскому и надижскому диалектам.

Вообще нужно сказать, что за исключением Срезневского и Бодуэна терский и надижский диалекты в основном привлекали внимание только словенских диалектологов, чаще всего в русле общих исследований словенского ареала. Имеются в виду, например, упомянутые работы Рамовша (Ramovš 1931, 1935, 1936), Логара (Logar 1963 и 1970) и Риглера (Rigler 1963). Отметим, что в то время как все указанные диалектологи посвятили хотя бы одну отдельную работу резьянскому диалекту, терский и надижский, за исключением одной работы Логара (Logar 1966), не были объектом специальных отдельных исследований.

Такое постоянное внимание лингвистов к резьянскому диалекту (и, в меньшей мере, к терскому и надижскому) объясняется разными причинами. Во-первых, эти диалекты — особенно резьянский, но также и терский — находятся на периферии славянского ареала и отличаются большим количеством архаических черт, весьма интересных для исследователей не только словенской, но и славянской диалектологии.

Кроме того, данные диалекты представляют интерес и как объект исследований языкового контакта. По этой проблеме также существует широкий круг литературы. Среди самых важных работ, вышедших в последнее время, назовем исследования таких словенских романистов, как М. Скубиц (Skubic 1986, 1990, 1991 и особенно 1997), таких итальянских слави-

власти (Steenwijk 1993). Для ознакомления с результатами конференции см. также рецензии Дуличенко 1995 и Venacchio 1996в. Надо еще заметить, что проблема нормализации резьянского диалекта впервые поднималась на другой международной конференции, проходившей в Резье в 1980 г. Однако тогда это не дало конкретных результатов. О конференции 1980 г. см. Дуличенко 1981.

стов, как А. М. Раффо (Raffo 1972) и П. Мерку (Merkù 1972, 1976, 1978, 1980, 1988), а также языковедов, исследующих фриульский ареал, таких как Дж. Б. Пеллегрини (Pellegrini 1972а, 1972б, 1972в, 1975), Дж. Франческато (Francescato 1960) и др.

К проблеме языкового контакта применительно к резьянскому диалекту обратились в США Е. Хэмп (Hamp 1988б) и Р. Ленчек (Lenček 1976, 1978, 1986)²². Работы последнего являются особенно интересными для нашего анализа, так как в них особенно четко подчеркивается роль самостоятельного, внутреннего развития тех языковых явлений, которые обычно принято считать просто следствием романской интерференции.

За исключением работ Скубица, посвященных морфосинтаксическим проблемам, эти исследования в основном посвящены изучению лексических заимствований и топонимастики, а также, в меньшей степени, фонетики, в то время как морфологии и синтаксису уделяется мало внимания. Цель нашей работы состоит именно в том, чтобы заполнить этот пробел, рассмотреть различные морфосинтаксические особенности резьянского, терского и надижского диалектов, которые принято считать результатом контакта с языками романского ареала.

В основе нашего анализа лежит известное утверждение Р. Якобсона «La langue n'accepte des éléments de structure étrangers que quand ils correspondent à ses tendances de développement» (Jakobson 1949: 359). Впоследствии это мнение подтвердил также У. Вейнрейх в своей фундаментальной работе о языковом контакте (см. Weinreich 1968: 166).

Мы увидим, что многие явления, которые обычно считают присущими исключительно резьянскому (или терскому и надижскому) диалекту и классифицируют в основном как результат влияния языков контактирующего романского ареала, на самом деле очень часто присутствуют в других словенских диалектах либо в других славянских языках, бытующих далеко от зоны контакта. Безусловное романское влияние во многих случаях сводится лишь к усилению тенденций, присущих внутреннему развитию «берущей» словенской (или вообще славянской) языковой системы. Более того, эти явления часто выглядят как лингвистические универсалии.

Материалом исследования будут служить как тексты, собранные в конце прошлого века Бодуном де Куртенэ, так и, в большей степени, современные тексты, взятые из местных журналов²³, различных сборников и т. д. Мы бу-

²² Для дальнейших, более подробных библиографических сведений о словенских диалектах Фриули см. обзоры Matičetov 1981 и Darit 1995.

²³ Имеется в виду в основном двухнедельный журнал «Dom», издаваемый в Чивидале, и в частности раздел «Piha ponediščak» («Дует надижский ветер»), выходящий на местном (надижском) диалекте.

дем приводить примеры также из упомянутых выше исследований, прежде всего из грамматики Стэнвейка (Steenwijk 1992a). В редких случаях будет использован материал, записанный нами с живого голоса носителей языка.

Что касается транскрипции, то мы постарались придерживаться графики, используемой в тех публикациях, откуда берутся примеры. В тех случаях, например в цитатах из Бодуэна де Куртенэ, где для передачи фонетических явлений используются сложные графические системы, не имеющие значения для нашего анализа, мы прибегали к упрощениям. По той же причине мы опускали ударения и другие просодические показатели. В примерах из грамматики Стэнвейка мы придерживались не используемой там графики, а орфографической нормы, впоследствии разработанной самим автором (Steenwijk 1994).

* * *

Рассмотрим сначала склонение имени существительного, а именно тенденцию к ослаблению и потере во множественном числе среднего рода²⁴. Что касается резьянского диалекта, надо сказать, что эта тенденция ощущается больше в говорах западной части долины, примыкающих прямо к романскому языковому ареалу, чем в говорах восточной части. В Сан Джорджо, например, встречаются формы им. мн. *jabulke* (< им. ед. *jabulku* ‘яблоко’), *jajce* (< им. ед. *jajcë* ‘яйцо’), *janjate* и *janjati* (< им. ед. *janjë* ‘ягненок’), *talete* и *taletji* (< им. ед. *tale* ‘теленок’), *jëzaravi* (< им. ед. *jëzaru* ‘озеро’) и т. д., отражающие разные окончания, заимствованные из женского или из мужского склонения. Наоборот, в Столице встречаются только формы, отражающие исконное окончание среднего рода *-a*, а именно, соответственно, *jabulka*, *jajca*, *jonjata*, *taleta*, *jëzara* (Steenwijk 1996: 559)²⁵.

Ослабление среднего рода встречается также в терском и надижском диалектах (Cronia 1950: 324, Pellegrini 1975: 468, Skubic 1990: 155). По замечаниям Крония, в надижском диалекте данное явление скорее всего принимает вид

²⁴ Следует напомнить, что эта тенденция касается, кроме существительных, также прилагательных и клитических местоимений, где она проявляется также в единственном числе. Ср. примеры *Te rišcë [...] an ni ji nikar* ‘Цыпленок [...] ничего не ест’, *Te zadnji kōlu an ni hre lëru* ‘Заднее колесо плохо работает’, где формы мужского рода клитического местоимения *an* вместо *to* и определительного члена *te* вместо *to* (а также, во втором примере, форма мужского рода прилагательного) свидетельствуют о потере среднего рода — точнее, о нейтрализации среднего и мужского рода в единственном числе (Steenwijk 1996: 562).

²⁵ О том, что романское влияние как на морфологическом, так и на фонологическом и лексическом уровнях в говорах западной части Резьянской долины проявляется сильнее, чем восточной, см. также Steenwijk 1998: 12—18.

«феминизации», проявляющейся в единственном числе, ср. *miesta* ‘город’, *brda* ‘гора’.

Географическое распределение данного явления заставляет предположить, что перед нами феномен интерференции²⁶. На самом деле если глубже подойти к проблеме, то можно увидеть, что романский контакт только способствовал усилению языкового процесса, предсказуемого, заведомо предполагающегося в «берущей» языковой системе. И действительно, ослабление среднего рода встречается и в других, центральных, словенских диалектах, а именно — в диалектах северной Крайны и Штирии (Ramovš 1935: 119 и 158, Lenčec 1982: 47 и 151).

Также и явление «феминизации» среднего рода в единственном числе, описанное Крония в связи с надижскими диалектами, которое на первый взгляд прямо связано с романским влиянием (по-итальянски, например, как *miesta*, так и *brada* являются существительными женского рода — соответственно *città*, *montagna*), на самом деле — как замечает сам Крония — часто встречается и в других словенских диалектах, где оно является следствием нейтрализации среднего и женского рода во множественном числе большинства падежей (см. также Ramovš 1935: 167).

Более того, как известно, ослабление (или потеря) среднего рода — это вообще тенденция, характерная для различных славянских языков. Ее хорошо проанализировал Станкевич, исходя именно из словенских диалектов. Он отметил, что средний род занимает почти везде в славянском языковом ареале «слабую позицию» из-за своей максимальной семантической маркированности по сравнению с другими грамматическими родами (Stankiewicz 1965: 181—182).

Аналогичные замечания можно сделать и по поводу тенденции к ослаблению двойственного числа. Этот феномен хорошо представлен как в резьянском (Steenwijk 1992a: 81), так и в терском (Merkù 1980: 171) и в надижском (Pellegrini 1975: 468, Skubic 1986: 63—64 и 1990: 155) диалектах, в то время как в стандартном словенском языке двойственное число, как известно, сохранилось.

Сравнивая материал, собранный Бодуэном де Куртенэ, где двойственное число сохраняется лучше, с материалом из современных журналов, где эта категория выражается редко и нерегулярно (особенно при глаголах), Скубиц склонен классифицировать данный феномен как факт влияния итальянского языка (Skubic 1990: 155). Ср. с одной стороны: *Najprit sta bila dva bratra*. Ано

²⁶ По поводу терского и надижского диалектов трудно сказать точно, встречается ли и здесь (как в резьянском) данный феномен чаще в говорах, близких по территории к романскому ареалу, чем в более далеких (хотя вполне разумно думать, что ситуация одинакова).

jisa dva bratra [...] ni sta mela kontrašt tamí njyma tou užteryje. Anu nista mohla jitet dakordu ‘Однажды жили два брата. Эти братья [...] поссорились в трактире и не могли жить в согласии’ (из Бодуэна), а с другой: *Franco i Giorgio Rucli [...] so dva brata, so se rodili v Ošnjem* ‘Франко и Джорджо Рукли [...] — два брата. Они родились в Озньетто’ (из современной прессы).

Однако, как известно, в большинстве славянских языков потеря двойственного числа — это норма, тогда как стандартный словенский язык (вместе с серболужицким) представляет собой исключение. Следовательно, и этот феномен стоит рассматривать как результат не только внешнего влияния, но также и самостоятельного, внутреннего развития.

Что касается спряжения глагола, самое интересное явление, на наш взгляд, — это длительное сохранение в резьянском диалекте синтетических форм прошедшего времени, т. е. аориста и имперфекта.

Скажем сразу, что такое явление не встречается ни в терском, ни в надижском диалектах, если не считать присутствия в терском окаменевших форм аориста глагола *bit* ‘быть’. Ср. *ja bi, ja ba* (Merkù 1978: 48 и 1980: 171)²⁷.

Вернемся к резьянскому диалекту. Что касается первых двух (синтетических) форм, то надо сказать, что имперфект встречается сегодня весьма редко, а аорист вообще больше не встречается. Стэнвейк, например, сообщает, что во время своих опросов он встречал формы имперфекта лишь от семи глаголов, а именно: *byt, diwat, dujajat, mět, morět, parajat, tět* (т. е. ‘быть’, ‘класть’, ‘достигать’, ‘иметь’, ‘мочь’, ‘становиться / приходиться’, ‘хотеть’) (Steenwijk 1992a: 138). Среди этих глаголов, особенно часто представлены в формах имперфекта глаголы *byt, mět, morět, tět*, что и объясняется особым «модальным» значением резьянского имперфекта, о котором будет сказано ниже. Однако в XIX веке синтетические формы прошедшего времени (как аориста, так и имперфекта) встречались гораздо чаще. Бодуэн де Куртенэ, например, в 70-е гг. XIX века записал разные формы имперфекта, а также несколько, правда редких, форм аориста, употребляемых, как он пишет, уже только старшим поколением: *hardüh, pridüh, vzè* (Baudouin de Courtenay 1895: пар. 244 и 1352), а также *bè, idu, nalese, povi* (Бодуэн де Куртенэ 1875б: 5—6 и 24). По поводу этих последних форм, взятых из Резьянского Катехизиса XVIII в., автор отмечает, что они совсем непонятны даже представителям старшего поколения.

²⁷ Напомним, однако, что А. Крония считает, что аорист уже исчез в этом диалекте. По его мнению, формы *ba* и *be* (см., например, *te ba na dobra ženica, xude lieta so be*) — это просто краткие формы прошедшего причастия на *-l* от глагола *bit* (соответственно, 3 л. ед. ж. р. и 3 л. мн.), т. е. бывшие формы перфекта, без вспомогательного глагола настоящего времени (Cronia 1950: 322).

Обращаться к романскому влиянию для того, чтобы объяснить длительное сохранение этих двух форм прошедшего времени, конечно, не следует. Как известно, аорист и имперфект сохраняются в разных южнославянских языках: в болгарском, в македонском и отчасти в сербохорватском. Их присутствие и в резыанском диалекте, сохранившем, как уже было отмечено, множество архаических черт, никак не является удивительным. Напротив, кажется странным тот факт (который и заставляет нас думать о романском влиянии), что из двух форм как раз имперфект сохранился дольше. Как известно, общая тенденция, характеризующая славянские языки, совсем другая: в русском сначала вышел из употребления имперфект, тогда как аорист сохранялся дольше (Успенский 1987: 144, Зализняк 1995: 155—156). То же самое, в общих чертах, можно сказать и в отношении других славянских языков, потерявших синтетические формы прошедшего времени.

Итак, вполне вероятно, что в резыанском диалекте языковой контакт с фриульским, а также с разговорным итальянским языком²⁸ привел к ранней потере аориста, в то время как имперфект, регулярно употребляемый в вышеуказанных романских языковых вариантах, сохранялся дольше (хотя и не был очень употребительным).

Интересно заметить, что то же самое лингвистическое явление (сохранение имперфекта при потере аориста) можно наблюдать и в другом славянском диалекте, контактирующем с романским ареалом — а именно в молизском хорватском диалекте²⁹. Эта аналогия была отмечена уже Решетаром в его фундаментальной работе о славянских поселениях южной Италии: «slawisch ist diese Entwicklung wohl nicht, denn — insoferne sich dies in den slawischen Sprachen kontrollieren läßt — scheint es gewiß zu sein, daß hier früher das Imperfekt und später der Aorist verloren geht; für den italienischen Ursprung dieser verschiedenen Entwicklung des Imperfektums und Aoristes spricht entschieden auch die Tatsache, daß auch bei den venezianischen Slowenen wohl das Imperfekt, nicht

²⁸ Известно, что в большей части итальянских северных диалектов глагольная форма, семантически соответствующая аористу, т. е. *passato remoto*, давно уже вышла из употребления (Rohlf's 1969: 45, Cordin 1997: 88).

²⁹ Нужно уточнить, что в целом в диалектах Абруцци и Молизе, как, впрочем, и в других диалектах центральной и южной Италии, глагольная форма *passato remoto* сохранилась. Исключение составляют диалекты так называемого адриатического ареала, в которых *passato remoto* используется редко и заменяется на *passato prossimo* — так же, как и в итальянских диалектах, бытующих севернее р. По (Marinucci 1988: 648). Именно эти говоры оказали влияние на языковую эволюцию тех населенных пунктов, где еще бытуют хорватские говоры, т. е. в центрах Сан Феличе дель Молизе, Монтемитро и Аквавива Коллекроче, находящихся примерно в 30 км от Адриатического моря (Breu 1994: 35).

aber der Aorist vorkommt» (Rešetar 1911: 187). По этому поводу см. также Reichenkron 1934: 330—331 и Breu 1994: 58.

По мнению некоторых языковедов (например, Седлачек 1962: 54), романское (скорее всего — фриульское) влияние могло бы проявиться, наконец, и на морфологическом уровне, влияя на эволюцию парадигмы, в которой имеются упрощенные, по сравнению с исконными, формы. И действительно, в парадигме резьянского имперфекта проявляется та же самая тенденция, характеризующая парадигму романского имперфекта, а именно тенденция к созданию парадигмы, отличающейся от парадигмы настоящего времени не по окончаниям (которые являются теми же, что и в настоящем), а по особой основе, отличающейся от основы настоящего времени и повторяющейся во всех числах. Это, например, новая основа на *-ho-* для 1 л. ед. ч., по аналогии с основой 1 л. дв. и мн. ч. Данная основа получает окончание *-n* (< *-m*) по аналогии с настоящим временем: *jedehon* (< **jedeho-m*). Это также более новые формы с основой на *-š-* для 1 л. ед. ч. (*təšon* рядом с *təhon*), а также для 3 л. мн. ч. (*təšou*) по аналогии с 2 и 3 л. ед. ч.³⁰ По мнению Седлачека, похожие упрощения, имеющие глубокие аналогии в румынском языке, характеризуют некоторые сербские, западноболгарские и македонские диалекты, распространенные к югу от Дуная, в треугольнике София—Ниш—Скопье, т. е. в бывшей сильно романизированной области, считающейся многими исследователями одной из главных зон возникновения румынского языка. Наконец, по свидетельству Седлачека, подобные упрощения характеризуют также парадигму имперфекта в молизском хорватском (см. единую форму *gredahu* для 1 л. ед. ч., а также для 3 л. мн. ч.). По этому поводу см. также Reichenkron 1934: 331—332.

Гипотеза о романском влиянии на эволюцию парадигмы резьянского имперфекта безусловно обоснованна, тем более если рассматривать ее в контексте общей тенденции, характеризующей любое языковое развитие как таковое, именно — тенденции к упрощению, к регулированию парадигмы ради аналогии. Таким образом, и в этом случае внешнее влияние лучше считать фактором, способствующим развитию языковой тенденции уже существующей внутри «берущей» языковой системы или вообще внутри любой языковой системы.

Интересные замечания можно сделать и по поводу «потенциального» и «гипотетического» значений, характеризующих резьянский имперфект. В

³⁰ Напомним, что Седлачек анализирует формы имперфекта, зарегистрированные Бодуэном де Куртенэ в конце XIX века. В описательной грамматике современного резьянского диалекта Стэнвейка (Steenwijk 1992a) формы, характеризующиеся морфемой *-š-*, составляют уже норму, в то время как формы, отражающие морфему *-h-*, классифицируются как архаизмы.

своем исследовании, проведенном на материале, собранном Бодуэном де Куртенэ, Рамовш впервые обратил внимание на данное употребление имперфекта, определив его как «частое», наряду с более узуальным значением длительного действия в прошлом: «*Večinoma znači rez. imperfekt še vedno dejanje, ki se v preteklosti vrši: viter pyhaše 'je pihal'. Dostikrat pa ima — tako v drugih slovanskih jeziki — modalen pomen; uporablja se za kondicional*» (Ramovš 1924: 119). Ср. например:

Paršal tau to drugo štancjo: na boešce, ka na šivaše, ma na ni *mōraše* šiwat jito ōro 'Ошел в другую комнату: казалось, что она шила [букв.: она была, как будто она шила], но она не могла шить в такой час' (Baudouin de Courtenay 1895, пар. 10), Ma hči je wzela Mucesa, taha staraha dčeda, ke ha ni *təhon*, baj am bi bil mœl yso Rezijo, ja ha ni *jemjahon* naha 'Моя дочь вышла замуж за Муцеса, этого старика, которого я бы ни за что не захотела; даже если бы он был бы хозяином всей Резьи, я бы за него не вышла' (там же: пар. 577), Ka ba ja ne bi teu se naučyt po vos, ja nъ *perhahen* juzdœ 'Если бы я не хотел научиться говорить по-вашему, то я не пришел бы сюда' (там же: пар. 842).

Судя по данным, собранным Стэнвейком, в современном резьянском диалекте такое «модальное» значение имперфекта стало более распространеным: имперфект употребляется теперь почти исключительно для обозначения действий, которые должны были бы осуществиться в прошлом, но так и не осуществились. Например:

Na *měš* tit dō w Mužac, ki na ji *diwaš* naprit na mēstu 'Она должна была бы поехать в Моджо, потому что она (целительница) сразу вылечила бы ей (ногу. — *P. B.*)' (Steenwijk 1992a: 182), to wdaŋalu wšē dōlu anu ko *měšon* delat? 'Все падало, что же я мог сделать?' (там же), ni so ġali din blēk, ni wstrġgli wōči... Du ba *měš* poznāt? 'Они набросили платок на голову, прорезали дырки для глаз... Кто бы их узнал?' (там же).

Как известно, такое употребление имперфекта очень распространено в итальянском языке, где, особенно в разговорной речи, наблюдается тенденция этой формой глагола заменять условное и сослагательное наклонение. То же самое можно сказать и о фриульском. Конечно, вполне возможно, что на такое употребление в резьянском диалекте повлияли упомянутые романские языковые варианты. С другой стороны, надо отметить, что такого рода модальные значения имперфекта — «потенциальное», или «гипотетическое», как мы уже видели, а также «смягчающее», или «вежливое» и пр. (Bertinetto 1986: 374—380) — следует считать присутствующими в имперфекте, подразумевающимися в нем и, следовательно, возможными в любом языке. Иначе говоря, благодаря типично «несовершенной» семантике этой глагольной формы, т. е. ее способности передавать действия, которые совершаются не до конца, имперфект очень хорошо подходит для высказываний, где происходит метафорический переход от мира действительности к

миру предположений, или вообще для высказываний со смягченной ассертивной силой.

Как правильно отмечает Вейнрих, эта «временная метафора» (Tempus-Metapher) осуществляется легче и чаще всего с имперфектными формами вспомогательных глаголов (Morphem-Verben), управляющих инфинитивом. Это прежде всего модальные глаголы, которые в силу своего значения уменьшают ассертивную силу высказывания: «Das Wollen, Sollen, Dürfen, Müssen usw. ist notwendig ein Weniger gegenüber dem Tun. Insofern enthält die „Modalität“ der Modalverben immer schon das Merkmal der eingeschränkten Gültigkeit» (Weinrich 1977: 202). Ср., например, ит. *Volevo chiedere...*, фр. *Je voulais vous demander...*, нем. *Ich wollte einmal fragen...*, англ. *I wanted to ask you...*

Другой контекст, способствующий метафорическому употреблению имперфекта, — это условный период. Здесь смягчение силы высказывания определяется самой синтаксической конструкцией, в которой осуществление определенного действия, выраженного в главном предложении (аподосис), зависит от определенного условия, выраженного в придаточном (протасис).

Модальное значение имперфекта встречается в славянских языках гораздо чаще, чем принято думать. Не выходя за рамки словенского ареала, явные следы данного употребления можно найти уже во «Фрейзингинских отрывках», а именно — во втором отрывке, где два раза повторяется имперфект глагола «быть» с модальным гипотетическим значением: «*e'te bi ded naš ne sãgrešil te w weki jemu be žiti, starosti ne prijemŕot'i [...] nu w wek jemu be žiti*» (Freisinger Denkmäler 1968: 211)³¹. Интересно отметить, что такое же модальное (точнее, гипотетическое) значение имперфекта встречается и в упомянутом молизском хорватском, как показал Рейкенкрон. Ср. например: *E si ne dajah, sa međahu kreāst po hizāmi* 'А если бы им не давали, то они начали бы красть по домам'. Автор объясняет данные конструкции влиянием итальянского языка. Однако он замечает также, что можно обнаружить их и в сербохорватском языке: они регулярно встречаются, например, в Далмации и в особенности в Которской Бухте (Reichenkron 1934: 338). По этому поводу см. также Schuchardt 1884: 123—124.

Среди глагольных форм прошедшего времени, которые сохранились в резьянском (а также в терском и надижском), надо наконец отметить и плюсквамперфект. В резьянском он появляется в двух разных формах: первая, ви-

³¹ Примером подобного употребления имперфекта является и начальная фраза «Слова о полку Игореве»: «Не лѣпо ли ны бяшеть, братие, начяти старыми словесы...» Следует привести также такие выражения, как русск. *Я хотел сказать вам...*, польск. *Chciałem powiedzieć pani...*, слов. *Hotel sem vam reci...* и пр., где форма перфекта (единственная сохранившаяся форма прошедшего времени) приобретает то же самое модальное значение, как и в цитированных выше примерах с имперфектом.

димо более архаичная, состоит из сочетания имперфекта вспомогательного глагола *bit* 'быть' с причастной формой на *-l* самого глагола. Вероятно, благодаря присутствию имперфектной формы вспомогательного глагола, такой I плюсквамперфект приобретает гипотетическое значение. См.:

ci beštē vidēl ai miei tempi, si tratta del cinquanta, da muč jē bilu živine 'если бы вы только видели, как много было скота в наше время, в 50-е годы' (Steenwijk 1992a: 182). *tēšon rādi, da bēštē se ostavil* 'мне было приятно, если бы вы остались' (там же).

Вторая форма (II плюсквамперфект), появляющаяся гораздо чаще, — более новая форма: она построена с помощью перфектной, а не имперфектной формы вспомогательного глагола *bit*. Такая форма не имеет модального значения, а выполняет чисто временную функцию, выражая действие, которое произошло давно или же перед определенным моментом в прошлом. См.:

si bila wan rāklā wžē te drūgi vijāč 'я уже говорила вам это в прошлый раз (т. е. 17 дней назад)' (Steenwijk 1992a: 182), *na jē muknula; an bil pusikal din fregul* 'она остолбенела: он скопил совсем немного' (там же).

Как известно, в славянских языках плюсквамперфект в основном исчез, оставив немаловажные следы, особенно в диалектной и в книжной речи (Vailant 1966: 91—92, Молошная, 1996). В словенском стандартном языке, например, эта форма сохранилась, хотя уже вышла из живого употребления и ощущается как книжная, архаичная. Итак, перед нами опять лингвистическая форма, которая сохранилась, видимо, благодаря языковому контакту с романским ареалом, но которая сама по себе оказывается в соответствии с «берущей» языковой системой.

В надижском и в терском диалектах также присутствует модальное значение (наряду с чисто временным) при употреблении плюсквамперфекта. Однако здесь встречаются только формы II плюсквамперфекта, т. е. формы, построенные с помощью перфектной, а не имперфектной формы вспомогательного глагола «быть» (как уже отмечалось, имперфект в этих диалектах исчез). Для надижского см. например:

Če sām bila [...] poviedala, j jala, jih je bila zapustila njih mat 'Если бы я вам [...] рассказала — сказала она — то мать их покинула бы' (Baudouin de Courtenay 1988: 88). *More bit, da je blo ratalo an če sta bla živela v kajšnjem velikam mieste* 'Возможно, что это случилось бы, даже если бы они жили в большом городе' (Skubic 1986a: 67). *Deželni ašešor Francescuti je biu obljubu, da če Italcementi je bla kiekī nardila za ostat v Čedadu, je bla tudi dobila kako romuoč* 'Заседатель областной управы Франческуто сказал, что если бы Италцементи (итальянская фирма. — P. Б.) сделала что-нибудь для того чтобы остаться в Чивидале, то она был получила даже какую-нибудь помощь' (там же).

Для терского см. например:

si tiela ja sniesti, če nisi biu paršou 'я бы съела, если бы ты не пришел' (Merkù 1980: 171).

В области синтаксиса мы рассмотрим особенности, связанные с употреблением клитик, точнее клитических склоняемых форм.

Надо прежде всего отметить, что в словенских диалектах Фриули, как и в стандартном словенском и в других южнославянских, а также в западных славянских языках³², сохранились склоняемые клитики: это прежде всего формы личных местоимений (в том числе и возвратного) дательного, родительного и винительного падежей, а также клитические формы настоящего времени глагола «быть», употребляемые во вспомогательной функции³³.

Как известно, в древних индоевропейских языках клитические формы употреблялись в соответствии с так называемым законом Ваккернагеля, т. е. занимали второе место в предложении, следуя сразу за первым словом, независимо от его грамматической категории. Следовательно, они не обязательно примыкали к глаголу, а могли стоять далеко от него. Этот закон, присутствующий в старославянском, более или менее остается в силе и для сербохорватского, словенского, чешского, словацкого, польского и серболужицкого языков, т. е. для всех языков, сохранивших клитики, за исключением болгарского и македонского (Benacchio, Renzi 1987: 9—12).

В этих последних языках клитики сохранились, но уже без фиксированного положения на втором месте в предложении. Здесь клитические формы ставятся при глаголе, либо перед, либо за ним. Болгарский и македонский языки являются особенно интересными, поскольку они представляют собой эволюционную линию, характеризующую и романские языки. Точнее говоря, в болгарском языке отражается та же самая диахроническая фаза, что и в древних романских языках, представленная так называемым законом Тоблер-Муссафиа. По этому закону, «ваккернагельское» запрещение занимать первое место в предложении все еще действует, но клитики больше не должны занимать второе место: они должны примыкать к глаголу, чаще всего в препозиции. Постпозиция встречается только тогда, когда предложение начинается с глагола. Ср.: *Аз му го давам*, но *Давам му го*, *Аз съм казал*, но *Казал съм*. По-другому обстоит дело в македонском языке, где скорее отражается ситуация современных романских языков, в которых запрещение занимать первое ме-

³² Как известно, в других славянских языках, а именно в восточнославянских, клитические склоняемые формы исчезли. Сохранилось лишь возвратное местоимение, которое стало глагольным аффиксом, ср. русск. *умываюсь, умываешься*; укр. *умиваюся, умивасишся*; бел. *умываюся, умываешся*.

³³ Кроме того, как видно из дальнейшего изложения, в резьянском и в терском появились клитические формы и для именительного падежа по типологической модели, свойственной фриульскому и вообще северным итальянским диалектам, но чуждой другим славянским языкам. Имеются в виду формы *ja, ti, an/na, mi, ni* соответственно для 1, 2 и 3 л. ед. и мн. ч. в резьянском диалекте, а также формы *e, te, o/na, mi, vi, no* в терском диалекте.

сто в предложении больше не действует, и клитики всегда примыкают в препозиции к глаголу, независимо от его положения в предложении (ср.: *Go gledam, Ti gi davam, Sum došol* и т. д.). См. подробнее об этом Venacchio 1988: 461—465.

Учитывая эти интересные типологические аналогии, существующие в романских и балканославянских языках, анализ порядка клитик в словенских диалектах Фриули представляется нам особенно важным.

Из анализа резьянских (а также терских и надижских) текстов прежде всего вытекает, что клитики могут занимать первое место в предложении в проклитической позиции. См., например, в резьянском:

Sa diwa muko ‘кладется мука’ (Steenwijk 1992a: 196), *se je kapijè fys kako kako bisido* ‘можно понять лишь какие-то их слова’ (там же: 190), *Ga ublikla?* ‘Она его одела?’ (там же: 210), *Mu pišèp* ‘Я ему пишу’, *Ga vidin wsaki tédan* ‘Я его вижу каждую неделю’, *Ga čujèp* ‘Я его слышу’, *Mu ga žejèp* ‘Я ему это посылаю’.

См. также в терском:

Mi je povedala ‘Она ему сказала’ (Logar 1975: 56), *Se parbliža an zahleda* ‘Он приближается и видит’ (там же: 57), *tu je pardaju mlieka* ‘Он ему прибавил молока’ (там же), *Su šli pit obadva tou dan potouček* ‘Пошли они оба пить к одному ручью’ (Merkú 1978: 56).

См. в надижском:

Je bila na žena ‘Жила одна женщина’ (Baudouin de Courtenay 1988: 86), *Je paršu an vuk an ga je prašu* ‘Подошел волк и спросил его’ (там же: 100), *Je leteu go na host* ‘Он полетел вверх в лес’ (там же: 124), *Ju j pustu, je letiela* ‘Он ее выпустил и она полетела’ (там же: 132), *Su ga vargli dol* ‘Они бросили его вниз’ (там же: 166), — *Ničku pridi. — tu je ona odgovorila* — ‘Ты только обязательно приходи, — ответила она ему’ («Dom», 1994. 2).

Несомненно, на появление такого синтаксического порядка повлиял контакт с романскими языками. Не надо, однако, забывать, что отсутствие действия закона Вакернагеля (т. е. отсутствие запрета для клитик стоять в начале предложения) характеризует еще и другие словенские говоры, далекие от сферы контакта с романским языковым ареалом. Даже в самой Любляне можно услышать такие фразы: *Te vidim, Ti ga dam, Ga poznam, Sem žalosten*. Такие выражения исключены из нормативных грамматик и используются только в разговорной речи. Однако их можно встретить и в литературных текстах, в диалогах, отражающих живое языковое употребление. Видимо, романское влияние — это не единственная причина возникновения такого синтаксического порядка.

Другая особенность, присущая клитикам словенских диалектов Фриули, состоит в том, что в этих диалектах клитические формы всегда примыкают к

глаголу, располагаясь перед ним, в препозиции³⁴. Постпозиция встречается только при императиве. Даже в сочетании с инфинитивом клитики ставятся перед ним. Вот примеры из резьянского диалекта:

ko ni so šly *ga* poġat w satmiċeri ‘Когда они пошли провожать его на кладбище’ (Steenwijk 1992a: 199), jti ki so šly *ga* kompanjät ‘те, которые шли провожать его’ (там же), tit *se* konfasät nu *se* komunijät ‘пойти исповедаться и причаститься’ (там же: 203).

То же самое можно сказать по поводу отрицательных форм инфинитива: клитика всегда стоит впереди. Ср. резьянский:

Tö jë grih, *se* nê spovëdat ‘Это грех — не исповедаться’³⁵.

См. также в терском:

ma ona za-ne-jъtъ grabъt [...] *za-se* skuzat ‘но она, чтобы не пойти собирать сено [...] чтобы оправдаться’ (Бодуэн де Куртенэ 1905a: пар. 404), *Za te* luġŝi vidatъ, Karuċeto roso! ‘Чтобы лучше видеть тебя, Красная Шапочка!’ (Logar 1975: 59), *Za te* luġŝi poŝluŝatъ, Karuċeto roso! ‘Чтобы лучше услышать тебя, Красная Шапочка!’ (там же: 60).

См. также в надижском:

Škratocъ je poeŝu *ga* klicat ‘Чертенок пришел позвать его’ (Baudouin de Courtenay 1988: 70), Kuo tamu nardit *za ha* prepasat? ‘Что нам сделать, чтобы перейти его?’ (Logar 1975: 57), je letiela *se* skrivat ‘она полетела прятаться’ («Dom», 1994, 2), an je parŝluo naravno *se* upraŝat ‘и показалось естественным спросить себя’ (там же, 4).

Надо отметить, что такие синтаксические конструкции (где клитики стоят перед инфинитивом) являются чуждыми не только славянским языкам, но и контактирующим с ними романским языковым вариантам³⁶.

Как уже было сказано, только в сочетании с императивом клитики ставятся в постпозиции к глаголу. См. в резьяском:

³⁴ Только отрицательная частица (в большинстве случаев представляющая собой клитическую форму) может располагаться непосредственно перед глаголом, отделяя его от других клитик.

³⁵ Наряду с этой конструкцией встречается и конструкция, где местоименная клитика стоит непосредственно перед глаголом, а отрицательная частица отделяется от него: Tö jë grih, nê *se* spovëdat (устное сообщение Стэнвейка). Однако первая конструкция — предпочтительнее.

³⁶ Правда, во французском и в румынском языках, а также в некоторых диалектах южной Италии такие синтаксические конструкции регулярны. См. фр. Je vais t’envoyer une lettre ‘Я пошлю тебе письмо’, Il faut le dire ‘Надо это сказать’; рум. Copilul mic nu-i bine a-l lăsa singur în cas ‘Мой ребенок — лучше не оставлять его дома одного’, Am venit cu intenția de a vă invita la masă ‘я пришел с намерением пригласить вас на обед’ (Vasilii 1963: 224); неап. per te la dicere ‘для того, чтобы тебе ее рассказать’ (Rohlf’s 1969: 173).

Riçi *mi!* 'Скажи мне', Dej *mi!* 'Дай мне!', Vzami *jo!* 'Возьми ее!', Vzami *ga!* 'Возьми его!'.

См. в терском:

Dej *mi* 'Дай мне!', Porij *ya!* 'Выпей его!', Snej *ya!* 'Съешь его!'.

То же самое в надижском:

Daj *tu!* Pij *ga!* Snej *ga!*

Что касается отрицательных форм императива, то в резьянском диалекте они уже почти не встречаются. При обращениях к одному лицу чаще всего употребляется конструкция с отрицательным инфинитивом, калькирующая романскую синтаксическую модель. Ср. ит. *Non dire!* 'Не говори!', *Non toccare!* 'Не трогай!'. В данных случаях клитика — если она есть — обязательно ставится перед инфинитивом, следуя проклитической модели, о которой шла речь выше. См. например:

Ně *tu* riçyt! 'Не говори ему!', Ně *tu* ga dät! 'Не давай ему его!', Ně *ga* wzet! 'Не бери его!'.

Во множественном числе (но также весьма часто и в единственном) отрицательный императив в резьянском выражается особой конструкцией, в которой глагол в инфинитиве сочетается с отрицательной повелительной формой глагола *stat*, видимо калькируя синтаксическую модель, присутствующую во фриульском и вообще в диалектах Венето³⁷. И в данном случае, естественно, клитики ставятся перед инфинитивом. См.:

Ni stuj(tě) *tu* riçyt 'Не говори(те) ему!', Ni stuj(tě) *tu* ga dät! 'Не давай(те) ему его!', Ni stuj(tě) *ga* wzet! 'Не бери(те) его!'.

³⁷ См. вен. *No sta dire!* 'Не говори!', *No stè fare!* 'Не делайте!', а также фриульск. *No sta mangia!* 'Не ешь!', *Ne stejt a bevi!* 'Не пейте!'. Отметим, что глагол *stat*, очевидно заимствованный из романского (где он обозначает неопределенное состояние в пространстве), является десемантизированной вспомогательной глагольной формой (скорее всего переводимой как 'быть'). Заметим также, что такая синтаксическая модель для выражения отрицательного императива (т. е., повторим, конструкция с вспомогательным, «модальным» глаголом в отрицательном императиве, управляющим инфинитивом) свойственна и другим (южно)славянским языкам, где она просто выражается другими лексическими средствами. Ср. с.-х. форму *немой(те)* из старославянского **нѣ мѡси**, плюс инфинитив (например, *немой(те) да кажеш (кажете) / немој(те) рѣси*). См. также болгарскую форму *недей(те)* из старослав. **нѣ дѣи** (напр. *недей(те) казва* (Vaillant 1966: 38 и 43). Итак, снова влияние языков романского ареала не противоречит (или даже соответствует) уже существующей славянской синтаксической модели.

По-другому обстоит дело в надижском диалекте, где отрицательные формы императива употребляются регулярно и клитики, если они есть, ставятся за глаголом. См.:

Na daj *mi*! 'Не давай ему!', Na pij *ga*! 'Не пей его!', Na jej *ga*! 'Не ешь его!'.

Кроме того, в надижском отрицательном императиве можно употребить и конструкции с тем же вспомогательным глаголом *stat*, заимствованным из романских контактирующих языков. В данном случае клитики ставятся перед глаголом в инфинитиве. См.:

Na stuoј *ga* wze! 'Не бери его!' (Baudouin de Courtenay 1988: 138), Ne stuoјte *se* ustraš! 'Не бойтесь!' (Skubic 1986: 63), Na stuoј *mi* dat! 'Не давай ему!', Na stuoј *ga* pit! 'Не пей его!', Ne stuoј *ga* jest! 'Не ешь его!'.

То же самое можно сказать о терском диалекте: исконные отрицательные формы императива регулярно употребляются, и клитики, если они есть, ставятся после глагола. См. напр.:

Ne porij *ya*! 'Не пей его!', Ne sneј *ya*! 'Не ешь его!', Ne skrij *se*! 'Не прячься!'³⁸

Кроме того, можно встретить и конструкции с глаголом *state*, управляющим инфинитивом; в этом случае клитики ставятся перед ним. См.:

Ne stuoј *ga* popite! Ne stuoј *ga* sneste! Ne stuoј *se* skrite!

О том, что в резьянском диалекте расположение клитик в предложении уже никак не подчиняется закону Ваккернагеля, явно свидетельствует анализ более сложных предложений, имеющих в начале разные обстоятельства места, времени, образа действия. В данных случаях клитики приближаются к глаголу, к которому они непосредственно примыкают в препозиции, значительно удаляясь от бывшего канонического второго места в предложении. Другими словами, как мы уже отмечали, закономерность расположения клитик уже связана не с фиксированным (вторым) местом в предложении, а с положением в предложении самого глагола, к которому клитики (точнее, проклитики) обязаны примыкать. См. в резьянском:

U Nedeјo Uzhilo Christјanske *je* bilu tau Parochј 'В воскресенье урок Закона Божьего был в приходе' (Baudouin de Courtenay 1913: пар. 57), Sin *je* čul da woća *se* mimbra 'Сын услышал, что отец жалуется' (Baudouin de Courtenay 1895: пар. 23), Ko Rūšavi *so* paršly 'Когда русские пришли' (Steenwijk 1992a: 189).

См. также в надижском:

³⁸ Конструкции, где клитики стоят перед императивом (например, *Se ne* buoj!), хотя и существуют, считаются информантами редкими, неузуальными.

Ankrat mama *je* posjala Toninaca u malin [...]. Dol po poti Toninac *je* sređu dnu petjarcu ‘Однажды мать послала Тонинаца к мельнице [...]. По пути Тонинац встретил нищенку’ (Logar 1975: 56), Kar sierak *je* biu zamliet ‘Когда кукуруза была смолота’ (там же), Seda vsaki 4. dičember nasi bivsi rudari *se* sbierejo ‘Сейчас каждое 4 декабря наши бывшие шахтеры собираются’ (Skubic 1990: 160).

По поводу клитических местоименных форм в резьянском диалекте надо отметить еще одну особенность, а именно тенденцию появляться в избыточных конструкциях, в которых клитическая, краткая форма местоимения дублируется следующей за ней соответствующей ударной, полной формой. См. например:

Ja si *ti* rëkal tab ‘Я тебе говорила’, Nimatë *me* gledat *mle* ‘Вы не должны обращать на меня внимания’ (Steenwijk 1992: 204), da në wowdelaj tabë jtö, ki ba ni tëla, da vï vi *mi* owdelajtë *më* ‘чтобы я не делала тебе того, что я бы не хотела, чтобы вы делали мне’ (там же: 202); *Te* znajo *tabe?* ‘Узнают ли они тебя?’ (там же: 214)³⁹.

Местоименная реприза (clitic doubling) — явление вообще чуждое славянским языкам, по крайней мере литературным⁴⁰, но очень распространенное в североитальянских диалектах и во фриульском, где она строго кодифицирована и имеет ряд ограничений, неизвестных резьянскому.

Например, во фриульском, в отличие от резьянского, местоименная реприза касается только дательного падежа — т. е. типичного падежа с предлогом — а не винительного. Вполне грамматически правильны такие предложения, как *Ti* aj dit a *ti* ‘Я сказал(а) тебе’, в то время как фразы, в которых клитика относится к винительному падежу — невозможны. Ср.: **Ti* viöt simpri *te* ‘Я тебя всегда вижу’⁴¹.

Кроме того, во фриульском недопустимы предложения, построенные с одним ударным местоимением, т. е. без присутствия клитической формы. Наряду с приведенным выше примером *Ti* aj dit a *ti*, где клитическая форма дублируется ударной, можно встретить конструкции с одной только клитикой (*Ti* aj dit), но невозможны фразы типа: *o aj dit a *ti*, где присутствует только ударная (полная) форма местоимения дательного падежа. В резьянском же, повторим, кроме конструкций с репризой, подобной упомянутой *Ja si ti rëkal tabë*,

³⁹ В терском и в надижском диалекте примеров этого явления мы не нашли.

⁴⁰ Оно встречается и в некоторых хорватских диалектах Истрии, контактирующих также, как и резьянский, с романским ареалом. См. например: *On mi je reka meni* ‘Он мне сказал’, *San mi netu dala* ‘Я это ему дала’, *Č’u ga t’apat nega* ‘Я хочу его поймать’ (Popović 1955—1956: 68—69).

⁴¹ Нечто похожее встречается также в диалектах центральной Италии, где, однако, клитическое местоимение всегда предложного типа, даже когда оно стоит в винительном падеже. См. напр. *Ti ho visto a te* ‘Я тебя видел(а)’.

или же с одним клитическим местоимением, как *Ja si ti rëkal*, допускаются и конструкции с одной тонической формой, как *Ja si rëkal tabè*⁴².

Итак, контактирующий романский языковой ареал несомненно повлиял на развитие в резьянском (а также, видимо, и в хорватских диалектах Истрии) указанного лингвистического явления. Однако, на наш взгляд, нельзя упускать из виду и тот факт, что тенденция к удвоению местоимений — это своего рода универсальная тенденция, которая может появляться (особенно в разговорной речи) во всех языках, располагающих двойной серией местоименных форм (клитических и ударных). Не случайно местоименная реприза, помимо фриульского и диалектов Венето, регулярно встречается также в двух романских литературных языках — в испанском и в румынском (Beninca, Vanelli 1984: 172—178)⁴³.

Остается проанализировать еще одно синтаксическое явление, касающееся клитических местоименных форм в резьянском — так называемую местоименную репризу подлежащего. Как мы уже отмечали (см. сноску 32), в резьянском диалекте появились клитические местоименные формы и в именительном падеже, видимо калькируя аналогичные формы, присутствующие во фриульском и вообще в северных итальянских диалектах. Эти формы очень часто употребляются в сочетании с соответствующими ударными (полными) формами местоимений. См., например, в резьянском:

Wonä na ma rašjon ‘У нее есть (букв.: она имеет) хобби’ (Steenwijk 1992a: 220), *Won an ma njagä mansione* ‘У него своя обязанность (букв.: Он имеет свою обязанность)’ (там же: 201), *Čö perké vi vi ba tël, per esempio, da vi mejtë wse prow, nê?* ‘Да, потому что вы хотели бы, например, чтобы у вас все было в порядке, не правда ли?’ (там же: 202).

⁴² Разумеется, эти три фразы, которые одинаково можно перевести как ‘Я тебе сказал’ — семантически и прагматически не эквивалентны: они имеют разные оттенки, связанные в основном с выделительной функцией ударного местоимения. То же самое можно сказать и по поводу приведенных выше примеров из фриульского.

⁴³ Местоименную репризу надо отличать от так называемого вынесения влево, где клитика выполняет определенную роль репризы тонического местоимения, вынесенного влево, т. е. вне фразы, перед ее началом. Эта конструкция встречается во всех словенских диалектах Фриули, хотя и не так часто. Ср. рез. *Mlë to mi plaža* ‘Это мне нравится’, над. *Mene me na nič intereša* ‘Меня она совсем не интересует’, тер. *Človek mene me je pravu tako* ‘Один человек сказал мне так’. Такое синтаксическое явление регулярно не только во фриульском и в диалектах Венето, но и в итальянском литературном языке. Более того, среди славянских языков оно встречается не только в вышеупомянутых хорватских диалектах Истрии (ср. *Mene me boli glava* ‘У меня болит голова’, *Tebe č’u te za uši* ‘Я тебя отгаскаю за уши’, но также и в болгарском, ср. На тебе ти казах ‘Я тебе сказал(а)’, *Tebe me* извикаха в дирекцията ‘Тебя вызвали в дирекцию’. Эта особенность словенских диалектов Фриули, также как и типологическое сопоставление с другими славянскими и неславянскими языками, в которых присутствует это явление, может быть предметом отдельного исследования.

Во всех этих случаях ударная (полная) форма предшествует клитической (краткой), которая ее дублирует. Бывают, однако, и случаи, когда, наоборот, клитическая форма предшествует ударной. См, например:

tadi ja ni vin jã 'тогда я не знаю' (там же: 203), Ni din, ni din jëru, da ki ja vin jã 'Ни один, ни один священник, насколько я знаю' (там же).

Местоименная реприза подлежащего может касаться и тех случаев, когда подлежащее является не ударным местоимением, а существительным. См., например:

Utrucu ni ba mëlî bit bõ impanjani 'Дети должны были бы быть лучше воспитаны' (Steenwijk 1992a: 194), Jse tñ kopije ni so ostali wsy jzdë w Reziji 'Эти три пары остались здесь в Резье' (там же: 189), La montagna na ni sovencjonana 'Горная территория не обеспечена' (там же: 200), žanã na mëlã dîn lipi kolõr rosa 'женщина была одета в красивое розовое' (там же: 216).

Это явление встречается и в терском диалекте. См.:

ja ja-ne ren vëc 'я больше не пойду' (Бодуэн де Куртенэ 1905а: пар. 115), naš gospodar e štupit, ja ji-njesan 'наш хозяин — дурак, я не таков' (там же: 318), Zajtra ja ja-ren 'Завтра я пойду' (там же: 365), ja e ren, ti te reš... 'Я иду, ты идешь...' (Merkù 1972: 10)⁴⁴.

См. также следующие предложения, в которых местоименная клитика дублирует подлежащее-существительное:

A ti-ne-vidiš, ke naš gospodar o-je žalostan? 'Разве ты не видишь, что наш хозяин опечален?' (Бодуэн де Куртенэ 1905а: пар. 318). Medved je piu zгоре e mikula na pila tadole. Te orso o se sticou z mikulo 'Медведь пил наверху, а коза пила внизу. Медведь разлил на козу' (Merkù 1978: 54), Ne te motim vode, kar voda na re nadou 'Я тебе не мучу воду, потому что вода течет вниз' (там же), Naša mama na kuha kafe 'Наша мать варит кофе' (Merkù 1976: 289), Maža na ba storjana sedan snore 'Одна большая связка состояла из семи маленьких' (Dapit 1996: 218).

Такое употребление полностью отсутствует в надижском диалекте по причине большей зависимости данного диалекта от словенской литературной нормы, о которой уже было сказано.

Это явление в целом чуждое, по нашим сведениям, славянским языкам, встречается во фриульском и вообще в северных итальянских диалектах. Во фриульском, в частности, существует правило, в соответствии с которым каждая личная глагольная форма обязательно сопровождается клитическим местоименным подлежащим, которое может появляться либо одно, либо вместе с подлежащим, выраженным ударным местоимением, либо, наконец, вместе с подлежащим, вы-

⁴⁴ Как видно из примеров, клитические формы местоимения 1 лица, зарегистрированные Бодуэном — не одинаковы, а представляют собой два варианта: *ja* и *ji*. (см. подробнее об этом Бодуэн де Куртенэ 1905b: 267—271). В современном языке чаще встречается форма *e*.

раженным существительным⁴⁵. Ср. например: *Al ciente* и *Lui al ciente* ‘Он поет’, или же: *Veri al ciente* ‘Бепи поет’, но: *Lui ciente*, а также: *Veri ciente*. В резьянском и в терском, наоборот, присутствие клитического местоимения не обязательно⁴⁶.

Последнее морфосинтаксическое явление, на котором мы остановимся, также касается местоименных клитических форм, однако не тех клитик, которые относятся к предложению, а тех, которые относятся к именной группе. Имеются в виду присутствующие в резьянском диалекте клитические формы указательного местоимения *jte, jta, jtö; jti (jty) / jte* — а именно *te, ta, tö; ti / te*, которые выполняют функцию определительного члена, употребляясь (хотя не регулярно, т. е. не без исключений и колебаний) перед определяемой именной группой, в проклитической позиции.

Как отмечалось выше, такое употребление встречается уже в первом дошедшем до нас письменном резьянском памятнике, а именно в Резьянском Катехизисе XVIII в. Оно появляется также и в последующих памятниках как письменной, так и устной традиции вплоть до наших дней (Benacchio 1996a и Бенаккьо 1998). Вот некоторые примеры:

ta šoštanca od krúha ‘сущность хлеба’ (Baudouin de Courtenay 1894: 45), *te sakrament od Pinitinče* ‘таинство покаяния’ (там же: 79), *ti triji krajuvi, ka so paršli* ‘три волхва, которые прибыли’ (там же: 63), *Te dwa mišterih principal* ‘Два главных таинства’ (там же: 43), *Te parvi mišterih* ‘Первое таинство’ (там же).

Подобным же образом в резьянских народных сказках, записанных Матицетовым, встречаются следующие примеры:

Na *ta zadnji din* ‘В последний день’ (Matičetov 1973: 44), *ko na na vidala to prvo lünico* ‘когда она увидела первый сноп’ (там же: 50), *ta segond gotrica* ‘вторая кумушка’ (Matičetov 1987: [2]), *te vesoke pete* ‘высокие каблуки’ (там же), *ta bo dobri* ‘лучший’ (там же: [17]), *ta nejbujše, ka na mela* ‘самый лучший, из тех, что она имела’ (там же: [10]).

В современных резьянских текстах тоже встречаются подобные примеры. См.:

za *te myrtve* ‘для мертвых’ (Steenwijk 1992a: 199), *te lipre maškire* ‘красивые маски’ (там же: 205), *ti stari nu ti mladi* ‘пожилые и молодые’ (там же), *te stare žane* ‘пожилые женщины’ (там же: 209), *po ti nōvi modi* ‘по новой моде’ (там же: 220)⁴⁷.

⁴⁵ За некоторыми исключениями: так, клитика-подлежащее не обязательно выражена, если фраза начинается другим безударным местоимением, прямым или косвенным (Benincà 1989: 580).

⁴⁶ Напомним также, что в резьянском и в терском клитические формы местоимения-подлежащего могут употребляться и одни, вместо ударного местоимения, точно так же, как и в контактирующих романских языках.

⁴⁷ Как следует из примеров, артикль появляется почти всегда в сочетании с прилагательным, хотя бывают исключения, правда редкие. Об этой особенности см. Benacchio 1996a и Бенаккьо 1998.

То же самое явление характерно и для диалектов Бенечии. См. в терском диалекте:

ti drugi hlodi 'другие бревна' (Dapit 1996: 215), *te bližnje šonožete* 'ближайшие покосные луга' (там же: 217), *sak o šow romaat temi družimu* 'каждый шел помогать другому' (там же), *s temi krasemi derwami* 'с короткими дровами' (там же: 218), *žene te mláde* 'молодые женщины' (там же), *s temi stárimí júdami* 'с пожилыми людьми' (там же: 219), *ti júdje* 'те люди' (там же).

То же самое явление встречается и в надижском, где отмечается еще одна особенность: клитическая форма бывшего указательного местоимения, имеющая функцию определительного члена, часто появляется как несклоняемая форма *te* (или *ta*)⁴⁸. См. например:

te drug 'другой' (Baudouin de Courtenay 1988: 66), *tek te druge sodi, na zna san sebe* 'Тот, который осуждает других, не умеет осуждать самого себя' (там же: 92), *po rapovedanju te starih* 'по рассказам пожилых' («Dom», 1994, 2), *te mladi* 'молодые', *te martvi* 'мертвые' (там же, 3).

Как следует из приведенных примеров, интересующая нас местоименная форма уже не выполняет дейктическую функцию, а просто указывает на определенность референта, как и определительный член.

Несомненно, что и на этот раз контакт с романским языковым ареалом сильно повлиял на распространение этого употребления. Однако и в этом случае, по нашему мнению, влияние извне осуществлялось в соответствии с внутренними языковыми процессами, не противоречащими общим тенденциям развития словенского языка. См. также по этому поводу Merku 1978: 57, Skubic 1990: 154 и Giacalone Ramat 1990: 92.

И действительно, явные следы такого употребления, которое было окончательно изъято из норм словенского литературного языка как «германизм» в начале XIX в. (Benacchio 1996b), появляются в словенских литературных произведениях протестантской эпохи, но также и в XVII и XVIII вв. К тому же они все еще встречаются в разных современных словенских диалектах, бытующих вдали от резьянского.

Надо также признать, что кроме болгарского языка (и македонского), в которых распространилось регулярное употребление энклитического (постпо-

⁴⁸ Сравнение современных текстов с текстами, собранными Бодуэном, показывает, что тенденция к превращению в частицу, действующая уже в конце XIX в., получила с тех пор активное развитие. Ср., например, бодуэновский текст *Te bun tega zdraviga nos* 'Больной человек несет здорового' с соответствующим современным текстом, *Te bun te zdravega nos* (Baudouin de Courtenay 1988: 128). Напомним, что подобное явление (а именно тенденция к превращению в частицу) характерно и для форм определительного постпозитивного члена, отсутствующих в великорусских диалектах. См. Benacchio, Renzi 1987: 21.

зитивного) определительного члена, другие славянские языки тоже имеют (или имели) следы артикля, иногда в постпозиции, как русский (т. е. как и балканские языки), а иногда в препозиции, как польский, чешский и сербский (Benacchio 1996a и Бенаккьо 1998). Если не принимать во внимание разницу в позиции (эклитической или проклитической), то явление совершенно идентично для всех вышеуказанных языков: одна и та же местоименная форма (а именно — указательное местоимение, восходящее к общеславянскому местоимению для средней дистанции *ty, ta, to*), постепенно утратившая чисто дейктическую семантику, превратилась в своеобразный артикль, т. е. стала выполнять функцию обозначения определенности референта. Такого рода эволюция, кстати, наблюдается и в других индоевропейских языках, в которых категория определенного артикля развилась до конца, например в языках романской и германской групп. В этой, более широкой перспективе, резьянский артикль является, как нам кажется, не столько результатом внешней интерференции, сколько результатом определенной линии развития, свойственной как всему славянскому, так и вообще всему индоевропейскому ареалу.

Итак, анализ морфосинтаксических особенностей рассмотренных нами словенских диалектов, бытующих во Фриули, показал, что многовековой контакт с романским языковым ареалом способствовал появлению «инноваций», т. е. языковых явлений, чуждых «берущей» языковой системе (имеются в виду, например, местоименная редупликация и местоименная реприза подлежащего). Чаще всего, однако, романский контакт повлиял на эволюцию этих диалектов, либо ускоряя и усиливая определенные, уже действующие внутренние тенденции развития (потерю среднего рода и тем более двойственного числа), либо содействуя сохранению определенных форм (аориста и, в еще большей мере, имперфекта в резьянском диалекте), либо, наконец, определяя предпочтение одного синтаксического типа (проклита вместо энклизы). Можно сказать, что в целом «дающий» романский язык, повлиявший на рассматриваемые нами словенские диалекты, на самом деле почти всегда действовал в соответствии с «берущей» языковой системой. Другими словами, он скорее всего детерминировал ускорение языковых процессов, которые уже шли в славянской языковой системе на периферии.

Мы также показали, что некоторые из проанализированных языковых явлений встречаются в языках, отличных от славянских и от романских и, по всей вероятности, представляют собой лингвистические универсалии, встречающиеся и вне индоевропейской языковой группы.

Литература

- Бенаккьо 1998 — Бенаккьо Р. К вопросу об определенном артикле в славянских языках: резьянский говор // Языки малые и большие (In memoriam academika N. I. Tolstogo) / Под ред. Дуличенко А. Д. 1998. (Slavica Tartuensia; 4). 76—88.

- Бодуэн де Куртенэ 1874 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Резья и резьяне // Славянский сборник. 3; Отд. 1. СПб., 223—371.
- Бодуэн де Куртенэ 1875а — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Опыт фонетики резьянских говоров. Варшава; Петербург, 1875.
- Бодуэн де Куртенэ 1875б — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Резьянский катихизис как приложение к «Опыту фонетики резьянских говоров». Варшава; Петербург, 1875.
- Бодуэн де Куртенэ 1905а — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. Т. 2: Образцы языка на говорах Терских Славян в северовосточной Италии // Сборник отд. рус. яз. и словесности. 78 (2). СПб., 1905, XXXII и 1—240.
- Бодуэн де Куртенэ 1905б — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Несколько случаев психически-морфологического уподобления или одноображения в терско-славянских говорах северовосточной Италии // Известия ОРЯС. 10 (3). 1905, 266—283.
- Дуличенко 1981 — *Дуличенко А. Д.* Одна из последних попыток создания нового славянского литературного языка: резьянский в Италии // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 579. (Вопросы становления и развития языковой системы). 1981, 20—45.
- Дуличенко 1995 — *Дуличенко А. Д.* Резьянология как раздел словенистики (в связи с выходом монографии Х. Стэнвейка «Словенский диалект Резьи Сан Джордже» и сборника «Основы практической резьянской грамматики») // Вопросы языкознания. 1995. № 2. 121—128.
- Дуличенко 1996 — *Дуличенко А. Д.* У истоков резьянологии // *Kopitarjev Zbornik*. Ljubljana, 1996, 567—590. (Obdobja; 15).
- Дыбо 1982 — *Дыбо В. А.* О некоторых акцентологических изоглоссах словенско-кайкавской языковой области // *Hrvatski dijalektološki zbornik*. 6 / Уг. В. Finka. Zagreb, 1982, 101—134.
- Зализняк 1995 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Молошная 1996 — *Молошная Т. Н.* Плюсквамперфект в системе грамматических форм глагола в современных славянских языках // Русистика. Славистика. Индоевропеистика (сборник к 60-летию А. А. Зализняка). М., 1996, 564—573.
- Седлачек 1962 — *Седлачек Я.* Об особых диалектных формах южнославянского имперфекта // Балканско езикознание. 1962. 5, 49—55.
- Срезневский 1841 — *Срезневский И. И.* О наречиях славянских // Журнал Министерства народного просвещения. 1841. 31 (2). 133—164.
- Срезневский 1844 — *Срезневский И. И.* Фриульские славяне (Резьяне и Словины) // Москвитянин. 1844. 5 (9), 207—224.
- Срезневский 1878 — *Срезневский И. И.* Фриульские славяне (Статья И. И. Срезневского и Приложения). СПб, 1878.
- Толстой 1960 — *Толстой Н. И.* О работах И. А. Бодуэна де Куртенэ по словенскому языку // И. А. Бодуэн де Куртенэ: 1845—1929 гг. (к 30-летию со дня смерти). М., 1960, 67—80.
- Толстой 1966 — *Толстой Н. И.* (ред.). И. А. Бодуэн де Куртенэ. Резьянский словарь // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, 183—225.
- Успенский 1987 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München, 1987.
- Шафарик 1842 — *Шафарик П.* О Резьянах и фурланских Словинах // Денница: Лит. газета... = *Jutrzenka, pismo literackie...* [Варшава], 1842. № 1 (1), 109—113.

- Baudouin de Courtenay 1894 — *Baudouin de Courtenay J.* Il catechismo resiano (con una prefazione di G. Loschi). Udine, 1894.
- Baudouin de Courtenay 1895 — *Baudouin de Courtenay J.* Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. I: Resianische Texte, gesammelt in den Jj. 1872, 1873 und 1877... St. Petersburg, 1895.
- Baudouin de Courtenay 1913 — *Baudouin de Courtenay J.* Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. Bd. 3: Resianisches Sprachdenkmal «Christjanske uzihilo». St. Petersburg, 1913.
- Baudouin de Courtenay 1988 — *Baudouin de Courtenay J.* Materiali per la dialettologia e l'etnografia slavo-meridionale 4: Testi popolari in prosa e versi raccolti in Val Natisone nel 1873. Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo. 4: Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873 / A c. di L. Spinozzi Monai. Trieste; S. Pietro al Natisone, 1988.
- Benacchio 1988 — *Benacchio R.* I pronomi clitici nelle lingue slave dell'area balcanica // *Europa Orientalis*. 1988. 7, 451—469.
- Benacchio 1994 — *Benacchio R.* Peculiarità morfosintattiche del dialetto resiano // *Problemi di morfosintassi delle lingue slave*. 4. Padova, 1994, 223—243.
- Benacchio 1996a — *Benacchio R.* A proposito dell'articolo determinativo in sloveno: la testimonianza del Catechismo resiano del Settecento // *Studi slavistici in onore di Natalino Radovich* / A c. di R. Benacchio e L. Magarotto. Padova, 1996, 1—16.
- Benacchio 1996b — *Benacchio R.* L'articolo nel dialetto resiano: sulla questione della determinatezza nelle lingue slave // *Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave (Problemi di morfosintassi delle lingue slave; 5)* / A c. di R. Benacchio, F. Fici e L. Gebert. Padova, 1996, 43—59.
- Benacchio 1996в — *Benacchio R.* [Рецензия на]: Fondamenti per una grammatica pratica resiana (Atti della Conferenza Internazionale tenutasi a Prato di Resia (Udine), 11—13.XII.1991) / A c. di H. Steenwijk. Padova, 1993 // *Europa Orientalis*. 1996. 15 (1), 300—305.
- Benacchio, Renzi 1987 — *Benacchio R., Renzi L.* Clitici slavi e romanzi (Quaderni Patavini di Linguistica. Monografie, 1). Padova, 1987.
- Benincà P. 1989 — *Beninca P.* Friaulisch: Interne Sprachgeschichte. 1: Grammatik // *Lexicon der Romanistischen Linguistik (LRL)* / Hrsg. von G. Holtus, M. Metzelin, Ch. Schmitt. 3. Tübingen, 1989, 562—585.
- Benincà, Vanelli 1982 — *Beninca P., Vanelli L.* Appunti di sintassi veneta // *Guida ai dialetti veneti*. 4 / A c. di M. Cortelazzo. Padova, 1982, 7—38.
- Benincà, Vanelli 1984 — *Beninca P., Vanelli L.* Italiano, veneto, friulano: fenomeni sintattici a confronto // *Rivista italiana di dialettologia*. 1984. 8, 165—194.
- Bertinetto 1986 — *Bertinetto P. M.* Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano (Il sistema dell'indicativo). Firenze, 1986.
- Breu 1994 — *Breu W.* Der Faktor Sprachkontakt in einer dynamischen Typologie des Slavischen // *Slavistische Linguistik 1993* / Hrsg. von H. R. Mehlh. München, 1994, 41—64.
- Cordin 1997 — *Cordin P.* Tense, mood and aspect in the verb: The dialects of Italy / Ed. by M. Maiden, M. Parry. London; New York, 1997, 87—98.
- Cronia 1950 — *Cronia A.* Contributi alia dialettologia slovena // *Slavistična revija*. 1950. 3, 321—326.

- Dapit 1995 — *Dapit R.* La Slavia Friulana (Lingue e culture. Resia, Torre, Natisone. Bibliografia ragionata) // Beneška Slovenija (Jezik in kultura. Rezija, Ter, Nadiža. Kritična bibliografija). Cividale; San Pietro al Natisone, 1995.
- Dapit 1996 — *Dapit R.* Cultura materiale dell'alta Valle del Torre // Tarcint e valadis de Tor. (Societal Filologiche Furlane). Udine, 1996, 209—220.
- Dobrovský 1806 — *Dobrovský J.* Über die Slawen im Thale Resia // Slavin: Beiträge zur Kenntniss der slawischen Literatur nach allen Mundarten. Prag, 1806, 120—128.
- Duličenko 1997 — *Duličenko A. D.* N. I. Tolstoj in rezijanščina (Ob odkritju «Rezijanskega slovarja» J. Baudouina de Courtenayja) // Slavistična revija. 1997. 45, 3—4, 567—573.
- Francescato 1960 — *Francescato G.* L'influsso lessicale friulano nel dialetto slavo di Lusevera // Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano, N. S. 5—6. Torino, 1960, 25—30.
- Freizinger Denkmäler 1968 — *Freisinger Denkmäler* // Brižinski spomeniki: Monumenta Frisingensia. München, 1968.
- Giacalone Ramat 1990 — *Giacalone Ramat A.* Il mutamento linguistico in contesto plurilingue // Aspetti metodologici e teorici nello studio del plurilinguismo nei territori dell'Alpe-Adria (Atti del Convegno Internazionale. Udine, 12—14.X.1989) / A c. di L. Spinozzi Monai. Tricesimo (UD), 1990.
- Groen 1980 — *Groen B.* On the phonology of the Resian dialects. The consonant system // Studies in Slavic and General Linguistics, 1 / Ed. by A. A. Barentsen, B. M. Groen, R. Sprenger. Amsterdam, 1980, 69—101.
- Groen 1983 — *Groen B.* On the problem of an orthography for the Resian dialects // Miscellanea Slavica. To honour the Memory of J. M. Meijer / Ed. by B. J. Amsenga et al. Amsterdam, 1983. 253—263.
- Groen 1984 — *Groen B.* A few remarks on the Resian dialects // Signs of Friendship to Honour A. G. F. Holk, Slavist, Linguist, Semiotician / Ed. by J. J. Baak. Amsterdam, 1984, 131—143.
- Groen 1987 — *Groen B.* The vocalic system in Jan Baudouin de Courtenay's Opyt fonetiki rez'janskix govorov // Slovene Studies. Bloomington, 1987. 9 (1—2), 105—109.
- Hamp 1980 — *Hamp E.* Rezijansko jist 'polenta' // Slavistična Revija. 1980. 27 (4), 487—488.
- Hamp 1981 — *Hamp E.* I nomi di Resia // Ce fastu? 1981. 33 (4), 11—16.
- Hamp 1982 — *Hamp E.* I nomi dei mesi a Resia // Sot la nape. 1982. 34 (4), 16—17.
- Hamp 1988a — *Hamp E.* On the survival of Slovene *o*-grade deverbal thematics in Resian // Slovene Studies. 1988. 10 (2), 171—173.
- Hamp 1988b — *Hamp E.* Innovations in tuw Bile (S. Giorgio) // Prace filologiczne. 1988. (34), 361—367.
- Hamp 1993 — *Hamp E.* Per un alfabeto resiano pratico (con esempi dalla declinazione nominale) // Fondamenti per una grammatica resiana / A c. di H. Steenwijk. Padova, 1993, 55—66.
- Jakobson 1949 — *Jakobson R.* Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langues // N. S. Trubeckoj. Principes de phonologie. Paris, 1949, 351—365.
- Kopitar 1816 — *Kopitar J.* Die Slaven im Thale Resia // Vaterländische Blätter. 9, 176—180; переизд. в кн.: Barth. Kopitars Kleinere Schriften / Hrsg. von Fr. Miklošich. 1. Wien, 1816, 323—330.
- Kos 1955 — *Kos M.* Zgodovina Slovencev (Od naselitve do petnajstega stoletja). Ljubljana, 1955.
- Lenček 1976 — *Lenček R.* On the Use of the Gerund in -č in the Slovene Dialects contiguous with Friulian // Linguistica. 1976. 16, 65—79.

- Lenček 1977 — *Lenček R.* Jan Baudouin de Courtenay on the dialects spoken in Venetian Slovenia and Rezija. New York, 1977.
- Lenček 1978 — *Lenček R.* Čakavisms in Western Slovene Dialects // *Folia Slavica*. 2 (1—3) (Studies in honor of Horace G. Lunt). Columbus (Ohio), 1978, 211—228.
- Lenček 1982 — *Lenček R.* The structure and the history of the Slovene language. Columbus (Ohio), 1982.
- Lenček 1986 — *Lenček R.* From Language Interference to the Influence of Area in Dialect-Geography // *American Contributions to the ninth international congress of Slavists*. 1: Linguistics / Ed. by M. S. Flier. Columbus (Ohio), 1986, 185—191.
- Logar 1963 — *Logar T.* Sistemi dolgih vokalnih fonemov v slovenskih narečjih // *Slavistična revija*. 1963. 14 (1—4), 111—132.
- Logar 1966 — *Logar T.* Prispevek k poznavanju nadiskega dialektu v Italii // *Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku*. Novi Sad, 1966. 9, 73—75.
- Logar 1970 — *Logar T.* Slovenski dialekti v zamejstvu // *Prace filologiczne*. 1970. 20, 81—87.
- Logar 1972 — *Logar T.* Rezijski dialekt (glasoslovna skica) // VIII Seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Ur. B. Pogorelec i. dr. Ljubljana, 1972, 1—10.
- Logar 1975 — *Logar T.* Slovenska narečja (Besedila). Ljubljana, 1975.
- Logar 1981 — *Logar T.* Solbica (Stolizza; OLA 1) // *Fonološki opis srpskohrvatskih/hrvatosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističnim atlasom* / Ur. P. Ivič i dr. Sarajevo, 1981, 35—40.
- Marinucci 1988 — *Marinucci M.* Italienisch: Arealinguistik VIII, Abruzzen und Molise // *Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL)* / Hrsg. von G. Holtus, M. Metzelin, Ch. Schmitt. 4. Tübingen, 1988, 643—652.
- Matičetov 1970 — *Matičetov M.* Junaške in zgodovinske pesmi // *Slovenske ljudske pesmi*. 1: Pripovedne pesmi / Ur. Z. Kumer, M. Maticetov i dr. Ljubljana, 1970, 30—50
- Matičetov 1973 — *Matičetov M.* Zverinice iz Rezijske. Ljubljana; Trst, 1973.
- Matičetov 1981 — *Matičetov M.* Resia. Bibliografia ragionata (1927—1979). Udine, 1981.
- Matičetov 1987 — *Matičetov M.* Tri lesičice gotrice. Ljubljana, 1987.
- Merkù 1972 — *Merkù P.* Tersko narečje (Popravljeni ponatis iz Primorskega dnevnika). Trieste, 1972.
- Merkù 1976 — *Merkù P.* Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia (raccolte negli anni 1965—1974) // *Ljudstvo izročilo slovencev v Italii* (zbrano v letih 1965—1974). Trieste, 1976.
- Merkù 1978 — *Merkù P.* Il dialetto della Val Torre // *Lingua, espressione e letteratura nella Slavia italiana* (Quaderni Nediža, 2). San Pietro al Natisone; Trieste, 1978, 43—61.
- Merkù 1980 — *Merkù P.* O slovenskem terskem narečju // *Slavistična Revija*. 1980. 28 (2), 167—178.
- Merkù 1988 — *Merkù P.* Relitti veteroslavi e arcaismi nel dialetto del Torre // *Prace filologiczne*. 1988. 34, 375—378.
- Miklosich 1879 — *Miklosich F.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. 1: Lautlehre. Wien, 1879.
- Miklosich 1886 — *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- Miklosich 1927 — *Miklosich F.* Die slawischen Ortsnamen aus Appellativen. 1—2 // *Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen*. Heidelberg, 1927, 191—354.
- Moravcsik 1978 — *Moravcsik A.* Language Contact // *Universals of Human Language* / Ed. by J. H. Greenberg. Stanford, 1978, 93—122.

- Pellegrini 1972a — *Pellegrini G. B.* Contatti linguistici slavo-friulani // *Saggi sul ladino dolomito e sul friulano.* Bari, 1972, 420—438.
- Pellegrini 1972b — *Pellegrini G. B.* Introduzione all'Atlante storico-linguistico-etnografico friulano (ASLEF). Padova; Trieste; Udine, 1972, 83—86, 135—136.
- Pellegrini 1972в — *Pellegrini G. B.* I punti alloglotti (sloveni e tedeschi) nell'ASLEF (Atlante storico-linguistico-etnografico friulano) // *Linguistica.* Ljubljana, 1972. 12, 173—194.
- Pellegrini 1975 — *Pellegrini G. B.* Sul dialetto e sulla toponomastica della Val Natisone: a proposito dei contatti linguistici slavo-friulani // *Saggi di linguistica italiana.* Tormo, 1975, 462—477.
- Popovič 1955—1956 — *Popovič I.* Una influenza sintattica italiana sui dialetti croati istriani // *Ricerche slavistiche.* 1955—1956. 4, 68—71.
- Priestly 1988 — *Priestly T. M. S.* Baudouin de Courtenay as Phonetician: his Description of the *zasopli vokali* in the Režijan Dialect // *Prace filologiczne.* 1988. 34, 385—391.
- Raffo 1972 — *Raffo A. M.* Alcuni rilievi sulle parlate della Slavia Veneta, con particolare riguardo alla Val Natisone // *Val Natisone (XLIX Congresso della Società Filologica Friulana).* Udine, 1972, 147—173.
- Ramovš 1924 — *Ramovš F.* Razvoj imperfekta v rezjanščini // *Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino.* 1924. 4, 117—119.
- Ramovš 1928 — *Ramovš F.* Karakteristika slovenskega narečja v Režiji // *Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino.* 1928. 7, 107—121.
- Ramovš 1931 — *Ramovš F.* Dialektološka karta slovenskega jezika. Ljubljana, 1931.
- Ramovš 1935 — *Ramovš F.* Historična gramatika slovenskega jezika. 7: Dialekti. Ljubljana, 1935.
- Ramovš 1936 — *Ramovš F.* Kratka zgodovina slovenskega jezika. Ljubljana, 1936.
- Ramovš 1957 — *Ramovš F.* Karta slovenskih narečij. Ljubljana, 1957.
- Reichenkron 1934 — *Reichenkron G.* Serbokroatisches aus Südtalien // *Zeitschrift für slavische Philologie.* 1934. 11, 325—339.
- Rešetar 1911 — *Rešetar M.* Die serbokroatischen Kolonien Südtaliens // *Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Schriften der Balkankommission: Linguistische Abteilung. 1: Südslawische Dialektenstudien.* 5. Wien, 1911.
- Rigler 1963 — *Rigler J.* Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu // *Slavistična revija.* 1963. 14, 25—78.
- Rigler 1972 — *Rigler J.* O rezijanskem naglasu // *Slavistična revija.* 1972. 20, 115—126.
- Rohlf's 1969 — *Rohlf's G.* Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. 1: Sintassi e formazione delle parole. Torino, 1969.
- Šafařík 1863 — *Šafařík P.* Slovanske starožitnosti. 2. Prag, 1863.
- Schuchardt 1884 — *Schuchardt H.* Slavo-Deutsches und Slavo-Italienisches. Graz, 1884.
- Skubic 1986 — *Skubic M.* Interferenze linguistiche slavo-romanze: la lingua di «Novi Matajur» // *Linguistica.* Ljubljana, 1986. 26, 59—68.
- Skubic 1990 — *Skubic M.* Skladenjski kaiki romanskego izvora v zahodnih slovenskih govorih // *Razprave SAZU: Razred za filološke in literarne vede.* 1990. 13, 153—161;
- Skubic 1991 — *Skubic M.* Interferenze sintattiche di origine romanza nelle parlate slovene occidentali: la strutturazione del sintagma aggettivale, della frase, del periodo // *Linguistica.* Ljubljana, 1991. 31 (Paulo Tekavčič sexagenario in honorem oblata), 361—365.
- Skubic 1997 — *Skubic M.* Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji // *Znanstveni inštitut, Filozofske fakultete.* Ljubljana, 1997.

- Sreznevskij 1841 — *Sreznevskij I. I.* Zpráva o Rezianech // Časopis Českého Muzeum. 1841. 15. 341—345.
- Stankiewicz 1965 — *Stankiewicz E.* Neutralizacja rodzaju nijakiego w dialektach słoweńskich // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa, 1965, 179—187.
- Stankiewicz 1984—1985 — *Stankiewicz E.* The Dialect of Resia and the 'Common Slovenian' Accentual Pattern // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Novi Sad, 1984—1985. 27—28, 719—725; переизд. в кн.: *Stankiewicz E.* The Slavic Languages: Unity in Diversity. Berlin; New York; Amsterdam, 1986, 93—103.
- Steenwijk 1992a — *Steenwijk H.* The Slovene dialect of Resia: San Giorgio. Amsterdam; Atlanta (GA), 1992. (Studies in Slavic and General Linguistics; 18).
- Steenwijk 1992b — *Steenwijk H.* Miklošič als Resianologe // Miklošičev zbornik. Ljubljana, 1992, 451—462. (Obdobja; 13).
- Steenwijk 1993 — Fondamenti per una grammatica pratica resiana (Atti della Conferenza Internazionale tenutasi a Prato di Resia (UD), 11—13.XII.1991) / A c. di H. Steenwijk. Padova, 1993.
- Steenwijk 1994 — *Steenwijk H.* Ortografia resiana. Tò jošt rozajanskë pisanjë. Padova, 1994.
- Steenwijk 1996 — *Steenwijk H.* Der romanisch-slavische Sprachkontakt und die interne Differenzierung des Resianischen // Kopitarjev zbornik. Ljubljana, 1996, 553—566. (Obdobja; 15).
- Steenwijk 1998 — *Steenwijk H.* Tre studi resiani. Grammatica e storia sociale. Padova, 1998.
- Toporišič 1962 — *Toporišič J.* Die slovenische Dialektforschung // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1962. 30 (1), 383—416.
- Vaillant 1966 — *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. 3: Le verbe. Paris, 1966.
- Vasiliu 1963 — *Vasiliu L.* Verbul // Gramatica limbii romine. 1 / Editura Academiei Republicii Populare Romine. București, 1963, 202—299.
- Vermeer 1987a — *Vermeer W.* The treatment of the proto-Slavic falling tone in the Resian dialects of Slovene // Dutch Studies in South Slavic and Balkan Linguistics. Amsterdam; Atlanta (GA), 1987, 275—298. (Studies in Slavic and General Linguistics, 10).
- Vermeer 1987b — *Vermeer W.* Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih // Slavistična Revija. 1987. 35, 237—257.
- Vermeer 1993 — *Vermeer W.* L'origine delle difference locali nei sistemi vocalici del resiano // Fondamenti per una grammatica resiana / A c. di H. Steenwijk. Padova, 1993, 119—148.
- Vraz 1841 — *Vraz S.* Dopis prijatejski iz Mietačkoga // Danica Ilirska. 7 (29), 118—120 (U subotu, 17 Serpnja 1841).
- Weinreich 1968 — *Weinreich U.* Languages in contact. The Hague, 1968.
- Weinrich 1977 — *Weinrich H.* Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1977.

И. А. СЕДАКОВА

**БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК
В НЕСЛАВЯНСКОМ ОКРУЖЕНИИ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ**

Болгарский язык в силу своего положения и исторического развития оказывался в ситуации скрещения различных неславянских языковых традиций, а также в ситуации билингвизма. Многочисленные контакты болгарского языка с другими географически и типологически близкими языками привлекали и привлекают внимание ученых как в Болгарии, так и за рубежом. В обзоре характеризуются лингвистические работы, посвященные формированию лексической системы болгарского языка в ее сложности и многообразии. Естественно, обзор не может быть исчерпывающим, отчасти в силу того, что некоторые работы в настоящее время недоступны. В нем обозначены основные тенденции развития исторической лексикологии и расставлены акценты на проблемах, связанных с языковыми контактами в сфере словаря. Внимание уделяется наиболее существенным работам по заимствованиям. В обзоре учитываются статьи и монографии по заимствованиям из языков непосредственного окружения, хотя в болгарской лексикологии изучаются и слова, пришедшие из французского, итальянского (Ванков 1959; 1960; 1960а; 1962; 1966; 1967; 1968), подробно анализируется современный процесс американизации болгарского языка.

Исследования по лексикологии можно группировать по самым различным принципам: в хронологическом порядке, по проблематике, по персоналиям, по жанровым характеристикам. Прежде всего нужно обратиться к истории языкознания в Болгарии, поскольку с именами первых книжников и связана постановка проблемы заимствований в болгарском языке (П. Берон, Н. Геров, П. Славейков, А. Кипиловский и др.). Интерес к первым деятелям болгарского Возрождения, создателям грамматик и писателям сохраняется до наших дней и проявляется, в частности, в исследовании словаря их трудов. М. Моллова анализирует один из примеров представления турцизмов в лексикографической практике эпохи Возрождения в Болгарии — «Краткий турско-болгарский речник и разговорник» Пенчо Радова (Моллова 1966). Особое внимание ис-

следователи уделяют турцизмам в трудах болгарских деятелей культуры и искусства периода Возрождения. Хр. Пырвев исследовал в этом отношении произведение К. Пейчиновича «Зеркало» (он указал, что больше всего заимствуется существительных, часть которых исключительно фреквентна — *курбан* и др., затем следуют наречия, лишь потом глаголы и прилагательные) (Пырвев 1962). А. Гранес занимается творчеством Ивана Вазова, в том числе и эпистолярным (Гранес 1973), Цв. Македонска — произведениями П. Славейкова (Македонска 1952). Р. Цойнска проанализировала грецизмы в «Рыбном букваре» П. Берона (Цойнска 1968). Пуристическим позициям Ив. Богорова посвящена работа Р. Русева (Русев 1968).

Первыми же действительно научными трудами по исторической лексикологии стали работы лингвистов Б. Цонева, Ст. Романского. Ал. Т.-Балана и Ст. Младенова, которые вплотную подошли к анализу словарного состава болгарского языка с точки зрения заимствований. Монографии по истории болгарского языка Б. Цонева, Ст. Младенова и позднее К. Мирчева содержат обширные разделы по болгарско-неславянским контактам.

Фракийский субстрат, остатки которого, по мнению некоторых исследователей, значительны (Влахов 1977а), стал темой лексикологических и этимологических изысканий Вл. Георгиева (Георгиев 1960), К. Влахова (Влахов 1971; 1977), Л. Гиндина (Гиндин 1980), Б. Симеонова (Симеонов 1974).

Особенное внимание уделяется протоболгаризмам. Первым, как отмечает Ив. Дуриданов (Дуриданов 1960: 429), этот вопрос поставил М. Дринов, который опубликовал краткий обзор мнений болгарских лингвистов по этому пласту лексики и список протоболгарских слов. Ив. Манолов посвятил специальное исследование языку болгар эпохи хана Аспаруха (Манолов 1923). Тщательным уточнением списка слов занимались многие лингвисты (Боев 1965; Русек 1982; Русек, Рачева 1982; Косев 1971). Описывая ранние балканские заимствования в болгарском, Й. Русек высказывает важную мысль о том, что тюркизмы — ранние заимствования поддерживались позднейшей ситуацией османско-турецкого языкового влияния (Русек 1982: 12).

Тюркское лексическое влияние на болгарский язык находится в центре внимания многих лингвистов. Ем. Боев выделяет три периода болгарско-тюркских отношений: 1) период общеславянско-тюркоязычных контактов (до V в.); 2) период болгарско-тюркских контактов (до XV в.) и 3) болгарско-османскотурецкие языковые контакты — вплоть до наших дней (Боев 1968: 178). М. Москов говорит о четырех периодах в тюркско-болгарских отношениях: 1) общеславянско-тюркский; 2) болгарско-проболгарский период; 3) болгарско-тюркский и 4) болгарско-турецкий период (Москов 1981: 81).

О печенежско-куманском суперстрате в болгарской лексике пишет М. Москов, указывая на сходство некоторых тюркизмов в болгарском с лек-

сикой чувашского языка (Москов 1962). Подобные сходжения обнаруживает и Ив. Коев, добавляя к собственно лексическим данным и факты материальной культуры (орнаменты, одежда болгарской этнической группы капанцы и чувашей).

Основы изучения турцизмов заложил К. Мирчев, который еще в своей работе 1952 года (Мирчев 1952) показал пути исследования заимствований. Болгарский лингвист стремился отделять собственно турцизмы от персидских и арабских заимствований. Он также отмечал, что турецкий язык являлся посредником при заимствовании из греческого и латинского. Судьба турцизмов в болгарском языке, подчеркивал К. Мирчев, неодинакова. Ряд слов не воспринимается как заимствования, происхождение других непонятно носителям языка, оно известно только специалистам, и наконец, третья группа лексем — это слова явно чужеродные. Против подобных заимствований, особенно в 50-е гг., высказывались К. Мирчев и Л. Андрейчин (Андрейчин 1955; Мирчев 1953). Такие лексемы не включались в словари болгарского литературного языка, которые подготавливались и издавались в тот период. К. Мирчев отметил еще одну важную тенденцию в стилистическом развитии турцизмов — их пейоризацию. Этот аспект подробно рассмотрела М. Стайнова (Стайнова 1964), связав снижение стиля отчасти с тем, что новое поколение не владеет турцизмами в той степени, как это было ранее, и сознательно обыгрывает их в своих жаргонах, придавая заимствованиям дополнительную негативную экспрессивность.

Турцизмы анализируются и с точки зрения семантики. Цв. Вранска пишет о существительных с отвлеченным значением 'добро' и 'зло' в болгарском поэтическом творчестве. Исследовательница отмечает, что турцизмы, синонимичные исконно болгарским словам, часто встречаются в фольклоре и распространены на значительных ареалах, что свидетельствует о сильном и глубоком воздействии турецкого языка на болгарский (Вранска 1955: 183).

По этимологии отдельных турцизмов написано множество работ, в том числе с учетом их балканского характера (Москов 1964; 1968; Mollova 1962; Рачева 1971; 1972; 1974а; 1975; 1976; Боюклиев 1962; Гилигян 1991; Селян 1983).

Турцизмам посвятили небольшие работы монографического типа зарубежные болгаристы — норвежец А. Гранес (Granes 1970) и поляк Стаховский (Stachowski 1971, рецензия — Рачева 1974). Ив. Добрев в своем обзоре работ А. Гранеса (Добрев 1992) отмечает, что норвежский исследователь, безусловно, внес значительный вклад в изучение турцизмов в болгарском языке, однако он не отделяет усвоенных заимствований от слов иностранных, случайных, увеличивая таким образом список турцизмов. Ст. Стаховский обратил внимание на хронологию турецких заимствований, опубликовал словарь лексем, имеющих письменную фиксацию и поддающихся датировке.

В болгарской лексике заметно и значительное греческое влияние, особенно в некоторых лексико-семантических группах. О взаимных влияниях греческого и болгарского писал Д. Матов еще в конце прошлого века, но до сих пор грецизмы в болгарском языке исследованы не полностью. Кроме Д. Матова, заимствованиям из греческого в болгарский посвятил свои работы П. Скорчев. Он опубликовал список греческих глаголов в болгарском народном языке северо-восточных территорий (Скорчев 1943а). Избрание территориального диалекта для анализа характера и роли заимствованной лексики в нем считается значительным достижением болгарской лингвистики. На это начинание откликнулся Ал. Т.-Балан, который в подробной рецензии на работу Скорчева отметил важность постановки проблемы в таком разрезе и высказал некоторые весьма важные идеи о языковых контактах в области лексики. Т.-Балан писал о том, что исследование грецизмов может идти в нескольких направлениях: прежде всего в хронологическом (в силу многовековых отношений между Болгарией и Грецией), а также в географическом и формальном (фонетическом, морфологическом). Т.-Балан указывал на отсутствие серьезных работ по лингвистической географии заимствований, хотя очевидно, что в различных диалектах следы иноязычного влияния не одинаковы. В качестве примера Т.-Балан приводит родопские диалекты, в которых много греческих заимствований, не встречающихся в других говорах болгарского языка. За родопскими следуют юго-западные говоры, причем не только те, что находились (находятся) в непосредственном контакте с греческими. Итак, по мнению Т.-Балана, Скорчев первым привлек внимание к грецизмам в восточных диалектах. Разграничение литературного языка и диалектов — важный аспект изучения заимствований. При заимствовании в различных регионах могут браться различные формы одного слова (с учетом диалектного членения языка-донора). Т.-Балан отметил также, что заимствование глаголов в их аористой форме является балканизмом (Т.-Балан 1947: 25).

П. Скорчев исследовал и церковную лексику, заимствованную из греческого (Скорчев 1943), и греко-византийские слова (Скорчев 1947). Грецизмы в родном, уже несуществующем, диалекте (с. Бесвина, Леринско) исследует Ал. Ничев и приводит словарь заимствований (Ничев 1962). Хр. Дзидзилис анализирует некоторые грецизмы из первого и второго тома Болгарского этимологического словаря (БЕР) и предлагает свои этимологии (Дзидзилис 1982), он также пишет о фонетических проблемах при этимологизации грецизмов (Дзидзилис 1990; ср. также Thaworis 1979; Менская 1976).

Проблема семантического развития заимствования в языке-реципиенте также является предметом лингвистических разысканий. Так, Б. Парашкевов на примере двух турцизмов показывает, что заимствованные лексемы развивают в чужом языке значения, не известные языку-донору (Парашкевов 1971).

Эту же проблему на материале грецизмов рассматривает М. Филипова-Байрова (Филипова-Байрова 1966). Она отмечает, что при анализе семантического развития заимствований необходимо учитывать греческие говоры, особенно говоры северной Греции. Исследовательница дает классификацию возможного семантического соответствия/несоответствия объема слов в языке-доноре и языке-реципиенте. Часть слов заимствуется с одним, прямым значением, — это слова-термины. Многочисленные же слова могут заимствоваться как во всем семантическом объеме, так и частично, а затем приобретать новое значение в языке-реципиенте. Из нескольких значений греческого слова болгарский язык выбирает иногда одно, не обязательно главное. Подобные частичные заимствования наблюдаются чаще, чем совпадение всего семантического объема в обоих языках.

М. Филипова-Байрова является автором монографического исследования, посвященного грецизмам в болгарском языке (Филипова-Байрова 1969). В разделе «Лексика» болгарская лингвистка подробно анализирует заимствования с точки зрения их семантики, отмечает случаи калькирования греческих слов в болгарском (особенно это относится к формульности речевого этикета). В книге представлен также словарь грецизмов в болгарском языке с точным указанием слова-источника в греческом.

Заимствования анализируются и в свете проблематики балканского языкового союза (БЯС). М. Выгленов пишет, что в народные говоры балканизмы проникают в основном из Греции, а затем уже распространяются по языкам БЯС (Выгленов 1966). У. Дукова анализирует ситуацию двойного заимствования слов на Балканах, когда одно и то же слово может вливаться в язык в различные периоды и через различные языки-посредники (Дукова 1981).

Важнейшую проблему, которую наметил Т.-Балан (Т.-Балан 1947), — ареальное распространение заимствований — стал подробно разрабатывать М. Сл. Младенов. Лингвистическая география возможна и необходима даже для протоболгаризмов, ее применение позволяет сделать существенные выводы об ареальном членении территории болгарского языка (Младенов 1981). Опираясь на данные Болгарского диалектного атласа (БДА), М. Сл. Младенов исследовал румынские заимствования в северо-восточной Болгарии. Лингвист выделяет четкие зоны распространения румынского лексического влияния, причем считает, что заимствование шло не через двуязычие, а через языковые контакты, которые были наиболее тесными в районах Тутракана и Силистры, входивших в Румынское государство (Младенов 1970: 29). Ареальные методы позволили М. Сл. Младенову сделать выводы о хронологии некоторых заимствований. Так, он считает, что поскольку лексема *чутура* известна на значительной территории, она относится к ранним заимствованиям, получившим широкое распространение в болгарском языке. Лингвист говорит и о случаях

семантического заимствования из румынского (что другие ученые называют калькой): например, диалектное *гълъби* — ‘кукуруза’.

Румынско-болгарскими языковыми контактами в области лексики занимались также Вл. Георгиев (Георгиев 1963), Р. Бернар (Бернар 1962; Bernard 1963), Гутшмидт (Gutschmidt 1970), М. Выгленов (Въгленов 1974). О. Младенова уделяет особое внимание этой проблеме. В разделе специальной работы, посвященной румынским заимствованиям в болгарском языке (Алексова, Младенова 1981), она выступает с тезисом, что устное взаимодействие представляет собой определенную модель внутри БЯС. Болгарский язык в этом плане выступает не только как язык-источник и язык-реципиент, но и как язык-посредник при греческом и турецком влиянии на балканские языки (там же: 169). В других публикациях О. Младенова формулирует некоторые частные аспекты методологии работы с заимствованиями (Младенова 1993). Она считает, что при выяснении этимологии предполагаемых звукоподражательных образований в контактирующих языках необходимо отдавать предпочтение «звукоподражательному фактору» лишь когда другие возможности исчерпаны. На примере лексемы *джонка* (‘птица’) О. Младенова показывает, что независимый генезис слов гораздо менее вероятен, чем обычный для многоязычных регионов путь распространения лексем (там же: 65; ср. также Москов 1969).

М. Выгленов описывает ситуацию в северо-восточной Болгарии, где фиксируется много заимствований из румынского, не имеющих соответствий в других говорах на территории Болгарии. Он отмечает, что в Севлиево используются устойчивые выражения, формулы этикета, целиком заимствованные из румынского разговорного языка (Въгленов 1974). Арумынские слова в болгарском языке исследует Г. Михаила (Mihaïla 1979).

Албанские заимствования в болгарском языке не так заметны, как, скажем, греческие или турецкие. Они характерны более для диалектов и тайных языков, чем для языка литературного (Асенова, Дукова, Кацори 1979). Цыганские слова также в основном проникли в тайные говоры и в социальные диалекты (например, в говор музыкантов-скрипачей), как считает К. Костов (Костов 1956; 1960; 1978).

Анализ заимствований по лексико-семантическим группам проводит А. Спасова. В статьях, посвященных морской и рыболовной лексике, она характеризует заимствования из греческого, турецкого, румынского и итальянского языков в четкой привязанности к экстралингвистическим фактам в зоне болгарского побережья (Спасова 1955; 1956).

Интересным и перспективным разделом исторической лексикологии является анализ лексики культурно-этнографической. Заимствованиям в сфере народной духовной культуры посвящены работы М. Василевой, М. Филиповой-

Байровой и Р. Бернара. М. Василева, обращаясь к ситуации билингвизма, прослеживает взаимные влияния турецкой и болгарской свадебной терминологии и компонентов обрядности (Василева 1972). М. Филипова-Байрова определяет этимологию новогоднего термина *сурва* (как заимствование из греческого) и рассматривает проникновение соответствующих ритуалов из Греции в Болгарию (Филипова-Байрова 1965). Р. Бернар анализирует термин святочного демона *караконджо*, известного большинству балканских народов (Bernard 1970).

И. Шик, С. Спасова-Михайлова и Цв. Македонска посвящают свои работы изучению заимствованной лексики в болгарских фразеологизмах (Schick 1990; Спасова-Михайлова 1968; Македонска 1966). Цв. Македонска отмечает, что этот аспект фразеологии почти не изучен, хотя турецкие устойчивые сочетания чрезвычайно распространены в болгарском — как полные турцизмы (*чок селям*), так и частичные фразеологизмы-кальки. По ее данным, более всего привилась глагольно-именная конструкция наподобие *Падна на аман* (особенно много таких фразеологизмов в народных говорах). Некоторые из них получили общеполное распространение. Во фразеологизмах нашли отражение и турецкие обычаи, хорошо известные болгарам в период османского владычества. С. Спасова-Михайлова выделяет фразеологизмы с лексемами, которые имеют понятное для современных болгар значение, и фразеологизмы с компонентами, которые вне фразеологизма не употребляются. Материалы народных говоров показывают, что прежде болгарский народ употреблял значительно больше фразеологизмов с компонентами турецкого происхождения. Исследовательница вполне оправданно высказывает предположение, что такое положение сохраняется в современных говорах болгарского языка. Устойчивость заимствований во фразеологизмах объясняется консерватизмом образных выражений.

Итак, в работах по заимствованиям и контактам берутся различные языковые срезы, разграничиваются диалекты, с одной стороны, и литературный язык — с другой. Действительно, если в литературном языке заметен процесс освобождения от турцизмов, то говоры значительно медленнее расстаются с заимствованиями.

Исследования по заимствованиям имеют и практический выход — в виде лексикографической продукции. Это этимологические словари (Младенов Ст. 1940), словари иностранных слов (Милев, Братков, Николов 1964; Николаев 1893), словари болгарского языка, в которых отмечается происхождение слова (РСБКЕ и РБЕ; см. статьи М. Молловой об отражении восточных заимствований в этих словарях — Моллова 1964; 1970). Болгарские лингвисты работают также над популярными книгами по заимствованиям в языке и по проблемам стилистики, связанным с употреблением иностранных слов.

Как следует из краткого обзора, наиболее перспективными можно считать в настоящее время работы по изучению заимствований в контексте проблем балканского языкового союза, изыскания в сфере заимствований культурной лексики и ареальные исследования.

Список сокращений

- БалкЕз — Балканско езикознание. София.
 БЕ — Български език. София.
 БЕР — Български етимологичен речник. София.
 ГСУ-ФЗФ — Годишник на Софийския университет. Факултет по западни филологии. София.
 ГСУ-ФСФ — Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. София.
 ГСУ-ФФ — Годишник на Софийския университет. Филологически факултет. София.
 ЕиЛ — Език и литература. София.
 ИБИД — Известия на Българско историческо дружество. София.
 ИИБЕ — Известия на Института за български език. София.
 РБЕ — Речник на българския език. София.
 РР — Родна реч. София.
 РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език. София.
 СБНУ — Сборник за български народни умотворения. София.
 СъпЕз — Съпоставително езикознание. София.

Литература

- Алексова, Младенова 1981 — *Алексова В., Младенова О.* Българо-румънски езикови отношения // СъпЕз. Кн. 3—5. 1981, 161—180.
 Андрейчин 1955 — *Андрейчин Л.* Чуждите думи и борбата за чистотата на националния език // ЕиЛ. 1955. Кн. 1—2, 96—102.
 Андрейчин 1966 — *Андрейчин Л.* Гръцки глаголни наставки в българското словобразуване // БЕ. 1966. Кн. 4, 349—350.
 Асенова, Дукова, Кацори 1979 — *Асенова П., Дукова У., Кацори Т.* Някои думи от албански произход в българския език // БЕ. 1979. Кн. 1, 67—70.
 Бернар 1962 — *Бернар Р.* Две румънски думи от славянски произход, обратни заемки в български // БЕ. 1962. Кн. 6, 534—537 (хвърлец, джолан).
 Боев 1965 — *Боев Ем.* За предтюркското тюркско влияние в БЕ — още няколко прабългарски думи // БЕ. 1965. Кн. 1, 2—17.
 Боев 1968 — *Боев Ем.* За българо-тюркските езикови връзки // ИИБЕ. 1968. Т. 16, 177—183.
 Боюклиев 1962 — *Боюклиев Ив.* Към историята на една турска заемка в българския език // БЕ. 1962. Кн. 1, 54—56 (*мушабак*).
 Бояджиев 1962 — *Бояджиев Г.* Един случай на гръцко влияние върху български говор // БЕ. 1962. Кн. 3, 214—217.
 Бояджиев 1986 — *Бояджиев Т.* Българска лексикология. София, 1986.

- Ванков 1959 — *Ванков Л.* Към историята на италианските заемки в български 1762—1860 // ГСУ-ФФ. 1959. Кн. 2, 203—312.
- Ванков 1960 — *Ванков Л.* Историята на три романски заемки в български: салтамарка, фустан, фистан, шапка // БЕ. 1960. Кн. 5, 21—36.
- Ванков 1960а — *Ванков Л.* Към историята на някои заемки от западните романски езици в български и другите балкански езици // ГСУ-ФФ. 1960. Т. 2, 171—280.
- Ванков 1962 — *Ванков Л.* Исторически бележки за някои думи, заети от западните езици в БЕ // ИИБЕ. 1962. Кн. 8, 537—543.
- Ванков 1966 — *Ванков Л.* Ранните заемки на френски език в български: Анализ на лексиката (1800—1856) // ГСУ-ФФ. 1966. Т. 1, 137—193.
- Ванков 1967 — *Ванков Л.* Ранните заемки на френски език в български: Анализ на лексикалния материал (1857—1870) // ГСУ-ФФ. 1967. Т. 1, 279—353.
- Ванков 1968 — *Ванков Л.* Към историята на романизмите в български (1) // БЕ. 1968. Кн. 4—5, 390—400.
- Василева 1972 — *Василева М.* За връзките и взаимните влияния в сватбените обичаи на българското и турското население в североизточна България // ИБД. 1972. Т. 2.
- Влахов 1971 — *Влахов К.* Следи от тракославянски езикови връзки преди новата ера // Етногенезис и културно наследство на българския народ. София, 1971, 21—25.
- Влахов 1977 — *Влахов К.* Една забравена тракийска дума в български език // ЕиЛ. 1977. Кн. 4, 75—77.
- Влахов 1977а — *Влахов К.* Няколко български думи от тракийски произход // ЕиЛ. 1977. Кн. 5, 67—71.
- Вранска 1952 — *Вранска Цв.* Турските наименования на отвлечени понятия в езика на българския фолклор // ИИБЕ. 1952. Кн. 2.
- Вранска 1955 — *Вранска Цв.* Думите *добро* и *зло* и други близки до тях по значение думи в българското народно творчество // Сборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан. София, 1955, 171—184.
- Въгленов 1966 — *Въгленов М.* Някои лексикални заемки от балканските езици в наши говори // БЕ. 1966. Кн. 4.
- Въгленов 1974 — *Въгленов М.* Някои румънски думи в наши говори // БЕ. 1974. Кн. 5, 431—433.
- Георгиев 1960 — *Георгиев Вл.* Към тракийската лексика // Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Ст. Романски. София, 1960, 497—504.
- Георгиев 1963 — *Георгиев Вл.* Румънско влияние върху някои български говори // Zbornik u čast St. Ivića (1889—1962) // Zagreb, 1963, 85—90.
- Гилигян 1991 — *Гилигян А.* Към въпроса за етимологията на корена джур в българската езикова среда // Филология. 1991. Т. 23, 61—68.
- Гиндин 1981 — *Гиндин Л.* К вопросу о субстратных вкраплениях в лексике болгарского языка // Първа национална младежка школа по езикознание. София, 1981.
- Гранес 1973 — *Гранес А.* Отношение Ивана Вазова к турцизмам в болгарском языке // Studia Slavica. Budapest, 1973. Т. 1—2, 127—135.
- Гутшмидт 1968 — *Гутшмидт К.* Замечания о роли новогреческого языка в развитии лексики новобългарского ЛЯ // Actes du premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est Européennes, 6. Linguistique, 1968, 575—578.

- Дзидзилис 1982 — *Дзидзилис Хр.* За няколко гръцки заемки в БЕ // СъпЕз. 1982. Кн. 5, 11—15.
- Дзидзилис 1990 — *Дзидзилис Хр.* Фонетични проблеми при етимологизуване на гръцките заемки в българския език. София, 1990.
- Димитрова-Тодорова 1984 — *Димитрова-Тодорова Л.* Происхождение некоторых балканских заимствований в болгарском языке // БалкЕз. 1984. Кн. 3, 27—30.
- Добрев 1992 — *Добрев Ив. К.* Турецко-болгарские языковые связи в исследованиях Альфа Гранеса // БалкЕз. 1992. Кн. 2.
- Дукова 1981 — *Дукова У.* Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици // СъпЕз. 1981. Кн. 2—5, 75—85.
- Дуриданов 1960 — *Дуриданов Ив.* Стари тюркски заемки в БЕ // Изследвания в чест на Марин Дринов. София, 1960, 429—443.
- Дуриданов 1978 — *Дуриданов Ив.* Мними тракийски думи в БЕ // ЕиЛ. 1978. Кн. 2, 102—106.
- Зайончковский 1968 — *Зайончковский В.* Турецкие элементы в топонимии Балканского полуострова // Actes du premier Congrès international des études balcaniques et Sud-Est Européennes, 6. Linguistique, 1968, 101—105.
- Зализняк 1962 — *Зализняк А. А.* Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. М., 1962. Т. 6.
- Косев 1971 — *Косев Ив.* Следи от бита и езика на прабългарите в нашата народна култура // Етногенезис и културно наследство на българския народ. София, 1971.
- Костов 1956 — *Костов К.* Цигански думи в българските тайни говори // ИИБЕ. 1956. Кн. 4, 411—425.
- Костов 1960 — *Костов К.* Цигански елементи в българската ономастика // БЕ. 1960. Кн. 5, 421—437.
- Костов 1978 — *Костов К.* Цыганское *c(h)ang, c(h)angalo* «с (длинными ногами)» как общие заимствования в некоторых европейских языках // Этимология 1975. Москва, 1978, 164—168.
- Македонска 1952 — *Македонска Цв.* Отношението на Петко Славейков към турцизмите в българския книжовен език // ИИБЕ. 1952. Кн. 4.
- Македонска 1966 — *Македонска Цв.* Турски фразеологични заемки в български език // БЕ. 1966. Кн. 4.
- Манолов 1923 — *Манолов Ив.* Аспаруховско-български следи в езика ни. София, 1923.
- Матов 1893 — *Матов Д.* Гръцко-български студии // СбНУ. 1893. Кн. 9, 21—84.
- Менская 1976 — *Менская Т. Б.* Некоторые аспекты лексической и морфологической адаптации греческих глагольных заимствований в БЯ // Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976, 319—333.
- Милев 1955 — *Милев Ал.* Гръцките съществителни имена в българския език // БЕ. 1955. Кн. 2, 127—147.
- Милев 1957 — *Милев Ал.* Латинските имена в българския език // БЕ. 1957. Кн. 1, 54—66.
- Милев 1962 — *Милев Ал.* За многозначността на някои гръцки думи в българския език // БЕ. 1962. Кн. 5, 447—451.
- Милев, Братков, Николов 1964 — *Милев А., Братков Й., Николов Б.* Речник на чуждите в българския език. София, 1964.
- Мирчев 1947 — *Мирчев К.* Нещо за гръцките заемки в БЕ // ЕиЛ. 1947. Кн. 2, 23—27.

- Мирчев 1952 — *Мирчев К.* За съдбата на турцизмите в БЕ // ИИБЕ. 1952. Кн. 2, 117—127.
- Мирчев 1953 — *Мирчев К.* Съпротивата на българския език срещу насилствената асимилация // БЕ. 1953. Кн. 3, 209—215.
- Мирчев 1966 — *Мирчев К.* За етимологията на една балканска дума // БЕ. 1966. Кн. 4, 348—349.
- Мирчев 1978 — *Мирчев К.* Историческа граматика на българския език. София, 1978.
- Младенов 1970 — *Младенов М. Сл.* Несколко лексических заимствования в северо-восточных българских говорах // БалкЕз. 1970. Кн. 2, 27—30.
- Младенов 1981 — *Младенов М. Сл.* Географското разпределение на прабългарски лексикални елементи // СъпЕз. 1981. Кн. 3—5, 61—67.
- Младенов 1991 — *Младенов М. Сл.* Ареална характеристика на гръцките заемки в българските диалекти // ЕиЛ. 1991. Кн. 3.
- Младенов Ст. 1921 — *Младенов Ст.* Вероятни и мними остатъци от езика на Аспаруховите българи в новобългарската съставка на нашия език // ГСУ-ИФФ. 1921. Т. 17, 201—288.
- Младенов Ст. 1927 — *Младенов Ст.* Принос към изучаване на българско-албанските езикови отношения // ГСУ-ИФФ. 1927. Кн. 8.
- Младенов Ст. 1940 — *Младенов Ст.* Маджарско-българските езикови отношения // РР. 1940. Кн. 2, 62—63.
- Младенов Ст. 1941 — *Младенов Ст.* Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
- Младенов Ст. 1979 — *Младенов Ст.* История на българския език. София, 1979.
- Младенова 1986 — *Младенова О.* Из лексических балканизмов българских диалектов // БалкЕз. 1986. Кн. 3, 65—70.
- Младенова 1993 — *Младенова О.* Семантически аспекти етимологического анализа балканской лексики // БалкЕз. 1993. Кн. 3, 271—274.
- Моллова 1964 — *Моллова М.* Относно ориенталските заемки в «Български тълковен речник» // БЕ. 1964. Кн. 6, 534—539.
- Моллова 1966 — *Моллов М.* Българският възрожденец Пенчо Радов и неговият «Краткий турско-българский речник и разговорник» // БЕ. 1966. Кн. 4, 379—384.
- Моллова 1970 — *Моллова М.* Относно ориенталските елементи в «Български етимологичен речник» // БЕ. 1970. Кн. 4, 390—392.
- Москов 1958 — *Москов М.* Борбата против чуждите думи в българския книжовен език. София, 1958.
- Москов 1960 — *Москов М.* Към въпроса за персийско-турските думи в БЕ // БЕ. 1960. Кн. 4, 357—359.
- Москов 1962 — *Москов М.* Към въпроса за печенежко-куманския суперстрат в български език // ИИБЕ. 1962. Кн. 8, 151—161.
- Москов 1964 — *Москов М.* Общи по произход турски заемки в балканските езици // БЕ. 1964. Кн. 2—3, 186—190.
- Москов 1968 — *Москов М.* Общи по произход тюркски заемки в някои балкански и средноевропейски езици // ИИБЕ. 1968. Кн. 16, 185—192.
- Москов 1969 — *Москов М.* Турски и тюркски заемки от звукоподражателни и незвукоподражателен характер в балканските езици // ГСУ-ФСФ. 1969. Т. 62, 433—532.

- Москов 1981 — *Москов М.* Българо-тюркски езикови контакти (езикови остатъци, състояние, проблеми) // *СъпЕз.* 1981. Кн. 3—5, 80—104.
- Николаев 1893 — *Николаев А. П.* Речник на чуждите думи в български език с обяснение на корените им. Шумен, 1893.
- Ничев 1962 — *Ничев Ал.* Гръцките заемки в говора на с. Бесвина, Леринско // *ИИБЕ.* 1962. Кн. 8, 339—349.
- Одинцов 1941 — *Одинцов С. А.* [Бернштейн С. Б.] Turco-slavica. К изучению турецких элементов в языке дамаскинов 17—18 вв. // *Труды МИФЛИ.* Москва, 1941. Т. 7, 24—40.
- Парашкевов 1971 — *Парашкевов Г.* За произхода и историята на две думи в български език // *ИИБЕ.* 1972. Кн. 19, 425—428.
- Първев 1962 — *Първев Хр.* Турцизмите в «Огледало» (1816) на К. Пейчинович // *ИИБЕ.* 1962. Кн. 16, 521—530.
- Рачева 1971 — *Рачева М.* Ориенталски заемки в български език: Към етимологията на бекярин // *БЕ.* 1971. Кн. 5, 461—462.
- Рачева 1972 — *Рачева М.* Ориенталски заемки в български език // *БЕ.* 1972. Кн. 1—2, 104—105.
- Рачева 1974 — *Рачева М.* Начинание в изучаването на хронологията на турцизмите в български език (рец. на Stachowski 1971) // *БЕ.* 1974. Кн. 1, 80—85.
- Рачева 1974а — *Рачева М.* Ориенталски заемки в български език // *БЕ.* 1974. Кн. 3, 254—257.
- Рачева 1975 — *Рачева М.* Ориенталски заемки в български език // *БЕ.* 1975. Кн. 2, 138—143.
- Рачева 1976 — *Рачева М.* Ориенталски заемки в български език // *БЕ.* 1976. Кн. 1, 108—109.
- Романски 1929 — *Романски Ст.* Някои гръцки думи в български книжовен език // *БПр.* 1929. Т. 1, 277—281.
- Русев 1968 — *Русев Р.* Пуризмът на Богоров // *ИИБЕ.* 1968. Кн. 16, 547—552.
- Русек 1982 — *Русек Й.* Старите балкански заемствования в БЕ (названия на части на тяло) // *БалкЕз.* 1982. Кн. 1, 7—8.
- Русек, Рачева 1982 — *Русек Й., Рачева М.* К ранним тюркизмам в болгарском языке // *БалкЕз.* 1982. Кн. 2, 27—35.
- Селян 1983 — *Селян Е.* Коренът джур в български езикови среда // *Филология.* 1983. Т. 12—13, 137—139.
- Симеонов 1963 — *Симеонов Б.* Към въпроса за ранните латински заемки в старобългарски // *Славянска филология.* София, 1963. Кн. 10, 121—131.
- Симеонов 1964 — *Симеонов Б.* Влиянието на румънската лексика върху езика на Г. С. Раковски // *ИИБЕ.* 1964. Кн. 11, 345—356.
- Симеонов 1974 — *Симеонов Б.* К вопросу о субстратных фракийских элементах в болгарском языке // *Thracia.* София, 1974. Кн. 2, 313—330.
- Симеонов 1979 — *Симеонов Б.* Приносът на румънският език за формирането на българската възрожденска лексика // *Anale Universitatii — București. Limbi și literaturi.* 1979. Т. 28, 78—82.
- Скорчев 1943 — *Скорчев П.* Гръцката дума в нашата църква // *Български мисъл.* София, 1943. Кн. 7—8, 332—340.
- Скорчев 1943а — *Скорчев П.* Гръцковизантийските думи в нашия народен говор // *Български мисъл.* София, 1943. Кн. 4, 181—186.
- Скорчев 1947 — *Скорчев П.* Гръцкият глагол в нашия народен говор // *ЕиЛ.* 1947. Кн. 2, 19—22.

- Славянов 1944 — *Славянов Ив. Г.* Чужди думи в български език. София, 1944.
- Спасова 1965 — *Спасова А.* За някои еднакви елементи в българската и румънската морска рибарска терминология // БЕ. 1965. Кн. 4—5, 350—362.
- Спасова 1966 — *Спасова А.* Гръцки и турски елементи в българската морска рибарска терминология // БЕ. 1966. Кн. 4, 332—343.
- Спасова-Михайлова 1968 — *Спасова-Михайлова С.* Ролята на лексиката от чужд произход като фразеологичен компонент в български език // ИИБЕ. 1968. Кн. 16, 735—746.
- Стайнова 1964 — *Стайнова М.* За пейоризацията на турцизмите в български език // БЕ. 1964. Кн. 2—3, 183—185.
- Станков, Мурдаров 1983 — *Станков В., Мурдаров В.* Главоболия с чуждите думи. София, 1983.
- Стойков 1946 — *Стойков Ст.* Иван Богоров и чуждите думи в БЕ // ЕиЛ. 1946. Кн. 2, 5—12.
- Т.-Балан 1947 — *Т.-Балан Ал.* Нещо за гръцките заемки в български език // ЕиЛ. 1947. Кн. 2, 23—27.
- Филипова-Байрова 1963 — *Филипова-Байрова М.* Някои редки народни думи от гръцки произход в български език // Славистичен сборник. София, 1963, 149—153.
- Филипова-Байрова 1965 — *Филипова-Байрова М.* Към въпроса за произхода на думата *сурва* и обичая да се сурвакат // БЕ. 1965. Кн. 6, 515—518.
- Филипова-Байрова 1966 — *Филипова-Байрова М.* Лексико-семантични наблюдения върху гръцките заемки в български език // БЕ. 1966. Кн. 4, 314—321.
- Филипова-Байрова 1969 — *Филипова-Байрова М.* Гръцки заемки в съвременния български език. София, 1969.
- Филипова-Байрова 1980 — *Филипова-Байрова М.* Към въпроси за гръцките калки в българския език // Езиковедски проучвания в чест на академик В. Георгиев. София, 1980, 499—502.
- Цойнска 1968 — *Цойнска Р.* Думи от гръцки произход в «Рибния буквар» на П. Берон // ИИБЕ. 1968. Кн. 16, 539—545.
- Цонев 1921 — *Цонев Б.* Езикови взаимности между българи и ромъни. София, 1921.
- Цонев 1984 — *Цонев Б.* История на българския език. София, 1984. Т. 1—3.
- Чалъков 1966 — *Чалъков М.* Балканската дума *манатарка* // БЕ. 1966, 368—370.
- Bernard 1963 — *Bernard R.* Quatre mots bulgares d'origine roumaine // БалкЕз. 1963. Кн. 2, 33—37.
- Bernard 1970 — *Bernard R.* Le Bulgare *караканджо* «*sorte de loup garou*» et autre formes Bulgares issues du Turc *karakoncolos* // Изследвания в чест на академик М. Арнаудов: Юбилеен сборник. София, 1970.
- Dimitrova-Todorova 1982 — *Dimitrova-Todorova L.* Drei Balkanische Lehnwörter im Bulgarischen // БалкЕз. 1982. Кн. 2, 35—36.
- Granes 1970 — *Granes A.* Études sur les turcismes en bulgare. Oslo, 1970.
- Gutschmidt 1970 — *Gutschmidt K.* Zur slawisch-rumanisches Lehnwortkunde // Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1970. Bd. 1, 78—80.
- Mihăila 1979 — *Mihăila G.* Arominische Elemente in Bulgarischen // Revue des études Sud-Est Europe. București, 1979. Т. 2, 397—407.
- Mollova 1962 — *Mollova M.* Quelques lexèmes turks septentrionaux en g- ħ- dans les langues slaves meridionales // ИИБЕ. 1962. Кн. 16, 193—201.
- Mollova 1982 — *Mollova M.* Quelques turcismes en A dans les langues Serbocroate et Bulgare // БалкЕз. 1982. Кн. 2, 37—66.

- Schick 1992 — *Schick I.* Osmanish-Türkische Reflexionen in Balkanslawischen unter besonderer Berücksichtigung der Fraseologie und Lexikologie // БалкЕз. 1992. Кн. 1—2.
- Stachowski 1971 — *Stachowski St.* Studia nad chronologią turcyzmów w języku bułgarskiem. Kraków, 1971.
- Thaworis 1979 — *Thaworis A. I.* Greek Loanwords in Modern Bulgarien // Balkanstudien. Thessaloniki, 1979. Кн. 1, 15—53.
- Todorov 1986 — *Todorov T. Al.* Quelques mots bulgares dialectaux rares d'origines albanaise // БалкЕз. 1986. Кн. 1, 67—70.

АРЕНГА: СУДЬБА ЛАТИНСКОЙ ФОРМУЛЫ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Аренга (или экзордиум)¹ — элемент, унаследованный от античной риторической традиции. Этим термином принято обозначать начальную часть документа (в исследованиях по риторике — начальную часть текста), содержащую обобщенную мотивировку его написания (Bresslau 1912, 48), общее рассуждение философского характера² (Kantorowicz 1938).

Аренга более, чем другие части формуляра, выявляет связь западноевропейской канцелярской традиции, искусства написания документов (*ars dictandi*) со всей латинской образованностью в целом. Она была как бы элементом высокой риторики в тексте документа. По своему содержанию аренга не связана с практической стороной дела, излагаемого в документе, она не обозначала никакой юридической реальности и, с этой точки зрения, была в документе «излишней», декоративной частью. Единственная функция аренги — демонстрация официального статуса текста, демонстрация того факта, что предвараемый ею текст — полноценный документ, написанный нотарием, получившим соответствующую подготовку.

Аренга — формула, употреблявшаяся уже в позднеантичных документах и становившаяся время от времени предметом рассмотрения античных риторических трудов (см., например, сочинение Юлия Виктора, компилятора Ци-

¹ Связь с античной риторической традицией легче прослеживается для термина *экзордиум*. Эта связь эксплицируется в средневековых учебниках по *ars dictandi* (искусству написания писем и документов), в качестве примера такой экспликации можно привести определение экзордиума из *Ars dictandi Aureliansis*: «Exordium — ut aut tullius — est communis locus vel sententia...» (Rockinger 1969, 18). Термин *аренга* известен нам с более позднего времени, видимо, начиная с труда болонского юриста Гвидо Фабы (Bresslau 1912, 48; Faulhammer 1978), употребляется, видимо, приблизительно в том же значении, что и *экзордиум* и *провербиум* (Bresslau 1912, 49). Для обозначения соответствующей части документа в западноевропейской дипломатике используется обычно термин *аренга*.

² Аренгой в западноевропейской дипломатике обычно называют регулярно воспроизводимую сентенцию самого общего характера, мотивирующую не написание данного конкретного документа, а написание всех документов данного типа или документов вообще.

церона (V в.)), — представляет собой своего рода «признак документальности», признак включенности документа в определенную канцелярскую и культурную традицию.

Вступлению (экзордиуму, аренге) отводилось не менее трети всех теоретических рассуждений в средневековых пособиях по *ars dictandi* — автору пособия это давало возможность продемонстрировать свое знакомство с античной риторической традицией, с трудами предшественников. Для составителя конкретного документа использование аренги — повод проявить на практике свое риторическое мастерство или знакомство с престижными канцелярскими образцами. То, как употребляются аренги в той или иной канцелярии (насколько часто составляются новые аренги, из каких канцелярий заимствуются, сколь долго воспроизводятся), служит одним из важных показателей уровня развития этой канцелярии.

При сопоставлении восточнославянских документов с западноевропейскими аренга оказывается, таким образом, самым «западноевропейским» из всех элементов западноевропейского формуляра. Для восточнославянской канцелярской традиции, — в гораздо более слабой степени, нежели западноевропейской, ориентированной на книжную культуру и книжную ретику, не имевшей теоретических трактатов о написании документа, — нехарактерно употребление столь пространных риторических конструкций, не имеющих отношения к юридической прагматике документа. В исконном восточнославянском формуляре отсутствует начальный элемент, аналогичный аренге.

В то же время аренга все же присутствует в целом ряде восточнославянских документов, начиная со Смоленской грамоты 1229 г.; к началу XVI в. она усваивается юго-западнорусской канцелярской традицией и продолжает употребляться до первой трети XVII в. Присутствие аренги, элемента заведомо заимствованного, в восточнославянских документах — один из наглядных показателей контакта двух канцелярских традиций. Необходимость обмена документами, необходимость их перевода формировали один из важных каналов для языкового и культурного взаимодействия. Характер же перевода и распространения такой пространной и синтаксически сложной формулы, как аренга, может служить одним из значимых показателей степени близости и интенсивности этих контактов.

В Западной Европе аренги на различные темы, с разной композицией, были распространены уже в раннем Средневековье. Они известны в папских посланиях начиная с VIII века (Poole 1915, 41). Много примеров различных аренг встречается в коллекциях формуляров, служивших пособием для написания документов. Ни для раннего Средневековья, ни для более позднего времени нельзя строго ограничить круг типов документов, в которых встречается аренга.

Она есть в договорах об обмене супругов предбрачными дарами, в завещаниях, в отпусках на свободу (*ingenuitas*), но самые многочисленные примеры аренг встречаются в документах, фиксирующих дарение церкви (*donatio ad ecclesia, donatio ad casa dei*), в документах, фиксирующих передачу прав на пользование имуществом (*cessio*) — как правило, также в пользу церкви.

В документах этих двух последних типов распространены аренги с двухчастной композицией — первая часть содержит топос о временности и скоротечности земной жизни человека, во второй части объясняется, что вечную жизнь и вечное блаженство можно получить добрыми делами и жертвованиями (см., например: *Dum fragilitas humana generis petrimeseat ultimum vitae tempore subitanea transpositio eventura, oportet unumquemque hominem, ut non inveniant inparata sed de bonis operibus diligenter praescripto*). Такая двухчастная композиция аренг останется самой распространенной в течение всего их существования.

С XII веком связано начало нового периода в теории написания документов³ и, до некоторой степени, бытования и распространения западноевропейского формуляра. В частности, для аренги период со второй половины XII и до последней трети XIII в. — это своего рода золотой век (Fichtenau 1957). К XII в. относится целый ряд коллекций формуляров, содержащих наибольшее количество аренг. В это время аренга, употреблявшаяся в документах и раньше, становится особенно популярной, особенно широко распространенной. Эта популярность проявилась в двух направлениях. С одной стороны, в папских посланиях, в документах монастырей набирающих могущество орденов (особенно в документах цистерцианцев) появляется много новых аренг, редко повторяющихся, с разнообразными цитатами (Poole 1915, 174; Manteuffel 1955 146—147; Bielińska 1967, 118).

Кроме того, выявляется некоторый набор аренг, которые постоянно используются, варьируются и повторяются в документах епископских и светских канцелярий. Такого рода стандартные формулы и будут нас интересовать.

Прежде чем перейти к рассмотрению тех разновидностей общей модели аренги, которые впоследствии проникают на восточнославянскую территорию, отметим некоторые ее особенности как составной части документа XII—

³ Появление теоретических руководств по написанию документов, исходящих в первую очередь из Болоньи и Орлеана (Murphy 1974), вообще расцвет риторики документа, несомненно, стимулировал и развитие искусства написания экзордиумов, или аренг. Теоретические рассуждения о написании экзордиумов составляли не менее трети всей теоретической части ряда болонских учебников по *ars dictandi* (Faulhammer 1978). Сами эти учебники зачастую начинаются с аренг, весьма сходных с теми, которые встречаются в документах (см., например, труды Адальберта Самаритянина (MGH III, 28), Рогерия (Kantorowicz 1938, 231).

XIV столетия. Эти особенности аренги легко проследить на обширном западно-европейском материале, но они важны и для ее восточнославянского бытования.

Итак, во-первых, аренда — необязательный элемент документа: документ любого типа, который может быть написан с аренгой, может быть написан и без нее⁴.

Во-вторых, аренда тяготеет к постоянству темы — один и тот же топос может использоваться в аренге разных канцелярий на протяжении нескольких столетий⁵.

В-третьих, аренге свойственны одновременно устойчивость и вариативность — одна и та же аренда может устойчиво воспроизводиться в нескольких канцеляриях на протяжении деятельности нескольких канцлеров, но в то же время в одной и той же канцелярии под началом одного и того же канцлера один и тот же писец может использовать несколько вариантов этой аренги, более или менее отличающихся друг от друга, причем эти варианты могли быть заимствованы из каких-либо образцов извне, но могли быть и результатом собственного творчества составителя документа⁶.

С расширением латинского мира на северо-восток расширялась и сфера употребления общего формуляра, сфера употребления аренги. В перспективе усвоения аренги на Руси особенно актуальна специфика ее бытования в Германии и в Польше. В Польше, удаленной от центров теоретических разработок в области *ars dictandi*, период активного усвоения аренги приходится на конец XII—XIII вв., причем аренда усваивается вместе с западноевропейским общим формуляром. При этом распространенность, повторяемость и разнообразие аренг служит своего рода индикатором усвоения общего формуляра в целом.

⁴ В раннесредневековых коллекциях формуляров очень часто соседствуют два примера документа данного типа — с аренгой и без аренги. Ср., например, *Donatio ad ecclesia FSM* № 1 (a, b, c) — с аренгой, *FSM* № 2 — без аренги, то же происходит и в более поздних учебниках — ср., например, образцы привилегий в пособии Лудольфа из Гильдесгейма (3 примера с аренгой и 2 без (Rockinger 1969, 380—382). Так же и в реальной канцелярской практике — ср., например: из сохранившихся документов Польской великокняжеской канцелярии времен канцлера Конрада примерно треть донативных документов написана без аренги (Bielińska 1967, 101).

⁵ Примеров длительного использования конкретной аренги очень много, ср., например: аренда *dum vivit littera vivit et actio commissa littere cuis assertio nutrit memoriam et roborata suscipit incrementum* в великопольской канцелярии употребляется 36 раз на протяжении 1236—1348 гг. (Maleczyński 1938, 200—201, Bielińska 1967, 87, 119, 146—147). Эта же аренда встречается и в документах 1514 г. (KDW, 148, 200).

⁶ Так, при великопольском канцлере Конраде (1246—1257) использовалось по крайней мере шесть разновидностей аренг, две из которых раньше в документах не встречались (Bielińska 1967, 88).

В эту эпоху латинские аренги польских княжеств, как правило, используют топоры «время», «память», «письмо». Документов XII в. сохранилось совсем немного, но уже в дошедших до нас памятниках великопольской канцелярии первой трети XIII в. (правление князей Одонича и Ласкононого) встречается более 30 различных аренг, причем каждая из них повторяется в среднем 3—4 раза. К 40-м гг. XIII в. в наиболее значительных княжеских канцеляриях Польши сложился круг аренг, употребляемых более или менее регулярно. Так, в сохранившихся документах великопольской канцелярии встречается 16 наиболее употребительных аренг, причем аренга *Multi incommodis prudenter occurimus, cum aetatis nostre litterarum ac testium munimine roboramus* встречается 53 раза, аренга *Dum vivit littera vivit et actio comissa litterae, cuius assertio nutrit memoriam et roborata suscipit incrementum* — 38 раз, аренга *Humani generis actiones memoria perpetua indigentes plerumque ab hominum notitia dilabuntur, que scripturarum seu testium munimine non renovantur* — 19 раз, в малопольских канцеляриях аренга *Magnificia Principum celsitudine bravia digne retributionis premia merentur obtinere quos fidei puritas reddit gratos et acceptos; ubi enim per evidentiam fidele patet obsequium, ibi renumerationes dignissime proemium sit paratum* встречается 19 раз; в канцеляриях Силезии аренга *Universa negotia* повторяется 16 раз, а варианты аренги *Cuncta que geruntur vacillant facile nisi scripturae praesidio et testium amminiculo roborentur* — 10 раз; в кувявских и мазовецких канцеляриях аренга *Ne res gestas processus aboleat temporum opportunum est, ut eas confirmet solempnis titulos litterarum* встречается 15 раз (Maleczyński 1938).

Нередки заимствования аренг из одной польской княжеской канцелярии в другую, а также из епископских канцелярий в княжескую (Kętrzyński 1948, 7—8; Maleczyński 1935, 1938; Bielińska 1967). Появление новых канцлеров может сопровождаться появлением новых аренг, в то же время в большинстве канцелярий и, в первую очередь, в великопольской некоторые аренги употребляются на протяжении 150—200 лет (Maleczyński 1938; Bielińska 1967, 40—51).

Таким образом, бытование аренги в княжеских канцеляриях Польши принципиально ничем не отличается от ее бытования в государственных канцеляриях Германии, Франции, Италии. Как видно из приведенных примеров, тематика и структура аренг, используемых канцеляриями Польши, ничем не отличается от тематики и структуры аренг, используемых в других западноевропейских канцеляриях. В некоторых случаях польские нотариусы напрямую заимствуют аренги из пособий, но таких примеров известно сравнительно немного. В польских документах встречаются аренги из немецкого учебника Лудольфа из Гильдесгейма, из французского *Ars dictandi Aureliensis* Рудольфа Турского (ср. KDW I, № 65 и Rockinger, Briefs. № 100); из *Formulae Andegavenses* Бернарда из Менга (ср. KDW I, № 205 и Rockinger, Briefs. № 113);

еще из одного учебника, носящего название *Ars dictandi Aureliensis* (ср. KDW I, № 297, 372 и Rockinger, Briefs. № 113). Однако почти все эти заимствованные формулы, по-видимому, были не слишком употребительны в Западной Европе; довольно редко использовались они и в польских документах.

Характерно, что в каталоге наиболее употребительных аренг Германии, Франции, Италии, составленном Г. Фихтенау (Fichtenau 1957, 226—236), нет ни одной, совпадающей с теми, которые употреблялись в Польше XII—XIII вв.

Итак, хотя польскими канцеляриями зачастую заимствовались достаточно маргинальные образцы аренг, однако традиция составления аренг и их употребления была успешно воспринята; равным образом был заимствован и общий формуляр в целом.

Как мы видим, в польских светских канцеляриях успешно заимствовались некоторые образцы аренг, и, что гораздо важнее, была усвоена западноевропейская традиция составления документов, позволяющая, в частности, порождать новые аренги, соответствующие определенным риторическим стандартам. Усвоение этой традиции предполагало определенный уровень образованности нотариата и регулярные сношения с более развитыми латинскими канцеляриями и образовательными центрами.

В Польше влияние на княжеские канцелярии, особенно на ранних этапах существования, оказывали епископские и монастырские канцелярии, а также папская канцелярия. Епископские канцелярии возникли в Польше раньше княжеских; они были связаны с папской канцелярией, со светскими канцеляриями Германии и других государств. Составлением княжеских документов нередко мог заниматься сотрудник канцелярии епископа, заимствующий аренги из практики епископской канцелярии для составления светских документов. Так поступает, например, один из нотариусов познанской епископской канцелярии — каноник Герард (нотар. 1238—1244) (Kętrzyński 1948, 6—7).

Позднее, когда в княжеской канцелярии формируется собственный штат, там перестают употреблять заимствованные ранее аренги и заимствовать новые епископские аренги — так дело обстоит, например, в великопольской канцелярии при нотариусах Конраде и Михаиле (Bielińska 1967, 100—115).

В малопольской канцелярии 70-х гг. XIII в. употреблялось несколько аренг, ранее используемых краковской епископской канцелярией (Maleczyński 1938).

Монастыри различных орденов, в изобилии строившиеся в Польше с XI в., приносили с собой канцелярские традиции своих материнских обителей во Франции и Германии. *Stilus curiae* цистерцианцев, чья материнская обитель находилась на юге Франции, видимо, повлиял на стиль великопольской канцелярии.

В великопольской канцелярии 50-х—60-х гг. XIII в. продолжают употребляться аренги познанской епископской канцелярии (Bielińska 1967, 100—103, 105). В малопольских княжеских канцеляриях 70-х гг. XIII в. регулярно встре-

чаются несколько аренг, уже употреблявшихся в более ранний период краковской епископской канцелярией (Maleczyński 1938). В малопольских канцеляриях встречаются также две аренги, известные по документам папской канцелярии (Kętrzyński 1948, 11—12).

Часть персонала польских княжеских канцелярий (и не только выходцы из канцелярий епископов) получала образование во французских университетах и работала в монастырских канцеляриях Франции и Германии (Maleczyński 1935). По-видимому, многие силезские нотариусы также были выходцами из немецких канцелярий.

Начиная по крайней мере с конца XII в. в Польше появляются списки теоретических и практических руководств по *ars dictandi*: известен список труда псевдо-Альберика «*Dictandum radii*», относящийся к последним десятилетиям XII в.; список «*Summa dictaminis*» Томаса из Капуи, относящийся приблизительно к 1283 г.; наконец, список «*Summa dictaminum*» Лудольфа из Гильдесгейма, написанный во второй половине XIII в. (Bielińska 1967, 19—20). Как уже отмечалось, в польских документах есть следы влияния и других учебников *ars dictandi*. К. Малечиньски предполагает, что в Польше не позднее, чем с 30-х гг. XIII в. должны были существовать собственные пособия — сборники образцов документов и формул; первое дошедшее до нас пособие такого рода датируется 1283 г. (Maleczyński 1938; Kętrzyński 1948, 18).

Для нас особенно существенно, что одной из немногих широко употребляемых в Польше аренг, заимствованных в Германии, была как раз та аренга, перевод которой впоследствии фигурировал в древнерусской Смоленской грамоте 1229 г., а также во многих западнорусских документах. В документах великопольской и малопольской канцелярий она несколько раз встречается в вариантах учебника Лудольфа из Гильдесгейма или очень близких к ним. Ср.: *Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in lingua testium vel vivacis littere memoria conservari quatinus sic hominis calumpnia possit aliquatenus devitari, que plerumque solet benefactis novercari* (1230 KDM II, № 401); *Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in lingua testium et scripti memoria confirmari* (1233 KDM II, № 407); *ne ea que geruntur in tempore cum lapsu temporis labantur, solent poni in linquarum testimonium et scripti memori perhennari* (1252 KDW I, № 305; 1272 KDW I, № 447); *quoniam ea, que geruntur in tempore ne simul labantur cum lapsu temporis poni solent in lingua testium seu testimonia litterarum* (1293 KDW I, № 710).

В великопольской и малопольской канцеляриях эта аренга не становится самой распространенной, зато в документах, вышедших из канцелярий Силезии, она встречается 10 раз и является одной из трех наиболее распространенных силезских аренг. Она известна как в вариантах, довольно близких к образцам, представленным в учебнике Лудольфа, так и в вариантах, довольно

сильно отличающихся от этих образцов. Наиболее ранние из этих вариантов, возможно, вышли из канцелярии получателя грамот — монастыря на Пяске: *Que geruntur in tempore simul evanescent cum tempore nisi per litteras et voces sumant immobile firmamentum* (1230 Rockinger 1969, № 296, 365); монастыря в Новогруде: *ea que geruntur in tempore labi a memoria hominum solent simul cum tempore, nisi scripti vel testium fuerint munimine roborata* (1233 Rockinger 1969, № 425, 499). Напомним, что в это время (конец 20-х — начало 30-х гг. XIII в.) создается учебник Лудольфа, а в 1229 г. один из вариантов аренги, о которой у нас идет речь, попадает в Смоленскую грамоту, и различные варианты той же аренги постепенно внедряются в практику силезских княжеских канцелярий.

В 1250—1261 гг. при канцлере Оттоне (правление Генриха III) в практике вроцлавской канцелярии наша аренга окончательно утверждается в варианте *Que geruntur in tempore, ne sequantur naturam temporis, etternari solent memoria litterarum* (Rockinger 1969, № 725a, 775, 980, 998, 1102). В конце 60-х — начале 90-х гг. варианты этой же аренги пятикратно встречаются в документах вроцлавской и легницкой канцелярии (Maleczyński 1948). Из сказанного очевидно, что распространение различных вариантов этой аренги немецкого происхождения в Силезии, подвергшейся наиболее сильному влиянию немецкой канцелярской традиции, может объясняться как влиянием известного в Польше учебника Лудольфа из Гильдесгейма, так и влиянием образцов немецких документов, монастырских и светских. Впоследствии данная аренга была унаследована польской королевской канцелярией Владислава Локетка и Казимира III, откуда потом перекочевала в канцелярскую практику Ягеллонов (Maleczyński 1951).

Итак, аренга, перевод который мы обнаруживаем в договоре 1229 г. Смоленска с Ригой и Готским берегом (Смоленской грамоте 1229 г.), а также в многочисленных западнорусских документах, использующая самые популярные для средневековых аренг топосы: «время», «память», «письмо» — в XIII—XIV вв. была в разнообразных вариантах распространена по всему северо-востоку латинского мира. Приведем ряд вариантов этой аренги:

1. *Que geruntur in tempore ne simul labuntur cum tempore vel cum lapsu temporis poni solent in lingua testium vel scripturae memoria perhennari* (Rockinger, 380). *Que geruntur in tempore ne simul labuntur cum tempore, et de gestis hominum etiam laudabilibus de facili emergit dura calumpnia, nisi causa memoriae oblivia rerum per scripti memoriam auferatur* (Учебник Лудольфа из Гильдесгейма: Rockinger 1969, 381).

2. *Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in lingua testium vel vivacis littere memoria conseruari quatinies sic hominiscalumpnia possit aliquatenies dertari, que plerumque solet benefactis novercari* (KDM II, № 401, 1280).

3. *Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in lingua testium et scripti memoria confirmari* (KDM II, № 407, 1233).

4. Ne ea qui geruntur in tempore cum lapsi temporis labantur solent poni in linguarum testimonia et scripti memoria perhennari (KDW I, № 305).

5. Quoniam que in tempore aguntur labente tempore a memoria evanescent, nisi testimonio et scriptura perennata fuerint (KDW I, № 418).

6. Cuncta que in tempore vacillant facile nisi scripturae persidio et testium uminiculo firmiter fulciantur ad gestorum memoriam sempiternam.

7. Que geruntur in tempore simul evanescent cum tempore nisi per litteras et voces summant immobile firmamentum.

8. Ea que geruntur in tempore labia memoria hominum solent simul cum tempore, nisi scripti vel testium fuerint munimine roborata (Rockinger 1969, № 336, 425, 1233, 1237).

9. Que geruntur in tempore ne secruantur naturam temporis eternari solent memoria litterarum.

Русский средневековый документ исходно не предполагал в своей основе структурной схемы, подобной западноевропейской, опирающейся на определенную риторическую концепцию документа, и не содержал элемента, аналогичного аренге, поскольку последняя, как уже говорилось, была одним из наиболее характерных порождений этой концепции. В то же время русская канцелярская традиция, одним из основополагающих принципов которой была ориентация на образцы, была проницаемой для инокультурных влияний. Иными словами, там, где западноевропейские документы служили образцами для русских, оказывалось возможное заимствование и усвоение западноевропейского общего формуляра русскими канцеляриями.

Необходимо отметить, однако, что аренга была ярко выраженным элементом западноевропейской, именно латиноязычной культурной традиции. Появляющиеся в Германии и Франции XII—XIV вв. документы на национальных языках зачастую копировали формуляр латинских документов и сохраняли определенную преемственность по отношению к ним, но употребление в документе на национальном языке аренги, переведенной с латыни, был для западноевропейского Средневековья большой редкостью (Fichtenau 1957, 157—164).

На русской почве, парадоксальным образом, перевод аренги с латыни появляется раньше, чем в Западной Европе. Для того чтобы аренга была включена в состав русского документа, должен был быть создан русский текст этой формулы. На протяжении нескольких столетий этот текст создавался несколько раз заново на основании различных принципов и с использованием различных языковых средств.

Те случаи, когда для отдельного русского документа он создается путем специального перевода отдельного латинского варианта аренги, мы будем называть единичным заимствованием аренги. Об усвоении аренги мы считаем

возможным говорить в тех случаях, когда в канцелярской практике вырабатываются стандартные варианты русского текста этой формулы, использующиеся во многих документах, не всегда имеющих латинский параллельный текст.

На примере аренги (элемента заведомо заимствованного из сравнительно хорошо известных источников) можно подробно проследить один из путей проникновения инокультурного элемента в формуляр русского средневекового документа. Это возможно благодаря тому, что аренда употреблялась в западнорусских документах в первой трети XIII в. вплоть до последних десятилетий XVI в., причем в некоторые периоды достаточно интенсивно, и была, несомненно, усвоена западнорусской канцелярской традицией.

Почва для единичных заимствований аренги складывается в западных областях Руси уже в начале XIII в. К этому времени, с одной стороны, учащаются контакты западнорусских княжеств со своими польскими и немецкими соседями, а с другой — аренда в качестве элемента общего формуляра приобретает большую популярность в светских канцеляриях северо-восточной Германии и Польши и продолжает использоваться в папских, епископских и орденских документах католической церкви, распространяющей свое влияние на Восток.

Первый известный нам текст, содержащий восточнославянскую версию сразу двух формул европейского формуляра, аренги и промульгации, — договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г. «Смоленская грамота»: *Что са дѣють по вѣрьмьнемъ то шитидето по вѣрьмьнемъ приказано боудѣте добрымъ людѣмъ а любо грамотою оутвѣрждать* ^{аренга/промульгация} *како то будѣте всемъ вѣдомъ или кто послѣ живыи оштанѣтъ са* (СГ, список А, голландская редакция 1229 г.) *Что са въ которое вѣрема начнетъ дѣти то оутвѣржаютъ грамотою а быша са не забыли* ^{аренга/промульгация} *познаите на память держите нынѣшнии и по сѣмъ веремени боудоучи: кѣ комуу си грамота придетъ* (список Д, рижская редакция, 1270—1277) *а что са в кож врем начнет дѣ. ти то оутверживаите грамотою да быша ся не забывали* ^{аренга/промульгация} *познаите и памят держит* список Ф, рижская редакция, копия середины XIV в).

В довольно обширной филологической и исторической литературе, посвященной Смоленской грамоте 1229 г. (подробную библиографию см. СГ), вступительной части текста отводилось не много места. Некоторые, достаточно краткие, предположения о происхождении этой части документа высказывались исследователями XIX в. (Тобиен 1844), в работах XX в. можно, как правило, встретить лишь неполный пересказ этих уже существующих предположений (Борковский 1944; Ботяков 1949). Такое отсутствие интереса к вступительной части грамоты можно объяснить тем, что внимание исследователей в основном было сосредоточено на языке протографа этого текста: был ли это средненижне немецкий (Куник 1868), или один из протографов был немецким,

а другой — латинским (Голубовский 1895), или древнерусский текст был исходным (Борковский 1944; Ботяков 1949). Начальный текст грамоты, на первый взгляд, едва ли мог способствовать разрешению этого вопроса.

Рассмотрим существующие предположения о происхождении первой части. Лерберг указывает, что в основе начальной части текста лежит распространенное латинское выражение *Quum ea que quae fuint in tempore, labuntur in tempore*. Второй формулы (промульгации) он не вычленяет. Тобин (Tobien 1844, 53) делит вступление на две части и приводит для них следующие латинские соответствия: 1) для первой части — *Si quid memorabile temporaliter aguntur, ad succesive posteritatis memoriam scriptorum testimonia transperatur*, 2) для второй части — два варианта — *universis praesentiam paginum inspecturis* и *omnibus hoc visuris vel audituris*. Куник (Куник 1868, 417—418), процитировав версии Лерберга и Тобина (упомянув лишь первый вариант второй части), приводит также начальную часть текста торгового договора между Любеком и Ригой: *Universis christifidelibus presentem paginam inspecturis, consules et cives rigenses perpetua pace gaudere. Quonian ea que aguntur cum tempore labuntur cum tempore et, nisi scriptis et testimonio roborentur, memories hominum facillime excidunt et mutantur, unde notum esse volumus presentibus et futuris quod nos...* Самым существенным для А. Куника, отстаивающего версию о существовании средненижнемецкого оригинала текста, является то, как могла бы выглядеть эта начальная часть по-немецки. За пределами внимания исследователей остался, таким образом, ряд проблем, связанных с начальной частью текста Смоленской грамоты 1229 г.

Во-первых, благодаря своей вступительной части Смоленская грамота оказывается приобщенной к западноевропейской практике составления документов. Начальная ее часть соответствует не просто некоторым распространенным латинским выражениям, а таким элементам формуляра, которые были общими и популярными едва не для всей Западной Европы и переживали в начале XIII в. период все большего распространения и приобрели стандартную форму.

Во-вторых, появление этих формул на восточнославянской территории — отнюдь не единичный факт. Они были в течение достаточно долгого времени распространены в Юго-Западной Руси, а промульгация проникает и на северо-восток. Таким образом, употребление этих формул в Смоленской грамоте представляет собой начало некоторой традиции.

Наконец, не подвергался сколько-нибудь подробному анализу сам текст начальной части Смоленской грамоты. Некоторой отправной точкой, облегчающей такой анализ, может служить тот факт, что эта часть текста, безусловно, является переводом, а первоначальным источником этого перевода является латинский текст. Правда, нельзя полностью исключать возможность

того, что латинский оригинал сначала был переведен на немецкий язык и потом — с немецкого на русский, но нам не известны немецкоязычные документы того времени, содержащие немецкоязычную аренгу, поэтому мы в любом случае можем сопоставлять только латинские варианты аренг и промультгаций с имеющимся у нас русским текстом.

В то же время при анализе первоначального текста необходимо учитывать ряд его особенностей. Это, во-первых, специфический характер бытования исходных латинских формул. Каждая из этих формул представлена не отдельным выражением, как это делалось в указанных выше исследованиях, а множеством вариантов, причем интересующий нас текст может быть переводом как известного нам по другим документам варианта, так и варианта неизвестного, созданного самим переводчиком или почерпнутого из не дошедшего до нас образца.

Во-вторых, мы не можем говорить о стратегии переводчика, создававшего русский текст, как о чем-то известном и данном, мы не знаем, насколько он стремился к точности перевода, насколько владел латынью и русским языком, насколько он был причастен к какой-либо традиции написания документов и т. д.⁷ То, что нам известно о переводах с латыни того времени, не позволяет делать сколько-нибудь продуктивные выводы о нашем переводе. Кроме того, нужно принять во внимание, что в разных редакциях (готландской и рижской, а также в отдельных списках рижской редакции (D и F по изданию СГ) начальный текст несколько различается.

Рассмотрим синтаксическую структуру аренги латинской грамоты в ее соответствии с латинским вариантом аренги.

Все известные нам латинские варианты этой аренги представляют собой риторическую конструкцию из двух частей. С точки зрения синтаксиса первая часть этой конструкции во всех известных нам вариантах представляет собой конструкцию с придаточным определительным, причем придаточное присоединено всегда союзом *quae (que)* — см., например: *que geruntum in tempore ne simul labuntur cum tempore* — и в некоторых вариантах в главном предложении есть анафорическое местоимение *ea* (иногда *cuncta*), в других оно отсутствует. В русском тексте списков готландской редакции мы видим конструкцию с союзом «что» и анафорическим местоимением «то»: *что ся дѣеть^{no} върьмень то штидѣто по върьмень*. Синтаксическая конструкция русского текста, таким образом, почти буквально соответствует синтаксической

⁷ Ни у одного из приведенных в упомянутых исследованиях выражений (см. выше) набор лексем не соответствует полностью тексту Смоленской грамоты. Кипарский полагает (Kiparsky 1939, 1960), что автор текста Смоленской грамоты хорошо владел русским языком, но родным его языком был немецкий.

конструкции одного из наиболее распространенных латинских вариантов аренги, только определительное придаточное предшествует главному предложению, а не встроено в него, как в латинской конструкции.

В латинском оригинале эта синтаксическая конструкция из главного предложения и придаточного включена в другую синтаксическую конструкцию. Некоторая невразумительность русского текста аренги в списках готландской редакции объясняется, видимо, тем, что переводчик не вполне усвоил синтаксическую конструкцию оригинала или не нашел адекватных средств для ее передачи и при переводе просто опустил существенный для ее построения элемент (или элементы). Мы можем представить исходную синтаксическую конструкцию лишь в виде набора возможных вариантов и для утраченного элемента, соответственно, предложить также ряд вариантов.

1) С наибольшей вероятностью это могла быть сложноподчиненная конструкция с союзом *nisi* (см., например: *Que geruntur in tempore simul evanescent cum tempore nisi per litteras et voces summant immobile firmamentum* — в этом случае при переводе был опущен союз *nisi*).

2) Это могла быть также сложносочиненная бессоюзная конструкция, в первой части которой в одной из возможных позиций была частица *ne* (*ne*), относящаяся к глаголу со значением ‘исчезать, уходить, проходить’. Ср., например: *Ne ea que geruntur in tempore cum lapsi temporis labuntur, solent poni in linguarum testimonio et scripti memoria perhennari* и *Ne ea que geruntur in tempore ne simul labuntur in tempore, solent poni in lingua testimonio, et scripti memoria perhennari* — в этом случае при переводе была пропущена частица *ne*.

3) Это могла быть сложносочиненная конструкция с союзом *autem* (‘но, напротив’), хотя известные нам латинские варианты с такой аренгой довольно существенно отличаются по своему лексическому составу от аренги готландской редакции. Ср., например: *Que aguntur in tempore simul labuntur cum tempore autem negotia signata litteris vivient et a sue firmitatio constantia non recedit*.

Возможно, что в основе исходного латинского текста аренги лежала другая, неизвестная нам по имеющимся вариантам синтаксическая конструкция, но в любом случае в ней должно было быть выражено противопоставление временности того, что происходит во времени и ничем не засвидетельствовано, и вечности того, что записано и закреплено свидетельством, — то противопоставление, которое никак не выражено в аренге списков готландской редакции: *Что сѧ дѣють по вѣрьменьѧ то стидето по вѣрьменьѧ / приказано боудѣте добрьмь людѣмь а любо грамотою оутвѣрдають*.

В списках рижской редакции текст аренги выглядит иначе: *Что сѧ въ которое вѣрьма начнетъ дѣяти то оутвѣржають грамотою а быша сѧ не забыли* (список D, 1270—1277 г.). Существуют, по крайней мере, две возможные причины этих различий. Во-первых, возможно, что при написании текстов

разных редакций были использованы разные исходные латинские варианты аренг. Но дело в том, что нам неизвестны примеры латинского варианта со сколько-нибудь сходной синтаксической структурой и с такой смысловой последовательностью частей. Риторическая схема рассуждения в аренге предполагает, что в первой части речь идет о том, что все временное забывается (или — удивительным образом — не забывается), а во второй указывалось, как избежать этого забвения (или почему не происходит забвения). В русском варианте рижской редакции эта схема нарушена, риторическая стратегия оказывается совсем иной, аренга просто сообщает, что дела принято закреплять письменно и указывает, с какой целью это делается — чтобы не забыли. Нам представляется более вероятным следующее объяснение столь существенного различия. В основе текстов обеих редакций лежал один и тот же латинский вариант, но автор текста готландской редакции стремился перевести текст пословно, но не всегда располагал средствами, необходимыми для построения аналога латинской синтаксической конструкции. Автор же рижской редакции, хорошо понимавший латинский текст и не чуждый русской книжной образованности (он вводит в текст аренги оптативную конструкцию с глаголом *быти* в форме аориста — *а быши ся не забыли*)⁸, пошел не по пути калькирования конструкции оригинала, а по пути передачи общего смысла, как он его понимал. Изменив структуру предложения, опустив некоторые элементы⁹, он создал законченную синтаксическую конструкцию с прозрачным смыслом (список F).

Нам слишком мало известно о том, кто и как занимался написанием документов в Смоленске, чтобы мы могли делать более подробные выводы о взаимодействии канцелярских школ, о том, насколько тесным и регулярным было это взаимодействие.

Важнейшим центром соприкосновения западноевропейской и русской канцелярских традиций, о котором известно существенно больше, было Галицко-Волынское княжество, диалект которого лег в основу западнорусского делового языка (Kuraszkewicz 1934, 5—8; Stang 1935, 6—7; Kuraszkewicz 1937, 57; Золтан 1987, 14—16). Теснейшие политические и культурные контакты Волыни и Галича с Польшей уже в конце XII — начале XIV вв. давали возможность местным составителям документов познакомиться с образцами

⁸ Это употребление аориста в списках рижской редакции дает основание Кипарскому (Kiparsky 1960) предполагать, что составителем этой редакции текста был русский, знакомый с церковнославянской книжностью, а не немец, пусть даже хорошо владеющий русским языком.

⁹ Были опущены: элемент, связанный со вторым упоминанием времени (*in tempore? cum tempore? temporaliter?*), а также элементы, связанные с упоминанием неписьменного свидетельства (*voce testimonie? testimonie? testium?*)

латинских документов, исходящих из канцелярий Владислава Ласкононого, Лешка Казимировича, Конрада Мазовецкого, Болеслава Поботного, а также польского короля Владислава Локетка. В этих канцеляриях, как уже отмечалось, активно использовалась аренда. Галицко-волынским князьям отправлялось довольно много папских посланий, написанных на латыни (KDW I, № 30—31, 61—60, 67, 68, 68—69, 84—85); в одном из сохранившихся имеется аренда: *Liberalitatis laudabile genus est, ut, qui se beato Petro et sanctae Romanae ecclesiae humili devotiae beneficia sortiantur* 1231 (KDW I, 267).

Очевидно, что при княжеском дворе уже в XIII в. должны были находиться люди, умеющие читать латинские документы, исходящие из духовных и светских канцелярий и знакомые с западноевропейской канцелярской традицией. Соприкосновение с этой традицией вызвало появление в Галицко-Волынской летописи XIII в. некоторых элементов папской и латинской социальной и дипломатической терминологии (Генсерский 1969). К началу же XIV столетия при княжеском дворе уже существовала собственная латинская канцелярия, известная нам по трем сохранившимся документам: грамоте Андрея и Льва, «князей всей земли русской, Галицкой и Волынской» (Срезневский 1893—1912, 173—174), грамоте Андрея, князя Владимирского торунским гражданам с предоставлением прав беспошлинного ввоза товаров и торговли ими в его земле, грамоте 1325 г. владимирского князя Юрия Андреевича на имя магистра Вернера с обещанием оставаться с ним в дружеских отношениях (Срезневский 1893—1912, 185). Составители этих грамот демонстрируют знакомство с латинским общим формуляром, но ни один из этих документов не содержит аренды. Это может быть объяснено, с одной стороны, тем, что аренда в документах большинства жанров являлась элементом факультативным и могла просто не встретиться в дошедших до нас документах галицко-волынской канцелярии. С другой стороны, употребление аренды — принадлежность высокоразвитой канцелярии, каковой латинская канцелярия галицко-волынских князей к началу XIV в., по-видимому, еще быть не могла.

Подлинных русских галицко-волынских грамот XIII — начала XIV вв. не сохранилось. Три известные по Галицко-Волынской летописи грамоты (две — волынского князя Владимира Васильевича 1288 г. (ПСРЛ II, 903—904) и одна — галицкого князя Мстислава Даниловича 1299 г. (ПСРЛ II, 932)) имеют древнерусский начальный формуляр. Три грамоты галицкого князя Льва Даниловича (1264—1301), известные в позднейших копиях, с большой вероятностью аутентичных (Генсерский 1969), также имеют древнерусский начальный формуляр (тексты этих грамот см. Генсерский 1969, 177—178). Эти данные позволяют сделать вывод о том, что к началу XIV вв. в русской галицко-волынской канцелярии ориентировались на традиционные древнерусские образцы (Золтан 1987, 86).

Новый этап контакта двух канцелярских традиций начинается с присоединения в 1349 г. Галицкой Руси к Польше. Галицкая земля оказалась под властью польского короля Казимира III, но не вошла в состав Польши, так как по договору с Венгрией должна была управляться отдельно. Особый статус Галицкой земли при Казимире III выразился, в частности, в сохранении особого государственного и административного языка этой области. По предположению В. Курашкевича, в польскую королевскую латинскую канцелярию был принят человек, знающий традиции галицко-волинского делопроизводства (Kuraszkewicz 1934, 5).

В середине XIV в. аренда, утратившая свою популярность в епископских и монастырских канцеляриях Польши, продолжает широко использоваться в польской королевской канцелярии (Bielińska 1967, 167). В канцелярии Казимира III употребляются аренды, унаследованные из княжеских канцелярий XIII в. и канцелярии Владислава Локетка, а также вводится в оборот несколько новых аренд. Самыми популярными среди них были следующие: *Cunctorum perit memoria factorum, nisi scripture presidio vel testium ameniculo fuerint insignata* (KDWSN, № 69, 73, 74, 79; KDW II, № 315, 317, 341); *Humani generis actiones memoria perpetua indigentes plerumque ab hominum noticia dilabuntur, que scripturarum seu testium munimine non renovantur* (KDWSN, № 58, 80, 82; KDW II, № 301, 324, 350); *Cum inter humana naturae commoda nihil dignius memoria habeatur oportunitate existit ut, ea, que principum decrevit auctoralis litterarum apicibus fide dignorumque testimonio perhennetur ne lapsu temporis evanescant* (KDWSN, № 59, 64; KDW II, № 355, 357, 364).

В 1372—1378 гг. Галицкая Русь была передана опольскому князю Владиславу в качестве венгерского лена. Документы от имени этого князя писались и на «русском» (отражающем галицкую диалектную основу) языке, и на латыни. Документы латинской канцелярии опольских князей известны с середины XIII в.; по своим предпочтениям в выборе аренд эта канцелярия тяготела к вроцлавской (Maleczyński 1938). В документах этой канцелярии конца XIII — конца XIV в. повторяются несколько раз следующие аренды: *Cuncta que geruntur in tempore, ne pariter videantur labi cum meatu temporis eternari solent testimoniorum amminiculo et litterarum presidio ad gestorum memoriam perpetuam et perhennem* и *Quoniam annorum revolutione et personarum successione statuta priorum nonuumquam deflunt et nobiscum sepeliuntur, provida discretione data sunt scripta, ut et labenti memorie valeant reserve*. В единственной сохранившейся в подлиннике русской грамоте этого князя используются элементы латинского общего формуляра, употреблено несколько латинско-польских канцелярских терминов (Золтан 1987, 16), но аренды в этом документе нет.

Итак, в период с конца XII до середины XIV в. соприкосновение западных областей России с латинским миром становится более тесным, возникает не-

обходимость обмениваться документами. При княжеских дворах появляются люди, в той или иной степени знакомые с двумя канцелярскими традициями, русской и западноевропейской. В Галицкой Руси к началу XIV в. складывается ситуация параллельного существования русской и латинской канцелярий, наиболее благоприятная для заимствования элементов общего формуляра. Уже в XIII в. становится возможным, в частности, единичное заимствование аренги; примером такого заимствования является Смоленская грамота 1229 г.

Однако в это время аренга еще не становится элементом, усвоенным западнорусской канцелярской традицией. Вообще аренга принадлежит, по всей вероятности, к числу формул, медленно осваиваемых канцеляриями, ведущими делопроизводство на национальных языках. Так, в немецкой императорской канцелярии она усваивается на полтора века позже промюльгации (Fichtenau 1957, 19). Для того чтобы аренга стала регулярно употребляться в документах, создаваемых на национальном языке, необходимо длительное сосуществование латинской и национальной канцелярий и достаточно высокий уровень подготовки персонала в обеих.

Ситуация длительного сотрудничества двух канцелярий складывается с 1386 г., когда литовский великий князь Ягайло, женившись на младшей дочери умершего короля Польши и Венгрии Ядвиге, становится польским королем. К этому времени Литва уже покорила значительную часть восточнославянской территории. Языком частных документов на этих захваченных территориях остается русский, основанный на местных южноукраинских и белорусских говорах (Соболевский 1980, 70), а поскольку литовские завоеватели не имели собственной письменности, то в формирующейся литовской великокняжеской канцелярии используется русский деловой язык на южноукраинской (галицкой) диалектной основе; впоследствии, ко второй половине XV в., в великокняжеских грамотах берут верх черты белорусского языка (Stang 1935, 50—51; Золтан 1987, 17).

В то же время в Великом Княжестве Литовском формируется собственная латинская канцелярия, изначально тесно связанная с польской королевской канцелярией (Kochman 1969, 111). Русская и латинская канцелярии взаимодействуют друг с другом, причем латинские документы уже на ранних стадиях взаимодействия двух традиций являются престижными образцами для русских (Соболевский 1980, 71; Stang 1935, 132—141; Золтан 1987, 18—19).

Мы располагаем очень небольшим количеством документов, которые были бы одновременно написаны на русском и латинском языках (часто один из параллельных текстов составлялся существенно позже другого, при подтверждении документа), но сохранилось довольно много групп документов одного и того же жанра, часть из которых написана по-латыни, а часть — по-русски.

Эти документы являются основным материалом при исследовании истории аренги в западнорусском деловом языке.

Необходимо отметить, что на всем протяжении истории Великого княжества Литовского употребление аренги в документах на русском языке связано с княжескими канцеляриями, в первую очередь с литовской великокняжеской и польской королевской.

Аренга проделывает путь из западноевропейских латинских канцелярий (чаще государственных, иногда, возможно, монастырских) в латинскую канцелярию Великого княжества Литовского, оттуда попадает в русскую великокняжескую канцелярию, и только из великокняжеской канцелярии — в весьма ограниченный круг частных документов, написанных на русском языке. Таким образом, бытование аренги в русских текстах не подкреплено воздействием независимых от местной государственной канцелярии источников, которое было столь существенно при распространении аренги, скажем, в Польше.

История употребления аренги в Великом княжестве Литовском может быть разделена на три периода:

I) конец XIV — 80-е гг. XV вв. — аренга регулярно употребляется в латинских документах, известны отдельные случаи употребления аренги в русских текстах.

II) 90-е гг. XV в. — 30-е гг. XVI в. — аренга регулярно употребляется в латинских и русских документах, вырабатываются стандартные варианты русского текста аренги.

III) вторая половина XVI в. — встречаемость аренги как в латинских, так и в русских документах постепенно уменьшается.

Рассмотрим особо каждый из этих периодов.

I. Документы князя Ягайла, ставшего в 1386 г. королем Польши, составляются в польской королевской канцелярии в соответствии со сложившейся в ней традицией. В его документах встречается аренга *Dum vivit littera, vivit et accio comissa littere cuius assercio nutrit memoriam et labiles semper perpetuam acciones* (KDWSN, № 148, 152), известная в Польше с 40-х гг. XIII в., со времен великопольского нотариуса Михаила; аренга *Quia tum multis errorum et dubiorem incommodis prudenter occurimus, dum gesta etatis nostre litterarum munimine et annotatione perhennamus* (KDWSN, № 137, 149), известная со времен Владислава Локетка (KDW II, № 87, 91) и употреблявшаяся во времена Ягайла и в архиепископских документах (KDWSN, № 136).

Собственные канцелярии Великого княжества Литовского, латинская и русская, формируются при Витовте (1386—1434), великом князе литовском. Персонал латинской канцелярии составляли поляки, обучавшиеся, видимо, в польской королевской канцелярии (Kochman 1969). В дошедших до нас ла-

тинских документах Витовта мы наблюдаем следующую картину: из 24 документов аренгу содержат восемь (Vitoldiana, № 9, 1388 г.; № 10, 1393 г.; № 19, 70, 1407 г.; № 182, 1408 г.; № 72, 1409 г.; № 27, 1415 г.; № 30, 1417 г.). Три аренги повторяются по два раза: *Cum inter humana naturae commoda nihil dignius memoria habeatur oportunum existit ut ea, quae principum decrevit auctoralis litterarum apicibus fide dignorumque testimonio perhennetur ne lapsu temporis evanescant* (№ 182, 1408 г.; № 72, 1409 г.); *Cum humana memoria ex successu temporum et varietate existat labilis et caduca nisi litterarum robore pro preteritorum reminiscencia futuris firmiter roboratur...* (№ 19, 70, 1407 г.); *Cunctorum hominum labilis perit memoria solent igitur scripture ac litterarum testimonio perhennare* (№ 9, 1388 г.; № 10, 1393 г.). Таким образом, в латинской канцелярии Витовта аренги функционируют так же, как в западноевропейских латинских канцеляриях. Первый из приведенных вариантов аренги был популярен в Польше еще во времена Казимира III (KDWSN, № 59, 64; KDW II, № 355, 357, 364); два других довольно близки к вариантам, употреблявшимся в Польше с XIII в.

Не сохранилось документов на русском языке, исходящих из канцелярии самого Витовта и содержащих аренгу, но существует такой документ, вышедший из русской канцелярии князя Свидригайла Ольгердовича, постоянно-го соперника Витовта в борьбе за литовское великое княжение. Это жалованная грамота на имение, данное Драгосиновичу, написанная в 1424 г.: «Рѣчи которыи жъ въ часу бывають ажбы не проминули съ проминучными часы надобно есть имѣли бы прыйти къ будучей знаемости ажбы въчностію листовъ были потверждены» (АЮЗР I, № 15). В документе указано, что он «вышелъ изъ рукъ подскарбья Ивашка а писать Ванька». Должность подскарбьего (*tesaurarii*) при дворах литовских князей XV в. традиционно совмещалась с должностью писаря или канцлера русской канцелярии.

Возможно, у Свидригайла, имевшего постоянные контакты с немецким орденом и с Венгрией, была уже в 1424 г. собственная латинская канцелярия, из документов которой был заимствован образец аренги. Правда, единственный сохранившийся латинский документ этого князя относится к периоду после смерти Витовта, когда Свидригайло выступал в роли великого князя литовского и мог непосредственно пользоваться услугами великокняжеской канцелярии. В этом документе была аренга *Quia tunc multis eorum et dubiorum incommodis prudenter occurimus, dum gesta aetatis nostrae litterarum apicibus et testium annotationibus perhennamus* (Д-3, № 8, 1234—1235 гг.). Возможно, образцом для аренги документа 1424 г. послужила аренга из какого-либо документа немецкого ордена. Действительно, аренга жалованной грамоты Драгосиновичу не может быть названа сколько-нибудь точным переводом одной из известных нам аренг Витовта или Свидригайла, она ближе к варианту аренги из Смоленской грамоты 1229 г., к варианту, встречающемуся в ор-

денских документах рубежа XIV—XV вв.: *Que geruntur in tempore ne labuntur simul cum tempore poni solent ad perpetua memoria*. Но поскольку эта аренда к XV в. была элементом общего формуляра, популярным на всем севере Европы, в том числе и в Польше, различные ее варианты могли употребляться в не дошедших до нас латинских документах литовских князей, поэтому в качестве источника заимствования, строго говоря, должен быть назван западноевропейский общий формуляр.

Русский текст аренды изобилует лексическими полонизмами, что для документов литовской великокняжеской канцелярии традиционно объясняется посредством польского разговорного языка (носителями которого были польские сотрудники латинской канцелярии) при переводах с латыни (Золтан 1987, 17—19; Kochman 1969). Видимо, часть этих полонизмов (*рѣчь* в значении ‘дело’; *листъ* в значении ‘документ’, ‘запись’, ‘litterae’), регулярно употреблявшиеся в западнорусских документах уже в XIV в. (Kochman 1969), к XV в. стали элементами собственно западнорусского делового языка и свободно использовались русскими писцами вне связи с польским происхождением этих элементов.

Текст аренды в документе Свидригайла так же, как текст аренды в Смоленской грамоте 1229 г., несколько невразумителен из-за нехватки у переводчика навыков для передачи сложной синтаксической конструкции оригинала; для передачи выраженных в оригинале отношений условно отрицательных, долженствования...

Необходимо отметить появление в русском тексте аренды местоимения *который* в функции союзного слова в придаточном определительном: «Рѣчи которые жь въ часу бывають ажбы не проминули съ проминучными часы...» Употребление местоимения *который* в этой функции в текстах Московской Руси зафиксировано не ранее конца XVI в. и связывается с польским и западнорусским влиянием (Стеценко 1977, 249, с указанием литературы). В западнорусских текстах такое употребление союзного слова *который* фиксируется с начала XV в. (Стеценко 1977, 250); в конце XV — начале XVI в. именно *который* регулярно употребляется в этой функции в западнорусских текстах аренд (см. ниже), где оно, как и в документе 1424 г., используется для передачи латинского союза *que*. Этот союз мог также передаваться как *что*. Возможно, распространение полонизированного варианта придаточного определительного с *который* в западнорусских деловых текстах, а позднее и в текстах Московской Руси происходит не без влияния его регулярного употребления в аренде — часто воспроизводимой формуле.

Аренда продолжает употребляться в канцелярии литовских великих князей после смерти Витовта. Мы уже упоминали о таком документе Свидригайла Ольгердовича (Д-3, № 8). Сохранился также документ Казимира IV (1439—1482), составленный до того времени, как Казимир сделался польским

королем, и исходящий из канцелярии Великого княжества Литовского: *Universa negotia quae fiunt apud homines praecedente causa temporis vacillantur nec rerum gestorum memoria decursum temporis depereat, sapiens tunc introduxi et consuetudo laudibilis approbavit, ut ea quae geruntur in tempore ad aeternae rei memoriam scripturarum appicibus testimonio et sigillarum munimine roborentur* (Д-З, № 13). Эта сложная аренга, составленная из нескольких частей, часто употреблявшихся по отдельности в более ранних польских документах (см. KDW I, № 365, 418, 384, 401), нигде ранее не была зафиксирована в таком виде. Она, очевидно, составлена в самой латинской канцелярии Великого Княжества Литовского. Отдельные выражения из этой аренги появляются в более поздних русских аренгах Великого Княжества Литовского; ср.: *sapiens introduxi* — «найдено есть вчоными» (Д-З, № 13; Леон., № 728, 748); «смысленностью рады найдены суть учеными» (АЮЗР I, № 80); «смысленностью рады уставлено есть» (Леон., № 534).

Сохранился и документ Казимира IV, исходящий из русской канцелярии Великого княжества Литовского и содержащий аренгу. Это грамота 1457 г. об уравнении в правах русского и жмудского населения с польским. Она сохранилась в двух позднейших списках Литовской метрики (1563—1565) в следующих вариантах: «Вси рѣни которыи жъ бывають отъ людской памяти отходят ани потомъ к памяти могут приведены быти олижъ письмомъ имають подтверждены быти» (АЗР I, № 61а), «все што ся дѣеть подъ часомъ сходить с памяти людскоѹ посполу с часомъ и не может прыйти в знаимость потомъ будчимъ не будетъ ли заховано на письмѣ» (АЗР I, № 61а).

Видимо, латинский вариант аренги, лежащий в основе этого текста, близок к латинскому варианту грамоты 1424 г. князя Свидригайла и Смоленской грамоты 1229 г. Расхождения между имеющимися в нашем распоряжении позднейшими списками касаются, прежде всего, традиционно напряженных случаев передачи латинских синтаксических конструкций аренги: того, как вводится придаточное определительное предложение (в списке Литовской метрики: «Вси рѣчи, которыи...») — в кодексе Дзялыньских: «все што...») и в передаче условной конструкции.

Итак, в период с 1386 до 1492 г. латинская канцелярия Великого княжества Литовского с точки зрения употребления аренг (равно как и усвоения общего формуляра в целом) принципиально ничем не отличается от других западноевропейских светских канцелярий. В выборе вариантов аренги ее сотрудники тяготеют к образцам польской королевской канцелярии.

II. Эпоха Александра (1492—1506) и Сигизмунда I (1506—1544) была временем наибольшего распространения аренги в документах Великого княжества Литовского. В правление Александра латинская канцелярия полностью сформировалась как самостоятельная структура (Kochman 1969), в ее

документах продолжают употребляться варианты аренг, унаследованные от польской королевской канцелярии, но появляются и собственные, регулярно воспроизводимые варианты общезападноевропейских моделей. Количество документов, исходящих из великокняжеской латинской канцелярии, заметно возрастает по сравнению с предыдущей эпохой.

В этот же период стандартизируются документы, выходящие из русской канцелярии. С одной стороны, происходит нормализация языка этих документов, который переживает период «классической формы» (Stang 1935, 150). На протяжении XV в. диалектная база западнорусского языка сместилась от южноукраинских говоров к севернобелорусским, но при этом оказались не включенными в норму такие белорусские особенности, как аканье, яканье, дзеканье — те, что были целиком чужды украинскому языку. Лексика пополняется, в основном, заимствованиями из польского языка (Stang 1935, 68—114; Золтан 1987, 20—21). В целом же западнорусский язык приобретает наддиалектный характер, делающий его пригодным для использования в качестве официального языка для всего украинского и белорусского населения.

С другой стороны, происходит стандартизация формуляра документов, исходящих из официальных канцелярий. Одним из путей этой стандартизации было следование образцам, выходящим из латинской канцелярии. Происходит усвоение тех элементов западноевропейского общего формуляра, которые и раньше встречались в западнорусских документах. Некоторые из этих элементов, например промульгация, к концу XV в. практически уже стали частью западнорусского формуляра, употреблялись в документах самых разных жанров, как исходящих из великокняжеской канцелярии, так и не связанных с ней; эти элементы используются уже вне зависимости от ориентации на латинские тексты. В эпоху Александра лишь собираются и закрепляются стандартные варианты этих формул. Аренга же всегда употребляется исключительно в документах, связанных с великокняжеской канцелярией, хотя и не обязательно официальных, причем если до 90-х гг. XV в. аренга здесь употреблялась лишь эпизодически, то во времена Александра и Сигизмунда I в документах определенных жанров она появляется достаточно регулярно.

Значительное количество материалов этой эпохи позволяет выявить некоторые закономерности бытования аренги. Видимо, ее употребление в русской канцелярии связано с документами тех жанров, для которых существовали латинские образцы. Иными словами, конкретный документ мог содержать аренгу, во-первых, если он составлялся параллельно в русской и латинской канцеляриях и, во-вторых, если у этого документа не было непосредственной латинской параллели, но документы этого жанра в латинской канцелярии, вообще говоря, составлялись. Рассмотрим конкретные группы текстов, русских и латинских, в которых аренга употреблялась достаточно часто.

Во время правления Александра и Сигизмунда многим населенным пунктам Великого княжества Литовского было предоставлено магдебургское право. Сохранился ряд латинских и русских документов о его пожаловании. Они включались в состав Литовской метрики, хранились и копировались в городских архивах, использовались в судах. При этом привилегии («привилеи») о пожаловании магдебургского права составляют особую, с точки зрения употребления аренды, группу документов, так как во всех известных нам документах этого типа в Великом княжестве Литовском — как времен Александра и Сигизмунда, так и предшествующей эпохи — аренда всегда имеется. Обыкновенно в западноевропейских канцеляриях аренда была факультативным элементом документа, но в текстах определенного типа она могла встречаться достаточно регулярно.

Традиция обязательного употребления аренды при написании привилеев на магдебургское право сложилась в Великом княжестве Литовском, по всей видимости, еще в начале XV в. — все известные ранние латинские тексты привилеев написаны с арендой: Берестею 1408 (Д-3, № 3); Литовиту 1434—1437 (Д-3, № 8); Берестею 1440 (Д-3, № 15).

Во время царствования Александра и Сигизмунда I возросло число городов, которым давалось магдебургское право, кроме того, существовал обычай подтверждения привилегий («привилеев») прежних царствований по просьбе жителей городов. Традиция писать латинские тексты новых и подтверждающих привилеев с арендой сохраняется; см. привилеи Высокому 1494 г. (Д-3, № 25); Дорогочину 1499 г. (Д-3, № 59); Бельску 1499 г. (Леон., № 501); Мельнику 1500 г. (Леон., № 606); Берестею 1505 г. (Д-3, № 87); Лосичам 1505 г. (Леон., № 699), 1508 г. (Д-3, № 88); Нареву 1529 г. (Д-3, № 179). Очевидно, обычай писать привилеи на магдебургское право с арендой сохранялся и позже; ср. привилей Могилеву 1578 г. (БАДГ, № 12).

Привилеи на магдебургское право, написанные в русской канцелярии, видимо, в значительной степени следовали соответствующим латинским текстам. Институт магдебургского права был для Великого княжества Литовского заимствованным, и традиция написания обслуживающих этот институт документов была воспринята латинской королевской канцелярией Польши из латинских немецких канцелярий. При Витовте эта традиция была перенесена выходцами из польской канцелярии в латинскую канцелярию Великого княжества Литовского; все сохранившиеся тексты ранних привилеев на магдебургское право для городов Великого княжества Литовского написаны полатыни — ср. два привилея Берестею 1408 г. и 1440 г. (Д-3, № 3, 16); Литовиту 1434—1437 гг. (Д-3, № 8); Высокому 1494 г. (Д-3, № 25).

Можно предположить, что составление русских текстов таких привилеев вошло в обычай только во времена правления Александра; первый известный

нам русский документ такого рода, вышедший из русской канцелярии, относится к 1498 г. (это привилей Полоцку, АЗР I, № 159). Поскольку никакой собственно восточнославянской традиции написания таких привилеев существовать не могло, составитель русского текста был максимально ориентирован на латинский образец привилея. Похоже, что при составлении части русских текстов привилеев использовался один и тот же русский перевод латинского образца.

Влияние протокола латинского привилегия на магдебургское право на соответствующие русские документы проявилось в том, что последние зачастую также писались с аренгой. См., например, написанные на русском языке тексты привилеев Полоцку 1499 г. (АЗР I, № 159); Минску 1499 г. (АЗР I, № 165); Полоцку 1510 г. (АЗР II, № 61); Новгородку-Литовскому 1511 г. (АЗР II, № 71); Бресту-Литовскому 1514 г. (АЗР II, № 73); Милейчицам 1516 г. (Д-3, № 141). Но если в латинских привилегиях на магдебургское право аренда употреблялась всегда, то западнорусские тексты привилеев могли писаться и без аренги. Ср., например, привилеи Киеву 1497 г. (АЗР I, № 149); Высокому 1503 г. (Д-3, № 73); Левкову 1504 г. (Д-3, № 83), Волковскийску 1507 г. (АЗР II, № 13), Высокому 1510 г. (АЗР II, № 59); Киеву 1514 г. (АЮЗР II, № 103), в которых аренда отсутствует.

Можно предположить, что составители русских текстов привилеев воспринимали аренгу, содержащуюся в латинских образцах, как элемент необязательный; поэтому в ряде случаев ее могли опускать. Мы не располагаем параллельными латинским и русским текстами привилегий на магдебургское право, но на примере текстов другого типа можно проследить, как аренда, присутствующая в латинском тексте, опущена в параллельном русском (ср., например, латинский и русский тексты привилегия на владение землей Миколаю Кодзиловичу и братье его 1498 г. (Леон., № 84), где в латинском тексте есть аренда, а в русском она опущена).

Привилеи (жалованные грамоты) литовских великих князей католическим монастырям и церквям, видимо, всегда имели латинский оригинал (Kętrzyński 1948). От времен Витовта и Казимира I сохранились только латинские тексты (ср. Vitoldiana, 27, 32, 34; Д-3, № 6), и все они содержат аренгу. В эпоху Александра стали появляться и русские варианты этих текстов, ориентированные на латинские образцы; ср. привилеи-фундуши (грамота об основании с пожалованием имущества) Витебскому костелу 1503 г. (Леон., № 679) и Браславскому костелу 1500 г. (Леон., № 543). Все сохранившиеся западнорусские тексты этого типа содержат аренгу. Таким образом, привилеи католическим монастырям и церквям, менее значимые для западнорусской канцелярской традиции, чем привилеи на магдебургское право, более последовательно воспроизводят латинские образцы.

Привилеи (жалованные грамоты), выдаваемые отдельным людям на владение имуществом или предоставляющие им какие-либо права, составляют одну из самых обширных групп документов, выходящих из средневековой княжеской канцелярии, в том числе из канцелярии Великого княжества Литовского. На восточнославянской территории документы этого жанра соприкасаются с частными актами, будучи связаны с ними по происхождению на ранних стадиях развития древнерусского акта и служа образцами для частных документов во времена существования развитых княжеских канцелярий. В Юго-Западной Руси уже в XIV в. произошло столкновение двух традиций составления этих документов — восточнославянской и латинской западноевропейской. Начальный протокол самой ранней из сохранившихся подлинных русских жалованных грамот Казимира III соответствует восточнославянской традиции: «а се я король казимирь краковский и куявский и господарь рускоѹ землѣ даль есмь служѣ моему» (после 1349 г. Грамоти, № 12), но уже с середины XIV в. элементы западноевропейского общего формуляра начинают проникать в тексты жалованных грамот русских канцелярий (Золтан 1987, 19—21).

Латинские тексты привилегий отдельным людям во всех западноевропейских канцеляриях могли писаться как с арендой, так и без нее. Канцелярия Великого княжества Литовского не представляет исключения, те сравнительно немногие латинские тексты пожалований отдельным людям, что дошли до нас, писались иногда с арендой, но чаще без нее: с арендой написано около 40% всех исследованных латинских текстов этого типа, относящихся ко времени Александра и Сигизмунда I; среди них — привилеи Петру Яновичу 1493 г. (Леон., № 84); великой княгине Елене 1501 г. (Леон., № 602); Ивану Сопеге 1502 г. (Леон., № 838); Богущу Боговитиновичу 1505 г. (Леон., № 710); Станиславу Яновичу 1512 г. (Д-3, № 97); Николаю Радзвиллу 1513 г. (Д-3, № 102); Константину Острожскому 1529 г. (АЗР, № 94).

В текстах очень многочисленных русских документов о пожаловании отдельным людям во времена Александра и Сигизмунда I весьма регулярно употребляется промульгация; что же касается аренды, то 85% обследованных документов написаны без нее. С арендой написаны следующие жалованные грамоты: Аврааму Юзефовичу 1505 г. (АЗР I, № 179); Яну Сопеге 1499 г. (АЗР I, № 177); Петру Любе 1499 г. (АЗР I, № 189); Федору Янушкевичу 1499 г. (АЗР I, № 171); Войтеху Яновичу 1500 г. (Леон., № 534); Петру Яновичу 1500 г. (Леон., № 556); Льву Боговитиновичу 1502 г. (Леон., № 619); Войтеху Яновичу 1504 г. (Леон., № 694); Ниполоскому Василевичу 1505 г. (Леон., № 728); Александру Ивановичу Ходкевичу 1506 г. (Леон., № 764); князю Петру Михаловичу 1506 г. (Леон., № 748); Василию Сангушковичу 1506 г. (Леон., № 767); князю Ивану Полубенскому 1506 г. (Леон., № 753); Константину

Острожскому 1507 г. (АЗР 00 № 29); князю Федору Четвертинскому 1514 г. (АЮЗР I № 60); Константину Острожскому 1522 г. (АЮЗР II № 115).

Мы знаем сравнительно немного случаев составления параллельных текстов, русского и латинского, одного и того же привилегия (жалованной грамоты) отдельному человеку — это два варианта привилегия Петру Яновичу 1501 г. (Леон., № 612), причем и в русском и в латинском текстах аренда отсутствует, и два варианта привилегия Миколаю Кодзиловичу с братьею (Леон., № 624), где в латинском тексте аренда имеется, а в русском она опущена. В целом употребление аренды в русских текстах привилегий отдельным людям можно охарактеризовать следующим образом: составители русских текстов, сталкиваясь с этой формулой при составлении латинско-русских текстов, переносили ее и во многие русскоязычные привилегии, но, по всей видимости, считали элементом факультативным (возможно, достаточно сложным) и потому в значительной массе документов обходились без нее.

Укажем единственный известный нам пример употребления аренды в частном документе, написанном не от имени великого князя. Он не имеет латинской параллели и не связан по жанру с латинской канцелярией. Это завещание, то есть текст, принадлежащий к едва ли не самой массовой группе частных документов. В этой группе даже промульгация усваивается сравнительно поздно — к началу царствования Сигизмунда I. Употребление аренды в завещании могло бы означать ее полное усвоение западнорусской традицией составления документов, однако, коль скоро речь идет о конкретном завещании, оно связано самым непосредственным образом с литовской великокняжеской канцелярией. Составитель (он же завещатель) — писарь литовской великокняжеской канцелярии Богуш (Михаил) Боговитинович, который по роду своей деятельности был, конечно, хорошо знаком с латинскими и русскими текстами аренды, употреблявшихся в великокняжеских канцеляриях. Он, по всей вероятности, воспользовался по памяти одним из канцелярских образцов русской аренды (см. 1529, АЮЗР, № 96).

Таким образом, в период правления Александра и Сигизмунда I, ставший в Великом княжестве Литовском «классической эпохой» для аренды, последняя употреблялась в документах, связанных с великокняжеской канцелярией, причем, как правило, в тех из них, которые по жанру соотносились с документами, составляемыми в латинской великокняжеской канцелярии. Иными словами, заимствование аренды демонстрирует постоянную связь русской канцелярии с латинской, наличие постоянного контакта западнорусской канцелярской традиции с западноевропейской. При этом варианты западноевропейской—западнорусской аренды были распространены в тех великокняжеских документах, которые использовались в судебной и имущественной практике и могли служить образцами для частных документов. По всей вероятности, аренда

лишь ограниченно могла употребляться в частных документах и не стала для них стандартным элементом формуляра.

Мы считаем возможным говорить об усвоении аренги западнорусской канцелярской традицией во многом благодаря тому обстоятельству, что на рубеже XV — XVI вв. в великокняжеской канцелярии вырабатываются стандартные русские варианты некоторых моделей аренги. Аренги, употреблявшиеся в юго-западнорусских документах предшествующей эпохи, каждый раз переводились специально для данного конкретного документа, причем составитель нового текста, видимо, не был знаком с предыдущими переводами. Поэтому каждое отдельное употребление аренги еще не формировало традиции ее употребления, хотя, вероятно, готовило почву для возникновения такой традиции.

В эпоху Александра и Сигизмунда I аренга начинает регулярно воспроизводиться в документах русской канцелярии, становясь, таким образом, устойчивым элементом формуляра для документов определенного жанра. Рассмотрим подробнее этот процесс становления формулы.

В латинских и русских документах тех жанров, что были рассмотрены выше, могли употребляться аренги двух типов: специализированные и универсальные. Специализированные аренги были по содержанию связаны с жанром документа: законодательный акт предварялся аренгой о хороших законах, пожертвования монастырям — о необходимости заботиться о спасении души (а не только о земном могуществе) и т. п. Специализированные аренги были характерны для итальянских, французских, немецких канцелярий начиная с раннего Средневековья (Fichtenau 1957, 10—94; Bresslau 1912, 85—87; Murphy 1978). В польской же государственной канцелярии большинство из них распространились сравнительно поздно, в середине XIV в. (Kętrzyński 1948, 258—259). Наконец, в канцелярии Великого княжества Литовского они появляются, видимо, приблизительно в конце XV в. Уже при Александре аренги этого типа употребляются и в документах, исходящих из русской канцелярии, но значительно реже, нежели универсальные аренги. Универсальные аренги могут употребляться с документами любого жанра — в них используются уже упомянутые нами топоры «письмо», «память», «время», которые содержат как бы изложение мотивов, побуждающих составлять документы вообще, объяснение роли письменных свидетельств в жизни человеческого общества. Все рассмотренные нами до сих пор западнорусские аренги, начиная с аренги Смоленской грамоты 1229 г., — универсальные аренги. Они были особенно распространены в польских государственных канцеляриях (см. выше), отчасти в северонемецких (Fichtenau 1957, 117—119) и занимали весьма скромное место в канцелярской практике Франции и Италии (Kantorowicz

1948, 18—19). Приведем примеры специализированных аренд, употреблявшихся в документах каждого из рассмотренных нами жанров в латинской канцелярии Великого княжества Литовского.

В привилегиях на магдебургское право встречается аренда, включающая, следуя номенклатуре Fichtenau, топос «праведные—неправедные законы» (Fichtenau 1957, 94). Аренды этого типа были распространены в Польше с середины XV в. (Kętrzyński 1948, 259). Ср. два латинских варианта этой аренды: ...legatis quislibet regiminis opti effectus suae praecipuae sperantur meliores futuri, dum praeece errationabilesque consuetudines non modo legi divinae verum etiam iuri naturali in regendo humano generi contrariae abrogantur ea quoque constituuntur quae salutae conservant humanam, quae meliorem mortalibus afferunt conditione, quae unicuique quod suum, quod regium seu ducale est perpetuo tempore diclaent (Леон., № 694, 703, 709); Quoniam excelsa principum majestas non adeo ex victoria bellica vel captis urbibus laudibus effectur quam ex constitutione jurium legumque justarum; justitia enim totius orbis fortitudo et civitatem immobile est fundamentum cujuslibet vero regiminis optimi effectus tunc praecipue sperantur meliores futuri; dum pravae irrationabilesque consuetudines non modo legi Divinae verum etiam juri naturali in humano regendo contrariae abrogantur eaeque constituuntur quae salutem onservant humanam, quae meliorem mortalibus afferunt conditionem, quae item unicuique id, quod aequum et justum est, tribuunt (БАДГ, № 12).

Соответствующий русский вариант в привилее на магдебургское право встречается лишь однажды и относится ко времени правления Стефана Батория: «Ижъ высоки маестать княжать не такъ велце зъ звыгызства албо зъ вышованя бываеъ подвышонъ яко с постановенія справъ и справедливыхъ уставъ бо справедливость всего света мощность и всих мест ненарушоный фундамень а всякого порядку содеваются добре когда злые и неразумные обычаи не толко праву Божиему але теж праву прироожоному ку справеваного роду людскому бывають а такъ речи бывають постановены которые здоровье людское расховывают лепии станъ людямъ приносять которые также каждому то что слушного и справедливого создавають» (АЗР II, № 231).

Русский текст аренды довольно невразумителен, в основном из-за пропуска той части, где должно говориться, что делать с плохими законами. В известных нам документах он встречается однократно. Таким образом, мы можем говорить лишь о единичном заимствовании аренды о справедливых—несправедливых законах.

В привилегиях католическим монастырям специализированные аренды употреблялись в литовской великокняжеской канцелярии уже во времена правления Витовта. Ср. например: Sane tunc divine retribucinis temporalis prosperitatis augmentum consequi inflalibilitate reredimus dum ecclesiis et ecclesiasticis personis ad laudem Dei Omnipotentis mumificiendi nostre dexteram impartimur

adiutricem ut ipsi cultui divino liberius vaccare poterint et Creatorem omnium pro nobis et nostris successionebus suppliciter exorare (Vitoldiana, 27, 32, 34).

Русский текст одного из вариантов аренды о необходимости жертвований на церковь для спасения души встречается в известных нам документах однократно и отличается крайней невразумительностью, — видимо, составитель русского варианта аренды пословно переводил его с латыни, не заботясь о передаче синтаксических конструкций: «Гдысь виелкіи пануючіи князь видѣчи а отъ Бога зрятого быти слушно есть, аби собѣ размышлять, ничего ему пожиточного быти, еслибы Боскихъ речи замѣшкавши свое только усиловать бы зыговать съ которыхъ не менши как и свѣтскихъ по смерти повинно личбу маеть учинить собѣ велику хвалу зыковал вѣчно естлибы оныхъ которые ку хвале Божеи и къ церковнымъ приправомъ наданы оброняль а твердости ихъ не зломаль» (привилегий, или фундуш, Витебскому костелу 1503 г., Леон., № 679).

Таким образом, и для специализированных аренд в документах этого жанра речь идет только о единичном заимствовании.

В привилеях (жалованных грамотах), выдаваемых отдельным людям, могла употребляться специализированная аренда, которую некоторые исследователи считают специфически польской, возникшей в первой половине XV в. (Bielińska 1967). Ее содержание можно условно обозначить как провозглашение необходимости должного воздаяния по заслугам в соответствии со знатностью человека. Она многократно встречается в польской латинской королевской канцелярии рубежа XV—XVI вв. (ср. KDW III, № 126, 131, 211, 260), употреблялась, по-видимому, и в латинской канцелярии Великого Княжества Литовского. В документах русской канцелярии Великого Княжества Литовского она встречается три раза: «Естли зъ нижного ряду посполитый человекъ приходит для своихъ цнотъ к вышшой чти а простые годностью шляхотства доступаютъ за-правду достойно есть освѣцоность княжатства для мужства и высокихъ заслугъ, чтями и розмноженьемъ заплаты уяснить» — 1529 г. (АЗР II, № 2), 1507 г. (Леон., № 755); «Гды жъ цнотами и годностію всякіи съ средняго ряду вступають на вышній ступень на которомъ же ставши потвержается высоки маестать шляхетства» — 1506 г. (Леон., 769).

Один из вариантов этой аренды, как мы видим, воспроизводится в известных нам документах русской канцелярии дважды; кроме того, весьма похожий текст, почерпнутый, вероятно, из документа, встречается столетием позже у выходца из Литвы, ставшего участником событий Смутного времени в Москве: «Кгды зъ нижнего ряду посполитый человекъ приходит к высшей чти а простые годносью княжатства доступаютъ за-правду достойно есть для мужства княжатство чтями уяснить. Таким образом, можно говорить о регулярном воспроизведении стандартного русского образца формулы, а следовательно —

о ее усвоении. Это, видимо, единственная специфическая формула, до некоторой степени усвоенная западнорусской канцелярской традицией.

Универсальная аренда и в латинской, и в русской канцелярии Великого Княжества Литовского употреблялась в документах всех рассмотренных жанров гораздо чаще, чем специфическая. В латинской канцелярии используются старые, известные еще по документам Витовта варианты: *Cum inter humana nature commoda nihil dignius memoria habeatur opportunum existit ut actus hominum qui vetustate caduntur et successione temporis in oblivione labuntur solidis litterarum apicibus et testium annotatione perhennentur* — воспроизводит аренду из привилея Витовта Берестею 1408 г. (Д-3, № 3). Приблизительно с начала XVI в. в латинской канцелярии Великого Княжества Литовского появляются собственные варианты этой аренды. Ср. например: *Ne error oblivionis gestis sub tempore versantibus pariat detrimentum conventit, ut actus hominum, qui temporales sunt, literarum testimonio posteritatis commendaveruntur notitiae ad perpetuam* — 1499 г. (Д-3, № 59); *Et quia humana natura fragilis et morti debita negotia presentiam ad perpetuam spectantia memorari non potest. Unde nequid erroris in huiusmodi actus qui sub tempore fuit ut notitiam posterorum dedent litteris et testibus perhennentur* — 1501 г. (Леон., № 606).

Способность персонала латинской канцелярии как воспроизводить старые, известные уже в течение столетий, так и порождать новые, соответствующие традиционным моделям латинского формуляра, аренды свидетельствует о том, что латинская канцелярия Великого Княжества Литовского времен Александра и Сигизмунда I по уровню не уступала полноценной западноевропейской канцелярии. Особенности функционирования аренды обычно принимаются за один из существенных показателей развития канцелярии (Fichtenau 1957, 2—14; Maleczyński 1938, 176—177).

В русской канцелярии преобладание универсальных аренд особенно выражено в документах тех жанров, которые традиционно писались с арендой. Универсальная аренда в наибольшей степени усваивается западнорусской канцелярской традицией. Это происходит следующим образом.

В 90-х гг. XV в. появляется ряд русских вариантов этой аренды, значительно отличающихся друг от друга и представляющих собой квалифицированные упрощенные переводы аренды: «Кады бы учинки людскіи которыи жъ съ прироженья своего кончаються черезъ твердости листовъ к вѣчности не приведены и слушным свѣдетцвом ко пришлого часу вѣдомости не были бы докончаны, сказала бы всякіи рѣчи съ часомъ старость, а для того высокіи княжата радою оставили: абы безрадрствомъ и невставичностью, рѣчемъ которежь ся имуть напотомъ дѣяти, шкоды бы не было, уложили на то твердости листовъ, свѣдетцтва укладаючи знамя ижъбы то было вѣчно» (АЗР I, № 165; Леон., № 654, 680, 701); «В имя божіе аминь. Абы блудъ забытья сталыхъ

рѣчен под часом оборочающихся покрыт не был шкодою найдено есть учинки людскіи которыи ж временны суть потверженным свѣдетством листов напо- том ко истости вызнанья а про то къ вѣчной тое рѣчи памяти...» (Леон., № 611, 624, 713; Д-З, № 72). До начала XVI в. они употребляются наряду с переводами конкретных латинских универсальных аренг, иногда не слишком удачными: «Во имя святоѣ и нераздѣльной Тройцы станься. Всеи рѣчи которыи межии смертельными людми суть и дѣются тежь которыи справы с чоловѣкомъ смертельным завидлива старость. посполу бы привмещала къ жадней знаимо- сти справа не пришла бы едно предъ несмертелность листовъ и тежь святковъ ку вѣрному свѣдетству приходють» 1499 (АЗР I, № 189).

Но уже в самом начале 1510-х гг. стандартные упрощенные варианты аренги вытесняют в русской канцелярии переводы конкретных аренг и используются в большинстве текстов, содержащих аренгу. Один из таких стандартных вариантов употребляется в девяти различных документах разных жанров: «Гды бы вчинки людскіе которыи жъ съ прироченя своего кончаются не съ твердо- сти листов ку вѣчности не приведены слушнымъ свѣдетствомъ, ку пришлого часу вѣдомости не были бы докончаны, сказала бы всякую речъ съ часомъ старость» (Леон., № 619, 691, 694, 728, 767; АЗР II, № 14, 28; АЮЗР I, № 118).

Еще один стандартный вариант универсальной аренги, незначительно отличающийся от первого, употреблен с небольшими изменениями восемь раз: «Сказила бы всякіе рѣчи с часомъ старость кгда бы вчинки людскіе которые жъ съ прироченья своего конец мають черезъ листы не были увѣчнены и год- нымъ свѣдетельством къ пришлой вѣдомости не были приведены» (АЗР I, № 149, 172; Леон., № 534, 556, 618, 680, 748, 752). Можно предположить, что в русской канцелярии Великого княжества Литовского существовало несколько образцовых текстов аренги, которыми пользовались все писари, так как доку- менты с одинаковой аренгой выходят зачастую из рук разных писарей. Так, например, привилей Петру Янушевичу (Леон., № 748) написан писарем Гор- ностаем, а привилей Василию Голушке (Леон., № 752) — Богушем Боговити- новичем, тогда как текст аренги в этих документах совершенно тождествен.

В документах латинской канцелярии мы встречаем гораздо большее раз- нообразие и меньшую повторяемость аренг. Очевидно, писцы русской канце- лярии при составлении документов обращались к имевшимся в их распоряже- нии стандартным русским текстам аренг, а не к обширному фонду латинских аренг. Мы можем, таким образом, сделать вывод, что в конце XV—XVI в. аренга была вполне усвоена западнорусским деловым формуляром.

Период с 1544 г. до конца XVI в. был периодом постепенного исчезнове- ния аренг из латинских и русских документов, созданных на территории Ве- ликого княжества Литовского. В практике русской канцелярии продолжают

применяться образцы аренг, выработанные в предшествующую эпоху (см. в привилее Полоцкой области аренгу, воспризводящую образец: «Гдыбы вчинки людскіе...» (АЗР III, № 5)). Употребляются и переводы специализированных аренг (см. грамоту о правах литовского населения Польского королевства, где фигурирует аренга на тему праведных—неправедных законов). Последний по времени из известных нам примеров аренги встречается в жалованной грамоте Стефана Батория жителям Могилевской области, написанной в 1585 г. (АЗР III, № 114).

Таким образом, на протяжении длительного периода, с первой трети XIII в. до последней трети XVI в., аренга с большей или меньшей частотой встречается в юго-западнорусских документах и на отдельных этапах фактически усваивается юго-западнорусским формуляром.

О бытовании аренги в обиходе юго-западнорусских канцелярий можно сделать следующие выводы.

1. В Юго-Западной Руси начиная, по крайней мере, с XIII в. местная канцелярская традиция взаимодействует с латиноязычной западноевропейской. Писцами латинского Запада был выработан «общий формуляр», что позволяет говорить о воздействии на юго-западнорусскую деловую письменность не канцелярских традиций различных стран, но западноевропейской традиции в целом.

2. Особенно тесным это взаимодействие становится к концу XIV в., когда при литовском великокняжеском дворе формируются две канцелярии — латинская и русская. Употребление аренг в латинской великокняжеской канцелярии позволяет характеризовать последнюю как полноценную провинциальную канцелярию, одну из многих периферийных канцелярий западного мира, что существенно для общей оценки культурной ориентации Великого княжества Литовского.

3. В канцеляриях Юго-Западной Руси при заимствовании латинской аренги осуществлялся ее перевод на местный деловой язык, благодаря чему латинская формула оказывалась включенной в восточнославянский культурный контекст.

4. В отдельные периоды аренга как элемент формуляра полностью усваивается западнорусской деловой письменностью. Появляются расхожие стандартные тексты аренг на русском языке, широко распространившиеся в канцелярской практике.

Список сокращений

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собр. и изд. Археографическою комиссиею.

АЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собр. и изд. Археографическою комиссиею. СПб., 1863.

- БАДГ — Белорусский архив древних грамот. Часть первая. М., 1824.
- Грамоти — Грамоти XIV столеття. Киев, 1974.
- Д-3 — Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. М., 1900. Вып. 1—2.
- Леон. — Акты литовской метрики, собранные заслуженным профессором имп. Варшавского университета Ф. Н. Леонтовичем. Варшава, 1896—1897. Вып. 1—2.
- Полоцкие грамоты — Полоцкие грамоты XIII — начала XV вв. Сост. А. Л. Хорошкевич. М., 1977—1979. Вып. 1—2.
- ПСРЛ II — Полное собрание русских летописей. Т. 2. М., 1998.
- Русско-ливонские акты — Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским, изданные Археографической комиссией. СПб., 1868.
- Смоленские грамоты — Смоленские грамоты XIII—XIV веков / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1963.
- Vitoldiana — Vitoldiana. Codex privilegiorum magni ducis Lithuaniae 1386—1430 Zbr. J. Ochmanski. Warszawa; Poznań, 1986
- KDM — Kodeks Dyplomatyczny Małopolski. Zbr. F. Piekosinski. Warszawa; Poznań.
- KDW — Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. Warszawa; Poznań, 1982.
- KDWSN — Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. Seria nova. Warszawa; Poznań, 1975.
- MGH — Monumenta Germaniae historica.
- Rockinger — *Rockinger L.* Briefsteller und Formelbücher des 11—14. Jahrhunderts. Aachen, 1969.

Литература

- Бартикян 1961 — *Бартикян Р. М.* Критические замечания о завещании Евстафия Воилы (1059) // Византийский временник. 1961. № 19.
- Беляев 1908 — *Беляев П. И.* Источники древнерусских законодательных памятников. СПб., 1908.
- Беляев 1913 — *Беляев П. И.* Следы первобытных представлений о природе и человеке в истории гражданского права. СПб., 1913.
- Бенеманский 1906 — *Бенеманский М.* О *προχρηρος υιοος*. Вып. 1—2. Сергиев Посад, 1906.
- Бенешевич 1987 — *Бенешевич В. Н.* Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкования. Т. 2 / Под ред. Я. Н. Шапова. София, 1987.
- Бернштейн 1948 — *Бернштейн С. Б.* Исследование о валашских грамотах. М., 1948.
- Борковский 1944 — *Борковский В. И.* Смоленская грамота 1229 г. — русский памятник // Уч. зап. Ярославского пед. ин-та. Вып. 1. Ярославль, 1944, 27—47.
- Ботяков 1949 — *Ботяков А. Д.* Синтаксис договора 1229 г. как памятника русского языка. Строение предложения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 1949.
- Вернадский 1925 — *Вернадский Г. В.* Заметки о византийских купчих грамотах XIII в. // Сборник в честь на В. Н. Златарски. София, 1925.
- Виноградов 1947 — *Виноградов В. В.* Из истории русской литературной лексики: (К вопросу об исторических связях русского, украинского и белорусского языков) // Доклады и сообщения Филологического факультета МГУ. 1947. 3, 7—12.
- Генсерский 1969 — *Генсерский А. И.* Галицко-Волынская летопись XIII в.: Лексика. Киев, 1969.

- Голубовский 1895 — *Голубовский П. В.* История Смоленской земли до начала XV столетия. Киев, 1895.
- Гурджий 1986 — *Гурджий А. И.* Третий Литовский Статут в памятниках украинского права второй половины XVII—XVIII вв. // Третий Литовский Статут 1588 года: Материалы республиканской конференции. Вильнюс, 1986, 157—166.
- Живов 1987 — *Живов В. М.* История русского права как лингво-семиотическая проблема // *Semiosis. Semiotics and History of Culture.* Columbus, 1987. — V. 11.
- Золтан 1987 — *Золтан А.* Из истории русской лексики. Будапешт, 1987.
- Казакова 1974 — *Казакова Н. А.* Начальный текст новгородско-немецких договоров XII—XV вв. // *Вспомогательные исторические дисциплины.* 6. Л., 1974, 161—175.
- Казакова 1980 — *Казакова Н. А.* Западная Европа в русской письменности XV—XVI веков: (Из истории международных культурных связей России). Л., 1980.
- Каштанов 1976 — *Каштанов С. М.* Интитуляция русских княжеских актов X—XIV вв. (опыт первичной классификации) // *Вспомогательные исторические дисциплины.* 8. Л., 1976, 69—83.
- Каштанов 1970 — *Каштанов С. М.* Очерки русской дипломатики. М., 1970.
- Каштанов 1973 — *Каштанов С. М.* Богословская преамбула жалованных грамот // *Вспомогательные исторические дисциплины.* 5. Л., 1973.
- Каштанов 1982 — *Каштанов С. М.* Современные проблемы европейской дипломатики // *Археографический ежегодник 1981.* М., 1982.
- Каштанов 1988 — *Каштанов С. М.* Русская дипломатика. М., 1988.
- Кононенко 1973 — *Кононенко А. М.* Роландин Пассагерий и его трактат об искусстве нотариев (к истории средневекового нотариата) // *Вспомогательные исторические дисциплины.* 5. Л., 1973, 297—310.
- Крелько 1989 — *Крелько И.* О характере языковой нормы Статута великого княжества Литовского // Третий Литовский Статут 1588 года: Материалы республиканской конференции. Вильнюс, 1989, 197—206.
- Куник 1868 — *Куник А. А.* Handelsvertrag des Fürsten Mstislaw II Dawydowitsch von Smolensk mit Riga und der niederdeutschen Handelsgesellschaft auf Gothland im J. 1229 nach drei Redactionen (с. 405—419). Erneuerter Handelsvertrag eine Fürsten von Smolensk mit Riga und Gothland in welchem die gegenseitigen Rechte und Pflichten russischer und deutscher Kaufleute auf Grundlage des Vertrages von Mstislaw Dawydowitsch festgestellt werden (с. 448—451) // *Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским.* СПб., 1868.
- Лазутка, Гудавичюс 1983 — *Лазутка С., Гудавичюс Э.* Первый Литовский Статут. Палеографический и текстологический анализ списков. Т. 1. Ч. 1. Вильнюс, 1983.
- Лаппо-Данилевский 1920 — *Лаппо-Данилевский А. С.* Очерк русской дипломатики частных актов. Пг., 1920.
- Липшиц 1972 — *Липшиц Е. Э.* Право и суд в Византии в IV—VIII вв. М., 1972.
- Липшиц 1981 — *Липшиц Е. Э.* Законодательство и юриспруденция в Византии в IX—XI вв. Л., 1981.
- Литвина 1993 — *Литвина А. Ф.* Формуляр русского документа и неславянские правовые источники // *Диалог в культуре и истории. Тезисы конференции молодых ученых.* М., 1993.
- Литвина 2000 — *Литвина А. Ф.* Латинские заимствования в формуляре документов Великого Княжества Литовского // *Hungaro-Baltoslavica.* Будапешт, 2000, 85—87.

- Лурье 1963 — *Лурье Я. С.* О путях развития светской литературы в России и у западных славян в XV—XVI вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1963.
- Медведев 1988 — *Медведев И. П.* Очерки византийской дипломатики (частноправовой акт). М., 1988.
- Медведев 1989 — *Медведев И. П.* Развитие правовой науки // Культура Византии. 2. М., 1989.
- Новицкий 1968 — *Новицкий И. Б.* Римское частное право. М., 1968.
- Папуто 1950 — *Папуто В. Т.* Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950.
- Папуто 1959 — *Папуто В. Т.* Образование Литовского государства. М., 1959.
- Семенченко 1986 — *Семенченко Г. В.* Византийское право и оформление русских завещаний XIV—XV вв. // Византийский временник. 1986. № 48, 164—173.
- Сергеев 1972 — *Сергеев Ф. П.* Русская терминология международного права XI—XVII вв. Кишинев, 1972.
- Смоленские грамоты — Смоленские грамоты XIII—XIV веков / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1963.
- Соболевский 1886 — *Соболевский А. И.* Смоленско-полоцкий говор в XIII—XV вв. // Русский филологический вестник. 1886. Т. 15. С. 7—24.
- Соболевский 1910 — *Соболевский А. И.* Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.
- Соболевский 1980 — *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980.
- Соловьев 1988 — *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1988.
- Срезневский 1893—1912 — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. 1—3. СПб., 1893—1912.
- Стеценко 1977 — *Стеценко С. С.* Исторический синтаксис русского языка. М., 1977.
- Суворов 1915 — *Суворов Н. С.* К древнейшей истории источников права греко-восточной церкви: (Рец. на кн.: *Бенешевич В. Н.* Канонический сборник XIV титулов со второй половины VII в. до 883 г.). СПб., 1915.
- Тихомиров 1948 — *Тихомиров М. Н.* Русская Правда. М.; Л., 1948.
- Тихомиров 1961 — *Тихомиров М. Н.* Закон Судный Людем. М.; Л., 1961.
- Успенский 1987 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). Budapest, 1987.
- Успенский, Живов 1983 — *Успенский Б. А., Живов В. М.* Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII в. // IJSLP 1983 28.
- Хорошкевич 1980 — *Хорошкевич А. Л.* Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980.
- Черепнин 1948—1953 — *Черепнин Л. В.* Русские феодальные архивы XIV—XV вв. М.; Л., 1948—1953. Т. 1—2.
- Щапов 1975 — *Щапов Я. Н.* Византийское и южнославянское правовое наследие: (Кормчие книги) на Руси в XI—XIV вв.: Автореф. докт. дис. М., 1975.
- Щапов 1977 — *Щапов Я. Н.* Прохирон в восточнославянской письменности // Византийский временник. 1977. № 38, 11—32.
- Щапов 1978 — *Щапов Я. Н.* Византийское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978.
- Bielińska 1967 — *Bielińska M.* Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wrocław: Warszawa: Kraków, 1967.

- Bresslau 1912 — *Bresslau H.* Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. Bd. 1—2. Berlin, 1912.
- Browning 1966 — *Browning R.* Notes on Byzantine prooimia. Wien, 1966.
- Faulhammer 1978 — *Faulhammer H.* The Summa dictaminum of Guido Faba // *Medieval Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Medieval Rhetoric* / Ed. by J. Murphy. Berkeley: Los-Angeles; London, 1978, 85—111.
- Fennell 1968 — *Fennell J. L. I.* The emergence of Moscow, 1304—1359. Berkeley etc., 1968.
- Fichtenau 1957 — *Fichtenau H.* Arenga. Spätantike und Mittelalter in Spiegel von Urkundenformeln. Graz, 1957.
- Giry 1894 — *Giry A.* Manuel de diplomatique. P., 1894.
- Haskins 1929 — *Haskins Ch. H.* The early Artes dictandi in Italy. Studies in medieval culture. L., 1929.
- Hunger 1964 — *Hunger H.* Prooimion: Elemente der byzantinischen Keiseridee in den Arengen der Urkunden. Wien, 1964.
- Kantorowicz 1938 — *Kantorowicz H.* Studies in the glossators of the Roman law: newly discovered writings. Berlin, 1938.
- Kętrzyński 1948 — *Kętrzyński A.* Zarys dyplomatyki polskiej. Warszawa, 1948.
- Kiparsky 1939 — *Kiparsky V.* [Рец. на кн.:] G. Schmidt. Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache in der Rigaschen Ratskanzlei // *Neuphilologische Mitteilungen* 1939. 40. № 1, 83—87.
- Kiparsky 1960 — *Kiparsky V.* Wer hat den Handelvertrag zwischen Smolensk und Riga von J. 1229 aufgesetzt // *Neuphilologische Mitteilungen* 1960. 61. № 2, S. 244—248.
- Kochman 1969 — *Kochman M.* Kancelaria wielkiego księcia Witolda // *Studia Źródłoznawcze*. T. 19. Warszawa; Poznań, 1969.
- Kochman 1970 — *Kochman S.* Z historii czesko-polsko-rosyjskich związków leksykalnych // *FilRos Opole*. 1970. 7, 69—78.
- Kochman 1971 — *Kochman S.* Polonizmy w języku rosyjskiej korespondencji dyplomatycznej (1487—1571) I—IV // *Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*. 1971. 7, 37—54; 1972. 8, 63—74; 1973. 9, 33—42; 1974. 10, 15—27.
- Kuraszkewicz 1932 — *Kuraszkewicz W.* Gramoty halicko-wolynskie XIV—XV wieku // *Studium filologiczne Bysantino-Slavica*. T. 4. Praha, 1932.
- Kuraszkewicz 1934 — *Kuraszkewicz W.* Gramoty halicko-wolynskie XIV—XV wieku // *Studium językowe*. Kraków, 1934.
- Kuraszkewicz 1937 — *Kuraszkewicz W.* [Рец. на кн.:] Stang 1935 // *Rocznik slawistyczny*. T. 13. Kraków, 1937.
- Lemerle 1957 — *Lemerle P.* Le testament d'Eustathios Boilas. P., 1957.
- Maleczyński 1935 — *Maleczyński K.* Stanowisko dokumentu w polskiem prawie prywatnem I przewodzie sądowym do połowy XIII w. Lwów, 1935.
- Maleczyński 1938 — *Maleczyński K.* Kodeks dyplomatyczny śląski. Zbiór dokumentów i listów dotyczących śląska. Wyd. Karol Maleczyński. 1938.
- Maleczyński 1951 — *Maleczyński K.* Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich. Część 1. Wrocław, 1951.
- Manteuffel 1955 — *Manteuffel T.* Papieżstwo y cystersi. Warszawa, 1955.
- Mošin 1954 — *Mošin V.* Sankcija u visantijskoj i u južnoslavenskoj civilskoj diplomatiji. Dubrovnik, 1954.

- Murphy 1978 — *Murphy J.* Three medieval rhetorical arts. Berkeley; Los-Angeles; London, 1978.
- Murphy 1974 — *Murphy J.* The Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley etc., 1974.
- Poole 1915 — *Poole R. L.* Lectures on the history of papal chancery. Oxford, 1915.
- Rockinger 1969 — *Rockinger L.* Briefsteller und Formelbücher des 11—14. Jahrhunderts. Aachen, 1969.
- Simon 1969 — *Simon D.* Untersuchungen zum justinianischen civil Prozess. München, 1969.
- Stang 1935 — *Stang S.* Die westrussische kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935.
- Tessier 1962 — *Tessier G.* Le diplomatique. P., 1962.
- Tobien 1844 — *Tobien E. S.* Die aeltesten Tractate Russlands nach allen bisher entaechten und herausgegebenen Handschriften verglichen verdeutschet und erlaeutert... Dorpat, 1844.
- Zickel 1867 — *Zickel Th.* Lehre von den Urkunden der ersten Karolingen (751—840). Wien, 1867.

СИСТЕМА АРТИКЛЕЙ В СЛАВЯНСКИХ И СКАНДИНАВСКИХ ЯЗЫКАХ. СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ *

Как известно, понятийная категория определенности/неопределенности имени относится к числу универсальных лингвистических категорий. В языках мира она имеет разнообразные формальные средства выражения. В скандинавских (датском, шведском, норвежском, исландском) и балканских (болгарском, румынском, албанском, греческом) категория определенности/неопределенности грамматикализовалась, т. е. ее формальное выражение стало обязательным. В перечисленных языках существуют специальные морфологические (суффиксы) и лексико-грамматические (служебные слова—артикли) показатели определенности/неопределенности имени. Рассмотрим в сравнительном плане формальные способы выражения определенности и неопределенности в славянских и скандинавских языках на примере современных болгарского и шведского.

* * *

Оба языка характеризуются наличием определенного постпозитивного суффицированного артикля (морфологический способ выражения определенности). В литературном болгарском это суффиксы *-ът, -ят, -та, -то* (м. р. ед. ч.), *-та* (ж. р. ед. ч.), *-то* (ср. р. ед. ч.), *-те, -та* (мн. ч.); в шведском — *-en, -n* (общ. р. ед. ч.), *-ett, -t* (ср. р. ед. ч.), *-na, -en, -a* (мн. ч.). Очень важно отметить, что определенный артикль присоединяется не к основе, а к готовой форме слова, уже снабженной окончанием, и поэтому может быть назван агглютинативным суффиксом: болг. *жен-а* — *жена-та*, *жен-и* — *жени-те*; шв. *flick-a* — *flick-a-n* 'девочка', *flickor* — *flickor-na* 'девочки'.

Форма определенного постпозитивного артикля в болгарском и шведском зависит от рода и числа существительного, а также от того, на какой звук оканчивается данное существительное (согласный, гласный [а], гласный [о],

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 97-04-06180.

прочие гласные). Последнее обстоятельство является решающим. Ср. таблицы 1 и 2, отражающие вариации постпозитивного артикля в болгарском и шведском языках.

Таблица 1

Болгарский язык

Число и род	Слово оканчивается на			
	согласный	гласный		
		[а]	[о]	прочие гласные
Ед. число, м. р.	-ът / -а, -ят / -я	-та	-то	-то
	градът / града пътят / пътя	бащата	дядото	аташето
Ед. число, ж. р.	-та	жената	—	—
	пролетта			
Ед. число, ср. р.	—	—	селото	морето
Мн. число, м. р.	—	-та	—	-те
		краката	—	вълците, градовете
Мн. число, ж. р.	—	—	—	жените, ръцете
Мн. число, ср. р.	—	селата	—	очите
Pluralia tantum	—	очилата	—	триците

Таблица 2

Шведский язык

Число и род	Слово оканчивается на	
	Согласный	Гласный
Ед. число, общ. р.	-en	-n
	månaden 'месяц'	flickan 'девочка' byn 'село'
Ед. число, ср. р.	-et	-t
	bordet 'стол'	riket 'государство'
Мн. число, общ. р.	-na, -en	—
	flickorna 'девочки' männen 'люди'	—
Мн. число, ср. р.	-na, -a, -en	—
	partierna 'партии' bina 'пчелы' träden 'деревья'	—

Как видим, шведский язык не различает мужского и женского родов, объединяя их в общий род, поэтому наборы постпозитивных артиклей в сравни-

ваемых языках с точки зрения категории рода оказываются организованными по-разному. Кроме того, в болгарском определенный суффиксированный артикль в единственном числе мужского рода имеет две формы — полную и краткую: *-ът, -ят* — полная (*градът, пътят*), *-а, -я* — краткая (*града, пътя*). Правила различения полной и краткой форм всегда формулируются в нормативных грамматиках (см., например, Андрейчин 1949, 99), где указывается, что полная форма употребляется, когда существительное служит подлежащим или именной частью составного сказуемого: *Дъбът израстъ* ‘Дуб вырос’, *Най-голямото животно на сушата е слонът* ‘Самое большое животное на суше — это слон’. Краткая форма используется, когда существительное выступает в роли прямого или косвенного дополнения: *Работникът отсекъл дъба* ‘Работник срубил дуб’, *Работникът направил от дъба хубава бъчва* ‘Работник сделал из дуба хорошую бочку’. Но в настоящее время этого правила придерживаются только на письме, в живой речи преобладает краткий вариант, который уже делается основным в устной практике людей, говорящих на литературном языке.

Шведский же язык не делит постпозитивный артикль на полную и краткую формы.

Надо заметить, что болгарский постпозитивный артикль обнаруживает значительное варьирование по диалектам, вызванное фонетическими причинами. Так, для м. р. ед. ч. определенный артикль может быть представлен с помощью суффиксов *-ът, -ат, -от, -от, -ет, -ь, -а, -о, -у* и проч. (*синът, синат, синот, синот, синет, синь, синá, синó, синú* (и проч.)); для ж. р. ед. ч. *-та, -ть, -тò, -тê* и проч. (*сестрата, солта, солтъ, солтò, солтê* и проч.); для ср. р. ед. ч. — *-то* и *-ту* (*детето, детету*); во мн. ч. для м. и ж. р. — *-те, -ти, -т'е, -к'е* и проч. (*синовете, сестрите, синове́ти, сестри́ти, синове́т'е, сестри́т'е, синове́к'е, сестри́к'е* и проч.), для ср. р. — *-та* и *-тъ* (*децата, децатъ*).

Полная форма *-ът / -ат / -от* встречается в ограниченном числе диалектов, например в габровском, трынском, странджанском и др. (*во́лт, сто́лт*) и в родопских говорах (*во́лат, сто́лат, мажòт, носòт*). В остальных диалектах согласный *т* отпал и артикль состоит лишь из так называемой эровой гласной *ъ*; в одних диалектах, преимущественно в северо-восточных и северо-западных, эта гласная сохраняется (*во́ль, сто́ль, мажъ́, носъ́*), а в других, прежде всего в юго-западных и мизийских, происходит перегласовка в *а, о, ê* и проч. одновременно с возможным развитием «вторичного эра»: *во́ла, сто́ла, мажá, носá; во́ло, сто́ло, мажò, носò; мажế, носế*.

В восточных и западных говорах форма постпозитивного артикля мужского рода не зависит от характера предшествующего согласного: *брегъ́, гърбъ́, зет'а, кон'а* или *брегò, гърбò, зет'о, кон'о* и проч. В некоторых мизий-

ских, фракийских, западнорупских и юго-западных говорах, однако, имеются две артиклевые формы, различающиеся в зависимости от характера предшествующего согласного — после твердого согласного стоит *-o*, а после мягкого *-e* или *-e*: *брегó*, *гърбó*, но *дéте*, *кóне*; *денé*, *зéте* и проч. В некоторых других говорах, например в смолянских, тетевенских, формы артикля различаются в зависимости от ударной или безударной позиции — под ударением артикль включает гласную *ó* или *é*, а без ударения — гласную *a*: *брегóт*, *гърбóт* или *брегé*, *гърбé*, но *зét 'ат*, *кón 'ат* или *зét 'а*, *кón 'а*.

Существует различие по говорам и в формах артикля при именах мужского рода, которые во множественном числе оканчиваются на *-e*: *българе*, *орáче*, *гълъбе*. В мизийских и родопских говорах используется *-те*: *българете*, *орáчете*, *гълъбете*, в то время как в юго-западных и восточных рупских говорах — *-то*: *българето*, *орáчето*, *гълъбето* (см. Стойков 1962, 140—141).

Кроме перечисленных вариантов постпозитивного артикля, имеющих значение общей определенности, в родопских и трынском говорах встречаются еще две иные формы — одна употребляется для обозначения определенных предметов, расположенных в пространстве и времени близко от говорящего (*-ъс/-ас/-ас/-ос/-ос/-ес*, *-са*, *-со*, *-сел-са* в родопских и *-ъв*, *-ва*, *-во*, *-вел-ва* в трынском говорах), другая обозначает определенность предметов, далеких от говорящего (*-ън/-ан/-ан/-он/-он/-ен/-ен*, *-на*, *-но*, *-не/-на*). Например, близкая определенность в родопских говорах: *носъс*, *мажъс*, *овесъс*, *носос*, *мъжос*, *мъжес*, *мъж'ес* (м. р. ед. ч.); *женаса*, *игласа*, *сестраса* (ж. р. ед. ч.); *маслосо*, *селосо*, *окосо* (ср. р. ед. ч.); *волóвесе*, *жéнисе*, *деца́са*, *селáса* (мн. ч.); далекая определенность: *синън*, *синан*, *пóпан*, *мажон*, *пътен*, *път'ен* (м. р. ед. ч.); *женана*, *иглана*, *сестрана* (ж. р. ед. ч.); *маслоно*, *селоно*, *око́но* (ср. р. ед. ч.); *волóвене*, *жéнине*, *деца́на*, *селáна* (мн. ч.). Близкая определенность в трынском говоре: *кón 'ъв*, *женáва*, *детéво*, *мужéво*, *деца́ва*; далекая определенность: *кón 'ън*, *женáна*, *детéно*, *мужéне*, *деца́на*. Родопские говоры отличаются от всех остальных болгарских говоров тем, что эта система трех форм определенного постпозитивного артикля, соответствующая системе указательных местоимений с тремя членами (*то́йа*, *то́а* и проч. — безотносительно к расстоянию до объекта, *со́йа*, *со́а* — для близкого объекта и *но́йа*, *но́а* — для далекого объекта), там хорошо представлена. В трынском говоре такая тройная ориентация в определенном артикле уже исчезает, сохраняется лишь артикль общей определенности, два других встречаются только в речи старшего поколения. В этом отношении трынский говор приближается к некоторым македонским, например к кумановскому и к юго-восточным сербским говорам (Stojkov 1969; Конески 1957).

В некоторых говорах, преимущественно в рупских, сохранились падежные формы постпозитивного артикля, главным образом формы родительного

и дательного падежей, отдельные от падежных форм существительного: *déte dóведи кон'áтога, откára волáтога, да́й во́лутому сéну, óтнеси децáмнем*. Это отражает древнее состояние языка, когда указательное местоимение, располагавшееся после определяемого им существительного, еще не превратилось в современный постпозитивный артикль (см. Стойков 1962, 141).

В шведском языке также наблюдается некоторое варьирование определенного артикля по географическому и стилистическому принципам. Например, в центральных областях Швеции в разговорной речи определенный суффиксированный артикль среднего рода единственного числа теряет конечное *-t*, так что определенная форма существительного с *-t* совпадает с неопределенной формой (*knä* вместо *knät* 'колени'), определенная форма с *-et* оказывается оканчивающейся на *-e* (*take* вместо *taket* 'крыша', ср. *ett tak*). (См. Маслова-Лашанская 1953, 125.)

Известно, что во всех индоевропейских языках определенный артикль развился из отдельного слова — ослабленного указательного местоимения. Сильные местоимения имели самостоятельное ударение и это давало им свободу в перемещении внутри предложения, но тенденция состояла в препозитивном употреблении сильных местоимений по отношению к имени или именной группе. В болгарском и скандинавских языках указательное местоимение, помещавшееся после имени, с которым связано, становилось безударным и претерпевало семантические (ослабление, а затем исчезновение значения указательности) и формальные изменения, после чего сливалось с этим именем. Указательная семантика стиралась постепенно, поэтому постпозитивный артикль долго сохранял оттенки значения указательности, пока оно полностью не заменилось артиклевым значением определенности (ср. Гълъбов 1986). Изучая историю становления постпозитивного артикля, Й. Курц пришел к выводу, что, хотя формальный путь к возникновению артикля в древнеболгарском языке был подготовлен, со смысловой и функциональной сторон он еще не был осуществлен (Курц 1962). В противоположность Й. Курцу, Фр. Славский утверждал, что категория постпозитивного артикля успела полностью развиться уже в древнеболгарском языке (Ślawski 1946).

В скандинавских языках суффиксированный постпозитивный определенный артикль также произошел из ослабленных указательных местоимений. Этот артикль отмечен в рунических надписях Швеции с середины XI в., но есть основания полагать, что в разговорной речи он появился еще в X в. (Стеблин-Каменский 1953, 189—195). Вопрос о том, какое именно из указательных местоимений послужило базой для постпозитивного артикля, остается спорным. Считается наиболее правдоподобным, что он развился из того указательного местоимения, которое представлено в др.-исл. *hinn*, др.-шв. и др.-дат. *hin* 'этот'. Например, др.-исл. *-inn* или *-enn* (м. р.), *-in/-en* (ж. р.), *-it/-et* (ср. р.):

armrinn ‘рука’, *skörin* ‘волосы’, *landit* ‘страна’. Скандинависты предполагают, что агглютинация возникла либо в словосочетаниях типа *karl inn gamli* ‘человек этот старый’, откуда получилось *karlinn gamli* и затем просто *karlinn* ‘старик’, либо она явилась результатом обычной постановки указательного местоимения после определяемого существительного (ср. совр. шв. *månad-en* ‘месяц’, *by-n* ‘село’, *bord-et* ‘стол’, *hjarta-t* ‘сердце’). В древнешведском суффицированный артикль обладал относительной морфологической самостоятельностью — он склонялся отдельно от склоняемого существительного: *stafr-in* ‘палка’ — *stafrs-ins* (род. п.) ‘палки’, *barn-it* ‘ребенок’ — *barns-ins* (род. п.) ‘ребенка’.

Склонение существительного слитно с суффицированным артиклем стало господствующим лишь к XVI в. В современных скандинавских языках следы самостоятельного склонения суффицированного артикля сохранились в нескольких застывших оборотах (ср. например, дат. *på havsens bund* ‘на дне моря, где *havsens* = /hav + s/= /en + s /), а в исландском языке до сих пор суффицированный артикль изменяется по падежам отдельно от существительного.

Достаточно широко распространено мнение, что и для русского языка характерен тот же путь образования постпозитивного артикля из слабого безударного указательного местоимения, стоявшего после первого ударного компонента именной группы. Подобное совпадение с болгарским объясняют тем, что появление этого артикля якобы относится к общеславянскому периоду и связано с универсальной языковой склонностью к развитию указательного местоимения в определенный артикль (ср. Милетич 1901; Wissemann 1939, Гъльбов 1986). Так, некоторые русские лингвисты говорили об определенном постпозитивном артикле в древнерусском языке. Например, Л. А. Булаховский (Булаховский 1939) видел в сочетаниях имен с частицами *-то* или *-т(-от)*, *-та*, *-то*, *-те* (*мужикот*, *старухата*) «закаменевший остаток постпозитивного члена, параллель к которому представляет, например, современный болгарский язык (*хлябът*, *ръката*, *полето*)». Постпозитивный член Л. А. Булаховский находил в письменных памятниках Киевской Руси.

В. А. Богородицкий (Богородицкий 1935, 116—117) тоже упоминал о существовании члена в русском языке, развившегося из указательного местоимения *тъ* (т. е. *тот*), *та*, *то*. Он писал, что в русском языке, подобно некоторым другим языкам, появление члена связано с понижением самостоятельности указательного местоимения, которое стало единственно придатком существительного, сообщая ему значение большей определенности. Однако употребление члена не столь обычно и часто, как в других языках, а в литературном языке член встречается только в разговорной речи и притом лишь в одной форме *-то*. В народных говорах употребление члена также свойственно преимущественно диалогу, например *Продаешь часы-ти* (т. е. именно эти часы, которые есть у тебя); *Только бы мне увидеть тетю-ту* (т. е. мою, твою

и т. п.). Эти примеры Л. А. Булаховского показывают, что так называемый член изменяется в зависимости от рода и числа существительного, к которому относится. В. А. Богородицкий считал, что древнерусский язык знал употребление члена и в былинной поэзии: *Как из славнова города из Мурома ис тово села Корочаева... а и выехал Илья со двора своего в те ворота широкия... и слышал Соловей разбойник тово ли топу коникова...* В древнерусском языке встречается иногда постпозитивная морфема *-сь*, которую В. А. Богородицкий также называл членом: *градокость — городок-от*.

А. А. Шахматов (Шахматов 1941, 499) считал, что имеются данные для утверждения, что в древнерусском языке развивался грамматический постпозитивный член, но в современном русском, в том числе в диалектах, он не утвердился. А. А. Шахматов показал, что в приводимых обычно примерах из народных говоров указательный элемент *-т* имеет далеко не всякое существительное со значением определенности, а категория артикля может считаться установленной только при условии подобной регулярности; кроме того, рядом с употреблением *-то* при существительном нередко его употребление при местоимении (*он-то, я-то*), а также при глаголе (*они-то говорят-то*). Все это свидетельствует о том, что речь может идти не о члене, а об указательной частице.

А. М. Пешковский (Пешковский 1956, 41) также не видел артиклевого характера в постпозитивной частице *-то*. Он писал, что частица *-то* помогает выделить слово, позади которого она стоит, усилить его значение по сравнению с другими словами предложения (*Он-то это сделает, Это-то он сделает*).

Сравнивая современный болгарский постпозитивный артикль *-ът, -та, -то, -те* с формами русского указательного местоимения *тот, та, то, те* и с указательными постпозитивными частицами *-т(-от), -та, -то, -те* в литературном языке и особенно в севернорусских диалектах, следует помнить критику, которой были подвергнуты А. М. Селищевым (Селищев 1941; Селищев 1939) утверждения Л. А. Булаховского о совпадении этих болгарских и русских фактов. А. М. Селищев считал такое соположение неправомерным, ибо членные формы в современном болгарском языке не представляют собой продолжения в синтаксическом отношении состояния, отраженного в древнеболгарских памятниках. Членные формы современного болгарского языка нужно рассматривать в аспекте морфологических и семантико-синтаксических процессов, пережитых болгарским языком в среднеболгарскую эпоху вместе с другими балканскими языками. Сочетания же с *тъ, та, то* старославянских памятников (*рабъ тъ*) необходимо связывать с греческим оригиналом. Разные отступления от греческого источника в расположении старославянских указательных элементов *тъ, та, то* свидетельствуют, что, находясь перед именем, они в большей степени имели указательное значение, чем в постпозитивном положении. Поэтому при подчеркивании указательности ме-

стоимения ставились в препозиции, расходясь с греческим текстом, для которого была характерна постпозиция указательного местоимения.

А. М. Селищев писал, что только внешнее сопоставление современных болгарских членных форм с русскими сочетаниями на *-то* или *-от*, *-та*, *-то* привело к отождествлению их семантико-синтаксических значений. Функции этих сочетаний в болгарском и русском языках неодинаковы. В современном болгарском это действительно артикли, соответствующие французским, немецким, шведским и т. п. артиклям, в русском же сочетания с местоимением *то*, *та*, *те* имели и имеют конкретное указательное значение, а сочетания с частицами *-т(-от)*, *-та*, *-то* и проч. выполняли и выполняют функцию эмоционально-экспрессивную, эмфатическую.

Это утверждение А. М. Селищева нашло поддержку у многих современных исследователей русских диалектов. Одной из самых значимых работ в этом отношении является статья И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко (Кузьмина, Немченко 1962). Авторы пишут (ссылаясь не только на А. М. Селищева, но и на С. С. Высоцкого, П. С. Кузнецова, А. М. Пешковского и на неопубликованную работу В. К. Чичагова «Членные формы в русском и болгарском языках», 1939), что в настоящее время, по-видимому, следует считать установленным, что постпозитивные *от*, *та*, *то*, *ту*, *те*, *ти*, *ты* в русском языке являются не артиклем, а частицами. У этих частиц отмечается усилительное, выделительное, но не артиклевое значение. В статье И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко предпринята попытка обобщения материалов различных диалектологических атласов, дается характеристика распространения каждой из постпозитивных частиц и рассматриваются условия, определяющие их сочетания с формами имени.

Как известно, обсуждаемые постпозитивные частицы распространены в основном в севернорусских говорах. Они выступают в сочетаниях с разными частями речи, главным образом с именами (существительным, прилагательным, местоимением, числительным), из глагольных форм чаще всего употребляются с инфинитивом, из наречий — с теми, которые образованы от существительных. При этом имена встречаются чаще всего в им. и вин. падежах.

Самая частотная из постпозитивных частиц — *то*. В одних говорах эта частица единственная, в других употребляется наряду с иными. Там, где она единственная, как в литературном языке, *то* сочетается с любой формой имени. В говорах, где есть другие частицы, *то* употребляется при формах им.-вин. пад. ед. ч. ср. р. (*окно-то*, *дерево-то*) или как универсальная с формами род., дат., твор. и предл. пад. обоих чисел. Отмечаются даже случаи использования *то* в качестве второй частицы (*дом-от-то*).

Следующая по употребительности — частица *ту*. Она сочетается с формами вин. пад. ед. ч. ж. р. (*кошку-ту*, *соль-ту*). Возможно также сочетание с

именами м. р. и ср. р. тех падежей, которые оканчиваются на -у (*в лесу-ту*), а также иногда с именами ж. р. в твор. пад., имеющими созвучные частице окончания. Но в некоторых говорах частица *ту* может свободно сочетаться с разными формами имени разных родов (*домов-ту, в избах-ту, избой-ту, большим-ту*). Такое уподобление частицы *ту* частице *то* П. С. Кузнецов объясняет результатом сужения безударного [о] в [у] (Кузнецов 1960, 88).

Частица *от* нормально сочетается с формами имен м. р. на согласный в им.-вин. пад. ед. ч. (*лес-от, один-от, мой-от, молод-от*). Встречаются единичные примеры сочетания с существительными ж. р. на согласный в им.-вин. пад. ед. ч. (*мать-от, печь-от*), а также в других падежных формах имени на согласный (*в садах-от, венцом-от*) и случаи сочетания с формами на гласный (*сноху-от, в избе-от*).

Частица *та* сочетается с формами им. пад. ед. ч. существительных ж. р. (*старуха-та, печь-та*). Отмечаются случаи ее употребления с другими формами на -а (*старика-та, дома-та*).

Частицы *те* и *ти* сочетаются с формами им.-вин. пад. мн. ч. (*старикити*). В одних говорах встречается только *те*, в других *ти*, в третьих обе частицы одновременно. По-видимому, это варианты одной частицы. Они употребляются и с формами других падежей: родительного, дательного, творительного и предложного, но редко (*из избы-ти*).

Частица *ты* присоединяется в некоторых говорах только к формам им.-вин. пад. мн. ч. (*люди-ты, ноги-ты*), в других говорах — и к формам других пад. мн. ч., а также ед. ч. м. и ср. р. твор. пад.

Как видно из изложения статьи И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко, главный грамматический признак, на котором основана предложенная ими классификация постпозитивных частиц, состоит в том, что при им.-вин. пад. имени употребляются все частицы, именно: *от, то, та, ту, те, ти, ты*; при формах род., дат., твор. и предл. пад. выступает одна частица *то*.

В несколько ином ракурсе анализирует славянскую частицу *ти* А. А. Зализняк (Зализняк 1989). Отмечая, что частицу *ти* обычно квалифицируют как усилительную и выделительную, он считает типологически наиболее интересным то значение древнерусской частицы *ти*, которое можно определить как подчеркивание того, что факт имеет место, и указание на его значимость для адресата. Например, *Повѣда ему Володимерь: идет ти Володимерь Галичский* (из Киевской летописи). А. А. Зализняк пишет, что частица *ти* принадлежит к энклитическим частицам, относящимся к предложению в целом, что равносильно отнесенности к сказуемому. Она выделяет рему, в отличие от современной русской частицы *то*, выделяющей тему (хотя некоторые древние фразы с *ти* внешне сходны с современными фразами с *то*). Исследования А. А. Зализняка показали, что характер употребления частицы

ти и сама степень ее распространенности — черта, сближающая древнерусский со старопольским. При этом в рамках древнерусского языка наибольшее распространение этой частицы наблюдается в древненовгородском диалекте, особенно в памятниках, близких к живой речи, а именно в берестяных грамотах.

Недавно опубликована интересная статья Л. Л. Касаткина (Касаткин 1996), в которой на большом материале проанализированы формы существительных им. и вин. пад. ед. ч. м. р. на *-о* типа *волко, амбаро, голодо, домо, мужыко, сыно* и др., встречающиеся в современных севернорусских говорах. Л. Л. Касаткин утверждает, что формы существительных на *-о* (*домо*), в отличие от форм на согласную (*дом*), воспринимаются как выделенные, и что в этом отношении окончание *-о* у существительных им.-вин. пад. ед. ч. м. р. стало выполнять ту же усилительно-выделительную функцию, что и постпозитивные частицы *от, то, та, ти, ты, те, ту*. Артиклевое значения определенности ни в формах на *-о*, ни в сочетаниях существительных с постпозитивными частицами Л. Л. Касаткин не находит.

Доводы цитированных лингвистов представляются убедительными и заставляют согласиться с тем, что сходство современного болгарского постпозитивного артикля с русскими постпозитивными частицами является внешним. В современном русском языке соединения существительного с этими частицами не стали регулярными грамматическими формами категории определенности, постпозитивный определенный артикль в русском языке не сформировался.

* * *

Весьма существенное различие между болгарским и шведским языками состоит в том, что в шведском имеется еще и препозитивный свободностоящий определенный артикль (лексико-грамматический способ выражения определенности): *den* (общ. р. ед. ч.), *det* (ср. р. ед. ч.), *de* (мн. ч. обоих родов). Правда, он употребляется лишь в специальных случаях, например, когда существительное определяется прилагательным, причастием или порядковым числительным, и не вместо суффиксированного артикля, а, как правило, одновременно с ним: *den varma gad-en* 'теплый день', *det friska barn-et* 'здоровый ребенок', *de varma dagar-na* 'теплые дни', *de friska barn-en* 'здоровые дети'. В болгарском же языке определенность имени может быть выражена только с помощью постпозитивного артикля. Отсутствие дублирования в выражении определенности характерно также для датского языка, который, в отличие от шведского и современного норвежского, выражает определенность каждый раз либо постпозитивным артиклем, либо — препозитивным артиклем.

Поскольку процесс развития определенных артиклей в скандинавских языках, в частности в шведском, имел место еще в дописьменный период, многое в нем остается не ясным. Однако, по-видимому, свободностоящий артикль появился раньше, чем суффицированный. Еще в шведской рунической надписи VI в. впервые встречается указательное местоимение в функции определенного артикля перед прилагательным, определяющим существительное: *ek erilaR sa wilagaR hateka* 'я герул хитрый называюсь', где *sa* — указательное местоимение, выступающее в функции определенного артикля (Стеблин-Каменский 1953, 190). В древнеисландских эдических песнях употребляются указательные местоимения *hinn* (м. р.), *hin* (ж. р.), *hit* (ср. р.), а также *inn*, *enn* или *sa inn*, *sa enn* перед прилагательным, определяющим существительное. Например, *inn heiði dagr* 'ясный день', *in alsnotra ambott* 'хитрая служанка', *it næsta sumar* 'следующее лето'. В древнешведском и древнедатском языках наряду с этим специфическим скандинавским указательным местоимением (др.-шв. и др.-дат. *hin*) в функции свободного определенного артикля используется и другое указательное местоимение: др.-шв. *þæn* (м. р.), *þe* (ж. р.), *þæt* (ср. р.) и др.-дат. *thæn* (м. р.), *thæn*, *the* (ж. р.), *thæt* (ср. р.): др.-шв. *þæn ælsti af þem* 'старший из них', др.-дат. *thæn gothæ man* 'хороший человек'. В дальнейшем в шведском и датском языках это указательное местоимение вытеснило *hin* в функции препозитивного определенного артикля, ср. приведенные выше шведские примеры: *den varma dagen* 'теплый день', *det friska barnet* 'здоровый ребенок', *de varma dagarna* 'теплые дни', *de friska barnen* 'здоровые дети'.

В скандинавских языках имеются также зачатки определенного препозитивного артикля, развившегося не из указательного, а из личного местоимения третьего лица. В датской и норвежской разговорной речи такое употребление личного определенного артикля вполне нормально при существительном, обозначающем лицо: нор. *der var hu mor født, og han morfar og han far til han morfar* 'там родилась (моя) мать и ее отец и отец ее отца', дат. *ham N. N. kan jeg ikke lide* 'я не выношу (этого) N. N.'. Такое употребление отмечается также в шведских народных говорах. Очевидно, это очень древнее явление, но проследить его трудно, так как подобный определенный артикль характерен для разговорного, а не письменного языка.

В современном шведском языке свободностоящий определенный артикль совпадает по форме с указательным местоимением *den* 'тот', 'этот'. Они отличаются друг от друга тем, что при указательном местоимении существительное употребляется обычно в неопределенной форме, а свободностоящий артикль, как правило, сочетается с определенной формой существительного. Ср. *den ädla man* 'этот благородный человек' (*den* — указательное местоимение) и *den ädla mannen* 'благородный человек' (*den* — свободностоящий определенный артикль).

* * *

В шведском языке есть также неопределенный препозитивный свободностоящий артикль: *en* для общего рода ед. ч. (*en flicka* ‘девушка’, *en dag* ‘день’) и *ett* для среднего рода ед. ч. (*ett barn* ‘ребенок’, *ett bi* ‘пчела’, *ett hus* ‘дом’, *ett träd* ‘дерево’). Во множ. числе обоих родов неопределенный артикль заменяется нулевым: *flickor* ‘девочки’, *dagar* ‘дни’, *barn* ‘дети’, *bin* ‘пчелы’, *träder* ‘деревья’.

Из истории скандинавских языков известно, что неопределенный артикль появился позднее, чем определенный. В древнешведских и древнедатских письменных памятниках показатель неопределенности перед существительным в неопределенном значении чаще всего отсутствует. Ср., например, следующие древнешведские и древнедатские фрагменты предложений и их переводы на соответствующие современные языки: др.-шв. *uill man mylnu gæræ* — совр. шв. *vill en man göra en kvarn* ‘если какой-то человек захочет сделать мельницу’; др.-дат. *fær bonde sun køpfærth* — совр. дат. *drager en bondesøn på en købmandsrejse* ‘если едет (один) сын бонда в торговую поездку’. Пережитком той эпохи, когда артикли, в первую очередь неопределенный, еще не развились, является их отсутствие в современных скандинавских языках в пословицах, поговорках, парных формулах и застывших оборотах. Ср. шв. *fara med tåg* ‘ехать поездом’, *Lat man får mager kål* ‘У лентяя капуста родится плохо’.

Памятники скандинавской (и вообще германской) письменности IX—X вв. демонстрируют наличие одноартиклевого системы, которая находит выражение в оппозиции «определенный артикль — нуль».

Во всех скандинавских языках неопределенный артикль развился из числительного ‘один’. О. И. Москальская (Москальская 1977) полагает, что после того как упрочилась функциональная связь определенного артикля с темой предложения (с известным), начинает развиваться противопоставленная ей функция ремы (новизны). В древнескандинавских, как и во всех древнегерманских языках, эту роль выполняют ослабленное, неэмфатическое числительное ‘один’ и неопределенное местоимение ‘некоторый’. По мере того как их употребление делается всё более частотным, начинают обнаруживаться ростки неопределенного артикля. Когда, наконец, такое употребление числительного ‘один’ и неопределенного местоимения ‘некоторый’ с существительным единственного числа в позиции ремы становится регулярным, можно считать сформировавшимся неопределенный артикль. В результате система противопоставления артиклей изменяет свой вид: (1) для существительных единственного числа это «определенный артикль — неопределенный артикль», (2) для существительных множественного числа «определенный артикль — нуль». Неопределенный артикль и нуль являются комбинаторными вариантами в рамках одного и того же члена в оппозиционном ряду. Позднее

происходит дифференциация значений неопределенного и нулевого артиклей и формируется более сложная двухартиклевая система противопоставлений «определенный артикль — неопределенный артикль — нулевой артикль». Исследователи указывают, что современное употребление неопределенного артикля в скандинавских языках установилось только к XVI в. (Стеблин-Камский 1953, 194). При этом в современном исландском языке неопределенный артикль в собственном смысле так и не сформировался, хотя числительное *eitt* ‘один’ используется в функции неопределенного местоимения со значением ‘один, какой-то’. Это напоминает положение неопределенного местоимения *един* (*един*) в современных русском и болгарском языках.

Известно, что в болгарском языке неопределенность существительного передается с помощью так называемой нечленной формы (*ден, жена, село, жени*), а для подчеркивания неопределенности дополнительно используются ослабленные формы порядкового числительного *един* ‘один, некий’ (его можно считать неопределенным местоимением или неопределенной частицей) в артиклевой функции: *един ден, една жена, едно село, едни жени*. На этом основании нередко говорят о неопределенном препозитивном артикле. В отличие от русского языка, в болгарском значение этого числительного, или местоимения, или частицы, настолько ослаблено, что при переводе предложения типа *Какво искаш от една жена, която не обичаш?* ‘Чего ты хочешь от женщины, которую не любишь?’ на артиклевый язык (предположим, на шведский) необходимо употребить неопределенный артикль. Однако многие известные болгаристы, например Л. Андрейчин, неопределенного артикля не упоминают (Андрейчин 1949), другие, например Ю. С. Маслов, признают наличие такового в болгарском языке, хотя и указывают на факультативность его употребления (Маслов 1981). Функционирование лексемы *един* неоднократно подвергалось специальному анализу (см. Ревзин 1978, 198—209; Станков 1984; Ивановская 1958; Георгиев 1967; Грозева 1979; Николаева 1982; 1983; 1985).

Исследуя статус детерминанта *един* в болгарском языке с типологической точки зрения, И. И. Ревзин исходил из того, что это слово может употребляться в высказываниях, которые с семантической точки зрения характеризуются как экзистенциальные (*Едно време имало един просяк-старец* ‘Однажды жил был старик-попрошайка’) и как собственно-неопределенные (*Най-разумно е да мисля, че всичко е само една лоша шега* = ‘Най-разумно е да мисля, че всичко е само лоша шега’ ‘Разумнее всего думать, что всё это только глупая шутка’). В экзистенциальных высказываниях слово *един* почти никогда не опускается, оно обязательно, в то время как в собственно-неопределенных опущение, т. е. факультативность, наблюдается гораздо чаще. И. И. Ревзин показал, что такое отсутствие регулярности в употреблении лексемы *един*

свидетельствует о том, что в болгарском языке нет грамматикализованного неопределенного артикля, но имеется артиклеобразное неопределенное местоимение, почти грамматикализовавшееся в экзистенциальной функции. Типологически болгарское *един* занимает промежуточное место между факультативным русским неопределенным местоимением *один*, используемым только в экзистенциальных предложениях, с одной стороны, и неопределенным артиклем в скандинавских языках — с другой.

В. Станков различает два вида значения неопределенности болгарского имени: общая неопределенность (выражается нечленной формой) и конкретная неопределенность (выражается нечленной формой + слово *един*). Значение общей неопределенности характерно для абстрактных имен (*Навсякъде цареше тишина* 'Повсюду царил тишина'), для существительных, обозначающих вещество (*Това е захар* 'Это сахар'), для конкретных существительных, которые называют не единичные предметы, а родовые понятия и являются ремой в высказывании (*Това животно е сърна* 'Это животное серна', *Назначиха го учител* 'Его назначили учителем'), для существительных, выступающих в роли несогласованных определений (*чаша за вода* 'стакан для воды', *крило на самолет* 'крыло самолета', *учебник по география* 'учебник географии') и проч. Конкретная неопределенность проявляется при счетных существительных, ее основное значение — «один из многих предметов данного класса» (*Едно агне се отдели от стадото* 'Один ягненок отделился от стада', *Едно дете го извика баща му* 'Одного ребенка позвал его отец'). Общий вывод В. Станкова сводится к утверждению, что слово *един*, употребляемое для выражения конкретной неопределенности, является неопределенным артиклем. Однако форму множественного числа этого слова *едни* он артиклем не называет, определяя ее весьма расплывчато как «уточняющее средство при существительном во множественном числе в случае количественной неопределенности».

В противоположность В. Станкову, Ст. Георгиев не признает лексему *един* в болгарском языке полноценным неопределенным артиклем, поскольку (1) ей недостает собственного неопределенного значения, эта частица лишь усиливает значение неопределенности, выражаемое нечленной формой существительного; (2) частица *един* передает не только значение неопределенности, но имеет целый спектр значений, некоторые из которых отдаляют ее от значения нечленной формы; (3) в артиклевых языках (например, в шведском) употребление нулевого неопределенного артикля, т. е. отсутствие артикля, возможно лишь в отдельных случаях (например, при форме множественного числа неопределенного существительного), в болгарском же, наоборот, редким случаем является добавление частицы *един* к нечленной форме существительного; (4) частица *един* употребляется в форме множественного числа *ед-*

ни, что в артиклевых языках неопределенному артиклю не свойственно. В результате Ст. Георгиев заключает, что в болгарском языке не существует полностью сформировавшегося неопределенного артикля. Лексема *един* не превратилась в неопределенный артикль, правильнее рассматривать ее как неопределенную частицу. Неопределенность существительного в болгарском языке выражается нечленной формой или нечленной формой одновременно с неопределенной частицей *един*, которая служит дополнительным средством подчеркивания грамматического значения неопределенности.

Приводя примеры употребления слова *един* в различных контекстах, Л. П. Ивановская попыталась доказать, что это слово является неопределенным артиклем. Ею отмечено, что *един* может передавать неопределенное значение, выступая в роли неопределенных местоимений *някой*, *някакъв*: *Но една сила скова краката му* 'Но какая-то сила сковала ему ноги'. Однако в неопределенном местоимении *някакъв* заключается большая степень неопределенности, чем в слове *един*: ср. *някакъв затворник* 'какой-то заключенный' и *един непознат мъж* 'один незнакомый мужчина'. Здесь *някакъв затворник* обозначен как абсолютно неизвестный человек, а в случае *един непознат мъж* просто не уточнено, кто именно назван. Л. П. Ивановская считает, что на базе значения 'один из' («*Два месеца не съм видяла къща*», — *казва една девойка* '«Два месяца я уже не видела дома», — говорит одна из девушек') развился неопределенный артикль — самостоятельное слово *един* превратилось в служебное, в показатель неопределенности существительного. Одновременно она видит, что «неопределенный артикль» во многих случаях не обязателен, ибо в тех же самых значениях может быть употреблена нечленная форма имени без него. Например, неопределенное *един* может использоваться в именном сказуемом: *Павильон на Калифорния е една грамадна, но стара и груба постройка* 'Павильон Калифорнии представляет собой огромное, но старое и некрасивое здание'; в той же синтаксической позиции нередко возможно и отсутствие слова *един*: *Оборът беше дълга низка постройка* 'Конюшня представляла собой длинную и низкую постройку'. Факультативность употребления *един* наблюдается также в других его значениях, в частности в обобщающем: ср. *Един офицер няма право да разсъждава така* 'Офицер не имеет права так рассуждать' и *Много свои постъпки човек не може да си обясни изведнъж* 'Многие из своих поступков человек не может объяснить сразу'. Подобное отсутствие регулярности в употреблении «неопределенного артикля» *един* заставляет Л. П. Ивановскую заключить, что факты говорят о том, что болгарскому языку лишь в некоторой степени присуще выражение неопределенности имени посредством слова *един*. Такое заключение явно противоречит основному тезису автора, что в болгарском языке существует грамматически оформленный неопределенный артикль.

М. Грозева сопоставила болг. *един* с нем. *ein*. Она показала, что в ряде случаев там, где в немецком, артиклевом, языке неопределенный артикль обязателен, в болгарском слово *един* не используется. Так, перед существительным, являющимся предикатом предложения, требуется нем. *ein.*, а болг. *един* может отсутствовать: ср. *Das Auto ist ein Verkehrsmittel* и *Колата е превозно средство* 'Автомобиль — средство передвижения'. В артиклевом языке значение представителя некоторого класса предметов, даже обозначенного абстрактным именем, всегда выражается с помощью неопределенного артикля, в болгарском же соответствии лексема *един* отсутствует: *Er führt ein angenehmes Leben* — *Той води приятен живот* 'Он ведет приятную жизнь'. Заметим, что приведенные болгарские примеры неупотребления 'один' совпадают с русскими. Но в значении 'всякий, любой' в русском языке *один* невозможно, в то время как болгарский артиклеподобный сопроводитель *един* употребляется подобно немецкому артиклю: *Ein Haus kostet viel Geld* — *Една къща струва много пари* — *Всяка къща струва много пари* — *Дом стои много денег*. Иными словами, русский язык еще дальше от артиклевого строя, чем болгарский.

Интересные наблюдения над неопределенными местоимениями в славянских языках приведены в работах Т. М. Николаевой. Автор, в частности, приходит к выводу, что русские неопределенные местоимения наименее артиклеподобны.

Таким образом, представляется, что факт существования неопределенного артикля как лексико-грамматического средства выражения категории определенности/неопределенности имени в болгарском языке остается недоказанным. По-видимому, можно говорить лишь о том, что ослабленные формы порядкового числительного, или неопределенного местоимения, или неопределенной частицы *един*, используются для усиления, подчеркивания значения неопределенности, выраженного нечленной формой. Высказывалось предположение, что употребление слова *един* в качестве аналога неопределенного артикля появилось в болгарском языке под влиянием плохих переводов с немецкого и французского. Однако это предположение нельзя признать обоснованным в частности потому, что возникновение неопределенного артикля вполне естественно для языка, имеющего грамматически оформленную категорию определенности/неопределенности имени. Более того, нельзя исключать, что дальнейшее развитие болгарского языка может привести к расширению употребительности слова *един* и к закреплению его в качестве полноценного неопределенного артикля. Подобные соображения подкрепляются аналогичными уже упомянутыми фактами из истории скандинавских языков: неопределенный артикль в шведском, датском и норвежском появился позднее определенного. Вообще опережающее развитие определенного артикля по отношению к неопределенному можно считать универсальной языковой тен-

денцией. Но нужно помнить о возможности и другого варианта развития ситуации в болгарском — неопределенная лексема *един* может сохранить статус неопределенной частицы, не превратившись в неопределенный артикль, как это имело место в исландском языке.

* * *

Употребление определенного и неопределенного артиклей

Поскольку категория определенности/неопределенности относится к числу так называемых коммуникативных категорий, полностью сформулировать семантические противопоставления ее плана содержания невозможно вне составляющих акта коммуникации, т. е. вне связи между говорящим и слушающим, их отношением к обсуждаемым предметам, с одной стороны, и конкретным высказыванием, включающим члены данной категории — с другой. В частности, значительную роль в формировании значений определенности и неопределенности играет линейно-интонационный строй высказывания — порядок слов и фразовая интонация. Определенность/неопределенность входит в число морфологических категорий имени, однако в отличие от категорий рода, числа и падежа передаваемые ею значения не вытекают только из соотношений между компонентами одного изолированного предложения, они раскрываются, как правило, в рамках связного текста. В этом смысле категорию определенности/неопределенности называют текстовой категорией. Еще одна важная особенность функционирования данной категории состоит в предоставлении говорящему наряду с однозначными предписаниями, зафиксированными в языковой системе, некоторой свободы в употреблении артиклей, позволяющей передавать его собственное понимание коммуникативной ситуации (см. Ревзин 1978, 195). Все это создает известные трудности в формулировке правил употребления артиклей, о чем совершенно справедливо пишет О. И. Москальская: «Сложность правил употребления артикля объясняется тем, что в каждом случае оно оказывается обусловленным взаимодействием ряда факторов, причем в различных случаях на первый план выступают различные функции артикля» (Москальская 1956, 127). Для большей ясности в изложении попытаюсь несколько упростить положение, предложив однозначные решения на место неоднозначных с тем, однако, чтобы основные семантические оппозиции, формирующие категорию определенности/неопределенности, не нарушались.

Определенный постпозитивный артикль

Как во всех артиклевых языках, в болгарском и шведском определенному артиклю присуще значение индивидуализации. Он характеризует предмет (в широком смысле, включающем лицо), обозначенный существительным, как

известный конкретный предмет, выделяемый из всего класса однородных с ним предметов. Тот или иной предмет может выступать как известный по разным причинам:

1. Определенный постпозитивный артикль употребляется, когда сообщается о предмете, уже упомянутом, когда происходит отождествление называемого предмета с тем предметом, который наличествует в представлении говорящего. Например, болг. *Имало един щъркел и лисица — та са се много обичали. Щъркелът кликнал лисицата на гости* ‘Жили-были аист и лиса и очень друг друга любили. Аист позвал лису в гости’. Здесь при первом упоминании существительные *щъркел* и *лисица* употреблены в нечленной форме, при вторичном упоминании оба существительные получают определенный артикль — *щъркелът* и *лисицата*.

То же самое наблюдается в шведском: *Mitt igenom Furumon gick med stritt flöde en å. I sitt nedre lopp blev ån älv* ‘Прямо через Фурум протекала бурная речка. В своем нижнем течении (эта) речка превращалась в большую реку’. Здесь существительное *å* ‘река’ во втором предложении стоит в определенной форме, потому что оно уже известно из первого предложения.

2. Предмет, хотя ранее не упомянутый, может выступать как уже известный благодаря всей ситуации или контексту, например болг. *Един човек орал на една нива. Една мечка отишла при него, та му изяла воловете* ‘Один человек пахал в поле. Пришел медведь и съел его волов’ — слово *воловете* имеет определенный артикль, поскольку представляется естественным, что у пахущего человека были волы. Ср. шв. *Den lilla badorten är öde ... Men så går jag ner till gästgivargården efter middagen...* ‘Курортный городок пустынен... Но вот после обеда я спускаюсь к постоялому двору...’ — существительное *gästgivargården* употребляется с определенным артиклем, хотя раньше о нем не упоминалось; это объясняется тем, что в представлении говорящего в небольшом курортном городке бывает лишь один постоянный двор, о котором и идет речь.

3. Предмет выступает как известный, если он является единственным в своем роде и вследствие этого вообще не может быть включен ни в какой класс: болг. *Слънцето топи земята* ‘Солнце обогревает землю’, *Ракета лети в космоса* ‘Ракета летит в космос’ — существительные в членной форме *слънцето*, *земята*, *космоса* обозначают единичные общеизвестные понятия. Ср. шв. *Solen skiner om dagen och månen om natten* ‘Солнце светит днем, а месяц ночью’, где существительные *solen* и *månen* имеют определенную форму, потому что это имена ишиса.

С определенным артиклем постоянно употребляются некоторые имена собственные, в частности некоторые географические названия (как названия единственных в своем роде явлений): болг. *Дунавът*, *Алтите*, *Балканът*, *Ро-*

donute и проч. Ср. шв. *Alperna* ‘Альпы’, *Karpaterna* ‘Карпаты’, *Östersjon* ‘Балтийское море’, *Atlantiska oceanen* ‘Северный ледовитый океан’, *Mälaren* ‘Меларен’, *Storgatan* ‘Большая улица’ и проч.

Так как определенный артикль обозначает единственные в своем роде вещи, он сопровождает прозвища и имена собственные, происхождение которых из нарицательных ясно осознается: болг. *Чобанът* (из нарицательного *чобан* ‘пастух’), шв. *sockersirupen* ‘Патока’ (прозвище).

Приведенные случаи употребления определенного артикля отражают его идентифицирующую и индивидуализирующую функцию.

4. Кроме того определенный артикль может выполнять обобщающую функцию. В таком случае он индивидуализирует и выделяет не отдельный предмет, но класс предметов в целом, противопоставляя его другим классам: болг. *Розата е цвете* ‘Роза — цветок’ (один из классов цветов), *Заекът е животно* ‘Заяц — животное’ (один из классов животных); ср. шв. *Järnet är en metall* ‘Железо — металл’ (один из многих классов металлов).

Замечено, что в болгарском языке в обобщающих высказываниях, где существительное выступает без определений, членная форма обязательна, но если существительное сопровождается ограничительным придаточным предложением с *който*, членная форма факультативна: *Заекът е животно*, однако *Заек, който е ранен, е лесна плячка за кучетата* ‘Заяц, который ранен, — легкая добычка для собак’. Здесь речь идет не о любых зайцах, а об определенных их подклассах. В связи с последним обстоятельством И. И. Ревзин высказал гипотезу, что в современном болгарском языке членная форма обязательна лишь в абсолютно универсальных высказываниях, в то время как в ограниченно-универсальных высказываниях она факультативна (Ревзин 1978, 211).

Обобщающее значение определенного артикля реализуется и в предложениях типа болг. *Лисицата е лукава* ‘Лиса хитра’, *Сърната се храни с листа* ‘Серна питается листьями’. Ср. шв. *Hästen har varit tamdjur sedan långt tillbaka* ‘Лошадь была приручена очень давно’ (речь идет не об одной определенной лошади, но о лошади вообще); *Barnen gå i skolan hela vintern* ‘Дети (не «эти дети», а «дети вообще») ходят в школу всю зиму’. Во всех подобных случаях имеются в виду не конкретные предметы, но все объекты, входящие в объем соответствующих понятий («лиса», «серна», «лошадь», «дети»), т. е. это значение индивидуализации класса предметов в целом.

Разновидностью значения индивидуализации и выделения целого класса предметов можно считать значение количественной определенности, когда определенный артикль обозначает все предметы данного класса: болг. *Войниците на поделението помагнаха при прибирането на реколтата* ‘Солдаты подразделения помогали при уборке урожая’ — в данном предложении указывается, что все солдаты подразделения приняли участие в сборе урожая;

заменяв членную форму *войниците* на нечленную *войници*, мы бы указали на участие в сборе урожая лишь какой-то неопределенной части солдат данного подразделения.

Поскольку в задачу настоящей статьи не входит рассмотрение всех подробностей употребления определенного артикля, ограничусь изложенным. В заключение лишь добавлю, что особенность болгарского языка, отличающая его от других артиклевых языков, состоит в том, что он прибегает к определенному артиклю только в случае обязательной необходимости. Обычно в учебниках даются рекомендации при возникновении колебаний, использовать ли существительное с определенным артиклем или нет, предпочесть существительное без артикля.

Определенный препозитивный свободностоящий артикль

Эта разновидность определенного артикля, характерная для шведского языка и отсутствующая в болгарском, употребляется, как правило, когда существительное, уже имеющее постпозитивный определенный артикль, определяется прилагательным, причастием или порядковым числительным: *den stora staden* 'большой город', *den revolutionära arbetarrörelsen* 'революционное рабочее движение', *det höga fjället* 'высокая гора', *de stora staderna* 'большие города', *de hittills uppnådda resultaten* 'достигнутые до сих пор результаты'.

Препозитивный определенный артикль может стоять и перед существительным в неопределенной форме, например, когда определением к существительному служит превосходная степень прилагательного в абсолютном значении: *den skönaste utsikt* 'чудеснейший вид'.

Препозитивный определенный артикль также обычно предшествует субстантивированному прилагательному, указывая на использование последнего в роли существительного: *den vise* 'мудрый', *den visa* 'мудрая', *de visa(e)* 'мудрые', *det sköna* 'прекрасное'.

Неопределенный артикль

Как уже упоминалось, неопределенный грамматикализованный артикль есть только в шведском языке. В болгарском функцию выражения неопределенности предмета в основном берет на себя так называемая нечленная форма, т. е. форма существительного без постпозитивного определенного артикля. Выше также говорилось, что иногда значение неопределенности может быть подчеркнуто с помощью ослабленной формы порядкового числительного, или неопределенного местоимения, или неопределенной частицы *един*.

Неопределенность существительного проявляется и, соответственно, в шведском языке используется неопределенный препозитивный свободно-

стоящий артикль, а в болгарском нечленная форма существительного или нечленная форма в сочетании с указанным артиклетиподобным сопроводителем *един*, когда речь идет о предмете, ранее не упоминавшемся и в данном контексте неизвестном, а также о каком-то одном предмете из множества однородных. Ср. болгарский пример из продолжения цитировавшейся сказки об аисте и лисе: *...лисицата била сипала мляко* (нечленная форма — первое упоминание) *на теспия* (нечленная форма — первое упоминание); *тя си ядяла, а църкелът ете тропал по теспията* (членная форма — второе упоминание) *и се не наял* 'лиса налила молоко на противень; она себе ела, а аист стучал по (этому) противню и не наелся'. То же в шведском: *På en grön och fager slutning silar sig en bäck i en däld* 'По (какому-то) зеленому и красивому откосу струится в (какой-то) ложбине (один, некий) ручеек'.

Неопределенный артикль в шведском языке употребляется, как правило, при именном сказуемом, указывающем на класс предметов, к которому относится подлежащее данного предложения, например *Järnet är en metall* 'Железо металл' (один из класса металлов). Ср. использование нечленной формы в болгарском: *Rozata e цвете* (а не *цветето*) 'Роза — цветок' (один из класса цветов).

В подобных случаях постановка неопределенного артикля в шведском и нечленной формы существительного в болгарском обусловлены значением неопределенности, характерным для предикативной связи, а именно существительное, выступающее в функции предиката, соответствует «реме» высказывания, т. е. тому новому, что сообщается в данном высказывании. Подлежащее же обычно соответствует «теме», т. е. чему-то уже известному: ср. шв. *Diktaren är en kämpe, inte en åskådare* 'Поэт — борец, а не наблюдатель'; ср. болг. *Бил съм и аз войник* (а не *войникът*) 'Был и я солдатом'. Однако предикативные существительные, называющие национальность, религиозную принадлежность, профессию, возраст, если они не сопровождаются определениями, употребляются без неопределенного артикля: *Ibsen är norrman, Strindberg är svensk* 'Ибсен — норвежец, Стриндберг — швед'; *Mannen var protestant, hans hustru katolik* 'Муж был протестантом, его жена — католичкой'; *Han är sjöman* 'Он моряк'. Если же подобное именное сказуемое имеет определение, то неопределенный артикль необходим, ср. *Han är en sjöman av äkta sorten* 'Он настоящий моряк'.

Бывает, что сказуемое обозначает понятие, не являющееся новым для слушающего, тогда предикативное существительное стоит в членной форме: болг. *Аз съм соколт, що ме ти хвана* 'Я сокол, которого ты поймала'. Бывает и так, что подлежащее несет новую информацию и составляет «рему» высказывания, тогда оно оказывается в нечленной форме: болг. *От време на време минаваха коли* 'Время от времени проезжали телеги', *След зимата идва про-*

лет 'За зимой идет весна'. О связи определенности и неопределенности существительного с актуальным членением предложения написано очень много (см., например, Иванчев 1957; 1968; Гладров 1992).

Иногда существительное в неопределенной форме имеет обобщающее значение, называя не только один какой-то предмет данного рода, но любой предмет и тем самым весь род вообще: шв. *Det kan ett barn begripa* 'Это может понять и ребенок' (любой, всякий ребенок, ребенок вообще); то же в болг. *Вълк куче не става* 'Волк не становится собакой'. Ср. обобщающее значение определенного артикля, на которое указывалось выше. В таком случае говорят о нейтрализации противопоставления определенности/неопределенности.

Частным случаем обобщающего значения неопределенного артикля является его употребление при сравнении: шв. *Hon går så lätt som en liten fågel* 'Она ходит легко, словно птичка', *Hon var en lika skicklig politiker som Elisabet själv* 'Она была таким же умным политиком, как сама Елизавета'. Сходную функцию выполняет неопределенный артикль в тех случаях, когда имя собственное (обычно употребляемое без артикля) используется как нарицательное: шв. *Han är en Cicero i värtaligheten* 'Он был Цицерон по своему красноречию'; ср. использование частицы *един* в болгарском языке в подобной ситуации: *Той беше надарен и с гласа на един Стентор* 'Он был одарен и голосом Стентора'. То же наблюдается, когда имя собственное обозначает предмет, произведенный лицом, имеющим соответствующее собственное имя: шв. *Detta är en Rembrandt* 'Это картина Рембрандта', ср. болг. *Тази картина е един Рембрандт*.

* * *

В языках, имеющих материально выраженные определенный и неопределенный артикли, обычно выделяют также нулевой артикль, под которым понимается значащее отсутствие артикля, такое отсутствие, которое соотносится с наличием определенного или неопределенного артиклей и которое подобно им несет семантическую нагрузку. Например, неупотребление артикля при форме множественного числа существительного указывает на значение неопределенности этого существительного: шв. *en dag* 'некоторый день' — *dagar* 'некоторые дни'.

В шведском языке нулевой артикль может усматриваться и при существительном единственного числа, когда предмет, обозначенный этим существительным, берется вне момента классификации или индивидуализации. Так, нулевой артикль характерен для слов, называющих вещества и абстрактные понятия (*gula* 'золото', *frihet* 'свобода'). Артикль (определенный) отсутствует при некоторых типах определенных существительных, например при большинстве имен собственных, потому что по самой своей природе они имеют

значение единичности и являются определенными в своей индивидуальности (*Janne* ‘Янне’, *Sverige* ‘Швеция’, *Stockholm* ‘Стокгольм’. Исключение составляет небольшой круг уже упомянутых географических названий типа *Karpaterna* ‘Карпаты’, *Alperna* ‘Альпы’). Подобное же значение индивидуализированной определенности нулевой артикль имеет и при нарицательных существительных близкого родства, особенно когда речь идет о родственниках говорящего лица: *Far är bortrest* ‘Отец уехал’ (отец говорящего = мой отец). По той же причине артикль отсутствует в аппозитивных сочетаниях с именами собственными, в том числе в случае нарицательных имен, употребляемых как титулы: *löjtnant Berg* ‘лейтенант Берг’, *herr Lundstedt* ‘господин Лундстедт’. Но определенный артикль обязателен, если нарицательное существительное сопровождается определением: *professorn i astronomi Hagfors* ‘профессор астрономии Хагфорс’. Ср. сказанное выше о неопределенном артикле при предикативных существительных, обозначающих национальность, профессию и проч. (*Han är sjöman*, но *Han är en sjöman av äkta sorten*).

Нулевой артикль в шведском языке характерен и для случаев, когда определенность существительного выражена некоторыми связанными с ним словами, например а) когда существительное определено другим существительным в родительном падеже: *Sveriges sjör* (а не *sjörna*) ‘озера Швеции’; б) когда перед существительным стоят притяжательные и некоторые указательные местоимения (*mitt arbete* ‘моя работа’, *från sina fiender* ‘От своих врагов’, *detta ord* ‘это слово’, *denne gosse* ‘этот мальчик’, некоторые прилагательные, близкие в смысловом отношении к местоимениям, например *följande* ‘следующий’, *nästa* ‘следующий’ (*följande dag* ‘следующий день’, *nästa stad* ‘следующий город’); в) после вопросительного местоимения *vilken* ‘какой’ (*Vilken årstid tycker du mest om?* ‘Какое время года ты любишь больше всего?’).

Таким образом, в шведском языке различаются определенный, неопределенный и нулевой артикли, составляющие, как уже говорилось, двухартиклевую систему. По пути развития двухартиклевой системы пошли все германские, в том числе скандинавские, языки, кроме исландского (и фарерского). Основное различие между исландским и другими скандинавскими языками заключается в том, что в современном исландском нет неопределенного артикля в собственно грамматическом смысле, хотя числительное *einn* ‘один’ может употребляться в функции неопределенной местоименной частицы со значением ‘некий, какой-то’. Например, *sá ek einn mann liggja undir garðinum* ‘я увидел, что какой-то человек лежит под изгородью’ (Стеблин-Каменский 1953, 193). Отсутствие неопределенного артикля заставляет причислять современный исландский язык к языкам с одноартиклевой системой. Это же относится к болгарскому языку, который не сформировал неопределенного артикля, в результате чего для него характерна оппозиция

«определенный артикль — нулевой артикль». С одноартиклевыми связана многозначность нуля в болгарском (и исландском) языке. Там нуль (нечленная форма) является основным способом выражения неопределенности существительного. Он, с одной стороны, противопоставлен определенному артиклю (*жена* — *жената*, подобно шв. *en flicka* — *flickan* ‘девушка’) и, с другой, соответствует шведскому нулевому артиклю, например передает неопределенность существительного во множественном числе (*жена* — *жени*, подобно шв. *en flicka* — *flickor*). Нулевой артикль в болгарском языке усматривается при существительных, называющих вещества и абстрактные понятия (*вино*, *любов*), при большинстве имен собственных (*Милка*, *Стоянов*, *България*, *София*). Исключения составляют некоторые географические названия, например *Родопите*, *Дунавът*, *Дарданелите*, преимущественно употребляющиеся с определенным артиклем; к исключениям относятся также уменьшительные имена типа *Анчето*, *Васката*). Отсутствие артикля в аппозитивных сочетаниях с именами собственными, в том числе при наличии нарицательных имен, употребляемых как титулы (*цар Симеон*, *господин Петров*), также может считаться нулевым артиклем. Нулевой артикль можно видеть и при нарицательных существительных близкого родства (*Тате ми е болен* ‘Мой папа болен’). Правда, в болгарском языке положение с членной или нечленной формой имен родства определяется более сложными, чем в шведском, и достаточно техническими правилами. В болгарских грамматических описаниях указывается, что существительные — имена родства *майка*, *баща*, *жена*, *сестра*, *брат* и др. мужского и женского рода в формах единственного числа (за исключением существительных *син*, *мъж*, *свекър*), если при них имеется краткая форма дательного падежа личного местоимения, всегда выступают без артикля; существительные *син*, *мъж*, *свекър* — чаще с артиклем; существительные среднего рода и все существительные во множественном числе — только с артиклем (*Той виждаше ясно жена си и дъщерите си* ‘Он ясно видел своих жену и дочерей’).

Заметим, что в сочетаниях краткой формы дательного падежа личного местоимения с существительным, не являющимся термином родства, существительное всегда имеет определенный артикль (*къщата му* ‘его дом’, *ръцете ѝ* ‘ее руки’).

* * *

Нулевой артикль в шведском и болгарскую нечленную форму, соответствующую нулевому артиклю, следует отграничивать от случаев, когда употребление артикля не несет семантической нагрузки и вызвано какими-либо техническими или стилистическими причинами. Например, артикль может не использоваться из соображений краткости и экономии в названиях литератур-

ных произведений, в газетных и иных заголовках (болг. «*Мъртви души*» — название романа Н. Гоголя, «*Изкушение*» — название рассказа Елина Пелина; шв. «*Språk och stil*» — название журнала, «*Svensk språkhistoria*» — название книги лингвиста Э. Вессена), в сценических ремарках и т. п.

Как правило, артикль не употребляется с существительными, функционирующими в качестве обращения (болг. *Ах, летете, ескадрони!* ‘Летите, эскадроны!’; *Та щях към вас да фръкна, Родопи горделиви* ‘Полетел бы я к вам, горделивые Родопы!’; шв. *Kom hit, lilla flicka!* ‘Поди сюда, маленькая девочка!’; *Farväl så länge, kärra vänner* ‘До свидания, дорогие друзья’). Однако это правило не имеет абсолютного характера. Св. Иванчев (Иванчев 1955) показал, что в современном болгарском языке, особенно в разговорном стиле, в качестве обращения может выступать и членная форма имени (существительного, прилагательного, числительного), обозначающего лицо (*Полицайте, задръжете ги* ‘Полицейские, задержите их’; *Кондуктора, дай два билета* ‘Кондуктор, дай два билета’; *Хайде, малката* ‘Идем, маленькая’; *Двама, вие кого чакате?* ‘Вы двое, кого ждете?’). При перечислении существительные употребляются обычно без артикля (болг. *мъже, жени и деца* ‘мужчины, женщины и дети’; *Него жалеят земя и небо, звяр и природа* ‘О нем тоскуют земля и небо, зверь и природа’; шв. *Han tänkte på hustru och barn, på gård och grund* ‘Он думал о жене и детях, о хозяйстве и земле’).

Часто артикль опускается по языковой традиции в разного рода более или менее устойчивых выражениях (болг. *напрягам сили* ‘напрягать силы’, *примая дъх* ‘затаить дыхание’, *махам с ръка* ‘махать рукой’, *живея на село* ‘жить в деревне’, однако *живея в града*, а не *в град* ‘жить в городе’; шв. *fara med tåg* ‘ехать поездом’, *ha tandvärk* ‘испытывать зубную боль’, *skriva brev* ‘писать письма’, *åka med häst* ‘ехать на лошади’); в некоторых предложных оборотах (болг. *под влияние на* ‘под влиянием’, *по молба* ‘по просьбе’, *под предлог* ‘под предлогом’ и проч.; шв. *i år* ‘в этом году’, *i fall* ‘в случае’, *på vers* ‘в стихах’, *till sjös* ‘на море’ и проч.); в народных песнях, пословицах и поговорках (болг. *По дрехи посрещат, по ум изпращат* ‘По одежде встречают, по уму провожают’, *Гарван гарвану око не вади* ‘Ворон ворону глаза не выклюет’; шв. *Ofta ligger orm under rosenbuske* ‘Часто под кустом розы прячется змея’, *Bränt barn skyr elden* ‘Обжегшийся ребенок боится огня’).

Эти правила неупотребления артикля сложились в ходе исторического развития языка и современному носителю языка могут казаться нелогичными.

Итак, повторю, что с точки зрения материального выражения, системы артиклей в болгарском и шведском языках достаточно существенно различаются: в болгарском есть только суффиговый определенный артикль, противопоставленный отсутствию артикля; это отсутствие артикля выражает и неопределенность и те значения, которые в шведском характерны для нулево-

го артикля. В шведском же языке имеется суффиговый определенный артикль, препозитивный свободностоящий определенный артикль, препозитивный свободностоящий неопределенный артикль и противопоставленный им нулевой артикль. Кроме того и в шведском и в болгарском языках известны случаи неупотребления артикля, вызванные техническими и стилистическими причинами и языковой традицией.

* * *

В болгарском и шведском языках категория определенности/неопределенности свойственна и прилагательному. При этом она отражает определенность и неопределенность существительного, к которому прилагательное относится, т. е. является синтаксической согласовательной категорией. В болгарском определенные формы образуются от неопределенных присоединением постпозитивных артиклей-суффиксов; последние различаются в зависимости от рода и числа, а также от окончания неопределенных форм прилагательных: болг. бял (бели) — бели-я(т), бяла — бяла-та, бяло — бяло-то, бели — бели-те. В шведском определенная (слабая) форма образуется от неопределенной (сильной) с помощью суффикса *-a(-e)* для всех родов и чисел: *ung* — *ung-a* 'молодой, молодая' (общ. р. ед. ч.), *friskt* — *frisk-a* 'здоровое' (ср. р. ед. ч.), *unga* — *ung-a* 'молодые', *friska* — *frisk-a* 'здоровые' (мн. ч.). См. таблицы 3 и 4.

Таблица 3

Болгарский язык

Формы	Ед. ч.			Мн. ч.
	м. р.	ж. р.	ср. р.	
Неопределенная	-# или -и	-а	-о, реже -е	-и
	бял (бели)	бяла	бяло	бели
	син (сини)	синя	синьо	сини
	български овчи	българска овча	българско овче, овчо	български овчи
Определенная	-ия(т), -я(т)	-та	-то	-те
	белия(т)	бялата	бялото	белите
	синия(т)	синята	синьото	сините
	българския(т) овчия(т)	българската овчата	българското овчето, овчото	българските овчите

Варианты с (*т*) и без (*т*) в живой речи равнозначны. Нормативная грамматика требует, по крайней мере на письме, их разграничения — вариант с (*т*) для именительного падежа, вариант без (*т*) для косвенного падежа.

Таблица 4

Шведский язык

	Неопределенная (сильная) форма	Определенная (слабая) форма	
Ед. ч.	-#	den + -a(-e)	
общ. р.	<i>en ung skådespelerska</i>	<i>den unga skådespelerskan</i>	‘молодая артистка’
Ед. ч.	-t	det + -a(-e)	
ср. р.	<i>ett friskt barn</i>	<i>det friska barnet</i>	‘здоровый ребенок’
Мн. ч.	-a(-e)	de + -a(-e)	
обоих родов	<i>unga skådespelerskor</i> <i>friska barn</i>	<i>de unga skådespelerskorna</i> <i>de friska barnen</i>	‘молодые артистки’ ‘здоровые дети’

В болгарском языке в атрибутивных сочетаниях определенный артикль присоединяется не к существительному, а к его определению, так что определенная форма прилагательного не дублирует определенную форму существительного (*царски-ят син*, но не **царски-ят син-ът* ‘царский сын’, *бели-те ръкави* ‘белые рукава’); если же определений несколько, то обычно артикль присоединяется только к первому из них (*наша-та зелена гора*, но не **наша-та зелена-та гора* ‘наш зеленый лес’, *малка-та черноока мома* ‘маленькая черноглазая девушка’). Однако есть случаи, когда определенную форму получает каждое из нескольких прилагательных, предшествующих определяемому существительному. Это бывает, когда прилагательные относятся к разным предметам мысли (*унгарското, румънското и чехословацкото посолство* ‘венгерское, румынское и чехословацкое посольство’ — имеются в виду три посольства) или, относясь к одному предмету мысли, подчеркивают разные признаки этого предмета (*ясните, точните, искрениите думи на оратора* ‘ясные, точные, искренние слова оратора’). Прилагательные, стоящие перед именами собственными, также обычно имеют постпозитивный артикль (*старата Сарандовица* ‘старая Сарандовица’). Определенную форму получают прилагательные, стоящие после личных имен (*Игнат куцият* ‘Игнат хромой’). Определенный артикль всегда используется при субстантивации прилагательного (*Ситият на гладния не вярва* ‘Сытый голодного не понимает’). Ср. использование определенного препозитивного артикля в шведском языке в подобной ситуации: *det sköna* ‘прекрасное’). Наконец, при инверсии, когда определение-прилагательное следует за существительным, оно обычно выступает в неопределенной форме, а артикль присоединяется к существительному: *сводът небесен* ‘свод небесный’, *волни-те смолни* ‘смоляные волны’, *от трона висок* ‘с высокого трона’.

Таким образом, в болгарском языке постпозитивный артикль всегда ставится при первом компоненте именного словосочетания (*мъдрият наш учи-*

тел, справедливиат и мъдър наш учител, нашият мъдър и справедлив учител, учителят наш). Этот принцип постановки артикля в болгарском языке единообразен. Он показывает стремление постпозитивного артикля подчиниться закону индоевропейской энклитики, поэтому, в частности, малосущественно, с точки зрения современного языка, появился ли артикль первоначально при прилагательном или при существительном. Ср. спор Л. Милетича (Милетич 1932) и Й. Трифонова (Трифонов 1931).

В шведском языке положение иное, там прилагательное почти механически повторяет и неопределенную и определенную форму управляющего существительного: *en kall vinter* 'некоторая холодная зима' — *den kall-a vinter-n* 'определенная холодная зима', *ett friskt barn* 'некоторый здоровый ребенок' — *det frisk-a barn-et* 'известный здоровый ребенок'. Как видим, при этом кроме постпозитивного артикля используется и препозитивный. В ряде случаев определенная форма прилагательного может употребляться при существительном, не имеющем артикля, но передающем значение определенности. Тогда свободностоящий артикль, как правило, отсутствует. Это наблюдается, если существительное имеет при себе местоимение или другое существительное в форме родительного падежа (*samma god-a ur* 'те же хорошие часы', *björkens vit-a stam* 'березы белой ствола'), а также при обращении и восклицании (*kär-a vänner!* 'дорогие друзья!').

Некоторые прилагательные всегда употребляются в определенной форме, потому что по своему значению они всегда являются определенными: *näst-a sommar* 'следующее лето', *förr-a dag* 'прошлый день'. Существительное после такого прилагательного не имеет определенного артикля.

Сравнивая болгарские определенные формы прилагательного со шведскими, необходимо помнить, среди всего прочего, что в шведском наряду с определенными и неопределенными формами, образованными с помощью суффиксов, имеются еще взаимодействующие с ними определенный и неопределенный препозитивные артикли, которых нет в болгарском. Так что болгарским двухсловным сочетаниям типа *здраво дете* и *здравото дете* соответствуют шведские трехсловные *ett friskt barn* и *det friska barnet* 'некоторый здоровый ребенок' и 'известный здоровый ребенок'.

* * *

Итак, сопоставительное рассмотрение системы артиклей в болгарском и шведском языках показало, во-первых, что они имеют поразительное сходство, выделяющее их на фоне не только безартиклевых славянских, но и большинства артиклевых языков (английского, немецкого, французского и др.), — это наличие в обоих языках определенного постпозитивного суффицированного

ного артикля; во-вторых, что между болгарским и шведским языками обнаруживаются известные различия. Основное из них состоит в том, что болгарский определенный артикль противопоставлен нулю, так как значение неопределенности имени не получило грамматического выражения, а также в том, что шведский язык, кроме суффиксированного постпозитивного, имеет препозитивные свободностоящие определенный и неопределенный артикли. Нет смысла повторно указывать на менее существенные расхождения.

Общий вывод, к которому можно прийти на основе изложенного, следующий: болгарский и шведский языки, принадлежащие к разным группам внутри индоевропейской семьи и географически не соприкасающиеся, демонстрирует, при некоторых отличиях друг от друга, значительные семантические, формальные и функциональные сходства в области категории определенности/неопределенности имени, которая имеет в них грамматический характер. Встает естественный вопрос о причинах такого сходства. Представляется, что это может быть либо совпадение самостоятельных по происхождению явлений, либо реликты общего индоевропейского состояния.

В последнее время в лингвистике утвердилось мнение об универсальном пути языковой эволюции, в принципе единой для языков разного строя. Языки, генетически не связанные или связанные не самым тесным образом, как в нашем случае, могут независимо развивать аналогичные или совпадающие категории и формы. Это происходит не в силу общности материала, унаследованного от общего предка, и не в силу каких-либо заимствований или влияний, а лишь в силу одинаковых закономерностей, проявляющихся в каждом языке сообразно характерным особенностям его структуры. Как писал Р. Якобсон в своей известной работе «К характеристике евразийского союза» (Jakobson 1962), два генетически разных языка могут независимо друг от друга пережить один и тот же процесс, причем процесс, не находящий себе параллели ни в одном другом родственном языке. Разными средствами из несхожего материала создаются однотипные построения. Однако сложность лингвистических фактов не позволяет говорить об одной-единственной причине того или иного языкового совпадения. Очевидно, нужно думать о совокупности причин, различая несколько уровней причинной зависимости. Прежде всего следует искать общую предпосылку всего явления в целом. Повидимому, первоотлчком к развитию грамматической категории определенности во всех индоевропейских языках явилось ослабление демонстративной силы указательных местоимений, проявившееся в значении и в форме. Указательные местоимения, стоявшие как перед именем, так и после него, постепенно претерпели семантические изменения, в результате которых они утратили чистую указательность, приобретя сначала артиклеподобное, а затем полностью артиклевое значение определенности. В развитии указательных

местоимений и в образовании определенных препозитивных артиклей индоевропейские языки проявляют почти полный, поразительный параллелизм. Не менее поразительно и сходное возникновение постпозитивных суффиговых определенных артиклей в болгарском и в скандинавских языках.

В большинстве языков, имеющих определенный препозитивный артикль, появился также неопределенный препозитивный артикль, развившийся из числительного 'один'. Эти языки располагают двухартиклевым системой. Таковы все скандинавские языки, кроме исландского (и фарерского). Для двухартиклевых языков характерна оппозиция «определенный артикль — неопределенный артикль — нулевой артикль». Иную артиклевую систему находим в болгарском языке, не сформировавшем грамматического неопределенного артикля: в нем ослабленное числительное *един* стало неопределенной артиклетождественной синтаксической частицей с факультативным употреблением. Таким образом, болгарский язык может быть назван языком с одноартиклевым системой, для которой характерна оппозиция «определенный артикль — нуль». С одноартиклевым связана многозначность нуля в болгарском языке. Как уже говорилось, там определенный постпозитивный артикль формально противопоставлен нулю, выполняющему и функцию неопределенного артикля и функцию нулевого артикля в двухартиклевых языках.

С другой стороны, артиклевые языки делятся на языки со свободностоящим препозитивным артиклем (например, английский, немецкий, французский и др.), языки, имеющие как свободностоящую, так и суффигованную форму определенного артикля (все скандинавские языки), и языки, имеющие только суффигованный определенный артикль. К последним относится болгарский. Этим он отличается и от шведского и от большинства других артиклевых языков. Данное обстоятельство, т. е. наличие только суффигованного определенного артикля, является отражением факторов не универсальных, а действующих в рамках отдельных неблизкородственных языков.

В остальных славянских языках, например в русском, образование постпозитивного артикля из безударного ослабленного указательного местоимения, находившегося после имени, не произошло, так как не оказалось соответствующих условий, хотя предпосылки такого явления наблюдались. В болгарском же, кроме «собственных средств», имел место «чужой импульс» — влияние окружающих балканских языков, в первую очередь румынского, располагавшего постпозитивным артиклем (см. Sandfeld 1930, 165—173). Здесь можно видеть факторы, в наибольшей степени зависящие от частных закономерностей, заложенных в системе именно данного языка, и от конкретных обстоятельств его исторического развития. Р. Якобсон писал в цитированной работе, что заимствование и конвергенция не могут категорически противопоставляться. Важен не факт заимствования сам по себе, а его функция с точ-

ки зрения заимствующей языковой системы; существенно, что именно на данное новшество есть спрос, что оно санкционируется системой, соответствующая возможностям и нуждам ее эволюции (Jakobson 1962, 149).

Литература

- Андрейчин 1949 — *Андрейчин Л.* Грамматика болгарского языка. М., 1949.
- Богородицкий 1935 — *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. М.; Л., 1935.
- Борковский, Кузнецов 1965 — *Борковский В. М., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
- Булаховский 1939 — *Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Киев, 1939.
- Георгиев 1967 — *Георгиев Ст.* Лексико-морфологическа модификация на първичното числително *един* в съвременния български език // *Български език*. 1967. № 2.
- Гладров 1992 — *Гладров В.* Семантика и выражение определенности/неопределенности // *Теория функциональной грамматики*. СПб., 1992.
- Грозева 1979 — *Грозева М.* Употребата на словоформата *един* за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена с употребата на неопределителния член *ein* в немския език // *Съпоставително езикознание*. 1979. № 5.
- Гълъбов 1986 — *Гълъбов Ив.* За члена в българския език // *Гълъбов И.* Избрани трудове по езикознание. София, 1986.
- Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
- Зализняк 1989 — *Зализняк А. А.* Славянская частица *ти* // *Синхронно-типологическое изучение грамматического строя славянских языков. Тезисы докладов и сообщений советско-польской конференции*. М., 1989.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Сравнительно-исторический анализ категории определенности — неопределенности в славянских, балтийских и древнебалканских языках в свете индоевропеистики и ностратики // *Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках*. М., 1979.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Категория определенности — неопределенности и шифтеры // Там же.
- Ивановская 1958 — *Ивановская Л. П.* К вопросу о неопределенном члене в болгарском языке // *Учен. зап. ЛГУ*. 1958. № 250. Вып. 44. Славянское языкознание.
- Иванчев 1955 — *Иванчев Св.* Една неописана употреба на членуваната форма (Към въпроса за формата на обращението в българския език) // *Сборник в чест на акад. А. Теодоров-Балан по случай на 95-годишнината му*. София, 1955.
- Иванчев 1957 — *Иванчев Св.* Наблюдения върху употребата на члена в българския език // *Български език*. 1957. № 6.
- Иванчев 1967 — *Иванчев Св.* Към въпроса за членуването на генерично употребения подлог // *Език и литература*. 1967. № 4.
- Иванчев 1968 — *Иванчев Св.* Проблеми на актуалното членение на изречението // *Славянска филология*, 10. Езикознание. София, 1968.
- Касаткин 1996 — *Касаткин Л. Л.* Гласные звуки на конце слова в современных севернорусских говорах на месте редуцированных гласных древнерусского языка // *Русистика. Славистика. Индоевропеистика*. М., 1996.

- Кацнельсон 1949 — *Кацнельсон С. Д.* Историко-грамматические исследования. 1: Из истории атрибутивных отношений. М.; Л., 1949.
- Конески 1957 — *Конески Б.* Трójниот член // Македонски јазик. Скопје, 1957. Год. 8. Кн. 1.
- Кузнецов 1960 — *Кузнецов П. С.* Русская диалектология. М., 1960.
- Кузьмина, Немченко 1962 — *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* К вопросу о постпозитивных частицах в русских говорах // Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Т. 3. М., 1962.
- Куриц 1962 — *Куриц Й.* Проблемата на члена в старобългарския език // Език и литература. 1962. № 3.
- Лекомцева 1979 — *Лекомцева М. И.* Семантика личных и указательных местоимений в старославянском языке // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Маслов 1981 — *Маслов Ю. С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981.
- Маслова-Лашанская 1953 — *Маслова-Лашанская С. С.* Шведский язык. Ч. 1. Л., 1953.
- Милетич 1901 — *Милетич Л.* Членът в българския и руския език // Сборник за народни умотворения. 1901. № 18.
- Милетич 1932 — *Милетич Л.* Прилагателни членни форми в старобългарския език // Македонски преглед. 1932. № 8.
- Молошная 1981 — *Молошная Т. Н.* Распределение артиклей в болгарском тексте // Структура текста—81: Тезисы симпозиума. М., 1981.
- Молошная 1996 — *Молошная Т. Н.* Постпозитивный артикль: скандинавские и славяно-балканские факты // Славянские языки в зеркале неславянского окружения: Тезисы международной конференции. М., 1996.
- Молошная 1998 — *Молошная Т. Н.* Контакты славянских языков с неславянскими: славяно-балканские и скандинавские факты (система артиклей) // Славянское языкознание: XII Международный съезд славистов. М., 1998.
- Москальская 1956 — *Москальская О. И.* Грамматика немецкого языка. М., 1956.
- Москальская 1977 — *Москальская О. И.* Становление категории определенности/неопределенности. Артикль // Историко-типологическая морфология германских языков. Т. 1. М., 1977.
- Николаева 1979 — *Николаева Т. М.* Акцентно-просодические средства выражения категории определенности — неопределенности в славянских и балканских языках // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Николаева 1983 — *Николаева Т. М.* Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. 1983. Т. 42. № 4.
- Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании. М., 1985.
- Падучева 1985 — *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
- Поспелов 1971 — *Поспелов Н. С.* О выражении категории определенности/неопределенности временными значениями русского глагола в форме прошедшего времени // Памяти акад. В. В. Виноградова. М., 1971.

- Прокош 1954 — *Прокош Э.* Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954.
- Ревзин 1969 — *Ревзин И. И.* Так наз. «немаркированное множественное число» в современном русском языке // Вопросы языкознания. 1969. № 3.
- Ревзин 1972 — *Ревзин И. И.* О роли коммуникативного аспекта языка в современной лингвистике // Вопросы философии. 1972. № 11.
- Ревзин 1973 — *Ревзин И. И.* Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
- Ревзин 1977 — *Ревзин И. И.* Анкета по категории определенности — неопределенности // Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
- Ревзин 1978 — *Ревзин И. И.* Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.
- Ревзин, Ревзина 1973 — *Ревзин И. И., Ревзина О. Г.* Выражение согласовательными средствами значения определенности в славянских языках // Кузнецовские чтения. М., 1973.
- Ревзина 1979 — *Ревзина О. Г.* Функциональный подход к языку и категория определенности — неопределенности // Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
- Селищев 1939 — *Селищев А. М.* О языке современной деревни // Труды МИФЛИ. Т. V. Сборник статей по языкознанию филол. ф-та ИФЛИ. М., 1939.
- Селищев 1941 — *Селищев А. М.* Критические заметки по истории русского языка // Учен. зап. Мос. гор. пед. ин-та. Вып. 1. Т. 5. М., 1941.
- Смирницкая, Гвоздецкая 1984 — *Смирницкая О. А., Гвоздецкая Н. Ю.* «Поэтическая грамматика» слабого прилагательного в «Эдде» и «Беовульфе» // Вопросы германского языкознания. М., 1984.
- Станков 1984 — *Станков В.* За категорията неопределеност на имената в българския език // Български език. 1984. № 3.
- Стеблин-Каменский 1953 — *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М.: Л., 1953.
- Стойков 1962 — *Стойков Ст.* Българска диалектология. София, 1962.
- Стойков 1958 — *Стойков Ст.* Употреба и значение на определителния член в съвременния български книжовен език. Ч. 1. Существителни имена // Годишник на Софийския ун-т. Филологически ф-т. Т. 532. София, 1958.
- Стойков 1968 — *Стойков Ст.* Граматическата категория «определеност» в българския език и нейните съответствия в други славянски езици // Славянска филология. X. София, 1968.
- Трифонов 1931 — *Трифонов Й.* Към историята на членните форми в българския език // Македонски преглед. 1931. № 7.
- Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* Отношение между определяемым, определением и определенностью // *Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М., 1987.
- Шамрай 1984 — *Шамрай Т.* Относно зависимостите между темпорално-аспектуалните значения и категорията «определеност — неопределеност» в съвременния български език // Съвременна България. Т. 5. София, 1984.
- Шамрай 1987 — *Шамрай Т.* Референция и семантична интерпретация на изречението с оглед на категорията определеност — неопределеност // Втори международен конгрес по българистика. Съвременен български език. Т. 3. София, 1987.

- Шамрай 1989 — *Шамрай Т.* Членувани и нечленувани имена в българския език. София, 1989.
- Шамрай 1993 — *Шамрай Т.* К вопросу о теоретических предпосылках типологического анализа категории именной детерминации // Съпоставително езикознание. 1993. № 6.
- Шахматов 1941 — *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.
- Jakobson 1962 — *Jakobson R.* К характеристике евразийского языкового союза // *Jakobson R. Selected Writings. 1: Phonological Studies.* 's-Gravenhage, 1962.
- Miletić 1889 — *Miletić L.* O članu u bulgarskom jeziku. Zagreb, 1889.
- Sandfeld 1930 — *Sandfeld Kr.* Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.
- Sławski 1946 — *Sławski Fr.* Miejsce enklityki odmiennej w dziejach języka bułgarskiego. Kraków, 1946.
- Stojkov 1969 — *Stojkov St.* Trois formes de la détermination en bulgare // *Revue des études slaves.* Paris, 1969. T. 48.
- Wissemann 1939 — *Wissemann H.* Die Syntax der nominalen Determination im Großrussischen. Leipzig, 1939.

СТЕПЕНЬ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОСОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ (финско-русские корреляции)

О возможном влиянии интонационных моделей контактных языков друг на друга писали много, однако неясным оставались самые простые вопросы: изменяется ли интонация целиком? влиянию подлежит только один параметр? модифицируется только воплощение ударного слога? Модифицируется вся словесная просодия? или интонационный тип предложения?

Решая загадку переноса ударения на первый слог в русских говорах, Р. Якобсон связывал его либо с финским влиянием (карельские говоры), либо с влиянием немецким: «Likewise erroneous is the objection that it would be impossible for the influence of a language to be manifested only in the word stress. One may refer to those Russian dialects in which, under the influence of the adjacent Karelian, the stress has shifted from the final syllable to the first, no other aspects of these dialects being affected by the Karelian influence» (Jakobson 1962: 623).

Однако, различая в манифестации словесного ударения мелодику, интенсивность и длительность, Р. Якобсон допускал лишь — в духе своего времени — два вида «ударения»: экспираторное и музыкальное. Таким образом собственно квантитативности традиционно отказывалось в праве быть носителем ударения, хотя сам Р. Якобсон и отмечал, что русские воспринимают чешские долготные слоги как ударные.

Однако тогда звуковые соответствия единицам речи мыслились более прямыми и непосредственными. Фонологическая система рассматривалась как данность, и фонолог определял «напрямую» фонетические корреляты фонологических единиц. Между тем теперь становится ясно, что единицы фонологии суть не «обобщенные» факты эмпирии, а прошедшие через сложный ментально-перцептивный отбор концепты особого уровня. В этом отношении валоризованные единицы фонологии могут соотноситься с другими валоризованными концептами человеческого существования и входят в общий процесс человеческого семиозиса. Иначе говоря, идеи И. Бодуэна де Куртенэ о «психичности» фонемы к 20-м годам нашего века оказались как бы элиминированными.

Сейчас очевидно, что они были связаны с рядом важнейших позднейших лингвофилософских (и чисто философских) теорий второй половины XX века.

Таким образом, сейчас диахронический процесс может мыслиться как циклический: эмпирико-фонетические факты через множество когнитивно-психологических фильтров переходят в валоризованную перцептивную сферу и становятся фонологическими концептами. Эти, уже фонологизированные, единицы могут изучаться с фонетической точки зрения. В процессе диахронии из фактов до-валоризованных уровней возникают новые единицы и происходит перераспределение фонологических систем.

И все же... Что можно сказать теперь по всем вопросам, которые так принципиально и так мучительно решал Р. Якобсон 70 лет тому назад?

Получив ответ на многое, мы не в состоянии пока ответить на простой вопрос его «славянских» сочинений: почему в одних славянских языках ударение «разноместное», в других — пенультичное, в третьих — инициальное? Собственно говоря, мы не можем ответить даже на вопрос, как это все произошло? Вероятно, для этого нужны диахронические универсалии более сложного порядка, чем те, которыми мы располагаем. Мы понимаем хотя бы, что ответ на вопрос *когда?* не объясняет процесса в целом.

Про ударение можно теперь сказать с уверенностью, что это — когнитивно-перцептивная отмеченность одного из гласных (одного слога) в слове. Однако в мировой фонетике терминология понятий, связанных с идеей «ударения», крайне запутана¹. Так, через русский термин «ударение» переводятся два ведущих термина — *stress* и *accent* (*A grand dictionary of phonetics*, 1981, 81, 569). Все определения расплывчаты и нечетки. Реальный же лингвистический узус говорит о двух значениях слова *stress*. Одно из них примерно соответствует русскому понятию «динамическое ударение». Второе же — факт лингвистического описания, просодического метаязыка. Тогда лингвистический феномен *stress* не соответствует однозначно физическому феномену, определяемому как *stress*. Часто в англоязычной литературе *accent* — свойство просодии высказывания — реализуется на слоге, маркированном через *stress*. Таким образом, в англоязычной литературе *stresses* — словарно закрепленные словесные ударения — являются как бы гвоздями, на которых закрепляются мелодические пики высказывания со смысловым заданием — *accents*.

Но при этом и *accents* тоже употребляются как общие термины для ударения. И они тоже имеют второе значение — «мелодическое выделение».

Таким образом, оба ключевых термина могут употребляться и обобщенно (тогда они почти синонимичны), и эмпирически — тогда они коррелируют с разными параметрами просодии.

¹ Подробно вся зарубежная и русская терминология, связанная с полем ударения, анализируется в книге: Николаева 1996, 33—38.

На самом деле Р. Якобсон уже давно понимал условность понятия ударения и условность введения в теорию только двух видов ударения: «Man sieht also, dass die traditionelle Einteilung der Sprachen in solche mit musikalischen und dynamischen Betonung phonetisch ungenau und von höchst problematischem Wert ist, aber wir haben noch einmal hervor, dass beide Bezeichnungen im traditionellen sprachwissenschaftlichen Gebrauch zwei unterschiedlichen phonologischen Phänomenen entsprechen und dass die Einteilung der Sprachen in zwei grundsätzlich verschiedene akzentologische Gruppen deshalb gültig bleibt» (Jakobson 1962a: 123—124).

Более ясными становятся теперь и внутренние метатеоретические препятствия, в конце концов погасившие и у Н. Трубецкого, и у Р. Якобсона интерес к просодическим явлениям и к теории ударения. Для просодических феноменов существует изначальное препятствие в их движении по пути к фонологизации. Дело в том, что, как пишет Н. Трубецкой, фонологические звуковые различия в отличие от фонетических «не знают переходных зон» (Трубецкой 1987, 33).

Просодические особенности любого способа реализации ударения характеризуются тем, что ударение, став таковым, начинает входить в привативную оппозицию языка, а не эмпирии фактов: есть ударение / нет ударения, тогда как фонетические данные при этом шкалированы и градуальны: «ударный слог» может по своим показателям отличаться от неударных минимально, или даже отличаться чем-то пока невыявленным.

При обращении к диахронии вопрос о статусе ударения становится еще более запутанным. И здесь мы хотим еще раз предложить на обсуждение нашу теорию существования некоторого промежуточного этапа в развитии просодии слова, аналогичного до-фонологическому существованию фонемы-в-становлении, столь бесспорно принимаемого для исторической сегментной фонетики.

Теория наша Ю. С. Степановым была названа «непарадигматической акцентологией» (Степанов 1997). В наших работах речь шла о **просодической схеме слова**, под которой понималась модель распределения **сильных и слабых** (то есть максимально и минимально выраженных) точек реализации параметров просодии в пределах слова. Так, например, для славянского слова сильной точкой интенсивности является в этой схеме начало слова, а сильной точкой по длительности — его конец. Сильные точки акцентологии (из специальных работ наиболее подробно см.: Николаева 1993).

Эта модель, в синхронии соответствующая тому, что можно назвать **звуком языка**, как представляется, объясняет многие явления, отмеченные или прогнозируемые Р. Якобсоном и другими исследователями. Согласно этой идее **схемы слова**, первый слог слова **изначально акцентологичен** и «пере-

нос» на него ударения не требует поиска контактных влияний или сложных диахронических инноваций — просто количественное увеличение интенсивности этого слога переходит требуемый когнитивно-перцептивный порог и данный слог воспринимается как «ударный».

Именно эта концепция позволяет интерпретировать открытый Р. Якобсоном закон несовместимости фонологической долготы и разноместного ударения. Дело в том, что те славянские языки, которые обладают фонологической долготой и о которых говорил Р. Якобсон, как правило тяготеют к инициальному фиксированному ударению, то есть к изначально сильной по интенсивности акцентогенной точке. В этом случае длительность как параметр остается функционально ненагруженной и может выполнять функции фонологического смысловоразличения. В языках со «свободным» ударением оно может передвигаться к концу слова, то есть к акцентогенной точке по длительности, и тогда она не оказывается потенциально способной выполнять функции фонологической нагруженности.

Первоначально идея просодической схемы слова казалась нам чем-то близким к просодической универсалии. Однако данные неиндоевропейских языков (в частности, тюркских и монгольских)² показали типологическую характерологичность этой схемы: так, в тюркских языках интенсивность (акцентная кривая) повышается к концу слова, а длительность, напротив, отмечает его начало. Именно эта тенденция к усилению по длительности не конца, а начала слова была нами отмечена в балканских языках (не румынском!), входящих в зону тюркского влияния.

Предложенная нами выше идея до-ударной (или отдельной от ударности) просодической схемы слова в сочетании с наблюдениями И. Хлумского о двусложности «первой экспираторной волнь», то есть словесного анлаута, позволила, как кажется, объяснить причину произошедшего к XV в. так называемого неоштокавского акцентного сдвига. Богатый материал описания просодий современных сербских, хорватских, словенских и македонских говоров (Fonološki opisi 1981) демонстрирует тот факт, что сербохорватские говоры имеют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута, а не аулаута. Но в чакавских и кайкавских говорах это выразилось в усиленной долготе предупредного слога, а в штокавских — в долготе постударного. Таким образом, в этом регионе осуществлялось долготное неравновесие двух сильных по долготе контактных слогов начала. В одном случае первый из них так и оставался долгим предупредным, в другом — его долгота перешагивала необходимый порог перцепции, при котором уже фонологизировалось «ударение», то-

² Соответствующая библиография и экспериментальные данные приводятся в книге: Николаева 1996.

гда этот слог становился «ударным», а второй в этом долготном ансамбле — долгим посттоником. Это движение квантитативности, ориентированное к началу (возможно, под не славянским влиянием, а тюркским), и было, по нашему мнению, той причиной, которая приостановила движение обратного характера, то есть «прогрессивный» сдвиг акцента (Vermeer 1987), и которое полностью осуществил словенский язык. Таким образом, мы считаем основой неопштокавского акцентного сдвига долготное дисбалансирование параметра длительности просодической схемы слова, при этом тоник и посттоник оказались связанными одной связкой «двусложной волнь».

Итак, идеи Р. Якобсона о влиянии одного языка на другой в одной только просодической области оказались справедливыми не для одного собственно ударного слога, но и для параметров, формирующих описанную выше просодическую схему слова. Это подтвердилось влиянием на акцентную кривую, то есть на движение интенсивности в слове, болгарских говоров под тюркским влиянием и русских поволжских говоров в тюркском окружении — в обоих случаях акцентная кривая слова в целом имеет тенденцию к повышению, а не к понижению.

Однако все сказанное выше относилось к слову. Между тем важен и другой вопрос: что является произносительной единицей речевого потока: слово? словосочетание? целое выражение?

Нами исследовался вопрос о зависимости способа выражения словесного ударения в русских словосочетаниях от следующих факторов:

- 1) распределения в этом словосочетании ударных и безударных слогов;
- 2) расположения в словосочетании управляющего / управляемого слова — препозиция или постпозиция;
- 3) наличия или отсутствия предлога в словосочетании;
- 4) фонетической структуры этого предлога — с вокальным или консонантным исходом;
- 5) частеречной принадлежности управляемого слова в случае его препозиции: то есть *синяя шляпа* или *моя шляпа*.

Таким образом для эксперимента было предложено 33 типа русских словосочетаний. Например,

Шляпа папы, Шляпа отца... Шляпа для Тамары, Шляпа для отца...

Книга от папы, Книга от отца... Гитара для Тамары...

Синяя книга, Родная книга... Наше дитя, Мое дитя, Дорогое дитя

и т. д. Эти 33 модели словосочетаний были воспроизведены 5 дикторами — тремя поколениями москвичей. Всего было получено 165 воспроизведений, которые были затем обработаны в системе WINCECIL с учетом следующих акустических показателей:

- 1) где в данном словосочетании расположен пик интенсивности:

2) каков показатель в процентном отношении интенсивности ударного слога в первом слове к интенсивности ударного слога во втором слове;

3) как выглядит конфигурация (общий рисунок) акцентной кривой в данном словосочетании.

Располагаем (по степени возрастающей значимости!) полученные результаты³.

А. В целом было представлено две модели конфигурации акцентных кривых в исследовавшихся словосочетаниях.

В первой из них оказалось резко повышенным акцентное начало, то есть словосочетание воспринималось как большое слово.

В другой модели проступал ярко обозначенный (повышенный) центр словосочетания.

В каких же это было случаях?

Прежде всего тогда, когда ударные первого и второго слов словосочетания оказывались контактными, например *Мечта пАны* (см. рисунки).

Во-вторых, в тех примерах, где в центре словосочетания возникало скопление гласных любой степени ударности, например *КнигА-Ат-Атца (а-о-о)*⁴ (см. рисунки).

В словосочетаниях с препозицией прилагательного определяемое существительное — это тип *Синяя книга, Дорогая гитара* и под. — в среднем оказалось в 1,5 раза слабее по интенсивности, чем второе существительное в сочетаниях типа *Книга отца, Гитара Тамары* и под.

Б. Таким образом полностью подтверждаются просодические гипотезы Р. Якобсона о синтаксических особенностях стиха В. Маяковского, желавшего, чтобы его стихи звучали, «как набат» (Jakobson 1979), и потому, как мы теперь видим и можем это доказать, избегавшего удвоящих на себя ударение прилагательных.

Для сопоставления и определения русской просодической модели в воспроизведении носителей контактного языка были привлечены дикторы — носители финского языка, финки, одна — среднего, другая — молодого возраста, живущие в Финляндии (одна — в Тампере, другая — в Ювяскала), учившие русский язык и на нем говорящие.

Они читали те же русские примеры; данные обрабатывались по той же методике WINCECIL.

³ Сообщение о данном эксперименте и о его результатах было доложено автором на Заседании Постоянной комиссии по фонетике и фонологии при Международном комитете славистов в г. Загребе (Хорватия) в октябре 1997 г.

⁴ Невероятно соблазнительно именно на таких случаях строить гипотезу о возникновении разноместного ударения в языках, но пока для этого нет ни верифицирующего материала, ни метода доказательств.

РУССКИЕ ДИКТОРЫ (Рис. 1—6)

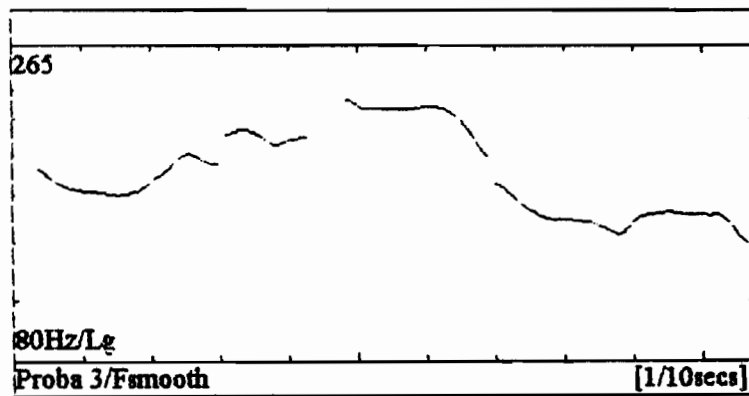
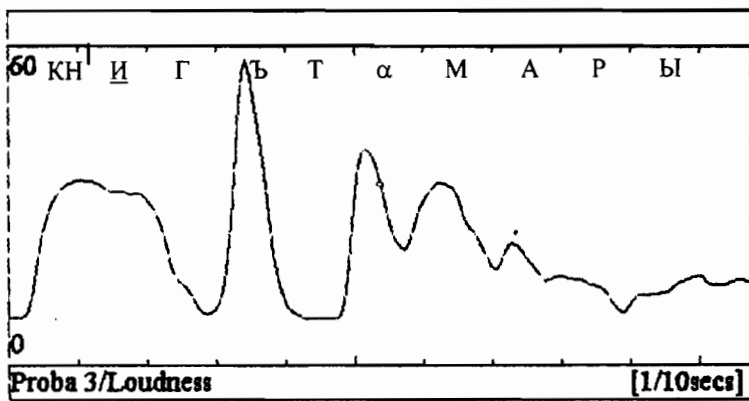
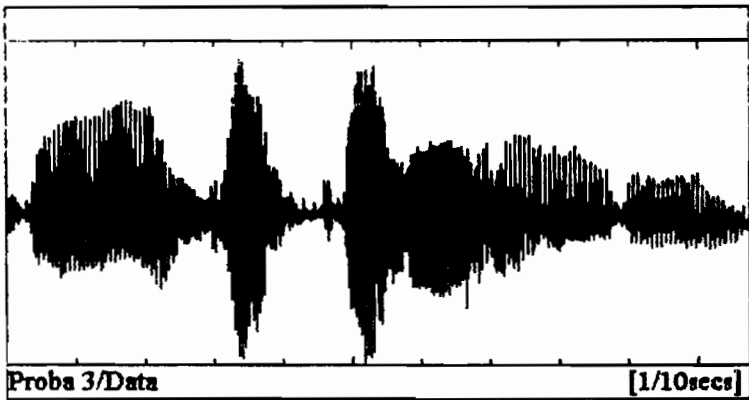


Рис. 1. Книга Тамáры

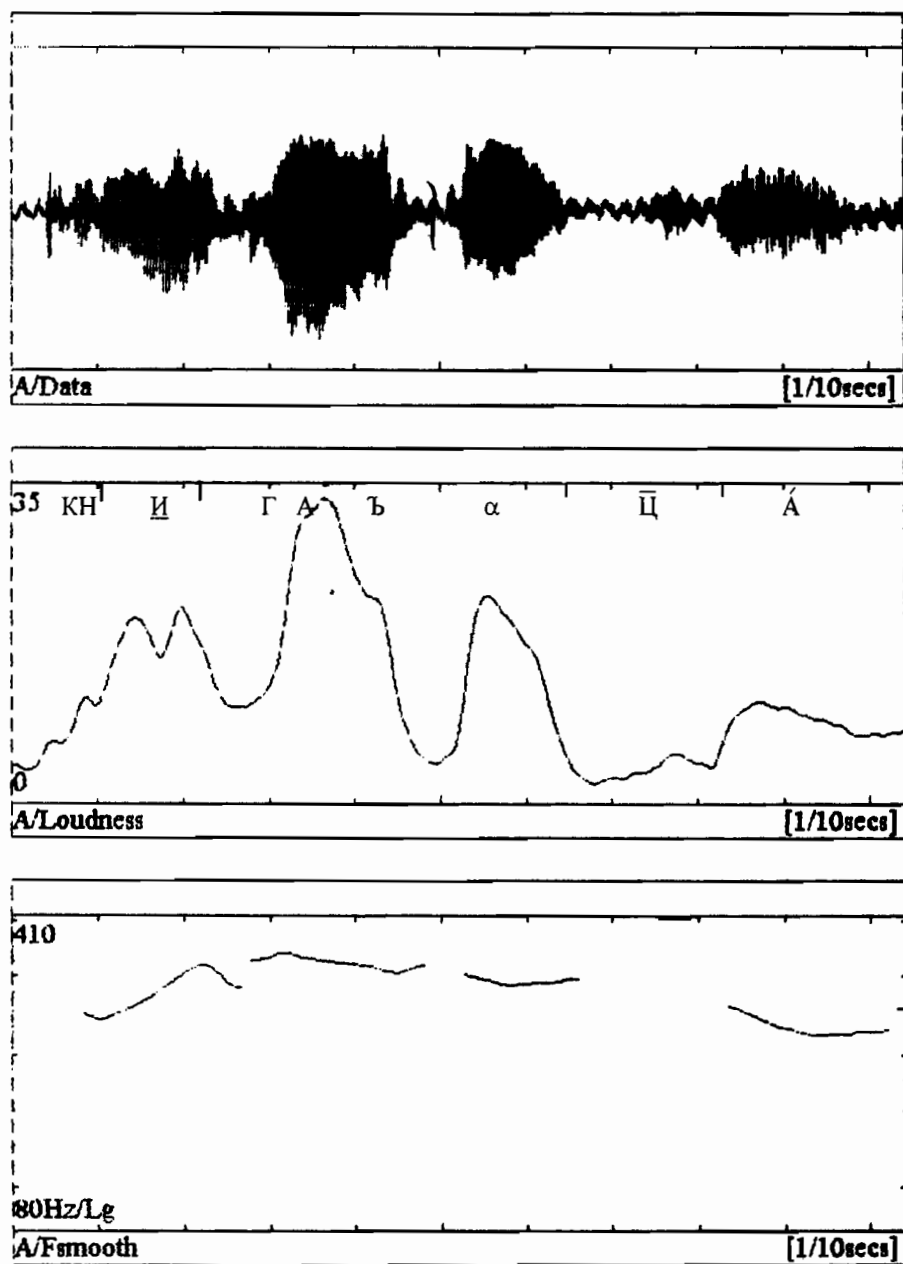


Рис. 2. Книга отца Д₁

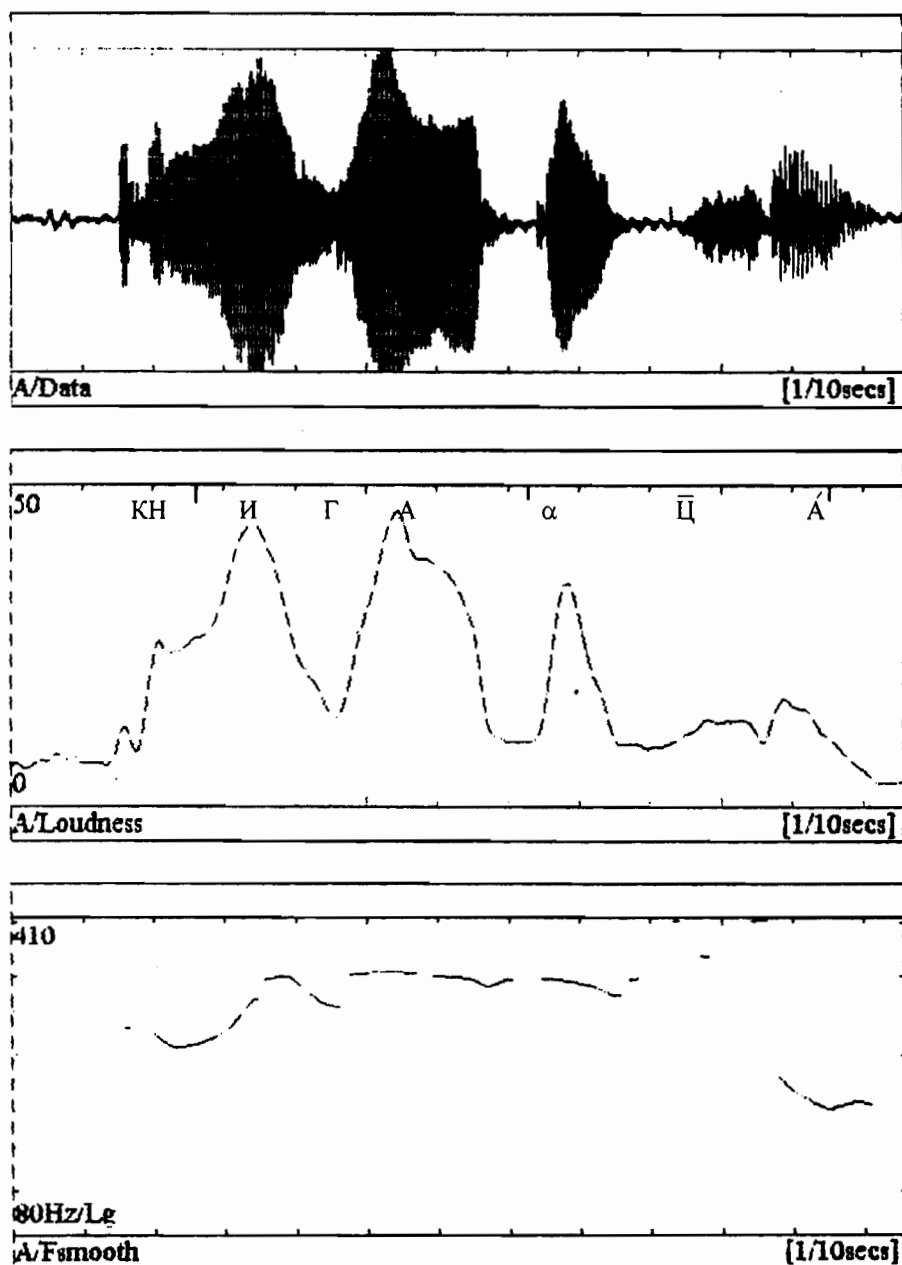


Рис. 3. Книга отца. Д₂

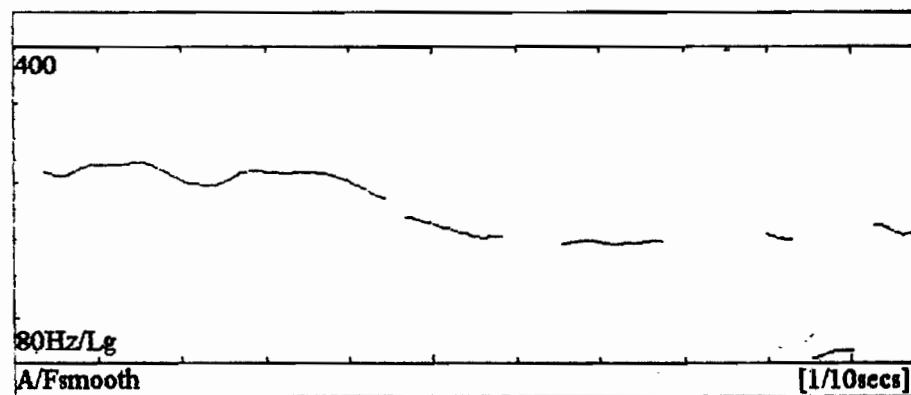
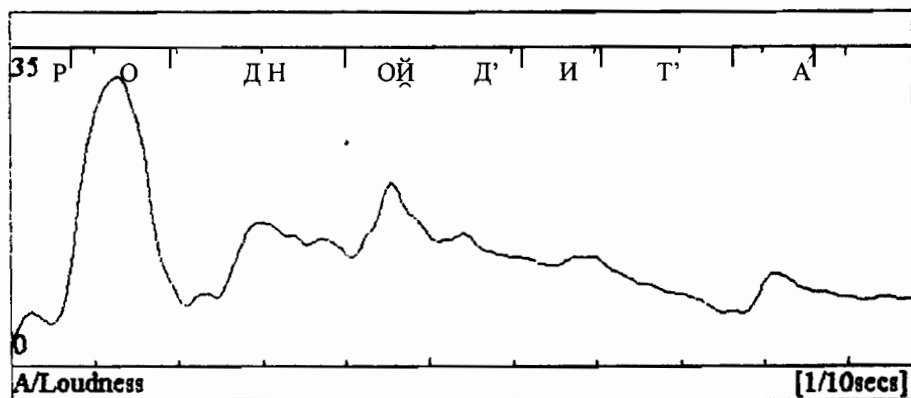
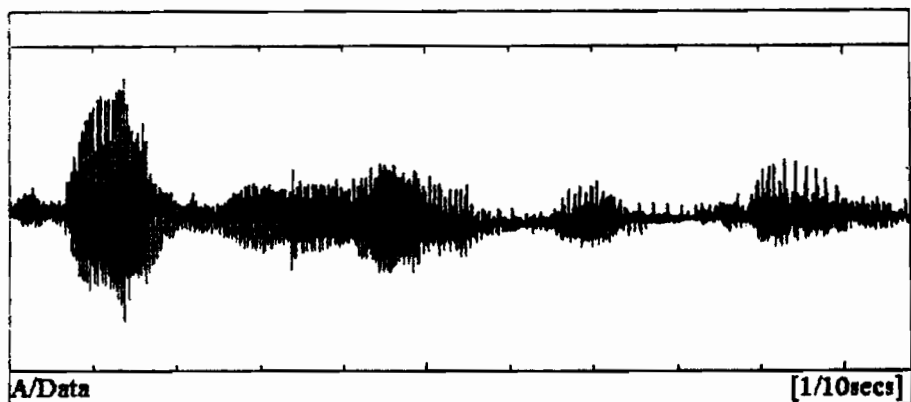


Рис. 4. Родное дитя. Д₁

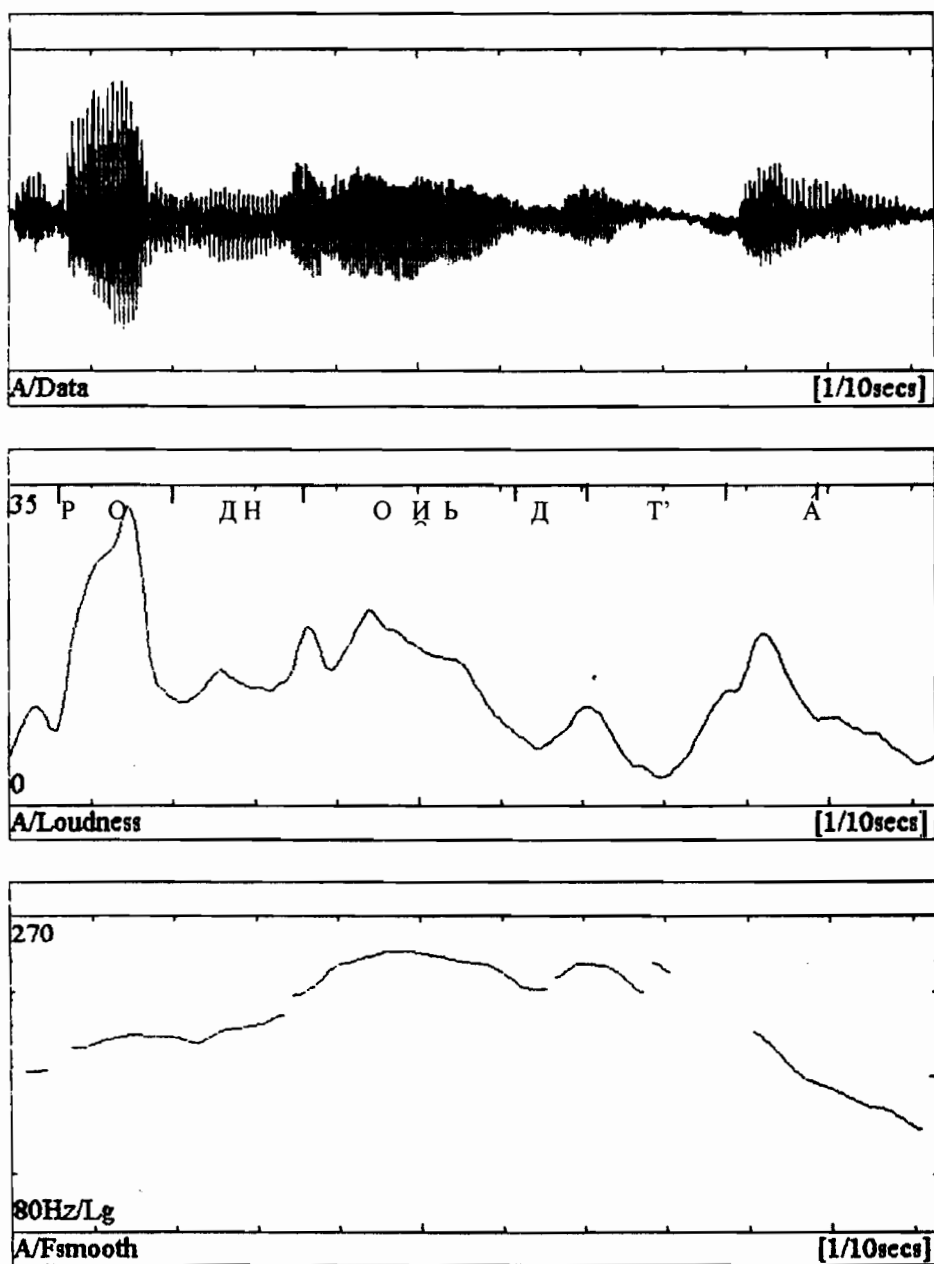


Рис. 5. Родное дитя. Д₂

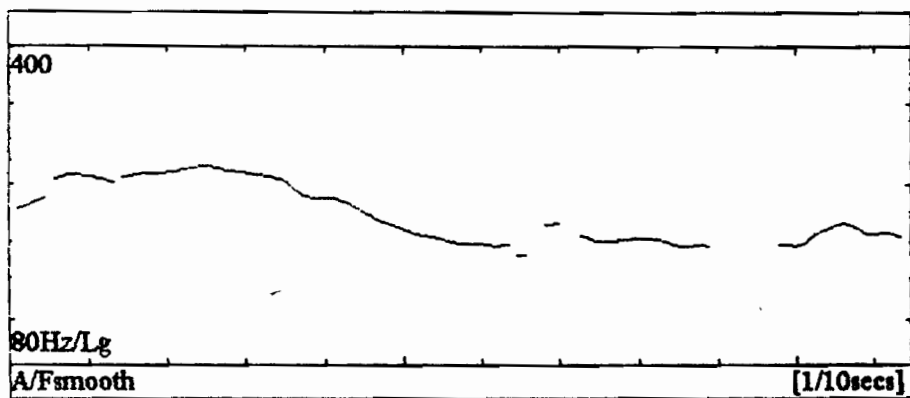
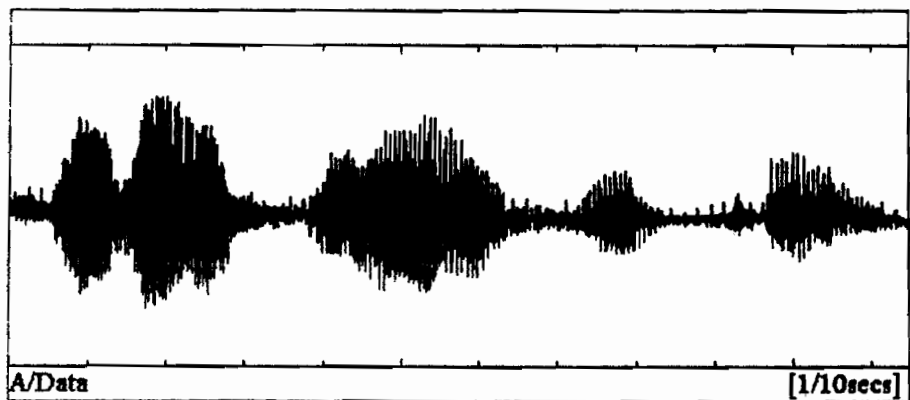


Рис. 6. Дорогое дитя

ФИНСКИЕ ДИКТОРЫ (Рис. 1—18)

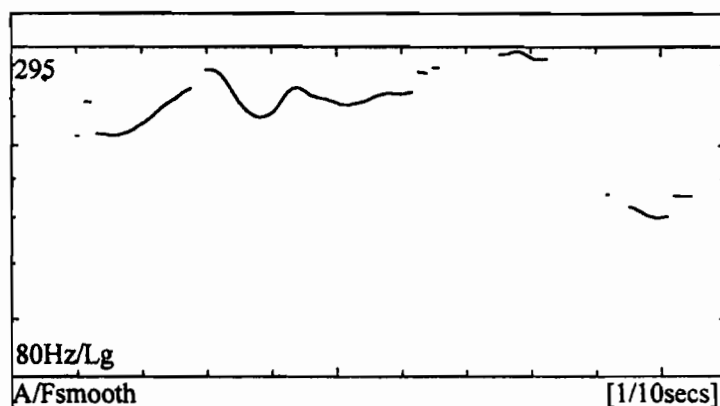
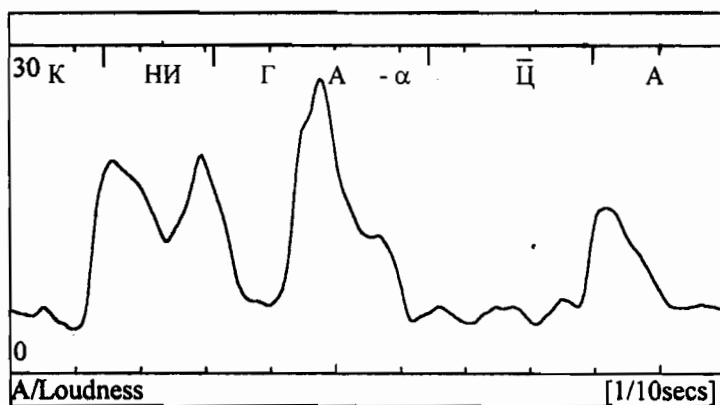
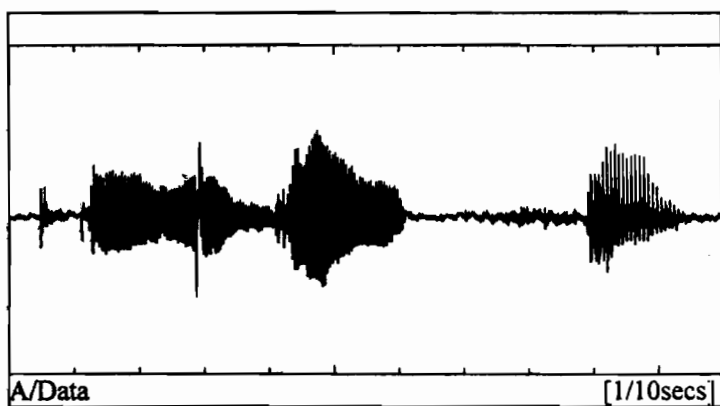


Рис. 1. Кни́га отца́. Д₁

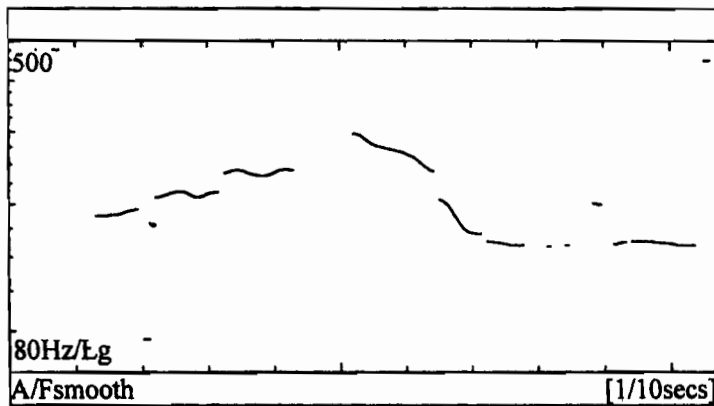
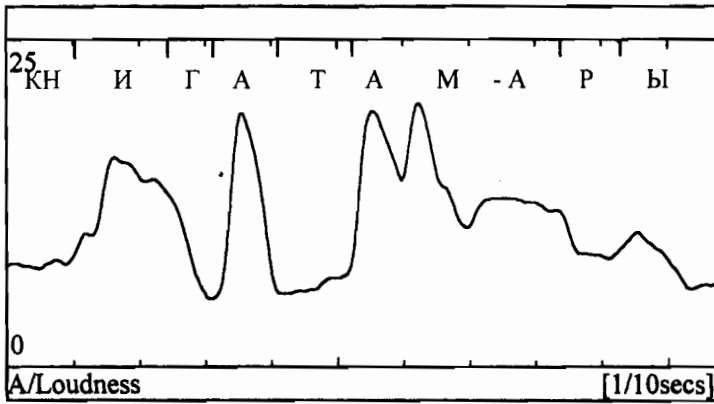
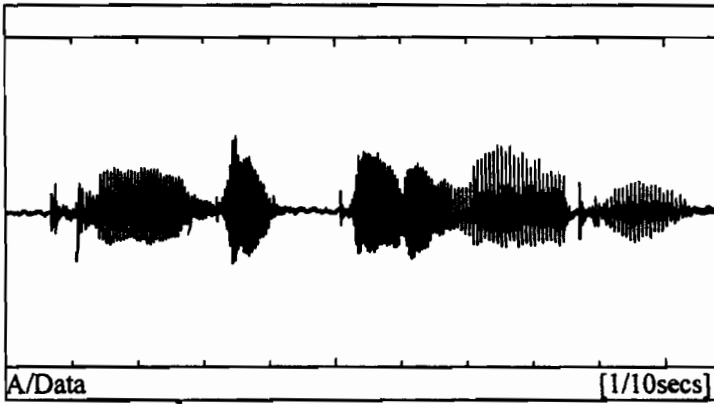


Рис. 2. Кни́га Тamarы. Д₁

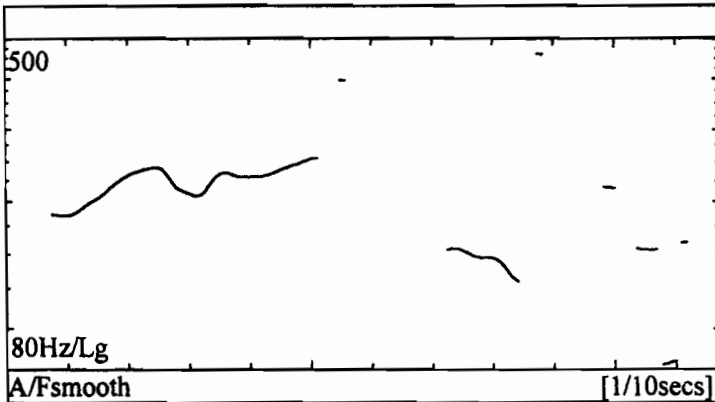
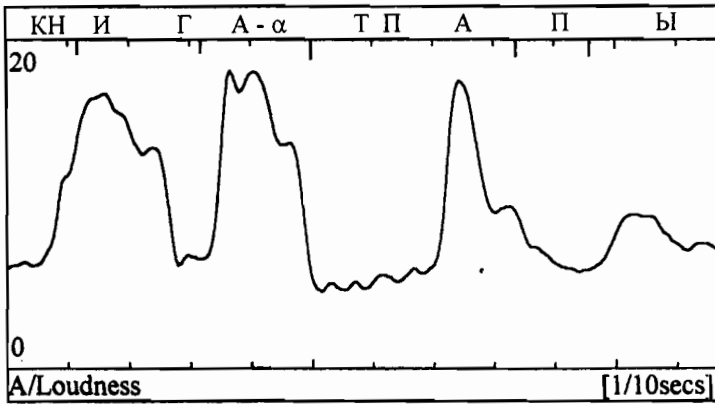
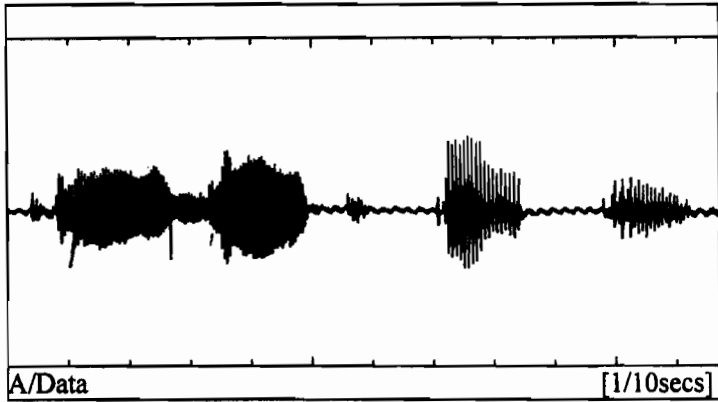


Рис. 3. Кни́га от па́пы. Д₁

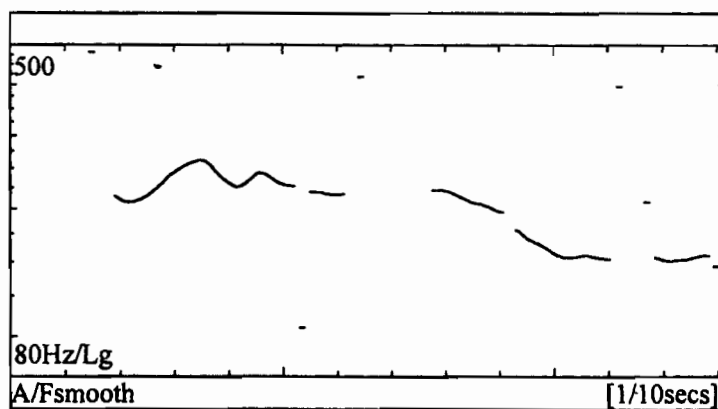
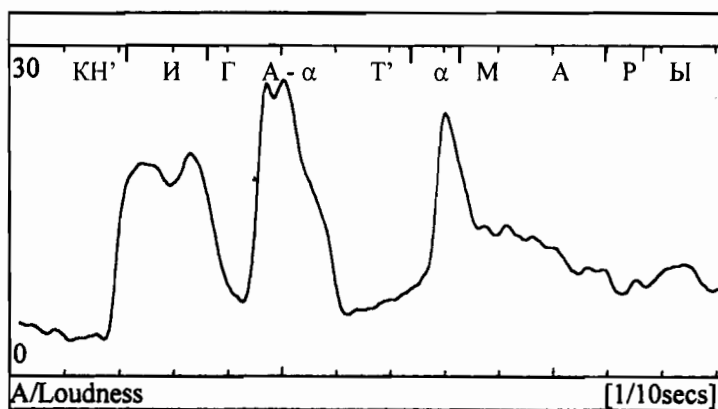
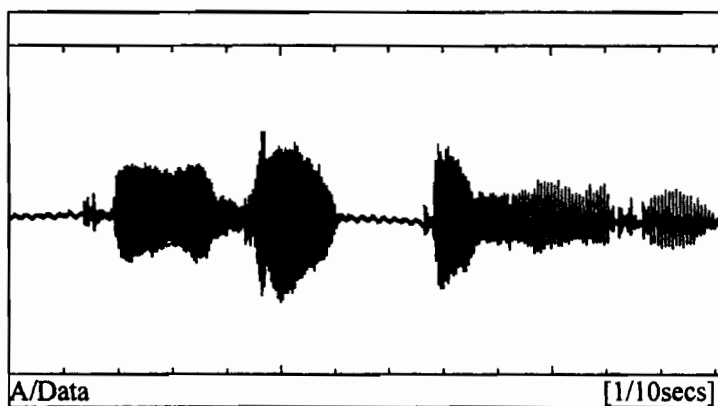


Рис. 4. Кни́га от Тама́ры. Д₁

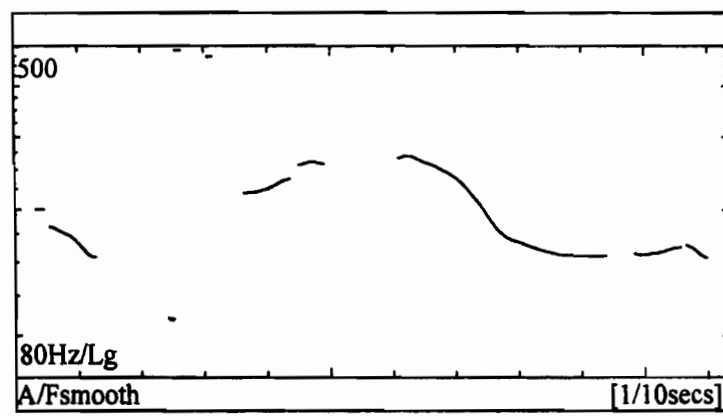
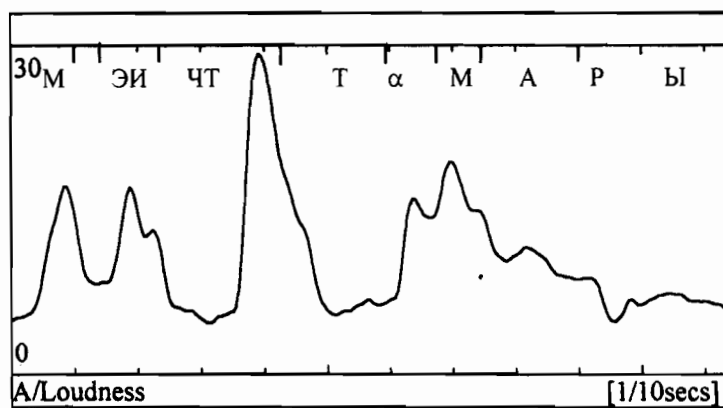
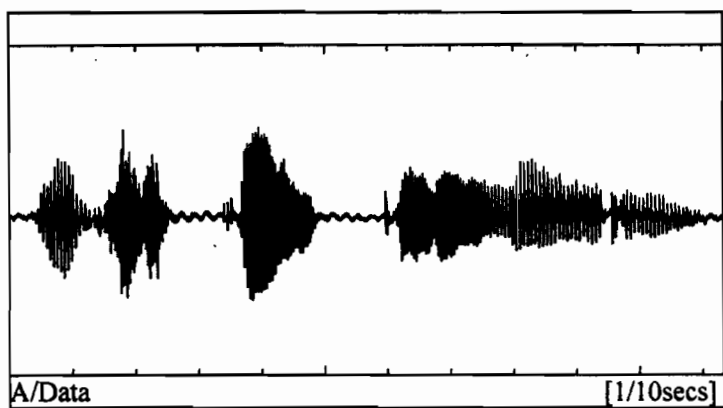


Рис. 5. Мечта Тамары. Д₁

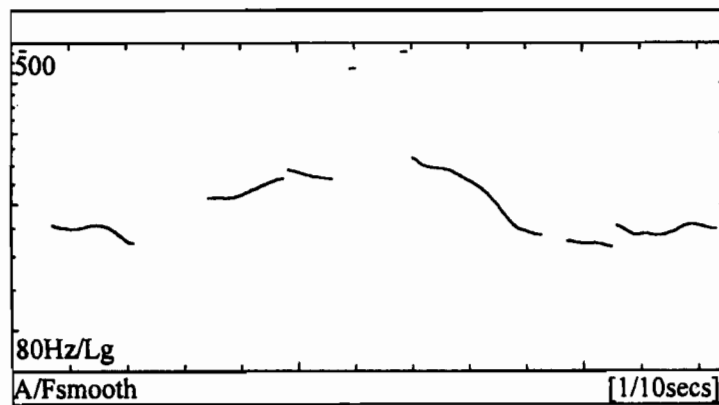
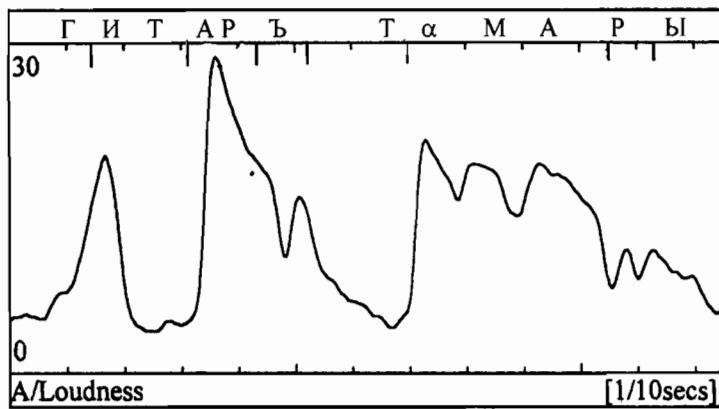
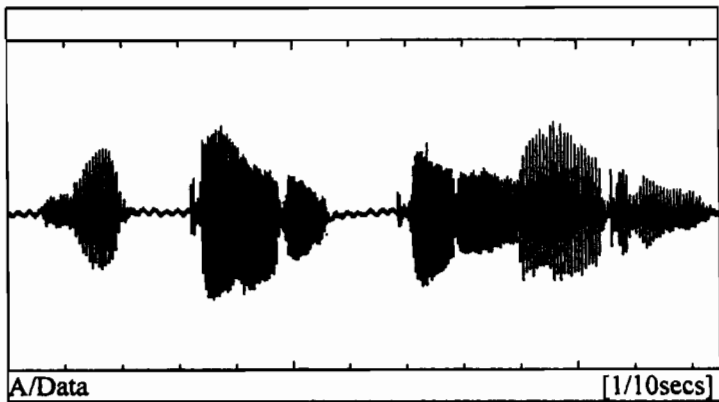


Рис. 6. Гитара Тамары

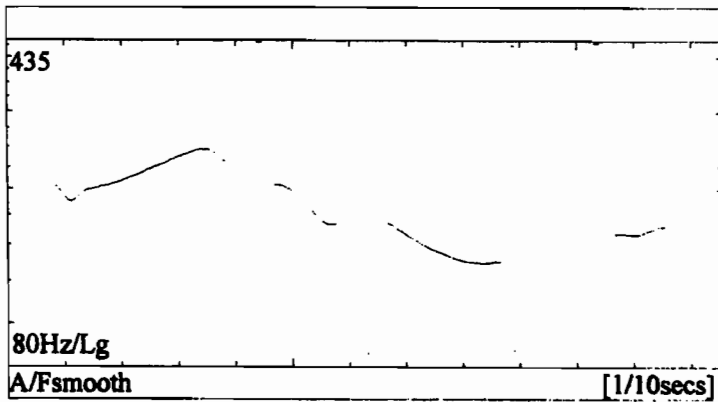
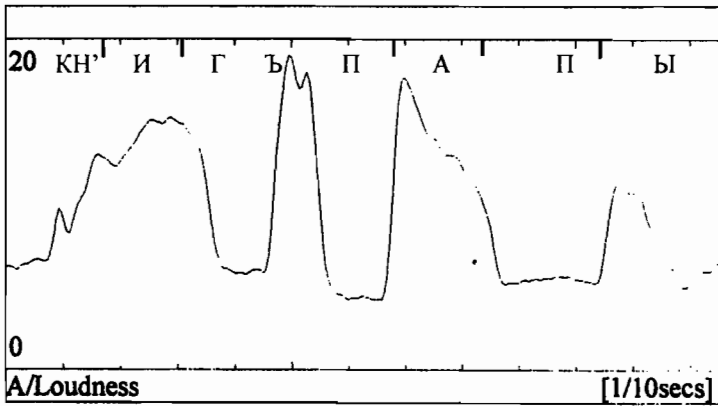
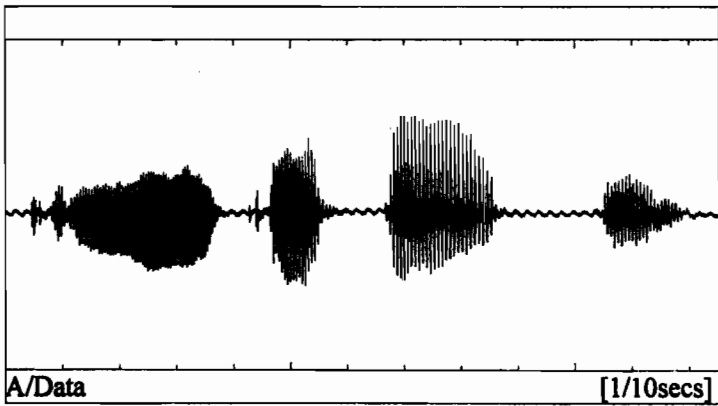


Рис. 7. Книга папы. Д₂

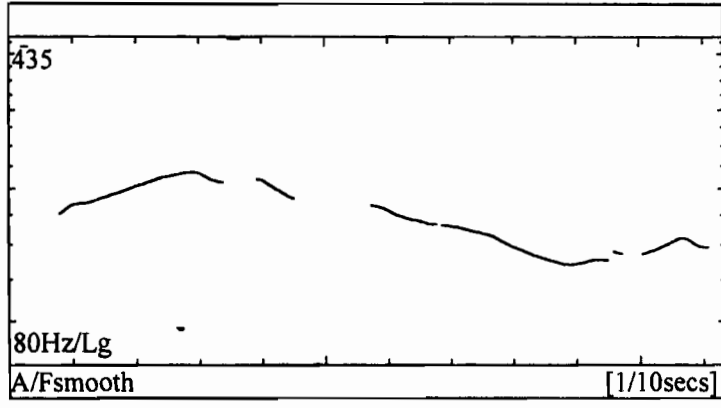
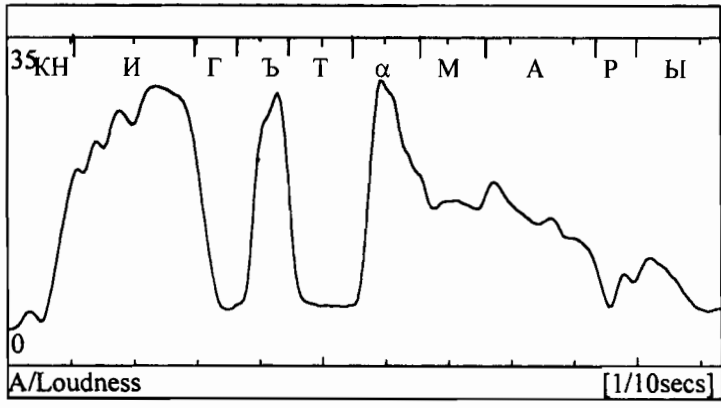
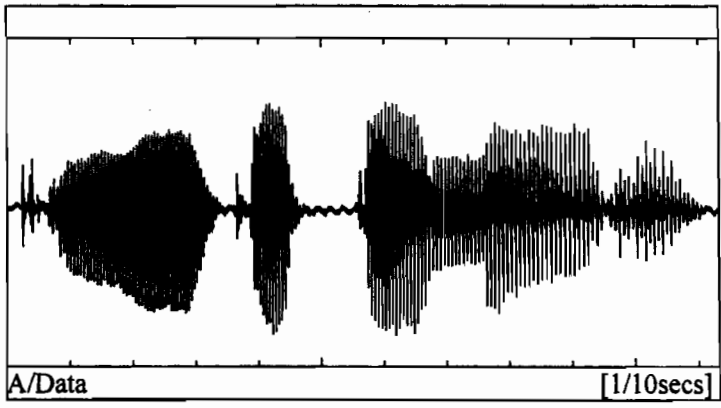


Рис. 8. Книга Тамáры. Д₂

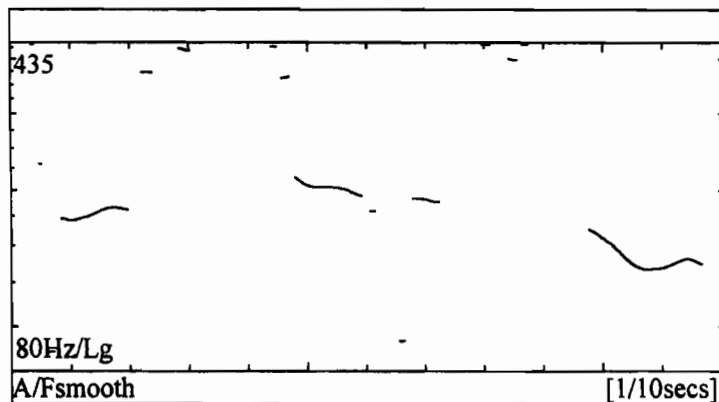
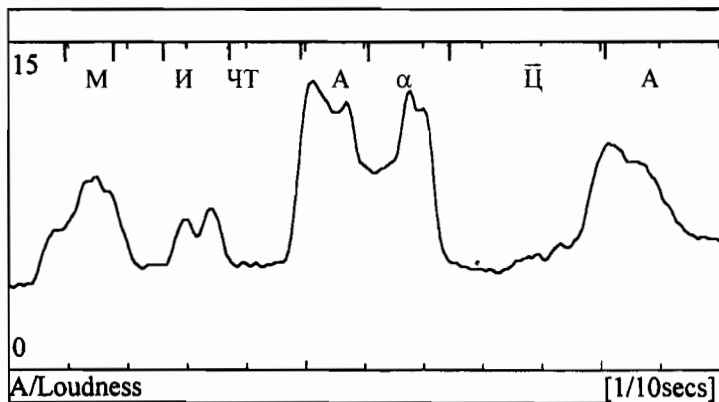
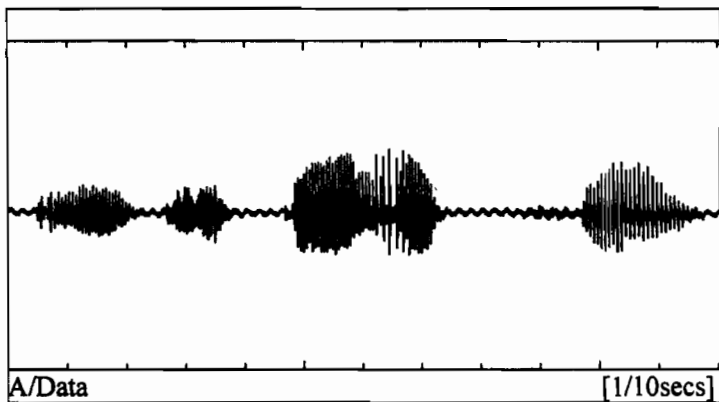


Рис. 9. Мечта отца. Д₂

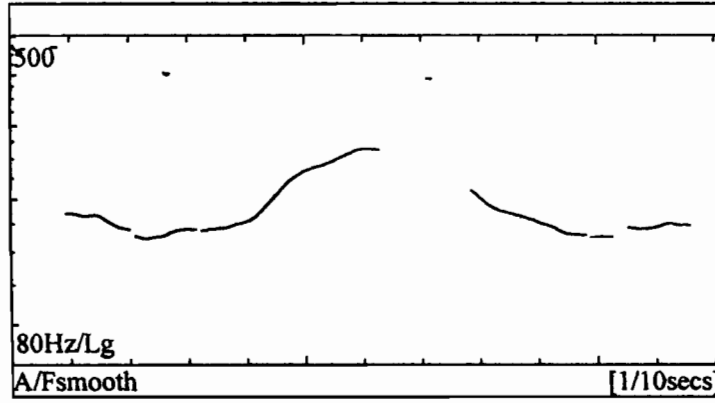
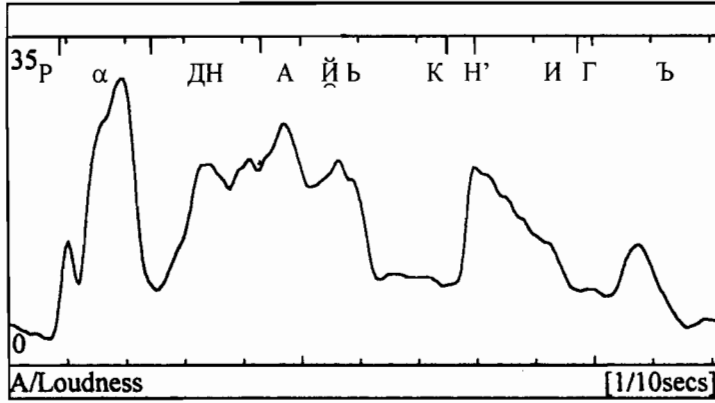
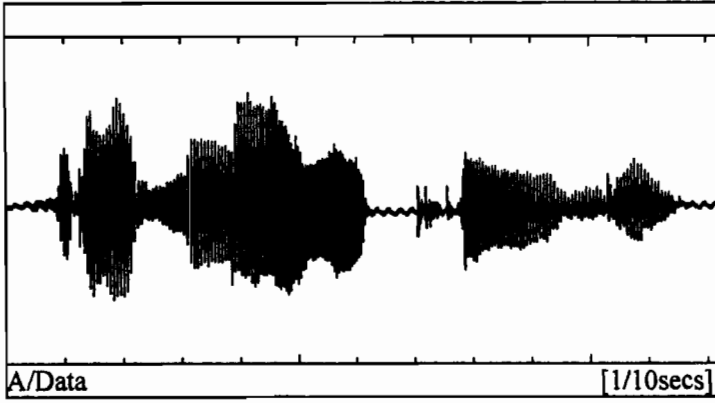


Рис. 10. Родная книга. Д₁

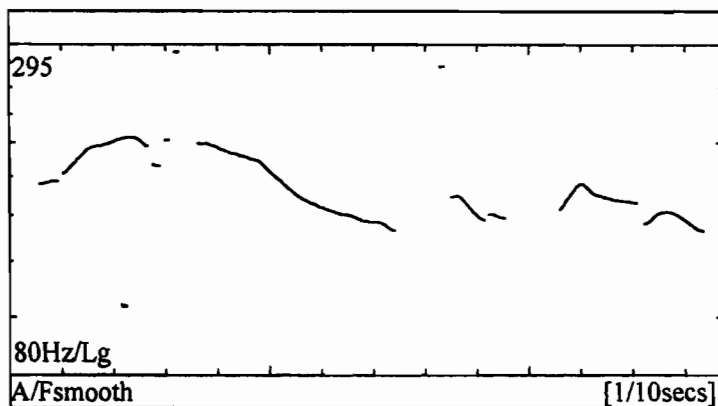
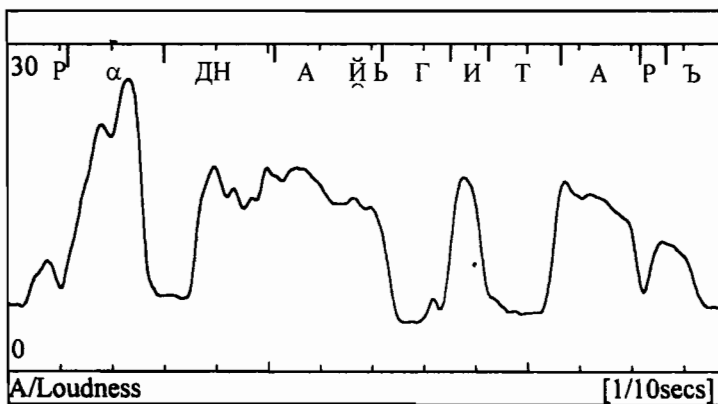
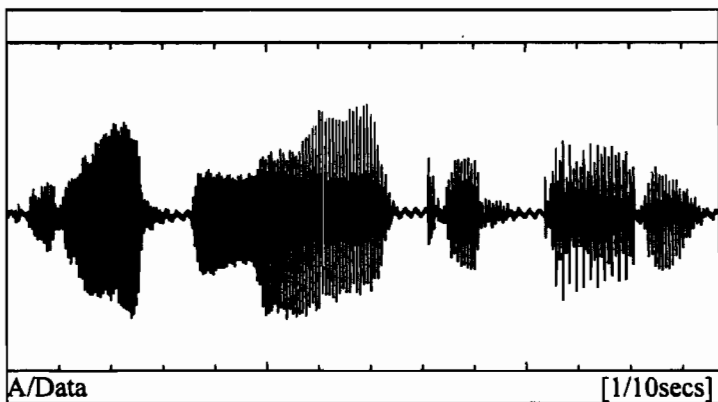


Рис. 11. Родная гитара. Д₂

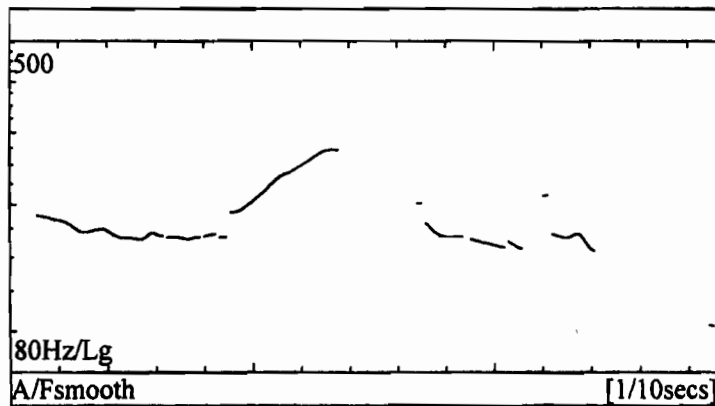
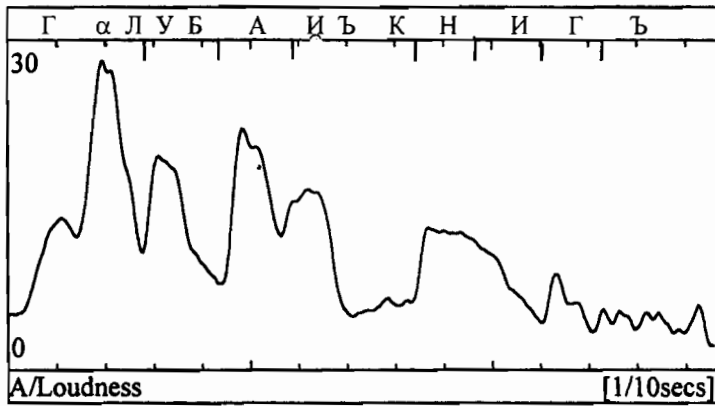
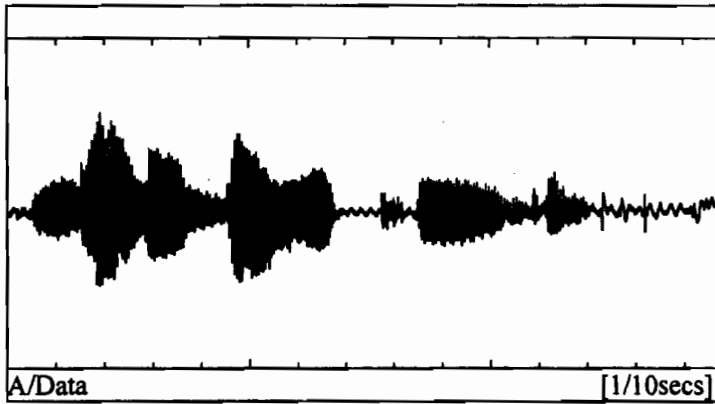


Рис. 12. Голубая книга. Д₁

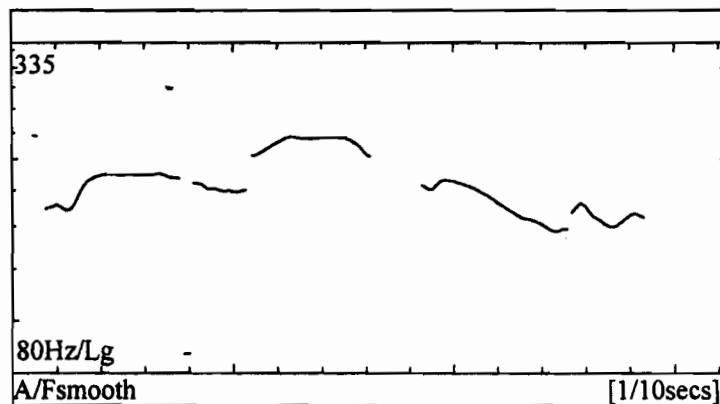
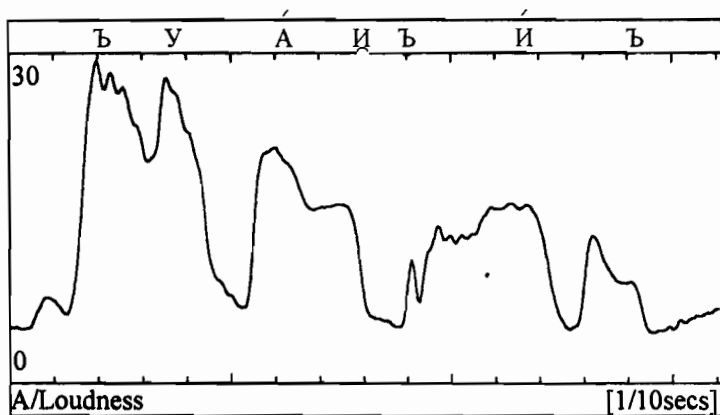
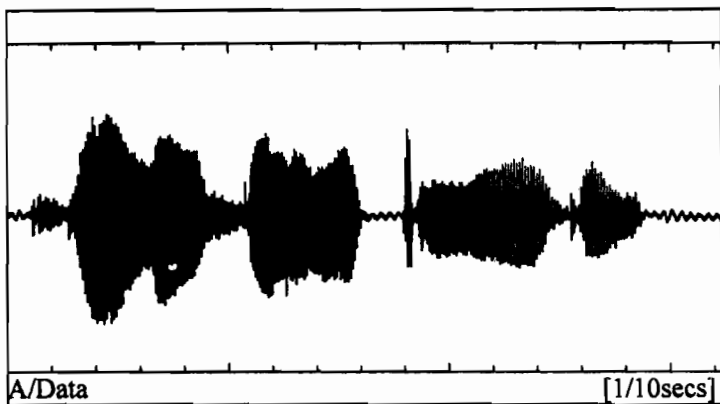


Рис. 13. Голубая книга. Д₂

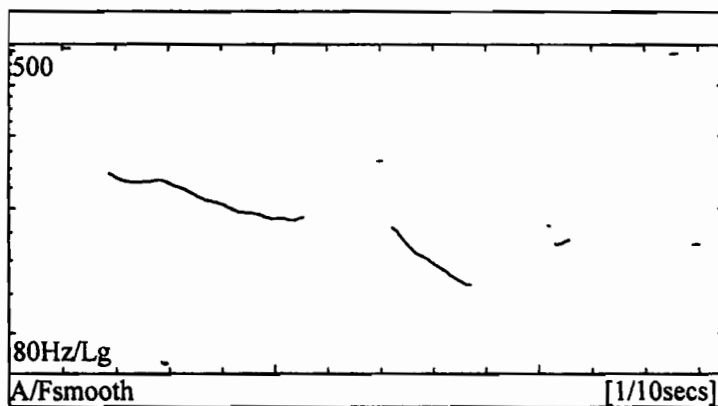
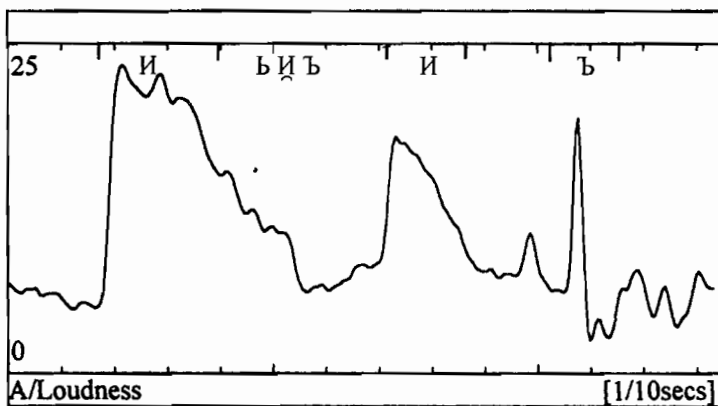
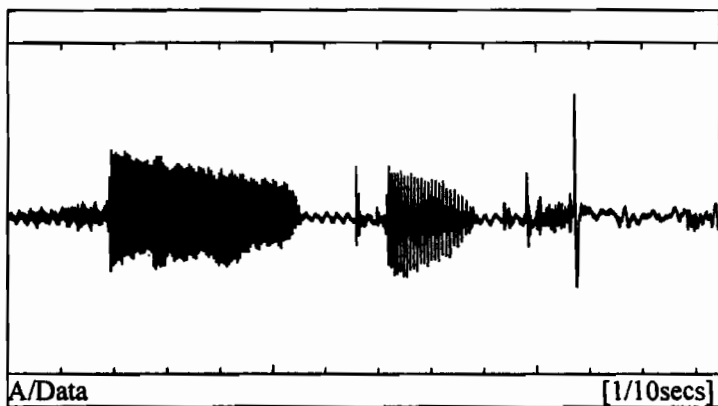


Рис. 14. Синяя книга. Д₁

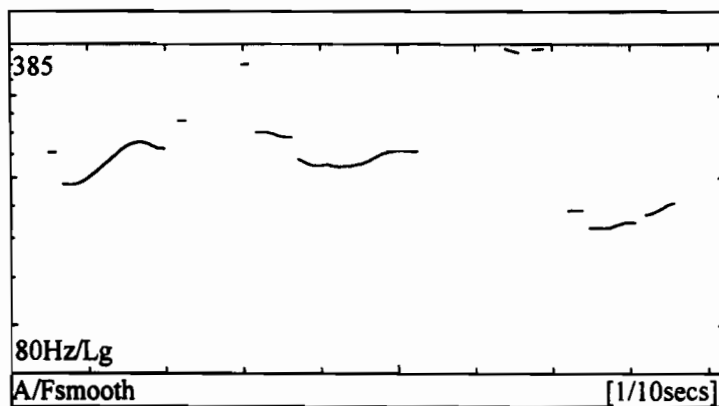
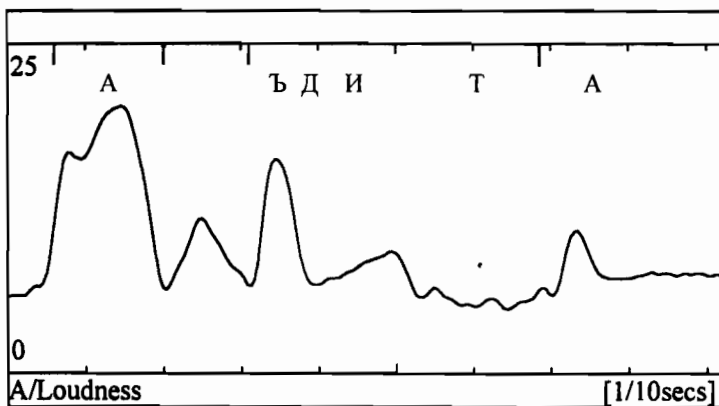
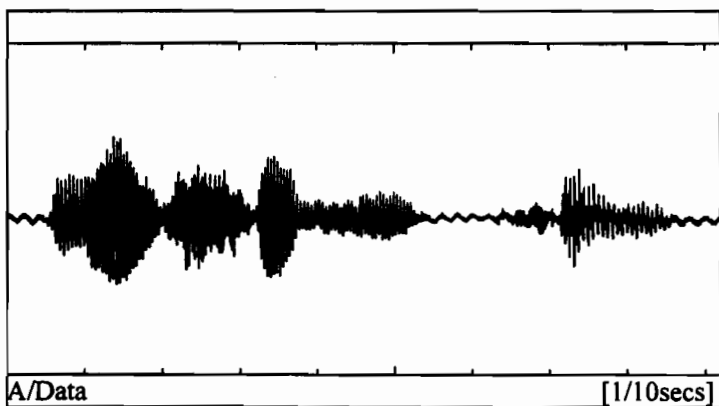


Рис. 15. Наше дитя. Д₁

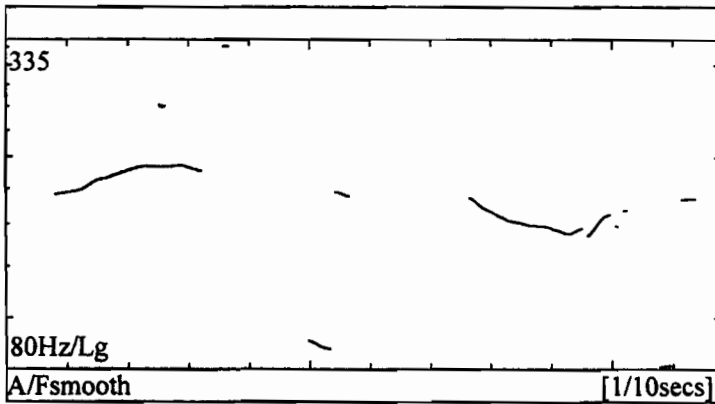
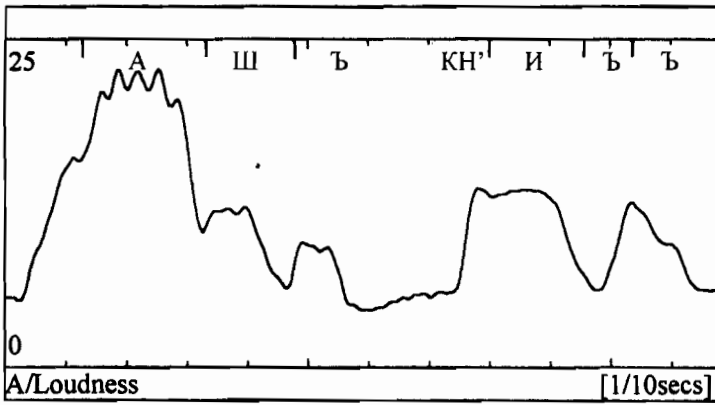
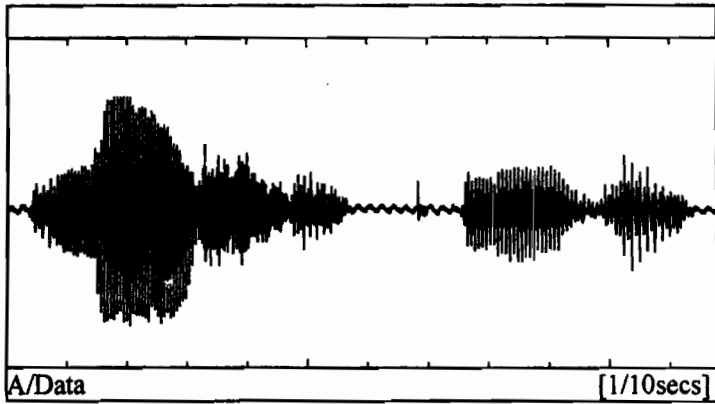


Рис. 16. Наша книга. Д₂

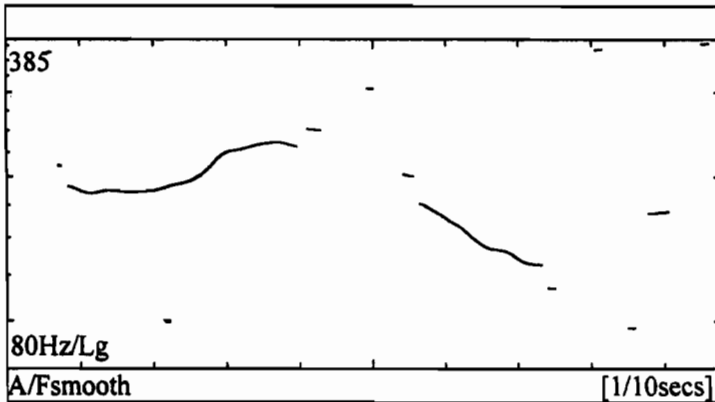
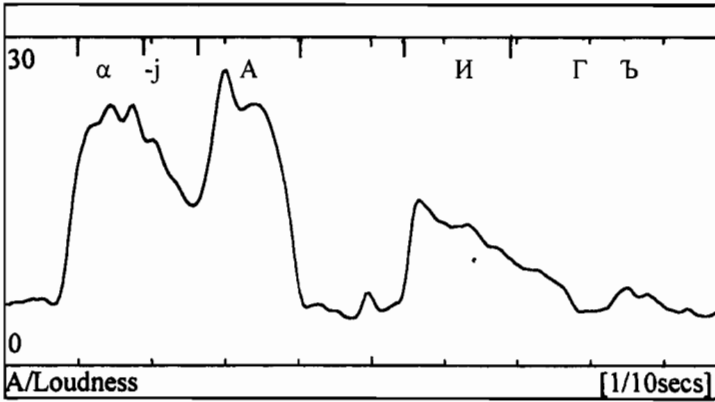
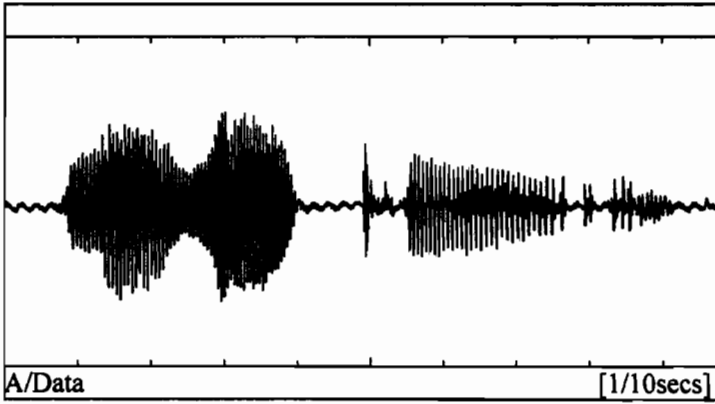


Рис. 17. Моя книга. Д₁

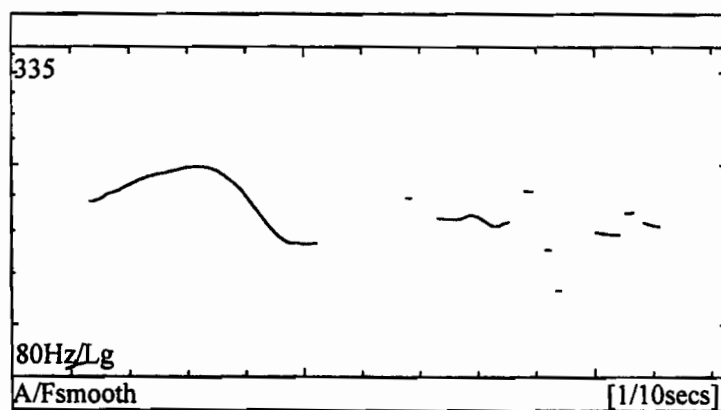
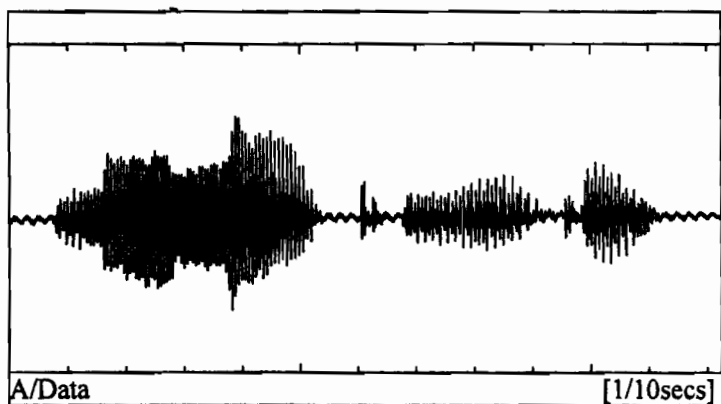


Рис. 18. Моя книга. Д₂

Результаты можно признать несколько неожиданными, хотя и укладываемыми в общие рамки теории просодических контактов.

1. Практически чтение обеих можно считать абсолютно совпавшим, хотя они в момент эксперимента друг друга не слышали.

Чтение же русских дикторов различалось довольно сильно.

2. **Основным отличием** просодического воплощения финских дикторов явилось отсутствие той акцентной модели, при которой — независимо от места ударения в первом слове и в тех случаях, когда оба члена словосочетания выражены существительными — самой усиленной точкой было начало словосочетания, то есть словосочетание воспринималось как отдельное слово.

3. Финскую модель воплощения русских словосочетаний можно описать следующим образом.

1) Различаются модели с первым субстантивным и первым адъективным или местоименным компонентом.

2) Субстантивная акцентная модель, как правило, имеет форму дуги (или трапеции) с поднятым центром. Поэтому начало первого слова не является акцентно усиленным (*Книга отца, Гитара папы, Мечта Тамары* и т. д.). Зато второе слово начинается с усиленного акцентно слога, где бы ударение ни было расположено (см. рисунки).

3) Модели с первым адъективным или местоименным компонентом имеют другую структуру. Первое слово резко и сильно поднято по отношению ко второму, то есть квалифицирующий элемент очень усилен. Как и у русских дикторов, возможно усиление первого неударного слога (*Родное дитя*), сила акцентной кривой второго слова (то есть существительного) минимизирована и нисходит к концу.

Квалификатор местоименный и адъективный различаются по силе выделенности. А именно — местоимение выделено еще резче, при этом пиком является ударный слог (*Моя книга — Наша книга*).

Таким образом можно констатировать, что некоторые тенденции, отмеченные в русском языке и просодии русского словосочетания, в чтении финских информантов выглядят как бы подчеркнутыми, огрубленными. То есть тенденции превращены в модель.

Что об этом можно сказать? К сожалению, прежде всего приходит в голову известное положение о пиджинизации языковых структур, прежде всего просодических, при воплощении одного языка носителями второго. Пиджинизация — это примитивизация и огрубление фактов первого языка. Нечто сходное наблюдалось нами при изучении типа польской интонации (мелодики) у поляков Вильнюса в 1972 (информантами были поляки Литвы, студенты польского факультета Вильнюсского педагогического института). К сожалению, польский материал не был опубликован, а осциллограммы за 25 лет пришли в негодность.

Однако при пиджинизации проступают обычно вполне очевидные и объяснимые факты первого языка. Здесь же, в чтении финских дикторов, сохранились такие плохо объясняемые результаты русского воплощения, как, например, перенос акцентного пика на конечный слог в словосочетании *Книга папы* — *Книга Папы* (см. рисунок), с одной стороны, и *Родное дитя* вместо *Родное дитя*.

Литература

- Jakobson 1962 — *Jakobson R. Contributions to the study of Czech accent // Jakobson R. Selected Writings. Vol. 1. The Hague, 1962.*
- Jakobson 1962a — *Jakobson R. Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie // Jakobson R. Vol. 1. The Hague, 1962.*
- Jakobson 1979 — *Jakobson R. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским // Jakobson R. Selected Writings. Т. 5. The Hague, 1979, 3—131.*
- A grand dictionary of phonetics 1981 — *A Grand Dictionary of Phonetics. Hong-Kong, 1981.*
- Николаева 1996 — *Николаева Т. М. Просодия Балкан. М., 1996.*
- Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С. Фонология и лингвистическая география // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987.*
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С. Непарадигматические передвижения ударения в индоевропейском (вокруг законов Ваккернагеля и Лескина) // Вопросы языкознания. 1997. № 4.*
- Николаева 1993 — *Николаева Т. М. Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // Вопросы языкознания. 1993. № 2.*
- Fonološki opisi 1981 — *Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskin, slovenačkih i makedonskih govora, obuhvaćenih Opšteslovanskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.*
- Vermeer 1987 — *Vermeer V. The treatment of the Proto-Slavic falling tone in the Resian dialects of Slovene // Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987.*

**ПРИМЕР ЛЕКСИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СИСТЕМ
(русское *ящик* — диалектное шотландское *jaʃək*)**

Иногда процессы развития лексики в генетически и географически далеких языках демонстрируют примеры разительного параллелизма, когда независимо друг от друга возникают слова, очень близкие по своей форме, но не являющиеся при этом родственными. Возможны причудливые схождения, при которых большое сходство материального облика слов может вызывать опасность ложной этимологизации.

Как известно, к числу ранних заимствований в древнерусский язык принадлежат слова скандинавского происхождения, такие, например, как *клеймо*, *крюк*, *ларь*, *ябеда* и ряд других. Одним из таких заимствований, относящихся к периоду интенсивных языковых контактов со скандинавами (X—XI вв.), является и слово *ящик*. Этимологические словари единодушны в трактовке истории появления и развития этого заимствования в русском языке. М. Фасмер указывает, что др.-русс. *аскъ*, *яскъ* ‘корзина’ восходит к др.-сканд. *askr* ‘деревянный сосуд’ (от *askr* ‘яшень’) или др.-исланд. *eski* ‘корзина, чашка’ ([1] т. IV). Преображенский подчеркивает, что русск. *ящик* образовано первоначально как диминутив с суффиксом *-ик* от *яскъ* ‘корзина’, засвидетельствованного в памятниках XV в. и являться старым заимствованием из германских языков (ср. швед. *Asker* ‘небольшой сосуд’, др.-в.-нем. *ask* ‘сосуд, блюдо, чаша’ ([2] т. II).

В своем этимологическом словаре П. Я. Черных упоминает, что «...со времен Миклошича его (т. е. слово *аскъ* > *яскъ* откуда *ящик*. — А. П.) считают одним из ранних заимствований со скандинавского Севера. Ср. др.-исл. *askr* ‘деревянная посуда’ (совр. исл. *askur* ‘небольшой деревянный сосуд с резной крышкой’ при *askur* ‘яшень’) ([3] т. II). В большинстве словарей подчеркивается также, что в других славянских языках слово *ящик* не встречается, за исключением украинского *ящик* и польского *jaszcz* : *jaszczyk*. В польском слово *jaszczyk* имеет более узкое значение ‘коробка для сливочного масла, ящик для снаряжения’ (Фасмер); ‘ящик, корзина, муниципальная повозка’ (Преоб-

раженский); ‘зарядный ящик’ (Черных) и является поздним заимствованием из русского.

Справедливости ради следует отметить, что, не сомневаясь в германском происхождении слова *ящик*, П. Я. Черных ранее полагал что оно «...едва ли от др.-сканд. *askr*; скорее из др.-в.-нем. *ask*, следовательно не северного, а западного происхождения» ([4] с. 146). Однако позднее он присоединяется к общепринятому взгляду на происхождение этого слова (см. выше). В пользу именно скандинавского происхождения слова *ящик*, как полагают, свидетельствует и тот факт, что однокоренные слова с корнем *ask-* и с общим значением ‘коробка, шкатулка; плетенная корзина’ имеются в современном шведском, норвежском, датском и исландском языках.

Итак, вкратце общепринятый взгляд на процесс образования совр. русского слова *ящик* можно представить как заимствование др.-исл. *askr* ‘деревянная коробка, корабль’ < *askr* ‘ясень, древесина ясени’. В др.-русском перед начальным гласным /a/ развился протетический /j/ — *яскъ*, характерный и для других слов на /a/, /e/ и /ь/ (ср. *ягненок*, *язва* и др.). Впоследствии звукосочетание /ск/ перед появившимся уменьшительно-ласкательным *-ик* перешло в шипящий (следует, однако, отметить, что существование польского *jaszcz* свидетельствует о возможности существования и недиминутивной формы слова, оканчивающейся на шипящий).

Любопытный пример формального сходства находим в диалекте Шетландских островов по данным известного этимологического словаря датского лингвиста Я. Якобсена, в котором собрана скандинавская лексика, унаследованная этим поддиалектом равнинного шотландского (или скотс) от исторически предшествовавшего ему островного скандинавского диалекта, так называемого норн (от англ. *norn*).

Я. Якобсен приводит следующую словарную статью: *asek* /aʃək/. *sb.* a closely woven straw-basket, *esp.* For taking the ashes from the fire-place. *O. N.* *askr*, *m.*, small vessel; box; *No.* *ask*, *m.*, *id* ([5] т. I).

Поясняя особенности шетландской фонетики, Якобсен указывает, что звук «.../ʃ/ представляет собой сильно палатизированный щелевой /s/, переходящий иногда в шипящий *sj* (подобный норвежскому *sj*), англ. *sh*» (там же, с. IX).

Очевидно, факт скандинавского происхождения слова /aʃək/ не требует доказательства. Однако, как известно, в скандинавских и других германских языках существуют два омонимичных корня *ask-* (*ash-*), один из которых обозначает ‘ясень’ (дерево и древесину) и восходит к индоевропейскому корню, общему для латин. *ornus*, латыш. *uoss*, русск. *ясень*, а другой обозначает ‘пепел/золу’ и восходит к индоевропейскому корню, обозначающему ‘процесс горения’, например, латин. *ardere/arere*. В связи с этим возникает вопрос – к какому из этих корней восходит шетланд. /aʃək/, особенно если учесть его се-

мантику ‘корзины для золы’, зафиксированную в словаре Якобсена. Ответ на этот вопрос требует специального изучения как шетландского, так и общескандинавского материала и не может быть дан в рамках предлагаемой небольшой статьи, однако упомянутая альтернатива должна быть учтена ниже при рассмотрении формально сходного русского слова *ящик*.

Что касается формы шетландского слова на *-ek /ək/*, то она определенно свидетельствует об иноязычном влиянии. Следует отметить, что Якобсен во время своих экспедиций на острова с 1893 по 1895 гг. уже не застал живого диалекта норн, а лишь многочисленные скандинавские «вкрапления» в вытеснивший его еще в XVIII в. скотс. Практически все морфологические показатели оставшихся скандинавских слов приобрели, так сказать, «окаменелый» характер. Например, ряд скандинавских словообразовательных и формообразовательных суффиксов свелись к форме */ək/*, например формы на *-a*: *gədək < gáta*; на *-i*: *kragək < kraki*; на *-in/-ingr*: *grəmək < *grýmingr*. Кроме того, */ək/* может оформлять слова, которые в др.-исландском языке оканчиваются просто на согласный, например, *færdək < ferdǫ*; *mōlək < mál* и др. Суффикс */ək/* может чередоваться с */-i/*, например: *grōli / grōlək < grýla*; *sōdi / sōdək < sáta* и т. п.

Суффикс */ək/*, ставший в шетландском диалекте одним из образцов для морфологического выравнивания (другой такой продуктивный суффикс */-ən/*), скорее всего, идентичен шотландскому уменьшительному суффиксу *-ock*, в чем можно согласиться с Я. Якобсеном (там же, с. XXXVIII). Уменьшительные формы на *-ock/-ik* широко распространены в скотс и его поддиалектах и являются их отличительной особенностью (см., напр., [6] с. 186—7; [7] с. 5 и др.).

В случае с шетландским */aʒək/* мы так же, как и с русским *ящик*, имеем дело с последствиями контактирования различных языковых систем, а именно шотландской и скандинавской, с постепенным вытеснением последней. При этом в предполагаемом исходном **askr* группа */sk/* при оформлении слова шотландским суффиксом *-ock/-ik/-ək/* перешла в щелевой палатализованный */sʰ/*, переходящий в свою очередь в шипящий */ʃʰ/*. Вероятно, такое фонетическое развитие слова стало возможным также благодаря влиянию языковой аналогии со стороны шотландского (= английского) *ash* (1. ‘яшень; древесина ясени’ или 2. ‘пепел, зола’), имеющего шипящий */ʃʰ/*.

Итак, в обоих случаях (русс. *ящик* и шетл. */aʒək/*) мы видим параллелизм морфологического и фонетического развития исходных скандинавских этимонов в условиях языкового контактирования, хотя очевидно, что протекало оно в совершенно несходных языковых ситуациях. Разительно отличаются масштабы контактирующих языковых коллективов и соответствующих контактных зон. Древнерусский язык ограничился лексическими заимствованиями из скандинавского (в том числе и *аскъ*). В шетландском диалекте мы наблюдаем полную смену языковой системы (скандинавской на шотландскую),

причем многие исконные скандинавские слова повседневного употребления были переоформлены по шотландским словообразовательным моделям. Этот процесс переоформления сопровождался интенсивным выравниванием различных морфологических показателей и переходом их в «окаменелое» состояние, когда они уже не несли какой-либо смысловоразличительной нагрузки.

Слова со значением ‘ясень / древесина ясеня’; ‘пепел / зола’; ‘коробка / шкатулка / корзина (в том числе для золы из очага)’, восходящие к корням *ask-*, распространены во всех скандинавских языках, в том числе и в тех древнескандинавских диалектах, которые контактировали с древнерусским языком. В этой связи возникает вопрос о первоначальной семантике слова *ящик* и, соответственно, его скандинавского этимона. Скандинавские параллели и рассмотренный здесь шотландский пример наводят на мысль о том, что предполагаемый скандинавский этимон и заимствования *яскъ* (откуда *ящик*) могли обозначать понятие «вместилище» не по признаку «материала», из которого оно изготовлено, а по признаку его «содержимого», т. е. золы или пепла, для переноски которых оно предназначено. Иными словами, исходная семантика этого слова могла определяться функциональным назначением предмета, а не его физическим составом.

В связи с этим можно предположить, что при всей несхожести их исторических судеб русск. *ящик*, практически отсутствующее в других славянских языках, и шетланд. */aʒək/*, которые, возможно, восходят к разным индоевропейским корням *ask-*, находятся на пересечении пространственно-временных континуумов распространения этих корней. При этом и русское *ящик* и шетландское */aʒək/* представляют собой периферийные элементы этих континуумов.

Литература

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1973.
2. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка: В 2 т. М., 1949.
3. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1999.
4. Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956.
5. Jakobsen J. An Etymological Dictionary of the Norm Language in Shetland: In 2 vols. Lerwick, 1985.
6. Grant W., Dixon J. M. Manual of Modern Scots. Cambridge, 1921.
7. Gregor W. The dialect of Banffshire: with of words not in Jamieson's Scottish dictionary // Transactions of the Philological Society. Suppl. 2. London; Berlin, 1866.

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ И ТЕКСТА В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ (опыт прогнозирующего анализа)

1. История литературного языка изучает язык, представленный в движущихся во времени императивных текстах культуры. Введение истории литературного языка в современную научную парадигму, доминантой которой можно считать функциональный антропоцентризм, мотивирует необходимость определения культурно-языкового статуса личностей, создающих императивные тексты. Определение культурно-языкового статуса личности предполагает три типа реконструкций: реконструкцию культурной компетенции, реконструкцию рефлексии над текстом и языком, а также реконструкцию языковых и метаязыковых навыков. Определение культурно-языкового статуса личности должно быть соединено с определением культурно-языкового статуса самого текста, т. е. с определением позиции текста в иерархии текстов культуры, а также с определением языковых диагностических признаков. Поскольку культурно-языковой статус личности влияет на культурно-языковой статус текста, соотношение культурно-языковых параметров личности, потенциально способной создать текст, и культурно-языковых параметров текста позволяет совершенствовать механизм атрибуции текста. Данный прогнозирующий анализ особенно актуален при атрибуции текстов, порожденных в «пограничные» эпохи, содержанием которых является смена типа культуры и, следовательно, смена «своих» книжно-языковых императивов, а также «чужих» авторитетных образцов.

В истории России такой «пограничной» эпохой была эпоха Петра I, отмеченная переходом от конфессиональной культуры к секулярной, что выразилось в конкурентном сосуществовании императивных церковных и светских текстов, а также в движении от традиционного церковнославянского литературного языка к русскому литературному языку нового типа. Сопутствующая этому процессу смена культурно-языковых образцов проявилась в элиминации конфессионально мотивированной идеи греко-славянского единения, маркером которого было функциональное тождество классических языков (греческий язык = церковнославянский язык), и в последующей трансляции се-

кулярно мотивированной идеи европейского единения, маркированного стремлением к достижению функционального тождества новых «простых» европейских языков (французский, немецкий... = русский язык). Реализуемая в столь сложных условиях книжно-языковая деятельность осуществлялась прежде всего «единственным в своем роде поколением, подобным Янусу с двумя лицами: одно обращенное в прошлое, другое в будущее» (Хютль-Фольтер 1987, 8), поскольку представители этого поколения получили как традиционное духовное образование, так и новое европейское светское образование. Такая культурно-языковая амбивалентность книжников «поколения Януса» делает невозможной атрибуцию текстов без тщательного прогнозирующего анализа культурно-языкового статуса личностей, которые были способны порождать принципиально разные императивные тексты Петровской эпохи.

К «поколению Януса» принадлежал и Петр Васильевич Постников — врач, дипломат, переводчик, чья книжно-языковая деятельность до сих пор вызывает противоположные научные оценки. Целью данной работы является уточнение объема и характера книжно-языковой деятельности Петра Постникова посредством проведения прогнозирующего анализа, сопоставляющего культурно-языковые параметры личности и текста.

2.1. Петр Васильевич Постников был сыном Василия Тимофеевича Постникова, дьяка Посольского приказа, известного своим деятельным участием в ответственных дипломатических миссиях в Польшу (1670 г.), в Австрию (1676 г.), в Турцию (1682 г.), в Голландию, Англию и Италию (1687 г.). Вероятно, не без влияния отца Петр Постников начал свое образование у приглашенных из Константинополя ученых греков братьев Иоанникия и Софрония Лихудов в Славяно-греко-латинской академии. Основная цель «науки и учености» в академии состояла в подготовке образованных людей для церкви и государства: «ученых справщиков для Книгопечатного двора, ученых переводчиков с греческого, способных в точности исправить вкравшиеся в течение веков описки и ошибки церковных текстов, наконец, в вершине всего — ученых защитников православия» (Забелин 1887, 12).

М. Сменцовский в своем труде «Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVII и начала XVIII веков», говоря о серьезности постановки школьного дела в Славяно-греко-латинской академии и солидности научного образования, назвал лучших учеников Лихудов, сыгравших впоследствии важную культурно-историческую роль, в числе названных был и Петр Постников: «в краткое время своего учительства они подготовили несколько вполне образованных воспитанников, каковы Николай Семенов (Головин), Федор Поликарпов, монахи Козма, Феолог и Иов... кроме поименованных, из учеников Лихудов до-

стоин упоминания Петр Васильевич Постников, первый русский доктор медицины... он был сын известного дьяка Посольского приказа (Василия Постникова), учился у Лихудов с 1685 по 1692 г.» (Сменцовский 1899, 288). Известно, что Лихуды приступили к преподаванию 31 марта 1685 г. (Смирнов 1855, 24), самыми первыми их учениками были старшие учащиеся «типографской» греческой школы при Печатном дворе иеромонаха Тимофея: Алексей Барсов, Николай Головин, Федор Поликарпов, Федот Агеев и Иосиф Афанасьев. Позже к ним присоединились чудовский монах Иов и иеродьякон Богоявленского монастыря Палладий Рогов — будущий ректор Славяно-греко-латинской академии. Среди самых первых учеников Лихудов мы не находим Петра Постникова, однако он без сомнения был одним из первых учеников, поскольку начиная со времени официального открытия академии (1687 г.) имя Петра Постникова упоминалось наряду с именами первых учеников. Как видно из архивных ведомостей академии, Петр Постников регулярно доказывал «остроту понимания» «похвальным успехом». Свидетельством неординарных способностей и значительных достижений в школьном учении являлись «золотые награды», жалованные Петру Постникову патриархами на протяжении всех лет обучения как одному из лучших учащихся:

— 1687 г.: «В январе 1687... 29 числа, быть может, в воспоминание первого открытия, богоявленская деревянная школа... видела в своих стенах светлейшего патриарха... Теперь в школе преподавали уже грамматику, и патриарх слушал “греческаго грамматическаго учения” и после слушания пожаловал учителям Софронию и Иоанникию... по 5 золотых, да ученикам детям боярина князь Юрья Михайловича Одоевского князь Михаилу да князь Юрью да князь Алексею да дьяка *Василия Постникова сыну Петру* (выделено мной. — Н. З.) — по золотому человеку» (Забелин 1887, 7; Сменцовский 1899, 65);

«Декабря в 28 день приходили ко святейшему патриарху в Крестовую палату школьные учителя грекоиеромонахи Иоанникий да Софроний, которые учат учеников греческому учению в школе, со учениками, и говорили святейшему патриарху ученики поздравительные речи. И святейший патриарх учителей грекоиеромонахов Иоанникия и Софрония пожаловал денежною дачею, а ученикам их святейший патриарх пожаловал князь Алексею Борисову сыну Голицину три золотых, Тимофею да Петру Тимофеевым детям Савеловым по два золотых, Костянтину Литвину, Ивану Мусину-Пушкину, Ивану Бухвастову, *Петру Посникову* (выделено мной. — Н. З.), Никите Семенову, Федору Перевотчикову, Ивану Алексееву... по одному золотому» (Цветаев 1896, 41);

— 1688 г.: «(20 апреля) говорили святейшему патриарху ученики „погреческу“ и „пословенску“ поздравительные речи... и святейший патриарх грекоиеромонаха Софрония пожаловал: *Петру Васильеву сыну Посникову* (выделено мной. — Н. З.) два золотых, Никите Андрееву сыну Семенову... Ивану

Афанасьеву сыну Мусину-Пушкину, Алексею Кириллову, Николаю Семенову, Федору Поликарпову... по золотому человеку» (Цветаев 1896, 41);

— 1689 г.: «В Рождество 1689 г. Иосиф Афанасьев и его товарищи — семь человек (среди них мог быть и Петр Постников. — Н. З.) приветствовали патриарха „орациями“ своего сочинения» (Сменцовский 1899, 66);

— 1691 г.: (27 декабря) старшие ученики «славили Христа греческим распевом... и ученики говорили „полатине“ и „пословенску“ о Рождестве Христове многие речи... и святейший патриарх пожаловал учителей денежною дачею, а ученикам их *Петру Посникову* (выделено мной — Н. З.) три золотых (ср.: «два золотых» — Сменцовский 1899, 66), Николаю Семенову, Федору Поликарпову, Алексею Кириллову по золотому да по ефимку, Федоту Агееву, Федору Герасимову, Андрею Михайлову, Георгию Михайлову, Ивану Дмитриеву по ефимку человеку» (Цветаев 1896, 42);

«В Пасху 1691 г. Петр Посников получил 3 золотых, остальные шесть человек по ефимку» (Сменцовский 1899, 66).

Показательно, что высших наград Петр Постников был удостоен в тех случаях, когда ученики приветствовали патриарха «пословенску», «погреческу» и «полатине» «орациями» своего сочинения. Можно думать, что «орации» Петра Постникова были составлены в полном соответствии с требованиями, которые Софроний Лихуд предъявлял к риторике: «Не есть ѹбо, таже отъ многихъ мнитсѧ быти риторика — тканіе реченіи и крутъ періодовъ, хитростнѣ оточенъ. Риторика есть рѣка великаго ѹма, таже состоитсѧ паче вещми и разумы, неже словцами» (цит. по: Сменцовский 1899, 73). Демонстрацией риторических успехов Петра Постникова является сохранившееся в рукописном сборнике (ГПБ, собр. Погодина, № 1963, лл. 159—163 об.) «Слово на Рождество...», поднесенное Петром Постниковым патриарху Иоакиму в 1687 г. (публикация текста и комментариев: Запольская, Страхова 1993, 135—148). «Слово...» демонстрирует как теоретическую осведомленность Петра Постникова в «свободных науках» (см.: ссылки на Пифагора и Аристотеля), так и практические риторические навыки, что проявилось в выдержанности трехчастной композиции, в умелом введении риторических фигур (например, «усугубления»: «во ѡстроумнѣишемъ ѡномъ, и преславномъ во крузѣ земномъ измѣщества ради вѣдѣніи... во ѡстроумнѣишемъ гл҃ю ѡномъ, и преславномъ во земномъ крузѣ измѣщества ради вѣдѣніи...»), в искусном употреблении тропов (например, в соединении традиционных и нетрадиционных «образов»: «корабль нашего разума»; «корабль, снестъ пространнѣишее и бл҃гочтивѣишее московское цѣтво»; «въ г҃слѣхъ три присутствовати видѣтсѧ, х҃дожество, десница, стрѣна. ѡбачеже единъ слышитсѧ звѣкъ... сицевымъ образомъ ниже оцѣ, ниже ст҃ын дх҃ъ воспріѣвше плѣтъ, ѡбачеже с҃ сыномъ содѣ[ло]вають...»).

Требование Софрония Лихуда совмещать «украшенность» и «ясность» в ораторской речи определило высокий уровень владения его учениками церковнославянским («словенским») языком, правильность которого в этот период понималась как формально-семантическая ориентация на греческий язык. Так, в своем полемическом сочинении «Акос» Лихуды прямо утверждали, что знание греческого языка является необходимым условием знания церковнославянского языка: «Невѣдай опасно еллинскій діалектъ ниже словенскій діалектъ вѣсь, ниже познати можетъ искреннее намѣреніе и разумъ Божественныхъ писаній и отцевъ, на словенскій діалектъ претолкованныхъ» (цит. по: Прозоровский 1896, 563). В «Слове...» Петра Постникова формально-семантическая трансляция греческого языка в церковнославянский обнаруживает себя прежде всего в синтаксисе: в насыщенности текста инфинитивными и причастными конструкциями, а также в использовании конструкции «родительный восклицания» (например, «прінде хрѣтосъ спситель міра ко ѣже просвѣтити чѣства наша...»; «...оуднитеса видѣще сѣдѣща превъше херѣвѣмвѣ... родившася ѿ оца превѣчнагв, днесъ во времени ѿ присноблженнаго рожденна дѣи мрїи, своимъ всесіліемъ міръ создавшегв...», «ѿ велиагв ѡ несравнителнагв блгобтровїа!»).

Именно организация систематического изучения классических языков — греческого и латинского — явилась особой заслугой Лихудов. Позже один из лучших учеников Лихудов, Федор Поликарпов, свидетельствовал в своем «Лексиконе трехъязычном» (1704 г.), что греческий язык следовало изучать «во утверженіе правыхъ греческихъ догматъ», а латинский язык «паче иныхъ во гражданскихъ и школьныхъ дѣлѣхъ обносится» (цит. по: Строев 1829, 206). Несмотря на то, что Лихуды преподавали как греческий, так и латинский язык, средоточием и главной силой был греческий, а с ним все образование носило господствующий греческий характер, поэтому академия именовалась также «греческие школы» и «еллино-греческая академия».

Доказательством хорошо продуманной методики преподавания классических языков служили как сама структура академии, так и учебные руководства, составленные Лихудами. В те годы, когда обучался Петр Постников, Славяно-греко-латинская академия разделялась на подготовительный класс — «школу словенского писания», «низшую школу» — школу «греческого книжного писания», «среднюю школу» — школу «греческой грамматики» и «верхнюю школу» — школу риторики, логики и физики. Риторика, логику и физику Лихуды преподавали на греческом и латинском языках, грамматику — на греческом. Руководствами для обучения служили учебные пособия, составленные самими «учеными греками» и рассчитанные на данную конкретную аудиторию. Так, в частности, в год официального открытия академии (1687) Софроний и Иоанникий написали свой первый учебник — краткую грамма-

тику греческого языка. Ориентиром для составления этого учебного пособия послужила известная греческая грамматика Константина Ласкариса, вышедшая первым изданием в Милане в 1476 г. Однако лихудовский учебник отнюдь не являлся простым сокращением грамматики Ласкариса: учитывая свою аудиторию, Лихуды ввели новые разделы (например, о произношении, о написании), конкретные пояснения (например, о различии между залогами), местами изменили порядок следования материала, убрали развернутые парадигмы склонений и спряжений, оставив лишь примеры (Копыленко 1960, 88—89). Сам материал был изложен у Лихудов методом «сократического диалога», т. е. в форме вопросов и ответов, кроме того, рядом с греческим текстом имелся перевод на церковнославянский язык, поскольку краткая грамматика была предназначена для учеников «низшей» и «средней» школ. В свою очередь учебник риторики, написанный Софронием Лихудом на греческом языке для учеников «верхней» школы, уже не имел вопросно-ответной формы, а представлял систематически изложенный теоретический материал, снабженный развернутыми планами к ораторским речам на разные темы, а также образцами речей античных авторов или речей, сочиненных самим Софронием Лихудом (Елеонская 1990, 47—53).

Среди сохранившихся списков учебных руководств на греческом языке, составленных Лихудами и переписанных их учениками, можно выделить целый комплекс списков, объединенных одним типом почерка: рукопись БАН, Q, № 5: вопросы и ответы на тему «Физики» Аристотеля; рукопись БАН, Q, № 3 (л. 71—100, л. 39—68): курс лекций по риторике Софрония Лихуда; рукопись БАН, № 16.6.11: краткая грамматика греческого языка (греческий текст); рукопись ГПБ, Греческое собрание, № 152: курс лекций по логике Софрония Лихуда (дата в тексте — 1690 г.). Тип почерка в данных рукописях совпадает с почерком, которым написаны лл. 51—66 медицинской рукописи БАН, Q, № 8 и рецепты, вложенные в эту рукопись (Лебедева 1973, 117). Проведенные наблюдения над типом почерка и составом рукописей позволили исследователям предположить, что переписчиком лихудовских учебных руководств был Петр Постников: «наличие в числе данных рукописей медицинского текста и листка с рецептами позволяет выдвинуть версию о том, что писцом мог быть Петр Васильевич Постников... (который) еще в Москве начал заниматься медициной» (Трохачев 1988, 212).

Успехи «греческого и латинского обучения» были столь блистательны, что «верхние» ученики могли свободно переводить книги с греческого и латинского на церковнославянский язык. Так, в 1687 г. старшие ученики Николай Головин, Алексей Барсов, Федор Поликарпов перевели с греческого на церковнославянский язык полемический трактат Лихудов «Акос» (ГИМ, Син. 439, 440; ГБЛ, ф. 310, № 482), в 1691—1692 гг. Федор Поликарпов перевел

«Сечивце против латинян» Максима Пелопонесского (ГИМ, Син. 490; греческий текст был опубликован Иерусалимским патриархом Досифеем в Бухаресте в 1690 г.), в 1693 г. тот же Федор Поликарпов перевел книгу патриарха Нектария «О власти Папской» (ГИМ. Син. 528). В 1691 г. Иосиф Афанасьев, Алексей Барсов, Николай Головин, Федор Поликарпов, Федот Агеев и монах Иов перевели с греческого на церковнославянский язык «Енхиридион», сочинение, приписываемое патриарху Досифею, и «Опровержение Кальвинских глав» Мелетия Сирига (ГИМ, Син. 158). Среди лучших учеников, исполнявших данные переводы, никогда не указывалось имя Петра Постникова, что само по себе представляется странным, поскольку Петр Постников на протяжении всех лет обучения считался учеником «первой статьи».

Обращение к рукописи ГИМ, Син. 158, содержащей переводы «Опровержения Кальвинских глав» Мелетия Сирига и «Енхиридиона» патриарха Досифея, позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что в переводе принимал участие и Петр Постников (Запольская 1988, 80—81). А. Горский и К. Невоструев в «Описании славянских рукописей Московской синодальной библиотеки» указывали, что «обе книги правлены... Евфимием монахом, но первоначальный перевод, как видно по его характеру, принадлежит не Евфимию, а другим лицам, ученикам Лихудов... имена переводчиков означены первыми буквами при начале каждой тетради внизу... именно: («Опровержение ... Мелетия Сирига) лл. 10—45 (тет. 2—9) помечены: *ѳс* (т. е. *Ѳсифъ Афанасьевъ*), лл. 46—84 (тет. 10—16) — **П. П.** (кто неизвестно), лл. 85—143 (тет. 17—23) — **А. К.** (д. б. *Алексей Кирилловъ Барсовъ*), лл. 144—199 (тет. 24—30) — **Н. С.** (д. б. *Николай Семеновъ Головинъ*), лл. 200—248 (тет. 31—37) — **Ф. П.** (*Федоръ Поликарповъ*), лл. 249—305 (тет. 38—45) — **Ф. Аг.** (д. б. *Федотъ Агеевъ*); («Енхиридион»): лл. 308—323 (тет. 46—47) — **Ф. П.**, лл. 324—339 (тет. 48—49) — **А. К.**, лл. 340—378 (тет. 50—54) — **Ф. П.**, лл. 379—386 (тет. 55) — **А. К.**, лл. 387—397 (тет. 56—57) — *Ѳсв* (монах *Ѳсвъ*)» (Горский, Невоструев 1862, 489). Предложенная А. Горским и К. Невоструевым атрибуция криптонимов не вызывает сомнений, однако ими не были расшифрованы литеры П. П., — «кто такой, неизвестно». Учитывая приведенные нами факты, можно предположить, что скрывавшимся под криптонимом П. П. учеником Лихудов был не кто иной, как Петр Постников, который к 1691 г., т. е. к концу обучения в академии был уже «добрым грамматиком, искусным в Священном Писании и догматах», в совершенстве владевшим книжным греческим языком.

Обучение греческому языку у Лихудов предполагало знание не только книжного, но и «простого», или «общего», греческого языка — димотики (Яламас 1992), о чем свидетельствует челобитная Лихудов 1687 г.: «...*работа ѳша великая явна естъ всѣмъ чрезъ предъспѣніе ѹчениковъ нашихъ, которыя выѹчили*

грамматикѣ еллинскѣю, и латинскѣю, поетикѣ, і часть риторики. языкѣ же нѣтъ простой... глѣбще исправнѣи и добрѣе» (цит. по: Живов 1996, 94). Таким образом, ученики Славяно-греко-латинской академии получали на греческом материале некоторое представление об оппозиции «классические языки / простые языки», что было весьма актуально для эпохи перехода от словесной культуры на классическом языке к словесной культуре на «простом» языке.

«Золотые награды», жалованные Петру Постникову, наглядно демонстрировали «золотые успехи школьного учения» и определили дальнейший характер образования Петра Постникова (Забелин 1887, 7).

2.2. В Петровскую эпоху «российское просвещение» активно принимало в себя элементы «европейской образованности» посредством «заграничной посылки русских дворян для обучения»: «по всему свету рассеяны были русские люди»... (они) «учились всюду за границей всевозможным искусствам и мастерствам начиная с «философских и дохтурских» наук до печного мастерства и до искусства обивать комнаты и убирать кровати» (Ключевский 1958, 111).

Обширные знания, полученные в Славяно-греко-латинской академии, позволили и Петру Постникову продолжить обучение за границей. Еще в Москве под руководством доктора Пелярино, родственника Лихудов (?), Петр Постников приобрел начальные сведения из области медицины (Куприянов, 1872, 3—5). Весной 1692 г. в сопровождении доктора Пелярино Петр Постников по «царскому изволению» был отправлен в Италию в Падуанский университет, где в свое время прошли курс «свободных наук» сами Лихуды. Среди документов Посольского приказа сохранился указ о направлении Петра Постникова в Венецию, а также отписка смоленского воеводы И. Головина об отпуске Постникова из Смоленска за «литовский рубеж»: «...отпущен с Москвы в Венецию для совершения свободных наук в Падвинскую академию... Петр Посников для волного его тамо проезду дана ему проезжая грамота за государственною болшою печатью, в которой он Петр Посников написан урожденным дворянином» (цит. по: Белокуров, Зерцалов 1907, 243); «...отпущен он (Постников) с Москвы в Венецию для науки в одно время з доктором с Яковом Пелярием» (цит. по: Цветаев 1896, 44).

Материалы Падуанского архива упоминают имя Петра Постникова при вступлении в университет и при окончании им курса «свободных наук». Запись университетской канцелярии под 22 сентября 1692 г. гласит, что Петр Постников в первый год своих занятий жил на квартире университетского профессора канонического права, известного в то время ученого грекокатолика Николая Пападополи. Одаренность природы и глубокие знания позволили Петру Постникову легко освоить курс Падуанского университета и овладеть современными европейскими языками — французским и итальянским. Из сочинений Постникова к «падуанскому периоду», вероятно, можно отнести

только диссертацию, написанную им на латинском языке при производстве в «докторское звание». После двухгодичного обучения 8 августа 1694 г. он был признан доктором медицины и философии, а в мае 1695 г. получил диплом, свидетельствующий о том, что Петр Постников «по крайнему учительска верху во философии и врачествѣ достиже», проявив себя в своем искусстве «так о израднѣ, мудрѣ, учителнѣ, похвалнѣ, изащнѣ... таковою зрѣлостю остроуміа, толикою же показа силу памати поучениа словесности (краснословиа) и прочіих вещей, таже въ совершеннѣйшемъ философѣ и врачу искази са обыкуютъ, тако великое самага себѣ ожиданіе, еже у всѣхъ уже мало прежде праведно совоздвиже, не токмо подѣлать, но еще дальнѣиши превзошелъ баше» (цит. по: Цветаев 1896, 57). Полученный университетский диплом предоставлял Петру Постникову право преподавать философию, медицину и иностранные языки, а также удостоивать уже своих учеников ученых степеней: «передати свободнѣ власть, да во градущее время свободнѣ и полнѣ, народнѣ и ѹединеннѣ во всѣхъ философскихъ и врачевскихъ ученіахъ читати, возысковати, советовати разглагоствовати, взысканіа опредѣлати... тавно учити съ языка на языкъ толковати, преводити и обращати» (диплом Постникова был переведен в 1701 г. с латинского языка на церковнославянский Николаем Спафарием, цит. по: Цветаев 1896, приложение 4, 54—60). По окончании университета Петр Постников обнаруживал почти энциклопедическую осведомленность в разных сферах науки, что было оценено по достоинству: в ноябре 1694 г. он был избран ассесором в университетскую администрацию, заведовавшую делами *Artistarum* (богословием и медициной).

Однако учеба в Падуе имела не только образовательную, но и дипломатическую цель: будучи в Венеции, Петр Постников регулярно сообщал в письмах Петру I «некоторыя новины, которыя обносятъ здѣ въ Венециі о войнахъ» (цит. по: Бычков 1911, 44). Риторический опыт, приобретенный Петром Постниковым в Славяно-греко-латинской академии, отразился на характере писем, фрагменты которых написаны «украшенным» «словенским» языком. Так, например, риторически заданное «лепотнейшее и краснейшее» «предсловие» открывало письмо Постникова к Петру I от 18 октября 1695 г.: «Непобѣдимѣйшій монарха, присноавгустѣйшій востока и вся сѣверныя страны повелителю и государю мой премилостивѣйшій. Остроумнѣйшій оный во всѣхъ философвъ андирійскій Димокритъ, бесѣдѣ съ ѹчителемъ нашея школы врачевскія Иппократомъ древле подъ дровомъ платаномъ о богатой и всѣхъ доволнѣ кормителницѣ натѣрѣ, сицевая произносяше словеса...» (цит. по: Бычков 1911, 44).

Сохранившиеся письма к Петру I позволяют проследить дальнейший жизненный путь Петра Постникова — «доктора философии и врачества учителя»: стремясь к совершенству знаний, он отправился в Париж («потрудився...

отъезжаю изъ Венециі во Францію» — цит. по: Бычков 1911, 44), а затем в Брюссель, Амстердам и Лейден, где слушал лекции по медицине и философии, одновременно сообщая Петру I политические «новины». Находясь по указу царя в «иноземных государствах», Петр Постников овладел в совершенстве «простыми» языками — итальянским и французским, мечтал изучить голландский и английский, чтобы продолжить образование в Оксфордском университете. Однако в 1697 г. учебно-научная деятельность Петра Постникова сменилась дипломатической.

2.3. Продолжая борьбу с Турцией, Петр I направил за границу в 1697 г. русскую дипломатическую миссию — Великое посольство — для организации широкой антитурецкой коалиции. В составе Великого посольства было 250 человек во главе с тремя «великими послами»: Ф. Лефортом, Ф. Головиным и П. Возницыным. Фактическим главой Великого посольства был Петр I, входивший в него под именем Петра Михайлова. Великое посольство отправилось к европейским дворам, «чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами... но это была открытая цель посольства... секретная же заключалась в том... чтобы все лучшее выznать, все полезное перенять или переманить себе» (Ключевский 1958, 22). С «секретной целью» в Венецию специально были посланы дворяне-волонтеры, которые должны были «во Европе присмотреться к новым воинским искусствам и поведением». Что касается Петра Постникова, то он исполнял при Великом посольстве одновременно «открытую» и «секретную» функции как переводчик и «закупщик лекарственных снадобий».

При посольстве состояли три переводчика и три толмача: переводчики — Григорий Островский «для толмачества италианскаго и латинскаго и полскаго языков, потому что он тех языков писать и говорить умеет», Петр Вульф и Петр Шафиров «для переводов латинскаго, немецкаго и галланскаго языков»; толмачи — Иван Кропоткин, Алексей Змеев и Андрей Гемс (Шмурло 1894, 97). Однако особая необходимость была в переводчике и толмаче, «достовернейше» владевшем греческим и французским языками. Таким «достовернейшим переводчиком для российских послов» и оказался Петр Постников: «...вспомнили о Постникове, который основательно владел языками латинским, итальянским, французским и даже греческим», и было прислано «государево повеление» из Венеции ехать в Вену к русскому посольству (Шмурло 1894, 97). В 1698 г. Петр Постников был назначен секретарем при видном русском дипломате П. Возницыне, который являлся уполномоченным на антитурецком конгрессе. Насколько значима была новая роль Петра Постникова, говорят письма П. Возницына к Петру Постникову и ко второму послу Ф. Головину. Переписка была вызвана нежеланием Петра Постникова возвращаться в Вену из Венеции, где он находился вместе с другими волонтерами:

— май 1698 г.: П. Возницын П. Постникову: «И ныне я тебе по прежнему его великаго государя указу поновляю, чтоб ты из Венеции ехал сюды в Вену безо всякаго замедления, а есть ли ты умедлишь и вскоре не будешь... опасися государева гневу, потому что тебе велено быть со мною на турской комиссии, и без тебя быть нельзя и дела делати будет некем, и турской посол другой, греченин Маврокордат, того ради ты к тому делу присовокуплен, что сверх иного можешь с ним говорить поеллинску и поиталианску и пофранцузску и полатине, а он те все языки знает» (цит. по: Шмурло 1894, 105);

— август 1698 г.: П. Возницын Ф. Головину: «...а Посникову совершенно надобно быть со мною на комиссии, потому что посол гречанин и через него можно достаточно говорить и писать» (цит. по: Шмурло, 1894, 105). Спустя некоторое время Петр Постников ответил П. Возницыну, что он отказывается в настоящее время ехать в Вену, а намерен отправиться в Неаполь, чтобы «живых собак мертвить, а мертвых живить». Отказ Петра Постникова вызвал осуждение и гнев «великого посла»: «...живых собак мертвить, а мертвых живить — сие дело не гораздо нам нужно. Отечески тебя наказую, если ты умедлишь и меня в Вене не застанешь или там, где я буду, во время не будешь, ведай себе подлинно, что велии гнев его царскаго величества, государя нашего милостиваго, примешь. А более сего я к тебе, яко к презирателю, писать не буду, а отпишу туда, где будет тебе не к ползе, и есть ли что приключится, тогда не имей на меня слова» (цит. по: Шмурло 1894, 106—107).

После настоятельных просьб и угроз Петр Постников все же прибыл в октябре 1698 г. на Карловицкий конгресс, который завершился подписанием ряда договоров между Священной лигой (Россией, Австрией, Венецией и Польшей) и Турцией. На официальных конференциях конгресса Петр Постников достойно исполнял функции толмача и переводчика. В день заключения перемирия, в знак особого расположения, он получил право следовать в парадной карете русских послов.

По заключении перемирия Петр Постников подал прошение о направлении его в Амстердам для занятия науками, о чем П. Возницын немедленно сообщил Петру I: «...говорит, государь, мне дохтур Петр Посников, чтоб я челобитье его донес к тебе, великому государю: нужда-де ему быть в Амстердаме для исправления к художеству его некаких инструментов, и чтоб ево из Вены туда отпустить, и дать ему твоего государева жалованья» (цит. по: Шмурло 1894, 109). Получив разрешение, Петр Постников отправился в Амстердам, затем в Лондон и только в начале 1701 г. возвратился в Россию. Указ об определении Петра Постникова на службу гласил: «...отослать ево в Оптекарской приказ с памятью и для ведома о докторском его изучении... а в Посолском приказе как случатца латинские, французские, италианские нужные писма, и те писма переводить ему ж, Петру» (цит. по: Цветаев 1896, 60). Так по указу

царя медицинская деятельность Петра Постникова официально соединилась с дипломатической. Документом, характеризующим медицинскую деятельность Петра Постникова, является написанное им 8 ноября 1701 г. «Свидетельство о познаниях в медицине Готфрида Клемма»: Постников дал характеристику желавшему поступить на русскую службу Готфриду Клемму как знающему специалисту, который может «всякие целяти болезни» (Родюкова 1986, 211). Летом того же 1701 г. по «государеву изволению» Петр Постников сопровождал в качестве врача и чиновника дипломатической канцелярии Петра I в его поездке в «северо-западные земли» России. Доказательством пребывания Постникова при Петре I является официальная дипломатическая переписка того времени. Так, в частности, Петр I отправил 18 июля 1701 г. из Новгорода, а 2 августа из Пскова два письма Августу II, королю Речи Посполитой, составленные на французском языке. Обыкновенно переписку свою с Августом II Петр I вел по-русски, и лишь эти два письма на французском языке объясняются присутствием Петра Постникова в свите государя. Ф. Головин, докладывая 9 июля Петру I о текущих делах, в частности о письме Августа II, заметил: «...х королю есть ли изволишь и сам что с сею почтою зело б хорошо. А Постников у милости твоей, и пофранцузски еще и приятнее» (цит. по: Шмурло 1894, 112).

В конце 1701 г. Петр I послал Постникова во Францию «неофициальным дипломатом» «для сообщения о тамошних поведениях». Летом 1702 г. Петр Постников на короткое время возвратился в Россию, но в марте 1703 г. снова отбыл во Францию. В 1704—1705 гг. он жил в Голландии с «научными целями», а затем снова вернулся в Париж. В начале 1710 г. русское правительство решило назначить при французском дворе официального посла и наметило на этот пост Петра Постникова, о чем ему было сообщено государственным канцлером Г. Головкиным. Однако в июле 1710 г. последовал указ Петра I о назначении официальным резидентом при французском дворе полковника де Крока (Родюкова 1986, 212). Вероятно, в начале 1710 г. Петр Постников вернулся в Россию и привез книги в библиотеки Аптекарского и Посольского приказов. Именно о библиотеке, привезенной Постниковым в 1710 г., идет речь в письме государственного канцлера Г. Головкина к дьякам Посольского приказа от 18 декабря 1710 г.: «которые книги по указу великаго Государя купил во Франции и Голландии доктор Петр Постников и привез к Москве о нравах и уложениях окрестных государств... прислать с подьячим, а ежели которые ис тех книг взяты в аптеку для собрания библиотеки, те оттуду взять и прислать в Петербург...» (цит. по: Токмаков 1885, 3—5; Хотеев 1986, 6).

2.4. Последний период жизни Петра Постникова остается до конца не проясненным. Согласно традиционной точке зрения (Шмурло 1894, 139; Цветаев 1896, 39; Описание... 1955, 199; Белоброва 1998, 267), Петр Постников.

вернувшись в 1710 г. в Россию, занимался переводческой деятельностью по поручению Посольского приказа. При этом обычно ссылаются на то, что в 1712 г. Петр Постников перевел с французского языка часть книги «L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wiequefort...» («Посол и его дела...» Абрахама де Викфора), поскольку на рукописи перевода стоит помета: «Переводъ съ книги французской доктора Петра Посникова О послѣхъ и министрахъ чужестранныхъ и о должности дѣль ихъ, и что есть посолъ, и честь ево — прислана изъ Петербурха юня во 12 прошлаго 1712 годъ и отдана та книга переводить емъ ис приказъ тогож числа. Подаль онъ, Петръ, сію тетрадь генваря 3 дня нынешняго 1713 года» (цит. по: Шмурло 1894, 236).

С определенными сомнениями Петру Постникову приписывается перевод книги «Alcoran de Mahomet, translate de l'arabe en francois par le Sieur du Ryer», опубликованный в 1716 г. без указания имени переводчика под заглавием «Алкоран о Магомете, или закон турецкий» (Пекарский 1862, 370; Шмурло 1894, 146; Крачковский 1955, 175—181; Описание... 1955, 200; Белоброва 1998, 267). По сообщению П. Пекарского, рукопись печатного перевода содержала помету «переводилъ сію книгъ Петръ Посниковъ...»: «что касается до перевода Постникова, то он сделан без пропусков, заметна только неловкость переводчика при передаче некоторых французских слов и оборотов, что уже видно из названия: „Alcoran de Mahomet“ вышел в русском переводе „Алкоран о Магомете“, следовательно, частица de принята не в смысле члена для означения родительного падежа, но как предлог de... на основании этого можно предположить, что книгу переводил младший брат, а не старший» (Пекарский 1862, II, 370)¹.

Согласно другой, относительно недавно высказанной точке зрения (Родкова 1986, 212), и перевод книги Абрахама де Викфора был сделан младшим братом Постникова, поскольку Петр Постников, вероятно, умер в 1710 г., о чем косвенно свидетельствует выпись в доклад Посольского приказа от 12 марта 1710 г. В этом документе содержится изложение челобитной матери Постникова, из которой следует, что ее младший сын, также бывший за границей, просит царя о возвращении в Россию для уплаты «великих долгов, оставших после брата ево дохтора Петра Посникова».

Действительно, у Петра Постникова был младший брат, носивший то же имя. Бесспорным доказательством этого является письмо Василия Постникова, отца Петра Постникова, к Петру I от 8 ноября 1702 г. с просьбой о продолжении обучения младшего сына по примеру старшего за границей:

¹ При этом Пекарский не отождествлял Петра Постникова — переводчика и Петра Постникова — врача (Пекарский 1862, I, 248).

«...понужен просити, во еже бы ваше величество для крайнейшего Божия человеколюбия и ради Пречистыя Его Богоматере и для своего государева многолетнего здравия изволил *второрожденного моего сына Петра* (выделено мной. — Н. З.), в царствующем велицем вашем граде Москве латинского и французского языков во училищи² несколько лет будучего, во Европские государства ради свободных наук окончания отпустить и противу протчих отпусков ево братии свидетельствованную о проезде свою государеву грамоту, так же и на пропитание ево от своей государевой казны по своему государеву милосердому осмотрению дать повелите... А когда ваше величество *перворожденного моего сына Петра* (выделено мной. — Н. З.) во Италию в Потавскую академию для таких же наук отпустить изволил, и тогда премногая ваша монаршеская милость оному учинена...» (цит. по: Белокуров, Зерцалов 1907, 242—243). Согласно указу «1703 генваря 12 велено... другово сына иво Петра Посникова отпустить с Москвы во Европские государства для совершения свободного учения немецкого, латинского и французского языков» (цит. по: Белокуров, Зерцалов 1907, 243). В свою очередь, Петр Постников старший в письме к Ф. Головину от 7 марта 1703 г. сообщал: «Благостию Вышнего Предвидения... приехал я и с братом моим во преславный Париж...», и далее следует подпись: «ваш низжайшии, покорнейшии... раб Петр Посников перворожденный» (цит. по: Шмурло 1894, 89). Когда в 1710 г. старший Петр Постников возвратился в Россию, младший еще был за границей: 12 октября 1711 г. французский профессор De Lionniere просил письмом из Парижа об уплате ему за семилетнее обучение Постникова разным наукам и языкам. В 1712 г. младший Петр Постников в числе других учеников, обучавшихся в «окрестных государствах», окончательно возвратился в Россию. Как видно из приведенных материалов, младший Петр Постников также получил прекрасное образование, которое предполагало основательное знание иностранных языков, и прежде всего французского. Таким образом, обоих братьев трудно подозревать в плохом владении французским языком и неумелой переводческой работе.

Следовательно, для объяснения переводческой «неловкости» необходимо определить культурно-языковой статус изданного в 1716 г. «Алкорана о Магомете», учитывая историю перевода Корана в России.

3.1. К началу XVIII в. в Европе существовали три печатных перевода Корана, выполненные непосредственно с арабского оригинала: латинский перевод Роберта Ретенского, изданный в 1543 и в 1550 гг. в Базеле, латинский перевод Лодовико Мараччи, напечатанный вместе с арабским оригиналом в

² Известно, что в Москве Петр Постников младший учился в немецкой школе, вероятно у Швимера с 1701 по 1703 гг. (Белокуров, Зерцалов 1907).

1698 г. в Падуе, и французский перевод Андре Дю Риэ, впервые изданный в 1647 г. в Париже и много раз переиздававшийся. Кроме переводов, выполненных непосредственно с арабского языка, были выполнены и производные переводы на итальянский, немецкий, голландский и английский языки (Круминг 1994, 227). Первый в России перевод Корана, оригиналом для которого послужил французский перевод Андре Дю Риэ, появился в Петровскую эпоху, что было мотивировано политическими и просветительскими задачами. Перевод под заглавием «Алкоран о Магомете, или закон турецкий. Переведенный с французского языка на российский» был напечатан в 1716 г. в Санкт-Петербургской типографии гражданским шрифтом, что определяло его принадлежность новой культурной парадигме, противопоставленной традиционной парадигме, маркером которой был церковный шрифт. Знаковый новаторский характер издания Корана подтверждается и личным интересом к нему Петра I, о чем свидетельствует переписка директора типографии Михаила Аврамова с личным секретарем Петра I Алексеем Макаровым:

— 28 декабря 1716 г. «...книг нового выходу, а имянно Алкорана... за дорогою платою на почту не отправляю...»;

— 8 января 1717 г. «...к тому ж новой Алкоран... на почту за дорогою платою никто не принимает...»;

— 18 февраля 1717 г. «...отправлен до Его Величества... Алкоран...» (цит. по: Круминг 1994, 233—234).

В свою очередь, традиционное мнение, свидетельствующее о необычности и чуждости перевода Корана в рамках христианской культуры, представлено Саввой Владиславичем-Рагузинским в предисловии к переведенной им в 1720 г. книге «I Consigli della Sapienza ovvero la raccolta delle massime di Salomone» («Собрание определений Соломоновых...»): «не Божовы фавѹлы или махOMETанскіе рассказы... обрящеши, но самыя святополитичныя поступки, ко исправленію совѣсти дѹха, или ѹма, сердца и страстей, да и языка» (цит. по: Синьорини 1999, 330).

Таким образом, перевод Корана рассматривался и по содержательным, и по формальным признакам как текст, принадлежавший новой культуре.

3.2. Выявить языковые диагностические признаки «Алкорана» позволяют «подготовительные» материалы, а именно сохранившиеся в собрании РГАДА корректурный экземпляр (ф. 1251, № 3) и наборная рукопись (ф. 381, № 1034) «Алкорана о Магомете». Корректурный экземпляр содержит правку, проведенную справщиками типографии Михаилом Волковым и Иваном Кременецким, оставившими свои подписи: «справил Михаила Волков» (с. 317, 320, 322), «смотрел Кременецкий» (с. 319). Наборная рукопись, текст которой написан справщиком Михаилом Волковым, также содержит языковую правку, выполненную самим Михаилом Волковым и Иваном Кременецким. Наборная

рукопись, корректурный экземпляр и окончательный печатный текст не представляют никаких данных о переводчике Корана. Однако «подготовительные» тексты дают возможность дифференцировать языковые навыки и установки неизвестного переводчика и справщиков. Так, анализ языка исходного текста позволил заключить, что неизвестный переводчик не столько плохо знал французский язык, сколько использовал при переводе знания латинского языка, что следует уже из перевода названия книги: «Alkoran de Mahomet» = «Алкоран о Магомете» (Круминг 1994, 233). Очевидно, что братьям Постниковым, в совершенстве владевшим французским языком, не могло быть свойственно такое книжно-языковое поведение. Кроме того, анализ языка исходного текста и системно проведенной языковой справки, представленной в наборной рукописи, дает возможность установить, что неизвестный переводчик недостаточно владел и нормами церковнославянского языка. Именно недостаточное владение переводчиком нормами церковнославянского языка мотивировало «тотальную» грамматическую справку, целью которой было устранение грамматических ошибок и замена некнижных форм и конструкций книжными. Возможно, в силу незнания справщиками французского языка не осуществлялась сверка с французским оригиналом, и справка носила только «окнижняющий» характер, предполагающий восстановление семантической и формальной дистанции между книжным и некнижным языком. Внесенные в ходе справки изменения могут быть представлены как определенный концептуально мотивированный комплекс реализованных правил:

(Морфология)

1) снятие грамматических ошибок (аграмматизмов и гиперкоррекций) в книжных формах:

(глагол: снятие дефектности в реализации грамматических категорий лица и числа):

«ты есть → еси первъ» (л. 200 об.); «w которыхя есте → сѣть правовѣрныя» (л. 235 об.); «Сие таинство сѣть → есть таинство алкорана» (л. 257); «обѣщанне бжїе сѣть → есть необходимо» (л. 293); «услышаны бысть → быша мѣтвы его» (л. 216); «бысть → быша дома ихъ разорены» (л. 263); «Они бысть → быша» (л. 284);

«Азъ послахомъ → послахъ к вамъ монахъ пророковъ і апостоловъ» (л. 311 об.); «Азъ повелѣхомъ → повелѣхъ мѣтсѣ единомъ бгѣ» (л. 326); «они его вопрошаше → вопрошахъ о толкованіи его» (л. 141 об.); «они вознегодовали противъ вѣры і рече → глаголахъ» (л. 229 об.);

«они придошта → придоша вси купно» (л. 124); «рекоста → вѣвѣщаша емъ пришедшіе» (л. 133); «они придошта → придоша» (л. 133 об.); «они внидошта → внидоша во градъ» (л. 145); «они рекоста → рекоша» (л. 147)

об.); «превыста → превыша кѣпно с нечестивыми» (л. 158); «они отидоста → отидоша прочь» (л. 278); «изыдоста → изыдоша из своая крѣпости» (л. 300 об.);

(причастия: снятие дефектности в реализации грамматических категорий рода и числа):

«не бѹдете тако яко невѣрныя которые рекли глаголющи → глаголюще...» (л. 41 об.)

2) замена некнижных форм книжными (восстановление семантической дистанции между книжным и некнижным языком):

(глагол: восстановление реализации грамматической категории лица):

а) замена форм на -л формами аориста и имперфекта (в грамматической позиции 1, 3 л. ед. и мн.):

«Азъ благо сотворилахъ → сотворихъ» (л. 6 об.); «Мы тебя послали → послахом...» (л. 311); «Мы тя послали не быти ихъ защитителем → не послахом защищати ихъ» (л. 342);

«сквернили → скверниша землю» (л. 151 об.); «кѹсали свои палцы → ѹгрызахъ» (л. 154 об.); «Пошли → пидоша вси кѣпно» (л. 188); «Отвѣщали → отвѣщаша вси» (л. 249 об.); «Они же рекли → рекоша» (л. 262 об.); «они рекли → глаголю» (л. 273); «пришли → придоша за заповѣдми вразумительными» (л. 288 об.); «Они были → быша въ числѣ послышающихъ» (л. 319); «были → быша наказаны подостойнствѹ» (л. 322); «Слово вѣже исполнися над ними како исполнися над теми которые были → иже быша прежде ихъ» (л. 337 об.); «ѹбогне все покралаи → разграбниша» (л. 389 об.); «Они повѣжали → повѣжаша» (л. 389 об.); «Тогда они рекли → рекоша» (л. 389 об.); «Они попадали → падаоша яко мертвыя на землю» (л. 390 об.);

б) замена форм на -л формами перфекта со связкой (в грамматической позиции 2 л. ед.):

«Ты ннѣ повѣдалъ → повѣдалъ еси истиннѹ» (л. 8 об.); «не того ли ради пришел → пришелъ еси» (л. 353);

(причастия: восстановление реализации грамматических категорий рода и числа):

а) замена форм на -(')учи/-(')ачи формами на -(')а (в грамматической позиции Им. ед. м.):

«Бгъ васъ искѹси единою вещию знаючи → вѣдая» (л. 71 об.); «кто сотворит добро... вѣрѹючи → вѣрѹя в бга, внидетъ в рай» (л. 333); «невѣтрѹдися видячи → видя наказание невѣрныхъ» (л. 354);

б) замена форм на -(')учи/-(')ачи и на -(')а формами на -(')уец/-(')аце (в грамматической позиции Им. мн. м.):

«Обаче они обратилася къ ихъ грѣхамъ глаголючи → глаголюще» (л. 99 об.), «да небудете ленивыи его опасая → да некако швенишася строгоще» (л. 139);

3) замена не книжных форм книжными (восстановление формальной дистанции между книжным и не книжным языком):

(глагол):

замена форм 2 л. ед. наст. вр. на -шь формами на -ши; замена форм инфинитива на -ть формами на -ти:

«ты боишся → боишися» (л. 267); «аще ты речешь → речеши истинну» (л. 307); «могли защитити → защитити» (л. 294); «преклонять → преклоняти» (л. 294 об.); «вкѣситъ» → «вкѣсити» (л. 296);

(имена):

замена форм на -у формами на -а в грамматической позиции Р. ед. м.:

ѿ законѹ → ѿ закона (л. 103 об.); без страхѹ → без страха (л. 359 об.)

(местоимения):

а) замена форм в грамматической позиции Р. ед.

«противо себя → себе» (л. 110 об.); «наперед тебя → прежде тебе» (л. 125);

б) замена полных форм энклитическими в грамматической позиции В. ед.

«вопрашивають тебя → вопросят тя» (л. 296 об.); «тебя → тя послухом» (л. 311);

(союзы и союзные слова):

«который → иже даде свѣтило солнцѹ» (л. 118); «которые → иже будятъ добро творити» (л. 152); «которые → иже знаютъ вся» (л. 153 об.); «которые → иже дерзають прокляти его» (л. 172); «которые → иже рекѹтъ» (л. 193 об.); «которые → иже имѣють страхѹ» (л. 213 об.); «которые → иже послаа алкоранъ своемѹ слѹзѹ» (л. 2.2), «которые → иже желали имѣние его» (л. 277); «которые → иже намъ пристѹпили» (л. 288 об.); «которые → иже послѣшаютъ бѣѹ» (л. 304 об.); «которые → иже выша прежде ихъ» (л. 337 об.); «которые → иже ихъ сотворилъ» (л. 338); «которые → иже можетъ дати животъ и смерть, которые → иже есть всемогущи» (л. 354); «которые → иже препятствѹють ближнимъ своимъ послѣдовати законѹ вѣию» (л. 354 об.);

«Когда → егдаже бѣ имъ сотвори добро» (л. 113); «Когда → егдаже онъ ѿвѣдал» (л. 116 об.); «Когда → егдаже слышали правдѹ» (л. 123 об.);

«слышахомъ что → яко бысть единъ юноша нарицаемый Аврамъ» (л. 214); «рекли что → яко есть волшебство» (л. 258 об.); «надѣяся что → яко вы будете благодарны» (л. 350); «чающіе что → яко сии жители воспоминаютца» (л. 353 об.); «рекохомъ мы что → яко бѣ неповѣлѣлъ творити что → еже они намъ сказывали» (л. 387 об.);

«кто есть пакн неправѣ како → яко сеи которын иже вѣсть приказанне гда своего» (л. 296), «мы ѱдалилися от тебе како → яко востокъ ѱдалися от западъ» (л. 345)

(Синтаксис)

1) синтаксис имени: замена конструкций с притяжательными прилагательными конструкцией с родительным приименным:

«Во имѧ вѣние → вѣга» (л. 102 об.);

2) синтаксис причастий:

а) замена присубстантивных (определительных) придаточных причастными оборотами:

«Он сотвори корабль которын плаваетъ по морю его произволениемъ → плавающи по морю его произволениемъ» (л. 157); «внѣ сотвори солнце і мѣць, которыя движѣтся безпрестанно → движѣщияся безпрестанно» (л. 157); «Онѣ обѣща вамъ мѣть свою и велие возмездие правовѣрным, которые творят добрые дѣла → творящим добрые дѣла» (л. 63); «Ничего забывѡм написати в кнѣзѣ которая содержитца на небеси → содержащейся на небеси» (л. 77 об.); «Бгѣ несокрушитъ меки ради неправедныхъ, которые тамо полагаются → тамо живѣущихъ» (л. 85 об.); «Мы не послали прежде тебе токмо члвкъ которые имѣют повелѣние от нас → имѣющихъ повелѣние от нас» (л. 210); «Бѣдѣт вси наказаны ангели которые сѣтъ ѱ престола вѣния → предстоящые престолѡ вѣнию» (л. 331); «Они обрящѣтъ жестокоств і законъ вѣжескъ которын сохрѧялъ снх которые были прежде их → охрѧяющіи бывшихъ прежде ихъ» (л. 336); «Когда они ѱвидѧли являвшееся облако черное, которое приближаецца къ ихъ жилищам, рекли → приближающееся къ ихъ жилищам» (л. 353);

«Да бѣдетъ хвала бгѣ, что нас привѣл здѣсь → приведемъ насъ сѣмо» (л. 91); «...вкѡсите богатство что вы обрели → вами шврѣтенное» (л. 109 об.); «...они не вѣрили пророкѡ і непослушали заповеден, что имъ послахомъ → имъ посланныхъ» (л. 119); «Хвала бгѣ, что он подаде мѣть → давшемъ мне мѣть» (л. 157 об.); «Аз ти повѣдаю сия вещи, что случися в сем градѣ → случившиися в сем градѣ» (л. 95);

б) замена присубстантивных (определительных) придаточных субстантивированными причастиями:

«Воистиннѡ онѣ слышал мѣтвы тѣхъ, которые принимаютъ его слова → принимающихъ его слова» (л. 77 об.); «...несообщайте мене в числѣ снх которые молилися идоломъ → молящихся идоломъ» (л. 98); «...он неизженет снхъ, которые раздѣляютъ мѣти, что он даде народѡ → раздѣляющихъ мѣти, данные народѡ» (л. 105 об.); «...которые внидѣтъ в кастел меки бѣдѣтъ в числѣ снхъ которые вѣрѣютъ в бѣга → вѣрѣющихъ в бѣга» (л. 108 об.); «Бгѣ любит снхъ которые имѣютъ дши чистые → имѣющихъ

дши чистые» (л. 116); «Бгъ нежелаетъ возмездия которыя творят добро → творящимъ добро» (л. 117); «Бгъ нелюбитъ тѣхъ которые сквернятъ землю → ускверняющихъ землю» (л. 124); «...небѣди в числѣ тѣхъ которые сомнѣваются о сем → сомневающимся о сем» (л. 125); «Он посла... которые непослушали приказани его → непослушающихъ заповѣди его» (л. 125 об.); «...правовѣрныя сѣть подобны тѣмъ которые имѣють слышание і видѣние блгое → имѣющимъ слышание і видѣние блгое» (л. 128 об.); «...дабы вамъ непридѣлося тако како симъ которые нехотѣли вѣрить Ною → невѣрующимъ словесемъ Ноя» (л. 135); «Они подобны тѣмъ которые имѣють всегда жаждѣ і подставляють рѣкъ → жаждущимъ і подставляющимъ рѣкъ свою» (л. 150 об.); «Воистинну они пожелають быти в числѣ сихъ которые послашали приказанию вожескомѣ → послушающихъ приказаниа бжеского» (л. 317 об.); «...ты невидиши никого от сихъ которые вѣрють в закон → и тѣхъ вѣрующихъ в закон» (л. 377);

в) замена конструкций с однородными сказуемыми на конструкции со второстепенным сказуемым (с сопутствующим устранением соединительного союза и снятием аграмматизмов):

«Онъ приде к своимъ дѣтямъ велми печален і вспоминахъ → воспоминаю погѣбление сна своего» (л. 146); «...показа емѣ правый пѣть, рече → глаголю» (л. 208 об.); «Они повили ихъ напереді и рече → глаголюще» (л. 105); «...ангели бѣдѣтъ посѣщать і бѣдѣтъ поздравлять і рекутъ → глаголюще» (л. 151 об.), «...кусали свои палцы... і рече → глаголюще» (л. 154 об.); «пророцы отвѣщаща рекоша → глаголюще имъ» (л. 155); «...которые восприимають обиды ѿ невѣрныхъ і надѣютца → надѣющесе на Гда своего» (л. 166); «Обаче невѣрные истязѣются о сеи исторіи, рекли → глаголюще...» (л. 184); «...разсѣдите его дѣйство, приидите → пришедше к немѣ» (л. 202); «...отстѣпили отъ блготворящихъ, неразсѣждаютъ → неразсѣждающе слова алкорановы» (л. 230); «...они отставили рекли → глаголюще...» (л. 232); «Токмо мы непослушали нашихъ учителей, рекохомъ → глаголюще...» (л. 387 об.), «...возмите ихъ связжите → связавше вверзите во адъ» (л. 391);

г) замена конструкций с основным сказуемым на конструкции со второстепенным сказуемым («дательный самостоятельный»):

«...і призванъ бысть Іосифъ и рече фараонъ → призванъ же бывшъ Іосифъ, рече фараонъ» (л. 142 об.);

д) дифференциация синтаксических функций кратких и полных страдательных причастий (предикативная функция = краткие формы):

«...ядите блгое что вамъ данное → данно есть» (л. 7 об.); «Проповѣди тѣмъ которые бѣдѣтъ жестоко наказани → наказаны» (л. 80); «...бѣдѣтъ ввержени → ввержени во огнь» (л. 103 об.); «...вы бѣдете вси кѣпно предъ бгомъ сѣдимыми → сѣдими» (л. 126 об.); «...бѣдѣтъ вси наказани → нака-

зани» (л. 334); «...онѣ написанный → написанъ естъ в ншеи кнѣзѣ» (л. 343 об.); «...гдѣ древеса ѹготованныя → ѹготованы сѣтъ» (л. 370 об.);

3) синтаксис частиц:

замена конструкции с двойным отрицанием конструкцией с одинарным отрицанием:

«ничто не ѹтаитца от тебе → ничтоже высть ѹтаено от тебе» (л. 331).

Приведенный языковой материал, демонстрирующий наличие в исходном тексте неправильных книжных форм, наглядно свидетельствует именно о несовершенном владении переводчиком нормами церковнославянского языка, а не о возможной попытке неизвестного переводчика упростить традиционный язык в соответствии с установками Петра I.

Действительно, согласно инструкциям Петра I, переводчики и авторы оригинальных сочинений, входящих в парадигму новой секулярной культуры, должны были стремиться писать не на «словенском» языке, а на некоем «простом языке», или «просторечии». Однако весьма показательно, что свои декларации, содержавшие идею упрощения языка, Петр I обращал прежде всего к ученым книжникам, привыкшим, наоборот, увеличивать дистанцию между книжным и некнижным языком. Так, Ф. Поликарпову, одному из лучших учеников Лихудов, Петр I поручил перевод с латинского языка «Географии генеральной» Б. Варения, и тот, будучи ученым книжником, перевел эту книгу в 1716 г. на традиционный церковнославянский язык, объясняя такой перевод функциональным тождеством классических языков (латинский язык = церковнославянский язык): «Убо и мне (коснувшемуся превода книги сея) должность надлежала последовати якоже сенсу, тако и тексту авторову и не общенародным диалектом Российским преводити сия, но хранити по возможности регулы чина грамматического, дабы тако изъяснил высоту и красоту слова и слога авторова» (цит. по: Живов 1996, 92). Однако Петр I остался недоволен этим переводом, указывая, что «за неискусством» переведена «гораздо плохо», и повелел Ф. Поликарпову выправить перевод «хорошенько не высокими словами славенскими, но простым русским языком». «Упрощающая» грамматическая правка была осуществлена бывшим учителем Ф. Поликарпова Софронием Лихудом, для которого естественнее было перенести модель «книжный язык → „простой“ язык» с греческого материала на славянский (Живов 1996, 92—96). В предисловии к печатному изданию новой редакции перевода «Географии генеральной» 1718 г. уже отмечалось, что книга переведена «не на самый славенский высокий диалект против авторова сочинения, и хранения правил грамматических: но многае гражданскаго посредственнаго... наречия» (цит. по: Живов 1996, 92). В 1725 г. была напечатана «Библиотека» Аполлодора, переведенная с греческого языка также учеником Лихудов

А. Барсовым, специально указавшим в предисловии, что Петр I повелел перевести книгу «на общии Россииский язык». Опыт владения церковнославянским языком также не позволил А. Барсову существенно упростить язык перевода, что потребовало дополнительной «упрощающей» правки, фрагментарно осуществленной справщиками Московской Синодальной типографии И. Кречетовским и И. Максимовичем, о чем свидетельствует наборный экземпляр книги (например, замена форм аориста на л-формы «выша → были», л. 12 об.). Установка на «упрощение» языка предполагала обязательное снятие семантической дистанции и факультативное снятие формальной дистанции между книжным и некнижным языком, но отнюдь не «введение» грамматических ошибок (РГАДА, ф. 381, № 1015).

Петр Постников, бывший соученик Ф. Поликарпова и А. Барсова, мог потенциально перевести Коран и с латыни и с французского языка соответственно на традиционный церковнославянский язык или на некий упрощенный язык, но он не мог перевести на «плохой» церковнославянский язык, маркером которого служили грамматические ошибки. Таким образом, проведенный анализ позволил дифференцировать два принципиально разных типа языкового поведения в Петровскую эпоху: доминантой одного являлась «ошибка», тогда как доминантой другого — «установка».

Однако помимо обсуждаемого большинством ученых перевода Корана, изданного в 1716 г., в Петровское время был выполнен еще один перевод, оставшийся неопубликованным. Этот перевод известен по двум рукописям, написанным приблизительно в одно время одним неатрибутированным почерком: одна рукопись хранится в БАН (№ 3.7.6.), другая в РГАДА (ф. 181 МГАМИД, № 148—217). Рукопись РГАДА содержит записи, дающие информацию об имени переводчика и времени перевода:

запись на л. 780 «Переводилъ сію кнѣгъ Петръ Постниковъ» (почерк не основного писца рукописи и не Петра Постникова старшего),

запись на л. 1 «1726 гв годѣ въ хрѣтова рождѣтва мѣца генварѣ въ 10 день переплетен ѣ кнѣгъ сен Алкоран».

Судя по тому, что рукопись РГАДА была отдана в переплет в январе 1726 г., она была написана в 1725 г., т. е. перевод некоего Петра Постникова был выполнен значительно позже, чем перевод, изданный в 1716 г.

Два выявленных перевода значительно отличаются друг от друга, о чем можно судить по небольшому фрагменту из предисловия «Къ читателю».

L'Alcoran de Mahomet... a Paris, 1649:

«Ce Livre est vne longue conférence de Dieu, des Anges, e de Mahomet, que ce faux Prophète a inuenté assez grossièrement, tantost il introduit Dieu qui luy parle e luy enseigne sa loy, après vn Ange, puis les Prophètes, e souuent il fait parler Dieu en pluriel par vn stile qui n'est pas ordinaire, il déclame contre ceux qui adorent les

Idoles, particulièrement contre les habitants de la Ville de la Meque, e contre Coreis qui estoient ses ennemis à son éuenement. Il a intitulé ce Liure ALCORAN, comme qui diroit le Recueil des Préceptes, Il l'appelle aussi EL FORCAN, c'est à dire, qui distingue le bien d'avec le mal» (pp. 1—2).

В наборной рукописи предисловие не сохранилось, но оно вошло в печатный текст, набравшийся по этой, правленной, рукописи:

«Сія книга разумѣется отъ труквѣъ, Божіи со Ангелами и съ Магометомъ долгіи совѣтъ, его же сеи лживыи пророкъ вымыслилъ весма просто, иво въ разныхъ мѣстахъ сей книги проізводаютъ яко бы Богъ съ нимъ говорилъ и показывалъ емоу свой законъ. А потомъ яко бы Ангели и пророцы: чемъ чрезъвычайнѣ не правое учреждаютъ реченіе. По томъ вопіетъ противу ідолопоклонниковъ, а особливо протіву жителей Мекки, и кореелевъ, которые были въ тѣ времена емоу непріятели. И нарече сію книгу Алкоран, то есть собраніе закона, а индѣ именуется Бакоранъ то есть различеніе добра отъ зла» (Ефремов 1888, 644—646).

В рукописи 1725 г. представлен текст более точного перевода:

«Сія книга есть долгіи розговор ѡ бѣзе, ѡ ангелахъ, и ѡ магомете которыми оныи лживыи пророкъ велми грубо вымыслил овогда предводитъ бѣга емоу глаглющаго, и онагѡ научает свои закон, овогда ангела иногда пророков, и многажды повелѣваетъ бѣгоу глаголати многочисленно чрезъвычайное согласіе і уличает иныхъ которыхъ идоломъ поклоняются, особливо жителей града мекъ и противо корѣль которые въ его пришествіе емоу непріятели являлися. возглавие сеи книги написал алкоран, сирѣч собраніе заповедей, такожде называет ел-ѳоріан сирѣч которыхъ раздѣлял добрыя дѣла злыми» (л. 2—2 об).

Даже поверхностный языковой анализ рукописного перевода 1725 г. позволяют утверждать, что переводчик достаточно владел французским языком, что явлено уже в переводе названия: «Alcoran de Mahomet» = «Алкоран, или закон магометанский». Кроме того, переводчик старался перевести на язык более понятный, отличный от традиционного церковнославянского языка. Появление нового, более точного и понятного, перевода Корана в 1725 г. могло быть мотивировано актуализировавшимся интересом Петра I. Свидетельством этого может служить издание в 1722 г. историко-политического труда «Систима или состояние мухамеданския религии...», сочиненного на латинском языке Д. Кантемиром и переведенного его секретарем И. Ильинским. В авторском предисловии к этому трактату специально подчеркивалось, что «сонзволнаъ егѡ црское величество и мнѣ... рабѣ своемѣ поручити, да выхъ о Мѣхамеданской религии, и о политическом Мѣслиманскаго народа правленіи, нѣкое нижнимъ стилемъ и просторѣчиемъ изданіе» (РГАДА, ф. 381, № 1035, л. 13).

Выявленные культурно-языковые признаки перевода 1725 г. позволяют потенциально атрибутировать текст и Петру Постнику старшему, и Петру Постнику младшему, однако историческая реальность разрешает эту амбивалентность скорее в пользу младшего брата. Обоснованный ответ на вопрос об авторстве перевода «Алкорана» 1725 г. возможен только при проведении прогнозирующего анализа, направленного на соотнесение культурно-языковых параметров языковой личности Петра Постникова младшего и языковых параметров исследуемого текста.

Таким образом, в Петровскую эпоху были выполнены два перевода Корана с французского языка: один из них, выполненный неизвестным переводчиком, был напечатан в 1716 г., другой, осуществленный, скорее всего, младшим Петром Постниковым в 1725 г., остался в рукописи. П. Пекарский, говоря о переводе «Алкорана», не сличил текст известной ему рукописи 1725 г., содержащей информацию о переводе Петра Постникова, с печатным текстом 1716 г.: допущенная П. Пекарским ошибка была впоследствии повторена большинством исследователей.

4.1. Проведенный прогнозирующий анализ, направленный на определение культурно-языкового статуса личности Петра Васильевича Постникова и культурно-языковой статус приписываемых ему текстов, позволил уточнить объем и характер его книжно-языковой деятельности: соотнесение культурно-языковых параметров личности и текста, дало возможность заключить, что изданный в 1716 г. «Алкоран о Магомете» не мог быть переведен ни самим Петром Постниковым, ни его младшим братом.

Литература

- Белокуров, Зерцалов 1907 — *Белокуров С. А., Зерцалов А. Н.* О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII в. (1700—1715 гг.) // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских. 1907. 1, 1—244.
- Белоброва 1998 — *Белоброва О. А.* Посников Петр Васильевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. СПб., 1998. 3, 266—268.
- Бычков 1911 — *Бычков И. А.* Новые материалы для биографии первого российского доктора // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских. 1911, 41—57.
- Горский, Невоструев 1862 — *Горский А., Невоструев К.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. М., 1862. Т. 3. Ч. 3.
- Елеонская 1990 — *Елеонская А. С.* Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века. М., 1990.
- Ефремов 1888 — *Ефремов П.* Новооткрытая библиографическая редкость // Русский архив. 1888. № 4, 644—646.
- Живов 1996 — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Забелин 1887 — *Забелин Н. Е.* Первое водворение в Москве греко-латинской и общей европейской науки // Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских. 1887. Кн. 4.

- Запольская 1988 — *Запольская Н. Н.* П. В. Постников — выпускник Славяно-греко-латинской академии. (Некоторые материалы для биографии) // *Cyrrilomethodianum XII. Thessaloniki*, 1988, 75—92.
- Запольская, Страхова 1993 — *Запольская Н. Н., Страхова О. Б.* Забытое имя: Петр Постников. (Из истории русской культуры конца XVII — начала XVIII веков) // *Palaeoslavica*. 1993. № 1, 111—148.
- Ключевский 1958 — *Ключевский В. О.* Сочинения. Курс русской истории. М., 1958. Т. 4. Ч. 4.
- Копыленко 1960 — *Копыленко М. М.* Рукописная греческая грамматика братьев Лихудов // *Византийский временник*. 1960. Т. 17.
- Крачковский 1955 — *Крачковский И. Ю.* Русский перевод Корана в рукописи XVIII века // *Крачковский И. Ю.* Избранные сочинения. М.; Л., 1955. Т. 1, 175—181.
- Крумлинг 1994 — *Крумлинг А.* Первые русские переводы Корана, выполненные при Петре Великом // *Архив русской истории*. М., 1994. Вып. 5, 227—239.
- Куприянов 1872 — *Куприянов Н.* История медицины в России в царствование Петра Великого. СПб., 1872.
- Лебедева 1973 — *Лебедева И. Н.* Описание рукописного отдела БАН СССР. Греческие рукописи. Л., 1973. Т. 5.
- Описание... 1955 — Описание изданий гражданской печати: 1708 — январь 1725 г. М.; Л., 1955.
- Пекарский 1862 — *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1—2.
- Прозоровский 1896 — *Прозоровский А.* Сильвестр Медведев, его жизнь и деятельность. М., 1896.
- Рихтер 1820 — *Рихтер В.* История медицины в России. М., 1820. Т. 3, 126, 143—152.
- Родюкова 1986 — *Родюкова М. В.* Новые источники о первом русском докторе медицины П. В. Постникове // *Археологический ежегодник за 1985 г.* М., 1986, 209—212.
- Синьборини 1999 — *Синьборини С.* Русский перевод произведения I Consigli della Sapienza ovvero la raccolta della massime di Salomone начала XVIII в.: проблемы и решения // *Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI—XVIII secolo*. Edizioni dell'Orso, 1999, 323—347.
- Сменцовский 1899 — *Сменцовский М.* Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца XVII и начала XVIII веков. СПб., 1899.
- Смирнов 1855 — *Смирнов С. П.* История Московской Славяно-греко-латинской академии. М., 1855.
- Строев 1829 — *Строев П.* Описание старопечатных книг славянских и российских графа Ф. А. Толстого. М., 1829.
- Токмаков 1885 — *Токмаков И. Ф.* Материалы для истории русской и иностранной библиографии в связи с книжной торговлей // *Библиограф*. СПб., 1885. № 4, 71—79.
- Трохачев 1988 — *Трохачев С. Ю.* Греческо-русские рукописные грамматики XVII—XVIII вв. в России // *Литература Древней Руси. Источниковедение*. Л., 1988, 207—212.
- Хотеев 1986 — *Хотеев П. И.* Французская книга в библиотеке Петербургской академии наук // *Французская книга в России в XVII в.* Л., 1986, 5—58.
- Хютль-Фольтер 1987 — *Хютль-Фольтер Г.* Языковая ситуация Петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // *Wiener Slawistisches Jahrbuch*. 1987. Bd. 33, 7—21.

- Цветаев 1896 — *Цветаев Д. В.* Медики Московской России и первый русский доктор. Варшава, 1896.
- Шмурло 1894 — *Шмурло Е. П. В.* Постников: Несколько данных для его биографии // Уч. зап. Имп. Юрьевского ун-та. Юрьев, 1894. № 1.
- Яламас 1992 — *Яламас Д.* Филологическая деятельность братьев Лихудов в России: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1992.

РАЗГОВОРНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК ИММИГРАНТОВ В США. ЛЕКСИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

В этой статье речь пойдет о разговорном русском языке последней «волны» эмиграции (с конца 80-х гг. по настоящее время), то есть о варианте русского языка, максимально приближенном к современному русскому языку в России¹.

Русский язык иммигрантов в США описан в очень незначительной степени (см. обзор в Эндриус 1997). В том, что касается лексики, представлены прежде всего работы, посвященные заимствованиям из английского (ср. Benson 1960; Olmsted 1986; Andrews 1990, 1993). Словообразовательный уровень затрагивается М. Полинской в связи с неполным освоением русского языка детьми иммигрантов (Polinsky, в печати).

Задача нашей работы — наметить тенденции в развитии лексики и словообразования русского языка в США, сходные или отличные от того, что наблюдается в русском языке России последних лет. Как кажется, подобные наблюдения представляют интерес постольку, поскольку в обоих сравниваемых идиомах мы имеем дело с языковыми изменениями периода социальных потрясений, миграций и переоценки ценностей. Таким образом, русский язык иммигрантов будет рассматриваться не в перспективе упадка или прогресса, а в перспективе развития.

Основания для такого подхода коренятся в существующей языковой ситуации. Хотя речь отдельного носителя языка или целой семьи можно изучать с позиций аттриции — забывания родного языка (как правило, третье поколение, то есть внуки иммигрантов, исходным языком уже активно не владеют),

¹ Материал для этой работы был собран автором в 1996—1997 гг. во время стажировки в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), США, в качестве стипендиата государственной программы США «Фулбрайт», которой автор выражает свою искреннюю благодарность. Особая благодарность автора за моральную и профессиональную поддержку и критику — профессору Ольге Йокояма (UCLA). Дальнейшая работа по теме проводилась при поддержке РГНФ (грант № 97-0406180).

мы можем говорить об американском русском языке как об особом устойчивом идиоме. Эта возможность создается постоянным притоком новых иммигрантов, причем, по наблюдениям М. Полинской, уже через несколько месяцев жизни в США их речь приобретает многие характерные черты американского русского языка (Polinsky, в печати). Добавим, что и само понятие «иммигрант/эмигрант» при нынешней открытости российских границ в значительной мере условно.

Нами преимущественно использовались записи информантов из Лос-Анджелеса; задачи определить различия между региональными вариантами американского русского языка мы не ставили. Мы рассматриваем как источник материала, кроме собственно разговорной речи, язык газетных публикаций (прежде всего используются материалы выходящей в Лос-Анджелесе еженедельной газеты «Панорама»): можно предположить, что газеты, предназначенные для чтения «своими», содержат элементы разговорного языка.

Специфика бытования разговорного русского языка в США требует того, чтобы сказать о ней подробнее. Собственно разговорный язык для исследователя из России достаточно трудноуловим. Дело в том, что с приезжим из России носители русского языка в США зачастую говорят на особом русском языке, не так, как они говорят друг с другом.

Это связано с тем, что участников такого рода общения разъединяет социально-исторический опыт последних лет: это опыт жизни в разных странах. В самом огрубленном виде данную коммуникативную ситуацию можно представить так. Говорящие не понимают проблем друг друга. Они постоянно «прощупывают почву» и вычисляют, каков житейский фон собеседника и что уместно в данном случае сказать. Описывая эту ситуацию в терминах теории коммуникации, можно сформулировать, что у участников речевого акта, при возможной лояльности по отношению друг к другу, отсутствует эмпатия. (Категория эмпатии, введенная в лингвистический обиход С. Куно (Kuno 1987), понимается как способность говорящего отождествить себя с другими участниками речевого акта или событием, о котором идет речь.) Здесь наблюдаются сбои в импозиции (подробно об этой категории см. Йокояма 1992, Yokoяama 1994) — собеседнику навязывается информация, которую он не может воспринять. И это в свою очередь ведет к коммуникативной неудаче. Стремление же не попасть впросак и избежать неловкой ситуации приводит к тому, что говорящие обмениваются максимально объективным, «энциклопедическим» знанием, и их речь далека от разговорной.

Описываемую коммуникативную ситуацию позволяет истолковать определение разговорного языка как языка общения со «своими», данное О. Йокояма (Йокояма 1993, Yokoяama 1994). В понимании О. Йокояма оппозиция *свой/чужой* (подразумевающая установку говорящего на адресата, которого

он воспринимает или как своего, или как чужого) позволяет различать «две основные подсистемы русского литературного языка, в общих чертах совпадающие с подразделением на разговорную речь и кодифицированный литературный язык, предложенным Земской» (Йокояма 1993, 452).

В перспективе этого подхода становится понятным то, что иммигранты по сути дела пользуются по крайней мере двумя устными языковыми разновидностями. Одна из них, максимально приближенная к письменной речи, обезличенная и лишенная экспрессии, сохраняющая черты русского языка того времени, когда иммигрант выехал в США, используется при общении с «чужими» — с соотечественниками, временно находящимися в США, за которыми стоит иной культурный мир, от которого иммигранты, как правило, отталкиваются. Другая разновидность, собственно разговорный язык, мало похожий на разговорный язык метрополии и в большой мере подверженный интерференции (правда, сохраняющий также и архаизмы), используется при общении со «своими».

«Свой» модус подлежит дальнейшему дроблению. В своей семье, максимально «своем» модусе, говорят не так, как, например, с соседями или коллегами (ср. Йокояма 1994; о речи в малых социальных группах см. Крысин 1989). Так как профессиональное общение осуществляется в большинстве случаев по-английски, семья часто становится основной сферой употребления русского языка. И поскольку иммигранты, с одной стороны, сталкиваются с необходимостью именовать специфически американские явления, которых не было в России, а с другой стороны, языковая норма в речи иммигрантов весьма подвижна, нередко наблюдается ситуация, при которой каждая семья пользуется своими собственными наименованиями новых реалий.

Для иллюстрации сказанного приведем такую сцену, разыгравшуюся в присутствии исследователя из России, автора этой статьи. Русскоязычная информантка Т (в момент записи ей было 69 лет, 7 лет она прожила в США) говорит, учитывая присутствие гостя из Москвы, своему мужу: *Поставь посуду в.. (подбирает слово) стиральную машину.* (Имеется в виду посудомоечная машина, но когда Т. уезжала в США, в СССР этих машин еще не было.) Муж не слышит или не понимает, и жена вновь обращается к нему: *Поставь машину в dishwasher.* И обращаясь уже к гостю: *Это я ее так называю. А вообще-то надо сказать dishwasher* (англ. *dishwasher* 'посудомоечная машина'). Таким образом, в речи нашей информантки один и тот же предмет получает различные наименования в зависимости от того, в каком модусе ведется разговор: с максимально «своим» — мужем (*dishwasher*), с максимально «чужим» — исследователем из России (*стиральная машина*) — или же цитируется слово, употребляемое русскими американцами (*dishwasher*).

В разных семьях по-разному называют такой отсутствующий в России предмет, как приспособление для сдувания срезанных листьев, травы, мелких

веточек, издающее характерный неприятный звук (англ. *gas leaf blower*). В устной речи нами отмечены, возможно, индивидуальные названия *раздувалка*, *дулка*; видимо, индивидуальным или даже окказиональным образованием является и калька *листесдувалка*: это слово было употреблено автором заметки в газете «Панорама», 11—17 дек. 1996, который, что знаменательно, снабдил его для ясности английским эквивалентом. Более устойчивое название того же инструмента, встречающееся у информантов из разных семей, — *пылесос*.

Тем не менее, несмотря на подвижность и текучесть объекта нашего внимания, мы считаем возможным говорить и об устойчивых явлениях в тех случаях, если какая-то языковая форма была отмечена нами несколько раз (окказионализмы мы оговариваем особо). Мы полагаем, что сделанные наблюдения позволяют говорить о региональном варианте русского языка, бытующем в США (точнее, в Лос-Анджелесе).

Прежде чем перейти к собственно лексике, мы считаем необходимым отметить некоторые общие черты американского русского языка, что создает фон, необходимый для понимания более частных фактов.

Представляется, что в разговорном языке иммигрантов функцию показателя модуса «свой» выполняет, наряду с различными средствами экспрессии, используемыми и в метрополии, интерференция, предполагающая общее для собеседников знание английского языка и экстралингвистического контекста. Наличие и степень интерференции даже в речи одного и того же информанта варьируется: например, информант, следящий, как правило, за тем, чтобы его речь соответствовала российской норме, сознательно может допускать интерференцию в семейном общении, в целях языковой игры и др. Говорящие не стремятся ее избежать: наоборот, именно обилие окказиональных вкраплений иностранных слов, а также переключение кодов — переход во время разговора с одного языка на другой — служат подтверждением речевой стратегии солидарности. (В то же время отношение к этой «своей» разновидности разговорного русского языка в иммигрантской среде двойственное.) Это же было отмечено в работах: Olmsted 1986; Andrews 1993.

С этим заключением, как может показаться на первый взгляд, вступает в противоречие сделанное уже давно наблюдение о том, что чужие, заимствованные слова употребляются тогда, когда речь идет о чужом: иноязычное слово принадлежит враждебному миру (Левин 1984). Однако внутренние и языковые усилия людей, живущих в новой стране, направлены как раз на то, чтобы чужое сделать своим, и этой цели и служит интерференция, от которой говорящие намеренно не отказываются.

Такую картину отражают объявления в русской газете. Ср.: *Express learning center* (центр быстрого обучения) выполняет *EVALUATION* (оценку) дипломов и академических справок, работает филиал в *West Hollywood* (в За-

падном Голливуде — месте поселения большинства русскоязычных иммигрантов в Лос-Анджелесе); *Требуется: part-time person* (работник на полставки). *Знание английского не обязательно. Возможна доставка из West Hollywood*; [реклама автомобилей предлагает:] *специальные скидки для водителей with bad record* (состоящих на плохом счету у автоинспекции); *Ask for Liubov Guerassimenko* (спросить Любовь Герасименко) *с 10 утра до 5 вечера Eastern Time* (по восточному времени) («Панорама», 9—15 окт., 25—31 дек. 1996 г.).

В то же время макароническая речь русскоязычных иммигрантов пестрит цитатами из прежней советской жизни. Ср. газетные заголовки: «Великолепная „семерка“ и АЭС» («Панорама», 25—31 окт. 1996 г.; о встрече в Париже представителей Украины и «большой семерки»; ср. слова советской песни «великолепная семерка и вратарь»), «10 дней, которые не потрясут Америку» («Панорама», 25—31 окт. 1996 г.; до президентских выборов в США оставалось 10 дней; ср. название широко известной в СССР книги американского журналиста Д. Рида о русской революции «10 дней, которые потрясли мир»); «Энн Ландерс, президент страны советов» («Панорама», 6—12 нояб. 1996 г.; Энн Ландерс — американская журналистка, работающая в различных англоязычных печатных изданиях, отвечающая на письма читателей и дающая им считающиеся весьма полезными житейские советы; название «страна Советов» (= СССР) широко известно, причем исходно оно явно несло в себе положительную коннотацию, которой в данном случае наделяются и советы Энн Ландерс²). Примеры рекламы телефонных компаний: *Уходя, гасите свет и берите с собой карточку MCI* (ср. плакат эпохи СССР, призывающий к экономии электричества: «Уходя, гасите свет»); реклама компании, берущей плату не за минуты разговора, а за каждые 6 секунд: *Не думай о секундах свысока* (слова из песни к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»).

Клише проявляются и в скрытых непреднамеренных цитатах, ср.: *Мы живем в англоязычной стране, и умение эффективно общаться на английском имеет для нас решающее значение. Это и хорошо оплачиваемая работа, и взаимопонимание с коллегами и друзьями, и все растущее чувство удовлетворения от жизни в Америке* («Панорама», 9—15 окт. 1996 г.). Обращает на себя внимание пассаж о «растущем чувстве удовлетворения», заставляющий вспомнить широко пропагандировавшиеся в свое время документы КПСС. Примечательно, что автор последнего высказывания в «Панораме» употребляет это клише, по-видимому, неосознанно. Характерно, что так же непред-

² А. Синявский усматривал положительную коннотацию, существующую вопреки воле многих носителей языка у трех новых слов советского периода: *большевик*, *Чека* и, «самое главное и самое заветное», *советская власть*. Все три слова связаны с положительными понятиями: *большой*, *начеку* и *совет*, *свет* и др. (Терц 1990, 105—106).

намеренно в разговорной речи о лицах мужского пола из России могут сказать *товарищ* (*Тут приходит один товарищ и говорит...*).

Клише употребляются и сознательно, с целью создания комического эффекта, ср. перевод (весьма, впрочем, удачный) на русский англ. *sexual harassment* (букв. 'сексуальные домогательства') как *нетоварищеское отношение к женщине* («Панорама», 9—15 окт. 1996 г.), а также обычные в газетах полные иронии обороты вроде: *Случилось это в одном из русских книжных магазинов нашей необъятной новой Родины* («Панорама», 19—25 февр. 1997 г.); *Мы оказались чуть ли не единственными американцами среди лиц карибской национальности* («Панорама», 26 февр. — 4 марта 1997 г.). Ср. характерные окказиональные образования *сексмены* и особенно *сексбольшевики*: *Дело дошло до того, что люди с нормальной (этот термин тоже как бы под запретом, ведь, употребляя его, вы обижаете сексменов. Не путать с нацменами) сексуальной ориентацией уже стесняются своей негероической обыденной нормальности. Свободой слова и всеми прочими видами свобод воспользовалась и продолжает пользоваться только одна группа — меньшинство. А большинство (сексбольшевики) помалкивает, потому что себе дороже, запросто прослывешь ретроградом* («Панорама», 18—24 сент. 1996 г.).

Цитация из новояза при общей ориентации на советские речевые стереотипы характерна и для современного русского языка в России, см.: Земская 1996, 20—25. Можно также предположить, что и стоящая за языковой игрой, ерничеством самоирония иммигрантов вызывается теми же причинами, что и аналогичные явления у носителей русского языка в России: тут сказывается стремление отстраниться от фактов, о которых идет речь, оставить за собой право их критического осмысления, что так естественно для людей, находящихся в новых и не вполне понятных социальных условиях.

Итак, какие же процессы наблюдаются в лексике русскоязычных иммигрантов?

Можно считать уже доказанным, что потенциальную склонность к заимствованию — как прямому, так и к семантическому преобразованию слов под влиянием языка окружающей среды — обнаруживают все группы лексики, включая базовый словарь языка-реципиента (ср. Romaine 1989, 64). Оставляя в стороне заимствования, рассматривавшиеся другими исследователями (см. указанные выше работы), отметим следующее³.

³ Многие слова заимствуются русским языком России и американским русским независимо друг от друга, причем в ряде случаев в американском русском наблюдается борьба старого слова с новым заимствованием аналогичная той, которая происходит и в России. Ср., например, вытеснение слова *манекеница* словом *модель*: *Многие, вероятно, видели недавно (...) парад высокой моды с участием манекениц, как тут говорят, моделей —*

С одной стороны, можно говорить о сохранении архаизмов в американском русском языке. Это, например, слово *горсовет* (при нынешнем российском *мэрия*), являющееся, правда, в американском русском одновременно калькой англ. *City Council*. Ср. *Награда за поимку растет с каждым днем — деньги изначально предложил горсовет; Горсовет обвинили в излишней строгости* («Панорама», 9—15 окт. 1996 г.). Сюда же можно отнести, видимо, выходящее из употребления в России слово *нацмен*: в американском русском оно употребляется прежде всего по отношению к живущим в США выходцам из Азии.

Но в подавляющем большинстве случаев наблюдается появление инновационных значений, связанное с изменением реалий. Многие слова претерпели семантические модификации, подобные тем, что произошли и в России: о деактуализации значений, отражающих советские реалии, и деидеологизации современной русской лексики см. Ермакова 1996, 33—45. В американском русском прояснилась семантика слов вроде *партия, выборы, характеристика*; положительным социальным значением наполнились, например, слова *карьерера, успех, бизнес* (причем последнее слово устойчиво употребляется и в значении ‘предприятие’, имея форму мн. ч. *бизнесы*, ср. *Многие беспокоятся по поводу будущего своих бизнесов* («Панорама», 6—12 нояб. 1996 г.; аналогичные случаи отмечаются и в России). Эти слова имели ранее в русском языке метрополии отрицательную коннотацию (ср. ярко негативное оценочное *карьерист*, производное от *карьерера*).

Известные и в России слова стали применяться по отношению к новым предметным реалиям, ср. устойчиво употребляющееся в американском русском *газетный киоск*, хотя в США газеты, как правило, продаются в автоматах.

Фактом лексики русского языка Лос-Анджелеса стало употребление слова *море* вместо *океан*, причем, по нашим наблюдениям, в речи одного человека совмещаются оба слова. Так говорят и новоприбывшие, и иммигранты третьего поколения, и молокане, российские предки которых переселились в Калифорнию уже почти сто лет назад, хотя Лос-Анджелес расположен возле океана. Экспансия слова *море* поддержана системой русской лексики и фразеологии, опирающейся на слово *море*, но не *океан*: ср. *на суше и на море, отправка грузов морем* и под. (Правда, в речи различных информантов, живущих и на Западе, и на Востоке США, — как и в речи русскоязычной информантки Н., 45 лет, уже 10 лет живущей в Кении недалеко от Индийского океана, — нами отмечено и выражение *пойти на океан*. Ср. исключительно *пойти на море* в России).

звезд первой величины («Панорама», 11—17 дек. 1996 г.). *Манекенщица* вытесняется новым заимствованием *модель* с тем же значением и в современном русском языке России.

Устойчивость слова *море* объясняется тем, что Россия омывается именно морями, а не океанами, и все прибрежные воды имеют названия морей. И в российских описаниях Америки часто речь идет о море, а не о океане. Так, в описании известного форта Росс — российского владения в Калифорнии, существовавшего до середины XIX в., речь идет о «виде Росса со стороны моря», «...обеспечении обороны селения с моря» (Русская Америка, 269, 270).

Тут сказывается также и известная устойчивость географической и особенно гидрографической терминологии⁴. Понятно, что заимствуются прежде всего слова, связанные с культурно-социальными сферами жизни (см. группы английских заимствований, выделяемые в Andrews 1990, 1993). И хотя природное окружение, ландшафт также составляют контраст тому, к чему носители русского языка привыкли в России, географические термины скорее не заимствуются, а наполняются новым содержанием. Сходную картину изменения семантики географических терминов мы можем наблюдать на географической терминологии, связанной с карпатской миграцией славян (Иллич-Свитыч 1960). В случае с *морем* проявляется и понятное стремление говорящего увидеть рядом с собой что-то знакомое и соразмерное себе.

Принципиальная же возможность номинации по функциональному замещению часто создает условия для языковой игры, служащей установлению модуса «свой» между собеседниками. Ср. частотное в американском русском *рубль* вместо *доллар*⁵ или окказиональное *околочный* вместо *полицейский*.

Среди слов с инновационными значениями особую лексическую группу составляют слова, в лексическое значение которых входит дейктический компонент. Так, слово *отечественный* приобрело значение ‘относящийся к Отчеству — Америке’. Например: *Что касается минеральной воды, то я советую пить только отечественную. И не из чувства патриотизма, а из-за того, что вода европейских источников имеет высокий радиационный фон* («Мы и Америка», сент. 1996 г.); *Чтобы квалифицироваться как малая корпорация (...) она должна отвечать следующим требованиям: 1. Быть отечественной, т. е. организованной в США* («Панорама», 4—10 дек. 1996 г.).

⁴ Подобно тому, как ведет себя рус. *море*, не уступает свои позиции и англ. *ocean*. Для англоязычных американцев, переходящих на новый язык, всякий водоем имеет тенденцию называться *ocean*. Об этом говорят данные такого опыта. Переехавшим в Израиль из Америки носителям английского языка, которые переходили на иврит как первый активный язык, предлагалось сказать, что изображено на картинке. На картинке был изображен пруд (*pond*), однако многие информанты давали ответ *puddle* (‘лужа’) или *ocean* (‘океан’), см. Olshtain, Barzilay 1991, 144—145.

⁵ Интересно, что и в других языках иммигрантов в США устойчиво используются свои названия денежных единиц вместо *доллар*, *цент*. Ср., например, факты, приводимые в Szlifsztejn 1981, 20.

(Правда, слово *отечественный* в американском русском часто употребляется и по отношению к СССР.) В России же *отечественный* значит 'относящийся к Отечеству — России' (хотя в некоторых случаях возможна и контекстуальная нейтрализация последнего компонента), ср. словосочетание *Отечественная война*, которое обозначает не любую войну в защиту чьего-либо Отечества, а войны в защиту Отечества — России. Здесь мы имеем дело с наивной языковой картиной мира, которая предполагает, что отечество может быть только одно и именно Россия. Позицией семантической нейтрализации, ведущей к появлению нового значения (относящегося к США), служит контекстуально обусловленное значение этого слова 'местный'. Именно в этом значении выступает слово *отечественный* в следующем высказывании, автор которого живет в США и побывал в России «пролетом из Бостона»: *Еще весной бутылка отечественного пива стоила 800—1000 рублей* («Панорама», 1—7 янв. 1997 г.).

Как кажется, и слово *патриот* в американском русском приобретает особое звучание. В русском языке в России это слово не терпит зависимых слов: сочетания *патриот своей родины*, *патриот Франции* в современном русском языке вроде бы ошибочны. Это свойство несочетаемости говорит о том, что *патриот* интерпретируется языком как 'тот, кто любит свою единственную родину'. Но вот слова ведущего русской телепрограммы в Лос-Анджелесе: *Читаю письмо от патриотки отечественной эстрады Лос-Анджелеса*. В данном случае имеется в виду советская эстрада русскоязычных иммигрантов: речь идет о творчестве русскоязычной армянской певицы из СССР, которая более двадцати лет прожила в США.

Аналогичным образом смещаются акценты в паре слов *разведчик* (наш и хороший) — *шпион* (чужой и плохой). В американском русском разведчиками становятся также и американцы. Ср.: *Этому шагу предшествовали (...) угрозы российской разведки в адрес наезжающих в Россию бывших американских разведчиков, которые, возможно, вздохнули сейчас с облегчением* («Панорама», 27 нояб.—3 дек. 1996 г.). Правда, и в русском языке России по отношению к защитникам интересов других государств единственно употреблявшееся ранее *шпион* теперь в речи официальных лиц может заменяться словом *разведчик*.

Отметим, что если слова *иностранный*, *заокеанский*, *за рубежом* также получают новую американскую точку отсчета (заокеанским становится все, что относится к Европе или России, ср. высказывание: *С названиями, похожие, за океаном вообще большая напряженка*: «Панорама», 11—17 дек. 1996 г.; речь идет об издаваемых в России книгах), что для этих слов свободно допускается и, как кажется, не противоречит российской норме, то противопоставление *Восток* (как 'страны Востока') — *Запад* ('страны Запада') остается та-

ким же, как в России. Ср. цитирование высказывания американского политика в связи с назначением М. Олбрайт на пост госсекретаря (сюжет и автор высказывания не связаны ни с Европой, ни с Россией): *Вполне вероятно, что во многих странах со скрытым негодованием пойдут на рабочие контакты с женщиной, представляющей США. Но и без этого не многие в мире разделяют современные представления США и Запада о нравственных ценностях* («Панорама», № 826, 1997 г.).

Таким образом, лишь часть лексики в американском русском претерпевает семантические изменения, идущие вразрез с нормой, принятой в метрополии. Это лексика, так или иначе связанная с понятием «своего», которое модифицируется в новых условиях.

Теперь перейдем к словообразовательному уровню. Устойчиво употребляющихся неологизмов, образованных из своих собственных элементов, мы не обнаружили, хотя и не отрицаем возможности их существования⁶. Основные отличия сравнительно с русским языком в России нам видятся в следующем.

В речи иммигрантов показателем модуса «свой» на словообразовательном уровне являются гибридные образования и как массовое явление — порождение окказиональных гибридов. Эта тенденция идет вразрез с тем, что представлено в России: здесь наименования, построенные из заимствованных морфем, принадлежат скорее кодифицированному, а не разговорному языку (об оппозициях типа разг. *глазник* — лит. *окулист*, см. Земская 1981, 92), хотя в последнее время наблюдается безусловная экспансия заимствований из английского и вместе с ними — экспансия заимствованных морфем.

Примерами гибридных образований могут быть употребляющиеся уже не один десяток лет *окешишь (чек)* ‘обналичить (чек)’, англ. *to cash* ‘обналичить’; *frentka* ‘подруга’, англ. *friend* ‘друг’; *однобедренная (-bedрумная)*, *дву(x)бедренная (-bedрумная)* и т. д. *квартира* ‘двух-, трехкомнатная квартира’, англ. *one-, two-bedroom apartment* ‘квартира с одной и т. д. спальней (иначе говоря, двухкомнатная и т. д.)’ (Benson 1960; Olmsted 1986; Andrews 1990); а также, по наблюдениям автора над разговорной речью и языком газет, *вэлферщик* ‘тот, кто получает социальную помощь — вэлфер’, англ. *welfare* ‘социальная помощь’; *нелегал* ‘лицо, незаконно проживающее в США’, калька-гибрид с англ. *illegal* ‘то же’; *бизнесменша* ‘женщина, занимающаяся бизнесом’ (наряду с *бизнесуман* ‘то же’), англ. *businessman* ‘бизнесмен’ (производные *окешишь* — это слово было услышано автором этой статьи также в 1995 г. в Москве в речи банковского клерка, *френтка*, *бизнесменша*, *нелегал* в значении ‘резидент’ бытуют и в России, являясь скорее всего параллельными неза-

⁶ Опыт описания польского языка в США говорит о том, что в польском такие слова есть, хотя их и крайне мало (см. Sękowska 1994, 98).

висимыми образованиями). Возможно, окказионализмами являются: *макровейка* 'микроволновая печь', фонетическая передача англ. *microwave* 'то же', другое (устойчивое) название — *макровейв* (ср., возможно, индивидуальный вариант *микровава*); *дешивошерка* 'посудомоечная машина', англ. *dishwasher*, устойчивое название — *дешивошер*; *послайсать* 'порезать', англ. *to slice* 'резать на кусочки' и под.

Зачастую словообразовательное оформление слова «под свое» служит целям языковой игры, как в случае названий районов Нью-Йорка *Kvinsk*, *Bronksk*, *Mohnattan* и под. (Эти факты приводятся в Olmsted 1986, 97.) Ср. также широкораспространенные *Америчка*, *Раишка* (обозначения США и России, англ. *Russia*).

Отмечены и индивидуальные образования из собственных элементов, как, например: мн.ч. *развозки* 'вагончики, в которых готовится и продается еда, которую можно съесть «на ходу»', англ. *food stand*, *hot-dog stand* 'то же'; ср. также упоминавшиеся выше *раздувалка*, *дулка* 'приспособление для сдувания срезанных листьев, травы, мелких веточек', англ. *gas leafblower* 'то же'.

Если говорить о словотворчестве, то нередко наблюдается отличная от бытующей в метрополии сочетаемость аффиксов как с собственными, так и с заимствованными основами. Это отмечается в речи русскоязычных информантов, живущих в инославянском окружении (см.: Николаева 1991, 213: *помидоровый* в речи русских иммигрантов в Югославии на фоне *помидорный* в России и под.) и в неславянской языковой среде (Земская 1998, 44: *юбилейский* в речи русских иммигрантов в Италии на фоне *юбилейный* и др.). Однако если одни словообразовательные модели «работают» по тем же принципам, что и российские, то другие обнаруживают собственные тенденции развития.

Об этом говорят образования, подобные кальке-гибриду *ходить аут* 'выбираться «в город»; есть вне дома, например, в ресторане', ср. англ. *to go out*, где на русский язык переводится только смысловой глагол при сохранении исходной структуры. Например: *Аут мы не ходим, пьем кофе из термоса* (из речи информантки М., 44 года, прожившей в США 7 лет на момент записи); пример Д. Эндрюса: *Ja teper' malo gotovlju. Mu pošti vseгда ходим out* (Andrews 1990, 164). Пример из газеты: *Я пытался ей объяснить, что дарить любимой цветы на «День святого Валентина» и «ходить out» — это то же самое, что влиться в демонстрацию трудящихся на 1 мая. Есть и окказиональные аналогические образования, как повести out и повезти out у автора последнего высказывания в той же газетной статье: Юноши не знают, куда же повести девушку out; А потом, чтобы быть американцем до конца, повез ее out (...). Это был карибский ресторан «Калипсо» («Панорама», 26 февр. — 4 марта 1997).*

Показательно, что кальки-гибриды той же структуры отмечены и для польского языка в Америке: *zrób to radio on* 'включи радио', *zrób to radio off*

‘выключи радио’, ср. англ. *to turn on* ‘включить’, *to turn off* ‘выключить’. Глагол *(z)robić* ‘(с)делать’ в речи польских иммигрантов в США свободно замещает многие смысловые глаголы (Луга 1966, 309).

Можно предположить, что эти факты, зачастую связанные с языковой игрой, сигнализируют о предрасположенности приставочных глаголов к дезинтеграции. Об этом уже с очевидностью говорят явления другого порядка, относящиеся к речи детей русскоязычных иммигрантов, неполностью освоивших русский язык. В их речи вместо приставочных глаголов появляются аналитические конструкции. Вот примеры из речи информантов-студентов: *V Cleveland moja mama načala bolet* (вместо: *заболела*) *i ona pošla v hospital*; *Ona nikogda ne načnet govorit* (вместо: *не заговорит*) *ko mne prvaja* (Polinsky, в печати).

В этих случаях можно усматривать влияние английского языка, где глагольная префиксация мало распространена. Кроме того, известна и тенденция к росту аналитических образований, характерная для языков, находящихся в иноязычном окружении. Но в то же время славянские приставочные глаголы образуют особую категорию, неустойчивость которой проявляется в различных ситуациях. Так, в хорватских говорах в Австрии очень часто вместо приставочных глаголов употребляются — по немецкому образцу — глаголы в сочетании со своим или немецким наречием. Ср. *doli zeti*, нем. *herunternehmen* ‘снимать’, *skupa vezat*, нем. *zusammenbinden* ‘связывать’ (Neweklowsky 1984, 11). Расширение употребления аналитических конструкций отмечается и в хорватском языке в США, ср. *Kad je otišao u Jugoslaviju natrag* — вместо *vratio* (Albijanić 1982, 16).

Приставочные глаголы создают структурную возможность для переключения кодов (перехода на другой язык) в рамках одного слова. Ср. пример из переписки по электронной почте: *Na rabote — snova surr... Kakie-to neponyatnye perspektivy, peredelka i restructuring of everything..* (автор высказывания М., 46 лет, 9 лет живет в США). Правда, использование латиницы для русского письма создает для переключения кодов особо благоприятные условия.

Собственные тенденции развития в русском языке в США обнаруживают и уменьшительные существительные. Яркий пример ослабления корреляции по признаку уменьшительности составляют имена собственные. В деловой сфере при обращении к русскоязычным клиентам в переписке и устном общении представители фирм и компаний (например, телефонных) употребляют только полную форму имени, как *Мария*, *Татьяна*, независимо от того, как представился сам клиент (например, *Машиа*, *Таня*). Таким же образом представляются русскоязычные агенты этих фирм: *Наталья*, *Владимир*. Уменьшительные формы имени в этом виде общения неупотребительны. Но подобное обращение можно услышать и в других ситуациях: например, мать, говоря-

шая с маленькой дочкой и по-русски, и по-английски, обращается к ней по-русски: «*Мария!*» Это служит подтверждением того, что сохраняется прежде всего официальная полная форма имени⁷ (русские имена в сочетании с отчетством в среде русскоязычных иммигрантов в США не употребляются).

Сокращение употребления уменьшительных форм имен собственных, а также исчезновение диминутивов в апеллятивной лексике — в терминах родства при обращении — отмечалось и у канадских духоборов — выходцев из России (Vanek, Darnell 1971, 406). То же отмечено и для польского языка в США: по наблюдениям Ф. Лиры, один из его информантов не делал различий между пол. *babcia* ‘бабушка’ и *baba* ‘старуха’, рассматривая как правильную форму обращения *Jak się masz babo?* ‘Как дела...?’. Другой информант вместо *To jest moja babcia* ‘Это моя бабушка’ говорил *To jest moja babeczka* (лит. пол. *babeczka* значит ‘пирог’, см. Лута 1966, 310). Эти факты говорят о системном характере отмеченного явления.

Диминутивы остаются неосвоенными и при неполном освоении русского языка детьми русскоязычных иммигрантов. М. Полинская отмечает такие примеры в речи информантов — студентов русского происхождения: *Moja sestra vsegda ona est mnogo varen 'ice; Na etot lawn vsegda est ' cvetočki* (Polinsky, в печати). Переключение кодов в последней фразе — вставка английского слова *lawn* ‘луг’ указывает на то, что автор высказывания употребляет форму *cvetočki* как лексикализованную.

Эти факты можно объяснять интерференцией — влиянием английского языка, где категория уменьшительности имеет очень незначительное распространение. Но их также можно объяснить — и по отношению к апеллиативам, и по отношению к именам собственным — новой (в сравнении с исходной страной) стратегией коммуникации, изменением социальных расстояний между участниками речевого акта в контексте иной культуры. Ведь уменьшительные существительные в русском и польском (ср. примеры выше)⁸ языках — это средство выражения эмпатии и того свойственного славянским

⁷ О том, что имена собственные особо чувствительны к состоянию языка и их можно рассматривать как своего рода маркер — есть или нет сдвиги в ситуации данного языка. — говорит такой косвенный факт. По наблюдению В. Дресслера, сделанному относительно бретонского языка во Франции, одним из первых признаков упадка, переживаемого языком, является вытеснение своих имен собственных заимствованными именами (Dressler 1991, 103—104).

⁸ О диминутивах и обозначениях женщин (тип *докторша*) как характерных признаках разговорного русского языка см. Земская 1992, 10, 147, 148. О Ёкояма отмечает характерность этих производных для коммуникативного модуса «свой», см. Yokoyma 1994, 687—689; Ёкояма 1993, 455—456. Польские диминутивы как выражение особой разговорной коммуникативной установки — сердечности — рассматриваются в Wierzbicka 1985.

культурам сравнительно короткого расстояния между говорящими, которое в условиях жизни в новой стране с новыми социальными отношениями, безусловно, увеличивается.

Особую функцию уменьшительных существительных как маркера «своего» модуса коммуникации осознают и сами информанты. Так, в 1988 г. автор записал такое наблюдение польки (не лингвиста), в течение 9 лет живущей в Швеции, касающееся речи ее детей: если дети проводят лето у бабушки в Польше, в общении с ровесниками, то, вернувшись в Швецию, они скажут родителям уже не *jablko* (яблоко), а *jabłuszko* (яблочко). По мнению матери, именно *jabłuszko* звучит естественно⁹.

Проанализированные факты лексики и словообразования говорят о следующем. Важнейшим фактором, ведущим к системным языковым изменениям, идущим вразрез с нормой метрополии, служит изменение содержания коммуникативного модуса «свой» (ср. дейктические слова, где компонент «свой» лексикализован, и диминутивы как показатель «своего» модуса в разговорной речи).

В то же время здесь действуют и иные факторы. Прежде всего важно то, что отмеченные факты могут объясняться и с позиций аттриции — процесса забывания исходного языка, предполагающего, что отмирание языковых категорий вызывается также и собственными внутриязыковыми закономерностями. Как отмечал Э. Хауген (Haugen 1973, 536), языковые изменения в речи эмигрантов неизбежно происходят вследствие «остановки в развитии языка», вызываемой резким сокращением сферы его употребления в отрыве от метрополии. Но здесь следует учитывать, что язык «умирает» не потому, что языковая система разваливается до последнего кирпичика (дезинтегрируются только структурно «слабые» категории), а потому, что в какой-то момент говорящие считают более престижным переход на новый язык (см.: Denison 1977, 21—22).

Из представленного словообразовательного материала по участкам системы, обнаруживающим собственные тенденции развития, никак не следует, что первыми в результате интерференции или аттриции распадаются исторически наиболее поздно развившиеся категории (о возможности такой постановки вопроса см., например, Slobin 1977): это справедливо для приставочных глаголов, многие из которых появились только в новое время, но неверно для

⁹ Можно также предположить, что в разговорном русском языке в США сокращается и употребление слов, обозначающих лиц женского пола, как разг. экспр. *докторша*. Однако в нашем материале, как и в известной нам литературе по славянским языкам, не отмечены факты ошибочного употребления по отношению к женщине слов муж. рода вместо суффиксальных производных жен. рода.

диминутивов, которые были и в индоевропейском. Диминутивы опровергают и восходящее к Якобсону предположение о том, что первыми исчезают категории, наиболее поздно осваиваемые человеком (категория диминутивности в славянских языках осваивается ребенком одной из первых, см.: Гвоздев 1961, 196; Clark 1993, 165—169).

Мы предполагаем, что главную роль здесь играет структурный признак — устройство производного слова. Слабой системной категорией оказываются модификационные производные, куда относятся диминутивы и приставочные глаголы. Это производные с интерпретирующими, а не называющими значениями. Устойчивым же ядром системы оказываются мутационные производные, как, например, названия деятеля. Это «называющие» производные. Иными словами, дезинтегрируются производные с вторичными словообразовательными функциями, а проявляют устойчивость образования, реализующие важнейшую функцию словообразования, — номинативную. Это подтверждается фактами и интерференции, и аттриции, и неполного освоения языка, хотя способы выражения этих процессов могут быть различными.

Наблюдаемая картина дает возможность убедиться в правоте тех исследователей, которые рассматривают аттрицию в тесном взаимодействии с интерференцией, как оборотную сторону перехода к новому языку и новой культуре (ср., например, Freed 1982 и цитируемые там работы).

Литература

- Гвоздев 1961 — Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.
- Ермакова 1996 — Ермакова О. П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996, 32—66.
- Земская 1981 — Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
- Земская 1992 — Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992.
- Земская 1996 — Земская Е. А. Введение // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996, 9—31.
- Земская 1998 — Земская Е. А. О типических особенностях русского языка эмигрантов первой волны и их потомков // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 4, 39—47.
- Иллич-Свитыч 1960 — Иллич-Свитыч В. М. Лексический комментарий к карпатской миграции славян // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1960. Т. 19. № 3, 223—232.
- Йокояма 1992 — Йокояма О. Теория коммуникативной компетенции и проблематика порядка слов в русском языке // Вопросы языкознания. 1992. № 6, 94—104.
- Йокояма 1993 — Йокояма О. Оппозиция свой — чужой в русском языке // American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Literature. Linguistics. Poetics. Columbus (Ohio), 1993, 452—459.

- Крысин 1989 — *Крысин Л. П.* О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка вопроса) // *Язык и личность*. М., 1989, 78—85.
- Левин 1984 — *Левин И.* Об эволюции русского языка эмиграции // *The Third Wave: Russian Literature in Emigration*. Ann Arbor, 1984, 263—268.
- Николаева 1991 — *Николаева Т. М.* О типах интерференции в речи русских эмигрантов первого поколения в Югославии // *Славистика. Индоевропеистика. Ностратика: К 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо*. М., 1991, 211—215.
- Русская Америка — *Русская Америка. По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, исследователей и других очевидцев*. М., 1994.
- Терц 1990 — *Терц А.* Литературный процесс в России // *Даугава*. 1990. № 5.
- Эндрюс 1997 — *Эндрюс Д. Р.* Пять подходов к лингвистическому анализу языка русских эмигрантов в США // *Славяноведение*. 1997. № 2, 18—30.
- Albijić 1982 — *Albijić A.* San Pedro revisited: language maintenance in the San Pedro Yugoslav community // *The Slavic Languages in Emigrée Communities / Ed. By R. Sussex*. Carbondale; Edmonton, 1982, 11—22.
- Andrews 1990 — *Andrews D. R.* A Semantic Categorization of Some Borrowings from English in Third-Wave Émigré Russian // *Topics in Colloquial Russian: American University Studies. Series 12: Slavic Languages and Literature*. Vol. 11. New York et al., 1990, 157—175.
- Andrews 1993 — *Andrews D. R.* American-Immigrant Russian: Socio-Cultural Perspectives of Borrowings from English in the Language of the Third Wave // *Language Quarterly*. 1993. Vol. 31. № 3—4, 153—176.
- Benson 1960 — *Benson M.* American-Russian Speech // *American Speech*. 1960. Vol. 35, 163—174.
- Clark 1993 — *Clark E. V.* *Lexicon in Acquisition*. Cambridge, 1993.
- Denison 1977 — *Denison N.* Language Death or Language Suicide? // *International Journal of the Sociology of Language*. 1977. Vol. 12: Language Death.
- Dressler 1991 — *Dressler W. U.* The Sociolinguistic and Patholinguistic Attrition of Breton Phonology, Morphology, and Morphonology // *First Language Attrition*. Cambridge, 1991, 99—112.
- Freed 1982 — *Freed B. F.* Language Loss: Current Thoughts and Future Directions // *The Loss of Language Skills / Ed. by R. D. Lambert and B. F. Freed*. Rowley; London; Tokyo 1982, 1—5.
- Haugen 1973 — *Haugen E.* Bilingualism, Language Contact and Immigrant Languages in the USA: Recent Report, 1956—1970 // *Current Trends in Linguistics*. Vol. 10. The Hague, 1973.
- Kuno 1987 — *Kuno S.* *Functional Syntax. Anaphora, Discourse and Empathy*. Chicago; London 1987.
- Lyra 1966 — *Lyra F.* Integration of English Loans in U. S. Polish // *The Slavic and East European Journal*. 1966. Vol. 10, 303—312.
- Neweklowsky 1984 — *Neweklowsky G.* Investigating Burgenland-Croatian Dialects // *Melbourne Slavonic Studies*. 1984. № 18, 1—14.
- Olmsted 1986 — *Olmsted H. M.* American Interference in the Russian Language of the Third-Wave Emigration: Preliminary Notes // *Folia Slavica*. 1986. Vol. 8, 91—127.
- Olshtain, Barzilay 1991 — *Olshtain E., Barzilay M.* Lexical Retrieval Difficulties in Adult Language Attrition // *First Language Attrition / Ed. By H. W. Seliger, R. M. Vago*. Cambridge et al., 1991, 139—150.

- Polinsky, в печати — *Polinsky M.* Russian in the US: An Endangered Language // Russian in Contact with Other Languages / Ed. by E. Golovko. Amsterdam.
- Romaine 1989 — *Romaine S.* Bilingualism. Oxford, 1989 (Language in Society; 13).
- Sękowska 1994 — *Sękowska E.* Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze. Warszawa, 1994.
- Slobin 1977 — *Slobin D.* Language Change in Childhood and in History // Language Learning and Thought. New York, 1977.
- Szlifersztein 1981 — *Szlifersztein S.* Wstęp // Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych. Wrocław, 1981, 7—27.
- Vanek, Darnell 1971 — *Vanek A. L., Darnell R.* Doukhorbor Russian Language Maintenance // Advances in the Study of Societal Multilingualism. The Hague et al., 1978, 401—422.
- Wierzbicka 1985 — *Wierzbicka A.* Different Cultures, Different Languages, Different Speech Acts: Polish vs. English // Journal of Pragmatics. 1985. Vol. 9, 145—178.
- Yokoyama 1994 — *Yokoyama O.* Speaker Imposition and Short Interlocutor Distance in Colloquial Russian // Revue des Etudes Slaves. 1994. 26 (3), 681—697.

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОЕКЦИИ НА МОДЕЛЬ МИРА *

Впервые к этой теме я обратилась в 1997 году, сделав доклад на конференции «Евролингвистика: шаг в будущее» (Берлин). С тех пор ситуация, естественно, не стояла на месте, и целый ряд новых примеров и наблюдений был включен в статью «Перемены в русском языке: ожидаемые и неожиданные» (Цивьян 2000). Но дело не только в примерах. За это время стали появляться лингвистические работы, фиксирующие и анализирующие происходящие изменения. В определенном смысле тема потеряла новизну, и у меня возникло опасение, что эта небольшая статья будет проигрывать на фоне того, что появилось за это время в научной литературе. Тем не менее, мне показалось небесполезным оставить ее без существенных изменений как свидетельство и состояния вещей, и их восприятия на тот момент (*eo tempore*), не расширяя ее за счет примеров, в которых, конечно, не было бы недостатка. Строго говоря, для меня самой было важнее уловить (или, по крайней мере, предположить) не только и не столько сами изменения, сколько заложенную в них тенденцию, и далее — попытаться объяснить (или, по крайней мере, понять) эту тенденцию уже в проекции на «исконную» русскую модель мира. Подтверждение моего взгляда на ситуацию «изнутри ситуации», взгляда ее участников (а не специалистов-профессионалов, то есть прежде всего лингвистов, помещающих себя «вне ситуации») я нашла в газетных статьях, что представляется очень существенным, поскольку газета по определению должна чутко реагировать на сиюминутные события. Оказалось, что «носители традиции» (журналисты, но и не только) увидели за изменениями не подражательную моду, а глубинные процессы, затрагивающие менталитет, и «зафиксировали» результаты. Речь, в сущности, шла о модели мира (ММ), о том, что возможности перемен были в ней заложены, а сами эти перемены повлияли на ее структуру.

По случаю Международного дня борьбы с неграмотностью, установленного ЮНЕСКО, газета «Известия» (9. 09. 1999) опубликовала несколько отве-

* Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ 97-04/06-180 и РФФИ 00-06-80222.

тов на вопрос о том, кого можно считать грамотным человеком и каковы критерии настоящей грамотности (не в узко орфографическом смысле и тем более не в смысле умения читать и писать). Арсений Рогинский, председатель правления общества «Мемориал», выделил «в грамотном человеке нашего времени» два основных качества. То, что он назвал первым, показалось мне весьма примечательным: «...это человек, который ориентируется в новых понятиях новой реальности, знаком с большинством новых определений, как-то: брокер, риэлтор, ОАО и т. д. <...> Должен заметить, что таких людей довольно много, и с каждым днем становится все больше».

Иными словами, речь идет о владении новым языком (прежде всего, лексикой), и этот язык *иной* по сравнению с прежним, более точно, *чужой* не только в переносном, но и в самом прямом смысле: его словарь заимствован из иностранных языков, прежде всего из английского. В принципе это явление далеко не новое, хорошо известное, ср. хотя бы недавний *franglais*. Действительно, перемены в мире не могут не отражаться в языке, этот мир описывающем.

Итак, меня интересовала проекция языковых изменений на модель мира, то есть семиотический аспект. Язык — универсальный код ММ, формирующий ее и формируемый ею. Каковы будут взаимоотношения языка и ММ в ситуации неожиданных и резких перемен в описываемом ими мире? Теоретически можно предположить разные комбинации, от «поддержки» ММ со стороны языка до ее «взлома» с помощью языка. Идя дальше: «поддержка» может пониматься двояко: языковые изменения поддерживают и укрепляют ММ и/или языковые изменения поддерживаются и укрепляются ею. Следующий шаг: происходит ли при этом изменение самой ММ, вплоть до ее опровержения, или при всех условиях она остается равной самой себе.

После политических изменений последних лет не могла не измениться и языковая ситуация в Европе. Прозрачность границ, как государственных, то есть «материальных», так и духовных (интеллектуальных, эмоциональных и т. п.), то есть «идеальных», создала новые возможности для общения и — прежде всего — актуализировала языковые контакты. А любые языковые контакты по определению вызывают изменения в контактирующих языках, причем изменения не только чисто языковые (фонетические, грамматические, лексические), но, может быть, прежде всего, трансцендентные. «Поймать» эти изменения в самом начале, увидеть перспективы дальнейшего развития языковой ситуации — задача столь же сложная, сколь и увлекательная.

Хотелось бы, с одной стороны, представить проблему в общем плане, а с другой — эксплицировать ее на конкретном, живом примере, на ситуации *этого дня*, ситуации, в которой мы сами являемся и субъектами/наблюдателями и объектами наблюдения.

Общий план — отношение к языку в рамках оппозиции *свой, родной / чужой*. Оппозиция *свой/чужой* — одна из основополагающих в архетипической и, далее, универсальной ММ. Она появляется тогда, когда человек начинает осваивать универсум (*макрокосмос*) и выделяет в нем мир, соответствующий его, человеческим, масштабам (*микрокосмос*), и окончательно закрепляется тогда, когда человек научается отделять *себя* от *другого*, что на языковом уровне соответствует введению системы личных местоимений, реализации противопоставления *я/ты*. *Ты* означает *другой*. Этот *другой* может быть *другом*, и тогда он включается в микрокосмос, получая признак *свой*. *Другой* может быть *врагом*, и тогда он — *чужой* в данном микрокосмосе. Так оппозиция *свой/чужой*, первоначально связанная лишь с категорией принадлежности (а на языковом уровне — притяжательности), получает валорификацию в оценочном поле *положительный/отрицательный*. При этом специфика оппозиции *свой/чужой* состоит в том, что она не абсолютна, а относительна, то есть как бы «подвижна»: *свой* меняет знак, становясь *чужим, чужой* «приватизируется», *друг* делается *врагом* и *vice versa*.

В разных сферах и на разных уровнях бытия человека может быть выделена система классифицирующих различительных признаков, эксплицирующих оппозицию *свой/чужой*: этнические, культурные, социальные, политические, идеологические и т. п. Универсальным и едва ли не самым эффективным в этой системе различительных признаков является, без сомнения, язык. Именно язык обеспечивает взаимопонимание в прямом и переносном смысле, ср. *говорить на одном языке — говорить на разных языках — у нас общий язык — мы не находим общего языка* и т. д. — выражения, имеющие и буквальный, и метафорический смысл.

Отношение к *своему* языку как к неотчуждаемой собственности, почти как к органу *своего тела* обеспечивает ему высокое положение в системе ценностей любой традиции и любой ММ (он *свой, родной, и тем самым лучший, обеспечивающий защиту*). Отношение же к *чужому* языку определяется неоднозначно. На одном полюсе *чужой* язык может быть более престижным, чем *свой*, на другом он воспринимается как нечто враждебное. Двигаясь по направлению друг к другу, эти крайние взгляды могут изменяться в сторону компромисса, достигая «золотой середины». Валорификация *своего/чужого* языка служит важным критерием при характеристике разных ММ.

Русская модель мира (РММ) характеризуется достаточно своеобразным отношением не только к *чужому* языку, но к самой идее существования *чужого* языка, точнее его роли в коммуникации. Возможно, объяснение этому лежит прежде всего в «коммуникативной истории» русского языка. Растянувшийся на громадное пространство, за пределами которого был уже *иной*

мир, он всегда ощущался носителями как «моноязык», и это отпечаталось в РММ: твердое убеждение, что *русский язык* должны понимать *все*.

Достаточно напомнить, что русские называли иностранцев *немьими*, *немцами*, как бы отказывая им в обладании человеческим языком (и в русских загадках звуки, издаваемые животными, например кваканье лягушек, щбетание ласточек и т. п., описывается как «говорение на иностранном языке» — *по-немецки говорят*). Слово *немец* в современном русском языке означает «германца», однако несколько лет назад я столкнулась со старым значением этого слова. Приведу свой диалог с продавщицей:

- *Что это за печеньё?*
- *Не знаю, я его не пробовала*¹.
- *Тогда дайте, я прочту, что на нем написано.*
- *А на нем ничего не написано.*
- *Как?! Это невозможно!*
- *А вы все равно не поймете: написано по-немецки.*

[Добавлю, что язык оказался английским, то есть продавщица имела в виду, что написано «по-немому», на *чужом* языке, которому она отказывала в праве на существование.]

Именно русские могут сказать: «да ведь эти иностранцы сами не понимают, что говорят». Я привела этот представляющийся полным абсурдом пример на конференции, посвященной сохранению русского языка в диаспоре, и получила неожиданное подтверждение: один (русский) коллега сказал, что его маленькая дочка после нескольких уроков английского языка робко спросила: «Папа, ты думаешь, англичане *действительно* понимают друг друга?».

В Советском Союзе, многонациональной стране, декларировавшей этническое, правовое, культурное и — *the last not the least* — языковое равноправие, русский язык практически узурпировал все лингвистическое (и соответственно географическое) пространство, в определенной мере распространившись и за пределы страны на своих сателлитов. Носитель русского языка, где бы он ни оказался, с уверенностью говорил по-русски. Строго говоря, это (во всяком случае — сначала) не было официально декретировано: Россия и соответственно русский язык были не более чем «первые среди равных», однако, хотя в примитивно-консервативном сознании идеологов существование *другого* допускалось, способностей к усвоению этого *другого* не было органически. Справедливости ради скажем, что это было укоренено в РММ, а в советских условиях получило дальнейшее развитие.

¹ Неистребимое убеждение наших продавцов в том, что информацию о товаре они могут получить только из личного опыта («*наши* ели, пили, носили, мазали, стирали» и т. п.).

Вспоминается разговор, услышанный в литовском городе Паланга в начале шестидесятых годов. В магазине одна молодая женщина говорила другой, что здесь ей все нравится, — но только пока не начинают требовать учить *их* язык: «Я тогда мужу говорю: только не это, лучше уедем отсюда». Разговор шел, естественно, при литовцах, и, самое интересное, что говорившая никак не хотела их обидеть: просто необходимость перехода на другой язык казалась ей чем-то диким, вроде перехода к каннибализму. Такова была ситуация *ad usum internum*: существование *чужих* языков в пределах СССР, их права признавались, однако «само собой» получалось (а потом и закреплялось законодательно, как то, что, например, все диссертации должны были быть написаны на русском и т. п.), что русский язык стал превалировать и в конце концов оказался не только *первым*, но практически едва ли не *единственным* языком межнационального общения. Не буду говорить о том, насколько психологические трудности, связанные с оппозицией *свой/чужой язык*, мешают нормализации отношений с русскими в бывших советских республиках, ставших независимыми государствами. В оправдание своих соотечественников напомним, что такое же сопротивление языку было у русской эмиграции во Франции, в Германии и т. д. Необоримый внутренний протест приводил к тому, что люди ухитрялись, всю жизнь прожив в «чужой» стране, не только не выучить ее языка, но и гордиться этим. Эта традиция сохраняется и теперь, ср. многочисленные сюжеты о русских в Америке, ср. точное изображение Довлатова:

Мы поселились в одной из русских колоний Нью Йорка. В одном из шести громадных домов, занятых почти исключительно русскими беженцами <...> Кроме нас в этом районе попадают американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие. Не говоря, разумеется, о коренных жителях. Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски. Мы считаем, что это — бестактность [Довлатов 1991, 260]².

В ситуации *ad usum externum* оппозиция *свой/чужой* действовала следующим образом. *Чужой*, то есть *иностранный* («западный») в широком смысле слова, был объявлен враждебным, ср. терминологический синоним иностранного — *идеологически чуждый*. Поскольку самой опасной считалась любая информация, и были запрещены любые контакты, западные языки фактически оказались под запретом, а их знание, особенно активное, могло быть, мягко говоря, подозрительным. Запрет был наложен на непосредственное общение с иностранцами, на диалог и, таким образом, на *устную речь*. Учтившие иностранный

² Нам приходится трудно. Английского языка мы чаще всего не знаем <...> Старуха эмигрантка в рыбном магазине: «Я догадывалась, что здесь говорят по-английски. Но кто же мог знать, что до такой степени?» [Довлатов 1991, 282].

язык в школе и в институте в общей сложности не менее 10 лет, сдав последний экзамен, полностью стирали в памяти все следы обучения, не испытывая сожаления, поскольку «а зачем он нам нужен?». И, действительно, зачем хранить этот груз, если у языка отнимают основную функцию: быть средством общения³.

В последние годы слой знающих иностранный/ые язык/и не только расширился, но изменился структурно: те, кто раньше «только читал», стали и *говорить*; появились те, кто не только *читает* и *говорит*, но и *пишет*, и уж во всяком случае увеличилось число тех, кто *может объясняться*.

Ситуация изменилась: открылись возможности свободного общения с иностранцами, не знающими русского, причем общения как на *своей*, так и на *чужой* территории, и общения в самых разных «жанрах» (политика, культура, наука, бизнес, туризм и т. п. и, наконец, что, может быть, наиболее важно — личное общение, то есть частные, «простые», «человеческие» отношения). Новая ситуация поставила новые коммуникативные задачи: овладение *чужим* языком (выучивание) или поиски приспособления к *чужому* языку для достижения понимания.

Теперь основное препятствие для носителя РММ и соответственно русского языка (прежде всего у старшего поколения, но и не только у него) в новой для него ситуации контакта состояло в психологической трудности: *чужой* язык для носителя РММ, как уже было сказано, ощущается не как нейтральный инструмент общения, а как нечто неестественное или даже как угроза единственности *своего* языка и, следовательно, *своей* личности.

Современная русская лингвистическая ситуация, «из которой» брались примеры, в данном случае представлена и, в общем, ограничена Москвой. Это локус, принципиально ее определяющий и оказывающий влияние и давление на остальное «русскоязычное» пространство. Это определяется специфической моноцентричностью России, что в определенной степени было и до революции и что укрепилось и приняло более отлитую форму в советское время. Поэтому исключительно «московские» характеристики и примеры, которые я привожу, достаточно надежно отражают суть происходящих процессов.

Лингвистический пейзаж Москвы в последние годы кардинально изменился: латинский алфавит и, следовательно, иностранные языки (прежде всего английский) вышли на улицу в виде вывесок, вошли внутрь магазинов в виде надписей на товарах, заняли телевизионное время и газетные полосы — прежде всего в виде рекламы. Даже обязательное требование перевода ино-

³ Неудачный опыт Вавилонской башни привел к коммуникативному кризису — на уровне языка. Гораздо позже был указан способ выхода из этого кризиса — знание *чужих* языков, которое Апостолам было дано свыше, а простым смертным — ценой учения.

язычных текстов, дублирующих этикеток на русском языке и т. п. в принципе ситуацию не изменило. Уже появилось поколение с активным знанием английского как *lingua del pane*, и в предложениях престижной работы обязательным условием является не простое знание иностранного языка, но умение говорить на нем (как это обычно формулируется, «вести переговоры»). Короче говоря, жизнь постоянно принуждает «среднего русского», «обывателя», к двуязычному (по меньшей мере) диалогу, прежде всего письменному, то есть, во всяком случае, к знанию латинского алфавита. Этот факт не может не влиять на отношение к языку, сформировавшемуся в недрах РММ; появляется необходимость в соответствующей коррекции.

Конечно, выделяются ярко очерченные полосы: с одной стороны, неприятие *чужой*, западной культуры, традиционно обвиняемой в бездуховности. Действительно, на бытовом уровне она приходит вместе с вещами («вещизм»), массовой культурой и далеко не лучшими достижениями цивилизации. На этом полосе «озападенная» Москва называется «Новым Вавилоном» (ср. название популярного и рекламируемого магазина «Вавилон»), а естественное проникновение *новых* названий для *новых* вещей — бесцеремонным вторжением *чужого* языка и враждебного всему «истинно русскому» (что хорошо знакомо, вспомним шишковские *мокроступы*).

На другом полосе и вещи, и их имена, и все то новое, что несет западная цивилизация, столь же неумеренно приветствуется. Возникают более чем странно звучащие названия магазинов типа «Русский шоп», «клуб» (вместо клуба) и т. п. На русских подделках появляются иностранные надписи с комическими ошибками, заставляющими предполагать, что в Англии или Франции, где, если верить этикетке, произведен товар, не знают родного языка. Долгое время на громадных щитах рекламировалась австрийская обувь, сделанная в городе *Vena*.

Место иностранного языка растет с такой непропорциональной реальным потребностям быстротой, что приходится искать причины этого в ментальном механизме и/или в семантических основах РММ.

И отталкивание от *чужого*, и стремление к нему в переходный/переломный период нашей истории вполне естественны (тем более, что такого рода поляризация мнений теперь допускается). В этом смысле ситуация представляется достаточно ординарной и предсказуемой. Мне кажется более интересным рассмотреть, как и почему с такой легкостью *чужой* язык входит в быт, особенно в тех случаях, когда это, казалось бы, не столь обязательно, когда *чужое* слово, действительно, без ущерба может быть заменено *своим*.

Характерный пример. Муниципальные власти решили открыть заведения типа *Fast Food*, но с русской кухней, чтобы перебить народную любовь к Макдоналдсу. Возник вопрос, как их назвать. В русской традиции есть достаточно привычных названий: *чайная, пивная, закусовая, бутербродная, рюмочная*

и т. п. Однако выбрано было *бистро*: история его хрестоматийно известна — русское слово *быстро*, вернувшееся к нам после путешествия во Францию в 1812 году. *Русское бистро* — своего рода лингвистический курьез (можно встретить и вывеску *Кафе «Бистро»*, то есть кафе под названием «Бистро»), однако, как кажется, это отвечает нашим внутренним потребностям в поисках *нового слова для новой ситуации (новой жизни)*. Существенно, что здесь просматривается не только и, может быть, не столько потребность *стать западными*, сколько потребность *стать такими же, стать просто людьми*, которые могут свободно общаться с им подобными.

Последнее десятилетие внесло в наш быт новые, невиданные вещи. Необыкновенно популярным и, действительно, демократическим продуктом стал *йогурт*: слово для русского уха звучащее экзотически, трудное для произношения / усвоения. Тем не менее, его выучили и произносят без всяких искажений, с явным удовольствием — так же как и *стейк, пицца, хот-дог, бургер, комбидресс, пейджер, дизайн, дилер, киллер, менеджер, бартер, дефолт* и т. д., и т. п. — к *брокеру и риэлтору* А. Рогинского. Иными словами, оказалось, что в актуальной ситуации предпочтительнее освоить *чужое*, чем искать ему *свою* замену. Выше я говорила о своем диалоге с продавщицей и подчеркнула, что это было несколько лет назад. Вот пример этого года: кассирша в арбатском магазине, выбив чек иностранке, с видимым удовольствием говорит: «Видно, придется мне английский учить, а то в школе у нас немецкий был» и добавляет: «Наверное, нас скоро заставят и язык знать, и компьютер» («заставит» магазинное начальство). Таким образом, школьное знание языка перестает для нее быть бессмысленным и, напротив, становится актуальным и отождествляется в ее сознании с другими, более высокими требованиями, диктуемыми жизнью в изменившемся мире.

Как кажется, даже эти немногие примеры свидетельствуют об одном: о готовности вступить в диалог с *чужим*, о м е н е з н а к а, о появлении чувства внутренней свободы, которая позволяет сделать выбор. Возможность самостоятельного выбора — главное, что появилось в нашей духовной жизни и в определенной степени перешло в жизнь материальную. Приведу (обещанное в начале) подтверждение высказанных здесь мыслей: замеченные журналистом изменения в отношении к *чужому*, прежде всего языку, которые он, по сути, трактует в контексте изменений, затрагивающих РММ (естественно, не используя этот термин). Я имею в виду статью Константина Плешакова «Москва-Шерем⁴. Новый русский акцент» («Культура» № 6, 17—23 февраля 2000), отрывки из которой следуют дальше⁵:

⁴ *Moskva-Sherem*, то есть Москва-Шереметьево (аэропорт).

⁵ Здесь приводятся примеры только иноязычной лексики.

...мы забеспокоились, так ли мы стали говорить, не лишаемся ли мы <...> нашей замечательной русской речи <...> Кто бы в 80-м году, кроме самых заядлых международных, понял, например, что такое «виртуальный», «маркетинг», «имидж», «приватизация», «миллениум» <...> Сегодня абсолютно ясно, что противиться натиску новых языковых стихий <...> мы не в силах. <...>

Многим новым понятиям, вошедшим в наш быт за последние лет десять, нет точного аналога в нормативном русском языке 1980-го. Почему? Потому что раньше подобных явлений в стране не существовало <...> раньше мы не знали, что у каждого может быть свой «имидж» <...> создать имидж было невозможно, потому что подобная степень самоуважения была нам раньше попросту недоступна. <...>

И «фрустрация», и «кислота», и «лохотрон», и «улет!» — вовсе не злые межпланетные фантомы, неизвестно зачем вторгнувшиеся в наш прекрасный язык. Сами по себе слова эти не более чем ярлычки, бирочки, наклейки, приданные вещам и понятиям, которых мы раньше не имели, признаки новых времен, когда мы боимся хранить деньги в сберегательной кассе и летать самолетами «Аэрофлота», но зато стали забывать день смерти Сталина. <...>

В сущности, если взглянуть на вопрос непредвзято, то становится ясно, что идет очередная ломка <...> Никким образом от предыдущих ломок язык не пострадал <...> Не помешает ничему и нынешняя ломка. И вообще, господа, не надо делать вид, что от слов типа «бутик», «презентация» и «менеджер» тошнит. Тошнит от голода и от утечек газа.

Поверив революционерам, мы до сих пор мыслим военно-полевыми категориями. Язык — не оружие, которое кто-то использует «против нас». Язык в первую очередь — зеркало.

Можно добавить: зеркало изменений не только жизненных реалий, но и наших представлений о мире, изменений, заставляющих вносить коррективы в собственный «устав», которым в определенном смысле является ММ⁶.

В контексте «бытового диалога» с чужим перейдем к такому важному пути освоения чужого, как компьютер (см. о нем выше). В данном случае речь

⁶ Максим Соколов видит в повороте к иному/иностранному оживление культурных стереотипов, характерных для народного (в противопоставление интеллигентскому) сознания. В статье «Царь наш — немец русский» («Известия», 20 марта 2000) он говорит о стереотипном портрете немца в русской культуре (волевой, трудолюбивый, сдержанный и т. п. и вместе с тем чувствительный) и о подсознательном желании видеть себя улучшенными и окультуренными «немецкой прививкой на русский дичок». По сути дела, и здесь идет речь о динамике РММ, об актуализации (в определенных пределах) заложенной в ней, если можно так сказать, «центробежности».

пойдет не о компьютерных языках в терминологическом смысле слова и не о системах устного машинного перевода («Речь и компьютер», ср. разработку темы в рамках соответствующего международного семинара), а о диалоге пользователя со своим *PC*, «домашним» (персональным) компьютером.

Мне известен случай, когда мастер, чинивший компьютер, обнаружил, что в нем поставлена программа на русском языке, и поскольку «русифицированная» (важно — не переведенная на русский, а русифицированная, то есть переделанная), как известно, не так надежна, как аутентичная английская, посоветовал владельцу ее сменить: «Я английского не знаю, а вы знаете, значит, вам должно быть все равно, на каком языке разговаривать с компьютером». Однако, как известно, язык, на котором мы разговариваем с компьютером, столь же *не-русский*, сколь и *не-английский*, и пользователю надо выучить его на уровне команд⁷, учитывая, что общение с компьютером идет во модели вопрос—ответ.

Не менее интересно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Диалог с компьютером, который является главным условием пользования им, построен так, что он предполагает обязательное предварительное знание набора вопросов, набора ответов и их иерархии, то есть порядка, в котором они должны задаваться. Вы ограничены этим алгоритмом — словарем и грамматикой, и выйти за их пределы не можете, не нарушив компьютерного универсума, в котором вы находитесь. Эта ситуация полностью соответствует архаической вопросо-ответной структуре, сопутствующей древним ритуалам и реализованной прежде всего в космогонических текстах. Это, например, древнеиндийская загадка типа *brahmodya*, это широко распространенные кумулятивные тексты, это многие другие тексты, строящиеся по модели *что было первым? — небо — что было вторым? — земля* и т. д. Оказывается, что ориентировка в мире, освоение его человеком, формирование микрокосмоса, то есть мира человека, осуществляется по одной и вечной модели, определенной Тойнби как *Challenge-and-Response*. И обмен, и ответ предполагают диалог, предполагают собеседников, то есть контакт. Это значит, что в начале начал, в истоках на первое место было поставлено общение человека с человеком.

Мне хотелось показать кардинальное изменение ситуации на примере РММ, имеющей, как уже было сказано, репутацию особенно консервативно-устойчивой. Кажется несомненным, что происходят крайне важные перемены во взаимоотношениях людей, и эти перемены в громадной степени определяются переменной знака в оппозиции *свой/чужой*. И тем более поразительно, что механизм этих изменений, то есть механизм диалога, нового диалога.

⁷ Эта тема, как и анализ языка переписки по электронной почте и т. п., уже привлекла внимание исследователей.

который мы учимся вести, был заложен в архаических структурах. Так восстанавливается *связь времен* — которая связывает и людей.

Литература

Довлатов 1991 — Довлатов С. Д. Ремесло // Довлатов С. Д. Чемодан. М., 1991.

Цивьян 2000 — Цивьян Т. В. Перемены в русском языке // Res linguistica. М., 2000.

ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Узнавание и изучение любой культуры в идеале должно происходить *извне* и *изнутри*. Свои и чужие представления могут служить взаимопроверкой, опровергая, подтверждая, ограничивая или дополняя друг друга. Поэтому я рассматриваю эти свои заметки как дополнение к статье Т. В. Цивьян.

В течение пяти лет, с сентября 1995 года, я работала лектором DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) на филологическом факультете МГУ. Москву я ощущаю как локус постоянных «переломов», датируемых отнюдь не началом перестройки. Я с удовольствием (и с полным согласием) перечитываю эссе Вальтера Беньямина «Москва» (1927 г.), где он пишет, что Россия находится в постоянном *ремонте*, в удивительных экспериментах по переустройству, когда каждая мысль, каждый день и каждая жизнь как бы лежат на лабораторном столе и позволяют производить над собой изнурительные опыты¹. Мои первые длительные пребывания в Москве, в 1981 и 1986 гг., пришлось на время моих занятий славистикой. С тех пор я не раз бывала здесь — мимолетно или продолжительно. По воле случая, по приглашению или по собственной инициативе я оказывалась в разных социальных кругах. К этому прибавлялись повседневные краткие контакты и конфликты в учреждениях, в магазинах, на улицах — они бывали отмечены как приветливостью, так и неприязнью. Эти контрасты казались противоречащими здравому смыслу, поскольку сменяли друг друга в одной и той же ситуации. Многообразие и интенсивность встреч и разговоров в советские времена склубились у меня в некую ауру странных видений из другого мира, которые давно уже нигде не встретишь, разве что в провинции. Начиная с 1981 г. я наблюдаю изменение старых и появление новых реалий повседневной жизни. Но в данном случае они интересуют меня меньше, чем явления, связанные с историей менталитета².

¹ W. Benjamin. Moskau // W. Benjamin. Denkbilder. Frankfurt/M, 1994. S. 25 f. — Эссе основано на московском дневнике, который Беньямин вел во время своего пребывания в Москве с декабря 1926 по февраль 1927 г.

² Стремительное развитие претерпевает ежедневная ситуация «покупка» (приведу здесь только один пример). Супермаркеты с достаточно постоянным ассортиментом това-

Понятно, что мое восприятие и моя интерпретация русской культуры основаны на моих собственных культурных представлениях, и некоторую их ограниченность я сознаю.

Например, от случаев, которые я была склонна приписывать отсутствию толерантности по отношению ко мне, иностранке, носительнице *чужого* языка, остается устойчивый неприятный осадок, и помнятся они лучше, чем те, в которых выражалась готовность к установлению дружеских отношений. Правда, случалось и так, что предполагаемое отсутствие толерантности при ближайшем рассмотрении объяснялось иным образом. Вот один пример: однажды, на праздновании дня рождения меня и моего соседа попросили разговаривать между собой не на родном (немецком) языке, а по-русски. Первой моей реакцией была следующая: происходит дискриминация; мне как иностранке провокационно навязывают другой язык. На самом деле это я нарушила правила, по которым все участники застолья должны участвовать в общей беседе, ритмизованной тостами. Сепаратные разговоры не слишком приветствуются. Просьба, по сути, сводилась лишь к тому, чтобы мы «вписывались» в общее веселье, а не говорили только друг с другом.

Для русской культуры и самоопределения отношения, построенные на оппозиции *свой/чужой*, с самого начала были конституирующим признаком. Несомненно, в развитии русской культуры этот признак был ведущим в гораздо большей степени, чем в Европе. Начиная с европеизации русской культуры в результате петровских реформ, спор о *своем* и *чужом* определяет и русское языковое сознание.

Все возрастающее изменение взгляда на *свой* и *чужой* язык в современной языковой ситуации видно и моему взгляду *извне*. *Чужой* (иностранный) язык уже идентифицируется не как *другой*, нерусский в первую очередь, но как *один* из многих *чужих* языков. В противоположность этому, «западный» означает принадлежность к Европе, к совершенно иной культуре. Раздумывая об этом, невольно вовлекаешься во взаимоисключающие противопоставления. Присутствие иностранных языков, в первую очередь американского английского, воспринимается не как непереносимый шум, но как чудо возможности, говоря на разных языках, понимать друг друга и тем самым преодолевать культурные границы с Западом.

ров упразднили советскую систему очередей. Теперь редко покупатель сначала выбирает или взвешивает товар, потом идет в кассу и возвращается с чеком к прилавку. Продавцы уже не обладают властью «распределять товары», а должны заботиться о покупателе. Но в советских очередях были и приятные стороны. Здесь «на ходу» образовывались своего рода клубы, завязывались интересные разговоры, здесь обменивались информацией, восполнявшей дефицит официальных источников, здесь под защитой анонимности высказывались те же критические мнения о властях предрежащих, что и на московских кухнях.

При случайных встречах и беглых разговорах мои собеседники часто выражали сожаление, что в школе они учили немецкий язык, лежащий теперь мертвым грузом. Забылись даже самые простые выражения. Из культурной памяти постепенно исчезает даже «Hände hoch», клише-стереотип немецкого солдата времен Второй мировой войны, которое цитируется шутливо и без подтекста, как ностальгически-ироничное воспоминание о советском кино.

Если мои собеседники владели немецким, то выбор языка в разговоре я воспринимала как показатель степени доверия, которое они испытывали ко мне. Мне кажется, что мои коллеги по МГУ, выбирая русский как язык «личного общения», пользовались более широким спектром эмоциональной и интонационной окраски, чем в немецком. Впрочем, это касалось и меня самой. Чередование обоих языков служило для различения формального и неформального дискурса — функция, которую внутри одного языка выполняют разные стилистические варианты. Можно также предположить, что выбор русского языка для частных бесед диктовался деликатностью, чтобы не создавалось впечатления, что они говорят со мной по-немецки из профессионального интереса. Может быть, тот, кого эта интерпретация озадачила, найдет третью, свою истину. В любом случае у меня возникло впечатление, что меня не воспринимали как иностранку по преимуществу.

Языковое и культурное разнообразие, которое сейчас характеризует Москву, является отражением живого развития, которое приводит к появлению таких форм самоидентификации, которые замещают старые и привычные. Возникают специфические различия, которые определяют принадлежность к *своей* группе и одновременно дистанцированность от *других* групп. К этому относятся и приведенные в статье Т. В. Цивьян выражения *говорить на одном языке / на разных языках, у нас общий язык*.

Группы и сообщества определяются не только социально и на уровне диалектов, но и по владению иноязычными заимствованиями. Следует отметить значимую тенденцию к отклонению от языковой нормы, стремление к нонконформизму.

При том, что в русской культуре нормы бытового поведения остаются намеренно имплицитными, при обоюдном недоверчивом отношении властей и народа друг к другу, при невыполнении или нарушении кодифицированных норм, при том, что сами правила постоянно пересматриваются, остается *одна* область, а именно область *языковой* нормы, к которой относятся очень строго, даже в тех случаях, когда находятся в резкой оппозиции к ней.

Нередко возникающий в преподавании иностранных языков вопрос о *единой*, обязательной норме, о правильности языкового выражения на *чужом* языке ориентирован на *особую* ситуацию, в которой владение *настоящим* литературным языком приписывается только иерархически отмеченным горо-

дам — Петербургу и Москве. Они, действительно, осознаются как некое строго иерархически организованное пространство. Поэтому исключено, чтобы региональные, то есть более «низкие» и менее «ценные» языковые варианты могли быть поставлены вровень со «столичными».

Если видные политики не владеют литературным языком, это тут же замечается, разносится средствами массовой информации и переходит в анекдоты. Горбачев, который своей спонтанной, непосредственной речью ввел новый жанр политических выступлений, подвергался критике за южнорусский диалект с «компрометирующими» ударениями. Его языковые «дефекты» припоминались ему не меньше, чем политические ошибки. На свой вопрос, почему так ценят неизвестного пока политика, я получила потрясающий ответ: «Он хотя бы не путает падежи». Русское «языковое чувство» негативно реагирует на уменьшительное имя немецкого министра иностранных дел Фишера *Йошка* (от Йозеф). Из-за совпадения с соответствующими русскими уменьшительно-пренебрежительными *Сашка*, *Лешка* и т. п. это имя кажется несовместимым с положением, которое занимает его носитель.

Иноязычные заимствования пытаются изгонять под предлогом борьбы за чистоту языка, за правильность развития языка, в связи с языковой политикой. Все это не ново.

Аргументы, приводимые в дебатах по поводу американизации языка, — те же, что и везде. В России, конечно, ставится вопрос о России как родине языка, вопрос, в Германии запрещенный, поскольку немецкий язык вследствие нацистского режима оказался «непригодным для обитания». В России же начиная с 1993/1994 гг. в Комиссии при президенте, в ток-шоу, на конкурсах и в интернете обсуждается «новая русская» или «новая национальная идея» — как попытка самоосознания и возвращения к себе на национальной основе³.

Направляющей в этих раздумьях о возвращении к *своему* была лексикографическая и одновременно нормативная попытка Солженицына, выпустившего в 1990 году «Русский словарь языкового расширения», в котором, под знаком языкового туризма, было собрано ушедшее и забытое.

Поскольку языковые эксперименты до сих пор преследуются, научились находить способы уклонения от соответствующих приказов и постановлений. Меры языковой политики, такие как запрет на рекламу на иностранных языках на улицах Москвы, остаются формальными и недейственными. Кодифицированная языковая норма не всегда отражает реальное положение вещей, а отражает, скорее, мнения и решения соответствующих инстанций. Идеал и действительность, право и его осуществление не всегда совпадают.

³ Дискуссии публикуются в государственном органе «Российская газета», ср. из недавних: «Национальная идея для возрождения России».

К явлениям языкового и культурного развития, которые не поддаются регламентации извне, принадлежит престижность *чужого* (иностранного) языка, точнее новое прагматическое отношение к *чуждому* языку. На выбор иностранного языка влияют исключительно «реально-политические» причины: так, привлекательность немецкого основана не на каноне классической литературы, как можно было бы думать, а на учете реальной коммуникативной ситуации, в которой приобретенные языковые знания могут быть применены наиболее активно и успешно. Учить иностранный язык означает делать инвестиции в будущее. Это, с другой стороны, отчетливо значимый способ передачи и усвоения иностранного языка и культуры.

На примере России видно следующее: различия между *своим* и *чужим*, которые традиционно ищут в сравнении разных культур, на самом деле являются противопоставлениями, которые в не меньшей степени содержатся внутри одной культуры, так же как внутри одной личности⁴. *Свое* и *чужое* сосуществуют в *одной* культуре и в *одном* языке в постоянной динамике и смене весов.

⁴ Это одно из основных культурно-философских положений, которые Холенштайн рассматривает в своей книге, особенно в последней главе, чрезвычайно поучительной и вдохновляющей для изучения проблемы преодоления межкультурного непонимания (E. Holenstein. Kulturphilosophischen Perspektiven. Schulbeispiel Schweiz. Europäische Identität auf dem Prüfstand. Globale Verständigungsmöglichkeiten. Frankfurt, 1998).

III

К ПРОБЛЕМЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ В БАЛКАНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМАХ¹

Балканославянские языки в силу своего положения и исторического развития отличаются большим количеством заимствований в лексических системах. Греческое, турецкое, в меньшей степени пограничное румынское и албанское влияние, кроме лексики, естественно, распространяется и на экстралингвистическую реальность: бытовую и духовную жизнь славян. О культурной общности народов Балканского полуострова, об удивительном сходстве календарных обычаев греков и болгар, мифологических представлений писал М. Арнаудов [Арнаудов 1969: 7]. Т. В. Цивьян высказала теорию существования специфической, балканской, картины мира [Цивьян 1993]. Судьба заимствований различается в зависимости от того, в какой сфере происходят языковые контакты. С этой точки зрения лексика традиционной духовной культуры, роль «не своего» в развитии и трансформации народных воззрений, обрядов, поверий, фольклорных произведений представляет особый интерес. «Не свое» с течением времени может становиться «своим», т.е. полностью ассимилироваться в славянском, а может оставаться «чужим», «не своим», сознательно используемым в этнокультурных системах.

Словарь метаязыка традиционных обрядов, верований и т. д. в основном состоит из мифопоэтической лексики, где за одной лексемой может скрываться фрагмент картины мира (ср., например, интерпретацию южнославянского *бадняк* В. Н. Топорова и Н. И. Толстого [Топоров 1976; Толстой 1995а]). В этом плане необходимо уточнить степень закрытости/открытости различных сегментов лексической системы к использованию заимствований как в формальном, так и в содержательном отношении.

Безусловно, роль заимствований в словаре духовной культуры отличается от той, что наблюдается в корпусе лексики материальной культуры (обозна-

¹ Некоторые положения этой статьи обсуждались в докладе на 4 Балканских чтениях. см. тезисы [Седакова 1997]. Словарные статьи о святочном МП *караконджал* опубликованы в журнале «Славяноведение», 1998, № 6 и в СД 2.

чения предметов быта, продуктов питания и др.), имеющей утилитарное значение и не задействованной в обрядности, не связанной с какими-либо поверьями и т. д. Правило «слово заимствуется вместе с реалией», характерное для предметной лексики, в словнике духовной культуры действует несколько иначе, не так четко, как в случае с греческими или турецкими реалиями быта (ср., например, неславянские слова для обозначения трехногого низкого столика: *софра, паралия, синия, астач, терке*). Иногда иноязычное слово в диалектах вытесняет славянское («ткацкий стан» в болгарском языке это и слав. *стан, разбой*, и диал. тур. *тезгях, тезгяр*). Для заимствований вне системы мифологических поверий, обрядности важно то, как обрастает слово переносными значениями, — приходят ли они вместе с заимствованием или развиваются самостоятельно на славянской почве. Процессы сужения или, наоборот, расширения семантического объема слова часто происходят в языке-реципиенте (см. о вариативности значения турецких качественных прилагательных [Седакова 1998а]).

Заимствования в славянские языки из языков балканского окружения различаются по многим параметрам, прежде всего по географии². Если говорить о турцизмах, то зоны их распространения очень широки, тогда как грецизмы и заимствования из румынского концентрируются в зонах приграничных. Очевидно, что заимствования могут иметь статус общеболгарских, общесербских и т. д. или локально ограниченных. Отсюда следует существенность такого важного показателя, как **освоенность/неосвоенность** слова. Некоторые иноязычные лексемы «вросли» в славянские языки, они образуют парадигмы словообразовательные и формообразовательные с использованием славянских и неславянских аффиксов (для болгарского языка это, например, *орисници, късмет, курбан* и мн. др.).

² Вопрос о географическом распространении заимствований ставят болгарские диалектологи, однако до сих пор он остается нерешенным и поэтому представляется чрезвычайно актуальным в наши дни. Ал. Т.-Балан еще в 1947 г. отмечал, что по географии заимствованных слов нет обобщающих работ, хотя ареальные различия очевидны. Особое значение имеют юго-восточные говоры, в которых греческие заимствования многочисленны и архаичны. Второе место, по Т.-Балану, занимают юго-западные говоры, причем интересно то, что охвачены не только зоны непосредственного контакта [Т.-Балан 1947: 24]. О важности ареальной характеристики заимствований писал и М. Сл. Младенов применительно к румынской лексике (см. исключительно важную статью о зонах распространения румынских слов в северо-восточной Болгарии по данным БДА: [Младенов 1972: 27—31]). Интересна также мысль М. Арнаудова об особой «балканской отмеченности» Восточной Фракии (Малко Тырново, Лозенградско, нижнее течение Марицы). По мнению ученого, это своеобразный культурно-исторический мост, по которому происходил обмен религиозными и эстетическими идеями, поэтическими мотивами и обрядами между народами Балканского полуострова и Азии [Арнаудов 1913: 101].

Локальные микросистемы одного говора характеризуются такими типовыми ситуациями: заимствование полностью вытесняет славянское (*нишан* [Седакова 1999], *лехуса* [Седакова 1996]) и др.; используется синонимично и параллельно, в одном регистре (*нишан* = *знак*; *лехуса* = *родилка*); различаются сферы употребления славянского и неславянского в рамках словаря духовной культуры (*даруване* — *харизване*: первое в свадьбе, второе — в медицине).

Неодинакова и **проницаемость** лексико-тематических групп словаря духовной культуры. Обрядовый хлеб, связанный с аграрной магией, чаще всего обозначается славянскими терминами (хотя само родовое обозначение хлеба и пирога — балканское: *пита*, *погача*, *колак*, *пакенда*). В сфере же демонологии заимствований очень много. Это связано с тем, что страшное, опасное, непонятное и необъяснимое табуируется и сознательно замещается чужим. Здесь важно не только обозначение через «чужое», но и само иноязычное звучание, всегда определяемое носителями языка как «не свое» (*караконджол* и др., имена некрещеных детей — *айол*, *гуджо*, *джоле*, *дживгар*, *джавдже* и мн. др.). В переходных обрядах, где меняется статус, — в родинах, в свадебных и погребальных обрядах также много иноязычной по происхождению лексики [Василева 1972]). Очевидно, что проникновение «чужих» слов в обрядовые терминосистемы обусловлено сохраняющейся до сих пор в некоторых регионах Балкан ситуацией двуязычия и, кроме того, сосуществованием двух конфессий. Социолингвистическими причинами, как кажется, объясняется заимствование обрядовых терминов, образованных от числительных³ — одних из наиболее частотных слов — например, тур. *къркат* ‘сорок дней после смерти’ [БЕР 2: 204]; *къркладисвам* ‘заканчиваться — о сорокадневном периоде после родов’ [БД 2: 195], греч. *съръндисвам се* ‘то же’ [БД 6: 91]. Это больше относится к зонам непосредственного контакта или недавних миграций (Родопы, Южная Фракия, Странджа).

Балканская толерантность к заимствованиям соединяется с определенным отбором лексических средств для отражения балканской модели мира, а именно в той ее части, которая несет основные знания и традиции и подвергается инновациям лишь при определенных социокультурных условиях.

С точки зрения заимствования лексем и, возможно, концептов и целых систем представлений, демонология — наиболее сложная для анализа тема. Здесь играют роль несколько факторов: прежде всего, имеющиеся материалы не так удалены во времени, они фиксируют состояние системы мифологических персонажей (далее МП) самое раннее XIX века. То есть размытость этой

³ Наши наблюдения в селах Кирсово и Твардица — районах болгарской диаспоры на территории Молдавии — подтверждают тот факт, что числительные быстрее всего замещаются иноязычными соответствиями [Кирсово, Твардица].

системы, смешение характеристик различных демонов — картина, которую мы реконструируем по опубликованным данным и современным записям. Демонология — сфера народных знаний, пересекающихся с конфессиональными воззрениями, поэтому различия в исповедании (православие—ислам) вносят свои нюансы в интерпретацию МП⁴.

В данной работе рассматриваются сезонные мифологические персонажи, известные славянам на Балканах преимущественно под названиями *караконджо*, *караконджол*, *караконджола* (далее К.) и делается попытка привлечь, насколько это возможно, новогреческий и тюркский материалы. Статьи в словарях и энциклопедиях [Толстой 1995б; СМР; БМ], специальные работы по славянской мифологии [Bernard 1970; Георгиева 1983; Вражиновски 1995; Вражиновски 1998; Зечевић 1981; Раденковић 1995; Раденковић 1996; Раденковић Р. 1991; Чајкановић 1994; Плотникова 1998] обязательно касаются вопросов «балканскости» К. В последние годы опубликован ряд исследований других демонов, характерных для балканских славян — *лама* [Плотникова 1997], *волколак* [Гура, Левкиевская 1995], *вампир* [Левкиевская 1995], *орисници* [Седакова 1995]. В балканославянских МП и их терминологии открываются как античные следы, так и позднейшие перекрестные взаимовлияния.

* * *

Сезонные (святочные, зимние) персонажи низшей мифологии известны на Балканах этнокультурным традициям и славянского, и неславянского населения, и христианам, и мусульманам (греч. *kallikantzaros*, болг. и гагауз. *караконджо*, сербск. *караконђул*, макед. *караконџол*, арум. *carcandzal*, но нет в румынской традиции, алб. *karkanxoll* и тур. *kara concolos*). По указанию многих исследователей, святочные МП под именем ⁺*karakondzol* встречаются только в языках тех народов, которые находились в непосредственном контакте в греками и турками, у других балканских и европейских народов такого названия нет [Зечевић 1981: 166; Вражиновски 1998: 228]. Если говорить о славянах, это болгары, македонцы, сербы и черногорцы (см. карту № 3). Описание К. или хотя бы их упоминание — общее место этнографических трудов по календарной обрядности или демонологии как отдельных местностей (локальные традиции), так и более широких зон — например, Пиринского края, Ро-

⁴ Здесь представляется очень ценным замечание В. А. Гордлевского, который в османской народной культуре выделил элементы наносные: «Они подавляют крупницы первоначальных верований османцев, это не удивительно, потому что у турок в момент принятия ислама не выработалось еще стройной религиозной системы, и, входя в соприкосновение с соседними народами, они заимствовали у них суеверия, которыми жили те, и османские суеверия приобрели еще более пестрый и спутанный характер» [Гордлевский 1962: 305].

доп и др. Характеристика МП присутствует во всех известных монографиях и словарях по демонологии. В самых общих чертах это или чудовища антропоморфного, зооморфного или антропозооморфного облика, или невидимые существа, которые нападают ночью на людей и ездят на них верхом обычно за пределами освоенного пространства. Они могут быть очень опасными, кровожадными или же просто пугают людей. Менее распространены представления о том, что К. проникает в дом и там «поганит» воду и пищу.

К сожалению, описания не содержат максимальной схемы этого МП, обычно характеризуются или их внешний вид и место, или действия и происхождение. Из всей литературы — как собственно эмпирических материалов, так и аналитических работ — создается очень пестрая картина. Представления об облике, атрибутах, функциях, локусах обитания и жертвах этих демонов, народные взгляды на генезис мозаичны, а предположения исследователей нередко противоречивы. Видимо, это отражает всю сложность балканской ситуации с характерными для нее взаимными влияниями, переплетениями и наслоениями языков и культур, тем более, что этот МП известен только там, где, действительно, были и порой сохраняются и в наши дни контакты между славянским и неславянским населением полуострова.

Как следует из этнографических данных, характеристики К. и его действий различаются между отдельными традициями (греческой, болгарской, сербской и т. д.) и внутри каждой традиции. Однако есть и общее. К наиболее устойчивым признакам относится сезонность этих МП — их деятельность приурочена преимущественно к святкам у христиан (январь именуется *караконджолов месец*), у мусульман — к зимней стуже и к празднику *земхери*. Менее устойчиво это представление у сербов, в Грузии считается, что К. появляется дважды в год — на святки и осенью [СЕЗб 58/1948: 343]. В некоторых районах северо-восточной Болгарии К. переплетается с образом святого Тодора — демонического всадника, появляющегося весной на Тодоровой неделе [Попов 1992]⁵. Позднейшей трансформацией образа К. (подобно другим МП) стало вхождение его в систему детских пугал без временной соотнесенности

⁵ Тодорова неделя называется также *черна, празна, луда*. Обрядность и регламентация действий этого времени во многом сходна со святочным двенадцатидневьем: вода считается «поганой», рожденные на этой неделе дети и умершие в этот период могут превратиться в К. или вампира. Снесенные на Тодоровой неделе яйца не используют для выведения цыплят — из них могут вывестись демоны — *тудурчета* или *каракончета*. Существуют представления о св. Тодоре как о всаднике на белом коне, который «выезжает с кладбища, как *таласъм*», св. Тодор напрямую уподобляется К.: «Св. Тодор е като каракончо и ходи на бял кон през Тудурица» [Попов 1992: 81; Лов. кр.: 284]. Мне кажется, это позднейшие параллели, потому что образ св. Тодора в виде К. фиксируется именно на северо-востоке Болгарии, где К. имеет «лошадиную» ипостась.

[Равна 1997 и др.]. Во всех традициях К. — это **ночной** демон, он исчезает с первым пением петухов.

Все остальные признаки К. столь различны, что порой кажется, будто они не укладываются ни в какие стройные системы. Однако кое-какие обобщения и выводы сделать можно. Начнем с терминологии (см. карту № 1 и комментарии к картам). Термин ⁺*karakondzol* очень устойчив во всех традициях, хотя и подвергается значительной фонетической и морфологической вариативности (см. Индекс терминов). Болгарские, македонские и сербские термины МП отражают многие диалектные фонетические особенности. Для болгар это редукция *o* в *u*, *a* в *ъ*, смягчение конечного согласного, переход аффрикаты *дж* в *ж*, *дз* в *з*; для сербов — *и* и *ђ*. Во всех языках возможна утрата первой части *кара* (*конджур*), а в сербском языке — третьего слога — *каранђелоз* и др. Морфологические характеристики непосредственно отражают представления о К. Так, в болгарском языке термины нередко оформлены по среднему или мужскому роду, в сербском же фиксируются термины женского рода, что соответствует доминированию мужской ипостаси у болгар и женской у сербов. Обобщение демонов в бесчисленное количество отражает форма собирательного множественного числа у болгар (*караконджурето*). Определенный артикль обязателен и в единственном, и во множественном числе, как и при обозначении других МП с референцией «известного, подразумеваемого». Словообразовательные компоненты терминов также весьма показательны, они явно «славянизированы». Болгарские словообразования с суффиксами *-ул*, *-ур* входят в парадигму слов с теми же суффиксами, которые имеют негативную оценку и нередко встречаются в самых различных терминах духовной культуры [Добрев 1970: 779—780]. Определенной частотностью обладает и суффикс со значением лица *-ин*, добавляемый к терминам К. Это расширение имеет уничижительный оттенок.

Особый интерес представляют формы *кандзо*, *кандзил* и др. под. — ‘дьявол’, зафиксированные в проклятиях и поверьях о нечистой силе, отчасти о святочных демонах (*Зел те кандзо* [СБНУ 42/1936: 115]; *Терала те кандзата* [Доня Каменица]). Сходная демонологическая лексика используется в ругательствах: *кандзъл*, *канзо* — болг. ‘дьявол’ [МБТР: 997], *кънса* — ‘дьявол, демон, приносящий несчастье’; *кънсавурин* — серб. ‘дьявол, негодяй’ [Динић 1992: 437]. Эти термины образуют один ареал, распространяющийся по обе стороны государственной границы между Болгарией и Сербией (см. Индекс терминов) — западная Болгария (Трын, Соф., Брезник) и восточная Сербия (Заглавак, Тимок и Вране). *Кандзил* трактуется этимологами как вторая часть от *караканзал*, что, в свою очередь, возводится к *караконджол* [БЕР 2:201, 232]. Эта этимология может быть верной, если принять, что слово заимствовалось в греческой или арумьнской огласовке. Уже упоминалось о нередкой утрате первой части термина, кроме этого, здесь важны пути проникновения слова, язык-посредник. Представляется, что более редкие термины с *л* и *з*, *дз*

(калакандзер) и др., видимо, проникли в болг. яз. непосредственно из греческого, а не из турецкого, как формы с *p* и *ж*, *дж* (караконджул и пр.).

Еще одна подгруппа терминов для обозначения К. — *джонголоз*, *джанголоз* — образована в результате метатезы и озвончения согласного К. [Bernard 1970] или восходит к тур. *songalaz* ‘старуха’ [БЕР 1: 368]. Подобные турецкому значения этого слова фиксируются и в болг. яз.: *джонгolos* — тур. ‘старый, сгорбленный, морщинистый человек’, перен. уничиж. ‘старик’ [МБТР: 531]; *джонгolos* — уничиж. ‘старик’ [Геров 1: 289], *джонголозин* ‘старый развратник’ [РБЕ 4: 27], обычно они используются в ругательствах: *Джанголозину проклет!* *Джангolos проклет!* (Самок.) [СБНУ 42/1936: 115]. Эта же лексема обозначает святочных ряженных, а также ребенка, родившегося в святки и обладающего особыми, демоническими свойствами (независимо от термина эти поверья общеполканские). Исследователь османской культуры В. А. Гордлевский приводит термины *караконджо*, *конджолос* и *джонголоз* синонимично при описании зимних демонов, хотя, как представляется, информация распадается на две части. Во-первых, это чудовища, выходящие на святки из пещер, а во-вторых, домашний дух, наносящий вред только посуде (подробнее см. ниже). Народная этимология турок — *джонголоз*, согласно которой слово возводится к *джон*, *джан* — «колокольчики», находит подтверждение и в болгарском этнолингвистическом материале. *Джан* (с оглушением *чан*), *джънгарац* заимствованы и в болг., и в макед. диалектах (*Дангарлак* (макед.) — ‘колокольчик на скотине’ [Пеев 1988: 137, Кукушко], *джангарак* — ‘колокольчик’ [Геров 1: 287]). Колокольчики являются атрибутом ряженных (получающих соответственное именование *джонгалджи*). Ряженные в некоторых областях Болгарии (юго-запад, Ю. Фракия) по окончании двенадцатидневья совершают обходы села, чтобы изгнать всю нечистую силу, активизирующуюся в святки [Вакарелски 1935: 169; Пир. кр.: 431]. О диалектно-разговорной освоенности корня *джан*- свидетельствует обильный лексический материал, обычно экспрессивная лексика, основанная на метафоре по звуку: *джангаза*⁶ — ‘болтун, пустозвон, вздорный, скандальный человек’ (прямое заимствование из тур. *çangaza*), *джан-джан*, *чан-чан* ‘то же’ [МБТР: 528], *джангър* — ‘шум, ссоры’ [РБЕ 4: 11]). К этой группе лексики примыкают и болг. слова *джонго*, *джонгали* и (с оглушением) *чангало*, которые гипотетически возводятся к цыг. *ç(h)ang*, *ç(h)angalo* [Костов 1975]. Этимологический словарь болгарского языка не дает удовлетворительных этимологий подгруппы этих терминов⁷. Представляется, что эти лексемы несут в себе

⁶ Ср. также болг. детские дразнилки: «Дядо Никола джангазата, катран му капе от (по) брадата!»

⁷ Похоже, что за аффрикатами *ч*, *дж* в болгарском языке закреплено маркированное отрицательное значение (для явно заимствованных слов) — ср. многочисленные обозначения

значение некоторых демонических атрибутов: кости, костлявые, длинные ноги, ср. болг. загадку — «Дъльг Джонго без кокале» [Дым] (семантика высокого, длинного) [БНПП: 377]. Типичная ситуация для балканского ареала — наслоение, группировка нескольких иноязычных корней различной этимологии со смежными значениями, поскольку близко и содержание — ‘старый’, ‘костлявый’, ‘длинноногий’ — и фонетический облик слов. Заимствованные слова подвергаются процессам народной этимологии в славянских языках [СБНУ 9/1896]. Прежде всего, выделяется первая часть К. — *кара* (от тур. ‘черный’, которая хорошо освоена в балканославянских диалектах (ср. болг. *карагъоз*, макед. *карагъозли* ‘черноглазый’, серб. *караца* ‘черный вол’ и мн. др.). Действительно, МП рисуется прежде всего как **черный** демон. Некоторые исследователи (Сл. Зечевич) считают цветовую характеристику одной из основных в общем описании этого МП. Эта часть выделяется и в научных этимологиях слова *караконджул* (от тур. ‘черный’ и *congolos* — ‘чудовище’). Возможно, семантическая прозрачность первой части термина МП влияет и на его описания, в данном случае представления о его цветовых характеристиках. Подобный процесс наблюдается и при народном осмыслении и выделении второй части термина. Болг. *карам* ‘ездить верхом’ включается в характеристику МП, передавая основные его действия в святки: К. садится верхом и погоняет свою жертву. Еще одна народная этимология возводит вторую часть термина к слову *кон* (*каракончо*), что соответствует «лошадиной», наподобие кентавра, ипостаси К. Термин К. соотносится и с болг. *крак* «нога», отголоски такой народной этимологии, возможно, следует усматривать в сербском использовании слов *караканца*, *каракандула* для загадывания ног коня [РСКНЈ: 271].

О народной этимологии слова *джонгалоз* у турок уже шла речь (см. выше). Отчасти воспроизводящей народную греческую этимологию представляется нам гипотеза Дж. Лосона и П. Фермора [Lawson 1904; Fermor 1958], выдвигающая на первый план античный пласт в новогреческой мифологии (*kallikantzaros* — это соединение *kalos* и *kentauros*, т. е. ‘добрый кентавр’).

Зимние (святочные) демоны известны и под другими названиями. Здесь общую территорию образует северная Греция и южная Болгария, где эти МП именуются «поганые» (*поганци*, *буганци*). Этот термин полисемичен, он обозначает не только МП, но и язычников, инородцев, людей иных конфессий (*боганец* — и К., и болгарин, принявший мусульманство, — родопск. [БД 2: 130]), что хорошо известно не только из устной народной культуры, но и зафиксировано в древнейших памятниках письменности [Дукова 1981; Фасмер 3: 294; БЕР 5: 416—421]. Анализ этого слова применительно к К. позволяет реконструировать в единую картину сербские и греческие представления о

ния некрещеного младенца уничтожительными или демоническими терминами, в длинном списке с этими звуковыми комплексами мы обнаружим *джале*, *чуре* и мн. др.

происхождении святочного демона из еврейских невест или еврейских младенцев (т. е. инородцев), ср. характеристику святок как дней «некрещеных», «нечистых», «поганых» и пр. [Зечевић 1981: 168; Чајкановић 1994: 313; СЕЗБ 70/1958].

Кроме рассмотренных заимствованных терминов для святочного демона, используются и славянские. Эта лексика преимущественно метафорическая, оценочная: болг., макед. «кривые», «внешние», «вывернутые наизнанку», «нечистые, грязные». Единичный болг. термин *междарок* = К. не упоминается в БЕР, однако очевидно, что это словообразование от *межда* (из праслав. **medja*) указывает на архаичные представления о зимнем двенадцатидневье как о пограничье, «ни том, ни этом», «ничьем» времени, а значит времени, в котором, по народным представлениям, приобретают силу различные демоны, ср. однокоренные болг. *междина* — ‘пустое пространство, пограничье’; *смеждявам* — ‘переживать трагедию’; *премеждие* — ‘несчастье, беда’ [БЕР 3: 715].

Терминология святочных демонов составляет определенное единство с хрононимами самих святок, которые содержат множество мифологических и обрядовых аллюзий (см. карту № 2 и комментарии к картам). Лексические средства характеризуют двенадцатидневье как период «некрещеный» (в связи с народно-христианскими представлениями о том, что «вода некрещеная», а порой и земля, и небо тоже), «нечистый» (*нечиста неделя*), «грязный» и «скоромный» (*мръсни, галатни дни, бишкини, блажни дене*), «нехороший» (*нефели, неарни, лоши дни*). Это время, когда распушены души умерших, — отсюда *мартви денове* (Скопска котлина). Святки — это дни, принадлежащие нечистоти (*конджурови дни, погановите дни, пугановата неделя, Буганчева неделя*), ср. также *черната неделя* и *кара-конджол* ‘черный демон’, *Вампирското погано* [Странджа: 231], *Вльчко погано* [там же: 316], *дяволски дене*. Это период, когда нужно соблюдать многие запреты на работу, чтобы не разгневать нечистую силу и особенно К., отсюда серб. *несновица, неснов*.

Приведенные этнолингвистические данные показывают лишь то, что лежит на поверхности, что эксплицировано в языке и ритуале. Реконструкция же как самого слова К., так и генезиса образа этого МП затруднена в связи с тем, что вследствие контактов языков и культур соседних народов на Балканах демонологическая лексика и ее «денотаты» претерпели множество наслоений и перекрестных взаимодействий. В научной литературе высказываются самые разнообразные, порой противоречивые мнения о времени и месте возникновения образов К. и их лексических обозначений. Теории античного происхождения сезонных демонов противостоят многочисленные указания на византийскую, новогреческую, турецкую мифологическую и обрядовую систему в качестве первоначального источника зарождения и последующего распространения подобных верований в балканских землях. Этимологические

разыскания также нередко заводят ученых в тупик, поскольку турецкий термин восходит к греческому, а греческий (иногда через албанский) возводится к турецкому, что, таким образом, создает замкнутый круг⁸. По-моему, при этимологии слова и реконструкции образа МП следует больше внимания уделять данным неславянских традиций, особенно же нужно учитывать диалектную дифференциацию (в том числе и мифологическую) неславянских зон на Балканах. Для сопоставления славянских и неславянских балканских традиций нужно выявить всю сумму представлений о К. по возможности в их ареальной привязанности (по схеме описания МП см.: [Виноградова и др. 1989]).

Действительно, отрицать сходство (по крайней мере, внешнее) святочных демонов не только с кентавром (подобный облик часто имеет болгарский К.), но и с паном, сатиром и циклопом (во всех балканских традициях) трудно. Это сходство касается лишь внешнего вида. На балканских территориях вычленяются ареалы, к которым привязаны определенные представления о внешнем облике К. (см. карту № 3 и комментарии к картам). Обычно вычленяют четыре группы описаний внешнего вида К.: антропозооморфный, зооморфный, человеческий и четвертая группа — невидимые МП. Облик кентавра характерен преимущественно для севера Болгарии [Моллов 1985: 153; АЦР, Митровци, Мих.; АЦР, с. Рани-Луг, Перн. и др.]. К. видится как человек, порой с самыми различными аномалиями: одноглазый, одноногий, с огромными ушами, костлявый, голый или обросший шерстью, с красными горящими глазами, с несоразмерно огромной головой, очень высокий или, наоборот, ростом с ребенка. Антропозооморфный облик К. фиксируется и в Греции, однако там преобладают описания К. как человека с козлиными ногами, хвостом, рогами, когтями и пр., но мотивов «коня» нам, во всяком случае, не встретилось. Нередко К. приписывается облик животных — собак, кошек, зайцев, курицы, козленка, барашка, обезьяны, верблюда, медведя [Капанци: 270], им свойственно и оборотничество. Только сербы описывают К. как женского МП. Если в Болгарии и Македонии известны представления о семьях К., о наличии К. женского пола⁹ (ср. былички о приглашении сельской повитухи к рожающей К.), в Греции же специально подчеркивается, что К. не бывают

⁸ По мнению Радлова, *конджолос* «леший людоед» [3: 548]. Этимологию слова Гордлевский определяет как сложное слово из *kara* и *ἄγγελος* — «черный ангел», т.е. дьявол., полагая, что это заимствование из новогреческой демонологии в турецкую [Гордлевский 1962: 303, 343]. К. считаются новогреческими демонами из-за их имени [Куриякидес 1968: 33]. Политес высказал мнение, что образы К. возникли из-за существования одноименных процессий ряженных в святки. Мегас, Чайканович и др., однако, утверждают о наличии связи К. с душами предков, есть и др. теории [Чайканович 1994: 313].

⁹ Не случайно в сербских словарях К. толкуется как «ведьма» и служит экспрессивным обозначением неряшливо одетой, лохматой женщины.

женского пола, в связи с этим поверья о том, что рожденные в святки дети становятся К., распространяются лишь на младенцев-мальчиков. К. может быть невидимым — его присутствие у македонцев и болгар обозначается как «ветер», «голос» [Вражиновски 1998: 229; Родопи: 39].

Для реконструкции образа К. важно и то, какие синонимы используются при его характеристике. Здесь также наблюдаются значительные разночтения. Так, единичным является упоминание о К. как о домовом [Каравелов 1861: 278] — *каракончо* ‘подобие домового’. К. уподобляется мифологическим персонажам *таласъм*¹⁰, *врколак* и *врколок* [СБНУ 42/1936: 115], (ср. и греческое К. = *ликантропос* «человек-волк» и южно-болгарские и греческие поверья о том, что в святки К. бродит вместе с волками и точит зубы), вампиру.

Очевидно, что эти вторичные номинации обуславливаются описаниями его места обитания и картиной тех действий, которые производит К. К. выходит в святки из пещер и лесов, из-под земли (по болгарским верованиям, в святки земля подобна решету, оттуда и вылезают К.). Записаны рассказы, в которых упоминаются точные локусы К. В родопском селе Петково К. обитает в местности, известной как *Гарванова дупка*. У сербов очень часто (и иногда у болгар и македонцев) К. считается водным демоном (живут подо льдом, возле мельниц, колодцев и т. д.). В Черногории записаны рассказы о К., живущем в озерах [Ровинский]. Особенной архаичными, связанными с мотивом мирового древа, представляются греческие подробные свидетельства о месте обитания К. (см. ниже).

Наиболее распространено представление о К. как о существе, которое садится верхом на человека и погоняет его всю ночь, порой оставляя его на скалах, у омутов, на льду реки [Примовски 1969: 172]. Разрозненные данные о К. как о кровожадном вампире, способном выпить кровь или съесть человека [Родопи: 39; СБНУ 6/1891: 90; Вражиновски 1995: 133], отчасти имеют корни в языческой зимней обрядности, связанной с закланием рождественского поросенка. Здесь выделяются ареалы северо-восточной Болгарии, где считается, что К. появляется тогда и там, когда и где зарезали свинью, и Греции, где также К. приписывается любовь к свинине. В северной Болгарии записаны даже особые словесные формулы, которые произносятся, когда к Рождеству режут свинью: *Краката за Дарак Караконджа* «ноги для караконджо-щетки» [АЦР, с. Коиловци, Плев.]. Связь К. со свиньей можно увидеть и в обычае сжигать кости рождественского поросенка с тем, «чтобы сжечь К.» [Пл. кр.: 255, 303]. В Родопах рождественский поросенок называется *караканзел*, приготовленные из него блюда считаются нечистыми, погаными [Родопи: 91].

¹⁰ *Таласъм* — это МП, заимствованный из демонологических представлений турок.

Как и другие МП, К. способны насыщать болезни (болг., макед.), особенно если их встретить, наступить на «их» место или потревожить их детей [Родопи: 39; Вражиновски 1998: 229].

Значительно меньше данных о том, что К. связан с домашним пространством — сидит на дымоходе, свистит в трубу, спускается в дом, чтобы разбить посуду, опоганить пищу и воду (помочиться или плюнуть туда). Подобные поверья встречаются мозаично на территории балканославянских стран, они более типичны для Греции и переселенцев оттуда, а также для сточаров. Пище и воде в особенности уделяется в святочной регламентации поведения особое внимание. В Сербии не пьют воду ночью, не моют некрещеных детей, в Болгарии и Македонии рекомендуют закрывать сосуды с водой и пищей на ночь или даже обязательно опорожнять посуду, защищаясь от вредоносных действий К.

Общим для всех балканских народов является представление, что люди, рожденные (или зачатые) в святки, становятся К.¹¹ Указывается, что К., в отличие от вампира, это живые люди [АЦР, Ребърково, Врач.]. Своего рода оборотничество в К. может передаваться по наследству: обычные люди на время святков становятся К. [Вакарелски 1935: 406; Зечевић 1981: 168]. Кроме того, К. могут «опоганить», заразить обычных людей и приобщить их к своей стае. В тех районах, где К. уподобляется вампиру, происхождение этих МП идентично: это либо умершие в святки (чтобы избежать этого, их протыкают иглой [Родопи: 90]), особенно умершие дети, рожденные в ночь под Рождество [Странджа: 231], либо покойники при несоблюдении похоронной обрядности. Спорадически — К. — это душа свиньи, заколотой к Рождеству [АЦР, с. Гостилица, Габр.]. Вопрос о связи К. с рождественским поросенком и свиной не так прост. С одной стороны, сам К. лижет кровь на том месте, где зарезали поросенка [Лов. кр.], любит свинину, требуху. С другой стороны, он следит за тем, чтобы люди в пост не разговелись раньше времени, а начав есть свинину, не передали (это одна из парадоксальных функций К. — следить за соблюдением христианской обрядности).

Святочные запреты у балканских славян носят преимущественно превентивный характер и призваны уберечь человека от К. Нельзя выходить из дома ночью, нельзя прясть, ткать, отправляться в дорогу, жениться, сва-

¹¹ По южнославянским поверьям, рожденные в святки становятся К., видят вампиров, девушек впоследствии может полюбить змей. Бабки и повитухи окуривают их [Родопи: 90]. Если же ребенок рождается перед криком петухов, женщины шьют обыденную рубашку и надевают ее на ребенка [Странджа: 231; Лов. кр.: 285]. Греки объясняют демонические свойства новорожденных тем, что зачаты они были под Благовещенье. Чтобы избежать превращения младенца в К., мать подпиливает ногти ребенку, на шею надевает ожерелье из чеснока [Megias 1958: 34].

таться, крестить детей, хоронить, отпевать и поминать. Запрещены все действия с водой. Интересна народная трактовка святочного пепла. Здесь картина представляется неоднородной, наблюдаются две противоположные мотивировки, делящие балканскую территорию на две части: северную и южную. Так, на юге Болгарии и в Греции запрещается выбрасывать пепел — *буганци* и волки по нему ходят, размножаются [Родопи: 89; Буковина 1995: 256; Примовски 1969: 176]. На севере пеплом от рождественского полена — бадняка — посыпают вокруг дома, чтобы К. не проникал внутрь. Известно и крещенское ритуальное высыпание пепла с целью изгнания К (*пепеляне караконджорето*). Амбивалентность некоторых реалий, связанных с К (в данном случае поросенок, пепел), отражает типично балканскую ситуацию, когда одно явление может иметь и положительную, и негативную окраску [Цивьян 1993: 65—108]. Это связано с ареальным членением языкового континуума, вследствие чего противоположные по значению изоглоссы и изодоксы могут соединять одни диалекты (языковые, культурные) с другими.

«Объектами» нападения К. у сербов служат пьяницы, женщины (которых длинными руками через дымоход вытягивает К.), у болгар — запоздалые путники и дети. Могут быть наказания и все домочадцы, нарушающие святочные запреты на работу, и пр. Реципиентами К. являются «субботние» дети, именно они видят, как К. улыбаются страшной улыбкой в окно, показывая, кто умрет в следующем году [АЦР, с. Коиловци, Плев.].

Хр. Вакарелски, отмечая близость К. к домовому, однако, видит разницу в том, что культ этого МП и жертвоприношения ему у славян не развиты. Действительно, можно говорить лишь об элементах жертвоприношений. Если у греков сохраняются обычаи угощения К. специально выпеченными оладьями, у славян подобные свидетельства об угощении этих МП единичны (в западных Родобах оставляют неубранным стол после Рождества, Нового года и Крещения для К. [Георгиева 1983: 151]). Жертвоприношением можно считать вывешивание свинины над входной дверью (Ю. Фракия).

Обереги и превентивные действия значительно преобладают над жертвоприношениями. В Родобах берут освященную в день св. Игната воду и опрыскивают ею дом, женщины обходят дом и обсыпают его слева направо из рукава просом [Родопи: 39, 91]. К. поручаются традиционные для нечистой силы «невыполнимые» задания: так, вывешивают подсолнечник, чтобы он считал семечки [СБНУ 42/1936:115], или шерсть, чтобы он ее чесал [АЕИМ 775-II]. Строгое соблюдение норм поведения, использование святочно-обрядовых предметов — окуренного чеснока, углей от бадняка, воды, в которой погашен уголь, христианская символика — крест, крестное знамя, молитва — все это помогает избежать встречи с К. Тщательно охраняют и дом, чтобы К. туда

не проник: закрывают двери, обвешивают их колючками, рисуют кресты из дегтя [Странджа: 231]. Разговаривают между собой тихо, чтобы К., которые, как верят, сидят на крыше, их не услышали.

В конце святок совершается изгнание К., это связывается с крещенскими обходами священника или ритуальными процессиями [Родопи: 39; Делиниколова 1960: 143—145].

Народная фольклорная проза, упоминающая о К., — былички — также сезонно привязаны, их рассказывают в святочные дни, в любом случае описанные в рассказах действия происходят в «нечистые дни». Исследователи отмечают, что в настоящее время самые устойчивые представления о К., как и о других МП, можно почерпнуть из фольклора [Странджа: 231]. Л. Раденкович выделяет следующие группы сюжетов о К.: имитация голоса и последующее наказание человека за несоблюдение святочных запретов (К. гоняет человека до утра, усевшись на него верхом); встреча с пьяным (К. также погоняет его); встреча запоздалого путника с К. и приглашение его на свадьбу. Известны также былички о приглашении повитухи для принятия родов и ее щедрой награде; в Ловече рассказы о К. совпадают с рассказами об оборотнях [Лов. кр.: 285].

В сказках К. подвергается особым контаминациям и заменам. Кроме известных сюжетов о К. и падчерице, встречается и сюжетный тип «Полифем», где К. может замещать одноглазого великана. Вместо К. в этой сказке у славян появляются *върколаци*, *джинове* и дьявол [БНПП: 260—261, 537].

Как уже упоминалось, К. в наши дни почти повсеместно стал персонажем детского фольклора. В Старой Загоре бабушки пугают внуков К. — страшным животным, которое появляется после того, как заколют поросенка к Рождеству, чтобы лизать кровь. На голове у него щетка для чесания шерсти. Если ребенок выходил вечером из дома, К., как рассказывали, натывал его на острые зубья щетки и тащил к реке [СБНУ 2/1890:191]. Экспедиционные материалы даже из тех регионов, где остались лишь стертые представления о К. — не как о святочном демоне, а как о МП вне календарной приуроченности для запугивания детей, чтобы они не выходили поздно вечером, позволяют обозначить такие его характерные черты, как ночное время активизации, стук, черные одеяния [Равна 1997].

Дальнейшее развитие лексики и фразеологии — сравнительные обороты и метафорическая уничижительная и бранная лексика — актуализируют основные признаки К.: страшный внешний вид, косматость, лохматость, оборванность, появление ночью. Балканославянская фразеология строится на представлениях об уродливом виде/старости, о характерных действиях МП: *караконцуле те јале* [СЕЗ6 58/ 1948: 343]; *Асли си караконцула ка облечеш туја кожушетину*; *Не тебе ми теква караконца у кући* [Златковић 1989: 324]. То же и в косовско-метохийском говоре о неряшливо одетом и плохо причесан-

ном человеке (РКМД: 281). Македонцы называют К. страшного человека с большой головой [Вражиновски 1995: 133]. В Пловд. кр. [Пл. кр.: 303] *каракондол* — «человек, страдающий бессоницей»; *курконджур* — «старый, изживший свой век», в северо-западной Болгарии *караконджата* — «долговязый человек». Р. Бернар приводит бытующие в современной болгарской речи выражения, которые также сохраняют некоторые представления о святочном демоне: 1) «порождающий страх», «уродливый» — *Страшен като К.*; 2) «пучеглазость» — *Защо се пулиш като К.*; 3) «ночное время действий» — *Окараконджил съм се* (страдаю бессоницей); 4) «связь с заброшенными местами» — *В тази къща живеят само бухали и К.*; 5) «последствия встречи с К.» — *Издраскал го е К.* [Bernard 1970].

Греческие параллели к балканославянским К.

В Греции *каликантзари*¹² — маленькие человечки с козьими ногами, черные, вылезают из дымовых труб. Перед очагом для них ставят подслащенную воду. В каждой деревне в святки рассказывается множество историй об этих МП, причем описания их облика и поведения очень различаются [Sanders 1962: 183]. На о. Лесбос — *каликатзари* — едят свинину, женщины посыпают вокруг дома пеплом от К. Дети прячут свои сокровища [Georgeakus, Pineau 1894: 349]. Мегас описывает каликантзаров в их разнообразном облике: высокие люди, носят железные башмаки; красноглазые, с обезьяними лапами и волосатыми туловищами; кривые, хромые [Megas 1958: 34]. Фермор пишет о двух основных типах К.: 1) великаны антропоморфного вида с преобладанием «козлиного» в облике; 2) черные карлики, ведомые дьяволом (преимущественно на Южном побережье Черного моря). Вторая группа К. безобидна — они проникают в дом, бьют посуду, выпивают все напитки. Танцуют и ночных путников увлекают в свои пляски [Fermor 1958: 194]. Кириакидес пишет, что все К. с дефектом — одноглазые, одноногие, одеты в тряпье, носят обувь из железа, свиные шкуры. Едят они нечисть — лягушек, змей, обожают свинину [Kyriakides 1968: 33]. Хозяйки кладут свинину на крышу домов, чтобы К. не входили в дом. К. вредные, но не смертельно опасные. Они пачкают, портят одежду, воруют, подменяют детей. Нападают на путников, заставляют их танцевать до первых петухов. Они шумные, бьют в барабаны. Появляются перед Рождеством, исчезают на Крещение, когда священник окропит дома крещенской водой. Происходят из людей, родившихся в святки, которые ночью превращаются в косматых чудовищ. Более распространено мнение, что чудовища на святки выходят из подземного мира, где они поддерживают мировое дерево. Кроме того, они не наносят вреда людям — просто поганят воду

¹² Термин транскрибируется с английского, а не с греческого написания.

и пищу (особенно свинину). Используются те же обереги, что и для предохранения от душ предков — дегтем обмазывают ворота, колючки втыкают в ворота и двери, красной нитью окружают дома и храмы. В современных греческих деревнях в качестве оберегов используется нижняя челюсть поросенка, которую помещают перед дверью, в очаг бросают соль или старые башмаки, вешают перед дверью также нечесаный лен. Выпекают лепешки и мажут их медом, а перед Крещеньем на крышу домов бросают олады. Уходят на Крещенье, говоря друг другу: «Пойдемте, пойдемте, вот уже и священник пришел, освящает воду». У переселенцев из Драмско и Солунско в Благоевградско фиксируются идентичные грекам верования о МП *поганци*, *бабугери*, которые бродят по ночам в святки. Если не соблюдать запреты на работу, заболеешь эпилепсией. Ночью из-за К. не пьют воду, посыпают вокруг дома пеплом, чтобы К. не мочились на детей [АЕИМ 775-II].

Близки греческим и южноболгарским, македонским представления балканских сточаров о К. (которого они называют *paghan*). Эти МП с внешностью сатира пугают людей, мочатся на огонь, в сосуды с водой, в пищу. Их ведет хромой дьявол, который первым выходит на Рождество из-под земли. Чтобы К. не проникли в дом, его покрывают диким аспарагусом. Каждый вечер из дома выбрасывают горящие угли, жгут старую одежду и другие вещи, которые при горении сильно пахнут. К. всеми силами стараются влезть в дом. Нельзя сидеть возле огня, оставлять открытыми сосуды. В свинину втыкают вилку (быличка повествует о том, как мать с сыном пекли мясо, которое оказалось отравленным из-за того, что К. помочились на него [Антонијевић 1982: 166—168]).

Как видно из этого описания, сходство болгарских, македонских и сербских святочных демонов с греческими очень велико. Однако одних греческих параллелей недостаточно, поэтому воспользуемся и материалами из османотурецкой и славяно-мусульманской демонологии (последние данные очень важны, так как они отражают систему сосуществования двух культур и конфессий на одной территории). Так, в Височкой Нахии (Хорватия) *каранђолос* известен только мусульманам, в Родопах, где много людей исповедуют ислам, К. также описывается и воспринимается по-разному представителями двух конфессий.

Мусульманские параллели к балканославянским К.

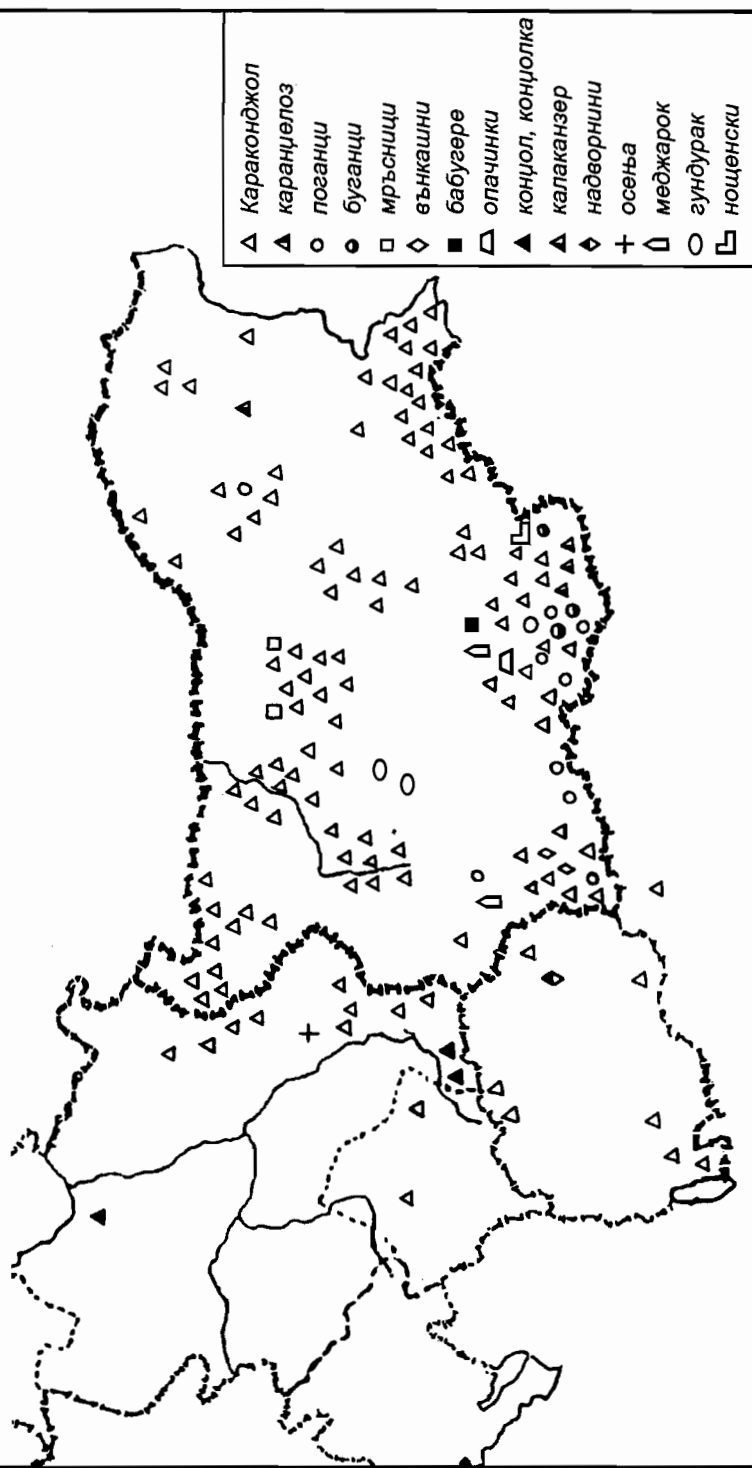
По внешнему виду К. напоминает вампира (Чепинско). *Караконджорови дни* — это девять дней или неделя после Нового года или после Рождества. В первый вечер после Нового года трижды перебрасывают через крышу дома ветку (сорванную левой рукой со словами: «Пусть эта ветка будет крышей моего дома») или камень, чтобы в дом не входили *поганци*. От них закрывают

на ночь сосуды с водой. Считается, что рожденные в святки ходят вместе с К. по рекам [Родопи: 39; 91].

Свидетельства В. А. Гордлевского об османской демонологии отчасти дополняют некоторые данные к общему облику святочного демона у южных славян и греков. Так, ученый пишет, что «в районах, где соседствовали греки и турки и где первые преобладали, от греков перешел к туркам домовый — *караконджолос*. На святках К., гремя цепями, производит сильный шум и пугает людей [Гордлевский 1962: 64]. Далее в обзоре демонологии Гордлевский пишет о духе под названием *джангонос* и/или *конджолос*. Эти МП появляются в зимнюю стужу, в период *земхери*, они забираются в открытые сосуды (ведра с водой, солонки), тогда хозяйки плотно закрывают сосуды [там же: 309]. Матери пугают детей: «Закрывайте все сосуды, а то ночью придет *джангонос* и наплюет туда, а слюна ядовитая. Он нас отравит». Информатор, повествующий об этих МП приводит народную этимологию: основой он считает искаженное *джынгылдын* ‘побрякивающий’, *джангыл-джунгул* ‘с шумом’ [Радлов 4: 22—23], поскольку *джангонос* обвешен колокольчиками. Ночью он тихо открывает комнату, где спят люди, лицо у него черное, глаза сверкают, как огонь, волосы спутанные, одет он в черный наряд. Обычно от страха люди умирают. Нередко *джангонос* подходит к окну и, подражая голосам знакомых, кричит что-нибудь. Когда человек выходит, К. его заводит в глухое место и там душит. *Конджолос* известен и армянам, которые вспоминают о нем в Великий пост и пугают им детей. *Конджолос* параллельно именуется *джангонос* с цитатой из В. Смирнова, что «в Зиренбашы была пещера, ежегодно зимой в самые холодные зимние вечера из пещеры выходили оборотни (кара конджолос) и на телегах разъезжали кругом, с рассветом исчезали в пещере» [Гордлевский 1962: 544]. Как видно из изложенного, здесь, видимо, также следует говорить о диалектных различиях в представлениях о К. и о контаминациях различных функций в одном МП.

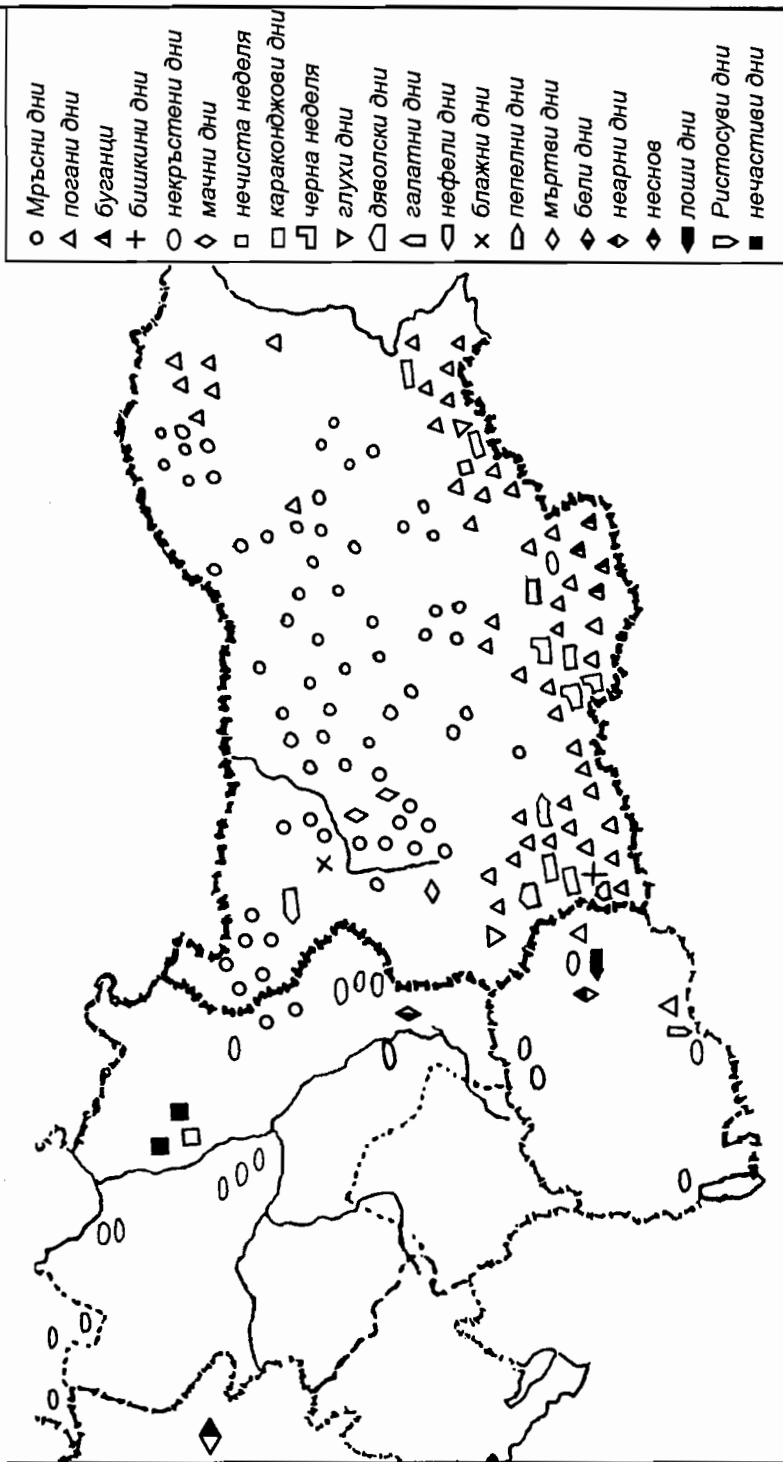
Некоторые выводы. Период зимнего солнцестояния, «нечистые, некрещеные дни» в народной традиции — это время активизации всех злых сил. Это время, когда Иисус Христос не крещен, когда вода «большая», нечистая, когда и земля подобна решету, у нее нет «хозяина», когда распускается вся нечисть. Кроме К., по земле бродят *таласьми*, *тарамбабата*, *гребогазецот*, *вештеричите*, *вампириште*, *чумата*, *колерата* (и вообще все болезни), *джинове*, *дракуси*, *перши*, *юди*, *самодиви*, *гяволи*, *стопан*, *госпудьово*. В самом К. собрано очень много черт, которые характерны для перечисленных МП. Как следует из вышеприведенного обзора, обилие материалов — лингвистических, этнографических и фольклорных — представляют К. как собирательный образ всей нечисти — уже упомянутых вампиров, оборотней, домовых, духов болезней, водяных и пр.

Карта 1. Терминология святочных демонов

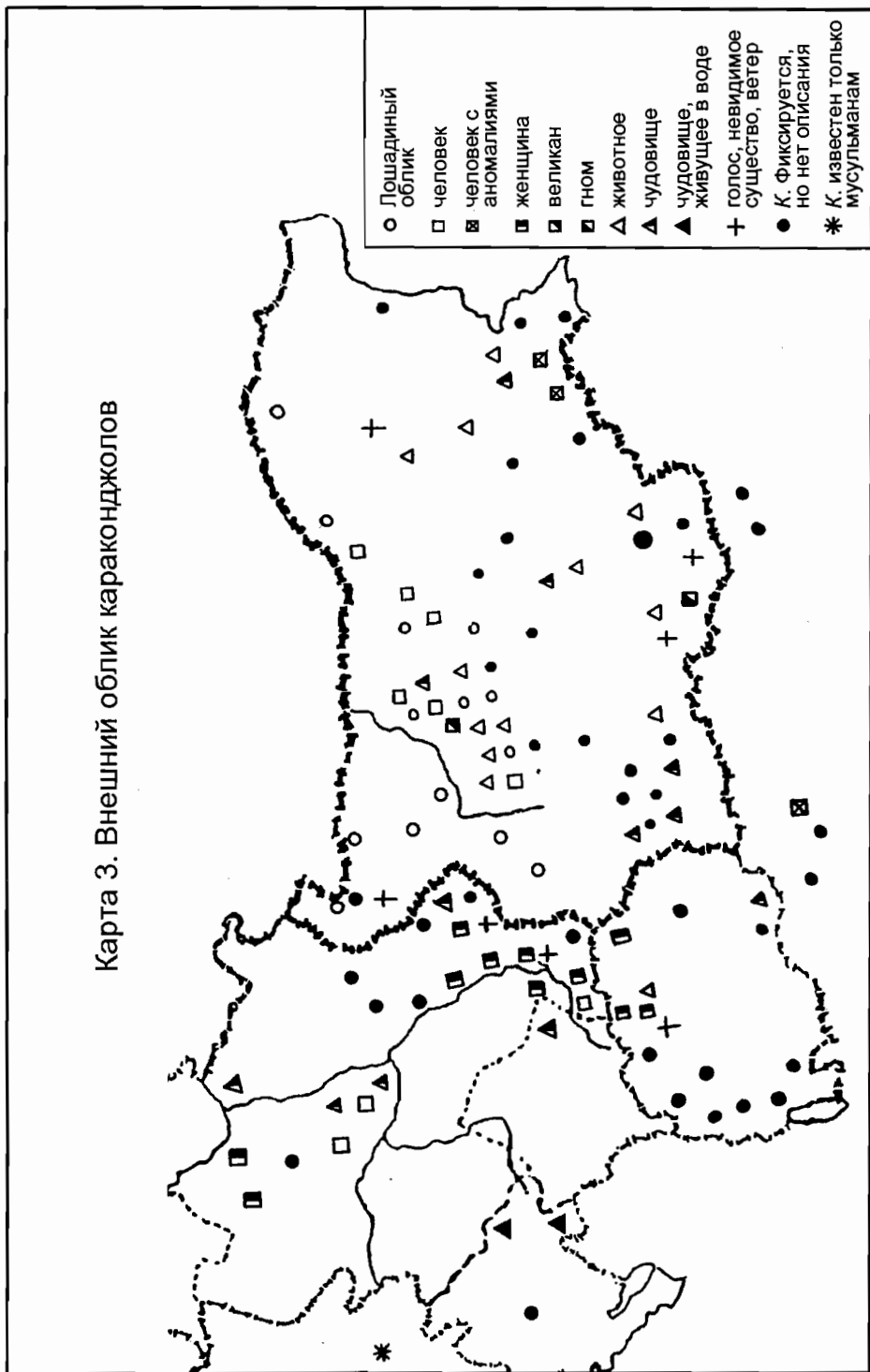


- △ Караконджол
- ▲ каранджелоз
- логанци
- буганци
- мръсници
- ◇ вънкашни
- бабугере
- ◻ олачинки
- ▲ конюл, конюлка
- ▲ калаканзер
- ◇ надворници
- +
- ▽ осеџа
- меджарок
- гундурак
- ◻ нощенски

Карта 2. Обозначения святък



Карта 3. Внешний облик караконджолов



В этом МП слились элементы демонологических представлений различных этносов и конфессий, различных временных пластов. Так, с большой долей вероятности можно говорить об «античном следе» в образе К. (причем тоже собирательно — пана, сатира, циклопа и кентавра). Очевидно также, что в дальнейшем, в более поздние времена, мифологические персонажи античности, «вписываясь» при заимствовании в уже сформировавшуюся у сербов, болгар, македонцев, турок и др. народную картину мира, подвергались значительной трансформации и различным контаминациям. Кроме того, по крайней мере для Болгарии, очевидно, следует принимать во внимание прототюркские компоненты в языке и культуре, для чего следует привлекать материалы из тюркских традиций (ср., например, сходство К. с якутскими *сюллюкюнами* [МНМ 2: 482]). Существенно и наличие славянских сходжений для характеристики К. — особенно с шуликунами [Толстой 1992: 626]. Женской же ипостаси сербского МП соответствует отчасти восточнославянская *кикимора* [Власова 1995: 170—172].

Важно, как проникала лексема и соответствующий фрагмент духовной культуры. Здесь особое значение приобретают ареальные этнолингвистические исследования. Очевидное фонетическое и морфологическое сходство новогреческих лексем с южноболгарскими фракийскими (болг. *каликандзери*) при явном доминировании дериватов от турецкой основы *караконджо* позволяет говорить о двух путях перемещения терминов и их этнографического содержания из одной этнокультурной традиции в другую. Первый путь — непосредственно из греческого языка в южнославянские (также и в обратном направлении) и второй — через турецкий.

«Разнотечения» в характеристике К. вызваны также и тем, что существует не только славянская (как это видно на картах № 1—3), но и общевалканская диалектная раздробленность представлений об этом МП. Выявление этих диалектов на материале фактов народной культуры в целом и демонологической системы в частности остается актуальной задачей этнолингвистических исследований.

Комментарии к картам¹³

Карта № 1 «Терминология святочных демонов»¹⁴ показывает, во-первых, весь спектр лексических обозначений МП типа К. Кроме того, карта выявляет

¹³ На картах территория Болгарии заполнена значительно плотнее, чем территория Сербии и Македонии. Это объясняется тем, что мне посчастливилось поработать в архивах Болгарии, за что я выражаю глубокую благодарность болгарским коллегам.

¹⁴ Карты № 1 «Терминология святочных демонов» и № 2 «Обозначение святок», ограничивающиеся территорией Болгарии, опубликованы в: [Седакова 1998б]. Для данной ста-

ареалы отдельных терминов и/или их вариантов. Так, для Болгарии характерно преобладание словообразований от *караконджол* (см. Индекс), которые занимают большую часть территории. На юге страны встречаются термины *поганци* (*буганци*), на юго-западе — в Пиринском крае, а также в Пловдивском крае и частично в Родопах — зафиксированы метафорические обозначения МП: *нощенски*, *вънкашни*, *опачинки*. В Македонии кроме термина *каракондула* встречаются и *надворнини*, *тарамбабата*, *конгол*. В Сербии доминирует термин К. женского рода, при этом характерны преимущественно лексемы с элизией одного слога или первой части сложного слова. Лексемы *осења* и *гвоздензуба* отражают специфические сербские представления и свидетельствуют о поздней контаминации МП.

Карта № 2 «Обозначения святок» также отражает весь набор именования двенадцатидневья у балканских славян. Здесь ареальное членение Болгарии достаточно четко выражено: термин *мръсни дни* охватывает большую часть страны, тогда как на юге преобладают названия типа *погани дни* (аналогично греческим (*τὰ πόυαυα*). Встречающиеся спорадически обозначения святок: *мачни*, *бишкини*, *нечиста неделя*, *караконджерови*, *блажни*, *пепелни*, *мъртви*, *галатни* встречаются преимущественно на юге Болгарии и частично северо-западе. На территории Болгарии зафиксированы и термины *некръстени дни* — самое частое обозначения двенадцатидневья в Сербии. С другой стороны, в юго-восточной Сербии на границе с Болгарией употребляется термин *мръсни дни*. В Македонии (Гевгелия) употребляются термины *пугани*, *некръстени* или *Ристосуви дни* [Вражиновски 1998: 40], что позволяет провести изоглоссы в Болгарию и Сербию (*некръстени*, *некръштени дни*), а также в Грецию (*погани дни*).

Карта № 3 «Внешний облик К.» кроме сведений об том, как выглядит МП, содержит сведения и о его распространении. Поскольку в этнографических описаниях и тем более в лексикографических содержится не вся информация о К., хотя бы упоминание об этом МП свидетельствует о том, что он известен в данном регионе. Из основных ипостасей К. наиболее дисперсно представлено описание этого МП как страшилища, без уточнения его внешнего вида (и Болгария, и Македония, и Сербия). Характеристики К. как невидимой силы, голоса, ветра фиксируются преимущественно в Болгарии и Македонии, но встречаются и в восточной Сербии. Антропоморфный облик К. встречается в описаниях всех балканских славян, при этом в Болгарии известен исключительно мужской МП (как в Греции), а в Македонии и Сербии — женский. Только в Болгарии развит мотив К.-коня, это в основном северная

тъя карты переработаны, и в них включены зоны распространения терминов в Македонии и Сербии.

Болгария. К. в виде животного «является» жителям Болгарии (кроме юго-западных регионов) и спорадически Македонии.

Индекс терминов МП «Святочный демон»:

А. Болгария и болгарские говоры за пределами страны:

- Калакандур* (зап., вост. Род.)
Калаканзар — ‘дьявол’ (Гюм.)
Калаканзарин (Гюм.)
Калаканзер (Род., Ксант.)
Каласонгер (Габрово, Ксант.)
Калуканджур (Странджа)
Канканджор (Странджа)
Канканджур — (Странджа)
Каракандзел — (Твардица, Равна)
Каракандзер (зап., вост. Род.)
Каракандзор (Драмско)
Караканжо (БЕР¹⁵)
Караканзал (БЕР)
Караканчо (БЕР)
Каракон (Троян, Лов.)
Каракон’ (Троян)
Караконджа (Мих.)
Караконджак (*караконджащи*) (Мих.)
Караконджал (Троян, Плов., Ст.-Заг., Пл. кр.)
Караконджар (Драмско)
Караконджел’ (Казанл.)
Караконджер (*караконджерето*) (Банско, Благоевгр., Якоруда, зап., вост. Род.)
Караконджо (*Караконджовци*) (Врач., В.-Тырн., Разгр., Г.-Орях., Ловч., Плев., Царибр.)
Караконджол (*Караконджоле*) (Соф., Лом, Пловд., Перн., Самок.)
Караконджолос (БЕР)
Караконджор (Пловд., Неврокоп., Самок.)
Караконджу (Елен.)
Караконджук (Соф.)
Караконджул (*Караконджулето*) (Паз., Плев., Разгр., Кюст., Варн., Габр., Видин., Банат, вост. Род.)
- Караконджул’* — ‘вампир, летучая мышь’ (БЕР, Крумовградско)
Караконджум (Дедеагач.)
Караконджур (зап., вост. Род.)
Караконджъл (БЕР)
Караконджур (зап., вост. Род.; Странджа)
Каракондал (Пловд.)
Караконжъл (Севл.)
Караконжур (Хаск.)
Караконзер (зап., вост. Род.)
Каракончал (БЕР)
Каракончо (Плев., Лов.)
Каракончол (БЕР)
Каракончул (Пловд.)
Караконяк, караконяци (Белоградч.)
Конджуре (Пещера, зап. Род.)
Короконджул (БЕР)
Корконджур (Пловд.)
Короконджур (зап., вост. Род.)
Краканчо (БЕР)
Кръконджер (Странджа)
Курконджур (Пловд., Долно Вардар.)
Куруконджо (Род.)
Кълъканзърин (Гюм.)
Кърконяк (Видин.)
Кърконджум (Дедеагач.)
Кърконжол (Севл.)
Къркончу (Плев.)

Глаголы:

- Вкараконджа се, вкаранондвам се, окараконджа се, окараконджвам се* ‘становиться К.’ (БЕР)
Накараканчувам ‘сидиться верхом’ (СБНУ 48/1954: 484).

Прилагательные:

- Караконджов, караконджеров* (Банско — БЕР).

¹⁵ В тех случаях, когда нет указаний о географии термина, мы даем ссылку на словарь.

Особые названия святочных демонов (болг. яз.)	<i>Делесина</i> (Странджа)
<i>Бабугере</i> (Пещера)	<i>Кундурак</i> (Лов.)
<i>Буганци</i> (Смол., вост., ср. Род.)	<i>Меджарок</i> (Дун.)
<i>Вонкашно</i> (Драмско)	<i>Мръсколаци</i> (АЦР, с. Телиш, Плев.)
<i>Гондурак, гундур, гундурак</i> — (Тетев., Лов.)	<i>Опачинки</i> (с. Църница, Чеч)
	<i>Поганци, поганче, пуганци</i> (Смол., вост. Род.)

Список географических сокращений (Болгария):

Белоградч. — Белоградчишко	Кюст. — Кюстендилско
Благовевгр. — Благовевградско	Ловч. — Ловчанско
Варн. — Варненско	Мих. — Михайловградско
Видин. — Видинско	Неврокоп. — Неврокопско
Врач. — Врачанская обл.	Перн. — Пернишко
В.-Тырн. — Великотырновская обл.	Плев. — Плевенско
Габр. — Габровско	Плов. — Пловдивско
Г.-Орях. — Горнооряховский район	Разгр. — Разградско
Гюм. — Гюмюрджина (болг. села в Греции)	Род. — Родопы
Дедеагач. — Дедеагачко (болг. села в Греции)	Севл. — Севлиево
Елен. — Еленско	Соф. — Софийско
Казанл. — Казанлышко	Ст.-Заг. — Старозагорский район
Ксант. — Ксантийско (болг. села в Греции)	Царибр. — Царибродско (болг. в Сербии)

Б. Македонский язык

Каркоцолот (Ск. Котл.)
Конгол (Вражиновски)

Особые названия святочных терминов
(макед. яз.)

Гребогазецот (Радовиш)
Надворници (Радовиш)
Тарамбабата (Ск. Котл.)

В. Сербский язык

караканца (Škaljić)
караканцула (Škaljić)
караконца — *црна вештица* (ю. Сербия, Пирот)
караконцула — *црна вештица*, 'страшная женщина' (Гружа, косово-метох., ю. Сербия, Пирот)
каранђелоз — в РСКНЈ — 'МП, появляющийся только во время Рождества'
каранђолоз —"
каранцолос —"
каранђоз —"
карапанца —"

Особые корни: джанг, кандз, кондж (в болг., макед., серб. языках)
мангалес 'длинноногий' (ю. Сербия)
кандза (Доня Каменица)
кандзов (Вранѐ РСКНЈ 190).
кандзил (Брезн.) 'дьявол'
кандзъл (Трън.) —"
кандзо (Соф.) —"
конджал (МБТР — от *канджа* 'крючок' через новогреч.).
концахија (Škaljić)
концула (РСКНЈ)
концолос 'шумный ребенок' (Вујичић 1995: 60; Прошћенье).

Особые названия святочного демона

(серб. яз.):

гвоздензуба (РСКНУ)

осења (Ниш)

Литература

- АЕИМ — Архив на Етнографския институт с музей. София, България.
- АЦР — Архив Цв. Романской. Хранится в Софийском университете им. св. Климента Охридского. София, България.
- Ангелова 1948 — *Ангелова Р.* Село Радуил, Самоковско. Народопис и говор // Известия на семинара по славянска филология. 8—9. София, 1948.
- Антонијевић 1982 — *Антонијевић Др.* Обреди и обичаји балканских сточара. Београд, 1982.
- Арнаутов 1913 — *Арнаутов М.* Обичаи и песни от Източна Тракия // Списание на БАН. София, 1913. 6.
- Арнаутов 1969 — *Арнаутов М.* Гръцки влияния в български фолклор // Известия на Института за музеите. Т. 13. София, 1969.
- БД — Българска диалектология. Материали и проучвания. Т. 1—, София. 1962.
- БДА — Български диалектен атлас.
- БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1—5. София, 1971—1996.
- БМ — Българска митология: Енциклопедичен речник. София, 1994.
- БНПП — Българска народна поезия и проза. Т. 7. София, 1983.
- Буковинова 1995 — *Буковинова В.* Стародавно Граматиково: Географски, исторически и етнографски проучвания. Бит. Език. Фолклор. София, 1995.
- БФ — Български фолклор. София. 1975,
- Вакарелски 1935 — *Вакарелски Хр.* Бит и език на тракийските и малоазийските българи Ч. 1 // Тракийски сборник, 5. София, 1935.
- Василева 1972 — *Василева М.* За връзките и взаимните влияния в сватбените обичаи на българското и турското население в североизточна България // Известия на българско историческо дружество. Т. 2. София, 1972.
- Виноградова и др. 1989 — *Виноградова Л. Н., Гура А. В., Кабакова Г. И., Терновская О. А., Толстая С. М., Усачева В. В.* Схема описания мифологических персонажей // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран юго-восточной Европы. София, 30.8.1989 — 6.0.1989. Проблемы культуры. М., 1989.
- Власова 1995 — *Власова М.* Новая абевега русских суеверий. М., 1995.
- Вражиновски 1995 — *Вражиновски Т.* Народна демонологија на македонците. Скопје: Прилеп, 1995.
- Вражиновски 1998 — *Вражиновски Т.* Народна митологија на македонците. Т. 1. Скопје: Прилеп, 1998.
- Вујичић 1995 — *Вујичић М.* Рјечник говора Прошћeња (код Мојковца). Београд, 1995.
- ГЕМБ — Гласник етнолошког музеја у Београду.
- Георгиева 1983 — *Георгиева Ив.* Българска народна митология. София, 1983.
- Геров 1—6 — *Геров Н.* Речник на българския език. Т. 1—6. София, 1975—1978.
- Гордлевский 1962 — *Гордлевский В. А.* Из османской демонологии // *Гордлевский В. А.* Избр. соч. Т. 3. М., 1962.

- Гура, Левкиевская 1995 — *Гура А. В., Левкиевская Е. Е.* Волколак // СД 1.
- Делиниколова 1960 — *Делиниколова З.* Обичаи сврзани со поедини празници и неделни дни во Радовиш // Гласник на Етнолошкиот музеј. 1. Скопје, 1960.
- Динић 1992 — *Динић Ј.* Речник Тимочког говора. Београд, 1992.
- Добрев 1970 — *Добрев И.* Суфиксите *-ул* и *-ур* в българския език // Известия на института за български език. 19. София, 1970.
- Добричанин 1989 — *Добричанин С.* Доња Морача. Живот и обичаји народни по традицији. Титоград, 1989.
- Добруджа — Добруджа: Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1974.
- Доня Каменица — полевые материалы, собранные А. А. Плотниковой по программе Мало-го диалектного атласа балканских языков (ИЛИ РАН, СПб.) в 1997 г. в с. Доня Каменица (община Княжевац, вост. Сербия).
- Дукова 1981 — *Дукова У.* Двойно заемане при някои християнски понятия в балканските езици // Съпоставително езикознание. Кн. 2—5. 1981.
- ЕБ — Етнография на България. Т. 3. София, 1985.
- Живковић 1987 — *Живковић Н.* Речник пиротског говора. Пирот, 1987.
- Зечевић 1981 — *Зечевић Сл.* Митска бића српских предања. Београд, 1981.
- Златановић 1998 — *Златановић М.* Речник говора јужне Србије (провинцијализми, дијалектизми, варваризми и др.). Врање, 1998.
- Златковић 1989 — *Златковић Др.* Фразеологија страха и наде у Пиротском говору. Београд, 1989.
- Капанци — Капанци. Бит и култура на старото българско население в Североизточна България: Етнографски и езикови проучвания. София, 1985.
- Каравелов 1861 — *Каравелов Л.* Памятники народного быта болгар. М., 1861.
- Кирсово — Полевые материалы, собранные автором в с. Кирсово, Комратский р-н, Молдавия, в 1983 г.
- Китевски 1996 — *Китевски М.* Македонски народни празници и обичаи. Скопје, 1996.
- Кличкова 1960 — *Кличкова В.* Божиќни обичаи во Скопска Котлина // Гласник на Етнолошкиот музеј во Скопје. 1. 1960.
- Костов 1975 — *Костов К.* Цыганское *č(h)ang, č(h)angalo* «с (длинными) ногами» как общие заимствования в некоторых европейских языках // Этимология—1975. М., 1978.
- Левкиевская 1995 — *Левкиевская Е. Е.* Вампир // СД 1.
- Лов. кр. — Ловешки край. Материална и духовна култура. София, 1999.
- МБТР — Български тълковен речник с оглед към народните говори / Стъмки Ст. Младенов. Т. 1. София, 1951.
- Митровић 1984 — *Митровић Б.* Речник лесковачког говора. Лесковац, 1984.
- Младенов 1972 — *Младенов М. Сл.* Несколько лексических румынских заимствований // Балканско езикознание. 2. София, 1972.
- МНМ — Мифы народов мира. М., 1982. Т. 1—2.
- Моллов 1985 — *Моллов Ст.* Традиционният бит, обичаи и вярвания в Габровско. София, 1985.
- Недельковић — *Недельковић М.* Годишњи обичаји у срба. Београд, 1990.
- Пеев 1988 — *Пеев К.* Кукушкиот говор. Скопје, 1988.
- Пир. кр. — Пирински край: Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1980.
- Пл. кр. — Пловдивски край: Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.

- Плотникова 1997 — ЛАМИА в балканских традициях этнографического настоящего // Балканские чтения 4. Греция: Древняя. Средняя. Новая. М., 1997.
- Плотникова 1998 — *Плотникова*. Южнославянская народная демонология в балканском контексте // *Studia mythologica slavica*. Ljubljana; Pisa, 1998.
- Попов 1992 — *Попов Р.* Светци-демони // *Етнографски проблеми на народната култура*. 2. София, 1992.
- Примовски 1969 — *Примовски Ан.* Общност на някои обичаи у родопските българи // *Народностна и битова общност на родопските българи*. София, 1969.
- Равна 1997 — Полевые материалы, собранные по программе Малого диалектного атласа балканских языков (ИЛИ РАН, СПб.) в с. Равна, Провадийская община, Варненская обл., 1997.
- Раденковић 1995 — *Раденковић Љ.* Демонска свадба // *Кодови словенских култура*. 3. Свадба. Београд, 1995.
- Раденковић 1996 — *Раденковић Љ.* Митолошка бића везана за годишње празнике // *Етнолошко-културолошки зборник*. 2. Сврљиг, 1996.
- Раденковић Р. 1991 — *Раденковић Р.* Казивања о нечастивим силама. Ниш, 1991.
- Радлов 1—4 — *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1—4. СПб., 1889—1911.
- РБЕ — Речник на българския език. Т. 1—4. София, 1977.
- РКМД — Рјечник косовско-метохијског диалекта. 1. Београд, 1932.
- РКС — Архив Ст. Романского. Хранится в библиотеке Университета им. св. Климента Охридского. София, Болгария.
- РМЈ — Речник на македонскиот јазик. Т. 1. Скопје, 1961.
- Ровинский — *Д. А. Ровинский*. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб, 1888—1915.
- Родопи — Родопи: Традиционна народна духовна култура и социалнонормативна култура. София, 1994.
- РСКНЈ — Речник народног српскохрватског књижевног и народног језика. Београд. 1959—1968. Вып. 1.
- СБНУ — Сборник за народни умотворения. София, 1—4. 1889.
- СД 1, 2 — Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995. Т. 2. 1999.
- Седакова 1995 — *Седакова И. А.* Балканославянские демоны судьбы: Трансформации во времени и пространстве // *Время и пространство Балкан*. М., 1995.
- Седакова 1996 — *Седакова И. А.* О грецизмах в словаре традиционной культуры болгар // *Славянские языки в зеркале неславянского окружения: Тезисы международной конференции*. М., 1996.
- Седакова 1997 — *Седакова И. А.* О балканских святочных демонах // *Балканские чтения*. 4. Греция: Древняя. Средняя. Новая. М., 1997.
- Седакова 1998а — *Седакова И. А.* Экспедиция в болгарское село Равна (Провадийская община, Варненская обл., Болгария) // *Малый диалектологический атлас балканских языков: Материалы второго рабочего совещания*. СПб., 1998.
- Седакова 1998б — *Седакова И. А.* Святочно-новогодняя терминология и обрядность болгар в свете ареалогии // *Исследования по славянской диалектологии*. 5. М., 1998.
- Седакова 1999 — *Седакова И. А.* О «знаках» и «отметинах» в традиционной культуре южных славян (*белег* и *нишан*) // *Славянские этюды: Сб. в честь С. М. Толстой*. М., 1999.

- СЕЗБ — Српски етнографски зборник. 1.—. Београд, 1884.
- Селян 1983 — *Селян Е.* Коренът джур в българска езикова среда // *Филология*. 1983. 12—13.
- СМР — Српски митолошки речник. Београд, 1970.
- Станић 1990 — *Станић М.* Ускочки рјечник. Т. 1. Београд, 1990.
- Странджа — Странджа: Етнографски, фолклорни и езикови проучвания на България. София, 1996.
- Т.-Балан 1947 — *Теодоров-Балан Ал.* Нещо за гръцките заемки в български език // *Език и литература*. 1947. 2.
- Твардица — Полевые материалы, собранные автором в селе Твардица, Чадырлунгский р-н, Молдавия, в 1987 г.
- Толстой 1992 — *Толстой Н. И.* Шуликуны // *Мифологический словарь*. М., 1992.
- Толстой 1995а — *Толстой Н. И.* Бадняк // *СД* 1. М., 1995.
- Толстой 1995б — *Толстой Н. И.* Караконджал // *Славянская мифология*. М., 1995.
- Топоров 1976 — *Топоров В. Н.* Пубѣн, Аhi Будhnya, бадьяк // *Этимология-1974*. М., 1976.
- Фасмер 1986—1987 — *Фасмер М.* *Этимологический словарь русского языка*. Т. 1—4. М., 1986—1987.
- Филиповић 1972 — *Филиповић М. С.* Таковци: Етнолошка грађа. Београд, 1972.
- Цепенков 1972 — *Цепенков М.* Македонски народни умотворби. Т. 9. Скопје, 1972.
- Цивьян 1993 — *Цивьян Т. В.* Лингвистические основы балканской картины мира. М., 1993.
- Чажкановић 1994 — *Чажкановић В.* Стара српска религија и митологија. Београд, 1994.
- Bernard 1970 — *Bernard R.* Le Bulgare *karakandžo* «sorte de loup garou» et autre formes Bulgares issues du Turc *karakoncolos* // *Изследвания в чест на академик М. Арнаудов: Юбилеен сборник*. София, 1970.
- Fermor 1958 — *Fermor P.* Mani. New York, 1958.
- Georgeakus, Pineau 1894 — *Georgeakus G., Pineau L.* Le Folk-Lore de Lesbos. Paris, 1894.
- Kyriakides 1968 — *Kyriakides S. P.* Two Studies of Modern Greek Folklore. Thessaloniki, 1968.
- Lawson 1904 — *Lawson J. C.* Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. New York, 1904.
- Megas 1958 — *Megas G. A.* Greek Calendar Customs. Athens, 1958.
- Sanders 1962 — *Sanders I. T.* Rainbow in the Rock (The people of Rural Greece). London, 1962.
- Škaljič 1966 — *Škaljič A.* Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1966.

Т. Н. СВЕШНИКОВА

ВОСТОЧНОРОМАНСКИЙ МИР В КОНТАКТЕ СО СЛАВЯНАМИ

Затерянная на Балканах, замкнутая в тесном славянском кольце, Восточная Романия представляет собой замечательное, неповторимое явление в языковом, культурном и мифологическом отношении.

Из славянского мира, окружающего мир восточнороманский, в разное время проникали и проникают до сих пор многообразные языковые и мифологические элементы, видоизменяясь, адаптируясь в новых условиях.

Что происходит с этими заимствованиями? На иные из этих вопросов уже дан ответ, иные еще ждут своего исследователя.

Для представленной здесь работы были выбраны три мифологемы, которые, как и лексемы, их называющие, разными путями попали в восточнороманский мир. Речь идет о мифологических персонажах: *bosorcoi*, *sărcăuni*, *vircolaci*.

Bosorcoi

Предметом рассмотрения в данном разделе служит один из распространенных преимущественно в фольклоре Трансильвании видов оборотней и, шире, мифологических существ — так называемых *bosorcoi*.

В скобках замечу, что материалом послужили во многом данные Клужского архива Румынской академии, равно как и некоторые существенные для этой темы работы, в частности публикации И. Мушли. Занимаясь анализом и «упорядочением» материала, не раз с большим интересом обращалась к опубликованной В. В. Усачевой статье о «босорке» на славянском материале, который служит интереснейшей иллюстрацией к проблеме балкано-славянской общности¹.

Этимология этого слова восходит к венгерскому *boszorkány* ‘Hexe, Nachtgespenst’ (Tamás 1966, 144; Candrea, Adamescu 1931, 164; DLR, 625), а сама лек-

¹ В. В. Усачева. Босорка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1.

сема имеет множество фонетических вариантов². Босоркой выступают в мужской и женской ипостаси, но часто и в форме множественного числа (именно этой форме нередко отдается предпочтение в текстах различных жанров).

Босоркоем становится: ребенок, родившийся в сорочке (*beșică*); взрослый человек (ср. *Bosorcăile îs din oameni* досл. ‘Босорки — из людей’) (Mușlea 1932, 216); мертвец, ср. в этой связи описание одного из способов защиты от оборотней: «Когда закапываешь его [мертвеца], положи ему чеснок в рот и положи его в гроб лицом вниз» (Mușlea 1932, 216).

Как и некоторые другие оборотни (например, *pricolici*), босоркой наделен свойствами вампира. Он «сосет кровь из человека» или скотины; ср. *Suge sânge din om, te afli numai dimineața că ești vînăt* (Mușlea 1932, 216).

Одним из внешних признаков босоркоя является хвост (*coadă*), который располагается в самых разных местах — на туловище (*pe trup*), на голове (*pe cap*), за ухом (*după ureche*), см.: (Mușlea 1932, 216; 1932, 142) ср. *Borsocoi. Îl cunoști că are coadă mai multă* (Brăiloiu 1938, 69) ‘Босоркой. Его узнают по длинному хвосту’. О том, насколько важен для босоркоя хвост и как безошибочно по наличию и длине хвоста можно его распознать, говорит быличка, в свое время записанная В. Скурту в уезде Сату-маре: «Отец мой рассказывал, что видел как-то женщину, — она колотила вальком белье у реки. И был у нее хвост, такой длинный, что свешивался в воду. То была босоркояйе. И она сказала моему отцу: „Эй, Тоадер, смотри не говори никому, что увидел“. Он никому и не рассказывал, пока она была жива; — боялся. А если бы рассказал, она поразила бы его стрелой и он бы умер» (Scurtu 1942, 269).

Упоминание стрелы в качестве орудия босоркоев не является случайным и единичным. Стрелой наказывают, например, женщину, которая нарушает запрет на прядение во вторник вечером; ср.: *Oarce femeie o țăsut Marț sara și o vinit borsocoia la fereastră și o zis: Da țăș, țăș, nevastă? Ie o zis: Țăs, că zîua nu poci de prunci! — Noa, țăsă, țăsă! o zis borsocoia. Ș'ăpai o săgetat-o și pe dimiñață o murit nevasta* ‘Одна женщина пряла во вторник вечером, и вдруг пришла борсокояйя к окну и сказала: «Прядешь?» Та ответила: «Пряду, днем-то я не могу [прясть] из-за детей!» «Ну пряди, пряди!» — сказала борсокояйя. И поразила ее стрелой, а к утру женщина умерла’ (Scurtu 1942, 269).

² См.: *bosorcán* (Tamás 1966, 144); *bosórcă* (Tamás 1966, 144; DLR, 625); *bosorcaie*, *borsocaie*; *borsocaîne*; *borsokană* (Tamás 1966, 144); *bosorcăi* (Arhiva de folklor, № 08360; Mușlea 1932, 216; Pavelescu 1945, 57, 107); *bosorcaie* (Pavelescu 1945, 57; Candrea, Adamescu 1931, 164; Tamás 1966, 144; DLR, 625); *bosărcăi* (Arhiva de folklor, № 08370; Mușlea 1932, 142); *bursorcăi* (Pavelescu 1945, 57); *borsocăi* (Scurtu 1942, 270, 276, 282, 288, 289, 291, Mușlea 1932, 215); *borsocoi* (Scurtu 1942, 276; Tamás 1966, 144); *borsocoiaie* (Scurtu 1942, 269); *bursucăii* (Tamás 1966, 144); *басуркани* (Богатырев 1971, 243); ср. также прилагательное и глагол того же корня: *borsocos* (Tamás 1966, 144; Scurtu 1942, 286); а *bosurca* (Tamás, 1966, 144).

Считается, что босоркои ведут свое начало от женщины: если у женщины семь дочерей и ни одного сына, седьмая дочь становится *босокайе*; ср.: *Borsocăile să fac din boreșă. Dacă are o femeie șapte fete, ș'apăi n'are nici on băieț între ieșe, apăi ce a șăptia, aceia să fă borsocaie* (Scurtu 1942, 288). Ср. также: *din borese* «из женщин» при упоминании босоркоев у Мушли (Mușlea 1932, 215). Интересно также приведенное выше утверждение о происхождении босоркоев от людей вообще.

Принадлежащим к роду босоркоев считается в Трансильвании также и человек с шестью пальцами, с широким затылком (досл. «широкий в затылке»); ср.: *Cel cu șasă degete nu-i tistaș, îi borsocos; Ciñe-i lat în ciałă zice că-i borsocos* (Scurtu 1942, 286); ср. также: *Cel cu două roți de păr în cap, are două irimi și îi om norocos* (Scurtu 1942, 286) «Тот, у кого две макушки на голове, — два сердца, и это счастливый человек».

Местом обитания босоркоев может служить, как мы видели, «свой» мир: деревня, а в некоторых описаниях даже и дом. Ср.: *Bosorcoi is pîn sat* (Mușlea 1932, 216) «Босоркои [живут] по деревням». Былички содержат великое множество подтверждений этому, причем для подлинности рассказанного часто указывается точное имя сельского жителя, который, как утверждают, был босоркоем; ср.: «И Ион, сын Мнихая (*Ionu lui Mñihai*), был босоркой на волков (*bosorcoi pă lupchi*), — из главных босоркоев (*di cei mari bosorcăi*)... Я его обмывал, когда он умер, — так он весь (*tăt-tăt-tăt*) был в волосах, курчавых, как шапка. И еще кто-то, видно, выстрелил ему в бок, — рана была видна...» (Mușlea 1932, 216).

Босоркои, живущие в деревне, принадлежат одновременно к миру людей и животных, проявляя признаки и тех, и других и оборачиваясь то людьми, то животными; ср. *La Hută a fost bosorcoi lup, o tăt mărș la oi la omu ăla* (Mușlea 1932, 216) «В Хутэ был босоркой волк, он все ходил к овцам этого человека». Превращение босоркоя в человека происходит при кувыркании через голову: *Cît să' mburdă peste cap, apoi iară-i om* (Mușlea 1932, 216) «Как перевернется через голову, снова станет человеком».

Человек, который отказывается соблюдать правила, принятые в «своем» мире, становится изгоем и переходит в мир чужой. Ср. быличку о ребенке, которого за нерадивость побил учитель и который, превратившись в волка, присоединился к своим братьям и вместе с ними бродил по горам (Mușlea 1932, 216).

Интересны отраженные в быличках поверья о происхождении так называемых «сельских босоркоев». Эти босоркои на время превращаются в волка и уходят из деревни, а затем, когда приходит время им снова стать человеком, возвращаются обратно (человек-босоркой → волк → человек). Ср.: «Пришел однажды волк в овчарню к Георге Напу и сел у огня. Хозяин дал ему миску токаны, он съел ее. А потому пришел, что был он из сельских босоркоев и

пришло ему время снова стать человеком» (Muşlea 1932, 216). Здесь любопытно и то, что хозяин дома каким-то образом знает, что волк, наведавшийся к нему в овчарню, — человек-волк, его не смущает и непринужденность, с которой волк ведет себя в доме, расположившись у огня и не отказываясь от угощения: отношения хозяина и босоркоя — это, в некотором роде, отношения хозяина и гостя.

То, что босоркои живут в мире человека, представляется чем-то исключительным — естественнее относить их к тем местам, которые представляются «чужими», связанными с опасностью, с действиями злокозненных существ и вообще злых сил. К числу таких «опасных» локусов относится, например, межа (*mejde*), которая и в других случаях считается местом нечистым, ср.: *La mejde mai tare umblă borsocăile, că pe mejde aruncă, care ştiu vrăji, şi di pe bube reşe tăt ce-i rău* 'На меже больше всего бродят босоркои, потому что на межу выбрасывают те, что умеют ворожить, все, что вредно' (Scurtu 1942, 282). Опасность представляют и те места, где когда-то было гумно: считается, что и там бродят босоркои³. В этих местах запрещается строить дом: *Nu-i slobod să zideşti casa unde o fost arie şi s'o îmblătit, că acolo a îmblat borsocăile* 'Не следует строить дом [там], где было гумно и молотили [хлеб], потому что там бродили босоркои' (Scurtu 1942, 291).

Опасаются босоркоев и там, где пустуют дома (*pe unde-s căs pustii*), — босоркои бродят в них и пляшут (*gioacă*) (Muşlea 1932, 215). А в новом доме, который до сих пор стоит пустой, нельзя спать, пока в нем не поселится какая-нибудь живая душа (обычно в дом вносят двух молодых курочек). Ср.: *Cîn te muş înt'o casă nouăuă, s'o uz cu apă sfinţită, că poate multe s'o ntîmplat în ie, o fost borsocăi* 'Когда переселяешься в новый дом, окропи его сперва святой водой, потому что многое могло в нем произойти, — там могли быть босоркои!' (Scurtu 1942, 291).

Таким образом, локусы, которые характеризуются признаками «пустой», «чужой», «нечистый», оказываются местом активного пребывания босоркоев и представляют опасность для людей. К числу таких, опасных, связанных с босоркоями мест принадлежит и мельница, а также путь от мельницы в деревню. Об этом говорит следующая быличка: «Один человек пошел на мельницу. Когда он возвращался с мельницы, ему навстречу вышли два босоркоя... Отобрали у него мешок... высыпали из него муку, и когда человек пришел домой, то в мешке обнаружил конский навоз» (Scurtu 1942, 270)⁴.

³ Любопытно часто повторяющееся употребление глагола *a umbla* 'бродить' (и его фонетических вариантов) в сочетании с *borsocoi* (босоркои *бродят*).

⁴ Признак «пустой» трактуется достаточно широко, как, например, лишенный самого важного, существенного компонента: так, блюдо, которое готовится из мяса, лука и овощей

Самая главная черта босоркоев — безусловно, оборотничество, при этом поразительно число живых существ, предметов и даже действий, в которые они превращаются. Босоркои оборачиваются волком, собакой, рыбой, птицей, ветром, любой вещью и даже танцем [интересна синтаксическая конструкция для обозначения этих превращений, и особенно используемый предлог: *bosorcoi pe lupi, pe cîini, pe vînt*, досл.: ‘босоркои на волков, на собак, на ветер’ (Muşlea 1932, 216)]; ср. также: *Ieste bosorcoi pe lupchi, pe peşti, altu-i pe danţ, pe hie ce lucru* ‘Существуют босоркои для волков, рыб, а иные — для танца, для какой угодно вещи’; *Sânt bosorcăi pe lupchi, pe câni, pe vânt. Care-s pe lupchi, odată şuieră şi să face lup. Care-i pe vânt, îmblă pe vânturi, pe sus* ‘Есть босоркои на волков, на собак, на ветер. Те, которые на волков, — как свистнут, тут же и станут волком. Те, что на ветер, бродят по ветрам, поверху’ (Muşlea 1932, 216). Таким образом, босоркои в мифопоэтическом сознании человека наделены способностью превращения в любое из живых существ, населяющих землю, воду и воздух, в некоторые типы движения (танец как нечто наделенное колдовской силой, как воплощение мифологического существа). Воспринимаемый как живое существо ветер также рассматривается в качестве результата подобного воплощения. Интересен в приведенном выше тексте и звук (свист) как часть ритуала превращения в волка.

Одно из необыкновенно интересных и, возможно, уникальных представлений о босоркоях связано с огнем, и это еще одно из их возможных превращений. Ср.: *Bosărcăile zice că iera lumînituță ce îmbla pin sat* ‘Говорят, босоркои были огоньком, что бродил по деревне’ (Arhiva de folklor, № 08370). О связи босоркоев с огнем говорит и такое утверждение: «Босоркои (*borsocăi*) собирают ночью огни (*lumîni*) вместе» (Muşlea 1932, 216). Но особенно интересен следующий обряд, также говорящий о тесном взаимодействии босоркоев с огнем: *La Rusalii doi păcurari îmblau în pt' eleş golă de nouă ori în juru stînii cu on scaun pe care iera foc ca să d'epert'e bosorcăii d'i la oi. Ei zice: «Să nu vă uitaţ la oi. Şi vă uitaţ la puloi»* ‘На Русальскую неделю два пастуха девять раз обходили нагишом загон для овец — со стулом, на котором был огонь, — чтобы удалить босоркоев от овец, говоря при этом: «Не смотрите на овец, а смотрите на огонь (*puloi*)»’ (Arhiva de folklor, № 08360). Здесь существенно время совершения ритуала, число участников и обходов вокруг загона и, конечно, ритуальная нагота пастухов, а также использование огня в качестве средства для отвлечения внимания босоркоев от овец. Интересен и рифмован-

(*tocană*), считается пустым, если оно без мяса; ср.: *De mînînci tocana goală, iau b o s ă r c ă i l e l a p t e l e d e l a v a c i* (Muşlea 1932, 224) ‘Если будешь есть пустую токану, босоркои отберут молоко у коров’.

ный текст, который произносят участники ритуала, и лексема, обозначающая огонь (*puloi*)⁵.

Первобытный страх перед любым превращением, изменением, отчетливое желание носителя наивного сознания, чтобы все вокруг оставалось в той форме, которая ему изначально присуща, стремление к сохранению устойчивости лежат в основе многих представлений, связанных с оборотнями и оборотничеством, и отражаются в обрядах, в том числе родинном, когда большое значение придается, в частности, определению признаков возможной принадлежности новорожденного к босоркоям. Считается, что младенец, родившийся в сорочке, может стать оборотнем. Вот почему так важна роль, которую играет повивальная бабка в ограждении людей от босоркоев. Повитуха при рождении ребенка определяет и то, к какому типу босоркоев он принадлежит, и во что ему предстоит воплотиться, — в волка, птицу, рыбу или во что-нибудь другое. Обнаружив, что новорожденный — босоркой, повитуха кладет возле него топор и грозит ему, что если он станет *поражать стрелами* людей или скотину, то она перережет ему горло, см.: (Muşlea 1932, 142, 150); ср. *Borsocoi. De cum e mic, se cunoaşte. Mă-sa, cînd îl fã, îl sloboade aşa, alta pe pasãre, alta pe peşte* (Brăiloiu 1938, 69) 'Босоркой. Его узнают, когда он еще мал. Его мать, когда рожает, [предназначает ему быть] или птицей, или рыбой'.

Велик страх и перед превращением в оборотня человека умершего. Многочисленные ритуалы совершаются, как известно, по отношению к покойнику, чтобы помешать его превращению в оборотня и уберечь живых от его злокозненных действий; ср.: *Cînd îl îngropi, să-i pui aiu în gură şi să-l pui în sălaş cu faţa 'n jos* (Muşlea 1932, 216) 'Когда хоронишь его, положи ему в рот чеснок и положи в гроб лицом вниз'. Ср. также: *Îi pune ai în nas, în gură, ca să nu vie acasă* (Brăiloiu 1938, 76) 'Ему кладут чеснок в нос, в рот, чтобы он не вернулся домой'. Несоблюдение обряда приводит, как свидетельствуют былички, к самым печальным последствиям. Ср. записанный И. Мушлей в Цара Оашулуй рассказ о возвращении оборотня домой и о зле, причиненном им близким: *Unu o ghinit acasă, o pus ghiţălu pe vacă ş'o legănat pruncu ş'o prins pe ea [pe nevastă] de mână. Apoi o fo[st] beteagă ea. Trii găuri o fost acolo la iel la mormânt. Ş'alţ oameni l-o vădzut. Dzîce că 'n haine albe ghină. Numa noaptea, de cînd o clocotit, la dzăce ceasuri, până la cântatu cocoşilor* (Muşlea 1932, 216) досл.: 'Один [человек] пришел домой, подвел теленка к корове и покачал ре-

⁵ Лексема *puloi*, очень редкая (видимо, уникальная), заставляет нас обратиться к статье В. Н. Топорова в «Балканском лингвистическом сборнике», где рассматриваются хеттские *purullija* с лат. *parilia, palilia* и их балканские истоки (В. Н. Топоров. Хеттск. *purullija*, лат. *parilia, palilia* и их балканские истоки // Балканский лингвистический сборник. М., 1976. С. 125—142).

бенка, и взял ее [жену] за руку. Она потом была увечной. Три отверстия было у него там, в могиле. И другие люди его видели. Говорят, он ходит в белых одеждах. И только ночью, когда пробьет колокол, в десять часов, и до пения петухов'.

Среди характерных особенностей босоркоев, которые сближают их с другими типами оборотней, — способность отбирать у коров молоко. *Iau lapte dela vaci și săgetă oamini* (Mușlea 1932, 215) 'Отбирают молоко у коров и поражают стрелами людей'. Больше всего стараются защитить коров и вообще скотину от босоркоев на св. Георгия (особенно ночью накануне этого дня); ср.: *In noaptea de Sîn-Jiorz împlă și bosărcăi, că moșu mn'eu le-o vădzut într'o noapte cînd o zin'it în grazd bosărcăile; el o audzît d'in pod cîn bosărcăile gičea: și d'e la asta [vacă] un pk'ic [de lapte], și d'e la asta un pk'ic* 'В ночь на св. Георгия бродят и босоркои, дед мой видел как-то ночью, как пришли в хлев босоркои; он с чердака слышал, как босоркои говорили: «И у этой [коровы] чуток [молока], и у этой чуток»' (Papașagi 1925, 161). Для защиты от босоркоев в этот день используют колючие ветки ежевики (*rugi*). А в те дни, которые непосредственно предшествуют св. Георгию, собирают бородавочник, дикий чеснок и валериану, чтобы помешать босоркоям и защитить от них скотину: *Până la Sângiorz să culege rostopască, aiușul, și hodolean pentru busorcăi, să nu poată mânca iorsagu* (Pavelescu 1945, 57). Все эти травы смешивают с солью и серой (*cheatră pucioasă*) и дают скотине. Как отмечает Павелеску, в «старые времена» главной заботой в ночь на св. Георгия было сторожить «ману», чтобы босоркои не отобрали ее у коров. От этого некогда очень распространенного обычая сохранился следующий ритуал: за три вечера до св. Георгия (*în trîi sări înainte de Sânjiorz*) или на «скотьего св. Георгия» (*Sânjiorzul marhălor*) парни и молодые мужчины, разделившись на две группы и стоя на пригорках, перекликаются и, обращая друг к другу, используют следующего вида текст, состоящий из вопросов и ответов: на жалобу *Mă mâncară bosorcăile* 'Меня съели босоркои' следует вопрос: «Которые из них?» В ответ называют два имени — мужское и женское. Затем на вопрос «Что они у тебя попросили?» отвечают: «Ману коров!» Диалог оканчивается советом отправить босоркоев ко всем чертям (Pavelescu 1945, 57). Ниже приводится текст этого диалога: *Auli, Pauli! — Ce ț-î fîie, Pauli? — Mă mâncară bosorcăile! — Care din ele? — Eva și cu Pavăl. — Da ce cerură dela tine? — Mana vacilor! — Dă în p... dracilor!»*

Страх перед босоркоями, стремление оградить от них коров и уберечь «ману», а иногда и вернуть отобранное молоко отражают тексты многочисленных заговоров, рассеянных по всей Трансильвании. Ср., например, следующую заговорную формулу: *Așa să vie laptele la vacă, cum vin steele pe ceru și cum vine roua noaptea, să nu-l poată opri bosorcăile* (DLR, 625) 'Пусть вер-

нется молоко к корове, как возвращаются звезды на небо и как приходит роса ночью, и пусть не мешают этому босоркой»; ср. также: *S-o întîlnit cu Petru, Sînpetru / Răgind și buncăluind. / Sînpetru a întrebat: / Tu, vacă, ce răgești, ce buncăluești? / Cum focu n-oi răgi, / Cum focu n-oi buncălui: / Pulpa mi-o strîcat, / Vițelu l-o b o s u r c a t, / Mana mi-o luat* (Bîrlea 1968, 414) 'Повстречала Петра, Святого Петра, / Мыча и ревя. / Святой Петр спросил: / Ты, корова, что мычишь, что реवेशь? / Как мне не мычать, / Как не реветь: / Ногу мне повредил, / Теленка сглазил, / Молоко отобрал'. Любопытно отметить, что, пытаясь отобрать молоко у коровы, оборотни неизменно поражают ее в ногу.

Еще одна группа поверий о босоркоях вводит в круг метеорологических представлений, связанных с так называемым «грибным», или «слепым», дождем (точная параллель с аналогичным славянским представлением). Ср.: *Cîn ploiuă cu soare, fac borsocăile mulăciag* 'Когда идет дождь с солнцем — это босоркой веселятся' (Scurtu 1942, 289); ср. также: *Cîn îi ploaie cu soare, atunci gioacă borsocăile* 'Когда идет дождь с солнцем, — это пляшут босоркой' (там же, 282). Эти поверия, как и многие другие, объединяют восточнороманские представления со славянскими и, возможно, косвенно соотносятся с кругом текстов, связанных с огнем, а точнее, одновременно с двумя стихиями — водной и огненной.

Обдумывая приведенные выше разрозненные представления о босоркоях, останавливаешь внимание на нескольких наиболее ярких и, вероятно, достаточно архаичных фактах, а именно: на связи с огнем (и водой), круге предметов, принадлежащих Богу Грозы (стрелы — основное орудие босоркоев), и, конечно, на необыкновенном числе превращений и воплощений, свойственных этим мифологическим персонажам. Сопоставление восточнороманских данных с соответствующими славянскими создает интересную картину соответствий, которые являют собой результат типологических схождений, усиленных процессом взаимного влияния и проникновения.

Сăрсăuni

Речь идет о мифологических персонажах, проникших в фольклор из романа «Александрия», написанного во II—III вв. на греческом и получившего широкое распространение в Европе и странах Востока — особенно в эпоху Средневековья. Румынский вариант «Александрии» датируется 1620 годом и является переводом с сербского (см., в частности: Rosetti, Cazacu, Onu 1971, 214—230). В романе среди описаний военных походов и фантастических странствий Александра Македонского встречается рассказ о том, как он дошел до страны, где 'жили люди, у которых спереди было лицо человека и говорило оно по-человечески, а сзади — собачья морда, которая лаяла по-собачьи': ср. *Și trecu țara lor în zece zile, și mai mersă înainte și ajunsse la o țară cu oameni cătcăuni, dinainte cu obraz de om și grăia omenește, iar dindărăpt cap*

de cîine și lătra cîinește. Alexandru ucisă pre mulți de aceia și trecu țara lor în șapte zile (Alexandria 1956, 130—131).

Облик соответствующих румынских (и, шире, восточнороманских) мифологических существ полностью совпадает с описанными выше персонажами: это ‘люди с собачьей головой’, ‘с двумя головами, из которых одна — собачья, с двумя мордами, из которых одна — собачья’; у них ‘две пасти, из которых одна — как у собаки’ и т. д. (см. Mușlea, Bîrlea 1970, 195); в некоторых описаниях их внешнего облика выделяется большое количество необычно расположенных *глаз* и *ртом*: ‘три глаза’, ‘четыре глаза, расположенные на затылке’ (Fochi 1976, 54; Cioranescu 1966, 137); ‘один глаз на лбу, другой на затылке’, ‘один глаз спереди, другой на затылке’; ‘два рта, один спереди, другой на затылке’ (Fochi 1976, 54).

Для этих чудовищ особенно характерны черты каннибализма. Ср., например: «у них две головы и два рта, одним ртом они заглатывают целиком детей или большие куски человеческого мяса с костями, со всем, а из другого выплевывают кости» (Candrea, Adamescu 1931, 214; Fochi 1976, 54); ср. также: *Am auzit spuiind pă bătrîn c-o fost capcîn ș-o foz mîncînd uamini* (Petrovici 1925, 140) досл.: ‘Я слышал, как старики говорили, что были *capcîn* и что они будто бы пожирали людей’. Нередко подчеркивается, что чудовища специально откармливают своих жертв хлебом и вином или хлебом и сердцевиной грецких орехов и отправляют на лопате в печь (Fochi 1976, 54—55); ср. в этой связи: *Cărcăuini. Mănîncă uameni. Kiar prindea băieți. Ii creștia, i-ingrășa, și-i tăiau și-i mîncau* (Petrovici 1925, 230) ‘Едят людей. Даже мальчиков хватали. Выращивали их, откармливали, резали и съедали’.

Этимология румынского названия этих персонажей — *cărcăuini* возводится к греч. *kyrokephaloi* или *synocephali* (Candrea, Adamescu 1931, 214; Șăineanu, 100; Cioranescu 1966, 137); по мнению Тиктина, лексема имеет народную этимологию (Tiktin, I, 282); она распространена, судя по материалам Хаждеу, на всей территории Румынии и имеет множество вариантов⁶.

Vîrcolaci

Вырколаки (*vîrcolaci*) — фантастические животные, разновидность чело-века-волка, которые, по народным повериям, происходят от ребенка, ‘умершего некрещеным’ (Candrea, Adamescu 1931, 1435; Tiktin, III, 1752; Vasiliu

⁶ Варианты: *căcîn(e)*, *cătcăun* (sg.); *căpcîni* (pl.) (Candrea, Adamescu 1931, 214); *capcân*, *cărcăun* (Șăineanu, 100); *căpcân(e)* (Tiktin, I, 282); *capcîn(e)*, *hapcîn* (Cioranescu 1966, 137); *cătcăun*, *cătcăhun* (Fochi 1976, 54); ср. также: мегленорум. *capdicine* (Cioranescu 1966, 137); арум. *cap-di-ci'ne* (sg. m.), *cap-di-ci'ni*, *cap-di-ci'neami* (pl.) (Papahagi D., 245); ср. также прилагательное *cătăunesc* (Rosetti 1975, 52) в словосочетании *soare cătăunesc*.

1942, 12; Pamfile 1915, 99). Этим детям предстоит попасть в ад, но Бог из милости превращает их в вырколаков, которые отправляются на небо и там, нагнувшись на луну, поедают ее (Pamfile 1915, 99). Происходят вырколаки и от умерших детей, рожденных от невенчаных родителей, а также от родных или двоюродных братьев и сестер (Pamfile 1915, 99).

В вырколаков могут превращаться и души умерших людей; ср.: *Cînd mor unii oameni, sufletul lor nu se duce în cer, ci se face vîrcolac, luînd forma lupului* (Muşlea, Bîrlea 1970, 228) 'Когда умирают некоторые люди, их душа не улетает на небо, а становится вырколаком, приняв облик волка'; ср. также: «вырколаки — это души злых людей, проклятых Богом, которые превращаются в собаку» (Muşlea, Bîrlea 1970, 228).

По другим представлениям, в вырколаков превращаются души людей живых: они происходят от душ людей, спящих ночью (Pamfile 1915, 99). В ряде случаев вырколаки возникают из таких, казалось бы, обычных вещей, как отруби, если их просеивают в воскресенье, нарушая тем самым запрет на работу в праздничный день. Возникают они и из «воздуха» (*din vîzduh*) (ср. у Булгакова: «соткался из воздуха!»), когда тот, кто мешает мамалыгу, попадает мешалкой в огонь; ср.: *Să nu dai cu melestelul în foc, că de aceea mînîncă soarele vîrcolacii* 'Не попадай мешалкой в огонь, а то съедят солнце вырколаки'. Появляются вырколаки и тогда, когда кто-нибудь, кто подметает во время захода солнца, бросает мусор в сторону солнца (см. Pamfile 1915, 99, 100; Niculiţă-Voropa 1903, 223) (подробнее о связи солнца и луны с вырколаками см. ниже).

Вырколаки, как уже говорилось, могут принимать облик волка или собаки. В народных представлениях вырколаки — это «божьи псы» (*cîinii lui Dumnezeu*), обычно их два (Pamfile 1915, 99)⁷.

Они предстают в самых разных обличьях: птицы, жука, червя (Pamfile 1915, 99; Scurtu 1942, 279; Arhiva de folklor № 671; Izvoraşul 1933, 51); диких зверей (*gadini*) — львов, тигров (Vasilii 1942, 12).

Иногда вырколаков представляют в виде мифологических существ: змеев (*balauri, zmei*), оборотней (*pricolici, strigoi*) (Pamfile 1915, 99).

Вырколаки оборачиваются и человеческими существами — мужчинами и женщинами. Они «бродят зимой по степи, и горе тому, кого они встретят на своем пути» (Fochi 1976, 362).

Эти оборотни особенно тесно связаны с луной и солнцем; согласно некоторым повериям, они живут на луне, на небе; считается, что радуга —

⁷ Румыны заимствовали эту лексику из болг. *върколак*, ее варианты: *vîrgolac, vîrcoláci, vîrcolag, vîrgolag, vîrcolic* (sg. m.); *zvîrcolacii* (pl.); арум. *vîrcólac; vîrcólac, vîrculac*. Подробные сведения о славянских волколаках см.: Е. Е. Левкиевская. Волколак // Славянские древности. Т. 1. М., 1995. С. 418—420.

vîrcolac, который приходит пить, когда идет дождь (ср. Muşlea, Bîrlea 1970, 227—228; 151).

Солнечные и лунные затмения объясняются злокозненными действиями вырколаков, которые поедают солнце и луну, откусывая, отрывая или отщипывая от них куски; при этом луна и солнце обагрятся кровью; но так как вырколаки едят медленно, луна и солнце успевают вырасти снова; иногда они восстанавливаются из кусочков и крошек, которые падают у оборотней из рта (Muşlea, Bîrlea 1970, 227—228; 151). Ср.: *La întunecime de lună, se crede că luna o mănîncă vîrcolacii* (Fochi 1976, 362) 'При лунном затмении считается, что луну поедают вырколаки'; ср. также: *Atunci cînd rămîne luna mînită, o mănîncă vîrcolac* (Muşlea, 1932, 222) 'Когда луна убывает, ее поедает вырколак'. [*Luna*] *o mîncă vîrcolacî. Să şipă la ia d'i tăt'i lăturili ş-o mîncă* (Petrovici 1939, 165) '[Луну] поедают вырколаки. Набрасываются на неё со всех сторон и поедают'; ср. также: *Cînd e eclipsă de lună se crede că luna «a mîncat-o vîrcolacului»* (Petrovici 1942, 22) 'Когда затмение луны, считают, что луну «съел вырколак»'⁸. Затмения происходят и потому, что вырколаки усаживают-ся на солнечный или лунный диск, заслоня их собой (Muşlea, Bîrlea 1970, 130).

Злокозненные действия вырколаков, вызывающие затмения, как правило, распространяются и на солнце, и на луну: ср. «Затмения происходят, главным образом, из-за вырколаков, которые поедают *солнце и луну*» (Muşlea, Bîrlea 1970, 130); *Vîrcolacii mînîncă soarele la şapte an şi luna. Apăi nu să vede tumna aşa bine, multă vreme* (Scurtu 1942, 279) 'Вырколаки поедают *солнце* раз в семь лет и луну. И тогда долгое время видно не очень хорошо'. Однако существуют и другие представления: 'только *солнце* поедается вырколаками; только *луна* поедается ими' (Muşlea, Bîrlea 1970, 130). Ср. в этой связи: *L'o mîncat pe soare vîrcolacii din pricina păcatelor noastre* (Vasiliu 1942, 12) '*Солнце* съели вырколаки из-за наших грехов'; ср. также: *Pe soare îl mănîncă svârcolacii, adică şerpîi, ca să facă întunerec* (Там же) 'Солнце едят вырколаки, то есть змеи, чтобы наступил мрак'. В то же время создается впечатление, что вырколаки прежде всего связаны с луной, и большая часть фольклорных текстов посвящена именно этому явлению. Ср. любопытную словоформу: *vîrgolună* «*luna cu vîrcolacii*» 'луна с вырколаками' (*vîrcolac* + *lună*) в следующей строке заговора: *Lună, lună. / Vîrgolună* (Rosetti 1975, 84).

Как можно видеть, представления о вырколаках, поедающих луну и солнце, в румынских повериях тесно связаны с чрезвычайно любопытной особенностью луны (а иногда и солнца): луна воспринимается как существо с плотью и кровью, а вырколаки, грызущие ее, отрывающие от нее куски, обнару-

⁸ Ср. в этой связи следующее поверие: 'когда вырколаки в образе собак поедают луну, они находятся под особым покровительством Св. Петра' (Muşlea, Bîrlea 1970, 385).

живают черты хищных животных, которые ранят луну до крови. Ср. ‘Когда вырколаки едят луну или солнце, они краснеют (*se înroşesc*), из них течет кровь’ (Muşlea, Bîrlea 1970, 131); ср. также: *Am văzut luna cum o ruşit şi s’o întunecat de tot. Era pe la aňiaz de noapte şi eram cu oile pe drum... O mânĉă svârcolacii şi mai rămâne aşa o ţără* (Vasiliu 1942, 12) ‘Я видел, как луна покраснела и совсем затмилась. Было это около полуночи, я был с овцами на дороге... Ее поедают вырколаки, остается от нее всего ничего’. Существуют представления о вырколаках и как о червях, которые грызут луну во время лунных затмений. Луна краснеет, и считается, что это кровь: *Vârcolacii sunt nişte vermi din are care eclipsa de lună se zice că o rod. Luna fiind atunci roşie se crede că acea roşeată e sânge în lună* (Arhiva de folclor, № 671); вырколаков представляют себе и в виде жуков; считается, что раз в семь лет они поедают солнце и луну, после чего долгое время «не очень хорошо видно»: *Vîrcolacii îs gînda ci; mănîncă soarile la şapte añ şi luna. Apăi nu să vede tumna aşa bine multă vreme* (Scurtu 1942, 279); вырколаки предстают и в облике птиц: *Vârcolacii sunt nişte păsări uriaşe, cari înteapă luna şi soarele cu ciocurile lor* (Izvoaraşul 1933, 51) ‘Вырколаки — огромные птицы, которые отщипывают своими клювами от луны и солнца’.

Интересно, что действия вырколаков, поедающих солнце или луну, отражаются в сосудах с водой (в ведре, кадке и т. д.) (Muşlea, Bîrlea 1970, 131); кроме того, вода во всех источниках и колодцах во время затмений превращается в кровь, поэтому нехорошо пить воду.

Отношение к небесным светилам в народной культуре, как известно, совершенно особое: его нельзя назвать иначе, как — глубокое почитание, преклонение. Так, согласно восточнороманским представлениям о луне, она была создана Богом сразу после того, как он сотворил небо — чтобы ночью освещать небесный свод. Поэтому луна почитается святой (*Luna-i sfîntă!*). Она никогда не покидает небо, и если ее иногда и не видно, то только потому, что ее затмевают днем солнечные лучи (см. Scurtu 1942, 289). Поэтому и отношение к вырколакам, которые разрушают луну и солнце, — крайне отрицательное, с ними борются всем миром, стараясь отогнать их шумом, громом, стрельбой. Чтобы освободить луну и солнце от вырколаков, люди звонят в церковные колокола, гремят ведрами, подносами, медными или чугунными сосудами, треножниками, щипцами, бьют в барабан, кричат, шелкают кнутом. При этом особую власть над вырколаками имеют люди, родившиеся в субботу; от их криков или выстрелов из ружья вырколаки убегают, а солнце и луна вновь обретают свой свет. Люди необычайно радуются, крестятся, благодаря Бога. В этот день или ночь «лучше избегать грехов». Считается, что, если бы вырколаки совсем съели луну, мир бы погиб (Muşlea, Bîrlea 1970, 131) (ср. в этой связи следующее поверие: «Если луну съедят вырколаки, будет война

или смута» (Gorovei 1915, № 1933); о связи войны и затмения (и, видимо, землетрясения) говорит и следующая фраза: *Cîn o fost cela război, s'o clătit pămîntu, s'o întunecat soarele și luna* (Scurtu 1942, 279) 'Когда была та война, сотрясалась земля, затмевались солнце и луна'.

Страх перед возможным крушением мироздания основывается на сознании собственных грехов, которые люди пытаются побороть молитвой. Ср.: *Lumea se roagă, c'o fi greșit cu ceva* (Vasiliiu 1942, 12) 'Люди молятся, ибо согрешили в чем-то'. Вообще в отгонных действиях против вырколаков поражает сочетание чисто христианских ритуалов с языческими: ср. *Trage popa clopotu, să 'nchină și oamenii, čocănește două hîare sau două cușite unu 'n altu și piste un čas și jumătate iar s'arată* (Candrea, Densusianu, Sperantia 1906—1907, 293) 'Священник звонит во все колокола, молятся и люди, гремят утюгами или ножами, и через полтора часа [луна] вновь появляется'; ср. также: *Spre a scăpa luna de vîrcolaci, oameni bat clopotele, tinichele sparte, troci. crezându-se că prin aceasta se îndepărtează vîrcolacii* (Arhiva de folklor, № 671) 'Чтобы избавить луну от вырколаков, люди звонят в колокола, стучат старыми жестянками, корытками, считая, что тем самым они отгоняют вырколаков'.

Одна из чрезвычайно интересных особенностей вырколаков — их связь с прядением и луной. Существует строгий запрет на прядение при лунном свете: *Nu-i bine să torci pe lună, că o mănîncă vîrcolacii* (Gorovei 1915, № 1932) 'Нехорошо прясть при луне, не то съедят ее вырколаки'. Луна, дающая свет для прядения, наказывается тем, что ее поедают вырколаки. Особенно строгий запрет на прядение — в понедельник (*luni* — день луны!): нельзя прясть утром до восхода солнца (т. е. при лунном свете); ср. *Cîn să 'ntunecă luna o mănîncă vîrcolacii. De aceia o mănîncă, că nu-i slobod a toarce lun' dimin'ața, pînă la răsăritu soarelui* (Scurtu 1942, 289). Очень интересно следующее поверие, где, как и во многих других случаях, возникает мотив прядения: вырколаки появляются, когда женщины прядут ночью без свечи, особенно в полночь и особенно с целью ворожбы при помощи таким образом спряденной нити. На таких нитях располагаются вырколаки. Если нити не рвутся, то и вырколаки, сидящие на них, оказываются крепкими и перемещаются туда, куда им вздумается; они нападают на небесные светила, отрывают от них куски зубами, а луну иной раз превращают в сплошную кровь, и порой от нее ничего не остается. Если же нить, на которой сидят вырколаки, оборвется, тогда они полностью теряют свою силу и исчезают в неизвестном направлении, перемещаясь по воздуху (см. Pamfile 1915, 100).

Таким образом, спряденная ночью при лунном свете нить оказывается связующим звеном между землей и луной, до которой добираются по этой нити вырколаки. Наиболее опасное время — полночь, до восхода солнца, самый опасный день — понедельник, который у румын связан с луной.

Видимо, существует и тесная связь между острым веретеном и зубами вырколаков.

Особая, чрезвычайно интересная тема — связь вырколаков со зрением: глазами, взглядом. Существует представление, что взгляд вырколака обладает необыкновенной силой, — отсюда особая сила сглаза, если он исходит от вырколака; ср.: *De l-o deochiet / Femeie curată, necurată / Cu ochii de vîrcolac* (Bîrlea 1968, 339) ‘Если сглазила его / Женщина чистая, нечистая / С глазами вырколака...’ С другой стороны, для самого вырколака представляет опасность человеческий взгляд: вырколак наносит вред в том случае, если его *не видят*. Ср. поверие о том, что если беременная женщина не видит, как вырколаки поедают луну, то родившийся у нее ребенок заболеет опасной болезнью: *Dacă mînîncă vîrcolacu luna și nu-l vede femeia — cînd o mînîncă și ieste însărcinată, — atunçi prinde copilu o boală: spurcu* (Preda 1937, 245).

Литература

- Богатырев 1971 — *Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
 Alexandria 1956 — Alexandria. [București], [1956].
 Arhiva de folklor — Academia română. Arhiva de folklor.
 Bîrlea 1968 — *Bîrlea I.* Literatură populară din Maramureș. 2. București, 1968.
 Brăiloiu 1938 — *Brăiloiu C.* Bocete din Oaș // Grai și suflet. 7. București, 1938.
 Candrea, Adamescu 1931 — *Candrea I.-A., Adamescu Gh.* Dicționarul enciclopedic ilustrat. București, 1931.
 Candrea, Densusianu, Sperantia 1906—1907 — *Candrea I. A., Densusianu Ov., Sperantia Th. D.* Graiul nostru: Texte din toate părțile locuite de români. 1. București, 1906—1907.
 Cioranescu 1966 — *Cioranescu Al.* Diccionario etimológico rumano. Madrid, 1966.
 DLR — Dicționarul limbii române. 1. [București], 1913.
 Fochi 1976 — *Fochi A.* Datini și eresuri de la sfîrșitul sec. al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densusianu. București, 1976.
 Gorovei 1915 — *Gorovei A.* Credinți și superstiții ale poporului român. București, 1915.
 Izvorașul 1933 — *Izvorașul.* 1933. 12, № 1.
 Mușlea 1932 — *Mușlea I.* Cercetări folklorice în țara Oașului // Anuarul Arhivei de Folklor. 1. Cluj, 1932.
 Mușlea, Bîrlea 1970 — *Mușlea I., Bîrlea O.* Tipologia folclorului. București, 1970.
 Niculiță-Voronca 1903 — *Niculiță-Voronca E.* Datinele și credințele poporului român. 1. Cernăuți, 1903.
 Pamfile 1915 — *Pamfile T.* Cerul și podoabele lui. București, 1915.
 Papahagi 1925 — *Papahagi T.* Graiul și folklorul Maramureșului. București, 1925.
 Papahagi D. — *Papahagi T.* Dicționarul dialectului aromân. [București], 1963.
 Pavelescu 1945 — *Pavelescu Gh.* Cercetări folklorice în sudul județului Bihor // Anuarul Arhivei de Folklor. 7. Sibiu, 1945.
 Petrovici 1939 — *Petrovici E.* Folklor dela Moșii din Scărișoara // Anuarul Arhivei de Folklor. 5. București, 1939.

- Petrovici 1942 — *Petrovici E.* Note de folklor dela români din Valea Mlavei // Anuarul Arhivei de folklor. 6. București, 1942.
- Petrovici 1943 — *Petrovici E.* Texte dialectale. Sibiu; Leipzig, 1943.
- Preda 1937 — *Preda L.* Cercetări dialectale în Dolj // Grai și suflet. 7. București, 1937.
- Rosetti 1975 — *Rosetti A.* Limba descîntecelor românești. București, 1975.
- Rosetti, Cazacu, Onu 1971 — *Rosetti Al., Cazacu B., Onu L.* Istoria limbii române literare. București, 1971.
- Scurtu 1942 — *Scurtu V.* Cercetări folklorice în Ugocea românească (jud. Satu-Mare) // Anuarul Arhivei de Folklor. 6. București, 1942.
- Șăineanu — *Șăineanu L.* Dicționarul universal al limbei române. [București].
- Tamás 1966 — *Tamás L.* Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Budapest, 1966.
- Tiktin — *Tiktin H.* Rumänisch-deutsches Wörterbuch. 1—3.
- Vasiliiu 1942 — *Vasiliiu D. A.* Sufletul românului în credințe, obiceiuri și datine. Cercetări de folklor. București, 1942.

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫХ ВЗАИМОВЛИЯНИЙ ЛИТОВСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЗАГОВОРОВ НА БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

История взаимодействия балтийских и славянских народов обусловила их теснейший контакт во многих областях культуры и быта. Говоря о народной культуре балтов и славян, необходимо опираться, с одной стороны, на общую основу, реконструируемую на материале фольклорных текстов, и в то же время учитывать феномен своеобразного взаимопроникновения двух традиций, возникший в результате многовекового соседства. В этой связи погружение «вглубь» текста, попытка построения общей основы — гипотетического балто-славянского фольклорного текста и на его основании балто-славянской картины мира — несомненно очень важны и проливают свет на многие закономерности и взаимосвязи. Однако не менее интересным остается анализ различий двух культур, того пути, который выбрала каждая из них в развитии общей основы. Надо отметить, что таких различий немало: при сравнении двух корпусов текстов, например литовских и русских лечебных заговоров, бросаются в глаза разное структурное построение и приемы, которыми пользуется знахарь для достижения одной и той же цели (список болезней, против которых направлены заговорные тексты, как правило, идентичен). Важной представляется попытка анализа взаимовлияний разных заговорных традиций в зоне их контактирования — балто-славянского пограничья. Возможно, перекрещивание культур на белорусско-польско-литовском пограничье даже послужило стимулом к развитию тех или иных жанров фольклора. Заговорный жанр получил особое распространение именно на этой территории. Весьма вероятно, что этот факт неслучаен: в условиях тесного взаимодействия культур развивается жанр, во многом построенный на оппозиции «свой/чужой», провоцирующий человека активно вмешиваться в действительность, противостоять неведомым силам. Сравнение текстов заговоров, выявление общих сюжетов и мотивов, а также возможных путей их заимствования были бы полезны для изучения взаимовлияния балтийских и славянских культур.

Несмотря на замкнутость, стремление к скрытности и ореол таинственности, свойственные заговорному жанру и обусловленные его направленностью, факты показывают, что эти тексты были вполне доступны разным национальным группам и не знали языковых границ. Об этом свидетельствует существование на территории Литвы идентичных заговорных текстов в двух или трех вариантах. Например:

Karaliau liepsnotas, gyvačių viešpats, žvilgtelk akele po savo karūnėle. Žalčių karaliau, atimk žandelį nuo to (tos) vargdienėlio (LT, № 9258); *Królu płomenisty, Gadzin panie, Spójrz oczkiem Z pod twej korony. Wężów królu, Obierz żądło Od tego biedaka (biedaczki)* (Majewski 1892, № 419);

Bog Ojciec jest doktor, Syn Boży — lekarstwo, Duch Święty — pokój (LMD, I, 940 (27)); *Dievas Tevas yra gydytojas. Dievo sunus vaistas Šventoji Dvasia — ramybė* (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 63);

Vardan Dievo Tėvo ir t.t. Amen. Suk, suk, na tebe kriuk, tebe krasata, a mene čystata. Amen. Amen. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir t.t. Amen (Balys 1951, № 427); *Šaka, šaka, šaka, te tau kablys, tau dailumas, o man švarumas* ‘Сук, сук, сук, вот тебе крюк, тебе красота, а мне чистота’ (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 86).

Однако полностью идентичных текстов существует не так много, в основном встречаются тексты с небольшими расхождениями; как правило, полностью совпадает только начало, например:

Słońca słońcem, miesiąc miesiącem, robak robakiem, niechaj robak powziel pa rosie i nikomu nieszkodzilaba (LMD, I, 942 (10)); *Saulė — saulės, mėnuo — mėno, kirmėlė — kirmėlės, vaikščiojo per rasų, kad vaikščioja tevaikščioja, juodam plaukui tegul nevodija, neiškadyja*. ‘Солнце — солнца, месяц — месяца, червь — червем, ходил по росе, что ходил, пусть ходит, черному волосу пусть не вредит’ (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 8);

Sołnca, miesiąc, jasna zorza, matka niek spatoże (LMD, I, 940 (1)); *Sauliula, mėnasėli, šviesyja aušrela, gražyja švenčiausia Panela, atim man šitų sopulį. Amen. Amen. Amen* ‘Солнышко, месяцок, светлая зорька, прекрасная Пресвятая Дева, возьми эту боль. Аминь. Аминь. Аминь’ (Mansikka 1929, № 57);

Gad gadzica, čornaja zmieica, wypolžala iz pod lipovago kusta. Galava krasnaja, a kvost jasnaj, niet tabie miesta ni wo mhach, ni w balotach, ni w gnilycn kałodach. Stan' miakaja od lipovo cvieta, od lipovovo cvietka (LMD, I, 943 (12)); *Gad, gadzica, juodaja gyvatalė, išpauzei iš liepos krūmo, galva raudona, uodega geltona. Plaukei per marion, uodagos nežumerkei, kišk, skundziñ savo gyluoni undenin, iškel cunių viršun* ‘Гад, гадзица, черная змейка, выползла из липового куста, голова красная, хвост желтый. Плыла по морю, хвост не замочила, суй, топи свое жало в воде, подними опухоль вверх’ (Mansikka 1929, № 71);

Спрашивает молодой месяц старого: «Не болят ли зубы мертвому?» «Не болят, не ноют, не ломят, не колют». «Замертвели, как у мертвого. и тогда.

и ныне, и во веки веков» (Novikovas, Trimakas 1997, № 28); (*Kai tik pamatysi jauną Mėnulį, reikia triskart kalbėti:*) *Klausė jaunas seną, ar skauda dantis mirusiam.* ‘(Как только увидишь молодой месяц, надо три раза сказать:) Спрашивал молодой старого, болят ли зубы у мертвых’ (Balys 1951, № 82).

Трудно в таких случаях сказать, в каком направлении шло заимствование: перенималось начало заговора и использовалось как законченное или к заимствованному короткому заговору придумывалась своя концовка. Возможно и то и другое. Установлению пути заимствования помогает анализ похожих текстов, бытующих на основной территории распространения данной культуры. Выяснить, какая традиция являлась первоисточником, можно по распространенности того или иного мотива в разных корпусах текстов.

Например, заговоры от змеи являются одним из самых распространенных заговорных жанров в Литве, поэтому соседние традиции могли перенять многие способы борьбы со змеей у литовцев. В качестве иллюстрации можно привести заговоры, записанные на территории Литвы на польском языке:

Srybra i złota, neprzeszkadzaj mnie, ja tobie idz' da domu spać (LTR, 3585 (204))

Ср. литовские: *Aukseli, sidabrėli, eik nam(uli)o gulti. Saulė eina, mėnas eina, niekam blė(ie)dos nedaro, — eik namulio gulti(cie), eik namulio gulti(cie), eik namulio gulti(cie). Amen, amen, amen* ‘Золотушка, серебрушка, иди домой спать. Солнце идет, месяц идет, никому вреда не причиняют, — иди домой спать, иди домой спать, иди домой спать. Аминь, аминь, аминь’ (Mansikka 1929, № 66); *Aukseli, sidabreli, eikie urvelin gulcie, niekam škados nedaryk. Op! Op! Op!* ‘Золотушка, серебрушка, иди в пещеру спать, никому вреда не делай. Оп! Оп! Оп!’ (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 10);

Gadzyna, kancyla a či šara, a čy ruda, a proše isc na bože sonda žebi vienci nodžlini nebilabi! (LTR, 3976 (206))

Ср. литовские: *Juoda gyvatė ruda, Eik un Džievo sūdo, Atlaisk savo kundzimę.* ‘Черная змея бурая, иди на Божий суд, отпусти свой укус’ (Mansikka 1929, № 65); *Gyvate pilka, gyvate marga, gyvate ruda, atsiimk savo sopolį, bo atsakysi ant sūdo Dievo* ‘Змея серая, змея пестрая, змея бурая, отними свою боль, иначе ответишь на Божьем суде’ (Balys 1951, № 387)

Наоборот, мотив диалога с месяцем в заговорах от зубной боли, скорее всего, заимствован в литовскую традицию из славянской. Этот сюжет довольно популярен в белорусской и русской традициях, например:

белорусские: *Маладзік малады, у цябе рог залаты, ты на моры купаўся, а мне ў сне паказаўся. Маладзік Афанасавіч, быў ты на тым свеце? — Быў. — Бачыў ты мёртвых? — Бачыў. — А баляць у іх зубы? — Не. — Штоб не балелі і мне. Рыба ў моры, заяц ў полі, а мядзведзь у лясу. Як етыя тры едзініцы сойдуцца і будучь піць і гуляць, так няхай тады зубы баляць. А етыя едзініцы*

не сойдуцца і не будуць ні піць, ні гуляць, хай ніколі і зубы не баяць (Замовы, № 607);

На небе месяц висока, у моры камень глыбока, у лесе дуб далёка. Як гэтыя тры браты зыйдуцца да месца, да будуць піць і есці, то тады ў Віці будуць зубы балеці. Маладзік ты малады, і быў ты на тым свеце? — Быў. — А ці баяць у мёртвых зубы? — Не, не баяць. — Так няхай і ў Віці не баяць (Замовы, № 608);

русские: «Князь молодой, рог золотой, был ли ты на том свете?» — «Был» — «Видал ли ты мертвых?» — «Видал» — «Болят ли у них зубы?» — «Нет, не болят» — Дай Бог, чтобы и у меня раба Божия (имярек), никогда не болели (Майков 1994, № 73);

Месяц в небе, медведь в лесу, мертвец в гробу; когда эти три брата сойдутся вместе, тогда пусть болят зубы у раба (имярек) (Майков 1994, № 75).

Тот же сюжет встречается и в польской традиции на территории Польши: *Mołodyki, mołodyki (miesiączku), gdzieś ty bywał? — Na tamtym świecie. — Coś tam widział? — Umarłych. — Co oni robią? — Leżą. — Niech moje ząbki nie bolą* (Rokosowska 1900, p. 495);

Jest na niebie księżyc, jest w jeziorze kamień, jest na boru dumb; kiedy te trzy bracia gdziekolwiek sie znejdo, tedy niech mie boli <zumb> (Kolberg 1966, № 64).

Литовская вариация подобного диалога без участия месяца зафиксирована в районе Воронова, в Белоруссии, что наверняка свидетельствует о заимствовании:

— *Dantys, dantys, ar jūs buvot ant to svieto? — Ne — Ar jūs žinot, ar ten sopa dantys? (sako:) — Ne — Tai tegu ir tau nesopa!* ‘Зубы, зубы, были ли вы на том свете? — Нет — Знаете ли вы, болят ли там зубы? (говорят) — Нет — Так пусть и у тебя не болят!’ (LTR, 4311 (67)).

Возможно, мотив месяца в связи с зубной болью является универсальным (по крайней мере, для славянского мира), однако в литовской традиции, несмотря на большую популярность месяца как мифологического и фольклорного персонажа вообще, сюжет разговора с ним выглядит несколько иначе. Существует целый корпус текстов, содержащих обращение за помощью к молодому месяцу как в случае отдельных (разных) болезней, так и с профилактической целью:

Mėnuo, Mėnuo, Mėnulėli, dangaus šviesus dievaitėli, duok jam ratų, man sveikatų, duok jam pelnystį, man Perkūno karalystį. [Pasakotojas daug kartų esąs matęs, kad sukalbėjęs šią maldele nustojęs kraujas iš žaizdos bėgti; daugelis ūkininkų šią maldele moka ir tiki, kad sulaiko tekančią kraują ir padeda nuo visokių ligų] ‘Месяц, Месяц, Месячокек, светлый небесный боженька, дай ему круг, мне здоровье, дай ему полноту, мне царство Перкунаса [Рассказчик много раз видел, как после произнесения этого заговора перестает кровоточить рана.

многие крестьяне знают эту молитву и верят, что она останавливает кровь и помогает от всех болезней]’ (Balys 1951, № 1);

Jaunas Mėnuo, kaip ponaitis, dangaus žemes karalaitis, pamas Marijas sūnaitis. [Tada visą tą mėnesį bus laimingas] ‘Молодой Месяц, как господин, царевич неба и земли, сын девы Марии’ [Тогда весь этот месяц будет счастливым] (Balys 1951, № 16).

Как видно из приведенных текстов, Месяц в литовской традиции выступает как всемогущее божество, «царевич неба и земли», способный защитить от болезней, принести счастье и благополучие, а не просто как один из трех влиятельных персонажей (трех братьев наряду с камнем и дубом) в славянской традиции. Трудно сказать, какой вариант сюжета архаичнее: обращение к трем важнейшим объектам мироздания, находящимся в центральных точках локусов, олицетворяющих главнейшие стихии (водная — море, озеро; земная — поле; воздушная — небо), или прямая апелляция к одному из них как божеству. Можно лишь отметить, что такое «распределение отношений» характерно для той и другой традиции и проявляется в других случаях тоже. Славянские (в частности, белорусские и русские) заговоры чаще содержат описания пространств и центрального локуса в них, как бы постепенно сужая фокус внимания, приближаясь к центру, и нередко ограничиваются констатацией факта наличия где-то определенного силового поля, что само по себе должно быть целительным. Между тем для литовской заговорной традиции характерно представление каждого объекта мирового пространства в качестве самостоятельного центра и обращение непосредственно к нему. В любом случае взаимосвязь «месяц, владыка ночи → потусторонний мир, мир мертвых → прекращение всех болей, бесчувственность» можно считать универсальной.

Подобные параллели можно найти и для многих других сюжетов. В заговорах обнаруживаются многие универсальные или идущие от одного древнего источника методы лечения болезней. Это, в частности, мотив розы в заговорах от рожи, присутствующий в очень многих традициях (ср. немецкие заговоры, приведенные Н. Познанским [Познанский 1995, 185], в том числе в польской, литовской и белорусской (реже — в русской), а также в славяноязычных заговорах на территории Литвы:

белорусские: *Ішла Насвенчая матка чэраз чыстае поле, нясла тры рожы ў прыполе. Первая пала, другая прапала, трэцяя сама звяла. Амінь* (Замовы, № 719); *Ішоў Хрыстос на поле, нёс тры розы: адна акамянела, другая адзержыянела, трэцяя згінула, згінь і ты, боль, нячыстая рожка* (Замовы, № 720);

литовские: *Ėjo Jezus ir sutiko tris rožes. Viena prapuolė, kita pražuvo, tegul pražus ir šita trečia kartu.* ‘Шел Иисус и встретил три розы. Одна исчезла, другая пропала, пусть пропадет и эта заодно’ (LTR, 4105 (403)); *Ėjo Motina Švenčiausia per pievą, rado tris rožes: vieną raškė, kita puolė, trečia suvis*

prapuolė. Ir su Motinos Švenčiausios pamačiu, ir tegul šita sopė prapuola. 'Шла Пресвятая мать через луг, нашла три розы: одну сорвала, другая упала, третья вообще пропала' (Balys 1951, № 415);

русский: *Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Шел батюшка, истинный Христос, по лугам, по полям, по горам, по болотам и по топям. Нес он с собой три цвет-розы. Первая цвет-роза сповяла, вторая цвет-роза посохла, третья цвет-роза облетела. Как те три цвет-розы изничтожились, так бы и моя болезнь пропала и высохла, и не бывает бы ей на мне, рабе Божием имярек, ни во веки веков. Аминь (Александров 1997, № 46);*

польские на территории Литвы: *Szed pan Jezus przez góry, przez piaski, nios trzy róże w rękę. Piersza róża — odchodź. Druga róża — odstęp. Trecia róża — zgiń przepadnij!* (Balys 1951, № 406); *Szedł Pan Jezus Chrystus przez góry, przez lany przez piaski i trzymał trzy róże w rękę: jedna pachnąca, druga boląca, trzecia rany pokojąca. Zdrowaś Marija* (LMD, I, 942 (14)).

польский на территории Польши: *Szedł Pan Jezus przez błonie i niosł w swym rękę trzy róże: jedną zeschlą, drugą zwiędłą, trzecia wniwecz się obróciła. Zgiń i ty, różo, przez moc boską, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen* (Wisła 1891, p. 905).

Исходя из того, что в русской традиции этот сюжет менее всего популярен и встречаемость его возрастает по мере приближения к западу, в заговорах старообрядцев на территории Литвы, скорее всего, он заимствован, ср.:

Ишёл Исус Христос через Кедру-реку. Нёс три цвета розы: один — белый, а другой — синий, а третий — красный. И один впал, а другой свял, а третий в Исуса Христа в руках пропал. Ты пропади, рожса, от раба Божей (имя) с белява лица и с горячей крови, с белой кости — по сей час, по сей мой приговор! Всегда — и ныне, присно и вовеки веков. Аминь (Novikovas 1997, Trimakas, № 43)

Tau yra ta pikta rožė, todėl norim šiuos žodžius kalbėti nuo tos rožės į mūsų Poną Jėzų. Kadėjo per vandenį, upes, jis turėjo rankoj tris rožes: vieną baltą, antrą mėlyną, trečią raudoną; viena nuvyto, antra nuskendo, trečia pražuvo nuo to žmogaus kūno. Vardan Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus Amen 'У тебя та злая рожса, потому хотим эти слова говорить от этой рожки к нашему Господу Иисусу. Что шел через воды, реки, Он нес в руке три розы: одну белую, другую синюю, третью красную: одна завяла, другая утонула, третья погибла от тела того человека. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь' (Balys 1951, № 418)

Хотя в русском заговоре очевидны типичные для основной традиции формулы: характерная концовка, постоянные эпитеты и перечисления — все же заметны и следы литовского влияния, как на грамматическом уровне, так и в структуре текста. Об особенностях заговоров старообрядцев Литвы будет подробнее сказано ниже.

Еще одним общим для многих традиций мотивом является сравнение крови с рекой Иордан и упоминание крещения Иисуса Христа, например:

белорусские в Белоруссии: *Ішлі тры калекі цераз чатыры рэкі. Лозу (чапот) уламалі і кроў замаўлялі: «Ішоў Ісус Хрыстос і Яне, няхай на тваёй ране кроў стане»* (Замовы, № 477); *Ішлі тры калекі цераз быстрый рэкі, лозы ламалі, росы збівалі, расаду саджалі. Расада, прымайся, кроў, замаўляйся. Стань, кроў, на ране, як вада на Ярдані* (Замовы, № 478);

русские в России: *Стой, кровь, стой, кровь, в ране, как Иисус Христос на Иордане* (Аникин 1998, № 1674); *...Как истинный Христос шел через огненную реку, Запирал, замыкал, заговаривал, Так бы у раба Божья (имярек) Кровь запирал, замыкал, заговаривал. Век — по век. Аминь* (ТРМ, № 424)

литовские в Литве: *Stok kraujas, kaip upė Jordano, kaip šventas Jonas krikštijo Kristusą Poną. ‘Стой, кровь, как река Йордан, как святой Иоанн крестил Господа Христа’* (Mansikka 1929, № 29); *Šventas Jonai, Dievo delmonai, suturėjai Cedrono upę, suturėk ir šitą kraują ‘Святой Иоанн, удержал реку Цедрон, удержи и эту кровь’* (Balys 1951, № 509);

польские в Литве: *Zatrzymaj się krew w rancie, jak rzeka w Jordanie podczas chrztu Chrystusowego* (LMD, I, 940 (12)); *Sventi Janie, Silas pana Jezusa v Jordanie Ti začimaj krev v tej ranie* (LKAG, 65 (41));

польский в Польше: *Stań krew w ranie jak stanęła w rzece Jordanie, gdy św. Jan chrzcił Pana Jezusa. Na imię Jezus niech wszelkie kolano upada: niebieskie, ziemskie i piekielne. Panie wysłuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie. Amen* (Rokosowska 1900, p. 460).

Мотив происшествия с божественным персонажем в процессе пути и его быстрого исцеления или неподатливости болезни также довольно распространен. Наиболее популярен он в Белоруссии и Польше, есть отголоски его и в Литве:

Ėjo Kristus per ciltį ir nulūžo lieptas ir inkrito Kristaus koja. Nuėjo Kristus sveikas, neskauda koja, taip tegu neskauda Jonui ‘Шел Христос через мост, и сломалась перекладина, и застряла нога Христа. Ушел Христос здоровым, не болит нога, так пусть не болит у Йонаса’ (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 74).

Ср. русский: *Шел истинный Христос путем-дорогою, Прокколол троточкой левую ногу, Не боялся ни щепоты, ни болезни, Ни кровавой раны. И также рабу Божьему (имярек): Не бойся ни щепоты, ни болезни, Ни кровавой раны. Аминь!* (ТРМ, № 442)

белорусский: *Ішоў Гасподзь цераз гару, цераз мяжу. Бог спатыкнуўся, ножка спавіхнулася, костачка з костачкі, суставачка з суставачкі: стань на стану, як стаяла, і рабі так, як рабіла, а хадзі так, як хадзіла. Я з словам, а Бог з помаччу* (Замовы, № 567, ад звіху, выбою, удару).

Формула, использованная в последнем заговоре, отсылает к известному общендоевропейскому сюжету «кость к кости» (см. реконструкцию — Топоров 1969). Более полно представлен польский вариант:

России тот же прием используется для лечения другой болезни — грыжи, вероятно по звуковой аналогии, ср.: *Грыжа, грыжа, я тебя, грыжа, Грызу, загрызаю, Грыжу всю искусаю, Чтобы век тебя не было. Веки по веки. От веки на веки. Аминь* (ТРМ, № 373)

На той же ассоциативной связи внешнего проявления болезни (или звукового облика ее названия) с другими объектами, вероятно, построены и следующие общие мотивы, например,

— сравнение ячменя с кукишем:

русские в Литве: *Ячмень, ячмень, на тебе кукиш! За кукиш что хочешь купишь. Кути себе топорок, секи себе поперек* (Novikovas, Trimakas 1997, № 29);

литовский в Литве: *Mieži(y), mieži(y), te špyga! Fu, fu, fu!* ‘Ячмень, ячмень, на фигу! Фу, фу, фу!’ (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 72);

белорусский в Белоруссии: *Ячмень, ячмень, На табе кукиш. Што хочаш. То і купиш. Купі сабе тапарок, Сячы ячмень папарок* (Замовы, № 856.)

русский в России: *Ячмень-ячмень, на тебе кукиш; что хочешь, то купишь; купи себе топорок, руби себя поперек* (Савушкина 1993, № 131);

— отсылка лишая к свиньям:

русский в Литве: *Lišai lišai, sviniam mišai; svinia zjedai i prapadai* (Balys 1951, № 431);

литовский в Литве: *Dedervine, dedervine, aik juodai kiaulai maišyk. kad tavi nebūtu, kad tu prapultai ir kad tavi nebūtu!* ‘Лишай, лишай, иди черной свинье мешай, чтоб тебя не было, чтоб ты пропал и чтоб тебя не было’ (LTR, 3194 (86));

белорусский в Белоруссии: *Лишай, свинням мяшай; Лишай, дабранач. Ідзі да свіней нанач* (Замовы, № 743);

— обращение к чертополоху в заговоре от червей:

литовский в Литве: *Dagi, dagi, aš tave slegiu, kad išbyrėtų margai karvei kirmėlės; jeigu išbarstysi, tave paleisiu, neišbarstysi — tu čia supūsi* ‘Чертополох, чертополох, я тебя наклоняю, чтобы высypались из пестрой коровы черви; если высыпешь, тебя отпущу, не высыпешь — здесь сгниешь’ (Balys 1951, № 535);

польский в Польше: *Do tej pory będą ciebie więzić, póki nie wysypiesz z rany robactwa* (Wisła 1891, p. 905, № 3);

белорусский в Белоруссии: *Бульняк, бульняк, белая на табе цявіна, загну я цябе, заламлю я цябе, пакуля ў маёй скаціны, чорнай шарсціны, чэрві навывсыпаюцца; а тагды разажну цябе, адламлю цябе* (Замовы, № 283);

русский в России: [Траву, называемую татарин или мордвин (чертополох), пригибают к земле — ежели скотина рыжая или белая на полдень. ежели черная на запад, и говорят:] *Господи Иисусе Христе, Боже наш, по-*

милой нас, аминь. Выведи, татарин (= татарник, мордвинник, арпей) червей у такого то цвета скотины; если выведешь, я тебя отпущу; а если не выведешь, из корня подерну. [Говорить трижды, не переводя духа; когда через три дня черви пропадут, траву отгибают] (Майков 1994, № 200);

— предложение мыши обменяться зубами:

в Польше: *Weż, myszko, zęb kościany, a dej mi żelazny* (Kotula 1976, № 5);

в Литве: — *Pele, pele, te tau kiaulinis, duok man geležinį* (TD, № 54);

в России: *На тебе, мышка, реной зуб, дай мне костяной!* (Савушкина 1993, № 20);

— взаимосвязь древесных сучьев и кожных болезней (чирей, нарыв, лишай)

русский в России: *(Очертить средним пальцем правой руки сук у двери или оконного косяка, приговаривая:) Как сохнет и высыхает сук, так сохни и высыхай, болетон; от перста нет огня, от чирья ни ядра* (Майков 1994, № 134);

русский в Литве: *Сук-сучанец, возьми свою нечистоту, отдай рабе Божьей (имя) красоту. [Брали нож, водили им по сучку где-нибудь, три раза говоря:] Круг, круг, пойди в сук! [Затем нож втыкали в сучок и оставляли на несколько часов]* (Novikovas, Trimakas 1997, № 30)

литовский: *Kaip naktis dzyla, kap diena dzyla i kap ita šaka dziūsta, tegu ite ita dedervinė išdziūsta. [...reikia dar seilėm paspjaudžius trinti dedervinę dešinės rankos pirmu (bevardžiu) pirštu, ir vis tą pirštą pirma patrint bile kur į sauso medžio šaką]* 'Как ночь сокращается, как день сокращается и как этот сук сохнет, пусть так же этот лишай засохнет [...надо еще поплевать и слюной тереть лишай первым (безымянным) пальцем правой руки, и этот палец потереть о какой-нибудь сук сухого дерева]' (TD, № 455)

белорусский: *...Як сук нем, каб і валасень так занямеў* (Замовы, № 750)

Последний пример интересен не только общефольклорным сравнением кожи человека с корой дерева (а наряду с этим и болезни с сухим деревом), но также и связью с этимологией литовского названия болезни *dėdervinė* 'лишай': редупликация корня *derva* 'смола', родственного рус. *дерево* (Фасмер, I, 502).

Помимо общих сюжетов и мотивов, использующихся в разноязычных заговорах, интересны случаи заимствования отдельных формул, оборотов, «кочующих» по разным традициям. Так, например, угроза змее залить ее кровью петуха и выжечь огнем из камня существует в трех вариантах: белорусском, литовском и русском (на территории Литвы):

Krūmas lazdynų riešucinis, ti vaikščiaja trys mergas, anas šveždėja, burbuliava, prė gyvatį vutara. Ak tu, kirmele — gyvate! Aik, pasim sava gyvonį, aba aš ainu laukan, paimsiu išakmenia vugnies, išgaidžia krauja; aš nureisiu balon, žuvysun, aždėksiu supuvusias kalades; aš nureisiu mariasun, pasiimsiu čysta vundenia i aprausiu N (juodu, žaliu) karvį 'Куст ореховый, там гуляют три девицы, они

шипят, булькают, о змее говорят. Ай ты, червь — змея! Иди, возьми свое жало, или я иду в поле, возьму из камня огонь, из петуха кровь; я пойду в болота, к рыбам, зажгу гнилые колоды; я пойду в моря, возьму чистую воду и обмою корову' (ТД, № 448);

Pulkas juodų, pulkas rudų, pulkas geležinių, Geležie, geležie, geležie ką įleidai. išimk. Jei neišimsi, aš paimsiu, mesiu akmenis (akmens?) ugnį, uždegsiu kalnus, pakalnes ir klonius ir tau nebus, kur išeiti. Jei neišeisi, aš paimsiu gaidžio skiauteres kraujo, užliesiu kalnus, pakalnes ir... 'Стадо черных, стадо коричневых, стадо железных. Железо, железо, железо, что выпустил, вынь. Если не вынешь, я возьму, брошу каменный огонь, зажгу горы, подножья и склоны, и тебе некуда будет выйти. Если не выйдешь, я возьму кровь из гребешка петуха, залью горы, подножья и склоны...' (LTR, 3961 (7));

Гад Якаў, гадзіца Якавіца! Гад, гад! Вазьмі свой яд. А ня возьмеш свайго яду, я пайду на Кіян-мора. На Кіянні-моры ляжыць Латыр-камінь. Я з Латыра-камя вазьму агню, з пітуна крыві, выжгу ўсі мхі, усі балоты, усі крутыя берагі. Ня будзіць вам ні прыстанішча, ні прыбежышча. Ветка і млада марта, мая мясяца — ва веці вяком (Замовы, № 416);

Шел раб Божий (имя) с матерью пресвятой Богородицей, с Михаилом Архангелом, с апостолами Петры и Павлом. Навстречу мне лютая змея — медь и меденица, гад и гадиница, уж и ужица. И речет мать пресвятая Богородица: «Ой, лютая змея! Почто съела человеку руку (или ногу)! У меня во рту вода, на языке трава. Водюю я смываю, травою засыпаю, как попу Ермолаю». Гад, гад, рудый гад! Гад, гад, черный гад, Возьми свой яд. Если не возьмешь свой яд, пойду на море-океан, возьму из белого Янтаря-камня огня, у петуха — крови и выжгу, и выпеку весь твой яд. Не будет тебе сокровища ни в горах, ни в норах, ни в дремучих лесах. Снова не стоковать ни ломоты, ни опухоли. Не видать ветхой молодости месяца марта. По сей день, по сей час, по сию минуту, всегда — ныне, и присно, и во веки веков (Novikovas, Trimakas 1997, № 18).

Поскольку первый литовский заговор содержит явные славизмы (*vutara, čystas*) и перевод славянского устойчивого выражения 'гнилые колоды', можно предположить, что заимствование шло из белорусской традиции. Однако во многих случаях трудно сделать однозначный вывод. Например, во многих белорусских, русских и польских заговорах встречаются однотипные сюжетные построения: выяснения причин возникновения болезни и отсылка ее туда, где «люди не ходят, звери не бродят, птицы не летают»:

Uroki, urocyska! Z czegośta się dostały? ...Cy z chłopa? Cy z baby? Cy ze zyda? Cy z żydowki? Jak z wiatru — idźta na wiatry! Jak z chłopa — pod copcysko! Jak ze zyda — pod kaśkiecisko! Jak z dziwki — pod splecysko! Jak ze żydowki — pod ogonie.. (Kotula 1976, № 48);

Уроки-прарокі, мужчынскія, жаноцкія, дзявоцкія, дзяцёцкія. Пайшлі урокі на бабскіх языках, на мужчынскіх галавах. Дзяцёцкія — пад чапец, дзявоцкія — пад вянец, жаноцкія — пад касу, а мужчынскія — пад шапку.. (Замовы, № 938);

...Откуль пришли, уроки и прикосы: от девки ли простоволоски, от женки ли красноголовки, от мужика ли кореничка или от лиходумица — туда и подите, уроки, прикосы, ко старому хозяину на корень, на век к веку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь (Аникин 1998, № 2202)

Uciekoj! Uciekoj! Na bory, na lasy, na suche korzenie. Tam gdzie wiatery nie dowieje, gdzie cie kogut nie dopieje, gdzie cie pies nie doszczeko — niech tam ból usieko! (Kotula 1976, № 37);

...Цяпер ідзі на мхі, на балоты, на гнілыя калоды, ідзе людзі ня ходзюць. ідзе птах ня залятая, ідзе звер не забягая, — там табе качацца-валяцца, а на мяне, рабу божую, забывацца (Замовы, № 704).

Благословенно царство Отца, Сына и Святого Духа! Воскресни, Господи, воскресением своим! От стрешнаго, поперешнаго, от лихого человека помилуй, Господи, рабу Божию (имярек), от притки ли, от приткиной матери рабе Божией (имярек) сделалось. Поди во темны леса, на сухи дерева. де народ не ходит, де скот не бродит, де птица не летает, де зверье не ходят (Майков 1994, № 233)

Какая из этих традиций явилась источником, наверное, ответить трудно. Однако в литовских заговорах этот мотив встречается редко, поэтому можно предположить, что единичные случаи употребления этой формулы являются заимствованием у славян. Например:

Ankstų rytų keliuos, gailiu rasu prousiuos, sauļi kalbinu, Dzievų garbimu. Ligos pro šalį, priepuoliai pro šalį, nog many in sousus medzius, in gilus raistus, kur žmonės nevaikščioja, gyvuliai nebraidžioja, paukščiai nelakioja ‘Рано утром встаю, горькой росой умываюсь, с солнцем говорю, Бога почитаю. Болезни мимо, припадки мимо, от меня на сухие деревья, в глубокие болота, где люди не ходят, животные не бродят, птицы не летают’ (Krėvė-Mickevičius 1926, № XVII).

Такого рода описания пути, как и описания локуса, куда отсылается болезнь, тоже не свойственны литовским заговорам. Подобные заговоры можно отнести к типичным заимствованиям, в них иногда присутствуют и всевозможные перечисления (также характерные для славянской традиции), например:

Viešpatie Jėzau Kristau! Palaimintos tavo Šventos akys! Šaukiu į pagalbą nuo akių rudų, juodų, pilkų, rusvų, nuo visokių akių. Siunčiu aš jus ant upių, ant akmenų. Ant okeanų, marių mučikas stovi, ant okeanų marių žvakės dega, giliam ežere ten pasiskandinkit, pradinkit giliam ežere blogos akys (Dundulienė 1992, p. 55);

ср. идентичный заговор по-русски на территории Литвы: Ospadzi Isie Kriscie, boguslavi glazy Tvai sviety. Przyzywaju na pomošć od glazu rudy, čorny.

kary, siery, od glazu usiakuj. Pasyłaju ja was na rieki, na kijany, na kijany mori mičyk staič, na kijany mory sviečy palitca u glubokim ozirki tam utopica ukomimica u glubokim ozirki mroki (LMD, I, 942 (15)).

При сравнении типичных для каждой традиции заговорных построений интересно обратить внимание на трансформацию этих особенностей в русских заговорах на территории Литвы. Существует довольно обширный корпус текстов славяноязычных заговоров на территории Литвы, в которых настолько явны следы смешения традиций, что зачастую даже сложно сказать, на каком языке этот текст: в одном предложении может встречаться сильно видоизмененная как литовская, так и польская (белорусская, русская) лексика. Однако существуют и «полноценные» тексты на русском или польском языке, на первый взгляд не отличающиеся от текстов на основной территории, тем не менее претерпевшие влияние иноязычного и инокультурного окружения. Даже заговоры русских старообрядцев, несмотря на обособленность и закрытость их носителей, содержат некоторые не свойственные остальным русским заговорам черты. Для сравнения можно привести некоторые характерные для русской традиции сюжеты и сравнить аналогичные заговоры на русской и литовской территориях:

1) от сглаза:

От Господа нашего Иисуса Христа, от сглаза (имярек). От глаза мужского: от черного, от рыжего, от белого, от синеватого, горбатого, насмешливого, высокого, низкого, завидного, хохотливого.

От глаза женского: черноволосая, длинноносая, слеповатая, горбатая, насмешливая, низкая, высокая, широкоплечая, сухая, синяя, черная, сивая, корявая (Novikovas, Trimakas 1997, № 9)

Сохрани, Господи, и помилуй, раба твоего, больного (такого-то) от черного глаза, от мужского, от женского, от денного, от полуденного, от часового, от получасового, от ночного, от полуночного, от всех жил, от всех суставов, от белого тела, от желтой кости, от родимца, изреца, от черной печени, от горячей крови. Спаси, Господи, и помилуй его. Не я его придуваю, не я его прикалываю, а Матушка, Пресвятая Богородица, Своею рукою, Своею пеленою, Своим крестом и животворящею силою. Во имя Отца и Сына, и Духа Святаго. Аминь (Савушкина 1993, № 178 (Воронежская обл.));

2) от крови:

Бежит конь карь, на нем сидит старик стар. И ты, кровь, стань у раба Божьего (имярек). Если не станешь, то тебе будет, кто в воскресенье дрова рубит. Всегда — ныне, и присно, и во веки веков (Novikovas, Trimakas 1997, № 14);

На море на Океане океанский царь, под ним конь карь; ты, кровь, не капь, по сей день, по сей час, по мой уговор, по мой приговор, во веки веков, аминь (Майков 1994, № 160 (Новгородская обл.));

3) от кровотечения:

Что на море, на океане лежит белый Пилатырь-камень. На тым камне сидит девка-девица, шьет-вышивает. Кровь, кровь, утешись. Аминь Божий (Novikovas, Trimakas 1997, № 15);

На море на Океане, на острове на Буяне сидит девица, Она шьет, пошивает, золотые ковры вышивает не ниткою, шелком; шелковинка оборвется, и кровь уймется (Майков 1994, № 146 (Воронежская обл.)).

При сравнении этих заговоров бросается в глаза не столько краткость литовских вариантов по сравнению с русскими (отмеченная и самими собирателями, опубликовавшими эти тексты — см. Novikovas, Trimakas 1997, p. 270), сколько усеченность их структуры — ср., к примеру, в первом примере, отсутствие традиционного зачина и концовки; невыраженность пространственной локализации во втором и схематичность ее описания в третьем. Русские заговоры под влиянием литовских (предположительно) не столько упрощаются, сколько меняют тип — из эпических (что свойственно восточнославянской традиции) становятся заклинательными, более конкретно направленными — ср. *Кровь, кровь, утешись* — прямое обращение и *...шелковинка оборвется, и кровь уймется* — пожелание в 3-м лице (пример № 3). Примечательно, что характерные для русских заговоров приемы принципиально не меняются: остаются и перечисления (см. пример № 1), и описания локуса, и постоянные эпитеты, и формулы типа *ныне, и присно, и во веки веков*. Однако и они приобретают несколько видоизмененный характер: вместо складности и напевности, присущей русским традиционным текстам, они приобретают некоторый оттенок резкости и отрывистости, ср., например: *Если не станешь, то тебе будет, кто в воскресенья дрова рубит...* и *...ты, кровь, не капь, по сей день, по сей час, по мой уговор, по мой приговор..* (пример № 2); *На тым камне сидит девка-девица, шьет-вышивает...* и *На море на Океане, на острове на Буяне сидит девица, Она шьет, пошивает, золотые ковры вышивает не ниткою, шелком..* (пример № 3). Избыточность описаний, парность эпитетов, повышающие изобразительность и поэтичность русских заговоров, в литовских вариантах предстают явно усеченными. Этот процесс особенно ярко выражается на уровне синтаксиса: на смену длинным сложным предложениям со множеством повторов и эпитетов приходят простые, краткие предложения с минимальным набором однородных членов:

Водица-царица и Христова источница! С востока бежишь, на западе падожь [падешь?]. Обмываешь крутые берега, желтые пески. Отмой раба Божьего (имя) со всякого испугу — от ночного, полуночного, от дянного, полуденного; сухоту, и ломоту, и нечичтоту. С буйной головы, с хрибятной кости, с горячей крови, с рецивого сердца, со всего стану человеческого. Аминь (Novikovas, Trimakas 1997, № 49);

Вода-водица, раба-рабица, как ты идешь, рвешь и берешь, смываешь и срываешь крутые бережки, желты пески, серы камешки, так смой, смой, срой, сорви и унеси уроки, призоры, шепоты, ломоты, родимцы и переполохи во быстру реку, во синё море, к вору-татарину, в легкие пещени, в ретиво сердце, от ворот (Аникин 1998, № 2130 (Архангельская обл.)).

О сохранении традиции, с одной стороны, свидетельствуют заговоры русских старообрядцев Литвы, практически полностью соответствующие русским заговорам, записанным на территории России (например, от бессонницы: *Утренняя заря-зарница, красная девица, Крикса, Фокса! Возьми свой крик, подай младенцу Петру сон* (Novikovas, Trimakas 1997, № 48); *Заря-зарница, красная девица, Утренняя заря Прасковья, Крикса, Фокса, Уйми свой крик и дай младенцу сон. Заря-зарница, молодая девица, Вечерняя заря Соломонея, Крикса, Фокса, Уйми свой крик и дай младенцу сон* (Александров 1997, № 159); от прыщей на лице: *Вогник, вогник, сухой вогник — на огонь, мокрый — на ваду* (Novikovas, Trimakas 1997, № 33); *Гоник, гоник, возьми свой вогник, мокрый — на воду, сухой — на огонь* (Аникин 1998, № 1734 (Калужская обл.)). С другой стороны, о взаимопроникновении традиций говорят практически идентичные русским белорусские и литовские тексты:

— *Кого грызешь? — Грызть грызу. — Грызи, чтоб вовек не было. — Ты — грызть, а я — коза и волк. Тоже у меня зуб яркий. Тебя съем и закушу, чтоб грыжи вовек не было* (Novikovas, Trimakas 1997, № 38); — *Kę veiki? — Gryžį graužiu. — Graužk, kad išgraužtai. — Tai kę veiki? — Gryžiu graužiu. — Tai graužk, kad išgraužtai.* ‘— Что делаешь? — Грызть грызу. — Грызи, чтоб выгрыз. — Так что делаешь? — Грызть грызу. — Так грызи, чтоб выгрыз’ (LKAG, № 1270)

Икота, икота едет на сивой кобыле кругом болота, Кобыла упала, икота пропала (Novikovas, Trimakas 1997, № 44); *Ехала ікота (вар.: ікаўка) кыла балота на сівай кабылі; кабыла ўпала — ікота прапала* (Замовы, № 1267)

Однако и литовские заговоры, как было уже показано выше, часто перенимают типично славянские черты. Одной из них, по всей видимости, является эпическая направленность, не свойственная литовским заговорам. Случаи подобного рода единичны, как, например, заговор «от ламанины»:

In Akėjanauckų marių stavi astravas, in ta astrava stavi bažnyčia, taj bažnyčiai stavi lažia, taj lažij guli švintas apaštalas Simanas. Anas paskėlįs nuveja pavaikšėiac in kryžiakėlės, i rada dzvylikų mergų aplyšusių, apdriskusių, apskaldūnavusių, apspurvinavusių, bliska grynas, baisu in jas dobacie. Švintas apaštalas Simanas klausia jas: ‘Ką jūs cia susrinkat, ką jūs cia laukiat?’ — ‘Švintas apaštalai Simanai, mes cia susirinkam, mas laukiam taktių žmanių, kas rycines maldas pramiega, abiedzines praabiedaja, vakarines pravūlija, tai mes taktių žmanių kauluosun inlindam, tai kaulus laužam, sustavus gnaibam’ Švintas apaštalas Simanas jam

saka: 'Atneškīt jūs man šimtų geležinių rykščių, aš itas mergas mušiu i barsiu, kam anas ite svieta mūčija' — 'Švintas apaštalai Simanai, nei tu mus muškė, nei tu mus barkie, kas citau itų maldų atkalbės, tai mes in tu žmagų i nepadabasme, i namuosun ja neažeisme' 'На Акеанских морях стоит остров, на том острове стоит церковь, в той церкви стоит ложа, на той ложе лежит святой апостол Симон. Он потом пошел погулять на развилку, и нашел двенадцать девок оборванных, ободранных, лохматых, грязных, страшно на них смотреть. Святой апостол Симон спрашивает их: «Что вы тут собрались, чего вы тут ждете?» — «Святой апостол Симон, мы тут собрались, мы ждем таких людей, кто во время утренней службы спит, во время обедни обедает, во время вечерней гуляет, так мы таким людям в кости влезаем, так кости ломаем, суставы шиплем». — Святой апостол Симон им говорит: «Принесите вы мне железные розги, я этих девок буду бить и ругать, зачем они этот свет мучают». — «Святой апостол Симон, не бей нас, не ругай нас, кто эту молитву произнесет, то мы на этих людей и смотреть не будем, и в дом к ним не зайдем» (TD, № 461).

Ср. похожий русский заговор на территории Литвы: *Под деревом открытым стоят три святых Симона с огненными мечами, а им навстречу идут три девы голые, босые, беспоясые, простоволосые. Выходят им навстречу три Симона с огненными мечами и спрашивают: «Девы, девы, куда вы идете?» Они грубо отвечают: «Идем в свет тело щипать, кости ломать, душу к смерти гнать. Кто молитву знает, пусть три раза прочитает, — мы к ним не прискокнем»* (Novikovas, Trimakas 1997, № 41).

Обилие в литовском тексте славизмов не оставляет сомнений в происхождении этого заговора: *in Akėjanauskų marių, astravas, lazia, dobacie, abiedzines, praabiedaja, pravūlija, svieta, mūčija*.

Лингвистический анализ текстов литовских заговоров (и славянских на территории Литвы) может помочь составить представление о пути заимствования того или иного текста. Например:

Svintas Jonas mnie trudna žyć, ratawaj z tego swiatu na ten świat. Amen. Amen. Amen (LMD, I, 940 (19)); *Švintas Jonas man trudna gyvinč; pašauk iš to pasaulio į šį pasaulį. Amen. Amen. Amen* 'Святой Йонас, мне трудно жить; позови с того света на этот свет. Аминь. Аминь. Аминь' (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 50);

Szedł Pan Jezus przez wieś, chcieli Jego psy zjeść, rzucił kamień, powiedział Amen (LMD, I, 943 (7)); *Ėjo Ponas Jėzus keliu, norėjo jį šunes suėšč. Jis griebė akmenį, ant amžių amžinųjų. Amen* 'Шел Господь Иисус по дороге, хотели его собаки съесть. Он схватил камень, во веки веков' (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 31);

Zmieja, zmieja! Švinciausia Pana Marija paduok man lazdu kad aš galėčiau ažmušć itų zmiejų 'Змея, змея! Пресвятая Дева Мария, подай мне палку, чтоб я мог(ла) убить эту змею' (Mansikka 1929, № 81); *Žmija, žmija! Najświętsza Panno, podaj mi kija!* (Majewski 1892, № 408).

Ключевые слова польского происхождения позволяют предположить, что, по всей видимости, во всех трех случаях заимствовались польские тексты. Косвенно подтверждает этот вывод наличие во всех трех текстах христианских святых в качестве основных персонажей (как известно, христианство в Литве было связано с полонизацией). Примером обратного пути могут служить следующие два заговора:

Sołnce mleko, kamieni krowie sołnca zatmienie u krowi ościnowka (LMD, I, 946 (10)); *Saulės pienas, akmenia kraujas, saulas aptemimas, krauja nustojimas* 'Молоко солнца, кровь камня, затмение солнца, остановка крови' (Mansikka 1929, № 21) — бросается в глаза «литовский» порядок слов в польском варианте;

Ognievystas/krow cwietok paprotnika Reka Apragima /voc/ puśc eta krow pie-restaniet ciecz (LMD, I, 946 (9)); *Ugniaivystas kraujas, paparčio žiedas. Aprimo upė. Tegul šitas kraujas mustos tekėt* 'Огненная (букв. «развивающаяся огнем») кровь, цветок папоротника. Успокоилась река. Пусть эта кровь перестанет течь' (Balys 1951, № 503) — в этом случае, очевидно, литовские лексемы *ugniaivystas* 'огненная' и *aprimo* 'успокоилась' (река) были не поняты и повторены неправильно. Опять же подтверждает вывод о пути заимствования заклинательный тип обоих заговоров, распространенный именно в литовской традиции.

Примеры повторения лексем без понимания их значения, как в последнем заговоре, встречаются довольно часто. В некоторых случаях непонятыми остаются целые выражения, и воспроизводится набор звуков, отдаленно напоминающий соответствующие выражения, например:

Vardan Dievo ir t.t., Amen. Pierszy raś łożusia, perekresčiusia, Bogu maliusia, wyjdu (na) nowe sienie. Krotki bereżok, krotki wodica na tym tak. Jana wzroku kamienie i z oku kamienie. Nicasie nieradosc, skolki wody, tolki miława. Ni ja bajus Gaspodi Boga, preczystaju wadicy Krystie wymywaju, Krystie wyczyszczaju. Bielyje kamienie. Sieryje kamienie. Amin, Amin, Amin. Vardan Dievo Tėvo ir t.t. Amen (Balys 1951, № 450);

Pirmą syk gulosi persižegnoju, keliosi, Dievą pasimeldžiu. Išeinu į naują priemenę, naujoj priemenėj į stačią kampą, iš stačio kampo smarkus vandenėlis bėga. Kaip tas vandenėlis visad vietoj nestovi, taip NN zroku nematyt. Zroku Kamina, zroku Kamina. Nei į garbę, nei į džiaugsmą. Kiek vandens, tiek meilaus gyvenimo. Nesistengiu, Viešpatie Dievą atsiprašau, apie nekaltąją Panelę miniu. Vandenėli kreščia, druskele kreščia, išimu zroku, iššveičiu zroku, ištrinu zroku. Pilkieji akmenys, baltosios šaknys. Amen 'Первый раз ложусь, перекрещусь, Богу помолюсь. Выхожу в новые сени, новыми сенями на крутой берег, из крутого берега быстрая водица бежит. Как эта водица никогда на месте не стоит, так NN не видеть уроков. *Зроку Камина (вероятно, 'z oka kamienia', как в русском варианте). Ни во славу, ни в радость. Сколько воды, столько милой жизни. Не стараюсь, Господа Бога прошу, о Пречистой Деве вспоминаю. Во-

дицу вычищает, соль просеивает, вынимаю уроки, вывычищаю уроки, вытираю уроки. Серые камни, белые корни. Аминь' (Mansikka 1929, № 182).

На заимствование последнего заговора указывает, прежде всего, традиционно русский зачин, использование постоянных эпитетов ('крутой бережок', 'быстрая водица') и диминутивных суффиксов, а также славизм *zrokai* 'уроки, сглаз'. Однако русский вариант последнего заговора сильно трансформирован и усечен, а кроме того, начинается с литовской фразы и заканчивается ею же. По всей видимости, такой переход с одного языка на другой неслучаен. Можно привести еще подобные «гибридные» заговоры, в которых соседствуют литовские и славянские фразы:

Viečor dobry lišaju, ciebie z givnem miešają. Tegul ji čia pragaišta '...Пусть она тут пропадает' (Balys 1951, № 430a);

Ažužadu Jonui nuo akių. Atkatites atvalites' roki-prysroki, radost' i zavist', mužeskije i ženskije atkrytes', berites' od jarkoj krowi od zbornych kostiej, od bielych grudiej. Veda vodica u wostočnica, kudy biežysz, kudy padzieržysz Od wschodu k zapadu obmywajesz, oczyszczajesz krutyje bierega, żoltyja piaska, obmoj tojevo syna Janka. 'Заговариваю от глаз...' (LMD, I, 941(9)).

Языковая ситуация на литовско-белорусско-польском пограничье располагает к тому, чтобы свободно общаться на трех-четырёх языках, переходя с одного на другой. Однако, как бы ни были близки заговаривающему все употребляемые языки, язык, представляющийся наиболее чужим, считается в заговорах более сильным орудием. Как правило, комментарии ко всем славянским текстам на территории Литвы (кроме текстов русских старообрядцев) даются по-литовски. Люди, свободно общающиеся по-литовски с собирателями, начиная заговор, часто переходят на польский. Возможен и обратный вариант — живущий среди литовцев и перенявший их язык и культуру поляк или белорус считает наиболее действенным заговор на родном языке. Возможно, это вызвано противопоставлением языков не по признаку *свои/чужой*, а скорее по степени употребительности: менее употребляемый (или менее понятный окружающим) язык кажется более сакральным. Этим объясняется появление совсем непонятных текстов, содержащих набор звуков, отдаленно напоминающих тот или иной язык — главное произнести текст, а не понять его. Например, заговор от рожи «по-польски»:

*Pani Boże šernogancemu
Pruicij švientyje do niemu
Našvienša matka, švienta Apolonija
Lurda, ponšymi, pienboi, ieruży
Očimy, pienboi, jany, če ruży.
Jedno stronca, druga tišionča, šeča vadionča.*

(LKAG, 207 (49))

Текст явно воспроизводился ничего не понимающим литовцем, о чем говорит неискаженная литовская вставка *švienta Apolonija* ‘святая Аполония’. Некоторые тексты для усиления воздействия произносятся сразу на двух языках:

Ēja Jezus per aukštus kalnus per didelius miestus ir aš ėjau. Jėzaus nekliude ir manį nekliudis šuneli baltas, juodas, margas, pilkas, rudus nekus mani siu, siu, siu. Szól Isus czerez wysokija gory czerez bolszija goroda i także ja szól. I nie trogali i mienia nie budut trogač sobaka bielaja, czornaja, piostraja, sieraja, krasnaja nie troń mienia siu, siu, siu (LMD, I, 944 (9));

Viespato Jezus per jura plauke jura nustoto teketo, kad ir mano kraujas nustata tekete. Gospodź J. czerez more pływ more pierestało tem czto by i moja krow pierestała tecz (LMD, I, 942 (16));

Papartis be žiedų, akmuo be šakų, paukštis be pieno, a tu prakeikta nevaikščiok po žeme, žmonėm žalos nedaryk, eik tu skradze žeme. Poporc bez kvetu ptaška bez mleka, kamen bez kožene, a ty pšeklenta ne choc po tai žemi, lūdzim škodzi ne rob ic ty skro žemi (LTR, 4105 (257)).

Такое смешение языков не может не дать соответствующих результатов. И наиболее ярко оно проявляется, конечно, на уровне лексики. Славянские заговоры на территории Литвы в этом смысле не так показательны, заимствование в их сторону осуществляется, по-видимому, на уровне текстов, сюжетов, калек и непонятых фраз. Что же касается литовских заговоров, в них славянская лексика представлена очень широко. Это объясняется еще и тем, что вплоть до нашего века, когда стала проводиться борьба (и появилась возможность ее проводить) за чистоту литовского языка, славянская лексика составляла довольно большой процент в литовском языке. Это не могло не отразиться в текстах заговоров. Однако интересно проследить, какой именно пласт лексики был замещен или создан влияниями извне. Одну группу лексики можно назвать религиозной — это слова и выражения, связанные с христианством и пришедшие, вероятно, вместе с ним. Например: *mučikas, mūkos, ant to svieto* ‘на том свете’, *griešnikis, ant dievo sūdo* ‘на божий суд’, *smertis, ant pamačios, un ratunko* ‘на помощь’, *dukas, dūšia, griekas, patapas, nadzieja, ofiara, gaspadorius, pavelyjimas* ‘повеление’, *kadzyla, krapyla, nedėlia, pėtnyčia, četverge, snedone, troice, dalia* ‘доля’, *ščestis* ‘счастье’, *in vinčiaus* ‘под венец’; *griešnas, čystas, zbaviona, večna, pakarna, nespazdevata, nogla, valna; vėrijū, ratavoti* ‘спасать’, *ronyti* ‘ранить’, *mūčyti, pazvalyti* и т. д. Некоторые слова из этого списка обозначали и новые реалии, которые еще не успели получить языковое выражение в литовском, например ‘троица’, ‘кадило’, ‘дух’ и т. п. Лексемы, заменяющие уже существующие, вероятно, обладают несколько другими коннотациями, например литовское *teismas* ‘суд’ и *sūdas, ofiara* и *auka* ‘жертва’ явно вызывают разные ассоциации, все эти славянские аналоги в литовском контексте имеют ярко выраженный христианский подтекст. Не-

которые слова заняли и семантические лакуны, например очень распространенное и в современном разговорном литовском *dūšia*. Литовское *siela* ‘душа’ ассоциируется с чем-то прозрачным и запредельным, а его синоним *velė* обозначает только душу умершего человека, поэтому комплекс значений, связанный со славянским ‘душа’, остается в литовском языке не так ярко выраженным, возможно, этим объясняется популярность славянского заимствования по сей день. (Иначе не выразиться, когда, например, «душа болит», «душа просит» или надо «душу излить» — эти выражения прочно вошли в обиход у современных литовцев.) Имеющие практически идентичные литовские аналоги славянские заимствования типа *ščestis, nadzieja, čystas, večna, ratavoti*, возможно, обладают большей экспрессивностью, усиливают соответствующее значение.

Вторую группу заимствований в заговорах составляют названия болезней и связанных с ними явлений, например: *zrokai, lišaj, parušenia, macica, kaltun, zmieja, zjadai, tručyzna, rona, pavietriai, kvaraba, sukatos, liekarsta, liekajus, bieda, škada*. Все эти лексемы существуют наряду с соответствующими литовскими и, возможно, используются с целью табуирования, кодирования настоящего названия болезни. В пояснениях к некоторым заговорам, данных информантами, болезнь называется по-литовски, а в самом заговоре — по-польски или по-русски.

Интересно, что подобно двойным текстам — полным переводным аналогам друг друга — и в пределах одного текста могут встречаться тавтологические повторы одинаковых лексем, образованных от разноязычных основ, например: *sgynik, prapulk* (‘пропади’ — от *сгинуть* и *prapulti*); *tikiu ir vėrijū* (‘верю’ от *веруть* и *tikėti*); *pagalbes tegul pamačija* (‘пусть поможет’ — от *pagelbėti* и *помочь*); *nurimcie, nusykcie* (‘утихнуть’ — от *nurimti* и *стихнуть*); *nulvanusį patarą* (‘потопившийся потоп’ — от *tvanas* и *nomon*); *nuliūdo, nusmuto* (‘загрустила’ — от *liūdėti* и *smutnieč*); *jaunas maladikelis* (‘молодой молодец’ — от *jaunas* и *молодой*); *žailėkis — gailėkis* (‘жалей’ — от *жалеть* и *gailėti*). Такая неявная тавтология, употребление мнимых синонимов позволяет обращаться сразу к нескольким коннотациям, поскольку каждое слово вызывает свои ассоциации, что, несомненно, усиливает воздействие заговора.

Помимо создания дополнительных значений славянские заимствования играют, по-видимому, в некоторых заговорах более важную роль — часто именно они являются ключевыми словами, а литовские слова — только связками. Например:

1) *Gumbas, apsistanavyj!* ‘Гумбас, остановись’ (Stukenaitė-Decikienė 1941, № 56);

2) *Mumine Žemine, Atsimk savo zjadus, Atduok margai karvei sveikatų* ‘Мумине Жямине, забери свой яд, отдай пестрой короле здоровье’ (LKAG, 207 (46, 48));

3) *Vocų, niezbušuj, aš tau insakau nurimcie, nucykcie. Panele Švinčiausia. vocį apturi* ‘Вотис, не бушуй, я тебе приказываю успокоиться. Пресвятая Дева, вотис удержи’ (Mansikka 1929, № 13);

4) *Čystas vandenėlis Ir čystas akmenėlis, Kad mano būt čystas kūnelis* ‘Чистая водичка, чистый камешек, чтобы было чистым мое тельце’ (LKAĞ, 1320);

5) *Ėjo Viešpat Jėzus per bažnyčią, nešė tris rožes: vieną sausą, antrą suvytusią ir trečią suakmenėjusią. Prakeikta rožė, stupyk nuo N* ‘Шел Господь Иисус через церковь, нес три розы: одну сухую, другую вялую и третью окаменевшую. Проклятая роза, отступи от N’ (Balys 1951, № 408);

6) *Šventa Gabija, būk spokaini.* ‘Святая Габия, будь спокойна’ (Balys 1951, № 299);

7) *Ak aš esmu ne marios, ne mariose stoviu, stoviu upėj, unt tos upės stalas. unt to stalo balta skotertis, unt tos baltos skoterties trys torelkos stovi, unt tą trijų tarelkų trys peiliai su bulavom stovi, už to stalo sėdi Ponas Jėzusis Kristusis. NN nežinomas jima peilį su bulavu, pjauna macicų, unt šitos minutos pribuvo Panele Švinčiausia su šilkiniu siūlu; siūlas trukite, macica paskavokite po šitam Česui, po šitai minutei, žaria rytinė ir vakarinė* ‘Я не в море, не в море стою, стою в реке, на той реке стол, на том столе белая скатерть, на той белой скатерти три тарелки стоят, на тех трех тарелках три ножа с булавами стоят, за тем столом сидит Господь Иисус Христос. NN неизвестный берет нож с булавой, режет матицу, в эту минуту прибыла Пресвятая Дева с шелковой ниткой; нитка, порвись, матица, на место становись, в этот час, в эту минуту, заря утренняя и вечерняя’ (Mansikka 1929, № 160).

Хотя ключевыми словами могут быть и существительные, и прилагательные (см. примеры № 4 и № 6), особое внимание следует уделить глагольной лексике, ведь именно в глаголе реализуется действие заговора, по сути, глагол является зачастую средоточением основной силы и энергии текста. Список заимствованных глаголов, употребляемых в литовских заговорах, говорит сам за себя: *padzyvija* ‘завидуют’, *neratuja* ‘не спасают’, *nepristupysiu* ‘не приступлю’, *apstanavij* ‘останови’, *pamačykite* ‘помогите’, *ratavokit* ‘спасите’, *adzigni* ‘отойди’, *atlesć* ‘уйди’, *apčystumei* ‘очистила бы’, *nuztapijo* ‘наступил’, *stupyk nuo* ‘отступи от’.

Глагол *mačyti* ‘помогать’, образованный от славянского ‘помощь’, является одним из самых часто употребляемых глаголов в литовских заговорах вообще. Однако глаголы говорения и вообще перформативные глаголы, выражающие действия заговаривающего, как правило, только литовские. Вероятно, внутренняя сила говорящего все же связана с родным языком, а общаться с посредниками можно и на чужих языках (или на их?).

Итак, очевидно, контакт двух традиций обусловил двустороннее заимствование: как с литовской стороны, так и со славянской (польской, белорус-

ской, русской) мы наблюдаем перенимание черт соседней культуры. В заговорном жанре происходит заимствование на всех уровнях: перенимаются и переводятся на другой язык целые тексты, заимствуются сюжеты и формулы, создаются соответствующие «кальки» на другом языке. Под воздействием соседней, иной в структурном отношении, заговорной традиции меняется даже тип текста (в литовскую традицию приходит эпический зачин, формулы перечисления и отсылки болезней, характерные для славянских заговоров; русские заговоры под воздействием литовского окружения становятся более краткими, усеченными, их структура меняется и тяготеет к заклинательному типу). Интересно отметить, что эпические заговоры, в которых действующими лицами зачастую оказываются христианские святые, чаще заимствуются из славянской среды в литовскую. А «языческие» мотивы (загрызание грызи, некоторые методы борьбы со змеей и проч.) — скорее наоборот, перенимаются славянами у литовцев. Исключения составляют два сюжета с явно «христианским» подтекстом: мотив срывания розы божественным персонажем в заговорах от рожи и описание путешествия Иисуса Христа через Иордан в заговорах от крови. Подобных заговоров в русской традиции — единицы, однако много их в литовской и польской. Поскольку подобные сюжеты распространены и на западе тоже (см. Познанский 1995, 185), можно предположить, что заимствование шло из католических стран и поэтому затронуло литовскую традицию в большей степени, чем восточнославянскую.

Что касается лексического уровня, то более подвержена заимствованиям, как уже отмечалось, литовская традиция, вероятно в силу исторических причин. По всей видимости, литовская языковая система вообще обладает большей восприимчивостью, поскольку славянское влияние оказалось устойчивее как на уровне текста, так и на уровне лексики. Ставшая почти родной и смешавшаяся с исконной, славянская лексика тем не менее занимает определенное место в литовской языковой системе — ее отличает повышенная экспрессивность и некоторые особые коннотации (ориентированность на христианство, приподнятость семантики, максимальный эффект). Ее проникновение ощущается даже на уровне грамматики, причем заимствуются наиболее сильные формы языкового воздействия — императив, например: *...kišk. skundziñ savo gyvuonį undenin...* ‘суй, топи свое жало в воде (змее)’ (Mansikka 1929, № 71) — и наиболее экспрессивные глагольные префиксы, например: *...jei neatlasi, juodas marias, žalis užuolas, un užuola griausmas, jei neatlasi, tavi razmuš in dvylikų kavalkų* ‘если не отнимешь, в черном море зеленый дуб, на дубу гром, если не отнимешь, тебя разобьет на двенадцать частей’ (от змеи) (LTR, 4813(65)).

Очевидно, такого типа заимствования можно анализировать только в контексте общей языковой и исторической ситуации.

Литература

- Александров 1997 — 777 заговоров и заклинаний русского народа / Сост. А. Александров. М., 1997.
- Аникин 1998 — Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953—1993 гг. / Под ред. Аникина В. П. М., 1998.
- Замовы — Замовы: Сборник / Под редакцией Барташэвіч Г. А. Мінск, 1992.
- Майков 1994 — Великорусские заклинания / Сборник Л. Н. Майкова. СПб., 1994.
- Познанский 1995 — *Познанский Н.* Заговоры. М., 1995.
- Савушкина 1993 — Русские заговоры / Сост. Н. И. Савушкина. М., 1993.
- Топоров 1969 — *Топоров В. Н.* К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) // Труды по знаковым системам. 4. Тарту, 1969.
- ТРМ — Традиционная русская магия в записях конца XX века. СПб., 1993.
- Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. СПб., 1996.
- Balys 1951 — *Balys J.* Liaudies magija ir medicina. Bloomington (Indiana), 1951.
- Dundulienė 1992 — *Dundulienė P.* Akys lietuvių pasaulejautoje. Vilnius, 1992.
- Kolberg 1966 — *Kolberg O.* Dzieła wszystkie. T. 40. Mazury Pruskie, 1966.
- Kotula 1976 — *Kotula F.* Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci. Warszawa, 1976.
- Krėvė-Mickevičius 1926 — *Krėvė-Mickevičius V.* Kerai // Tauta ir žodis. 1926. 4.
- LKAG — Liaudies kūrybos archyvo garsoįrašai (Lietuvos liaudies kultūros centras).
- LMD — Lietuvos Mokslo Draugija (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvas).
- LT — Lietuvių tautosaka. 5 t. (Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai). Vilnius, 1968.
- LTR — Lietuvių Tautosakos Rankraštynas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
- Majewski 1892 — *Majewski E.* Wąż w mowie, pojęciach i praktykach ludu naszego // Wisła. 1892. T. 6.
- Mansikka 1929 — *Mansikka V.* Litauische Zauberspruche. Helsinki, 1929.
- Novikovas 1997 — *Novikovas J., Trimakas R.* Lietuvos rusų sentikių užkalbėjimai // Tautosakos darbai. 6—7 (13 — 14). Vilnius, 1997.
- Rokosowska 1900 — *Rokosowska Z.* Lecznictwo ludowe // Wisła. 1900. T. 14.
- Stukenaitė-Decikienė 1941 — *Stukenaitė-Decikienė Pr.* Užkalbėjimai Švenčionių apskrity // Gimtasai kraštas. 1941. 8 m. № 28—29 (1—2).
- TD — Tautosakos darbai. 4 t. Kaunas, 1938.
- Wisła 1891 — Wisła (miesięcznik geograficzno-etnograficzny). Warszawa, 1891. T. 5.

ЗАМЕТКА ПО СЛАВЯНСКОЙ ДЕМОНОЛОГИИ: О НЕМЕЦКИХ НАЗВАНИЯХ ДЕМОНОВ¹ В ЧЕШСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ

Типам номинации многочисленных персонажей чешской демонологии было посвящено уже не одно исследование; существуют и работы, сопоставляющие чешские и немецкие названия мифологических существ². Последнее не удивительно: при многовековых и тесных контактах, при взаимодействии двух культур неизбежно их взаимопроникновение, влияние друг на друга, и самые разные его аспекты не могут не вызывать исследовательского интереса. Нисколько не претендуя на детальное описание словоупотреблений лексем, называющих демонические существа в чешских фольклорных текстах, мы ограничим свою задачу лишь тем, чтобы привлечь внимание к одной интересной обнаруженной нами особенности, а именно — закономерности употребления в текстах чешских и (или) немецких названий демонов.

Понятно, что встречающиеся в чешских фольклорных текстах немецкие названия мифологических существ вовсе не говорят о том, что и сами данные

¹ Словами *демон*, *демоническое существо*, *мифологическое существо* мы будем переводить чешскую лексему *strašidlo*, наиболее часто используемую в этнографических материалах для обозначения персонажей чешской низшей мифологии. Следует отметить, что полностью адекватного перевода этого чешского слова – взятого в данном конкретном контексте – на русский язык нам найти не удалось: в любом случае, это и не *чудовище*, и вовсе не обязательно *страшилище*, и не всегда *призрак* и *привидение*, как предлагают чешско-русские словари [Павлович 1959; Копецкий и др. 1968; Копецкий и др. 1976].

² Одной из первых обстоятельных русскоязычных работ на данную тему, выполненных в методологических рамках школы Н. И. Толстого, было исследование Н. И. Зайцевой, подробно описавшей мифологическую лексику в чешском и словацком языках [Зайцева 1975]. Из последних публикаций отметим статью Я. Сятковского [Сятковский 1998], исследовавшего заимствования соответствующих славянских (прежде всего, чешских) лексем в немецкий язык. В чешской науке в этом русле особенно много и плодотворно работает Д. Климова – см., например, [Klímová, Janotka 1971; Klímová 1972; Klímová 1980]. Более общим вопросом взаимного влияния чешской и немецкой культур, отраженного в этнографическом материале, была посвящена, в частности, большая статья чешского исследователя А. Робека [Robek 1977].

понятия и представления были заимствованы чехами у другого народа: как справедливо замечает чешский фольклорист Д. Климова, «мы имеем дело с описательными названиями табу» [Klímová 1988: 99]. Это подтверждается, в частности, тем, что многие демоны в чешской традиции имеют сразу два имени — чешское и немецкое: в чешских фольклорных текстах почти не упоминаются мифологические персонажи, которые, называясь по-немецки, не имели бы и параллельных славянских названий³. Тем не менее, чешские и немецкие названия мифологических существ не всегда оказываются полностью взаимозаменяемыми. Кроме того, и сама частота словоупотреблений соответствующих лексем в текстах могла быть неодинаковой.

Так, что касается маленького демона, называемого *permonik* (от немецкого *Bergmann* ‘горный человек’), мифологического персонажа — обитателя горных шахт и рудников, его немецкое название, кажется, довольно сильно потеснило славянские *skalni muž* и *skalni človiček* ‘горный человек, человечек’. Еще одно горное «страшилище» — *kobold* (*kobolt*), чье название немецкого происхождения соответствует малоупотребительному чешскому *důlní skřítek* ‘горный чертик, гном’. Немецкое имя этого существа — производное от названия металла кобальта: считалось, что коварный демон подсовывает кобальт искателям золота и серебра (ср. совр. нем. *der Kobold* — ‘гном, домовый’). То, что сама идея маленького демона, оберегающего клады, не была заимствована чехами у немцев, подтверждается, в частности, популярностью мифологического персонажа карлика — хранителя горных сокровищ и у других западнославянских народов⁴. Наконец, гораздо больше, чем соответствующая чешская параллель *Krkonoše*, распространено в Чехии и немецкое название властелина Крконошских гор Рюбецала (*Rübezahl*, *Rybecoul* или *Rybrcol*). Народная этимология связывает имя этого существа с немецким ‘репосчет’, ‘тот, кто считает репы’: от *die Rübe* ‘репа’ и *zählen* ‘считать’. В немецких сказках похищенная великаном красавица заставляет горного властелина пересчитать все свежие репки, растущие на полях его царства, прежде чем обещает дать согласие на свадьбу. Этимологи же возводят имя *Rübezahl* к старонемецким *rühren*, или *runen* ‘колдовать’ и *zabel* (*Zabolus*, или *Diablus*)

³ Одно из интересных исключений из этого правила — «страшилище» *fest*, или *fest*. Этимология названия этого демонического существа связана с немецким прилагательным *fest*, означающим ‘твердый’, ‘прочный’, ‘крепкий’ [Holub, Lyer 1967: 165; Machek 1957: 141]. Так чехи называли не разлагающийся после смерти человека труп, по преданиям, встающий из гроба. Считалось, что в таких страшилищ превращаются люди, которые при жизни относились к родителям без должного почтения [Копораš 1905: 56].

⁴ Так, характерный польский пример — демоническое существо *skarbnik* (в прежнем, устаревшем значении этого слова: современное польское *skarbnik* означает ‘кассир’, ‘казначей’).

[Zíbrt 1896: 517]. О том, что немецкий *Rübezahl* практически однозначно соотносился с чешским *Krkonoše*, свидетельствуют, в частности, многие чешские приговорки, различающиеся только тем, что в одних из них употребляется чешское, а в других — немецкое имя страшилища. К примеру: *Poradí-li se Librcoun na hlavu kápi, bude déšť* ‘если *Librcoun* решит надеть на голову капюшон, будет дождь’ и *když se Krkonoš kuklí, bývá déšť* ‘когда *Krkonoš* надевает плащ с капюшоном, бывает дождь’ [Krkonoš či Krkonoš? 1896: 589]⁵.

Опишем теперь обнаруженную нами на примерах из фольклорных текстов зависимость, связь между названиями — чешскими или немецкими — демонических персонажей и способностью человека «управлять» ими, хотя бы отчасти уметь влиять на их поведение.

Одно из наиболее часто упоминающихся в чешских фольклорных текстах мифологических существ — *hastrman*. Данное немецкое название соответствует чешскому *vodník* и, отчасти, русскому *водяной*. Структура немецкого имени этого демона довольно прозрачна: слово *hastrman* происходит от немецкого *Wassermann* (в старочешском было еще *vastrman*, но затем, вероятно, произошла контаминация с чешским словом *hastroš* ‘пугало, чучело’ и «псевдопротетический» [v] уступил место [h] в начале слова) [Holub, Kореšný 1952: 120—121]. Традиционно считается, что «основная вредоносная функция водяного — заманивать людей в воду и топить их» [Левкиевская 1997: 185]. Кроме того, «водяные бывают причиной стихийных бедствий, несчастий, болезней людей» [Левкиевская 1997: 185]. В волшебных сказках водяные «схватывают свою жертву, когда она пьет из ручья и колодца, требуя затем у схваченного героя его сына в залог», и т. д. [Левкиевская 1997: 185]. Славянский водяной «подстерегает свою жертву близ омута или водоворота, возбуждает в человеке непреодолимую тягу к воде, а утопив, утаскивает на дно» [Левкиевская, Усачева 1995: 398]. Почти все вышесказанное можно отнести к поведению демонического существа, называемого чешским словом *vodník* — причем часто «обитающего» в тех областях, где это чешское его имя оказывалось гораздо более распространенным, чем редко употребляемое *hastrman* (отдельные районы Моравии). Описываемое фольклорными текстами, это существо пугает своей практически полной неуправляемостью: купаться в любом водоеме и в любое время суток здесь — опасно, стоять у воды и ходить под дождем — опасно, и даже ночевать на собственной мельнице мельник боится: *vodník* — существо коварное и злое [Kulda 1874]. В общем, называемые так водяные существа *člověku kde mohou, tu škodí* ‘где только могут, человеку вредят’ [Žitek 1902: 358]. В то же время, *hastrman* выступает в некоторых

⁵ Здесь и далее во всех приводимых в работе чешских примерах сохраняются орфография и пунктуация оригинального источника.

позднейших (XIX—XX вв.) фольклорных записях как существо, в большинстве случаев относящееся к человеку довольно нейтрально — до тех пор, пока тот сам не перейдет какую-то запретную черту. Часто единственным, чем *hastrman* может напугать человека, это поднять вокруг сильный ветер. (Как известно, ветер вообще оказывается одним из основных признаков, по которым распознается славянский водяной [Конеčný 1896; Левкиевская, Усачева 1995]). Ночью мирный *hastrman* может спокойно сидеть и шить при свете месяца на дереве или речном камне или мыть ноги: излюбленные его места — «пруды, речные заводы, размывы под мельничными колесами. Он там частенько сиживает на камне или на пне и ночью, при свете месяца, шьет» [Тукаš 1926: 192]. Днем же *hastrman* даже не прочь иногда зайти в гости к людям: «В обед к ней приходил поест *hastrman*...», «туда... в полдень приходил на обед *hastrman*» [Конеčný 1896: 54]. Чтобы не попасть в беду, человек должен был всего-навсего не купаться в полдень, когда, по поверьям, чешский (и, возможно, славянский вообще) водяной наиболее силен и может утопить нарушившего этот запрет [Левкиевская, Усачева 1995; Конеčný 1896]. Однако и это оказывалось возможным при условии, что перед купаньем человеком будут произнесены определенные словесные обереги против этого существа, в которых к нему обращаются, называя по-немецки. Вот несколько примеров: *Hastrmane, tatrmene polez z vody ven! Šecky hadi, šecky žáby z vody ven! A vy milé děti, hup! Do vody jen!* ‘*Hastrman*, вылезай из воды вон! Все гады, все жабы, вылезайте из воды вон! А вы, милые дети, (заходите) в воду!’; *Hastrman z vody, Panna Maria do vody!* ‘*Hastrman* из воды, Дева Мария в воду!’ *Hastrman, dej kůži na buben, budeme ti bubnovati, až polézeš z vody ven!* ‘*Hastrman*, дай кожи на бубен, будем в него стучать, пока не полезешь вон из воды!’ [Žitek 1902: 357, 440, 468]. Таким образом, на поведение чешского демона, называемого по-немецки (*hastrman*), человек влиять мог, тогда как никаких словесных оберегов против мифологического существа, называемого по-чешски — *vodník*, — нам найти не удалось⁶. Затабуировав имя опасного существа, назвав его на чужом языке, человек тем самым как бы приобретал над демоном некую власть: семантика слова, таким образом, изменялась непосредственно под давлением языка как специфической системы.

Аналогичная ситуация имела место и с демоническим существом, называемым *rychmandle* или *fenerman* (последнее — производное от немецкого *Feuermann* ‘огненный человек’), существом-светлячком, чешское название

⁶ Разумеется, то, что нам не встретились обереги, в которых упоминалось бы слово *vodník*, вовсе не означает, что таковых не существовало вообще. Однако даже если они и есть, то по численности и распространению, очевидно, уступают оберегам, в которых используется немецкое название водного демона.

которого — *světloňoř* (*světýlko*, *bludička*). В темноте ночи это *podzimní strašidlo* ('осенний демон': считалось, что чаще всего коварные «светляки» показывались именно осенью [Kulda 1874]) часто сбивало человека с дороги, заводя в непроходимые топи. В тех моравских областях, где немецкие названия этих существ употреблялись относительно редко, несчастным путникам не помогала даже молитва: чем больше человек молился, тем яростнее одолевали его «блудички», норовя избить, изорвать в клочья одежду — одним словом, сесть на шею как в прямом, так и в переносном смысле слова. И лишь когда, в конце концов, усталый и обессиленный путник начинал громко и непристойно ругаться, светящиеся демоны от него отступали: «Чем больше молишься, тем больше светляки (*světloňoř*) на тебя нападают. Им-то надо сказать: „Десять тысяч чертей на вас!“ — тут-то они и отлетают» [Bartoš 1901: 170]. Таким образом, единственным словесным оберегом от злого и непредсказуемого «светляка» становилась непристойная ругань — как правило, в языках строго табуируемая⁷. В то же время, при встрече со светящимися демоническими существами, называемыми по-немецки, ругаться, кажется, было необязательно: вполне хватало словесных оберегов. С их помощью поведением злого и опасного существа начинали управлять, называя демона, опять же, на чужом языке. Как и в случае с чешским «водяным», нам не удалось обнаружить вербальных оберегов против демонических «светляков», в которых те назывались бы по-чешски... Вот типичный оберег против *rychmandle*: *Rychmandle, řup sem, řup tam! Nechod' sem, bud' tam! 'Rychmandle, шасть сюда, шасть туда! Не ходи сюда, оставайся там!*' [Тукач 1926: 196].

Конечно, для того, чтобы говорить о каких бы то ни было окончательных выводах, для исследований потребовалось бы привлечение гораздо большего по объему материала и его анализ. Кроме того, даже в проанализированных нами текстах данная закономерность (связь названия демонов по-чешски или по-немецки с типом их поведения) могла соблюдаться не во всех случаях — точнее, она соблюдалась не для всех мифологических существ. К примеру, исключением оказывалось существо *berchta* (*perechta*), именуемое также *bruna*. Немецкое название этого персонажа — производное от существительного *die Perchte*, тогда как чешское слово *bruna* (от *broná*) — устаревшее

⁷ Вообще, как известно, в фольклорных текстах можно найти многочисленные примеры использования непристойной ругани как средства одоления темной силы. К примеру, если большинство (чешских) лечебных заговоров, записанных в книгах и рукописях, никаких ругательств не содержат, то сами информанты порой сообщают тексты, изобилующие всякого рода непристойностями — см., например, [Вельмезова 1999. III: № 24]. Отчасти эта действенность ругани — действенность затабуированного! — при встрече с нечистой силой объяснялась действием принципа симпатической магии *similia similibus curantur* 'подобное излечивается подобным': избавиться от зла можно только злом же.

название белой лошади [Machek 1997: 68]: ряженая *bruna* могла представлять собой получеловека-полуконя. Правда, неизменность поведения этого существа — вне зависимости от того, на каком языке оно называлось — могла объясняться тем, что *bruna* была не «настоящим», не «реальным» чудовищем (разумеется, речь идет о ее «реальности» и «нереальности» лишь в мифопоэтическом восприятии чешского народа), но персонажем народного театра: эти ряженые существа приходили к людям в сочельник, на святого Микулаша (6 декабря) или святую Барбару (4 декабря). Поэтому и вели себя они практически все время одинаково — так, как предписывал им соответствующий игровой сценарий, вне зависимости от того, назывались ли они по-чешски или по-немецки (Rozum 1909; Rozum 1910; Zíbrt 1950: 87—94; Богатырев 1971: 38—39, 56 и далее).

Тем не менее, мы можем все же говорить об определенной тенденции, подтверждаемой некоторыми фольклорными текстами: во-первых, частота словоупотреблений чешских и немецких лексем, обозначающих демонические существа, оказывается в них неодинаковой; во-вторых, немецкие названия некоторых мифологических существ практически однозначно связываются с определенным типом их поведения — демоны, называемые по-немецки, описываются как гораздо более управляемые и предсказуемые, чем их чешские «тезки».

Все вышесказанное довольно легко объяснимо в рамках общих сведений о словесных табу, приводимых, например, в известных, давно ставших классическими работах Д. К. Зеленина [Зеленин 1929—1930; Зеленин 1935]. Понятно, что табуируется прежде всего то, что несет в себе потенциальную опасность, угрозу для жизни человека⁸. Однако сама идея табу одновременно включает в себе и представление об «управлении» опасным существом, попытке оказания на него определенного влияния. Таким образом, мифологические персонажи с затабуированными именами становились в определенном

⁸ Например, в чешских заговорных текстах потенциально опасные для человека персонажи, способные причинить вред, часто описываются обобщенными *žena* 'женщина', *muž* 'мужчина', *mládenec* 'молодой человек', *lidé* 'люди' и т. д. — в отличие от помогающих людям персонажей христианских святых, называемых по именам: *Ranila-li tě panna vlasatá, žena prsatá, rač tě ochránít Barbora svatá; ranil-li tě nějaký mládenec, rač tě ochránít svatý Vavřinec; ranil-li tě muž bradatý, rač tě ochránít Duch svatý* 'если тебя ранила девица волосатая, женщина грудастая, пусть защитит тебя святая Барбара; если тебя ранил какой-то юноша, пусть защитит тебя святой Вавржинец; если тебя ранил мужчина бородатый, пусть охраняет тебя святой Дух' [Fragňk 1903: 432]. Как представляется, важным здесь оказывалось не сказать ничего лишнего о тех, кто мог причинить зло, затабуировать соответствующие имена собственные, «скрыв» их существительными нарицательными — лексемами, обозначающими обобщенно-родовые понятия.

смысле зависимы от поведения самого человека: называя их на непонятном, чужом языке (в данном случае — по-немецки), тот возводил (или, скорее, низводил) их в ранг существ, которыми можно было хоть как-то «управлять», а поведение их — предсказывать. Этим и объясняется, в частности, то, что в чешских словесных оберегах для обозначения «своего» демона использовалось его название на чужом языке. Что же касается чешских демонических существ, носящих славянские имена, то, «забыв» когда-то затабуировать их названия, человек как бы позволил им тем самым полностью остаться вне сферы своего влияния. За что и приходилось «расплачиваться» позднее...

Литература

- Богатырев 1971 — *Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
- Вельмезова 1999, III — *Вельмезова Е. В.* Текст человека и болезни: чешский лечебный заговор: Опыт исследования семантической структуры: Канд. дисс. М., 1999. (Приложение III. Чешские лечебные заговоры: тексты, переводы, комментарии).
- Зайцева 1975 — *Зайцева Н. И.* Мифологическая лексика в чешском и словацком языках: Канд. дисс. Минск, 1975.
- Зеленин 1929, 1930 — *Зеленин Д. К.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1: Запреты на охоте и иных промыслах // Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. 8. Л., 1929; Ч. 2: Запреты в домашней жизни // Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. 9. Л., 1930.
- Зеленин 1935 — *Зеленин Д. К.* Магическая функция слов и словесных произведений // Академику Н. Я. Марру — XLV: Юбилейный сборник. Л., 1935.
- Копецкий 1968 — *Копецкий Л. В.* Чешско-русский словарь / Под ред. Л. Копецкого. К. Горалка, Б. Илка, Я. Егличковой. Прага, 1968.
- Копецкий 1976. — *Копецкий Л. В.* Чешско-русский словарь / Под ред. Л. В. Копецкого. Й. Филипца, О. Лешки. М.; Прага, 1976.
- Левкиевская 1997 — *Левкиевская Е. Е.* Низшая мифология славян // Очерки истории культуры славян. М., 1997.
- Левкиевская, Усачева 1995 — *Левкиевская Е. Е., Усачева В. В.* Водяной // Славянские древности. М., 1995
- Павлович 1959 — *Павлович А. И.* Чешско-русский словарь / Составил Павлович А. И.; Под ред. П. Погеля и М. Венцовой. М., 1959.
- Сятковский 1998 — *Сятковский Я.* Славянские названия страшилищ (демонов) в немецком языке и его говорах // Слово и культура: Сборник трудов памяти Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1998.
- Bartoš 1901 — *Bartoš F.* Hastrmani, světloňoši, poledníček // *Český lid*. Praha, 1901. № 10.
- Franěk 1903 — *Franěk B.* Zařikávání nemocí z Rakovnícka // *Český lid*. Praha, 1903. № 12.
- Holub, Kopečný 1952 — *Holub J., Kopečný Fr.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952.
- Holub, Lyer 1967 — *Holub J., Lyer S.* Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1967.

- Klímová, Janotka 1971 — *Klímová D., Janotka M.* Vyprávění o hadech v soudobé lidové tradici // Český lid. Ročník 58. Praha, 1971.
- Klímová 1972 — *Klímová D.* Vodník v českém lidovém podání // Český lid. Ročník 59. Praha, 1972.
- Klímová 1980 — *Klímová D.* Hospodářik v českém lidovém podání // Český lid. Ročník 67. Praha, 1980.
- Klímová 1988 — *Klímová D.* Poměr českého a německého folklóru v oboru lidové pověsti // Aktuální problémy československé slavistické folkloristiky. Bratislava, 1988.
- Kolař 1896 — *Kolař J.* O Rybecoulovi // Český lid. Praha, 1896. № 5.
- Konečný 1896 — *Konečný B.* O hashrmanovi // Český lid. Praha, 1896. № 5.
- Konopaš 1905 — *Konopaš J.* Ještě o fextovi // Český lid. Praha, 1905. № 14.
- Krakonoš či Krkonoš? 1896 — Krakonoš či Krkonoš? // Český lid. Praha, 1896. № 5.
- Kulda 1874 — *Kulda B.* Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry (z okolí Rožnovského). Sebral a napsal B. M. Kulda. Praha, 1874.
- Machek 1957 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
- Machek 1997 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1997.
- Robek 1977 — *Robek A.* K otázkám etnografického studia vztahů mezi Čechy a Němci // Český lid. Ročník 64. Praha, 1977.
- Rozum 1909 — *Rozum K.* Obchůzka bruny na Podřipsku // Český lid. Praha, 1909. № 18.
- Rozum 1910 — *Rozum K.* Peruchty a bruny v Podřipsku // Český lid. Praha, 1910. № 19.
- Tykač 1926 — *Tykač J.* Báječné bytosti u lidu na Třebovsku // Český lid. Praha, 1926. № 26.
- Zíbrt 1896 — *Zíbrt Č.* Další zprávy o Rybecoulovi // Český lid. Praha, 1896. № 5.
- Zíbrt 1950 — *Zíbrt Č.* Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha, 1950.
- Žitek 1901 — *Žitek J.* Zkazky o hashrmanovi čili vodníkovi // Český lid. Praha, 1901. № 10.

**СЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ
И ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМЫ
В КОНТАКТЕ С НЕСЛАВЯНСКИМ ОКРУЖЕНИЕМ**

Издатель А. Кошелев

Корректор О. Трефилова

Подписано в печать 20.12.2001. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».
Усл. изд. л. 45,15. Тираж 1000 экз. Заказ № 1853.

Издательство «Языки славянской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6—105; № 2745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-83. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru
Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.
Тел.: 3-01-60, 3-46-20, 3-46-05.

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Zubovskiy b-p, 17, str. 3, k. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ

- Вардан Айрапетян.** Русские толкования. 208 с. 2000.
- Вардан Айрапетян.** Толкуя слово: Опыт герменевтики по-русски. 496 с. 2001.
- В. М. Алпатов.** История лингвистических учений. 368 с. 2001.
- Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер.** Миры и столкновения Осипа Мандельштама. 320 с. 2000.
- В. С. Баевский.** Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы. 336 с. 2001.
- Джеймс Бейли.** Избранные статьи по русскому народному стиху. 416 с. 2001.
- А. Л. Бем.** Исследования. Письма о литературе. 448 с. 2001.
- Э. М. Береговская, Ж.-М. Верже.** Занятная риторика. 152 с. 2000.
- Марк Блок.** Короли-чудотворцы. 712 с. 1998.
- Л. И. Вольперт.** Пушкин в роли Пушкина. 328 с. 1997.
- Бернар Гене.** История и историческая культура средневекового Запада. 496 с. 2002.
- С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин.** Словарь языка русских жестов. 256 с. 2001.
- Г. А. Гуковский.** Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. 352 с. 2001.
- Ф. Дворник.** Славяне в европейской истории и цивилизации. 800 с. 2001.
- А. С. Демин.** О художественности древнерусской литературы. 848 с. 1998.
- Н. Н. Дурново.** Избранные работы по истории русского языка. 816 с. 2000.
- В. М. Живов.** Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. 760 с. 2002.
- А. К. Жолковский.** Зоценко: Поэтика недоверия. 392 с. 1999.
- В. А. Жуковский.** Полное собрание сочинений: В 20 т.
Т. I. Стихотворения 1797–1814 годов. 760 с. 1999.
Т. II. Стихотворения 1815–1852 годов. 840 с. 2000.
- И. Забелин.** Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. В 3 кн. 2000.
Т. I. Ч. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 480 с.
Т. I. Ч. 2: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 520 с.
Т. II. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. 792 с.
- А. А. Зализняк.** Древненовгородский диалект. 720 с. 1995.
- Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев.** Введение в русскую аспектологию. 226 с. 2000.
- Вяч. Вс. Иванов.** Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. I–.
Т. I. 912 с. 1998.
Т. II. 880 с. 2000.
- Из истории русской культуры. Т. I–.
Т. I. Древняя Русь. 760 с. 2000.

Т. III. XVII век. 768 с. 1995.

Т. IV. XVIII – начало XIX века. 832 с. 1996.

Т. V. XIX век. 848 с. 1996.

- История и антиистория: Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко: Анализ ответа А. Т. Фоменко. 576 с. 2001.
- В. В. Калугин.** Андрей Курбский и Иван Грозный. 416 с. 1998.
- М. К. Кантор.** Пустырь: Атлас. 216 с. 2001.
- И. Каценельсон.** Сказание об истребленном еврейском народе. 240 с. 2000.
- С. Д. Каценельсон.** Категории языка и мышления: Из научного наследия. 864 с. 2001.
- В. Д. Кузнецов.** Организация общественного строительства в Древней Греции. 536 с. 2000.
- Т. Лёнигрен.** Сборник Нила Сорского. Ч. 1. 472 с. 2000.
- П. Е. Лукин.** Письмена и православие. 376 с. 2001.
- Е. Э. Лямина, Н. В. Самовер.** «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. 560 с. 1999.
- Н. А. Макаров, С. Д. Захаров, А. П. Бужилова.** Средневековое расселение на Белом озере. 496 с. 2001.
- К. А. Максимович.** Пандекты Никона Черногорца. 296 с. 1998.
- Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко.** Судьба Парфенона. 352 с. 2000.
- А. В. Михайлов.** Обратный перевод. 856 с. 2000.
- Мир Велимира Хлебникова. 880 с. 2000.
- Н. Н. Моисеев.** Судьба цивилизации. Путь Разума. 224 с. 2000.
- А. В. Назаренко.** Древняя Русь на международных путях. 784 с. 2001.
- Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под ред. акад. Ю. Д. Апресяна.
Вып. 1. 552 с. 1997.
Вып. 2. 488 с. 2000.
- Ю. Г. Оксман–К. И. Чуковский.** Переписка. 1949-1969 / Предисл. и коммент. А. Л. Гришунина. 192 с. 2001.
- Н. В. Перцов.** Инварианты в русском словоизменении. 280 с. 2001.
- А. М. Пешковский.** Русский синтаксис в научном освещении. 544 с. 2001.
- Л. В. Пумпянский.** Классическая традиция. 864 с. 2000.
- А. С. Пушкин.** История Петра. 392 с. 2000.
- Ж. де Пюимеж.** Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма. 400 с. 1999.
- Р. Пиккио.** Древнерусская литература. 352 с. 2002.
- Русский язык в научном освещении. № 1. 2001. (Языки славянской культуры: ИРЯ РАН).
- Русский язык в научном освещении. № 2. 2001. (Языки славянской культуры: ИРЯ РАН).
- Русский язык конца XX столетия (1985–1995): Сб. ст. 480 с. 2000.
- П. Серно.** Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 360 с. 2001.
- Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика. 416 с. 2001.

- Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. 648 с. 2001.
- А. В. Смирнов.** Логика смысла. 504 с. 2001.
- С. Г. Смирнов.** Годовые кольца истории. 304 с. 2000.
- Д. Смит.** Взгляд извне: Статьи о русской поэзии и поэтике. 528 с. 2002.
- Ж. Старобинский.** Поэзия и знание: История литературы и культуры.
Т. 1. 528 с. 2002.
- Старообрядчество в России (XVII–XX): Сб. ст. 552 с. 1999.
- А. Ю. Суконик.** Места из переписки. 200 с. 2001.
- К. Тарановский.** О поэзии и поэтике. 432 с. 2000.
- Б. А. Успенский.** Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. 128 с. 2000.
- Б. А. Успенский.** Семиотика искусства. 480 с. 1995.
- Б. А. Успенский.** Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. 144 с. 2000.
- Б. А. Успенский.** Царь и патриарх: Харизма власти в России. 680 с. 1998.
- Ф. Б. Успенский.** Имя и власть. 144 с. 2001.
- А. А. Формозов.** Пушкин и древности: Записки археолога. 144 с. 2000.
- Е. А. Хелимский.** Компаративистика, уралистика. 640 с. 2000.
- М. О. Чудакова.** Литература советского прошлого. Т. 1. 472 с. 2001.
- М. И. Шапир.** UNIVERSUM VERSUS: ЯЗЫК–СТИХ–СМЫСЛ в русской поэзии XVIII–XX веков. Кн. 1. 544 с. 2000.
- А. С. Шатских.** Витебск: Жизнь искусства. 1917–1922. 256 с. 2001.
- Дж. Т. Шоу.** Конкорданс к стихам А. С. Пушкина. Т. 1–2.
Т. 1. 672 с. 2000.
Т. 2. 640 с. 2000.
- Дж. Т. Шоу.** Поэтика неожиданного у Пушкина. 456 с. 2002.
- Н. Элиас.** Придворное общество. 368 с. 2002.
- Е. М. Юхименко.** Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература.
Т. I. 544 с. 2002.
Т. II. 480 с. 2002.
- Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Ю. С. Степанова. 600 с. 2001.
- Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты. 496 с. 2001.
- Т. Е. Янко.** Коммуникативные стратегии русской речи. 384 с. 2001.



**СЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ И ЭТНОЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА
В КОНТАКТЕ С НЕСЛАВЯНСКИМ ОКРУЖЕНИЕМ**